РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Евгений Войскунский

БАЛТИЙСКАЯ САГА

«АЗБУКА»



Балтийская сага
Евгений Львович Войскунский

Аннотация
Евгений Львович Войскунский. Балтийская сага
Глава первая. От судеб защиты нет
Глава вторая. Вадим Плещеев влюбился
Глава третья. Курсантская бригада вступила в дело
Глава четвертая. Травников в боях на море и на суше
Глава пятая. «Вам не видать таких сражений»
Глава шестая. Гора колокольня
Глава седьмая. Рейд по финскому тылу
Глава восьмая. Лиза
Глава девятая. Кампания сорок второго
Глава десятая. Сенечка
Глава одиннадцатая. Лодки первого эшелона вышли в море
Глава двенадцатая. «Ты сохранишь свой скальп»
Глава тринадцатая. Встречи в кронштадте
Глава четырнадцатая. Штурман Плещеев в боевом походе
Глава пятнадцатая. Аландское море
Глава шестнадцатая. Головная боль от финского

залива
Глава семнадцатая. Объяснение в любви под обстрелом
Глава восемнадцатая. Опасное знакомство в Хельсинки
Глава девятнадцатая. Кронштадтский лед
Глава двадцатая. Дочь мятежника
Глава двадцать первая. Тихая суоми
Глава двадцать вторая. Еще один лагерь
Глава двадцать третья. «Невозможно жить с раздвоенной душой»
Глава двадцать четвертая. Мирное время – всюду перемены
Глава двадцать пятая. «Дело кузнецова» – Что это?
Глава двадцать шестая. Письма
Глава двадцать седьмая. Время без Сталина
Глава двадцать восьмая. Банка Штольпе
Глава двадцать девятая. «Слушать в отсеках!»
Глава тридцатая. Прощание с Травниковым
Глава тридцать первая. Nil Admirari
Глава тридцать вторая. Боголюбов
Глава тридцать третья. «Лебединое озеро» в девяносто первом году
Глава тридцать четвертая. Разошлись наши дороги

Глава тридцать пятая. Гибель Галины
Глава тридцать шестая. Расстрельная волна на Балтике
Глава тридцать седьмая. Досрочный отъезд из Светлогорска
Глава тридцать восьмая. Отчаяние
Глава тридцать девятая. Пишу мемуары
Глава сороковая. А годы летят

Аннотация

Первые книги Евгения Войскунского были написаны о войне, о временах его боевой юности, пришедшейся на Великую Отечественную. Это логично: кому, как не ему, капитану 3-го ранга, кавалеру двух орденов Красной Звезды, участнику обороны Ханко и Ленинграда, писать о героях военных будней, приближавших нашу победу. Однако известность писателю принес роман «Экипаж „Меконга“», написанный в соавторстве с двоюродным братом Исаем Лукодьяновым, имевший подзаголовок: «Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах Вещества и многих приключениях на суше и на море». Опубликованная в начале 1960-х, книга стала заметной вехой в отечественной фантастике и наряду с произведениями Ивана Ефремова, братьев Стругацких, Кира Булычева и других именитых фантастов имела значительный успех у читателей. Далее были новые сочинения в популярном жанре. Но время меняет ориентиры. Ушел из жизни соавтор.

Сама эпоха пошла на слом. Жесткий реализм современности оттеснил фантастику в сторону. В новых своих романах Войскунский рассказывает уже не о «тайнах Вещества и многих приключениях на суше и на море», он возвращается к старой, военной теме, к «приключениям» (если их так можно назвать) реальным, пережитым им лично, повлиявшим на жизнь и судьбу писателя. «Кронштадт», «Мир тесен», «Румянцевский сквер» – эти и другие книги Войскунского посвящены мужеству и героизму воинов-балтийцев, подвигу ленинградцев, выстоявших в блокаду, автор делает в них упор на такие основные человеческие понятия, как долг, родина, ответственность человека перед настоящим и будущим. Но вершиной военной (и не только военной) прозы писателя стал эпический роман «Балтийская сага» – увы, последняя книга в его творческой биографии, – книга-панорама, книга – осмысление событий русской истории новейшего времени через жизнь нескольких поколений ленинградцев, связавших свою жизнь с флотом.

Евгений Львович Войскунский
Балтийская сага

© Оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Евгений Войскунский

Балтийская сага



Азбука
Санкт-Петербург

...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

О. Берггольц

...великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей.

А. Герцен

Глава первая
От судеб защиты нет

Вадиму было четырнадцать, когда его отец Лев Плещеев ушел из семьи. С ума, что ли, сошли? Так хорошо жили, большой семьей, и еще был жив дед, инженер-кораблестроитель Иван Теодорович Регель, мамин папа, человек с квадратной рыже-седой бородой и голубыми глазами.

К деду в выходные дни приходили играть в преферанс его друзья, тоже корабелы. Мама, Вера Ивановна, звала пить чай. Корабелы с шуточками рассаживались за старинным столом с фигурными ножками. Один из гостей, Котов, над которым посмеивались за то, что он носил суконные боты «прощай молодость», рассказывал о своем детстве в деревне.

— Папаша у меня, — говорил он глуховатым голосом, — был, звольте-деть, свирепый мужик с пудовыми кулаками. Чуть что не по нем — такой даст подзатыльник, что вылетишь через сени во двор и в плетень врежешься. Да-а, — рассказывал Котов, мелкими глотками отпивая чай, — руки у папаши тяжелые, нрав бешеный, а вот, звольте-

деть, сподобился мне образование дать. Сам отвез в Боровичи, уездный город, там старшая дочь, моя сестра, значит, жила, замужем за пожарным. Да-а. Ну, реальное училище и так далее — до кораблестроительного факультета питерского политеха.

— Борис Кузьмич, — спрашивал Лев Плещеев, отец Вадима, — а верно, что вы дружили с Евгением Замятиным?

— Ну уж дружил! — отвечал Котов. — Взирал с почтением. Он, звольте-деть, был старше на пять лет.

Вступал в разговор, посмеиваясь, дед Иван Теодорович:

— Замятин окончил политех на два года раньше меня и преподавал по кафедре корабельной архитектуры. Уже война шла, я на Балтийском заводе работал, и однажды заявился к нам Замятин по какому-то делу. Поздоровались мы, и я спрашиваю: «Евгений Иванович, у вас в рассказе „Алатырь“ почтмейстер-князь рассуждает, что эсперанто объединит весь мир и настанет всеобщая любовь. Он, этот князь, вами придуман или с натуры взят?» Замятин, хе-хе, посмотрел на меня иронически и говорит: «Голубчик, я забыл логарифмическую линейку, будьте любезны,

дайте мне свою на полчасика».

И заговорили они, корабелы, о Замятине горячо. Одни осуждали за то, что покинул Россию, другие выражали понимание: мол, писателю нужна свобода… «полноте, сударь, никто ему не мешал…» — «да как же не мешали?» — После „Уездного“ ничего крупного не написал…» — «Да-а, „Уездное“… звольте-деть, его Анфим Барыба в-точь был как у нас в уезде урядник… такая же страшная фигура-с…» — «Ну да, еще бы — воскресшая русская каменная баба… беспощадный каратель…»

— Борис Кузьмич, — остро глядел сквозь очки на Котова отец Вадима, — я бы хотел написать очерк о вас для «Ленправды».

— Чего вдруг? — медленно удивился Котов.

— Вы, Борис Кузьмич, прямо-таки воплощение человека из низов, которого советская власть…

— Полноте, сударь. Я, конечно, от ворон отстал, но к павам не пристал-с.

— Да какие павы? Их нет давно.

— Прежних нет, а новые появились. Не надо никаких очерков.

Когда корабелы, закончив преферансную пульку, разошлись по домам, Вадим слышал, как дед сказал папе:

— Лева, не приставай к Котову. Его проект засекречен, цензура не пропустит статью о нем.

(Лишь годы спустя Вадим узнал, что дядя Котов, человек с незаметным «простонародным» лицом, небрежно одетый, в старомодных суконных ботах, был одним из конструкторов первых советских сторожевиков. Целый дивизион этих кораблей скатился со стапелей на балтийскую воду — «Ураган», «Снег», «Буря», «Тайфун» и другие, тоже с неприятными названиями. Прозвали их на флоте «дивизионом хреновой погоды» — вообще-то, не «хреновой», а иначе.)

Лев Плещеев, сын уездного землемера из Олонца, гимназию окончил в Петрограде в шестнадцатом году и, по его словам, «кинулся в революцию». Нет, шашкой не махал, не мчался в конной лаве на беляков, но повторял полюбившиеся строки Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Да и сам с молодых лет сочинял стихи, потом на прозу перешел. Слог у Льва был, как тогда требовала жизнь, вздыбленная революцией, возвышенный, исполненный патетики, — его очерки стали печатать в «Красной газете». Так оно и пошло — Лев Плещеев сделался в Петрограде—Ленинграде заметным журналистом.

Но главным событием своей жизни он считал именно *кронштадтский лед*. В памятном двадцать первом году учился Плещеев на морских командных курсах. В марте вспыхнул в Кронштадте мятеж, несознательная матросня — клёшники поддались антисоветской агитации бывшего царского генерала, ну и, конечно, анархисты и эсеры там устроили бузу. Пришлось стягивать на северный берег, к Сестрорецку, и на южный, в Ораниенбаум, верные советской власти войска. На ультиматум, подписанный самим предреввоенсовета республики Троцким, мятежники, наглости набравшись, не ответили. Командарм 7-й армии Тухачевский отдал приказ о взятии Кронштадтской крепости штурмом.

Группа курсантов, в их числе и Плещеев, в составе сводного полка в ночь на 8 марта сошла с южного берега на лед и двинулась к Кронштадту. Идти было трудно, лед сверху подтаял, под ногами хлюпала вода, курсанты оскользались, тихо матерились. Как ночные привидения, брели в белых халатах, надетых для маскировки. Однако дозоры мятежников разглядели их. Заметались прожекторные лучи. И началось такое…

Кронштадт бил тяжелыми орудиями (два линкора же там взбунтовались), разрывы снарядов

буравили лед, выбрасывая гигантские фонтаны дыма, огня и воды, небо рвалось и грохотало, пульсировало багровыми вспышками — да нет, невозможно пройти — к чертовой матери…

Плещеев потерял себя. Да и не он один. Повернул и, пригнувшись, пустился бежать назад, к южному берегу, к спасению…

Какое там!.. Размахивая наганом, встала, освещенная прожектором, огромная фигура в белом, черные усищи поперек красного лица.

— Куда-а, так вашу мать! — заорал ротный, покрывая грохот разрыва. — Застрелю, так вашу пушку-бляшку-р-растакую…

Опомнился Плещеев — ну красный же боец, — пересилил себя, побрел сквозь огонь на крепость Кронштадт…

Нет, не прошел в ту ночь сводный полк, только-только зацепился за берег Котлина, две роты потерял — отступил. Шедший левее 561-й стрелковый полк тоже не прошел, и говорили, что один его батальон передался мятежникам. Части северной группы, наступавшие с Лисьего Носа, тоже не имели, как говорится, успеха. Да какой там успех, если в Кронштадте пушек — как у ежа иголок, разве подступишься?

Прибыло в Ораниенбаум пополнение — све-

жая 27-я дивизия, так в трех ее полках бойцы замитинговали: «Не пойдем на лед!» «Самого» товарища Дыбенко отказались слушать, как он стал кричать и совестить их. Конечно, по революционной строгости, их разоружили, арестовали зачинщиков — ну, как положено.

Но мятеж-то подавить надо. Красная Горка, переименованная в форт Краснофлотский, ударила по Кронштадту. Вступили и другие тяжелые орудия, подвезенные на северный и южный берега. Аэропланы полетели, сбросили тысячи фунтов бомб, норовили в линкоры попасть — «Петропавловск» и «Севастополь». Кронштадт, конечно, отвечал тяжеловесным огнем.

А красный боец курсант Лев Плещеев, вы поймите правильно, был сам не свой: не мог себе простить, что струсил там, на льду. Стыд и позор! — корил Лев себя, с головой накрывшись жидким одеялом в нетопленой казарме в Ораниенбауме, в Военном переулке. Вот крикнуть бы сейчас: «Товарищи бойцы! Друзья-курсанты! Перестаньте храпеть… взгляните на меня… Мечтал в пламенные герои… ну как же, „выросли мы в пламени, в пороховом дыму“… а получилось — „бежал Гарун быстрее лани…“. Но послушайте, братья! Никогда, никогда больше не повторится,

чтоб я, Лев Плещеев, повернул вспять и побежал с поля боя… Никогда!»

И верно: в ночь на 17 марта, когда снова пошли на штурм красные полки, он, Лев Плещеев, шел по льду наравне со всеми, можно сказать, призраками в белых халатах, шел сквозь прожекторный свет, сквозь огонь, обходя воронки — полыньи с черной водой. А воды было на льду с пол-аршина, почти по колено, оттепель же, страшное дело… Падали, сраженные осколками снарядов, в воду… Но те, в кого не попали, шли и шли врассыпную… В обход форта… как его, «Милютин»… Вот из тумана проявился темный котлинский берег, дома, трубы, а левее что-то горело.

Ноги не шли, усталость страшная… А с берега — уже и пулеметный огонь… «Вперед, вперед!» — дико орет кто-то… Да уж, не назад же… Кто назад повернет, тот на цепь заградотряда нарвется, и привет… «Вперед! Даешь Кронштадт!»

Под утро уцелевшие бойцы южгруппы прорвались в Кронштадт. Долго бились у пристаней. Еще помнил Плещеев, как в конце дня заняли водокачку.

Сам не свой был красный боец Лев Плещеев — не только от страшной усталости, но и от подавленного внутри себя страха. Перебежками

продвигались по какому-то переулку. Из двух неосвещенных окон били из винтовок. Плещеев залег в яму, среди вывороченных разрывом снаряда булыжников, и стрелял в те окна, пока в подсумке не осталась последняя обойма. Но и оттуда, из окон, огонь редел. Грязный мокрый маскхалат Лев давно сбросил. Бушлат тоже был мокрый насквозь — весь он, красный боец Плещеев, состоял из мокрых костей и голодного ледяного нутрá. И сил никаких уже не было, вот заснуть бы в этой чертовой луже…

— Пошли! — крикнул рябой Карпухин, командир отделения. — В тот подъезд! — И ткнул Плещеева прикладом в плечо. — А ну, подымайся, лохматый!

Втроем — Карпухин, Плещеев и молодой курносый боец, беспрерывно сплевывающий, — поднялись по темной лестнице, по скрипучим ступенькам, на второй этаж, вышибли дверь и вошли в квартиру. И тут было темно, электрическая станция не давала света, только в кухне слабо светилось.

Ворвались в кухню. Там женщина в сером, нагнувшись, бросала поленья в горевшую плиту; ребенок, босой, одетый тоже во что-то серое, держался за длинную ее юбку и тоненько пищал,

скулил.

— Кто тут стрелял?! — свирепо заорал Карпухин.

— Что ты, что ты, никто не стрелял, — быстро заговорила женщина. У нее голова была повязана старушечьим темным платком, но лицо молодое, глаза испуганные. — Что ты, солдатик, как можно… никто не стрелял…

— Карпухин, сюда посвети! — Плещеев разглядел винтовочные стреляные гильзы в углу. Было похоже, что гильзы впопыхах затолкали под комод, но две штуки не успели, что ли, запихнуть.

— Ну точно! — гаркнул отделенный. — И воняет порохом.

Ворвались в комнату, заставленную темной мебелью. На кровати сидела старуха, по виду ведьма: нос крючком, глазищи недобрые. На другой кровати кто-то спал, завернувшись с головой в одеяло с синей полосой в ногах.

— А это кто? — Карпухин поставил лампу на стол и ткнул спящего в плечо. — А ну, вставай!

— Не трожьте его, — прошамкала старуха, — он больной… старый… заразный он…

Карпухин тряс спящего:

— Больной, не больной, один хер, вставай!

Курносый боец откинул одеяло там, где ноги

спящего, — ноги были обуты в короткие сапоги. Карпухин сдернул одеяло, заорал:

— Вставай, гребаный!

Спящий — никакой не спящий он был — медленно сел на кровати. И никаким не был стариком — ну, лет сорока, крепкий мужичок с желтой встрепанной волосней и усами. В мятом темно-сером пиджаке. Исподлобья глянул на Карпухина.

А тот — неистово:

— Ты стрелял из окошка?!

Из-под желтых усов — хриплое:

— Нет.

— А почему одетый-обутый под одеялом? — Карпухин вдруг схватил мужичка за руку. — Вот! — У мужичка между большим и указательным пальцами была наколка — синий якорек. — Вот! — орал Карпухин. — Клёшник, так твою мать! Куда винт упрятал?!

Дернул желтоусого за руку, тот вскочил, оказавшись чуть не двухметрового роста, — в следующий миг Карпухин отлетел от удара в лицо, повалился на колени старухи-ведьмы, та — в крик, и молодуха в дверях — в крик, а желтоусый выкрикнул: «Сволочи! Революцию загубили, гады!» — и кинулся к двери, но курносый боец,

живо вскинув винтовку, выстрелил, и Карпухин стрельнул из своей. Мужичок коротко застонал и рухнул ничком у ног молодухи.

— А-а-а-а!.. — завопила она, упав на колени над дернувшимся и замершим телом. Босой ребенок рядом с ней визжал, широко разевая рот.

Карпухин, с разбитым до крови рябым лицом, оттолкнул женщину и перевернул мужичка на спину. Тот лежал без дыхания, без жизни, в мятом пиджаке, из ворота которого виднелась матросская тельняшка.

— Всё, — сказал Карпухин. — Приказ был: кто с оружием, тех в плен не брать, а на месте… Пошли! — скомандовал он.

Курносый боец сплюнул и двинулся за ним. Пошел и Плещеев, еле передвигая ноги, словно схваченные ужасом.

Бальмонт был виноват. Да, тот самый Константин Бальмонт, символист знаменитый.

На курсах была библиотека, небольшая, из случайных книг, вывезенных из буржуйских домов. Такая блажь пришла в голову начальнику курсов: мол, пусть курсанты, будущие командиры Красного флота, читают не только наставления по морскому делу, но и книжки — ну, конечно, такие, в которых нету контрреволюции. За биб-

лиотекой присматривала, выдавала книжки курсантам девица Вера. Тихая, голос тонкий, а еще тоньше — талия, вокруг которой, наверно, можно было сомкнуть пальцы двух рук. Черная челочка ниспадала на огромные, в пол-лица, глаза, а в глазах такая разлита голубизна, какая в петроградском небе бывала только на Пасху (само собой, в старое время).

Курсант Лев Плещеев и утонул в этих голубых озерах, в глубине которых мерцало что-то такое… непонятное… Он и вообще-то имел пристрастие к чтению книжек, и особенно — к стихам. А тут еще и голубоглазая дева, будто сошедшая со старых рождественских открыток (были такие у плещеевской богомольной мамы — там, в Олонце). Говорили промеж себя курсанты, что эта Вера с немецкой фамилией Регель была дочерью корабельного инженера с Балтийского завода, на котором прежде работал слесарем-сборщиком товарищ Акимов, ныне начальник курсов. И вроде бы папа ее, Регель, сидел, понятное дело, в Чека. Но кто-то из новой власти (да не сам ли Акимов?) поручился за него, что он не эксплуататор трудового народа, и спас от неминуемого расстрела.

Так ли, нет ли, а Лев Плещеев в юную деву Веру влюбился с первого взгляда. Женская красота на

него сильно действовала, — еще учась в гимназии, он это понял. А тут к тому же Бальмонт…

Надо сказать, что у папы Плещеева, олонецкого землемера, стояли на полке книжки не только относящиеся к его земельной профессии, но и сочинения Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Стоял, между прочим, и томик Плещеева Алексея Николаевича — нет, родства между ним, дворянином, хоть и опальным, и разночинцем-землемером не было никакого, просто однофамильцы (хотя, допускал землемер, что кто-то из предков мог быть крепостным у предков поэта, а ведь крепостным, бывало, давали фамилию барина). После Некрасова и Кольцова был Алексей Плещеев любимым поэтом олонецкого землемера. «Вперед без страха и сомненья», — часто напевал он плещеевское стихотворение, считая его (и, вероятно, справедливо) «Марсельезой» поколения петрашевцев.

От папаши, верно, и унаследовал Лев Плещеев любовь к русской поэзии. А тут, на курсах, в тесной библиотеке, высмотрел он книжку стихов «Будем как солнце» Константина Бальмонта и принял ее из маленьких рук голубоглазой девы как дар своенравной судьбы.

Надо сказать, что и она, Вера Регель, обратила

внимание на этого курсанта с давно не стриженной рыжеватой гривой, с правильными чертами юного лица, несколько подпорченными восторженным выражением карих глаз. В комнатке, заставленной книжными полками, сидела Вера за столиком, какие в буржуйских домах называли ломберными, и с неясной улыбкой на розовых губах слушала, как этот курсант пылко говорил:

— В великое время живем, товарищ Вера! Перестройка всей жизни идет.

— Вы правы, товарищ курсант, — тонким голоском отвечала дева. — Только вот — печки нечем топить. Как бы не замерзнуть.

— Не замерзнем! Новую жизнь построим, и дров будет — сколько захочешь.

— Мне много не надо…

— Все леса на планете будут наши, да! — И, прикрыв пылающие глаза, декламировал странный курсант Плещеев:

Так-то, темный лес,
Богатырь Бовá!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили

Тебя сильные,

Так дорезала

Осень черная…

— Откуда это? — интересовалась Вера.

— Кольцов это! Какой поэт! А вот из книжки «Будем как солнце» Ба́льмонта…

— Бальмо́нта, — поправила Вера.

— Да? Ну пускай Бальмо́нт. — И, прикрыв глаза, шпарил Плещеев наизусть:

Ты мне понравилась так сразу оттого,

Что ты так девственно-стыдлива и прекрасна,

Но за стыдливостью и сдержанно, и страстно

Коснулось что-то сердца твоего…

— Ну и память у вас, курсант Плещеев, — улыбалась Вера.

А он, поощренный, еще охотней свою память, и впрямь удивительную, выказывал:

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми.

Ты один мне понравился между людьми.

До тебя я была холодна и бледна.
Я с глубокого, тихого, темного дна…

Тут прервал их интересную беседу курсант Лысенков — втиснулся книжки поменять. Помигал на Плещеева и уставился, как некто на новые ворота, на книжную полку. Вера помогла ему, неторопливому, выбрать книжку для чтения — «Похождения Рокамболя».

— Это очень интересно, — сказала. — Про разбойника французского. Записать вам?

Лысенков пожал могучими плечами, попытался прочесть фамилию автора: «Пон-сон дю Те…»

— Дю Террайль, — подсказала Вера. И, когда Лысенков наконец выбрался из узкой двери вон, спросила: — Ну и что же та русалка с тихого дна?

Шел холодный октябрь двадцатого года. Петроград, похоже, погружался в зиму, минуя осенние месяцы. С вечно темного, навалившегося на городские крыши неба сыпался ранний снег — днем таял, по ночам подсыпáл опять. Почти не утихал резкий ветер, бороздя и возмущая Неву угрозой наводнения. Рано темнело, и были перебои с электричеством. Останавливались трамваи, всегда переполненные, обвешанные пассажирами.

Вере трамваи не требовались: от 4-й линии

Васильевского острова, где она квартировала с родителями, до 11-й линии, где помещались курсы, можно было и пешком. В один из октябрьских вечеров, когда Вера возвращалась с работы, на углу Большого проспекта и 8-й линии на нее напали двое, она побежала с криком о помощи, но улицы были пустынны, те двое, матерясь страшно, догнали ее и отняли старую оконную раму, которую она несла для топки. (Эту раму, найденную на чердаке, ей Плещеев принес в библиотеку.)

С того вечера Вера — в те дни, когда приходила на работу, — оставалась ночевать в библиотеке: устроила там на деревянном диванчике лежанку. Из дому принесла подушку и мягкий коричнево-клетчатый плед.

— Папа категорически запретил выходить вечером на улицу, — сказала она Плещееву.

— Правильно, — кивнул тот. — Ничего хорошего там нет, на улице.

В тот вечер не было электричества. Вера зажгла керосиновую лампу. За окошком посвистывал ветер, швырял в темное стекло пригоршни снега.

— Говорят, в Питер к Горькому приезжал английский писатель, — сказал Плещеев, засидевшийся, как обычно, в библиотеке. — Ты

слышала?

— Да, — сказала Вера. — Слышала. Завтра придется пойти в Черезутоп, просить, чтоб дрова выдали.

— Пусть отец сходит. Там очереди огромные.

— Папа заболел. И мама еле ходит. Еще ни разу дров не выдали этой осенью. Совсем с ума сошли там.

Она взмахнула рукой в сторону окошка. Плещееву вдруг ужасно захотелось поймать эту маленькую руку — поймать и не отпускать. Большеглазая девушка в синем вязаном жакете, сидевшая перед ним, отбрасывавшая странно мятущуюся тень от лампы на книжные полки, притягивала его, как север притягивает компасную стрелку. Лампа горела неровно, что-то в ней потрескивало.

Плещеев читал наизусть:

Я был желанен ей. Она меня влекла,

Испанка стройная с горящими глазами…

Метался огонек в лампе от его пылкой, нараспев, декламации. Он читал:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,

Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

Вера вдруг встала и подошла к Плещееву, вплотную. Он вопрошающе заглянул в глаза-озера, в глубине которых мерцало что-то непонятное.

— Хочешь быть смелым, — быстро сказала Вера, — так будь…

Опыта таких отношений у Плещеева не было (если не считать единственного, в Олонце, случая, когда великовозрастная девица, помощница отца по землемерному делу, затащила его, пятнадцатилетнего гимназиста, на сеновал). Не было и у Веры — вовсе. Но то, что произошло в тот октябрьский поздний вечер на деревянном диване, при колеблющемся полусвете керосиновой лампы, стало началом их супружеских отношений.

Тут следует пояснить, что родители Веры — особенно Иван Теодорович, происходивший из старого рода остзейских немцев, — настаивали на закреплении оных отношений, а именно на регистрации брака. Когда же Плещеев обратился к начальнику курсов за разрешением на женитьбу, тот удивленно поднял брови:

— Да какая такая женитьба, товарищ курсант?

Не старое время ноне. Свободная пролетарская любовь ноне.

И сослался товарищ Акимов на полезную в этом смысле книжку руководящей пролетарской женщины Коллонтай «Новая мораль и рабочий класс». В библиотеке курсов такой книжки не имелось, но смысл ее и так был понятен. Новая мораль — она и есть новая. Хотя Ивану Теодоровичу она не нравилась. Впрочем, у него и поэт Бальмонт был не в чести. (Иван Теодорович, если хотите знать, больше всех любил Шиллера.)

А зима надвинулась холодная и голодная. Хотя и кончилась война (на юге скинули Врангеля в Черное море, на западе — чуть было до Варшавы не доехали), недаром же песня сложилась про то, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», — кончилась, кончилась война наконец-то, а в Петрограде зима шла неспокойная. Паек сре́зали до полутора фунтов хлеба. И продолжали стоять на дорогах заградительные отряды — у тех, кто вез в Питер из деревни какое-никакое продовольствие, отнимали мешки по революционному декрету.

И другое дело, большое недовольство вызывал Черезутоп, то есть управление чрезвычайного уполномоченного по топливу. Если в прежнее

время дров всегда хватало, на Сенной площади деньги заплатишь — тебе в тот же день привезут сколько хочешь, хоть целый воз, то теперь они, дрова, неизвестно куда подевались. Распределяли их люди хмурые и грубые, выдачи были скудные, и очень они трепали нервы обывателям. Однажды в ноябре (еще в те дни не встала Нева) объявили выгрузку дров с барок, тысячи людей работали с утра до темна на пристанях. Работал на разгрузке и Иван Теодорович. В тот безумный день, пронизанный ледяным норд-остом, он, видно, и подхватил сыпнотифозную вошь. И свалился с сыпняком — такая получилась страшная плата за разгрузку барки.

Иван Теодорович выжил: крепкий был мужчина, основательный. Но слегла его заботливая жена Полина Егоровна, и уж ее, ослабленную недоеданием и вообще трудной жизнью, сыпной тиф доконал. Перед кончиной она, глядя на Плещеева угасающими глазами, прошептала: «Веру спасите…»

Нет, Вера не заразилась, не заболела. Откуда в ней, тростиночке, столько обнаружилось жизненной силы? Бог весть. Иван Теодорович, страшно исхудавший, пытался помочь дочери. Тонким своим голосом Вера командовала: «Папа,

ложись и лежи. Я сама». Растапливала буржуйку — чугунное чудо в середине комнаты (после уплотнения в девятнадцатом году им, Регелям, из четырех комнат оставили одну — правда, большую, бывшую залу с лепными гирляндами по углам потолка), варила пшенную кашу, черный чечевичный суп. Молола в кофейной мельнице сушеные картофельные очистки — заваривала их вместо исчезнувшего колониального продукта чая. В очередях стояла за пайком — хлебом, крупой и селедкой.

А что Плещеев? Конечно же, как только получал увольнение, он мчался, быстроногий, на 4-ю линию, к Веруне (так называл он свою ненаглядную). Каждый раз приносил то пару поленьев, то обломок доски, а то — горбушку черняшки или не съеденную за обедом вареную воблу, завернутую в «Красную газету». Между прочим, в этой газете дважды уже напечатали его заметки. В них Плещеев не просто описывал, как учатся на курсах будущие командиры Красного флота, а выражал безусловную уверенность в победе коммунизма над разрухой и другими временными трудностями жизни и, конечно, над мировой буржуазией и прочими классовыми врагами. Умел Плещеев находить нужные слова для повышения револю-

ционного духа у читателей-обывателей.

Тревожная зима и курсантов подняла по тревоге. В феврале на многих заводах Петрограда начались забастовки. Рабочие на митингах требовали — от своей, можно сказать, пролетарской власти — прекратить уменьшение выдачи хлеба. Да и не только хлеба — требовали свободной торговли, свободного перехода с завода на завод. На Трубочном заводе, что на Васильевском острове, кроме пайкового вопроса, вписали в резолюцию требование *перехода к народовластию*. Это как понимать, товарищи?! Исполком Петросовета постановил закрыть завод и начать там проверку. Утром 24 февраля трубочники вышли на улицу. К ним стали прибиваться рабочие с других заводов — огромная толпа собралась на Васильевском острове на митинг, не предусмотренный властью. Это что ж такое?! Разогнать крикунов! А кого на разгон? В гарнизоне тоже недовольство, замечено, что красноармейцы ходят по домам, предлагают что-то обменять на хлеб. Были случаи отказа от нарядов из-за отсутствия обуви, теплого обмундирования. Ну, у красных курсантов с пайком получше, и сапоги не драные, — поднять их по тревоге!

А как ощущал себя Плещеев, медленно надви-

гаясь в цепи курсантов с винтовкой наперевес на толпу недовольных, рассерженных людей? *Странно* было Плещееву. Неуютно как-то. Не на буржуазию шли они, курсанты, угрожая расстрелом. Не на белогвардейцев, не на врагов рабочего класса — именно на рабочий класс и надвигалась цепь красных бойцов… Черная (в бушлатах) шеренга на слитную серую массу… Только бы не скомандовали открыть огонь по братьям по классу… Кто-то зычно кричал в рупор: «Разойтись! Разойтись!»

Уж и то хорошо, что обошлось без крови. Медленно, неохотно расходились бастующие. В тот же день на экстренном заседании Петроградского комитета РКП(б) волнения на заводах были объявлены мятежом. А на следующий день, 25 февраля, ввели в городе военное положение. Покатилась волна арестов.

В Петрограде аукнулось — откликнулось в Кронштадте…

Вадим родился 1 августа того же страшного двадцать первого года. Роды были трудные. Если б не гинеколог Розалия Абрамовна, соседка со второго этажа, то, может, Вера не выжила бы. Рожала она дома. За стеной шла гулянка у Покатиловых, орали там пьяными голосами: «Как родная

меня мать провожа-ала, тут и вся моя родня набежа-ала…» Под эту лихую песнь и вытащила соседка-доктор Веру с того света. С еле слышным стоном роженица открыла закатившиеся было глаза, и Лев Плещеев бросился на колени — целовать свою Веруню, — но Розалия Абрамовна твердой рукой отстранила его: «Отойдите! Дайте ей отдышаться!» Из-за стены гремело: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!» И проистекал оттуда душный чад жареной гусятины…

Так он, значит, и появился на свет — Вадим Плещеев. Детство его совпало с нэповским временем: Ленинград ожил, откуда ни возьмись появились за отмытыми от долгой войны витринами розовые языки ветчины, желтенькие волны французских булок. Сосед Покатилов, в пьяном виде склонный к шумному умилению, открыл торговлю туалетным мылом и зубным порошком. И вот еще важные приметы наступившего времени: сворачивал свою пугающую (и стреляющую) деятельность Комдезертир (то есть комитет по борьбе с дезертирством), и были, ну это как вздох облегчения, сняты с дорог и железнодорожных станций заградительные отряды.

Жизнь налаживалась. На Балтийском судостроительном заводе снова затрещали давно

умолкнувшие клепальные пневматические молотки. Крупные корабли страна, разоренная войной, еще не тянула, куда там, молотков пневматических — и тех на заводе всего пять штук, по одному винторезному и сверлильному станку, да и прочее оборудование если и уцелело, то «процент годности» был никудышный. Иван Теодорович Регель, строитель кораблей, мотался по новым ведомствам, выбивал для завода лимиты электроэнергии, листовое железо, инструменты — много тратил сил на преодоление некомпетентности, бюрократизма, а порой и хамства новоявленных начальников этих ведомств. Было время, он, выпускник политеха, увлеченно работал младшим помощником строителя линкора «Петропавловск». Теперь другое время настало. Истрепанный войной и разрухой флот — уцелевшие корабли — надо было капитально ремонтировать. Вот эскадренные миноносцы типа «Новик» — правильное принято решение об их ремонте, можно вытащить былых быстроходных красавцев с мертвых стоянок, новую вдохнуть жизнь в их ржавые корпуса. А дальше — внимание, внимание! — появился проект первенца советского кораблестроения — сторожевика «Ураган». С него-то и началось

создание дивизиона хреновой (или как ее) погоды. «Новики», можно сказать, и не мечтали о такой энергетической установке, какой оснастили новые сторожевики: из двух котлов и двух турбозубчатых агрегатов.

То было начало звездного времени для советских корабелов. Иван Теодорович работал поистине с юношеским увлечением. Его голубые глаза, омертвевшие после смерти жены, снова наполнились жизнью. Он отрастил рыжую бородку. По вечерам у себя в комнате (в большой зале поставили перегородку, в одной комнате жили Плещеевы, во второй Иван Теодорович) он обдумывал какое-то новшество, рассчитывал, чертил. И вот однажды, с согласия конструктора, он на строящемся «Урагане» применил вместо обычной клепки — сварку. Не удивляйтесь: во всем мире на стапелях тарахтели пневматические молотки, части корабельного набора соединяли заклепками. А тут, ниспровергая основы, рассыпала огненные искры сварка автогеном: приварили одну из палубных конструкций. Как раз в эти минуты поднялся на палубу командир будущего дивизиона, моряк бывалый и дотошный. «Эт-то что такое?» — сильно удивился он. «Новшество, — сказал строитель Регель. — Сварка вместо

клепки». — «Да вы что, смеетесь? Я ваше новшество ногой собью!» Иван Теодорович не успел его удержать. Командир дивизиона ударил ногой по свежесваренной конструкции — и заплясал от боли. С его ботинка слетела подметка…

Ворочал Иван Теодорович в толковой своей голове и другие идеи. А по субботним вечерам собиралась у него в комнатке теплая компания друзей-корабелов. Играли в умственную игру преферанс, пили чай, а то и портвейн, шутили, вспоминали былые времена.

Но жизнь, в которой плыли они, как в недостроенном корабле, опять наполнилась непредсказуемостью и тревогой. Куда-то подевалась советская дозволенная буржуазия — закрывались нэпманские лавки и рынки, снова возникла нехватка продуктов. Зато в двадцать девятом году появились карточки. Сосед по квартире Покатилов, распродав по дешевке весь зубной порошок, бессознательно пил три недели, а потом, опохмелившись чем-то едким, пошел туда, откуда и вышел, — в слесари-водопроводчики домоуправления.

После убийства Кирова в декабре тридцать четвертого покатилась по Ленинграду новая волна арестов. Докатилась и до Балтийского завода.

В одну из длинных февральских ночей взяли Котова Бориса Кузьмича. Игры в преферанс у Ивана Теодоровича прекратились. Он помрачнел, осунулся. Уже не с прежним тщанием подстригал квадратную седеющую бородку. За вечерним чаем, если Вера спрашивала, как идут дела на заводе, Иван Теодорович отвечал неохотно и коротко: «Работаем. Клепаем». Иногда обращался к зятю: «Что нового в мире, Лева? В Греции что, опять военный переворот?» Плещеев отвечал развернуто, но Иван Теодорович слушал без интереса. Допивал чай, говорил: «Спасибо, Вероч-ка» — и уходил к себе.

А однажды попросил дочку уложить в небольшой чемодан «минимум необходимого».

— Что ты имеешь в виду? — встревожилась Вера.

— Ну, теплые носки, три смены белья, зубную щетку…

— Папа! — вскричала Вера. — Что у вас происходит на заводе?

— То же, что и во всем городе, — ответил Иван Теодорович. И, слегка усмехнувшись, добавил: — От судеб защиты нет.

Вот уж точно это сказано классиком. Наверное, ОГПУ занесло уже инженера Регеля в свои черные

списки, но судьба — да-да, именно она — распорядилась иначе.

Темным октябрьским утром Иван Теодорович включил переносную лампу и, волоча ее на длинном шнуре, полез через узкую горловину в междудонье строящегося судна. Грызло его беспокойство, что в днищевом наборе что-то неправильно сварено. Он полз, метр за метром, сквозь узкие лазы, светя на вырезы переноской — и вдруг переноска погасла. Черт знает почему. Может, там, на палубе, кто-то случайно выдернул вилку. Иван Теодорович, с трудом развернувшись, пополз назад, но воротником ватника на затылке зацепился за что-то — за стальные заусенцы, должно быть. Попытался освободиться, но зацепился еще и хлястиком. Тут покрашено было недавно, от острого запаха краски голова разламывалась. Он барахтался в дикой тесноте. Междудонье держало крепко. Кричать не было смысла: никто не услышит, наверху грохотали клепальные молотки. Освободить ватник либо выпростаться из него Иван Теодорович не сумел — потерял силы, задохнулся. Когда его спустя два часа вытащили из междудонья, было уже поздно.

А что Лев Плещеев?

А вот что. Вскоре после подавления кронштадтского мятежа ушел он с морских курсов. Сам товарищ Зиновьев, предводитель ленинградских большевиков, санкционировал переход способного молодого журналиста в «Красную газету». Своими пылкими карими глазами Плещеев всматривался в новую жизнь, ища в ней, по его словам, животрепещущий материал. С годами он сделался видным очеркистом «Ленинградской правды», издал две книги очерков (одна — об ударном строительстве Хибиногорского комбината) и вступил в РАПП, а впоследствии в Союз советских писателей.

Его первая книга открывалась большим очерком «Даешь Кронштадт!», в котором было много революционной патетики, описаний героизма красных бойцов и много презрения к мятежникам (и особенно — к вожакам мятежа, удравшим по льду в Финляндию и избежавшим заслуженной кары).

Ярко лег на бумагу этот очерк, и не будет преувеличением упомянуть, что его автор Лев Плещеев приобрел в Ленинграде репутацию героя исторического штурма. Он любил повторять фразу из поэмы поэта Багрицкого «Смерть пионерки», напечатанной в журнале «Красная новь»: «Нас

водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед».

Да, любил поэзию журналист (а потом и писатель-документалист) Лев Плещеев. Нельзя, однако, обойти стороной *одно обстоятельство*. Болезненно отдавалось в памяти, как при первом — неудачном — штурме он, Лев Плещеев, постыдно струсил на льду под огнем кронштадтских пушек, в перебегающих лучах прожекторов, — да, струсил и побежал назад, но был остановлен и едва не расстрелян ротным командиром. Дал себе слово Плещеев, что никогда — никогда! — такое малодушие не повторится. И слово держал. Даже когда поехал в тридцатом году в область описывать сплошную коллективизацию и вместе с провожатым милиционером попал под кулацкий обстрел на выходе из одной деревни, даже тогда он не позволил себе *впасть в трусость* и побежать в укрытие — ближайший сарай. Просто упал ничком на сырую после дождя землю и лежал, прикрыв голову руками, пока милиционер отстреливался из нагана.

Во время той поездки навестил Лев Плещеев в Олонце своих родителей. У них были неприятности в ходе жизни. Мама, Софья Ивановна, потрясенная закрытием церкви, слегла совсем

больная: у нее руки дрожали и голова мелко тряслась. Сам же Василий Евтропович Плещеев имел сильные расхождения по вопросу коллективизации с председателем волисполкома, человеком хоть и заслуженным в Гражданской войне, но малограмотным и крайне грубым.

— Выучил одну фразу: «Я творю волю партии» — и твердит ее, как попка-дурак, — говорил старший Плещеев сыну, когда после обеда, выпив по стакану самогона, вышли они покурить на поросший ивняком берег реки Олонки. — Я ему толкую: нельзя отрывать от земли Шестаковых и Черновых, никакие они не кулаки, а трудовые земледельцы. А он бухает кулаком по столу, глаза навыкате, и орет: «Творю волю партии! Классовым врагам нет пощады…» Что же это творится, Лёв Васильич?

Так он сына называл: Лёв Васильич. А что же мог отцу ответить Лёв Васильич? Хоть и был он видным к тому времени журналистом, но не мог же заступиться за классового врага кулака. Его другое беспокоило: отец заметно сдал. Голос потерял Василий Евтропыч. Сутулясь больше обычного, осипшим, лишенным звука голосом рассказывал о неприятностях текущего момента.

— Послушай, отец, — прервал Лев его напря-

женный шепот, — тебя надо врачу показать. Давай-ка я повезу тебя в Питер.

— Чего я там не видел? — просипел землемер. — Как я мать тут оставлю?

— Тетя Таня за мамой присмотрит. А ты поживешь у меня…

— Не поеду. Дай-ка еще папиросу. У нас «Казбека» не бывает.

— Да на одну неделю всего, — уговаривал Лев. — Отец, надо хорошему врачу показаться. Прошу, не упрямься.

Но землемер Плещеев наотрез отказался ехать в Ленинград.

Дед Василий умер от рака горла летом тридцать второго года.

А осенью тридцать пятого умер — задохнулся в междудонье строящегося корабля — другой мой дед, Иван Теодорович.

Накануне, в сентябре того же тридцать пятого, от нас с мамой ушел отец. Точнее: мама его прогнала. Трудно мне дается это воспоминание…

Знаете, я гордился отцом. Он был в Питере в некотором роде знаменитостью. Ну как же, герой штурма мятежного Кронштадта. Рыцарь карандаша и блокнота, Лев Плещеев хотел все увидеть и обо всем написать. Мне нравились его очерки

о стройке в Хибинах, у подножия горы с романтическим названием Кукисвумчорр, огромного апатитового комбината. Здорово писал отец и о строительстве сторожевых кораблей для возрождающегося Балтфлота, и о первых советских подводных лодках.

Мама посмеивалась, глядя на нас: «До чего вы похожи». У отца была огромная шевелюра табачного цвета и пылкие карие глаза (с годами он стал носить очки, но, так сказать, температура взгляда держалась на высокой отметке еще долго). Цветом волос и глаз я, и верно, похож на отца, да и походкой, слегка косолапой, тоже. Тут генетика сработала точно. Но не было у меня гена победоносной манеры держаться, столь характерной для отца. Ну да ладно.

Еще объединяла нас с отцом склонность к шуточкам, иногда, по мнению мамы, неуместным. И конечно, интерес к морю, к флоту. Отец собрал неплохую библиотеку морских романов, я их все перечитал — «Двадцать тысяч лье под водой», «Труженики моря», «Фрейя семи островов», «Остров сокровищ», «Мичман Изи», «Фома Ягненок», и особенно любимые книги Грина, и «Соленый ветер» Лухманова. Мы с Оськой Виленским, соседом со второго этажа, обменивались книгами

и марками, играли в военно-морской бой. Когда учились в десятом классе, увлеклись греблей — в яхт-клубе нас закрепили в команде одной из «шестерок», мы ходили на веслах по Неве и несколько раз под парусом выходили в Финский залив.

Оська был сыном гинеколога Розалии Абрамовны и профессора-искусствоведа Михаила Лазаревича Виленского. Знаете выражение: не от мира сего? Вот таким человеком был этот профессор. Всегда в черном костюме и черном галстуке, повязанном вокруг стоячего воротничка, с седой щеточкой усов, он, казалось мне, жил не в нашем беспокойном двадцатом веке, а черт знает когда — в древней Греции, да и еще древнее, в минойскую (или крито-микенскую) эпоху. «Здрасьте, Михал Лазарич», — говорил я при встрече. Он вскидывал на меня взгляд бледно-голубых глаз и отвечал: «А, это ты, быстроногий ристатель». Я однажды спросил, почему он меня так называет. Профессор тронул одним пальцем усы и сказал, что в мои годы уже следует прочесть «Илиаду», а не бегать по чердакам. Ну, я, вообще-то, не бегаю по чердакам…

То есть, конечно, я понял, что имел в виду профессор. Оська однажды стащил из его кабинета страшную маску разъяренного быка и привязал к

голове, а я нацепил маску кабана, и мы, завывая, вкатились на четвереньках в полутемный чердак нашего дома в ту минуту, когда там развешивала выстиранное белье Клавдия, крикливая жена слесаря Покатилова. Она завизжала от страха на весь Васильевский, но в следующий миг выхватила из таза мокрое полотенце и накинулась на нас, выкрикивая известные слова. Конечно, Покатиловна (так мы называли ее) нас узнала и нажаловалась и моему, и Оськиному отцу.

Оська был склонен ко всяческим проказам. Таких, как он, бузотеров называли *стрикулистами*. Этимология этого слова мне не ясна, ну да ладно. От Райки не раз я слышал, что у Оськи несомненный музыкальный талант. Он хорошо играл на скрипке. Во время игры — я видел — Оська преображался, дурашливая улыбочка улетучивалась, он поджимал толстую нижнюю губу, а в глазах возникало как бы удивление красотой звука, извлекаемого из скрипки.

Оба они, Оська и Райка, кроме музыки, обучались и немецкому языку, дважды в неделю ходили на уроки к частной учительнице.

Однажды Оська наткнулся в телефонной книге на фамилию Зайчик. Он прибежал ко мне, и мы, недолго думая, позвонили. «Это Зайчик?» — спро-

сил Оська. «Да», — ответил обладатель замечательной фамилии. «Пиф-паф!» — крикнул Оська. Мы захохотали, два жизнерадостных дурачка. С того дня это стало нашей игрой. «Это Зайчик? — говорили мы в трубку. — Пиф-паф!» Неведомый Зайчик сердился, обзывая нас болванами, кретинами, но знаете, никогда не матерился.

Между прочим, я внял совету Михаила Лазаревича и прочитал «Илиаду». Она шла трудно, я спотыкался об архаические слова и обороты гнедичевского перевода, о бесконечное множество имен ахейских и троянских героев. Но, странное дело, постепенно я как бы вписался в торжественное течение поэмы. Как не восхититься, читая, например:

Так ополчившися пышносияющей медью, данаи

Двинулись; их предводил Посидаон, колеблющий землю,

Меч долголезвенный, страшный неся во всемощной деснице,

Равный молнии пламенной…

Прямо глазам больно от пышносияющих медью доспехов данайцев, ахейцев, грозно идущих, ряд за рядом, в бой.

Кто теперь так пишет, как старик Гомер? Никто.

Знаете, я попробовал описать гекзаметром давешнее происшествие на чердаке:

С визгом ужасным к нему прибежала

Клавдия, гнусная сплетница, дочь Поликарпа,

Кляузу новую тщилась затеять, в оную впутав

Тучегонителя, славного Лазаря сына…

Оська показал мои каракули отцу. Михаил Лазаревич подозвал меня и сказал, трогая пальцем седые усы:

— Ты сочинил неплохо. Есть чувство стиля. Но ты должен знать, что у Гомера — прикрепленные эпитеты. Ахилл и Аякс — быстроногие, Гектор — шлемоблещущий. А тучегонитель — только Зевс. И никто больше. Ты понял?

Я понял. И, так сказать, прикрепил эпитеты: Оську стал называть «крутовыйный Иосиф», а Райку — «румяноланитой девой». Они были близнецами, правда Оська уверял, что старше Райки на семнадцать минут, а Райка возражала, говорила: «Трепись!»

Райка, и верно, имела на полных щечках ру-

мянец, ей это ужасно не нравилось, она вообще была полна противоречий. Училась в музшколе на фортепьянах, но вдруг объявила, что ей это надоело. Мама, Розалия Абрамовна, всполошилась: «Как так, у тебя способности, абсолютный слух!» (В еврейских семьях принято, чтобы дети непременно учились музыке.) «Буду учиться на флейте!» — заявила капризная Райка.

Я сочинил:

Дева румяноланитая, как же ты можешь

Вместо кифары прекраснозвучащия

Дудку простую приставить к губам?

Райка засмеялась, когда я продекламировал свое сочинение, потом насупилась и потребовала, чтобы я перестал называть ее глупым словом «румяноланитая». Но я все же иногда называл, дразнил. Она, вспыльчивая, накидывалась на меня, размахивая кулачками и крича: «А ты дурак!»

Не знаю, как к музыке, а вот к шахматам у Райки точно были способности. В старших классах она вдруг стала здорово играть. Обыгрывала не только Оську и меня, но и сильных ребят из других классов и в межшкольных турнирах брала

призовые места. Это странно. Женщины в шахматы играют хуже мужчин. Если не считать Веру Менчик, конечно.

Вы, наверное, заметили: только я подступлюсь к описанию главного события нашей довоенной семейной жизни, как отвлекаюсь… ухожу в сторону…

Трудно мне дается этот сюжет.

Ладно, приступаю скрепя сердце.

У нас была хорошая семья. Мама заведовала детской библиотекой, вечно бывала озабочена устройством литературных вечеров, приглашала поэтов, пишущих для детей, — ну и все такое.

Отец часто работал дома. В редакции, говаривал он, трудно сосредоточиться, много трепотни. Свои очерки он писал дома — тут никто ему не мешал.

Я приходил из школы, отец отвлекался от писанины, спрашивал: «Ну, сколько двоек сегодня притащил?» — «Девятнадцать», — отвечал я и шел мыть руки. Мы с отцом доставали с широкого заоконного карниза кастрюли с едой, приготовленной мамой (холодильников в те поры́ еще не было), и обедали, перебрасываясь шуточками. Потом я убегал в яхт-клуб или в школу на волейбольную тренировку, отец же возвращался к

сочинительству.

А вечером, когда вся семья собиралась, по выражению отца, за пиршественным столом, наступало прекрасное время. Обсуждали дневные происшествия, мама жаловалась на дуру-методистку, дед вспоминал что-либо из событий давних времен.

— Вот ты закурил любимый «Казбек», Лева, — говорил дед, отпивая чай из стакана, сидящего в старинном серебряном подстаканнике. — А знаешь ли ты, как трудно начиналось курение табака в России? При царе Алексее Михайловиче оно было строго запрещено. Если кто попадался курящим в первый раз, то получал шестьдесят ударов палкой по пяткам. Попадешься второй раз — отрежут нос или ухо.

— Ничего себе! — Отец засмеялся и стряхнул пепел с папиросы мимо пепельницы. — Хорошо, что мы не в семнадцатом веке живем.

— Да, — сказал дед. — А в восемнадцатом Россия задымила. Петр велел курить табак, на ассамблеях в Питербурхе дым стоял коромыслом.

Мама спросила:

— А если баба курила, ее что — тоже палкой по пяткам?

— Не думаю, — ответил дед. — Хотя кто их

знает…

— Есть наглые бабы, которых надо колотить по пяткам ежедневно.

— Ну зачем так безжалостно?

— Затем, что не только курят, но и лезут к женатым мужчинам, — сказала мама, метнув в отца быстрый взгляд.

Ее огромные голубые глаза темнели, когда мама чем-то бывала недовольна. И тонкий ее голос как бы терял звучность, в нем появлялось нечто… не знаю… что-то сварливое…

Уж не помню, в тот ли вечер или в другой я, вычистив зубы, проходил через комнату родителей в свою (то есть в кабинет деда, где я спал на старой кушетке) и услышал, как мама бросила отцу странную фразу: «И вообще, закрой свой курятник!» Должно быть, у них происходил острый разговор, суть которого («курятник!») я понял позже, когда события разыгрались в полную силу.

Вы догадались, конечно, в чем тут дело. Ну да, отец был весьма неравнодушен к прекрасной половине человечества. Дух времени, что ли, был такой. Старый мир порушен, из пролитой большой крови, из голода, из гибели, грозящей отовсюду, рождается новая жизнь — так не упусти свой шанс, ухвати то немногое, что еще

осталось из радостей быстротекущей жизни…

Мамина сотрудница по библиотеке, хромоножка Мальвина, в Александринке, не помню уж, на каком спектакле, в антракте вышла в фойе и увидела моего отца с известной в Ленинграде поэтессой Людмилой Семенихиной. Они стояли, курили, отец ей что-то рассказывал. Семенихина, крашеная блондинка, в очень пестром креп-жоржетовом (по мнению Мальвины) платье, громко смеялась и вообще держалась вызывающе.

Когда отец, спустя два дня, вернулся домой, мама спросила, где он был.

— Ты же знаешь, — сказал он, — в командировке, в Кронштадте.

— Врешь! — выкрикнула мама, ее глаза потемнели, как предгрозовое небо. — Ты был у Семенихиной!

— Вера, перестань…

Отец кивнул на меня (я только что пришел из школы и уселся за стол в ожидании обеда).

— Вадим уже не младенец, и нечего скрывать от него, что ты подлец и изменник!

Отец отвернулся. Он стоял и молчал, а мама кричала не своим голосом:

— Развратник! Мне надоели твои похождения! Убирайся к своим бабам! Видеть тебя не могу!

— Вера, успокойся, — просил отец. — Да, я виноват, но давай разумно…

Но мама бушевала; из-под черной, с проседью челочки, закрывающей лоб, рвалась гроза; обычно тихий голос обличительно гремел на весь Васильевский:

— Разумно! Я разумно молчала десять лет… просила прекратить курятник… опомниться… Нет! Все кончено! Больше не могу! Сегодня же… Убирайся!.. Чтоб ноги твоей здесь больше…

Я тоже не мог больше слушать ужасный этот разговор. Выскочил из комнаты, едва не опрокинув идущего из уборной Покатилова. Он обругал меня матом. Промчавшись по коридору, я сбежал вниз, во двор, где мальчишки гоняли мяч, и дальше, дальше, куда глаза глядят… по 4-й линии, вокруг Академии художеств… В Румянцевском сквере было малолюдно, вот и хорошо, я бросился на скамейку близ фонтана.

Фонтан, как всегда, не работал. В его бассейне, закиданном сухими ветками и прочим мусором, прыгали, чирикая, воробьи. С набережной тренькали звоночки трамваев. Жизнь шла, несмотря ни на что. Невозможно было себе представить ее без отца. «Родители! — взывал я сквозь слезы (да-да, первый раз в жизни я плакал). — С ума

вы сошли?!»

— Мальчик, кто тебя обидел? — вдруг спросил с соседней скамейки пожилой очкастый дядя, читавший газету.

— Никто, — буркнул я и пошел вон из сквера.

Странно: будто не этот старикан меня окликнул, а кто-то сверху… Уж не сам ли полководец Румянцев с высоты своего обелиска?..

Я долго шлялся по Васильевскому острову. В голове бродили дикие мысли. Влепить пощечину отцу, крикнув: «Это тебе за предательство!» Убить поэтессу Семенихину… С криком: «Не хочу с вами жить!» — сигануть в Неву…

Когда я пришел домой, мама сидела на диване и разговаривала с Розалией Абрамовной. Я подумал: вот, соседка, врач, пришла успокоить маму. Но, кажется, было как раз наоборот. Мама выглядела обычно — то есть спокойной деловитой женщиной, знающей, как управляться с заботами дня. Словно ее не била истерика три часа назад. А вот у Розалии Абрамовны крупное толстощекое лицо выглядело необычно: черные полоски бровей домиком кверху, глаза мокрые, — никогда я не видел эту сильную, несколько мужеподобную женщину такой — растерянной, что ли…

— Роза, извините, — сказала мама, — мне надо

Диму покормить.

— Это вы меня извините, Верочка. — Розалия Абрамовна, вытирая глаза платком, поднялась с заскрипевшего дивана. — Очень, очень жаль, что у вас… Ну, может быть…

— Надеюсь, Роза, — перебила ее мама, встав, — что все у вас наладится. Привет Михал Лазаревичу.

Как ни в чем не бывало она разогрела на кухне обед, принесла на подносе и налила мне гороховый суп с кусочками мяса. И села напротив, подперев ладонью сухую щеку. Как бы издали вгляделась в меня, а потом сказала:

— Тебе надо постричься. — И — без всяких подготовительных слов: — Дима, нам теперь придется жить без него.

Я отложил ложку. Не шел мне в горло суп.

— Я делала все, чтоб сохранить семью. Терпела. Просила не держаться этой сволочной новой морали, ну ты знаешь, наверно, — чтобы все было так же просто, как выпить стакан воды…

За окнами вдруг стало быстро темнеть. Дождевые тучи накрыли Васильевский остров, в стекла забарабанил дождь.

— Так вы что же, разведетесь? — спросил я.

— Никакого развода не будет, потому что наш

брак не оформлен. Тогда это не было нужно. Теперь другое время, браки регистрируют в загсе. Но мы так и не удосужились… Что-то я не то говорю… — Мама отвернулась к окну. — Какой ливень! А дед ушел утром без зонтика… Погоди, Дима, съешь вот рыбную котлету.

— Не хочу, — сказал я, роясь в своем портфеле. — Оська, черт, утащил Фалеева и Перышкина…

— Что утащил?

— Учебник по физике. Спущусь к нему.

— У Виленских переполох, — сказала мама, звякая тарелками по подносу. — Михал Лазаревичу завернули из издательства рукопись книги.

— Почему?

Я знал, что у профессора Виленского принята к изданию книга об искусстве Древней Греции, большой десятилетний труд, можно сказать — итоговый.

— Узнал, что из Эрмитажа продали двадцать картин. Рембрандта, Рубенса, Боттичелли.

— Кому продали? — недоумевал я.

— Каким-то американским миллионерам. И европейским. Португальцу какому-то.

— Ничего не понимаю. Зачем продавать такие картины?

— Не знаю. Правительству деньги, наверно,

нужны. Михал Лазаревич узнал и — ну, отрицательно высказался. На каком-то академическом собрании. На лекции в университете тоже сказал, что нельзя распродавать шедевры искусства. А теперь, накануне учебного года, его вызвали в ректорат и предложили подать заявление об увольнении. По состоянию здоровья.

— Его уволили? Оська мне ничего…

— Близнецам велели молчать. Хорошо хоть, что в Академии художеств пока его не тронули.

— Что значит — пока? Он в Академии всю жизнь читает про античное искусство.

— Пока не тронули. Роза Абрамовна так сказала. Она страшно встревожена. Вчера Михал Лазаревичу позвонили из издательства, что расторгают договор. Она прибежала с отцом посоветоваться… можно ли через газету помочь…

Вот как: к отцу пришла. А отца — нет. Мама его прогнала. Как же это… нет и не будет?.. Чертовщина какая-то…

Мама вдруг прижала мою голову к своей щеке:

— Димка, ты прости… прости нас, что так нехорошо, некрасиво… Пойми, пойми, я долго терпела, но уже просто невозможно…

— Понимаю, мам, понимаю. — Я гладил ее по худенькой спине. — А отцу никогда не прощу.

Она отшатнулась, всмотрелась в меня:

— Нет, Дима, так тоже нельзя. Он же отец, он любит тебя, вы должны встречаться и…

— Не прощу, — повторил я упрямо. — Предательство не прощают.

Спустя месяц умер дед — задохнулся на строящемся корабле. Никогда не забуду, как рыдала над его гробом мама. Вселенский плач — кажется, так называется это…

Глава вторая
Вадим Плещеев влюбился

Парголово!

Сквозь режущий глаза морозный ветер, сквозь снежную пыль, взметенную лыжниками, сквозь парок собственных выдохов видит Вадим Плещеев темную полоску леса. Туда уходит лыжня, да не одна, и лавиной скатываются по ним курсанты с горки — черные бушлаты, черные шапки, разгоряченные молодые лица, мелькание палок, чей-то разбойный свист…

Сто раз, а может больше, бегал тут, в Парголове, Вадим на лыжах, но никогда еще не жаждал так, как сегодня, первым прийти к финишу. В училище, конечно, были сильные лыжники, ну а он, Вадим Плещеев, тоже не из слабаков.

— Эй, фигура! — орет он, догоняя коренастого паренька с одной «галочкой» на рукавах бушлата. — Дорогу!

Но тот, конечно, не намерен уступить дорогу. Невежа, салажонок с первого курса. У него, Вадима, корма тоже не обросла еще ракушками, но все-таки он уже второкурсник. Вам понятно? Он

уже на втором курсе лучшего в мире Военно-морского училища имени Фрунзе.

Ладно. Сойдя с лыжни, Вадим обходит салажонка и начинает подъем на пригорок. Бам-бам — хлопают лыжи по пяткам башмаков. Серое январское небо хмуро нависает над Парголовом, высыпает очередной заряд колкого снега.

Ну! Одолев подъем, Вадим втыкает палки в снег, переводит дыхание, а лес — вот он, совсем уже близко. Спуск! Пригнувшись, мчится Вадим к стене елей, чьи темно-зеленые ветви поникли от налипшего снега. Теперь — ровная лыжня вдоль лесной опушки. Набрать скорость! Вон одинокая сосна впереди — торчит, как дежурный по трассе, — по дороге к ней непременно обогнать еще двоих! Черт знает, зачем ему это нужно… такое напряжение сил, что сердце стучит у горла… как дробь барабана… Обходит одного, ну теперь — следующего…

Но следующего соперника обогнать не удается. Весь в снежной пыли, белобрысый, без шапки, соперник первым проносится мимо одинокой сосны… Вот же работает палками, черт длинноногий… Это Валька Травников с третьего курса…

Последний круг двадцатипятикилометровой гонки. Все оставшиеся силы, весь резерв выло-

жить — только бы не подвел, не выскочил из груди мотор, работающий на предельных оборотах… «А ну, давай, Вадим… нажми, нажми!»

Лыжня уходит в перелесок, петляет меж сосен… тут гляди в оба… не врезаться бы на повороте в эти три сосны… три сестрички мохнатые… А пот так и льет из-под шапки на глаза… сбросить бы шапку, да жалко… казенное имущество все же… хрен знает, какие дурацкие мысли лезут в голову на бегу…

Нет, не обогнать Травникова. А это что за пыхтение за спиной? Гляди-ка, первокурсник наддал и обгоняет справа… «Как смеешь, салажонок лупоглазый?.. Вот я тебя!»

Но на подъеме — последнюю горку взять перед финишем — Вадиму не удается обойти салажонка. Выдохся Вадим. Дышит бурно, со свистом. «Черт с ними, приду третьим… Третий — это тоже результат…»

Спуск к финишу! Лыжи сами несут Вадима вниз по склону. А ну, а ну!.. Травникова не обогнать, далеко ушел, но салажонку сесть на хвост… «Нажми, Вадим!..»

Эй, осторожно! Вон финиш, там полно народу, но лыжня затерта… снег раскатан, лыжи разъезжаются…

А-а-ах ты!.. Занесло…

С разбега, с разгону скользят лыжи в сторону, левая ударяется о сосну… треск!

Вадим падает, но тут же, облепленный снегом, поднимается, снимает с башмаков лыжи — сломанную и целую — и, схватив их и палки под мышку, бежит к финишу.

Главное — пересечь финишную черту! Разве не так?

И он пересекает ее бегом и, тяжко дыша, валится в хрупкий снег на обочине. Слышит: ему хлопают в ладоши. Капитан, училищный руководитель физподготовки, направляется к нему, озабоченно улыбаясь.

С Валентином Травниковым Вадим познакомился год назад, еще когда на первом курсе учился. Он вечером сидел в комнате для самоподготовки, вгрызался в «Краткий курс» — готовился к зачету по основам марксизма-ленинизма. Рядом сидел за столом Паша Лысенков, однокурсник, но, похоже, он уже дремал, подперев щеку кулаком. Паша был «науконеустойчив», его на лекциях клонило в сон. И что интересно, при этом он не переставал писать в тетради. Вадим однажды заглянул в его тетрадку: неужели Паша, задремав, продолжал конспектировать лекцию? Нет,

чудес не бывает, Паша не лекцию записывал, а беспрерывно расписывался. Надо же, спал, а рука автоматически двигалась, ставила подпись. Чудо не чудо, но все же достойно удивления.

Итак, сидели они в комнате самоподготовки, Паша клевал носом, а Вадим как раз добрался до Пражской конференции, и тут вошли несколько курсантов-второкурсников, громко переговариваясь. Двое остановились в проходе между столами.

— Гляди-ка, — заметил один, — у этого салажонка шишка на голове.

Вадим вскинул взгляд на сказавшего это черноглазого курсанта с тонкой полоской черных усиков над усмешливым ртом.

— Да, — хохотнул второй, долговязый малый с аккуратным белокурым зачесом. — Как у алжирского дея.

— У алжирского дея, — сухо сказал Вадим, — шишка была не на голове, а под носом.

— Ух ты! — удивился белобрысый. — Грамотный курсант пошел, классику читает.

Шишка, и верно, была у Вадима на голове, над затылком, и довольно большая — как циферблат часов «Павел Буре», доставшихся ему после смерти деда Ивана Теодоровича. Мама,

обеспокоенная, таскала Вадима к врачам, но те утверждали, что шишка не опасна, только не надо ее трогать. Обычно она была скрыта шевелюрой, но теперь-то, при поступлении в училище, Вадима постригли. Оська Виленский, как увидел его стриженого, сразу стал дразнить: «Гололобая башка, дай кусочек пирожка!» Он-то, Оська, как скрипичный вундеркинд, поступил в консерваторию. А там не стригли.

Валентин Травников — это он удивился, что «грамотный курсант пошел», — вскоре присмотрелся к Вадиму не по поводу шишки на голосе, а по спортивному вопросу.

В училище волейбол был любимым видом спорта. Вот Травников, игравший в сборной команде училища, однажды посмотрел, как играют первокурсники — класс с классом, — и после матча подошел к Вадиму.

— Как твоя фамилия?

— Плещеев, — сказал Вадим, разгоряченный игрой.

— Ух ты, громкая какая фамилия! — сказал Травников. — У тебя прыжок невысокий, но удар ничего. Подача получается.

— Я стараюсь, — кивнул Вадим. — Если у тебя все, я схожу в душевую.

— Иди, иди, Плещеев. Мочалку не забудь.

Они и потом встречались иногда в коридорах, обменивались подначками, как было принято в училище, но в начале второго семестра Травников сделал Вадиму серьезное предложение:

— Слушай, Плещей бессмертный. Предстоят межучилищные соревнования, а Жорка Горгадзе заболел. Давай-ка мы тебя попробуем как запасного. А?

Войти в волейбольную сборную училища — это, знаете, не кружку компота из сухофруктов выпить. Но для порядку Вадим поломался немного:

— У нас кораблевождение много времени занимает.

— Тренировки начинаются в двадцать ноль-ноль, — сказал Травников.

— Ты флажным семафором сколько знаков в минуту передаешь?

Но Травников и этот вопрос пропустил мимо ушей.

— Значит, если завтра в двадцать ноль-ноль не придешь, то махай флажками и дальше.

Конечно, Вадим в назначенный час пришел в спортзал. У него, и верно, подача была крепкая, мяч пролетал низко над сеткой и «падал стремительным домкратом», как определил

Травников, знаток Ильфа и Петрова. Топил Вадим не так чтобы очень, но — принимал «гиблые» мячи и накидывал для топки неплохо. Вскоре он утвердился в списке сборной и стал играть в матчах. Он высоко накидывал мяч Травникову, и тот, прыгучий, как дикий кот, топил с ирокезским выкриком. Если же Вадим подавал ему мяч неудачно, Травников кричал: «Ах ты, япона мать!»

Кстати, о начитанности. Валя Травников обожал Зощенко и Ильфа-Петрова, а кроме этих, и верно, замечательных писателей, читал только морские книги.

— Мне, — говорил он, — «Танкер „Дербент“» интересней, чем «Анна Каренина».

— Да ты что, Валька? — удивился Вадим. — Разве про любовь неинтересно?

— Про несчастную любовь — да, неинтересно. А про счастливую никто не пишет. И давай сменим тему. Ты «Морского волка» Джека Лондона читал?

— Читал.

— Как называлась шхуна Волка Ларсена?

— Кажется, «Призрак».

— Не кажется, а точно. А корабль Грэя из «Алых парусов»?

— Ну это все знают. «Секрет».

— Ладно. — Травников подумал несколько секунд, покусывая большой палец. — Ты говорил, что читал Джозефа Конрада. Как назывался пароход в романе «Лорд Джим»? Который потонул с паломниками на борту?

Теперь Вадим задумался. «Вот же черт длинноногий, обязательно ему нужно меня к стенке припереть…»

— Не помню, — сердито сказал он. — Я не обязан помнить потонувшие пароходы.

— Ты же в моряки записался, значит должен помнить. — В светло-зеленых глазах Травникова плескалось насмешливое выражение. — А какой корабль привез Миклухо-Маклая на Новую Гвинею и какой оттуда вывез — хоть это ты знаешь?

— Привез корвет «Витязь», а вывез клипер «Изумруд».

— Ладно. Ну иди, учись кораблевождению. Пока.

Легкой походкой Травников направился к выходу из спортзала.

— Валя! — окликнул Вадим. — Так как назывался потонувший пароход у Конрада?

— «Патна»! — крикнул Травников и скрылся за дверью.

Однажды Вадим спросил, откуда он родом, из приморского города, наверное?

— Нет, — сказал Травников, — я сухопутный человек. Из Губахи. Ты, конечно, знаешь, где находится этот населенный пункт. Не знаешь? — притворно удивился он. — А я-то думал, ты в географии разбираешься.

— Ах да, вспомнил: Губаха — столица княжества Лихтенштейн.

— Во, правильно! — Травников усмехнулся. — Там князя так и зовут: Губаха-парень.

По обыкновению, они потравили немного, а потом Травников все же, коротко, в отрывистой манере, рассказал о себе.

— Я родился в Губахе, городке в Пермской губернии, — там жил мамин отец, лесопромышленник — бывший, конечно, — папа у него работал на сплаве — сила неимоверная, бревна ворочал, — влюбился в дочку лесопромышленника, а она в него, — раньше умели любить — не то что твоя Анна Каренина…

— Она тоже умела, — заметил Вадим.

— Поженились, и две дочки у них родились — было бы больше, но тут мировая война — папа воевал на турецком фронте — тяжело ранен при взятии Эрзерума — выжил — Гражданская нача-

лась — пошел в Красную армию — под Астраханью опять ранило — вернулся в Губаху — апрель девятнадцатого — как раз Колчака погнали за Каму — в Губахе черт ногу сломит — папа с недолеченной раной пошел дальше воевать — тут и я вскоре появился — с твоего разрешения…

— У меня, — сказал Вадим, — нет никаких возражений. А почему ты, сухопутный шпак, вдруг пошел в моряки?

— Ты, конечно, знаешь, что Губаха стоит на реке Косьва? — Травников с отрывистой речи перешел на обычный язык. — По Косьве все лето бревна плыли. Молевой сплав, понятно? Мы, пацаны губахинские, ныряли под плывущие бревна. Такая была игра. Я однажды нырнул, а выплыть — не могу. Сплошные бревна над головой. Задыхаюсь уже, нечем же дышать. Ногти рву о бревна снизу…

Травников умолк, вытащил пачку «Беломора», закурил.

— А дальше? — спросил Вадим, тоже закурив.

— Раздвинул бревна. В последнюю секунду. Такое страшное усилие пришлось… В общем, всплыл. — Травников помолчал, а потом, усмехнувшись, закончил: — И решил: раз вода меня не берет, значит пойду в моряки.

Можно было подумать, что он, с его склонностью к морской травле, сочинил историю с плывущими над головой бревнами, но Вадим видел или, скорее, чувствовал, что Валя не врет. Были, были эти бревна на реке Косьве.

А в тридцать втором году отца Травникова, воевавшего в туркестанских песках с басмачами и дослужившегося там до высоких чинов, отозвали в Москву на крупную работу в профсоюзах. В Москве и протекала дальнейшая молодая жизнь Вали Травникова. Он в отца пошел: и ростом вымахал, и силушка такая же в нем взыгрывала, и убежденностью в правильном ходе государственной жизни был он схож с отцом. Вот только чертами лица не в папу пошел, с его башкирской внешностью, а в маму, златокудрую купеческую дочку, — та же прозрачная зелень проросла в его глазах, что и у нее.

Сестры устраивали свою жизнь по технической части: старшая училась в Бауманском институте (и замуж там пошла за доцента в области сопротивления материалов), а младшая вовсе даже поступила в МАИ. «Надо бы и тебе, Валентин, по авиации пойти, — говорил папа Ефим Травников. — Гляди, какие перелеты. Стране самолеты нужны». «Да-да, — кивала мама Анастасия Леон-

тьевна, — определиться надо, Валечка, в десятом классе уже, а ты все бегаешь-прыгаешь».

Валя, и верно, очень спортом увлекался, но на первом-то месте было у него морское дело, питаемое чтением книг о море, греблей по Москве-реке и интересом к звездному небу в планетарии. К окончанию десятилетки он уже вполне определился — и поехал в Ленинград поступать в Военно-морское училище имени Фрунзе.

31 декабря курсант Вадим Плещеев получил увольнение до девяти часов утра 1 января 1941 года. Это была удача! Учитывалось, конечно, что Вадим ленинградец и что курсант он — по учебной части и по дисциплине — исправный.

Часу в восьмом вечера, быстро пробежав короткий путь с 8-й линии Васильевского острова, где находилось училище, до 4-й, Вадим взлетел на третий этаж родного дома.

— Димка! — Вера Ивановна повисла у него на шее. — Какая приятная неожиданность! У тебя увольнение до утра?

— Ага. Дайка-ка сниму мокрую шинель. Ну как ты, мам?

Он, улыбаясь, всмотрелся в Веру Ивановну. Уже, конечно, не девичья тонкая фигурка, все же под сорок лет, не шутка. Черные волосы, гладко

обтекающие голову, тронуты сединой, а челочка, закрывающая лоб, совсем поседела. Но глаза — по-прежнему сумасшедшей голубизны.

— Димка, ты голодный?

— Нет, только что поужинал.

— Вас хорошо кормят? Вот, съешь яблоко. Ты хочешь переодеться? Не надо, тебе идет морская форма. — Вера Ивановна прямо-таки излучала радость, редкую в ее нынешней одинокой жизни. — Мальвина принесет торт, я-то не мастерица печь, а она умеет. И Елизавета придет, тоже принесет что-то. А у меня вино хорошее, кагор, и салат приготовлю, вот и встретим Новый год как полагается. И ты с нами, тремя старыми бабами, да, сыночек?

— Я с вами посижу, конечно, — сказал Вадим, хрустя яблоком. — Но вообще-то, у Виленских встречу. У Оськи и Райки, ты же знаешь, тридцать первого день рождения.

— Да-да, помню. Я сегодня с Розалией говорила, поздравила. У нее после смерти Михал Лазаревича один свет в окошке — Ося. Кажется, он станет большим музыкантом.

— Может, и станет. Если струны не порвет.

— С чего это он порвет? — удивилась Вера Ивановна.

— Слишком сильно бьет смычком.

— Глупости какие… Дима, знаешь, отец сегодня звонил. Поздравил с Новым годом и спрашивает: а как там наш гардемарин? Ты бы позвонил отцу хоть разочек.

— Мне не о чем с ним говорить.

— Ох, Дима… упрямый, непреклонный… У него новая книга вышла. Вернее, старая — «Люди Арктики», которая застряла три года назад. Из-за того, что он вывел героем этого, ну, главного полярника, которого посадили…

— Самойло́вича.

— Да, верно. Отец говорит, ему пришлось всю книгу перелопатить.

— Я рад за него, — сухо сказал Вадим. — А вот что бы Оське подарить? И Райке?

Он, конечно, знал, что отец поддерживает отношения, звонит маме и, кажется, помогает материально (хотя мать об этом никогда не говорила). Знал, что, недолго прожив с поэтессой Семенихиной, отец женился на сотруднице, журналистке Галине Вартанян, и что у них родилась дочка Люся. Нет. Вадим не укорял мать в том, что она окончательно не оборвала отношения с отцом. Пусть общаются, но — без его, Вадима, участия. Он вышвырнул этого человека из своей

жизни. Предательство не может быть прощено.

Но, по правде, каждый раз, как мать передает от него приветы или просто рассказывает о нем, о его книгах, Вадиму бывает не по себе. Горечь подступает к горлу, и всплывают сами собой воспоминания, непрошеные, ненужные…

— У меня неначатый флакон одеколона, возьми и подари Раечке.

— Спасибо, мама!

А Оське что подарить?

А, вот что: треуголку Ньясы. Оська с ума сойдет от радости, он ведь давно положил на нее глаз. Вадим полистал альбом с марками. Вот африканские листы, вот зеленая треуголка Ньясы. Жираф, вытянув шею, лакомится ветками пальмы. Рядом еще одна треуголка, с портретом Васко да Гамы. Ну уж дудки, да Гаму он не отдаст. Жирафа тоже, конечно, жалко, такая красивая марка, украшение коллекции… Ладно, прощай, жираф.

Да, но одной марки для подарка маловато. Может, отдать еще эту — Либерию, на ней тоже пальмы. Или вот эти три — Французская Западная Африка, Дагомея — негр, забирающийся на кокосовую пальму. Что ж, хороший подарок — любой филателист облизнется.

Вадим положил марки в коробочку из-под ка-

ких-то пилюль и завернул в газету — получился довольно объемистый пакет, намекающий на крупный подарок. Затем уселся за старинный письменный стол покойного деда, закурил и принялся сочинять стихотворное послание, придерживаясь излюбленного размера — гекзаметра.

Веселая хорошая работа увлекла его. Не сразу он услышал голоса в соседней комнате. Вера Ивановна заглянула в кабинет:

— Ой, как ты накурил, Димка! Уже гости пришли. Выходи. Будем провожать старый год.

Гости были скорее гостьями: Мальвина, мамина многолетняя сотрудница по библиотеке, с библейски красивым лицом и плосковатой фигурой, хроменькая после перенесенного в детстве полиомиелита, и Елизавета Юрьевна. Эта маленькая ростом миловидная блондинка около года назад появилась в квартире — обменяла свою комнату на Охте на комнату между кухней и Покатиловыми.

«Никогда бы с Охты не ушла, — рассказывала она, — если б на работу ездить не приходилось так далеко». Работала Елизавета в больнице операционной медсестрой и от специфики этой работы, а может, от природы характер имела

решительный. «Которые хамят, я таких не люблю, — говорила она. — Чего вы тут Покатиловым поддакиваете?» Она-то не поддакивала. Клавдию Поликарповну, грубиянку крикливую, осадила резкими словами и, между прочим, потребовала, чтобы та в кухне освободила место для ее, Елизаветы, столика. А Покатилову, когда он, пьяный, обматерил ее, что в уборной долго сидит, Елизавета такое наговорила, что тот, заметно трезвея, молча прошагал в свою комнату и сильно хлопнул дверью.

— А-а, моряк красивый сам собою, — заулыбалась Елизавета Вадиму. — Поработай вот, открой консервы.

Она тут была главнокомандующим. Маленькая, коротко стриженная, в желто-полосатом платье с широким белым воротником, Елизавета руководила подготовкой к пиршеству. Вадим взял консервный нож, вспорол две банки «чатки» — тихоокеанского краба, недавно появившегося в продаже.

— «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», — процитировал он известную рекламу.

— Молодец, — сказала Елизавета. — Теперь лук порежь. А то Мальвина все глаза выплакала.

— Ой, он такой едучий… — Мальвина промокнула глаза платочком. — Верочка, а лопатка для торта у тебя есть? Ну да, я помню, имелась лопаточка… Какой у нас стол хороший… Не хуже, чем в «Большом вальсе». Помните? У Штрауса, когда к нему пришел этот… издатель нот…

Стол, и верно, получился что надо. Среди блюд с салатами высились бутылка кагора и графин с зеленоватой настойкой, сделанной умелой женщиной Елизаветой Юрьевной.

Она же и провозгласила первый тост:

— Уходящий сороковой начался плохо, война шла рядом с нами, в Питере все больницы забиты ранеными с линии Маннергейма, сколько побило людей — ужасное дело. А кончается год хорошо. Войны нет. Там где-то идет, в Европе, а у нас тихо. Вот и выпьем, чтобы наступающий год был такой же тихий. Чтоб люди спокойно жили, так?

Кто ж за это не выпьет — за *спокойную жизнь*? Даже Вера Ивановна, непьющая, осушила бокал кагора. Ее бледные щеки порозовели. Она Вадиму положила горку салата на тарелку: «Ешь, Димка, ешь, ты такой худой…» И ввязалась в спор с Мальвиной, тоже очень оживленной от выпитого вина.

— …Конечно, красивая она, Милица Корьюс, —

говорила Мальвина, щуря свои миндалевидные глаза, — но все равно самая прекрасная — Франческа Гааль! Вспомните, девочки, — «Петер»!

— Ну и что? — спорила Вера Ивановна. — Только и есть у твоей Франчески что приятная мордашка.

Вадим поедал салат, крабов тоже не забывал. В голове у него слегка шумело от крепкой настойки, и острый ее дух держался в ноздрях. «Большой вальс»! Ну еще бы, как прошлым летом прокрутили его в Питере, так все и обалдели. Такая картина! Вроде бы там революция 1848 года происходит — но разве это революция? Катят они, Штраус и Карла Доннер, в коляске по Венскому лесу и на ходу сочиняют вальс… такая красота… почтовая карета им трубит музыкальную фразу… и топот лошадиных копыт… Не революция у них, а сплошной нэп.

Сам же и засмеялся Вадим от этой странной мысли.

— Чего ты смеешься? — сказала Елизавета. — А давайте выпьем за Вадима! За будущего моряка!

Хлебнув настойки, Елизавета пустилась рассказывать, как прошлой зимой была потрясена, когда увидела первого раненого, привезенного с финской войны.

— Ранение грудной клетки. Молодой-молодой, ну мальчик, лежит почти без пульса, вот такая осколочная рана у соска, и через нее воздух со свистом входит и выходит. Никогда этот свист не забуду! — Елизавета, зажмурясь, помотала головой. — И при каждом вздохе струйка крови фонтаном… Открытый пневмоторакс… Ужасно…

— Выжил он? — спросил Вадим.

— Нет. Слишком большая кровопотеря… Ой, насмотрелась я. Столько операций. Мы многих спасли, у нас хирурги замечательные… Ну, давайте еще — чтоб не гибли наши мальчики на войне…

Вадим посмотрел на «Павла Буре», исправно отсчитывающего последние часы сорокового года. Шел уже одиннадцатый час. «Может, не идти к Оське встречать Новый год? Уж очень я расслабился…»

— Я та́к скажу, — звучал низкий голос Елизаветы, — в нашем деле главное — новокаиновая блокада и мазь Вишневского…

«Нет, надо пойти, Оська и Райка обидятся, день же рождения у них».

Вадим простился, пожелал женщинам счастливого Нового года. И спустился на второй этаж.

Оська, очень нарядный, в черном бостоновом

костюме, при черном же галстуке, отворил дверь и гаркнул:

— Ага, заявился, гроза морей! Свистать всех наверх!

Вадим вручил ему пакет с подарком и вошел в большую комнату квартиры Виленских. Тут за накрытым столом сидели седоголовая Розалия Абрамовна в клетчатом жакете и Райка в темно-зеленом платье с рукавами, обшитыми рюшами. И еще сидела за столом незнакомая дева — от ее улыбки у Вадима сердце подпрыгнуло к горлу.

Он вручил Райке одеколон, подарок был благосклонно принят. А Оська, развернув газету и добравшись до марок, восторженно завопил:

— Ньяса с жирафой! Ура!

— С жирафом, — поправил Вадим. — Он самец.

Райка представила подругу:

— Это Маша, моя однокурсница. Маш, это Вадим Плещеев, наш сосед. — И добавила со смехом: — Помещик двадцати двух лет.

— Очень приятно, товарищ сосед, — сказала Маша, протянув Вадиму крупную белую руку.

Непонятно, что́ вдруг ударило Вадиму в голову — может, электрический разряд? Он нагнулся и поцеловал протянутую руку. Маша отдернула ее:

— Что вы делаете?!

— Извиняюсь, — пробормотал Вадим. — Я не нарочно…

— Он не нарочно! — вскричал Оська. — Он — случайно! Ха-а-а-ха-ха-а…

— Ося, угомонись, — сказала Розалия Абрамовна. — Дима, садись. Раечка, налей ему вина. И холодец положи. Сто лет не делала холодец, а сегодня сделала, — кажется, получился. Ты что-то похудел, Дима. Вас в училище плохо кормят?

— Нет, кормят хорошо. — Вадим сел между Раей и Машей. — Спасибо, Райка. — Поднял бокал, наполненный красным вином. — Розалия Абрамовна, лучше всего у вас получились близнецы, — сказал он. — Поздравляю вас.

— Спасибо. — Розалия Абрамовна, чье крупное лицо с черными бровями домиком хранило печальное выражение с того далекого уже дня, когда профессора Виленского свалил паралич, улыбнулась. — Ты правильно сказал, Дима. Между прочим, я и к твоему появлению на свет имела некоторое отношение.

— Тут у тебя получилось гораздо хуже, чем с нами, — заявил Оська и опять залился смехом, похожим на лай.

Перед Машей он выпендривается, подумал

Вадим. Парадный костюм нацепил. Может, для него и пригласила Райка свою подругу?

Он искоса посмотрел на Машу. Что тут скажешь, настоящая красотка, почти как Любовь Орлова. Только волосы темнее — два пышных русых крыла ниспадают на щеки, оставляя открытым треугольник белого лба. Маленький нос будто по линейке выточен. А губы!..

— Я в архивах копался, — сказал Вадим, — и нашел старинное стихотворение. Можно, я прочту?

Ты, крутовыйный Иосиф, искусно на скрипке играешь,

Длинным смычком из нее извлекаешь различные звуки,

Оными слух окружающих граждан желая насытить,

Дерзко пытаясь сравняться с самим Аполлоном великим,

Непревзойденным в игре на кифаре и в играх любовных.

Знай же, Иосиф, игрок крутовыйный, что счастье

Вовсе не в том, чтоб терзать терпеливые струны,

Длинным смычком беспрерывно по ним ударяя, —

Счастье не в том. Ну а в чем оно, собственно, счастье, —

Определить не берусь. Но скажу тебе, друг мой,

Что себя ощущаю счастливым я в те лишь минуты,

Когда скрипка твоя громкозвучная вдруг умолкает.

Смех раздался за столом.

— Прямо новый Гомер, — смеялась Маша.

— Вадька, — закричал Оська, — склоняю перед тобой крутую выю! Райка, положи ему еще холодца!

— Слышала? — сказал ей Вадим. — А то ты сама ешь, а другим не даешь.

— Трепись! — сказала Райка, накладывая ему холодец на тарелку. — За тобой не поспеешь. Ты обжора. Жеривол и Курояд.

— Кто я? — не понял Вадим.

А Маша, смеясь, пояснила:

— Раечка курсовую работу писала о Феофане Прокоповиче. У Феофана была комедия «Владимир» — он высмеивал жрецов-язычников, с

которыми вел борьбу князь Владимир. Вот этих жрецов, обжор и развратников, Феофан так назвал: Курояд, то есть пожиратель кур, Жеривол…

— Пияр, — добавила Райка, — то есть выпивоха. Дело в том, что Феофан Прокопович был сторонником Петра и в своей комедии отразил борьбу Петра с реакционным духовенством…

Тут из радиоприемника — лакированного ящика, стоявшего на комоде, — раздался неторопливый державный звон кремлевских курантов. После двенадцатого удара грянул «Интернационал».

— Ну вот и сорок первый! — возгласил Оська. — Привет, сорок первый! С Новым годом!

— Как хочется, чтобы год был спокойный, — сказала Розалия Абрамовна. — Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие.

Выпили вина за неведомый сорок первый. Оська завел патефон. Вступил чистый голос Шульженко: «Нет, не глаза твои я вспомню в час разлуки… Не голос твой услышу в тишине…»

— Всем танцевать! — объявил Оська и пригласил Машу.

«Я вспомню ласковые, трепетные руки, и о тебе они напомнят мне…»

Они хорошо танцевали. Оська, подобрав тол-

стую нижнюю губу, держался прямо, голову вдохновенно откинул назад. Вот только был он ниже Маши почти на полголовы. А она, крупная, красивая, в облегающем синем платье с белым бантом на груди, кружилась, смеясь, под поднятой Оськиной рукой.

«Руки! Вы словно две большие птицы! Как вы летали, как оживляли все вокруг…»

— Пойдем. — Райка потянула Вадима танцевать. — Оторвись наконец от еды, Курояд.

«Руки! Как вы могли легко обвиться и все печали снимали вдруг…»

Девочку Раю, капризную и своенравную, Вадим помнил столько же, сколько помнил себя. Вот рядом, под подбородком, покачивается ее каштаново-кудрявая голова. Ее глаза, не то синие, не то темно-серые, то и дело меняют выражение — сердитое, ласковое, возмущенное, а то и вовсе отсутствующее, — странные глаза. Это она — Райка, привычная, как Оськина скрипка. И в то же время — уже не тарахтелка-толстушка, как в детстве. Талия, перетянутая серебристым поясом, уже, можно сказать, женская. На повороте Вадим, как бы невзначай, прижал к себе Райку, ощутив ее упругую грудь. Райка вскинула на него взгляд не то негодующий, не то вопрошающий. Она

была *другая*, вот что…

— Ты наступил мне на туфли, — сказала она.

— Извини. Я же плохо танцую… А эта твоя Маша, — спросил он, — всегда смеется, да?

— С чего ты взял? Она очень серьезная. Она у нас групкомсорг.

— Давно с ней дружишь?

— Недавно. Мы с ней прошлой зимой, когда финская война шла, вместе сдавали донорскую кровь. Для раненых.

— Кровная дружба, значит. Она ленинградка или…

— Ой, опять наступил! Медведь косолапый… Маша в Кронштадте живет. А тут — в общежитии на Добролюбова. Оська, поставь «Утомленное солнце».

Оська сменил пластинку. Мужской голос, исполненный неизбывной печали, повел:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви…

— Солнце не может быть утомленным, — сказал Вадим. — Оно просто горит.

— Это у тебя все просто, — сказала Рая.

Мне немного взгрустнулось —
Без тоски, без печали
В этот час прозвучали
Слова твои…

Оська вдруг спохватился:

— Чуть не забыл! — Метнулся к телефону, набрал номер, закричал в трубку: — Зайчик, это ты? С Новым годом! Что? Зайчик, не надо ругаться. Пиф-паф!

В том январе объявили в училище культпоход в театр имени Пушкина (его по-прежнему называли Александринкой) на спектакль «Мать» по пьесе Карела Чапека. И Вадим вот что надумал: пригласить Машу. Он, конечно, понимал странность, даже неловкость такого поступка: с Машей он едва знаком, не его это девушка, и вряд ли она примет приглашение. Да и как до нее добраться? Можно, конечно, дозвониться до университетского общежития на Добролюбова, но студентку к телефону не позовут. Ладно хоть, что он узнал от Райки ее, Маши, фамилию: Редкозубова.

Тут надо пояснить немаловажное обстоятельство: Вадим в эту Машу Редкозубову влюбился. В отца своего, Льва Плещеева, он, что ли, пошел по склонности к прекрасному полу? Трудно ска-

зать. Однако когда преподаватель штурманского дела крикнул: «Курсант Плещеев! Вы что, ворон считаете?» — Вадим спохватился, что не услышал вызова к доске. Надо же, загляделся в окно, в котором рисовалась его воображению женская головка… два крыла русых волос… бело-розовый овал лица… светло-карие глаза широко расставлены, и один, кажется, правый, имеет золотистое пятнышко… и такие губы, такие губы, открытые в улыбке…

Томился Вадим Плещеев, вы понимаете?

И когда день культпохода приблизился, он, движимый томлением, решился на странный поступок. В тот субботний вечер, когда было разрешено увольнение, сильно мело. До угла, до Невы еще ничего, а когда близ памятника Крузенштерну Вадим повернул на Университетскую набережную, на него накинулась, с древним каким-то воем, белая от бешенства метель. Ложась на метель грудью, Вадим, полуослепший, облепленный снегом, ломился, как «Фрам» через льды Арктики (такое сравнение вдруг влетело в голову).

На стрелке Васильевского острова метель бесновалась вовсю. Как бы не снесла ростральные колонны. Мост Строителей Вадим одолел чуть

не ползком, давлением тела прорубая проход в сугробах.

Ну вот оно, университетское общежитие, на углу проспекта Добролюбова — крепкий утес среди стихий. Вадим, тяжело дыша, вошел, в тамбуре сбил с шапки нарост снега, отряхнул шинель. В вестибюле на него уставилась пожилая дежурная в больших очках:

— Вы к кому, товарищ моряк?

— К Редкозубовой. Она на втором курсе филфака…

— В какой комнате?

— Не знаю, — сказал Вадим.

Дежурная осуждающе покачала головой:

— Прихóдите к человеку, а не знаете, в какой он комнате.

— Так я пойду поищу.

— Долго искать придется. Пять с половиной этажей.

— Ничего. — Вадим насупился, приготовился преодолевать возникшее препятствие. — Я найду.

— Подожди, — перешла дежурная на «ты». — Света! — окликнула она мелкозавитую коротышку, пересекавшую вестибюль с чайником в руке. — Ты такую студентку знаешь — Редко-

задову?

— Редкозубову, — сердито поправил Вадим.

— А кто ее не знает! — пропищала Света, любопытным взглядом окинув Вадима.

— В какой она комнате?

— В сто тридцать второй.

— Ну, это пятый с половиной этаж, — уточнила дежурная. — Иди, моряк. Посещение до двадцати трех часов. Позже нельзя.

Вадим поднимался по лестнице, по которой шмыгали вверх-вниз парни и девушки, смеясь и перекликаясь. Говорили они, само собой, по-русски, но смысла их перекличек Вадим не улавливал — словно были они из какой-то другой жизни. Последние пол-этажа он одолел, здорово запыхавшись. Пошел по темноватому коридору, глядя на номера комнат, и тут из 132-й вышла Маша Редкозубова, а за ней — ушастый очкарик в желто-синей ковбойке и штанах, видимо никогда не знавших утюга.

— Здравствуйте, Маша, — сказал Вадим, бурно дыша.

Она всмотрелась в него, слегка прищурясь:

— А-а, Раечкин сосед! Как ты сюда попал?

Она, одетая в простенькую серую кофту и черную юбку, показалась Вадиму ниже ростом, чем

в новогодний вечер.

— Я к тебе пришел.

— Военно-морской флот перешел в наступление. — Она коротко рассмеялась. — Юрик, — обратилась к очкарику, — ты иди к Семену, а я подойду попозже.

— Ладно, — сказал тот ломким голосом. — Только не задерживайся.

— Как тебя правильно зовут — Дима или Вадя? — спросила Маша.

— Как хочешь, так и зови.

— Хорошо, пусть будет Вадя. Ну, зайди.

Она ввела Вадима в комнату. Тут были четыре кровати, на одной лежала и читала книгу смуглая брюнетка в лиловом халате. При появлении Вадима она села, запахнув халат и сунув босые ноги в остроносые тапки.

— Лежи, Тамила, лежи, — сказала Маша.

— Чего я буду лежать, когда мужчина пришел? — Брюнетка взяла со стола чайник. — Схожу за чаем.

Она вышла, шлепая тапками.

— Сними шинель, Вадя. Почему у тебя такая красная физиономия?

— Так метель же. Здорово метет.

— Я по субботам домой уезжаю, в Кронштадт,

а сегодня из-за метели осталась. Садись, Вадя. Зачем ты пришел?

— У нас двадцать четвертого культпоход в Александринку. На «Мать» Чапека. Вот я хочу тебя пригласить.

— Спасибо. — Маша обеими руками расправила волны своих волос. — Только я не смогу.

— Почему?

— Двадцать четвертого у нас заседание эс-эн-о.

— Что это?

— Студенческое научное общество.

— Ну, пропусти. Это же не обязательно?

— Не обязательно, но… — Маша запнулась.

— Понятно, — кивнул Вадим. — Юрик не велит.

— Причем тут Юрик?

— При том, что у него уши торчком.

— Ну знаешь! У него уши, а у тебя… у тебя прическа как гречневая каша!

Несколько секунд они сердито смотрели друг на друга. И — враз рассмеялись.

— Юрик — будущий ученый, — сказала Маша. — Его реферат о маленьком человеке в русской классике — просто сенсация. Юрика хвалил сам профессор Эйхенбаум.

— Я сразу заметил, что он молодец. А почему

ты послала его к Семену?

— Вот еще! Ты какой-то настырный, Вадя. Семен и Юрик — члены комсомольского комитета на филфаке. Мы составляем план культмассовой работы на полугодие…

— Маша, культпоход в Александринку просто украсит ваш план.

— Серьезно? — засмеялась она. А потом, разом согнав улыбку с лица: — А что это за пьеса Чапека — «Мать»?

Курсантов привез училищный автобус. Вадим остался у входа в театр, ожидая Машу. Сыпался с темного неба несильный снег. Вадим ходил между колонн, курил, а стрелки на его «Павле Буре», приближались к семи. Неужели не придет? — думал он с нарастающим беспокойством.

Маша пришла без пяти семь.

— Ой, чуть не опоздала! Привет, Вадя. Ты не представляешь, какая толкучка в трамваях.

— Почему это я не представляю? — проворчал Вадим.

Уже отзвенели звонки и погас свет в красно-золотом зале, когда они, протискиваясь в тесном ряду, нашли свои места. Свет-то погас (и пошел занавес), но курсанты, заполнившие последние ряды партера, своими нахальными взглядами

очень даже разглядели статную девицу в синем платье с белым бантом. Кто-то негромко, но достаточно внятно пробасил: «Вот это бабе́ц!» А Павел Лысенков, рядом с которым оказалось место Маши, уставился на нее, до предела раскрыв глаза, и сказал:

— Здрасте вам!

— Паша, ты смотри на сцену, — посоветовал ему Вадим.

На ярко освещенной сцене шло действие, заставившее притихнуть огромный зал Александринки. В некой неназванной маленькой стране назревают страшные события. Рушится семья интеллигентной, еще не старой женщины. Она потеряла мужа-офицера, погибшего где-то в Африке в схватке с туземцами, и старшего сына, врача, пожертвовавшего собой ради спасения туземцев от желтой лихорадки. У Матери остались еще четыре сына. И вот погибает Иржи, летчик, при испытании самолета в высотном полете. В стране вспыхивает гражданская война: народ восстал против деспотической власти, и в этой междоусобице погибают еще два сына — близнецы Петр и Корнель, оказавшиеся в противостоящих группировках. И тут на страну нападает — «в целях установления порядка» —

соседняя большая и сильная держава. По радио звучит женский голос — призывает мужчин к оружию, к отражению агрессии, это голос родины, истекающей кровью. Рвется пойти добровольцем и Тони, последний сын матери, семнадцатилетний школьник, у которого еще пальцы в чернилах. Но мать не хочет его отпускать. К ней являются умерший муж и погибшие старшие сыновья. Это не призраки, они как будто живые, и мать ведет с ними страшно, до отчаяния напряженный разговор. Да-да, она знает, что они все исполняли свой долг. Она кричит им, умершим: «Да, свой долг… У меня тоже была своя слава — это были вы. Был свой дом — это были вы. Свой долг — это были вы, вы, вы… Так объясните же мне, почему в течение всей древней, и средней, и новой истории одна только я, я — мать, я — женщина, должна платить такой ужасной ценой за ваши великие дела?!» Она кричит, заламывая руки: «…У меня ведь нет больше никого, кроме Тони… Я прошу вас, оставьте мне его! Ведь иначе мне не для чего будет жить… Неужели у меня нет никакого права на того, кому я дала жизнь? Неужели за все тысячи лет я так ничего и не заслужила? Прошу вас, дети, сделайте это для меня, для вашей выжившей из ума, замученной мамы,

и скажите сами, что я не должна отдавать его… Ну, говорите же! Что вы молчите?»

А из эфира несется голос другой матери: противник из самолетов расстреливает школьников… торпедировал учебный корабль, на борту которого были кадеты морского училища, в их числе и сын этой женщины-диктора… «Ты слышишь, мама?» — спрашивает Тони… И мать срывает со стены винтовку покойного мужа и протягивает ее своему последнему сыну: «Иди!..»

Будто мощной волной окатило зал, и он ответил этому трагическому «Иди!» долгим рукоплесканьем. Раз десять выходила на аплодисменты мать — актриса Рашевская. Она улыбалась сквозь слезы, кланялась, принимала цветы.

— Спасибо, Вадя, — сказала Маша, когда спускались к гардеробу. — Очень сильный спектакль.

Она вытирала платочком влажные глаза.

Вадима окликнул Травников, стоявший в очереди к гардеробщице, жестом предложил занять место перед собой. Вадим познакомил с ним Машу.

Курсанты направлялись к училищному автобусу.

— Поезжай, Вадя, — сказала Маша. — До свидания.

— Я провожу тебя — Он взглянул на часы. — Еще полно времени.

Мимо памятника Екатерине, надменно взирающей с высокого пьедестала, они прошли к трамвайной остановке. Как всегда, там толпились терпеливые люди.

— Давай пойдем пешком, — предложил Вадим.

Они шли по Невскому, многолюдному и в этот поздний час. Свет витрин скользил по их лицам.

— Адмиралтейская игла опять подсвечена, — сказала Маша. — Как хорошо. Прошлой зимой, когда шла война и город был затемнен, казалось, что он вымер.

— Я все думаю об этой пьесе, — сказал Вадим. — Кажется, Чапек не дожил до тридцать девятого года, до оккупации Чехословакии. На самом деле чехи, когда немцы влезли, не оказали сопротивления.

— А что они могли сделать? Подумаешь, чехи! У Франции какая сильная армия была, и ту немцы за месяц разбили.

— У чехов армия тоже была неслабая. Но они не стали воевать. Чапековская мать не отправила последнего сына защищать свою страну.

— У Чапека нет названия страны.

— Ну, кому непонятно, что он, чешский писа-

тель, имел в виду Чехословакию… на которую нападает Германия…

— Хорошо, что у нас подписан с Германией пакт о ненападении.

— Хорошо-то хорошо, но… странно… Кричали про фашистов, что они разбойники, а Гитлер главный бандит. И вдруг подружились… разулыбились…

— Вадя, ну это же *политика*, как ты не понимаешь?

— Пытаюсь понять. — Вадим взглянул на профиль Маши, четко освещенный витринами Дома книги. — Ладно, оставим политику. Так ты в Кронштадте родилась?

— Нет, родилась в Череповце, мама там работала, а потом, мне два года было, мы вернулись в Кронштадт. Вообще-то, мы кронштадтские, мой дед там и сейчас работает по ремонту пушек. А мой отец был матросом на линкоре. Он погиб в Гражданскую войну, при штурме Перекопа.

Так я впервые услышал о Машином отце. Потом и фотокарточку увидел: сидит матрос с суровым лицом, с закрученными кверху усами, с раздвоенным подбородком, в бескозырке, по околышу которой — крупными буквами — «Петропавловскъ»; рядом стоит молоденькая улыбающаяся

девица, руку положив матросу на плечо. По другую сторону от матроса — тонконогая этажерка, на ней большая ваза с декоративными цветами.

— Маму зовут Капитолина Федоровна, — сказала Маша, убирая фотоснимок в плоскую шкатулку, а шкатулку в тумбочку. — Она в морском госпитале работает.

— Ты на нее очень похожа, — говорю.

— Да, похожа. Вадя, сейчас в красном уголке начнутся танцы. Пойдем потанцуем.

— Тебе лишь бы потанцевать, — говорю.

В комнате, кроме нас, никого не было. Не упускать же такой редкий случай. Я привлек к себе Машу и стал целовать. Ее губы, сжатые сперва, раскрылись… начали отвечать на мои поцелуи. Мы сидели, прижавшись, на ее кровати, мои руки понемногу осмелели… Маша учащенно жарко дышала… я ласкал ее, целовал, целовал…

Маша вдруг резко выпрямилась, отбросила мои руки:

— Ты… ты слишком многого хочешь…

— Хочу, — выдохнул я. — Да, хочу… Люблю тебя…

Она всмотрелась в меня. В правом глазу у нее расширилось золотистое пятнышко. Волны волос омывали пылающие щеки.

— Вадим, — впервые назвала меня полным именем, — ты отвечаешь за свои слова?

— Да!

Маша опустила голову. Ее пальцы суетливо принялись застегивать пуговицы на кофточке.

— Ты мне не веришь? — спросил я.

Она посмотрела на меня, медленно улыбаясь, отведя обеими руками волосы со лба.

— Верю… как же не поверить… Постой. Хватит целоваться…

— Не хватит!

— На сегодня хватит! Ну успокойся, пожалуйста.

Маша пересела с кровати на стул. Тут в комнату вошла Тамила, шлепая остроносыми пестрыми тапками. Поставила на стол большой чайник, стрельнула в меня черными очами:

— Чего ты расселся, морячок, на кровати? Иди чай пить с вафлями.

Вот такая пошла у меня жизнь. В дни увольнений, по вечерам, в любую погоду и непогоду я мчался в общежитие на Добролюбова. Прыгая через ступеньки, взлетал на пятый (с половиной) этаж, мысленно отправляя Машиных соседок вон из комнаты. Соседки были смышленые девочки, они, многозначительно улыбаясь, уходили. Даже

Тамила, ленивое дитя юга, неохотно поднималась со своей кровати, брала чайник и выходила из комнаты. Примерно через час она возвращалась, ставила чайник на стол и возглашала: «Ну, нацеловались? Идите чай пить, you, turtledoves»[1]. (Она училась на английском отделении филфака.)

Счастливый февраль! Поймите же, я действительно — впервые в жизни — был по-настоящему счастлив. Ни спорт, ни морское учение, ни собирание марок — ничто на свете не сравнимо с влюбленностью в женщину. И с ее ответным чувством, конечно. Ты просыпаешься и засыпаешь с мыслью о ней. Тебе все удается — и штурманская прокладка, и завязывание морских узлов, и быстрые переключения на приборах в кабинете артиллерийской стрельбы. Да, я счастлив. Я удачлив. Я кум королю и сват министру.

Задумывался ли я о будущем? Ну, не то чтобы задумывался — будущее словно бы мерцало, переливаясь цветными стеклышками, как в калейдоскопе. Само собой, по окончании училища мы с Машей поженимся. Или, может, раньше? Вон два курсанта последнего, четвертого курса —

---

[1] Notes: 1
Голубки *(англ.). (Здесь и далее — примеч. автора.)*

мичманы Кругликов и Крутиков — женились недавно, под Новый год. Им разрешили. Я видел их юных жен (кажется, они сестры), кудрявых и курносых, приходивших в училище на какой-то киносеанс. Как гордо шествовали эти мичманы под ручку с женами…

23 февраля, в День Красной армии и флота, у нас в училище был праздничный вечер. Я пригласил Машу. Мы сидели в дальнем (от президиума) конце актового зала, вполуха слушали традиционно занудный доклад начальника политотдела. Маша тихонько стала рассказывать о Гаршине — я этого писателя тогда еще не читал, а она как раз начала читать: ей Гаршина «дали» для курсовой работы. Она увлеченно говорила о рассказе «Четыре дня», а я не столько вникал в содержание слов, сколько вслушивался в музыку ее голоса и смотрел, как она слегка помахивает руками. Валька Травников, сидевший перед нами, обернулся — хотел, наверное, замечание сделать, чтобы перестали разговаривать во время доклада, но, посмотрев на Машу, промолчал.

Доклад благополучно завершился, и начался концерт самодеятельности. У нас ведь и музыканты были свои, и певцы, и танцоры, а один третьекурсник свистел все, что хотите, — этот

редкостный жанр назывался художественный свист.

— Какие у вас артисты! — восхитилась Маша. — А ты почему не выступаешь, Вадя?

— По причине отсутствия талантов, — говорю. — Я только в волейбол умею.

— Зато ты мастер целоваться, — шепнула она, смеясь.

— Это да! Это да! — подтвердил я, энергично кивая.

Потом начались танцы: «Хау ду ю ду-у, мистер Браун!» — вскричала радиола. Курсантов словно порыв штормового ветра подхватил, они так и кинулись в стихию фокстрота. Кружились, кружились в просторном зале синие воротники и цветные платья — приглашенных девушек было немного, все они беспрерывно танцевали, галантные курсанты строго следили, чтобы ни одна не скучала, стоя у стены.

Танцевали и мы с Машей. Вот так, обнимая ее, я готов был плыть под саксофонную истому сколь угодно долго, бесконечно далеко. Танго — это замечательно придумали — где? — в Испании? в Аргентине? — не важно — это наш, советский танец — ах, это прекрасно — и вот что еще вам скажу, я ни разу не наступил Маше на туфли.

А теперь — вальс. Танцевать вальс я не то чтобы совсем не умел, а… ну, я решил вальс пропустить. Мы остановились у окна, но только я спросил Машу, не устала ли, как к ней подошел Травников и пригласил танцевать. На меня он взглянул вопросительно, я кивнул — не возражаю, мол.

И вышел покурить. Вернувшись в зал, увидел: вальс продолжается, Валька кружит Машу и что-то говорит, а она смотрит на него и улыбается своей улыбкой… улыбкой, от которой у меня накат радости…

Вальс кончился, теперь грянула «Рио-Рита», я был готов ринуться в «Рио-Риту», но Валька, черт длинный, продолжал танцевать с Машей и все говорил ей что-то, а она улыбалась… А вот и Кругликов проплыл с юной курносой женой… А за ним Крутиков со своей юной курносой женой…

В очередной день увольнений я помчался сквозь вечерний снегопад на улицу Добролюбова. Снег был не колючий, мягко ложился на мою шапку. Как видно, оттепель начиналась. Да и весна не за горами. И вообще жизнь прекрасна и удивительна.

Маше нездоровилось в тот вечер. Она вяло ответила на мои поцелуи, уклонилась от объятий.

— Да что с тобой? — встревожился я. — Что у

тебя болит?

Она помотала головой — ничего не болит, просто как-то… ну, не по себе…

— Может, по женской части? — выпытывал я. — Тогда тебе надо к Райкиной маме, она хороший врач.

— Сиди спокойно, Вадя. Не надо мне к ее маме. Пройдет.

Я уже знал, что у Маши и Райки испортились отношения. И понимал почему. На прошлой неделе я, перед тем как отправиться на Добролюбова, заскочил на полчасика домой, к маме. «Ой, Димка, — сказала мама, обняв меня, — наконец-то появился! Что случилось? Вас что, не пускают в увольнения?» Я вякнул что-то о большой учебной нагрузке. «Нет, Дима, нет. — Мама пристально глядела на меня. — На днях я видела Раю, тут на лестнице, мы поговорили, она сказала между прочим: „А ваш Дима загулял с моей подругой“. Что у тебя происходит, сын?»

А что происходит? Уже произошло: влюбился. Так и сказал я маме. Она понимающе покивала.

«Пройдет», — сказала Маша.

Но не прошло…

И в следующие вечера наших встреч она была как-то задумчива и непонятна. Ее тревожило

нападение Германии на Югославию. Это действительно была *неприятная* новость, никто ей не обрадовался, хоть у нас и подписан с Гитлером пакт о дружбе. Немцы прямо-таки утюжили танками Европу. Но поскольку это нас впрямую не касалось…

И вообще, я полагал, что не столько германское вторжение в Югославию волновало Машу, сколько Гаршин. Она влюбилась в этого писателя с несчастливой судьбой. В ее глазах блестели слезы, когда она говорила мне о его нервных припадках, о его гибели (Гаршин бросился с четвертого этажа в пролет лестницы). «Его рассказы наполнены такой болью, что страшно читать, — говорила Маша. — Его мучила несправедливость… он будто сознавал ответственность за все зло… такая совестливость… ты понимаешь?»

Как не понять? Она, повышенная совестливость, сквозь всю русскую литературу девятнадцатого века проходит, можно сказать, отличительной чертой.

Вот только я не понимал, что́ с Машей происходило.

Был на редкость тихий вечер апреля. Медленные, подсвеченные закатным солнцем, плыли в небе облака. Медленно плыли по Неве крупные

обломки ледового покрова, взломанного весной. Я шел по набережной, вдыхая легкий весенний воздух и глядя на ледоход. Вон на бугристой льдине плывет чайка — села отдохнуть и плывет себе прямехонько в Финский залив. Неплохо устроилась!

По мосту Строителей навстречу катили велосипедисты с номерами, нашитыми на спины синих футболок. Я прижался к перилам, пропуская их, и крикнул:

— У вас что, гонки?

Но они не удостоили меня ответом. Знай себе крутили, крутили педали.

В комнате № 132 за столом сидели Тамила, в лиловом своем халате, и одна из соседок, толстенькая Катюша, они разглядывали какие-то фотокарточки. Я поздоровался.

— Привет, — сказала Тамила. — А Маши нет.

— Это я вижу. А где она?

— Уехала.

— Куда? В Кронштадт?

— Да, кажется, туда. Посмотри, какие интересные карточки прислал Катюше жених из Нарьян-Мара.

— Ну уж, жених! — хихикнула Катюша. — Учились в одном классе…

Я буркнул: «До свидания» — и вышел. Что же это Маша не предупредила меня, что уедет в субботу в Кронштадт?..

— Вадя! — позвала Тамила, вышедшая следом за мной в коридор. — Погоди. — Она подошла ближе, вперив в меня мрачноватый взгляд черных глаз. — Вадя, она тебе не скажет, она сама еще не решила, ну, не решилась… А я скажу. По-моему, так будет честнее…

— Что хочешь сказать, Тамила? — спросил я, охваченный внезапным холодком нехорошего предчувствия.

— К Маше стал приходить один из ваших. Тоже курсант, у него тоже эти нашивки, — Тамила ткнула пальцем в мои «галочки» на рукаве, — только не две, как у тебя, а три. Сегодня он пришел, Маша его ждала, и они куда-то ушли. Вот… даже не знаю, как его зовут. Он похож на Столярова…

— Какого Столярова? — спросил я.

Но мне уже не были нужны уточнения. Я-то знал, как зовут его… неожиданного соперника…

— Ну, на артиста, который в «Цирке» играл.

Льдины плыли и плыли по Неве. Я, кажется, долго стоял возле сфинксов, глядя на ледоход. Темнело небо, зажглись фонари. Набью ему морду, думал я, сидя в Румянцевском сквере возле

забитого ветками и прочим зимним хламом фонтана. Как же можно — мы ведь, кажется, друзья — взять и вот так подло, ни слова не говоря, отбить…

Конечно, я на Столярова не похож. Не такой высокий… и походка у меня косолапая… Вместо белокурой прически у меня на голове нечто рыжеватое… как гречневая каша… Но все же я не урод! Нос у меня не кривой, уши не торчком! Не урод, не дурак!

Я криком кричал… ну, конечно, безмолвно…

После отбоя я долго лежал в кубрике без сна. На соседней койке привычно храпел Пашка Лысенков. Привычно подвывал во сне и скрежетал зубами курсант Шапкин (ему вечно снилось, будто он падает с лошади). Я встал и побрел в гальюн.

Там на подоконнике сидел и курил Травников.

— А я тебя поджидаю, — сказал он, поднявшись.

— Откуда ты знал, что я в гальюн приду?

— Знал. Нам поговорить надо.

— Морду надо тебе набить, — сказал я.

— Ты отлей сперва.

Не стал я бить Травникову морду. Только бросил резко:

— Не ожидал, что ты такой гад.

Он дернул головой, как от удара в челюсть. Сдержанно сказал:

— Понимаю твое состояние… Но пойми и ты… Дима, хочу, чтобы честно… Не хотел я отбивать ее у тебя. Слово даю, даже и в мыслях не было. Но… вдруг обрушилось…

— Врешь! Не было мысли, так не полез бы!

— Дима, клянусь, что не вру! Не хотел отбивать. Но на вечере в училище, когда танцевал с ней… разговорились мы… сперва, знаешь, шутливо, а потом… мне вдруг показалось, что она дрожит… Я спрашиваю: вам холодно? Нет, говорит, скорее жарко… Я говорю, говорю ей что-то, ну, трали-вали… а она смотрит на меня, и такое ощущение, что я тону… Дим, это так сильно нахлынуло, что не мог я, не мог, понимаешь, не смог устоять… Прости!

А у меня — ни слов прощения, ни осуждения. Такая горечь… Ну да, думаю, ты же *не тонешь*… ты раздвигаешь бревна, плывущие над головой… Молча повернулся я и пошел к себе в кубрик.

Вы понимаете, конечно: отношения с Травниковым у меня оборвались. Я избегал встреч с ним в коридорах училища. Перестал приходить на волейбольные тренировки. Пусть Жорка Горгад-

зе подает ему мяч для топки… Кстати, я вскоре узнал, что именно на квартире Горгадзе встречаются Травников с Машей (родители Горгадзе, артисты Ленконцерта, или как там это называлось, часто уезжали в командировки, и квартира оказывалась в Жоркином распоряжении).

Такие вот дела.

А с Машей я однажды увиделся.

Было это в мае. Мама передала мне Оськино приглашение на концерт в консерватории, в котором он должен был выступить. У нас уже начались экзамены, тут не до концертов, но все же… Ну, не хотел я Оську обижать…

Я выправил увольнительную (благо воскресенье было) и поехал.

Концерт уже шел, когда я добрался до консерватории. На ярко освещенной сцене худощавая девица в длинном черном платье играла на рояле что-то быстрое. Я углядел свободное кресло в середине зала, прошел и сел, переводя дыхание. Пианистка играла все быстрее, быстрее и закончила такими мощными аккордами, что у меня в голове мелькнуло — как бы рояль не расколошматила, но ничего, обошлось. Девица встала, раскланялась под аплодисменты. И тут я заметил справа, через проход, во втором или

третьем ряду, седую голову Розалии Абрамовны, а за ней еще две головы — каштаново-кудрявую Райкину и русую голову Маши.

Вот она, Маша, хорошо знакомым мне движением поправила волосы и повернула голову к Райке, они о чем-то заговорили… Да какое мне дело до них… Но сердце мое колотилось у горла…

На сцену вышел вихрастый малый в тесном желтом пиджачке, с пятнистым галстуком и объявил:

— Глинка. «Сомнение», слова Кукольника.

И запел. У него приятный оказался баритон. Хорошо он пел! Ему та самая девица в черном аккомпанировала на рояле. Впервые я этот романс слушал, и, знаете, он меня здорово пронял. Эти фразы: «Мне снится соперник счастливый…», «И тайно, и злобно оружия ищет рука»… — они были как удары тока… А финал какой!

Минует печальное время, —
Мы снова обнимем друг друга,
И страстно, и жарко
Забьется воскресшее сердце,
И страстно, и жарко
С устами сольются уста.

Я посмотрел на Машу. Через ряды бесстрастных голов я вопрошал безмолвно: «Ты слышишь?.. Ты помнишь?.. Хоть что-то шевельнулось в твоей душе?..»

И вот дело дошло до Оськи. Он вышел на сцену в черном костюме, с черной бабочкой над белой рубашкой. Та же дева уселась за рояль. Оська каким-то сдавленным голосом объявил:

— Чайковский. «Размышление».

Мотнув головой, пристроил скрипку к горлу — и тронул смычком струны.

Я не меломан, нет, вполне обходился без музыки, ну нравились кое-какие песни: «Нас утро встречает прохладой», или, к примеру, «Любимый город в синей дымке тает», это недавно пел Бернес в картине «Истребители»… Я это к тому, что музыка жила где-то отдельной жизнью. А тут…

Тихо и печально льется мелодия, она, как облака, плывущие над Невой, подсвечена заходящим солнцем… нет, еще выше — заоблачная она, может, из космоса — нет-нет, это жалоба одинокой души — не жалеют, не хотят выслушать, понять — но и не жалоба это, а может, усталость — сколько можно добиваться несбыточного — ну что ж, пора и отдохнуть — подумать

о прожитой жизни и о той, что еще впереди, — и с новыми силами.

Мелодия угасла, умолкла скрипка. Оська, серьезный, бледный, с поджатой нижней губой, стоял на краю сцены, кланялся рукоплещущему залу. Ну, Оська! Триумфатор, да и только. Быстрым шагом он ушел за кулисы, а по окончании концерта спустился в зал, со скрипкой в футляре, его в проходе окружили, поздравляли. Я тоже подошел. Оська, увидев меня, протянул руку:

— Привет, Вадька!

— Привет, — говорю. — Ты здорово играл, молодец.

— То ли еще будет, — говорит Райка.

— А что будет? — спрашиваю.

Но Райка, холодно взглянув на меня, не ответила. Чем я тебе не угодил, гордячка? Я слышал, ты выиграла в женском шахматном чемпионате университета и будешь играть в городском турнире. Ты тоже, конечно, молодец. Вы оба молодцы…

А Розалия Абрамовна ответила вместо Райки:

— Будет «Чакона» Баха. Очень трудная вещь, Ося много над ней работает. Как поживаешь, Дима?

— Спасибо, — говорю, — Розалия Абрамовна.

Хорошо поживаю.

Маша стояла тут же, в своем синем облегающем платье, только без банта. Она улыбнулась мне, и было в ее улыбке нечто ускользающее… вопрошающее… непонятное…

Было бы глупо отвернуться с обиженным — или наигранно равнодушным — видом. Я шагнул к ней, поздоровался.

— Здравствуй, Вадя, — ответила она.

— Как поживает Тамила? — сказал я первое, что пришло в голову.

— Тамила? — Маша удивленно посмотрела на меня. — Ну, как обычно…

— А Катюша как? Замуж не вышла? За парня, который в Нарьян-Маре?

Маша обеими руками отвела волосы со лба.

«Руки, — вспомнилось мне вдруг, — вы словно две большие птицы…»

— Вадя, — сказала она тихо, — я чувствую себя виноватой, но понимаешь…

— Понимаю, — не дал я ей договорить. — Ты ни в чем, решительно ни в чем не виновата.

Глава третья
Курсантская бригада вступила в дело

Перед отправкой Вадим Плещеев успел забежать домой. Пока шло формирование батальона курсантов-фрунзенцев, ни о каких увольнениях, понятно, и речи быть не могло, а тут, когда утвердили списки и наутро была назначена отправка, Вадим попросил Рудакова, командира роты, отпустить его — с матерью попрощаться. Рудаков, поджарый крикливый старлей, наоравшийся и набегавшийся за день, насупил белесые брови в раздумье — и разрешил. А чего бы не разрешить, он Вадима знал как исправного курсанта.

— В двадцать один час — чтоб был на месте как штык, — сказал он строго. И, скользнув взыскующим взглядом вниз, добавил: — Ботинки почисть.

Вот же ходячий устав — не зря так прозвали Рудакова курсанты.

Вера Ивановна, к счастью, была дома.

— Ой, Димка! — Она порывисто обняла сына. — А я жду, жду тебя или хотя бы твоего звонка.

— Очень суматошные дни, мама. К телефону в училище не пробиться.

— Понимаю, понимаю. Сядь, Димка, отдохни. Как ужасно, что война началась!

— Сволочь Гитлер! Знаешь, мне как-то не верилось в Пакт о ненападении…

— А кто верил, Дима? Но все же мы считали, что пакт отодвинет войну.

— Мама, война не будет долгой. Мобилизация идет, скоро вступят в бой наши главные силы. Немцев остановят.

Вера Ивановна вздохнула:

— Знаешь, вчера отец забежал ко мне в библиотеку. Говорит, крупная немецкая армия нацелена на Ленинград.

— Остановят, — повторил Вадим, закурив. — Мама, значит, вот что. Формируется бригада курсантов военно-морских училищ. Пять батальонов. Я, значит, в батальоне фрунзенцев. Завтра нас отправляют.

— Куда?

Это у Веры Ивановны криком вырвалось. Та война, Гражданская, хоть и минула давно, но в памяти сидела прочно: голод, холод, тиф… Нет-нет, не должно повториться!

— Мам, ну откуда я знаю? Это ж военная тайна.

По слухам, задача будет — борьба с десантами.

Вера Ивановна отвела взгляд к окну. Светлый тихий вечер плеснул голубизной в ее встревоженные глаза.

Она захлопотала с чаем. Вадим вошел в кабинет. Дед Иван Теодорович, лысоватый, с подстриженной квадратной бородой, уставился на него с фотопортрета. Рядом с ним улыбалась Полина Егоровна — светлоглазая и как бы удивленная чем-то, в закрытом до горла платье. Она умерла от сыпного тифа за год до рождения Вадима, ей было всего сорок четыре. Вадим знал, что бабушка (хоть и странно так называть ее, молодую) была очень хорошая, что она жила, по выражению Веры Ивановны, «в облаке поэзии». Она посещала частые в то время вечера поэтов, писала им восторженные письма, иногда и ответы получала. Однажды пришло коротенькое письмо от самого Блока — ох и гордилась и была счастлива Полина Егоровна. Как жалко, что это письмо затерялось в безумные дни девятнадцатого года, когда с тяжким топотом вторглись в квартиру новые люди и потребовали «уплотниться», — из четырех комнат оставили им одну. Затерявшееся при «уплотнении» драгоценное письмо Блока Полина Егоровна, конечно, помнила наизусть и

записала его — там были такие строки: «Но мрак и пустоту страшного мира заполнят слово поэта и дух музыки…» Сохранилась от бабушки тетрадка в выцветшей голубой обложке, заполненная любимыми стихами, и первым там стояло стихотворение Хлебникова — его начало Вадим еще в детстве запомнил:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей…

Времири! Какое чудное слово придумал этот великий выдумщик. Соединил время и снегирей — и возник поэтический образ…

— Боюсь, боюсь, — говорила Вера Ивановна за чаем. — Война — это ужасно… Буржуйка, дым в комнате, вяленая вобла, чечевица черная…

— Ну, мама! — засмеялся Вадим. — Ты еще войну восемьсот двенадцатого года вспомни.

— Дима, знаешь, нас отправят на оборонные работы.

— Кого это — нас?

— Все население Ленинграда, которое не занято на заводах. Такой слух прошел.

— Это возможно, — сказал Вадим после пау-

зы. — Близко к Питеру немцев не подпустят… но на всякий случай…

Он отпил из стакана, вставленного в дедовский серебряный подстаканник, и поднял глаза на мать. Перехватил ее встревоженный взгляд.

— Мама, не бойся. — Вадим погладил ее маленькую, в голубых прожилках руку. — Мы сильнее немцев. Мы их остановим.

Простившись с матерью, Вадим сбежал на второй этаж и позвонил Виленским. Ему открыла Райка с пирожком в руке.

— Это ты? — сказала она, дожевывая кусок. — А я думала, Оська пришел. Заходи.

На ней был старенький ситцевый халатик неопределенного цвета. Она поправила густые каштановые волосы и указала Вадиму на блюдо, стоявшее на столе, наполненное желтыми пирожками.

— Ешь, Дима. У нас в буфете сегодня их продавали, тридцать копеек штука. Вкус довольно противный, как будто на мазуте их жарили, но ничего.

— А где Оська? — Вадим кинул на диван бескозырку, взял пирожок.

— Ой, он как утром убежал, так и нету его. В ополчение Оська записался. Весь их курс за-

писался. Позавчера объявили, что переведут на казарменное положение, но что-то там не готово. Бегает каждый день. А что у тебя, Дим?

— Действительно, чем-то пахнет, — сказал Вадим, жуя пирожок. — Только не мазутом, скорее соляром. Я зачислен в бригаду курсантов военно-морских училищ. Завтра нас отправляют. Вот, забежал попрощаться.

— А куда отправляют?

— Не знаю, Райка. Это военная тайна.

— Да, конечно, тайна. А нас на работы отправляют.

— Вас? Студентов?

— Ну да. Девок всех и тех мальчишек, которых не взяли в армию как дефективных. Куда отправят? Это тоже тайна. Но говорят, что под Лугу.

— Луга! Ты представляешь, где находится Луга?

— Представляю. Мы с Машей на карте посмотрели.

— Это ж в сотне километров от Питера.

— Дима, я говорю то, что слышала.

Она вскинула голову и посмотрела на Вадима с таким видом, словно ее возмутило его возражение. Сдвинутые черные брови, сердитый взгляд — ну, Вадим-то хорошо знал быструю переменчивость Райкиных настроений.

— Дим, знаешь, Маша дико беспокоится, что от Травникова как война началась, так и нет писем.

— Травников в Таллине. Старшекурсники там на кораблях, на практике.

— Маша знает, что он в Таллин уехал. Но ведь война. Их могли бросить на фронт.

— Все возможно, Райка. А мама где?

— У себя в больнице, на дежурстве.

— Ну ладно. — Вадим взглянул на часы. — Пойду.

— Димка, ты сказал «все возможно». Так давай попрощаемся.

Она, закрыв глаза, потянулась к нему. Вадим обнял ее. Их губы встретились в долгом поцелуе.

— Вот и попрощались. — Рая оттолкнула его. — Береги себя, слышишь?

— И ты береги себя. Счастливо!

Вадим надел бескозырку и вышел в коридор. Но тут прозвенели звонки, Рая побежала открывать. Вошел солдат в пилотке — Вадим не сразу узнал Оську. Под мышкой Оська держал сверток, обмотанный газетами.

— Вадька! — вскричал он. — Здорово, гроза морей!

В свертке Оська притащил свои гражданские

вещи — рубашку-тенниску, штаны и туфли. Красноармейская форма сидела на нем мешковато, и казалось, что его тонкие ноги болтаются в слишком больших сапогах.

— Я боец Второй дивизии народного ополчения, — объявил Оська не без торжественности. — Ясно вам, мадам и месье?

— Ясно, ясно, товарищ боец, — сказала Рая. — Съешь пока пирожок, а я обед разогрею. И позвони Ане. Она беспокоится, тридцать раз звонила.

Оська метнулся к телефонному аппарату, висевшему на стене возле старинного буфета, и, набрав номер, закричал в трубку:

— Анюта! Да, я! Что?.. Нет-нет, пока обучение… О-бу-чение! Да, завтра с утра начнем… Что? Анюта, сиди дома, я скоро приеду… Ну, через час! Пока! — Он повесил трубку, схватил пирожок. — Черт-те что, живет недалеко, на площади Труда, а в телефоне голос такой, будто она на Охте.

— А кто она? — спросил Вадим.

— Моя однокурсница. Какая вкуснотища! — Оська энергично жевал пирожок. — Да ты видел ее — на концерте она мне аккомпанировала.

Вадим вспомнил худенькую девицу в длинном черном платье — она здорово играла, ручки тонкие, а с какой силой ударяли по клавишам…

— Анька — это чудо, — продолжал Оська. — Богиня музыки! Она будет великой пианисткой, вот увидишь.

— А ты — великим скрипачом, да?

— Не знаю, — ответил Оська. — Я трудяга, ломовая лошадь. Анька схватывает на лету — и тему, и ритм, и настроение. Прямо моцартовская легкость… Мы с Аней решили пожениться. После победы, конечно.

Чертов Ксенофонтов, от него одни неприятности. Маленький, с выпученными глазами, он так и высматривает, к чему бы придраться. И раскрывает рот размером с городские ворота в Ораниенбауме, на проспекте Юного Ленинца. То заявляет претензию, что недодают сахар, положенный по норме (и, возможно, так оно и есть), то он недоволен, что сводки о положении на фронтах доходят до нашей роты с безобразным опозданием (верно и это, но надо же учитывать, что в полевых условиях нету радио, газеты же привозят редко).

А сводки были плохие. Совершенно не похожие на песни, которые мы пели (помните? «Если завтра война, если завтра в поход… Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки…»). Немецко-фашистские войска продвигались с

ошеломительной быстротой, грохотали не наши, а их танки. Была надежда, что их остановят под Псковом, на реке Великой, но немцы взломали оборону, и теперь она уже в Луге, сражение идет на лужском рубеже.

А мы, курсантская бригада, пока не вступили в дело. Мы патрулируем Приморское шоссе от Петергофа почти до Нарвы, и задача у нас — уничтожать воздушные десанты противника и охранять тылы Северного фронта от диверсантов. Кроме того, мы учимся сухопутному бою. Наш батальон разместился в старых бараках на окраине Ораниенбаума, недалеко от павильона Катальной горки. Этот павильон — роскошное строение восемнадцатого века с колоннадой и колоколообразным куполом — закрыт, этакий пережиток веселых времен. Что до катальной горки, по которой с грохотом неслись в тележках по врезанным колеям вельможи в париках и их дамы, то это прекрасное развлечение давным-давно закончилось, бревенчатый многометровый скат зарос кустарником. Ну а дальше на пустыре поставили щиты с мишенями, и мы палим в них лежа и с колена. И еще учимся окапываться саперной лопаткой, ползать по-пластунски и метать гранаты. Это, понятно, наука нехитрая — копай, ползи,

кидай с размахом, а вот со стрельбой посложнее, винтовку пристрелять надо, приспособиться к ней. Я приспособился, а с меткостью полный порядок, я ведь со школьных времен — ворошиловский стрелок.

Воздушных десантов не было. Над нами простиралось удивительно чистое небо, ну ни тучки, ни облачка. Как будто мирное время на дворе, и цветут нарциссы, и «у самовара я и моя Маша»... Вот еще! Что за чушь лезет в голову...

Вот как было дело. Со стороны Питера въезжала в Ораниенбаум «эмка», а там как раз патрулировали Ксенофонтов и Дзюба. В «эмке» глазастый Ксенофонтов разглядел подозрительного пассажира и, недолго думая, выскочил с винтовкой наизготовку на шоссе:

— Стой!

Шофер тормознул у носков ксенофонтовских ботинок. Сидевший с ним рядом блондин, средних лет, в шляпе, в светлом костюме в мелкую клетку, выглядел как самый настоящий шпион.

— В чем дело? — спросил он с мягким иностранным акцентом.

— А ну, вылезай из машины! — потребовал Ксенофонтов.

Со шпионами у него был разговор короткий.

Не слушая никаких объяснений, Ксенофонтов и Дзюба отвели блондина в ближайшее отделение милиции. Там пойманный шпион предъявил удостоверение, из коего явствовало, что он зампредседателя Совнаркома Эстонской ССР. Не больше и не меньше…

— Откуда вы ехали? — недоверчиво спросил пожилой дежурный в отделении. — И куда?

— Из Ленинграта, — ответил шпион, нисколько не волнуясь. — Из комантировки. Я ету в Таллин.

Мне Дзюба рассказал, посмеиваясь, как все это происходило. Рассказал, как дежурный сержант вызвал по телефону милицейское начальство, а оно соединилось со штабом нашей бригады, и вскоре в душной комнате отделения стало тесно от приехавших высоких чинов, и появился сам командир курсантской бригады, наш грозный контр-адмирал. Он быстро во всем разобрался и принес извинения эстонскому правительственному человеку, который в течение разбирательства сохранял невозмутимое спокойствие. Тот кивнул, сел в «эмку» и уехал к себе в Таллин. Комбриг, потрогав свой по-грузински солидный нос, внимательно посмотрел на Ксенофонтова и сказал: «Благодарю за бдительность, товарищ боец. Но не надо доводить ее до глупости». И Ксе-

нофонтов выпучил свои глазенапы и гаркнул: «Есть не доводить, товарищ адмирал!»

А вечером следующего дня, когда мы после ужина вышли покурить, меня подозвал Рудаков, наш ротный командир. На его тощем, красном от загара лице были строго сдвинуты белесые брови.

— Плещеев, — сказал он, закурив папиросу, — ты хорошо знаешь Ксенофонтова?

— Да нет, товарищ старший лейтенант, — говорю, — он же с первого курса. А что такое?

— Ты, как командир отделения, присматривай, чтоб Ксенофонтов не выкинул чего-нибудь. Знаешь поговорку: «Вели дураку молиться — он себе лоб расшибет»?

— Знаю.

— Ну вот. Бдительность, конечно, нужна, но — без глупостей. Ты понял?

Разумеется, я понял. Комбриг, наверное, получил взбучку из высоких сфер: что это, дескать, позволяют себе ваши курсанты, наведите-ка порядок, контр-адмирал. Ну а он, само собой, дал нагоняй нашему комбату, тот воткнул ротному, и вот Рудаков добрался до нижней ступеньки лестницы — до командира отделения. То есть до меня.

Вообще-то, я не очень обрадовался, когда меня назначили командиром отделения. Командовать курсантами — я думаю, это не легче, чем работать в цирке дрессировщиком белых медведей. Ведь каждый из них… каждый из нас воображает себя будущим адмиралом Нахимовым… или Крузенштерном, в конце-то концов…

Тут я услышал: у нашего воспитательного разговора появился как бы слабый звуковой фон.

— Ты понял, Плещеев? — повторил ротный.

А я стоял, вытянувшись как столб, и вслушивался в далекий гул.

— Курсант Плещеев, почему не отвечаете? — рассердился Рудаков.

— Товарищ старший лейтенант, — говорю, — прислушайтесь… По-моему, это канонада.

С минуту мы молча стояли за углом старого барака, на краю поля, служившего нам стрельбищем, и вслушивались в гул, все более явственно доносившийся с юга.

Да, точно — это была канонада.

Когда на станции Веймарн мы, курсантский батальон, повыпрыгивали из теплушек и принялись разгружать вагон — ящики с боеприпасами и провиантом, — я сразу ощутил давление неба. После недавней бомбежки в Веймарне горели

какие-то склады, клубящиеся черные тучи расползались по небу, и так уж мне почудилось, что оно, небо, уплотнилось, воздух выгорел, и остался только дым, дым…

Но что бы там ни причудилось голове, а руки делали свое дело. Разгрузив вагон, после короткого перекура батальон длинной колонной двинулся к Кингисеппу. Этот город на правом берегу Луги обороняли части 8-й армии, сильно измотанной, обескровленной в непрерывных боях. Им в помощь шли батальоны 2-й бригады морской пехоты, еще не закончившей формирование, и вот — наш курсантский батальон.

Шли форсированным маршем. День клонился к вечеру. Солнце — размытый в клубах дыма багровый, как свежая рана, фонарь — низко стояло над полем, над безлюдным поселком с полуразрушенной церковью, над поникшими посадками. И уже завиднелись дома в огородах на окраине Кингисеппа, когда из дымных полос вывалились два самолета и пошли вдоль дороги, присматриваясь.

— Воздух! — орали командиры в колонне.

Курсанты, понятно, сыпанули в обе стороны — в кюветы, в посадки, в кусты. Самолеты, развернувшись, с воем пошли обратно, снижаясь

и расстреливая дорогу из пулеметов, прихватывая и ее обочины.

Так мы впервые увидели «мессершмитты» — совсем не похожие на наши «чайки» и «ишачки», у них были острые хищные носы и скорости другие. При первом этом налете потери в батальоне были небольшие: четверых ранило, одного из них тяжело.

Первые дни и ночи в обороне были какие-то бестолковые. Армейское начальство сперва разбросало роты нашего батальона в своих боевых порядках, мы стали окапываться близ их траншей, нам кричали заросшие, небритые солдаты в мятых пилотках: «Эй, морячки! Ишь чистенькие какие… На каком корабле приплыли?.. Махорочкой не разживемся у вас?» Ночь прошла беспокойно, противник вел огонь, так и называющийся: беспокоящий, мы в неглубоких своих окопах не очень-то спали, да и как заснешь, если под головой угловатый и жесткий (наполненный патронами в обоймах, ручными гранатами и несколькими банками консервов) вещмешок? Да и холодна ночь в поле, хорошо хоть, что родной бушлат надет.

А ранним утром вместо завтрака — артобстрел. Лежишь в окопе, носом в землю, и нарастающий

свист каждого снаряда будто нацелен в тебя, и грохочущие черные кусты разрывов обдают твой окоп черным песком, тротиловой вонью. Было страшно, страшно. В нескольких сантиметрах от моей головы шлепнулся осколок — зазубренный, горячий, я схватил его, обжигая ладонь, и сунул в карман бушлата.

Артобстрел передвинулся влево. Я выглянул из окопа. Разрывы снарядов грохотали на улице городской окраины, на огородах. Там белая коза, привязанная к штакетнику, забытая бежавшими хозяевами, отчаянно билась, кидалась из стороны в сторону. Вдруг из соседнего окопа выскочил маленький человек в перепачканном бушлате, с винтовкой за спиной и, согнувшись, побежал туда, к огородам.

— Ксенофонтов! — заорал я сквозь грохот разрывов. — Назад! С ума сошел?!

Ему и другие ребята кричали, материли его — Ксенофонтов не слышал. Ну сумасшедший!.. Добежал до козы, упал, пережидая очередной разрыв… «Эй, ты живой, Ксенофонтов?!.» Сквозь рассеивающийся дым мы увидели: он полоснул ножом по веревке… белая коза скачками пустилась в огороды… Ксенофонтов свистнул ей вслед и, согнувшись, побежал обратно…

Добежав до окопа, повалился навзничь, бурно дыша. Я посмотрел на его мокрое от пота лицо с выпученными глазами и только и сумел сказать, качнув головой:

— Ну, Ксенофонтов!

В тот день мы отбили две атаки. Шли бронемашины с пулеметами, а за ними бежала пехота — в первый раз я увидел немецких солдат в зеленых мундирах, в касках — первый раз стрелял в живых людей — во врагов, напавших на мою страну, — в одного точно попал, он будто споткнулся об мою пулю и рухнул ничком — потом, когда их цепь распалась и повернула обратно, я видел: «моего» подхватили двое и потащили — может, я не убил его, а ранил.

Спустя часа три атака повторилась, но пришлась не на наши позиции, а на соседей справа, но и нам досталось от артогня — вначале немецкого, а потом и от нашего, когда пушки лужского укрепленного сектора стали лупить по немецкой мотопехоте, вклинившейся в позиции соседей. Оглохший, почти задохнувшийся в смрадном дыму, я видел, как Рудаков в своем окопе накручивает ручку полевого телефона и что-то орет в трубку, а лицо у него залито кровью. Как меня не убило в тот день — понять трудно.

Да и вообще трудно было что-либо понять в том, что́ происходило. Дни и ночи перемешались, их заволокло дымами неутихающего сражения. Противник, по слухам, прорвался на правый берег Луги в районе Сабска и села Ивановского и теперь давил на Кингисепп — это давление нарастало, мы отошли на разрушенные артогнем улицы, засели в развалинах домов; вдруг армейское начальство приказало поредевшим ротам батальона ранним утром начать контратаку — выбить группу немецких мотоциклистов, прорвавшихся к пристани. Мы примкнули к винтовкам штыки и пошли в указанном направлении — из кривого переулочка выскочили на Старо-Ямбургскую улицу, спускающуюся к набережной, — там возле одноэтажного здания стояли мотоциклы, а из черных выбитых окон ударили автоматы — мы упали животами на булыжник — свист очередей над головой — страшно, страшно — как же подобраться к ним на бросок гранаты — а как иначе, только по-пластунски — мы медленно поползли вперед…

Слева тянулось приземистое краснокирпичное строение, мы доползли до его угла — вдруг из-за этого угла грянуло раскатистое:

— Курсанты, впере-о-од!

Оттуда побежали с винтовками наперевес — тут и я скомандовал своим ребятам: «Гранаты к бою! Бегом вперед!» Мы вскочили, припустили во весь дух, влились в цепь атакующей роты — да какая цепь, бежали черной толпой — орали, матерились — кто-то падал с разбегу — кому везет в атаке, а кому нет, — но огонь автоматчиков редел, стихал — вон они, немчура, повыскакивали, с автоматами на шее, кинулись к своим мотоциклам — а ну, гранатами их, ребята! — уже можно достать…

Разрывы, разрывы, разрывы гранат — вой мотоциклетных моторов — успели удрать, сволочи, помчались к мосту, на ту сторону Луги, — нет, не все удрали! — в рассеивающемся дыму видим: лежат, руки разбросав, убитые немцы — а вон убегают двое — к мосту бегут, к разбитому вагону на железной дороге — за ними припустили ребята — один немец остановился, от живота ударил очередью — кто-то из бегущих за ними упал…

И еще из безумного этого утра запомнилось мне, врезалось в память: два немца, схваченные в плен, оба в кожаных шлемах, мотоциклисты, сидят понуро на краю тротуара — и Дзюба, страшно матерясь, вскинул винтовку на одного из них, сейчас выпалит…

— Отставить, Дзюба! — заорал Рудаков, с обвязанной головой, с наганом в руке.

— Он Сережку убил, Ксенофонтова! — выкрикнул Дзюба. У него глаза грозно пылали.

— Не стрелять в пленных! — прохрипел Рудаков.

Немец трясущейся рукой стянул шлем с белобрысой мальчишеской головы. Глядя на нас ненавидящим взглядом, пробормотал:

— Schwarze Teufels…[2]

Я не вел счета времени, дни и ночи перемешались в неумолчном реве пушек обеих сторон — но не менее десяти суток части 8-й армии и мы, морская пехота, держали Кингисепп. Тихая Луга, обтекавшая город, под ударами артиллерии вскидывала огромные фонтаны воды, смешанной с илом. Дымились ее обожженные берега.

В ночь на 16 августа мы оставили Кингисепп. Оставили в братской могиле на лужском берегу несколько десятков бойцов нашего батальона. Оставили в окопах и в завалах свою ярость и боль. Мы уходили уже не теми зелеными необстрелянными юнцами, какими пришли сюда. Не соблюдая строя, небольшими группами молча

---

[2] Notes: 2
Черные дьяволы *(нем.)*.

шли бывшие мальчики, неся оружие и снаряжение. Давно не брившиеся и не умывавшиеся, шли в обтертых об разоренную землю бушлатах и брюках, неудобных для сухопутных боев. Скрипело под нашими ботинками выбитое оконное стекло. Ночь была темная, новорожденный тонкий месяц расходовал очень мало света на освещение нашего печального пути. Я пытался прочесть на углах уцелевших домов название длинной улицы, по которой мы выходили из города, получалось не то Кряковское, не то Криковское шоссе. Наверное, Криковское. Крик. Кричал покидаемый нами полумертвый город.

Что было хорошо на новом рубеже обороны, занятом курсантским батальоном, так это речка или, скорее, ручей, протекавший сквозь перелесок, такой красивый, что хотелось назвать его, как называли прежде поэты, дубравой. Дубов там, впрочем, не было, а стояли березы вперемешку с ивами, свесившими длинные ветви над ручьем. В то лето, надо сказать, стояла на редкость хорошая погода — солнечная, с ясным небом. Природа как бы показывала себя во всей красе, безмолвно взывая к людям: «Безумцы, перестаньте губить меня… и себя…»

Мы рыли траншеи, зарывались в землю, — мы

знали уже, что только она, земля, нас защитит.

Двое суток перед этим, а может, трое мы питались всухомятку — сухарями и консервами, уже обрыдли бычки в томате, главная наша еда. А тут ближе к вечеру прикатили наконец-то полевые кухни, вот же радость была — пшенка, горячая блондинка с волокнами мясных консервов. Из ручья ребята натаскали в котелках воды, ее вскипятили и пили с сахаром вприкуску.

— Прям как в кафе «Норд», — высказался Дзюба, осушив свою кружку. — Теперь по бабам бы пойти. Не знаешь, как называется этот город?

Он ткнул пальцем в плотную группу строений, видневшуюся позади нас, за перелеском, на пологом холме.

— Котлы, — сказал я. — У ротного на карте я видел.

— Ну, бабы и в Котлах живут. Они везде, где есть жизнь.

— Ты их вряд ли заинтересуешь. Зарос черным волосом, и уши опухшие.

— Как это — опухшие уши? — удивился Дзюба.

— От недостатка курева, — пояснил я.

Это была истинная правда — не опухшие уши, конечно, а перебои с табачным довольствием, что, в общем-то, объяснялось не только вечной

негибкостью службы тыла, но и частыми передвижениями переднего края.

— Ты на себя посмотри, Плещеев, — проворчал Дзюба. — Отрастил рыжие усы, как таракан, и ходишь радуешься.

Николай Дзюба, грубоватый малый с дерзким прищуром черных глаз, был, как и я, коренным ленинградцем и моим однокурсником. Но дружбы между нами не было. Мы однажды, еще на первом курсе, чуть не подрались. По утрам, знаете, небольшие очереди бывали у умывальников, так вот, как-то раз я умывался, вдруг меня так толкнули в бок, что я отлетел от умывальника, стенку обнял. «Ты чего пихаешься?!» — заорал я и пошел, мокрый до пояса, на Дзюбу: это он толкнул. Драка была бы непременно, но Валька Травников живо встрял между нами, раскинув руки: «Тихо, тихо, вы, петухи боевые!» Дзюба, глаза упрятав в щелки, орал: «А чего он полчаса умывается? Рожу ополоснул, и все, отойди!» Неохота вспоминать… Но вечером того же дня в гальюне я курил, сидя на подоконнике, вдруг он подошел, Дзюба, и говорит: «Дай прикурить. — И, резанув черным взглядом: — Выяснять отношения будем?» — «Нет, — говорю, — нечего выяснять». — «Есть чего. Твой пахан, знаю, герой

штурма Кронштадта. А мой пахан тоже в штурме участвовал». — «Ну, — говорю, — значит, оба они герои. Дальше что?» — «А дальше, — объявляет Дзюба, выпустив струю табачного дыма, — получилась большая разница. Твой пошел учиться, вышел в начальство…» — «Никакое не начальство. Журналист он». — «Журналист все равно что начальство. А мой остался служить в Чека, в комендантском взводе. Шоферюгой. Понял?» — «Ну и что?» — «А то, что в ночную работу попал. Опять не понял? Которых там, в подвале, по ночам расстреливали, пахан на грузовике крытом в поле вывозил. В место захоронения». Опять Дзюба струю дыма вытолкнул. Я молчал, отвернувшись. «Работа не пыльная, — продолжал он, — деньги платили, только вот — снились пахану эти… Под утро приедет, ляжет спать — вдруг как вскинется с криком… Стал водкой сны глушить. Мать: „Уйди, уйди с работы этой“. А его не отпускали». Дзюба умолк. «Так и не отпустили?» — спросил я. «Отпустили, когда батя помер. От ци… забыл, слово мудреное… ну когда печень загубил напрочь». — «Сочувствую», — говорю я и соскочил с подоконника. А Дзюба: «Он мне перед смертью знаешь что сказал? „Колька, никогда не иди на ночную работу“ — вот что сказал и матом как

покроет их… на кого работал… с тем и помер…» Я еще подумал после того разговора, что он, Коля Дзюба, пошел в военно-морское училище, чтобы отцовскую загубленную жизнь как-то… ну, уравновесить, что ли…

Мы сидели на бруствере свежевырытой траншеи. Пахло землей и чистым, не задымленным воздухом. Если б не канонада, доносившаяся с южной стороны, и не вереница беженцев на грунтовой дороге, ведущей в Котлы, то могло бы показаться, что нет никакой войны.

Вот она, война, совершенно не похожая на ту, из довоенных песен. Женщины и дети, старики, бредущие по дороге, катящие тележки и коляски со своим скарбом. Куда идете? Где найдете пристанище, пропитание, кров над головой? Люди — как осенние листья, сорванные с веток штормовым ветром…

Очень хотелось курить.

— Что? — спохватился я, что не слушаю Дзюбу. — Что ты сказал?

— У него старший брат, говорю, капитаном плавал на буксирном пароходике, так он матросом к нему пошел…

— Ты о ком?

— Да о Сереге, о Ксенофонтове. У тебя что, уши

заложило? Нормально плавали они по озеру, по Онежскому, значит, а потом брательник какой-то ворованный груз принял на борт, так Серега разругался с ним и ушел. Списался с буксира и пошел заканчивать десятый класс. Они, братья, детдомовские оба, безотцовщина. Серегу некоторые граждане дурачком считали. Вот ты, например.

— Ничего я не считал…

— А он только хотел, чтоб все было правильно. Ну, как учили.

— Жалко Ксенофонтова, — говорю.

— И очень за свой Петрозаводск беспокоился — чтобы финны его не сцапали.

Тут наш разговор прервал Ваня Шапкин. Подошел, быстрый и легкий, со своей улыбочкой, и говорит:

— Пляшите! А иначе не дам.

Ну, плясать — это как раз по его части: Ваня лучший плясун у нас в училище, на концертах самодеятельности отплясывал так лихо, что тяжелая люстра раскачивалась.

Догадаться не трудно: где-то Шапкин разжился табачком.

— Давай, давай, Ваня, — тянет к нему Дзюба свою ручищу. — А то уши опухли. Плясать потом будем.

Из своего кисета, похожего на варежку, Шапкин сыплет нам на газетные клочки драгоценный в окопной жизни продукт — рыжую махорку. На его худеньком веснушчатом лице сияет улыбка победителя. Мы сворачиваем цигарки, склеиваем жадной от нетерпения слюной — и прикуриваем от Ваниной спички. Ох, первая затяжка — какое наслаждение! А Ваня садится рядом, тоже закуривает и рассказывает, что ходил вон туда, влево от наших траншей, а там соседи окапываются — знаете кто? — ребята со 2-й бригады морпехоты, вот кто! Их в Кронштадте формировали. Как узнали, что мы, курсанты с Фрунзе, имеем нужду в куреве, так и отсыпали…

Я вполуха слушаю скороговорку Шапкина, наслаждаюсь впусканием в организм вкусного дымка. Тут и Павел Лысенков появляется — учуял курсантским нюхом махорочный дух. Паша, как и я, командир отделения. Он, можно сказать, полностью очнулся от спячки, одолевавшей его в училище. Ну, война, понятно, любого соню разбудит.

Между прочим, нас с Пашей Лысенковым не только училище объединяет. Еще и то, что наши отцы в двадцатые годы учились на командирских курсах и в составе сводного полка штурмовали

мятежный Кронштадт. В отличие от моего отца, старший Лысенков курсы окончил и служил, по словам Паши, в береговых частях флота.

Паша смолит махорку и авторитетно высказывается о сложившейся вокруг обстановке. Да, слева от нас — бригада морской пехоты, а справа, по ту сторону дороги, окапывается 2-я дивизия народного ополчения. Он, Лысенков, слышал, как наш комбат говорил, что эта дивизия сильно потрепана в районе Поречья и Ивановского; да оно и понятно: ополченцы вовсе не обучены военному делу.

2-я дивизия народного ополчения?.. Меня как током ударило: не в этой ли дивизии Оська Виленский? Да, да, в тот вечер, когда я с ним прощался, Оська, с недоеденным пирожком в руке, торжественно объявил, что он «боец Второй»… Ах ты ж, черт побери…

А Паша Лысенков скрутил себе вторую цигарку из шапкинской махры (Шапкин у нас безотказный) и продолжает развивать стратегические соображения. Немец, дескать, уже не так силен, как в июле, на лужской линии его чуть не месяц держали, да и держали бы еще, если б не ошибки командования, — вот слух прошел, будто генерала, который командовал лужской обороной,

арестовали и вообще расстреляли.

Ранним утром, только заалел восток и очнулась от сна, зашелестела на ветру «дубрава», появился двухфюзеляжный самолет-разведчик по прозвищу «рама». Обстрелянная зенитной батареей, «рама», набирая высоту, улетела. Но главное-то она высмотрела — новый рубеж обороны.

И вскоре налетели бомбардировщики — девятка «юнкерсов». Тяжелым грохотом, огнем и дымом наполнилось небо. Одна из бомб рванула рядом с траншеей, в которой сидели, пригнувшись, Вадим Плещеев и парни его отделения. Толчок горячего воздуха чуть не выбросил их из траншеи, земля осыпалась, уши заложило. Все же Вадим услышал оборвавшийся стон. Дзюба лежал на дне траншеи, рука, прижатая к горлу, была в крови. Вадим прокричал Шапкину в ухо, чтобы Макарова, санитара, позвал, и наклонился над Дзюбой. Осколок, как видно, ударил его в левую ключицу и прошил грудную клетку наискось. Дзюба хрипел, когда Вадим с Макаровым стянули с него фланелевку и тельняшку и бинтами из индивидуальных пакетов стали перевязывать ему грудь. На ее левой стороне, заливаемой кровью, можно было прочесть синие буквы давнишней наколки: «Нет щастья в жизни».

Вадим спросил Макарова, сможет ли дотащить Дзюбу до батальонной медсанчасти, до ее палаток за лесочком было километра полтора. Макаров, здоровенный бровастый малый, сказал: «Дотащу». Тут Дзюба приоткрыл щелки черных глаз и прохрипел: «Мало пожил на свете». — «Поживешь еще», — сказал Вадим. Но понимал он, что Дзюба с таким ранением не жилец…

Пауза, после того как «юнкерсы» отбомбились и улетели (один из них, подбитый зенитчиками, тянул за собой черный длинный хвост), была недолгой, начался артобстрел. Из-за перелеска рявкнули в ответ 76-миллиметровые пушки бригады морпехоты, какое-то время длилась артиллерийская дуэль. Потом пошла мотопехота противника, атаку отбили, и опять, ближе к вечеру, налетели бомбовозы; долгий день угасал в адском грохоте разрываемого железа, в дыму и вони тротила, в стонах раненых. Ночь накрыла поле боя черно-багровым пологом. В воронке от бомбового удара похоронили троих курсантов из отделения Вадима. По всей линии обороны закапывали в землю, в братские могилы, погибших бойцов. Штабные подсчитывали потери. Полевые кухни, уцелевшие от огня, срочно варили кашу. Рудаков кричал сорванным голосом в

трубку полевого телефона — требовал от боепитания срочного пополнения боезапаса: патронов, дисков для «дегтярей», бутылок с горючей смесью для отражения танковых атак.

Вадим, наевшись пшенной каши, лежал в траншее, закрыв усталые глаза. Ворочал в тяжелой голове трудные мысли. «Если так и дальше пойдет, — думал он, — то дело совсем плохо… Куда подевалась наша авиация, сталинские соколы… только немец в небе… Ну, еще две, еще три атаки отобьем, а дальше?.. Некому будет отбивать, вот что плохо… мы помрем тут, а кто загородит немцу дорогу на Котлы… на Ленинград…

А жизнь-то короткой оказалась — ну что поделаешь… такая судьба… вот маму жалко — каким долгим плачем зайдется мама, когда узнает, что я погиб… только мама и пожалеет меня… Хорошо бы поспать хоть немного, чтоб сил набраться для будущего дня…»

Костер разгорелся славно. Потрескивая, его языки выбрасывают в темное небо огненных мух. Хороший костер! А все сидят вокруг него и поют под баян: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих…» И конечно, концерт самодеятельности. Ему, Вадиму, товарищ Лена, вожатая отряда, сказала, чтоб прочитал какое-ни-

будь стихотворение. И он, Вадим, декламирует, ладонью прикрывая лицо от жара костра:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей…

«Вадя, что за стихи у тебя? — говорит товарищ Лена, обеими руками раздвигая со лба волосы, два русых крыла, и строго глядя светло-карими глазами. — Что за времири?» А он, Вадим, тоже удивлен: да это не товарищ Лена, это же Маша… ну да, Маша Редкозубова… откуда она взялась тут, в пионерлагере под Сестрорецком?..

Медленно, трудно возвращалось сознание. Повернув голову, наполненную болью, Вадим Плещеев обнаружил себя в тускло освещенной большой комнате с зашторенными окнами. Слева и справа лежали на койках люди, ходили женщины в белых халатах, и было видно, что они говорили меж собой и с теми, кто лежал, — рты разевали, но их голосов Вадим не слышал.

— Я оглох, — сказал он.

Но и собственного голоса не услышал.

Услышала проходившая мимо сестра или, скорее, няня, немолодая, с озабоченным лицом.

Она что-то ему сказала, Вадим на всякий случай кивнул. Нянечка принесла белую посудину и сделала знак, чтобы он приподнялся, — Вадим отрицательно поворочал головой. Вот еще… этого еще недоставало…

Теперь он вспомнил. Три дня они под Котлами отбивали атаки мотопехоты, а утром четвертого дня немцы обрушили на линию обороны мощную артподготовку и снова пошли. Основной удар в тот день пришелся как раз на рубеж, где держал оборону батальон курсантов. Сумасшедший день, страшные потери…

Он понимал, что уцелел в боях, но — сильно контужен. Медсестру, наклонившуюся над ним со шприцем для укола, спросил, где он лежит и давно ли, но ответа ее не услышал.

Задремал было, но вдруг тронули его за плечо, потрясли слегка. Он открыл глаза и увидел худенькое веснушчатое лицо Шапкина.

— Ваня, — сказал обрадованно, — ты живой… Ваня, я ничего не слышу… Ты найди бумагу, напиши, где я лежу… как сюда попал… Ваня, ты слышишь?

Шапкин кивнул, улыбка на его лице сменилась озабоченным выражением. Где тут найдешь бумагу и карандаш? Все же он выпросил у де-

журной сестры и то и другое. На обороте старого рецепта крупно написал: «Лежиш в Рамбове в госпитале».

Вон как! — удивился Вадим. В Рамбове!

Он знал, конечно, что моряки для краткости так называют Ораниенбаум.

— Значит, батальон вывели из боя? — спросил он.

Шапкин энергично закивал, заговорил, но умолк и развел руками.

«Неужели я совсем оглох?» — Вадим испугался этой мысли.

— «Лежишь», — сказал он, — надо с мягким знаком писать.

— А то я не знаю, — самолюбиво ответил Шапкин. — Ладно, поправляйся. Хоть и не слышишь. Я еще приду.

И верно, спустя два дня он снова пришел. Как раз в тот день глухоту Вадима прошибла артиллерийская стрельба. Он сразу понял: били орудия крупного калибра. Может, форты Кронштадта. Неужели немец уже в пределах дальности их огня? Что же творится на фронте?

Шапкин принес ему курево. Помог Вадиму добраться до гальюна. Вадим шел трудно, его пошатывало, хоть за стены хватайся. Шаркал

разношенными больничными тапками.

Закурили в гальюне. Шапкин сыпал скороговоркой:

— Ну да, в тот день, когда тебя контузило, батальон, можно сказать, перестал быть — продержались до вечера, но потери — страшное дело! — в нашей роте почти всех выбило, ротный, Рудаков, тоже погиб. Как стемнело, так батальон — ну, то, что от него остало́сь, — приказали вывести из боя. Мы с Лысенковым тебя вытащили и повели — ты сам не мог, — шли до перекрестка дорог, а Котлы горели, как костер. Почти что до рассвета плелись, потом на машинах — сюда, в Рамбов, — а вчера сказали, что наша бригада расформирована. Вот так и живем, Плещеев.

От угрожающей обстановки, а может, просто потому что молодой организм, Вадим быстро пошел на поправку. Начальник отделения, женщина-военврач, не хотела его выписывать, очень уж тяжелой была контузия, но Вадим упрямо стоял на своем: «Я здоров, спасибо, прошу немедленно выписать». — «Ты же за стенки держишься, матрос», — сказала начальница. «Нет, не держусь!» Вадим в доказательство прошелся строевым шагом по ее кабинету. Она устало махнула рукой, спросила, знает ли он, где его часть.

В канцелярии Вадим получил справку о выписке, свое удостоверение и бумажник, в котором были в целости мамина фотокарточка и сто тридцать три рубля денег. Получил, конечно, и одежду. Чьей-то доброй рукой были вычищены бушлат и брюки (хотя земляные пятна от окопной жизни не исчезли). Вот вещмешка не было — остался, наверное, вещмешок в траншее, где его засыпало… Винтовку Шапкин прихватил, когда вытаскивал Вадима, а мешок… да черт с ним… Только вот бритву жалко… и осколок от первого снаряда кто-то выбросил из кармана бушлата… а кому он мешал?..

Нянечка, добрая душа, принесла ему чью-то бритву-безопаску. Лезвие было тупое-претупое, насилу отскреб Вадим щеки и подбородок, а усы оставил. Ну рыжие они — ну и что? Уродовать тупым скребком верхнюю губу? Дудки! Сойдет и так.

Выйдя из госпитальных дверей, Вадим постоял немного, прислушиваясь к канонаде. Тяжелые орудия били, как ему показалось, отовсюду. Может, и корабли с рейда вели огонь. Близкие удары артиллерии неприятно отдавались толчками в висках — все же голова у него, Вадима, была еще нехорошая. Он медленно побрел к казарме, адрес

которой дал ему Шапкин. Но прежде разыскал почту и там написал открытку матери: «Мама, не волнуйся, я жив-здоров» — ну и все такое. Про контузию умолчал.

В казарме, где разместились, по выражению Шапкина, «живые остатки бригады», провел Вадим несколько неопределенных дней. Никто ничего не знал, но обстановка была нервная, и слухи были такие, что немецкий генерал фон Лееб со своей армией и финский Маннергейм со своей хотят полностью окружить Ленинград и только Кронштадт со своей артиллерией не дает им это сделать.

Но вот остатки бригады курсантов пересчитали, заново расписали по ротам, и появились новые командиры, и объявили боевую готовность. Паша Лысенков сообщил Вадиму, что их передают в 1-ю бригаду морской пехоты, пришедшую на кораблях из Таллина.

Был митинг. Незнакомый рослый батальонный комиссар прокричал, что над Ленинградом нависла грозная опасность, и зачитал письмо-клятву защитников города: «Пока видят глаза, пока руки держат оружие, не бывать фашистской сволочи в городе Ленина! Защитим Ленинград!..»

После митинга — посадка по грузовым маши-

нам. И поехали с ветерком — через Петергоф. Улицы с детства знакомого городка пустынны. Пышная зелень парка будто поникла под снарядами, буравящими небо над ней.

Стрельна. Где-то тут, вспоминает Вадим, живет мамин сотрудник по детской библиотеке, интеллигентный лысый дядечка, как-то раз приезжали к нему с мамой, у него в огороде крыжовник рос замечательный, красная смородина…

Поворот на Красносельское шоссе. Теперь пригороды Ленинграда пошли мелькать — приземистые дома, бараки, бревенчатые избы, заборы, заборы, огороды.

— Там вот, возле станции Горелово, — сказал один первокурсник, ткнув пальцем в сторону железной дороги, — прошлый год женщину с дитем задавило. Пути переходила, ей маневровый паровоз гудел, гудел, а она не услыхала.

Раскатистый грохот усилился: где-то поблизости рвались снаряды, прилетевшие с кораблей, с фортов Кронштадта. В грузовике, в котором ехал Вадим, утихли разговоры. Люди в бескозырках и черных бушлатах, вооруженные винтовками и пулеметами Дегтярева, прислушивались к нарастающему голосу войны.

— Надо же, — сказал кто-то, — до Красного Села

они доперли.

Не доезжая до станции Красное Село, близ растрепанного берега речки Дудергофки, машины остановились. Курсанты повыпрыгивали из шатких кузовов. Около часа шли по грунтовой дороге, вдоль зарослей кустарника. На виду у обгоревших, дымящихся строений, среди редких, побитых осколками берез и сосен стали окапываться. По другую сторону дороги остановилась еще одна, только что прибывшая, часть, тоже морская пехота, — они были в касках. Где-то им успели каски выдать, повезло ребятам.

Вадим вдруг услышал, как кто-то из этих, в касках, выкрикнул:

— Веденеев, где моя лопатка? Почему не отдаешь, япона мать?

Вот это да! Вадим разогнул спину и с саперной лопаткой в руке перешел дорогу.

— Валя! — окликнул он.

Травников, очень загорелый, в каске, под которой белела повязка, обернулся. Медленно, улыбаясь, шагнул к Вадиму:

— Здорово, Дима.

— Здорово.

— Вот где встретились, — сказал Травников.

Глава четвертая
Травников в боях на море и на суше

Война застигла Травникова в море.

Так уж сложилась у него практика. Сдав экзамены и перейдя на четвертый, последний курс, Травников с группой старшекурсников в середине июня приехал в Таллин — главную базу Балтфлота — на корабельную практику. Как и хотелось ему, был он назначен на подплав.

Соединение подводных лодок находилось в Усть-Двинске — новой военно-морской базе в устье Западной Двины, близ Риги, и Травников, не задерживаясь в Таллине, отправился туда с оказией — на вспомогательном судне, страшно дымившем из допотопной высокой трубы.

Среди скопления кораблей в гавани Усть-Двинска Травников разыскал «Смольный» — плавбазу подводных лодок — и предъявил штабному чину свои документы. Штабной, замотанный служебными делами, велел ему «оформиться» на «эску», то есть подлодку серии С, которой командовал капитан-лейтенант Сергеев.

Травников пошел искать Сергеева. У левого борта «Смольного» стояла подлодка как раз с нужным номером — белой краской по серому телу рубки. Люк носового отсека был открыт, и кран с натужным стоном нес к этому люку длинную, поблескивающую на солнце торпеду, извлеченную из нутра «Смольного». Направляемая руками нескольких краснофлотцев, торпеда косо уходила в люк. Руководил погрузкой торпед усатый старший лейтенант со свирепым лицом. Травников — к нему:

— Разрешите обратиться?

— Ну? — гаркнул старлей.

Травников представился, спросил, где можно найти командира лодки.

— Каюта четырнадцать.

— Я туда постучался, командир не ответил.

— Значит, он на совещании у комбрига. — Старлей пошевелил желтыми усами. — А ты фрунзяк? Ну-ну. Майна! — крикнул он крановщику, извлекшему из смольнинского трюма очередную торпеду.

Плавбаза была наполнена звуками деятельной жизни. Стонал кран, завывала вентиляция, топали по палубному настилу матросские башмаки-говнодавы. В гальюне на баке Травников

выкурил папиросу и снова спустился в коридор жилой палубы. Снова постучался в каюту номер четырнадцать — и услышал басовитое: «Войдите».

За столиком сидели двое — капитан-лейтенант и старший политрук, они разговаривали и курили при открытом иллюминаторе. Травников представился: прибыл на практику, четвертый курс училища Фрунзе — и так далее.

— Ха! — воскликнул старший политрук. — На ловца и зверь бежит.

Он залился жизнерадостным смехом, жестом приглашая и капитан-лейтенанта посмеяться, но тот лишь усмехнулся, вынув изо рта трубку.

— Видите ли, мичман, — сказал он густым басом, — мы с замполитом как раз говорили о минере. Ощепков, наш минер, в отпуск уехал. Не хотел я его отпускать, но Владимир Иванович…

— Да, я поддержал Ощепкова, — подхватил замполит, — у него ж такое событие — сын родился.

— Короче: минер уехал, а тут приказ, срочный выход в дозор. И на бригаде сейчас нет свободного минера, чтоб заменил нашего. Ощепкову послали телеграмму — вернуться, но, пока он доберется из своего Ярославля, придется вам, мичман, покомандовать Бэче-два-три. Под при-

глядом помощника. Такой крайний случай.

— Понял, товарищ капитан-лейтенант, — сказал Травников.

— Надеюсь, вы не двоечник?

— У меня отличные оценки.

— Вот и прекрасно. Владимир Иванович, помоги с каютой и питанием мичману Тральникову.

— Я Травников, товарищ командир.

— Ага. Хотя Тральников — было бы ближе к морской профессии.

Капитан-лейтенант Сергеев принялся выбивать трубку в большую пепельницу. Уж он-то был не просто близок к морской профессии, а, можно сказать, ее воплощением — высокий, прямой, с сухощавым лицом и несколько насмешливым изгибом губ.

Замполит Гаранин выглядел попроще — было в его облике нечто от недавнего комсомольского активиста, каких называют «свой в доску». Но когда Травников, идя с ним рядом по коридору, спросил, почему комсоставу разрешены отпуска́ в такое тревожное время, Гаранин вдруг нахмурился и резковато сказал:

— Что значит «тревожное»? Вы сообщение ТАСС на прошлой неделе читали?

— Слышал по радио.

— Значит, знаете, что слухи о близости войны с Германией являются лживыми и провокационными. Отпуска для комсостава никто не отменял. Ясно, мичман?

Дел перед выходом в море всегда полным-полно — Травников сходу включился в них. Все же успел вечером написать письмо Маше — сообщил, что начинает корабельную практику, интересовался, закончилась ли у Маши сессия («уверен, что ты сдала все на отлично, ты ведь умная у меня»), а в конце письма задал вопрос со значением: «Машенька, как ты себя чувствуешь?» — и два последних слова подчеркнул. Из гавани сбегал на почту и попал туда за минуту до ее закрытия — успел отправить письмо.

Ранним утром «эска», тихо шелестя электромоторами, покинула гавань Усть-Двинска и, слившись с плавным током Западной Двины, то есть Даугавы, пошла в распахнувшуюся синеву Рижского залива. А там, грохотом дизелей вспугнув стаю чаек, прямиком направилась в Ирбенский пролив, у западного входа в который и начиналась позиция дозора.

Спросив разрешения, Травников поднялся на мостик, закурил «беломорину». «Эска» шла ходко, острым форштевнем взрезая податливую воду,

волоча белопенные усы. В небе против хода лодки плыли облака, «вечные странники». Движение в море, движение в небе — это наполняло душу Травников радостью. Жизнь складывалась так, как он хотел. Море, флот, подводная лодка! Через год он станет лейтенантом, морским командиром. А на берегу его ждет прекрасная женщина, скоро они поженятся — да, наступит осень, и они станут мужем и женой на всю жизнь. «До дней последних донца».

И одно только пятнышко было на радости, распиравшей грудь мичмана Травникова. Когда прощались перед его отъездом в Таллин, Маша сказала, смущенно отведя взгляд: «Валя, знаешь, у меня задержка… Ну, ты понимаешь…» — «Ты хочешь сказать, что ты…». «Пока не знаю, — перебила она. — Может, просто задержка, это бывает. А может быть…» Маша не договорила, улыбнулась, прильнула к нему.

Наверное, Маша написала ему в Таллин на главпочтамт до востребования, но он-то в Таллине пробыл недолго, письма еще не было — а теперь, возможно, оно и пришло. Жаль, что разминулись…

Папироса выкурена, надо убираться с мостика. Травников шагнул к люку. Тут с неба, быстро

нарастая, обрушился гром. Из облаков, как из-под ватного одеяла, вынырнул темно-серый самолет с крестами на крыльях, с отчетливой свастикой на хвосте. Снижаясь, он прошел над «эской», явно рассматривая ее. Капитан-лейтенант Сергеев погрозил немцу кулаком, пробормотал:

— Ох и влепил бы я тебе… разлетались тут…

Травников слышал уже не раз, что немецкие самолеты все чаще нарушают границу, ведут, по-видимому, воздушную разведку приграничной зоны, а открывать по ним огонь строжайше запрещено. Ни в коем случае не поддаваться на провокации — таков приказ из самых высоких сфер.

Травников спустился в центральный пост, прошел в первый отсек, торпедный, где он теперь в качестве исполняющего обязанности минера был командиром. Тут сидел на койке старшина первой статьи Бормотов, командир отделения, а над ним стоял молоденький лодочный фельдшер Епихин с термометром в руке.

— Да отвяжись от меня, — говорил хриплым голосом Бормотов. — Я сроду не болел, понятно, нет?

— Сроду не болел, а кашляешь так, что в седьмом отсеке слышно. Давай измерь температуру.

— Ну и что, если кашляю?

— А то! Сказано было, что в реке вода холодная, а ты полез. Давай, давай, Бормотов, не упрямься.

— Отстань, говорю! Не хочу мерить.

У Бормотова лицо было красное, глаза заплывшие.

Травников сказал:

— Измерьте температуру, старшина. У вас действительно больной вид.

Бормотов повел на него неприветливый взгляд: дескать, это еще кто тут командует?

— А, товарищ мичман, — прохрипел он. — Здра-жлаю, товарищ мичман. Р-разрешите не выполнить ваше ценное…

Тут его сотряс долгий кашель. Обессиленный, потный, он повалился на койку. И не сопротивлялся, когда Епихин, оттянув у плеча его тельняшку, сунул под мышку градусник.

— Ну вот, — сказал фельдшер минут через пять, качнув головой, — тридцать восемь и шесть.

Из большой сумки с красным крестом он вытащил флягу, налил воды в граненый стаканчик и всыпал туда из облатки белый порошок. Размешал и дал Бормотову выпить.

Когда лодка погрузилась, удифферентовалась, наступила тихая подводная жизнь, фельдшер

Епихин доложил командиру о своем беспокойстве: как бы у Бормотова не воспаление легких.

— Этого еще недоставало, — проворчал Сергеев. — Мы десять дней будем в дозоре — сумеете столько продержать его? Есть у вас лекарства от воспаления?

Епихин ответил, что есть сульфамид, ну и горчичники, конечно, на грудь налепим… но вообще-то, нужна госпитализация…

— Удвойте ему дозу, что ли, — сказал командир. — Я бы не в госпиталь, а на губу отправил Бормотова. Не было разрешения купаться, а он полез в холодную реку.

Поздним вечером раздалось из переговорных труб:

— По местам стоять, к всплытию! — И затем: — Продуть среднюю!

Трюмный машинист врубил рычаг — с шипением, со свистом ворвался сжатый воздух в среднюю цистерну, выбрасывая из нее воду, поднимая лодку в позиционное положение.

— Приготовить правый дизель на продувание главного балласта!

Вскоре заработал, зататакал восемью своими цилиндрами дизель, и старшина группы трюмных доложил, что продут главный балласт. На

приборной доске погасли белые огоньки номерных цистерн. Командир приказал:

— Дизель на винт-зарядку!

И пошла лодочка малым ходом по тихой, слабо колышущейся воде, и работяга-дизель набивал электричеством ее аккумуляторную батарею.

Ночь была светлая, хорошая. Луна, немного усеченная тенью, спокойно взирала на подлунный мир. А в нем-то — некогда воспетом поэтами — было очень, очень плохо…

Под утро механик доложил, что плотность батареи достаточная, и командир, докурив на мостике трубку, уже собрался скомандовать погружение, как вдруг радист Малякшин принял срочную радиограмму, идущую по всему флоту. Заспанный шифровальщик, уединившись со своими таблицами в командирской каютке, расшифровал ее и подал командиру бланк. Всего несколько строк размашистым почерком:

«Германия начала нападение на наши базы и порты. Силой оружия отражать всякую попытку нападения противника. Комфлот Трибуц».

Командир Сергеев прочел и сказал:

— Война!

И протянул бланк замполиту Гаранину.

Двое суток прошли спокойно. «Эска» утюжила

район позиции, осматриваясь выдвинутым перископом, всплывая по ночам для зарядки батареи.

А на третьи сутки…

Ночь была довольно светлая, луна, наполовину съеденная тенью, то и дело выплывала из бесконечных облаков. «Эска» шла малым ходом, один ее дизель работал на винт и на зарядку. Около часа сигнальщик Лукошков, обшаривая в бинокль горизонт, разглядел в южной его стороне два движущихся предмета.

— Слева сорок пять — два силуэта! — выкрикнул он. И неуверенно добавил: — Кажется, катера́.

Сергеев повел в указанном направлении бинокль.

— Не вижу никаких силуэтов, — пробормотал он. — Тебе, может, они приснились, Лукошков?.. А-а, вот! Да, катера. Похожи на «мошки».

«Мошки», то есть «морские охотники», вполне могут оказаться здесь — они шастают вдоль всего побережья.

— Вооружить прожектор, — командует Сергеев. — Запросить опознавательные.

Лукошков быстр, исполнителен. Стучит заслонкой, посылая броски света — точки и тире — в сторону катеров.

А те идут на сближение. Неясен в слабом ночном свете силуэт их надстроек. И вот что: не отвечают! Пора, пора дать ответ, а они молчат…

Сергеев командует:

— Боевая тревога! Артрасчеты наверх!

Раскатываются звонки тревоги по отсекам. Из первого отсека торпедисты, они же комендоры, устремляются в центральный пост, быстро поднимаются по отвесному трапу на мостик, занимают свои места у носового и кормового орудий. А Травников, как исполняющий обязанности командира артиллерийско-минной боевой части, должен управлять артогнем. Но…

— Мичман, к сорокапятке! — бросает ему Сергеев. — Командиром орудия!

— Есть! — Травников бежит к кормовой пушке.

Ему ясен приказ — заменить заболевшего Бормотова, командира сорокапятки. Что ж, эта пушка ему хорошо знакома по училищному кабинету артстрельбы.

Но где же цель?

А ветер крепчает. Травников опускает ремешок мичманки. Вот она — цель! Два катера незнакомых очертаний слева… идут, кажется, наперерез курсу лодки, кабельтовых десять до них…

Тут выплывает из густой облачности луна. Светло как! Будто занавес раздернули…

А это что?!

Почти одновременно — голос Лукошкова, выкрик Травникова и кого-то из комендоров:

— Торпеды!

И тут же — рык Сергеева:

— Право на борт!

Лодка поворачивает. Торпеды, сброшенные с катеров, хорошо нацелены, но лодка уклоняется, уклоняется — в лунном свете видно, как пенистые дорожки двух торпед, образованные пузырьками отработанных газов, быстро проходят вдоль лодочного левого борта. Почти впритирку!

— Огонь по катерам! — голос командира.

А помощник орет в мегафон:

— Кормовое! Прямой наводкой!

Травников уже приготовил сорокапятку к бою, уже велел заряжающему открыть кранцы первых выстрелов. Лодка на повороте обращена к катерам кормой — значит, носовое орудие-сотка пока стрелять не может. «Ну а мы влепим сейчас…»

Он ловит левый катер на перекрестие нитей прицела и кричит заряжающему Кухтину: «Давай!» Тот, не мешкая, досылает патрон в казенник пушки. Выстрел!

Эх, перелет! Дистанция быстро сокращается, и уже катера открыли огонь. Трассирующая очередь проносится так близко, что ее жар опаляет щеки Травникова. Снова он совмещает перекрестие нитей с рубкой катера — выстрел! Еще, еще… Всплески, гребенка всплесков… Ага, попадание! Вспышка пламени, и рубка катера разваливается… там заметались темные фигуры…

Второй катер направляется к подбитому, который, задирая форштевень, кормой погружается в воду, и снимает с него уцелевших людей. А лодка, продолжая поворот, теперь и носовой пушке открывает противника. И сотка вступает в бой. Ее снаряды поувесистее унитарных патронов сорокапятки. Вон какие всплески… и, кажется, попадание… Столб огня, дыма… заволокло, ни черта не видать… Травников прекращает огонь.

Немецкий катер укрылся дымзавесой. А когда она рассеялась, катер был уже далеко — уходил восвояси.

Кухтин, рослый широкоплечий малый, вдруг повалился головой к леерной стойке. Обеими руками он держится за живот, и руки окровавлены. Травников и наводчик Федоров бросаются к нему.

— Да ничего, ничего, — бормочет Кухтин. — За-

цепило немного.

В эфире шумно, неспокойно: голоса немецких дикторов забивают все другие радиозвуки, громыхают литавры их бесконечных маршей. Но Семен Малякшин терпелив. Бормоча себе под нос: «Но тих был наш бивак открытый», он отстраивается от помех — и ловит искомую радиостанцию Коминтерна.

Но сводки — плохие. Вот сообщение о том, что после упорных боев оставлена Либава. Командир Сергеев чертыхнулся, когда Малякшин доложил ему эту сводку.

— Там же полно кораблей. Такую базу потеряли! Ты, Сенечка, не можешь что-то повеселее докладывать?

— Я бы рад, товарищ командир, — отвечает Малякшин, серьезный юноша с красными от недосыпа глазами, — но пока не могу. К сожалению.

На рассвете одного из дней гидроакустик доложил, что по такому-то пеленгу слышит шум винтов. Сергеев поднял перископ и сквозь колышущиеся полосы тумана разглядел темные пятна и дымы — это, наверное, группа кораблей. Сергеев пошел на сближение. Вскоре стало понятно: немцы ставят минную банку у входа в

Ирбенский пролив. Идет малым ходом минный заградитель, кораблик тысячи на три водоизмещением, а с его круглой кормы плюхаются в воду шары мин. Охраняют эту чертову работу два корабля поменьше и четверка катеров-охотников. Погода подходящая, волнение хоть и не сильное, но достаточное, чтобы скрыть от глаз противника пенный след перископа. Сергеев объявляет торпедную атаку и приказывает приготовить к стрельбе первый и третий торпедные аппараты. В первом отсеке идет быстрая работа. Проверено давление воздуха в торпедах — все в норме. Торпедисты замерли в ожидании команды «товсь!». А в центральном Сергеев и его помощник старший лейтенант Бойко вырабатывают по таблицам математику атаки. Лодка ложится на боевой курс. Теперь — ждать прихода цели на пеленг залпа…

— Аппараты, товсь!

Кажется, тронь каждого в экипаже — зазвенит, как натянутая струна…

— Аппараты, пли!

Мощный вздох сжатого воздуха, два толчка по ушам…

— Торпеды вышли! — доложил Травников в центральный.

И акустик докладывает, что слышит работу машин идущих к цели торпед.

Взрыв! И сразу — второй. Сергеев прильнул к окуляру перископа. Сноп желто-красного огня взметнул в небо обломки корпуса минзага, клубящийся дым…

— Владимир Иванович, посмотри! — Сергеев дает замполиту взглянуть. — Хороша картина? Ну, все. — Он нажимает на кнопку, перископ пошел вниз. — Боцман, ныряй! Лево руля!

У замполита Гаранина сияющий вид. Он объявляет по переговорным трубам:

— В носу! В корме! Мы потопили минный заградитель противника. Поздравляю с первой победой, товарищи! Наша лодка…

Тут голос замполита прерывается звенящим звуком взрыва. И еще… и еще… Катера охранения сбрасывают глубинные бомбы. Первое, так сказать, знакомство… Сергеев маневрирует под водой, уходя мористее, погружая лодку на тридцать, на сорок метров… Звуки бомбежки удаляются, превращаясь в резкие щелчки…

Удалось уйти от преследования.

Десятидневный срок дозора кончился, но приказа о смене не поступало. И обстановка была неясная. Судя по сводкам, шло сильное наступ-

ление германских войск. Неясно было с Ригой, с Усть-Двинском — не захвачены ли фашистами?

Вдруг пришел приказ перейти в Рижский залив, в его южной части атаковать возможные конвои противника.

И верно, конвои шли. Но попробуй подступись к ним: мелководье! А десятиметровую изобату подводным лодкам пересекать запрещено.

Все же Сергеев решил рискнуть.

Шел большой конвой, не менее двадцати судов. Идут явно в Ригу: других портов для разгрузки такого каравана тут нет. Сергеев повел «эску» на сближение, решил стрелять не с пяти-шести кабельтовых, а с десяти-двенадцати. И уже начал рассчитывать угол встречи с головным транспортом, как вдруг…

Чертов штиль! На катерах охранения заметили пенный след перископа на гладкой, как стол, воде. Несколько катеров-охотников ринулись на лодку. Сергеев повел ее мористее, вокруг грохотали разрывы глубинных бомб. От близкого взрыва посыпались стекла плафонов, погас в отсеках свет. Сергеев велел застопорить моторы. Лодка легла на грунт. Отвратительно тихо сделалось. На катерах-охотниках, понятно, выслушивали лодку. Сергеев приказал выключить все механиз-

мы, не шуметь, даже ботинки велел поснимать, ходить в носках.

«Эска» затаилась. Вскоре опять загремели взрывы глубинных бомб. Над лодкой будто поезд прошел — так близко прошумели винты шастающих наверху охотников. Вцепились. Взрыв, взрыв, взрыв. Стихло. В отсеках «эски» становилось трудно дышать. В первом отсеке хрипло дышал Кухтин, — раненный в живот, перевязанный, он держался из последних сил. Рядом с его койкой сидел на разножке Травников. Он коснулся горячей руки Кухтина, прошептал ему: «Потерпи, Егор… Скоро кончат бомбить… всплывем, легче станет…»

Томительно текло время. Дышать все труднее, много скопилось в отсеках углекислоты. Хотелось спать. В тусклом свете аварийного освещения блестели потные измученные лица. И слышно только свистящее дыхание, прерываемое разрывами глубинок.

Но вот стихла бомбежка. Устали, может, охотники. Час проходит, другой, третий. Там, наверху, стемнело уже. И наверное, стоят катера, дежурят, ждут, когда лодка всплывет.

Сергеев командует:

— По местам стоять, к всплытию! Артрасчеты

в центральный!

Верное решение, думает Травников, поднимаясь по трапу на мостик. Лучше артиллерийский бой, чем задыхаться на грунте…

Ох, светло как! Полная луна — яркий фонарь на безоблачном небе — положила на залив золотую дорожку. И — нету катеров-охотников! Никого вокруг. Только покачивается за кормой всплывшей «эски» буй с электрофонарем. И — широкое масляное пятно на гладкой воде. Наверное, повреждена от бомбежек топливная цистерна. А немцы, может, решили, что лодка потоплена. Обвеховали это место и ушли.

Что же теперь? Усть-Двинск, очевидно, потерян. Продолжать дозор с повреждениями междубортных цистерн? Да вот и механик докладывает, что нарушилась изоляция аккумуляторной батареи. Сергеев посылает радиограмму: «Имею повреждения прошу указаний дальнейших действиях». И вскоре приходит подписанный комбригом ответ: «Срочно идти рейд Куйвастэ».

Вот он на карте — Куйвастэ, небольшой порт на острове Муху, то есть по-старому Моон, у южного входа в пролив Мухувейн, то есть по-старому — Моонзунд. Штурман прокладывает курс. «Эска» идет полным ходом, дизеля работают нормально,

отсеки вентилируются. Но вскоре ход замедляется: растет дифферент на нос. Значит, повреждены при бомбежках носовые цистерны, в них поступает вода, нос зарывается. Приходится продувать эти цистерны воздухом высокого давления.

В первом отсеке фельдшер Епихин меняет повязку Кухтину. Тот очень ослабел от потери крови, от кислородного голодания. Епихин нащупал его пульс, качает головой. Плохо дело, думает Травников. Дотянет ли Кухтин до этой… как ее… Куйвасты?

А Бормотов разговорился что-то. Когда лежали на грунте, он еле сдерживался, чтоб оглушительным кашлем не выдать немецким акустикам место лодки. Пальцы себе кусал, не давая кашлю вырваться на волю. А теперь, откашлявшись, травит про довоенную жизнь в Архангельске.

— Папаша мой был моторист, едрит-твою, — хрипел Бормотов, обращаясь к Федорову и другим обитателям первого отсека. — Была в Архангельске такая шхуна «Шарада». Как раз я родился в том году, когда эта шхуна к Новой Земле пошла, на ней капитан Воронин. Знаешь его? Ну что ты, знаменитый был капитан. Правда, потом. А папаша — мотористом. Движок на «Шараде» слабенький, Воронин говорит: «Ну его на хер, под

парусами пойдем». Ну, папаша: «Пожалста, под парусами...»

— Эта шхуна, — сказал Травников, — называлась не «Шарада», а «Шарлотта».

— Откуда ты знаешь? — повел на него Бормотов недоверчивый взгляд.

— Да известная же была научная экспедиция. На «Шарлотте» ученые шли на Новую Землю. Северная экспедиция.

— Ну, северная, а какая ж еще? Вот пришли на Новую Землю, тамошний начальник их встретил, а его фамилия знаешь как? Вилка!

— Вилка? — Федоров хохотнул. — А я думал — Ложка!

— Опять ты путаешь, — сказал Травников. — Не Вилка, а Вылка была фамилия председателя Новоземельского совета. Тыка Вылка.

— А по-моему Вилка, едрит-твою! Чего ты встреваешь?

— Не путай — не буду встревать. — Травников держался сухо и твердо.

— Тоже мне корректировщик. Мне папаша что рассказывал? Сошли они, значит, на берег, а там скалы, и на скалах птичий базар. Что, мичман, опять скажешь нет?

— Птичий базар — это точно.

— Миллионы птиц! Чайки и эти… кайры! Сидят — на яйцах и так, отдыхают. Один ученый, может, для науки, а может, просто так взял и выстрелил из ружья. Что тут было, едрит-твою! Все разом взлетели, как туча, аж солнце затмили, загалдели и сверху всю группу с головы до ног обосрали!

В первом отсеке наступает веселая минута. Смеются торпедисты, представив себе такую картину.

— Что за смех в Рижском заливе? — спрашивает вошедший в отсек Гаранин.

— Бормотов травит, товарищ старший политрук, — говорит Федоров, двумя пальцами теребя молодые усы. — Про птичий базар и какие от него неприятности.

— Ну как ты, Егор? — Гаранин всмотрелся в Кухтина. — Вижу, вижу — в надводном положении тебе лучше, чем в подводном.

— Лучше, — прошептал Кухтин.

— Скоро придем в Куйвасту, самого хорошего доктора к тебе позовем. Верно, фельдшер? Ну вот. Держись, Егор. У нас много еще будет дел на войне.

— Знаю, — сказал Кухтин, превозмогая приступ боли.

К полудню шло, когда «эска» добралась, доковыляла до рейда эстонского городка Куйвастэ. Еще издали Сергеев с мостика увидел в бинокль на фоне зеленого берега силуэт крейсера «Киров», флагманского корабля Балтфлота. Очень он выделялся красотой и мощью среди скопления кораблей. Сергеев невольно залюбовался крейсером — но и мелькнула опасливая мысль: если базы в Рижском заливе потеряны, то надо же выводить отсюда «Киров», а ведь в Ирбенском проливе немцы ставят минные заграждения…

Стояли тут, на рейде, на якорях шесть эскадренных миноносцев, тральщики, десятка полтора вспомогательных судов, торпедные катера. А вот и плавбаза «Смольный», окруженная несколькими подводными лодками.

Ну, «Смольный» — почти дом родной. Там — и помыться, и отдохнуть. Сергеев велит сигнальщику поднять позывные, а потом, войдя на рейд и встав на якорь, отправляет на «Смольный» семафор: докладывает о своем прибытии и просит прислать шлюпку за раненым и больным.

Шлюпка-шестерка вскоре пришла. Осторожно торпедисты вынесли из носового отсека и подняли на мостик Кухтина — оттуда спустили его в шлюпку, удерживаемую отпорными крюками у

выпуклого бока «эски». Кухтин, очень бледный, приоткрыл глаза, наполненные болью, прошептал: «Прощайте, ребята…»

Бормотов не хотел уходить, чуть ли не силой пришлось вывести его из отсека. На мостике, хлебнув свежего воздуху, Бормотов зашелся долгим кашлем. Потом, отдышавшись, отвел руки фельдшера Епихина, прохрипев: «Я сам».

Смольнинские матросы взялись за весла, погнали шлюпку к плавбазе. Кухтина и Бормотова сопровождал Епихин. Пошел на «Смольный» и командир Сергеев.

Вернулся он спустя два часа. На вопрос Гаранина коротко ответил: «Кухтин плох» — и сразу прошел во второй отсек, где инженер-механик Лаптев и электрики возились в аккумуляторной яме, во вскрытой батарее.

Гибким движением гимнаста Лаптев выпрыгнул из ямы.

— С расклинкой батареи мы управимся, товарищ командир, — говорит он быстрым южным говорком. — А вот как быть с носовыми цистернами? Наверное, заклепки потекли, нужно зачеканить. Док нужен, товарищ командир.

— Где я вам док возьму, механик? — Сергеев хмуро смотрит на Лаптева, на его раскосые «пи-

ратские» глаза. — Надо до Таллина дотянуть, а там видно будет.

— До Таллина? — удивленно переспрашивает механик.

За ужином Сергеев объявляет:

— Значит, так, товарищи командиры. По приказу комфлота уходим из Рижского залива. «Киров» и другие корабли, в том числе и лодки, переходят в Таллин. Переход — по Моонзунду.

— Там же мелко, Михаил Антоныч, — говорит помощник Бойко. — Мы-то пройдем, а вот «Киров»…

— Пройдет и «Киров». В Моонзунде идут дноуглубительные работы. Нагнали землечерпалок, углубляют фарватер. С крейсера выгружают боезапас главного калибра, лишнее топливо. Чтобы уменьшить осадку. Такие дела. — Сергеев отодвигает тарелку с недоеденной пшенной запеканкой и наливает себе чаю. — Должен сообщить, товарищи командиры, — говорит он, помешивая ложечкой в стакане, — что обстановка на море трудная. К северу от Даго нарвался на минное заграждение крейсер «Максим Горький», взрывом мины ему оторвало нос…

— Нос оторвало?! — ахнул механик Лаптев. — Он затонул?

— Нет. Броневая переборка не дала хлынуть воде внутрь корпуса. «Горький» своим ходом добрался до Таллина. А вот на той же минной банке подорвался и затонул эсминец «Гневный».

Травников, исполняющий обязанности командира БЧ–2–3, питался с лодочным комсоставом в кают-компании — за столом во втором отсеке. Услышав о «Гневном», он вскинулся, не донеся до рта стакан чая.

— А экипаж «Гневного»? — спросил он. — Все погибли?

— Не все. Уцелевших снял другой эсминец, «Гордый». У вас что, мичман, кто-то был на «Гневном»?

— Да. Мой близкий друг проходит там практику.

— Проходил, — сказал Сергеев.

Да нет, не может быть, чтобы Жорка погиб, думал Травников. Жорка Горгадзе — ну не такой человек, чтобы взять и погибнуть… Жорка мечтал об эсминцах, радовался, что попал на практику на новый эсминец…

— Тяжелые потери и у нас на подплаве, — продолжал Сергеев излагать информацию, полученную на «Смольном». — Погибла «малютка» эм — восемьдесят три. Командир Шалаев

привел ее с поврежденным перископом в Либаву, не зная, что там уже идут уличные бои. Вошел в канал, когда немецкая мотопехота прорвалась к судоремонтному заводу «Тосмаре». С ходу старлей Шалаев ударил из своей сорокапятки по их машинам. Прямой наводкой. Ну, неравный бой, сильные повреждения, боезапас расстрелян. Шалаев отдал последний приказ: всем, кто жив, сойти на берег, лодку взорвать. Там сухопутная часть оборонялась, Шалаев со своими ребятами к ним примкнули. Дрались до последнего патрона.

— Ах, Паша! — Бойко пошевелил желтыми усами. — Паша Шалаев был в нашем выпуске очень заметный. Он первым из нас стал командиром лодки.

— А в нашем выпуске, — сказал Сергеев, — был Коля Костромичев, командир «эс-три». Вы его знаете. Комфлот приказал кораблям, стоявшим в Либаве, перейти в Виндаву или Усть-Двинск. А «тройка» стояла там в группе ремонтирующихся кораблей. У нее повреждение было, мешавшее погружаться, но надводный ход имелся. И Костромичев вышел в море, на борту его лодки был еще и экипаж «эс-один», которая своего хода не имела.

Сергеев допил чай и со стуком поставил под-

стаканник.

— Черт его знает, что там произошло, в Либаве. Комфлот приказал всем кораблям уйти оттуда. А кто отдал приказ взорвать корабли, стоявшие на ремонте, я так и не понял. Факт тот, что «эс-один» взорвали.

— Ну так правильно, — сказал Гаранин. — Чтоб не досталась противнику.

— Да, правильно. — Сергеев мотнул головой, словно отгоняя посторонние мысли. — Так вот, Костромичев на «тройке» вышел в море с двумя экипажами на борту и без торпед, без всякого охранения. На траверзе Виндавы «тройку» атаковала группа торпедных катеров. Полтора часа Коля Костромичев отбивался артиллерией. Пока не расстрелял боезапас и не погибли артрасчеты. Костромичев направил лодку к берегу — может, думал, что удастся спасти экипажи. Но немцы торпедами разорвали «эс-три».

Во втором отсеке, в кают-компании повисло, сгустилось, как грозовое облако, трудное молчание.

Травников курил на мостике «эски». По-летнему медленно опускался вечер на рейд Куйвастэ. Казалось, что вечер повис на топах мачт стоявших на рейде кораблей и не торопится перетечь

в ночь. Из разговора в кают-компании знал Травников, что ночью, вероятно, начнется движение на север, в Моонзунд. Флот покидал Рижский залив. Нельзя допустить, чтобы крейсер «Киров» и другие корабли оказались в ловушке, запертой германскими минными заграждениями в Ирбенском проливе.

Конечно, Моонзунд пролив неглубокий, не очень-то судоходный, так, ходит тут каботажная мелочь. Да еще ведь лежат в нем затонувшие суда…

Он, Травников, знал историю Моонзунда. В Первую мировую, летом 1916 года, в самой мелководной части пролива прорыли канал, так называемый Кумарский, для прохода крупных кораблей. А в девятьсот семнадцатом, в октябре, линкор «Слава», прикрывая у южного входа в канал выход из Рижского залива отряда кораблей, вступил в неравный бой с германской эскадрой. Огнем своих башен «Слава» повредила один из линкоров противника, потопила миноносец, но и сама получила тяжкие повреждения. Храбрый экипаж развернул «Славу» поперек фарватера и затопил, загородив проход германской эскадре. С той поры Кумарский канал в лоции Балтийского моря обозначен как фарватер «Слава».

В тридцатые годы линкор «Слава» был поднят, разрезан. Но, кажется, в канале затоплены еще какие-то суда.

Сгущались вечерние сумерки. Мичман Травников докуривал папиросу, поглядывал на белые портовые здания, на желтую полоску пляжа. Там, недалеко от пляжа, у ограды городского кладбища, утром похоронили старшего краснофлотца Кухтина Егора Петровича. Не удалось его спасти врачам на «Смольном». Останется Кухтин навечно на эстонском острове Муху, по-старому — Моон.

Печаль была на душе у Травникова. Нравился ему этот Портос, спокойный и добродушный, в допризывной жизни — стрелочник на станции Семибратово где-то в Ярославской области. Кухтин последний год дослуживал. Он точно подсчитал, сколько компотов из сухофруктов осталось ему выпить до того осеннего дня, когда скажет: «Нате ваши ленты, дайте мои документы». В отсеке подначивали его: «Что, седьмой брат, опять пойдешь стрелки переводить?» — «Не, — отвечал Кухтин. — Я, ребята, перво-наперво женюсь». — «На ком? — интересовались друзья-торпедисты. — Твоя Настасья, поди, давно тебя позабыла». — «Так я ей напомню», — посме-

ивался Кухтин…

Травников загасил папиросу, спустился по отвесному трапу в центральный, прошел к себе в первый отсек.

— Ну что там, мичман, деется? — спросил Федоров. — Скоро пойдем в этот Моонзунд?

— Да. Скоро.

— А-а, ну ладно. Петь, а Петь! — окликнул Федоров молоденького белобрысого краснофлотца, подростка с виду, занятого проверкой запасных торпед на стеллаже. — Слыхал? Скоро пойдем в Моонзунд. Что ты сказал?

— Я ничего не говору, — ответил молоденький.

— «Говору»! — передразнил Федоров. — А вот, товарищ мичман, рассуди нас с Петей Мелешко. Я ему говорю, что у нас в Сукове продают сухое вино, а он не верит.

— Сухое вино не бывает, — убежденно сказал Петя.

— Суково — это, кажется, подмосковная деревня? — спросил Травников.

— Точно. Я «суков сын».

— Мы почти земляки. Я же москвич.

— Не «почти», — сказал Федоров. — Я в Москве родился, мы жили на Большой Дорогомиловской. А когда объявили генплан… ну, план реконструк-

ции…

— Ясно, ясно.

— Ну вот, нас в тридцать седьмом выселили, дом-то был старый, на слом назначенный, и переселили в Суково. Это деревушка была рядом со станцией, с одной стороны лес, с другой — грязища по колено. — Федоров потеребил франтоватые черные усики. — А ты в Москве где жил?

— На Первой Мещанской, — сказал Травников.

— А-а, знаю. Ну, земляки, значит. Я в Сукове семилетку кончил, там как раз школу построили. А рядом «Яшкина палатка» стояла. У этого Яшки все, что хочешь, можно было купить — овощи, хлеб, водку, даже масло было, правда не всегда. Арбуз однажды купили. Ну и сухое вино, только его мало кто пил.

— Само собой, — сказал Травников. — Сухое плохо в горло проходит.

— Точно! Ты слыхал, Петь? Да-а… Вот жизнь была, товарищ мичман! В бараке двухэтажном жили. Электричества и водопровода не было. Бани — тоже. Мылись в корыте у печки. Книжки читать бегали в соседнюю деревню Терёшково, там изба-читальня была. Вечером керосиновые лампы… Петь, а Петь, у вас в колхозе электричество было?

— Ну, — сказал Петя Мелешко. — Разве без электричества можно?

— У нас «керосинка» была вместо электростанции, это лавка, в которой керосин покупали. И вообще все, что хочешь, — гвозди, олифу. В твоем колхозе, Петь, таких лавок нету. Что?

— Я ничего не говору.

— «Не говору»! А Суково в тридцать восьмом переименовали в Солнцево. И строились здорово. Электричество провели. Я-то ведь на монтера выучился…

Тут раскатились по отсекам звонки, из переговорных труб грянул жесткий голос помощника:

— По местам стоять, с якоря сниматься! Товсь, дизеля!

Не стало тишины. На рейде Куйвастэ тарахтели на кораблях брашпили, выбирая якоря. Первыми пошли в Моонзунд малые охотники за подводными лодками — их для краткости называли морскими охотниками (или еще короче — «мошками»). За ними двинулся крейсер «Киров». Потом начали движение эсминцы и сторожевики, вспомогательные суда. Медленно пошла плавбаза «Смольный», этакая военно-морская мама, ведущая выводок своенравных детишек — подводные лодки.

У островка Кессулайд начинался канал «Слава». Тут ледокол «Лачплесис» и буксировщик «Медник» приняли буксирные тросы и потянули крейсер «Киров» в канал.

Фарватер был промерен гидрографами и обвехован, и, конечно, углублен, чтобы крейсер с его семиметровой осадкой смог пройти. Но — в сгустившейся темноте не стало видно вех на фарватере, и около полуночи «Киров» грузно сел на мель.

Ледокол пытался раскачать огромное стальное тело крейсера. Лопались трехдюймовые буксирные тросы. Заводили новые. Экипажу — тысяче моряков — приказали переместиться на корму, чтобы облегчить нос. Ледокол, страшно дымя, форсируя машины, тащил крейсер рывками. Далеко за полночь удалось наконец стащить его с мели. Контр-адмирал Дрозд, командовавший переходом, приказал вернуться на якорную стоянку у Кессулайда и дожидаться наступления утра. Опасное решение: на рассвете могли появиться германские самолеты-разведчики, а за ними и бомбовозы. Немцы, конечно, знали, что крейсер «Киров» обретается в Рижском заливе, но, может, им в головы не могла прийти странная мысль, что русские потащат крейсер в мелководный

Моонзунд, да еще без воздушного прикрытия.

А на рассвете — туман. Плотными белыми полотнищами лег он на корпуса кораблей, на берега пролива. Это было и хорошо (нелетная погода!), и плохо (как идти в таком тумане сквозь узкости фарватера?).

Но как только чуть просветлело, стали видны верхушки береговых знаков и слегка обозначили себя вехи на фарватере, адмирал приказал сниматься с якорей. На коротком буксирном тросе работяга «Лачплесис» снова потащил «Киров» в канал. Двое молодых гидрографов, определяясь по знакам и своим планшетам, в мегафон выкрикивая команды на буксировщик, аккуратно вели крейсер.

Вошли в пролив Хари-Курк, тут было просторнее, чем в канале. «Киров» отдал буксирные тросы и двинулся своим ходом. Туман рассеялся. Солнце, выглянув из облаков, положило на воду золотые блики. Стаи чаек с сумасшедшими криками носились над кораблями — может, впервые видели такую флотилию.

Морские охотники, идущие впереди, сбрасывали по курсу глубинные бомбы. Тут, на выходе из Хари-Курка в устье Финского залива, глубина была достаточная для действий подводных ло-

док — требовалась, значит, осмотрительность.

И все же, все же — не обошлось без потерь.

Моонзунд пройден благополучно, колонна входила в Финский залив, как вдруг прогрохотал взрыв. Подводная лодка М–81, шедшая в конце походного ордера, наткнулась на мину. «Малютку» разломило пополам, она тотчас затонула. Кинувшийся на помощь тральщик подобрал только троих, сброшенных взрывом с мостика.

Вечером крейсер «Киров» и сопровождавшие его корабли вошли на рейд Таллина — главной базы Балтфлота.

В окошке главпочтамта Травников получил два письма, присланных до востребования. Поблагодарил белокурую девицу, выдавшую письма. Та молча отвернулась.

Выйдя на улицу, Травников закурил и, прислонясь к стене, стал читать.

Первое письмо было написано до начала войны, и Травников читал его с улыбкой:

Валя-Валечка! Какой ты нехороший, скрылся за морскими туманами и даже думать забыл о бедной девушке, задавленной жутко трудным экзаменом по диамату и истмату. Разве можно так?

Валечка, какой ты хороший, я знаю, что ты в морском просторе постоянно думаешь об одной девушке, которая постоянно вспоминает о тебе и как нам было хорошо! Ведь правда? Валечка, ты помнишь, я писала курсовую работу по Гончарову? Так вот, хочу похвастаться: высокую оценку ей дал знаешь кто? Сам профессор Эйхенбаум. Я так рада, Валечка! Ну ладно, не буду своими глупостями мешать тебе править морскую службу. Валечка, скорее напиши, как идет твоя практика. И про то, как ты постоянно думаешь обо мне. Много-много-много целую тебя. Твоя Маша.

И второе письмо:

Валя, дорогой! Уже почти две недели, как началась война, а от тебя была только открытка из Таллина, написанная до ее начала. Ты пишешь, что получил назначение и уезжаешь «на объект». Я понимаю, что такое военная тайна, но все же почему нельзя написать, где «объект» находится? Где ты, Валечка? Я страшно волнуюсь. Не знаю, куда послать тебе

письмо. Все же посылаю в Таллин. В надежде, что ты туда на своем «объекте» попадешь. Мы досрочно сдали сессию и теперь ожидаем. Говорят, нас отправят на оборонительные работы. Рая сегодня мне сказала, что к ней забежал попрощаться твой друг Вадим. Он зачислен в курсантскую бригаду. А ее брат Ося записался в народное ополчение. В Ленинграде большой подъем! Мы все уверены, что скоро фашистов остановят и война закончится полным разгромом этих сволочей. Валечка, откликнись! Я беспокоюсь очень! На всякий случай даю свой кронштадтский адрес: улица К. Маркса, дом 5…

Тут чтение письма прервал патруль, вышедший из Бастионного парка, — старший лейтенант с треугольным лицом и двое краснофлотцев с винтовками за плечами.

— Ваши документы, курсант! — потребовал старлей.

Он прочел увольнительную записку и, вернув ее Травникову, сказал:

— Что вы тут стоите, мичман? Город на военном положении, а вы торчите и улыбаетесь, как

будто мирное время.

— Улыбаться как будто не запрещено… Ясно, ясно, товарищ старший лейтенант, — поспешно сказал Травников, увидев суровую сталь в прищуре начальника патруля. — Перестаю торчать, иду к себе на корабль.

— С какого вы корабля?

— Прохожу практику на подводной лодке. Мы стоим в Минной гавани. Разрешите идти?

— Идите и скажите своему командиру, что увольнения личного состава отменены.

— Ясно… — Тут Травников заметил на бескозырках краснофлотцев слово «Гордый». — Прошу прощения, — сказал он. — Ваш эсминец спасал экипаж «Гневного», который подорвался…

— Прекратите болтовню, мичман!

— Это не болтовня. На «Гневном» проходил практику мой близкий друг, тоже с последнего курса училища Фрунзе, и если вам известно…

— Известно только, что экипаж эсминца «Гневный» ушел в морскую пехоту, — сказал старший лейтенант. — Разговор окончен. Марш на корабль!

Травников, козырнув старлею, зашагал в Минную гавань.

Но невольно замедлял шаг. Этот город со своими

готическими шпилями и башнями, средневековыми узкими улочками поразил Травникова, когда он сюда приехал в команде фрунзенцев в предвоенные дни июня. Какая-то здесь шла невероятная жизнь — пестрая, легкомысленная. На каждом углу продавали цветы. Под полосатыми тентами сидели в плетеных креслах хорошо одетые мужчины и прекрасные дамы, ели мороженое, пили вино или кофе. Легкий гул голосов, женский смех… В таком городе, подумалось Травникову, должны жить феи и рыцари, алхимики и трубочисты…

Теперь, когда к Таллину подкатывалась война, пестроты на улицах поубавилось, не видно полосатых тентов. Вон идет, топает по булыжнику отряд красноармейцев с винтовками за плечами, и ведет их почему-то флотский командир.

Была у Травникова задумка: воспользоваться увольнением, чтобы на обратном пути подняться в Вышгород и заглянуть в Домскую церковь — цветы положить на могилы адмиралов Крузенштерна и Грейга. Но снова нарваться на патруль? Ну уж нет, япона мать!

В Минной гавани чуть не весь Балтийский флот стоял — у стенок причалов и на внутреннем рейде, на якорях.

Пройдя по стенке гавани в тот угол, где вознесла свои скромные мачты плавбаза «Смольный» и тесной семьей сошлись подлодки, Травников сбежал по сходне на свою «эску». Вдохнув привычный запах подводного корабля — теплый запах железа, сырости, разогретого машинного масла, — он вошел во второй отсек. Тут сидели за столом замполит Гаранин и инженер-механик Лаптев — разглядывали географическую карту, водили по ней пальцами.

— Ну что, получил письма? — взглянул Гаранин на Травникова. — Значит, так. Подготовь торпеды к выгрузке, Валентин Ефимович. Завтра — выгрузка. Послезавтра становимся в док. Ясно?

Он прошел в каюту командира.

— Валентин, — сказал Лаптев быстрым говорком, — ты, кажется, в географии силен.

— А что такое?

— Командир с замполитом были сегодня в штабе флота — командующий подводников созвал. Он на карте показал обстановку. Хреновая обстановка. Гаранин говорит, немцы очень в Эстонии продвинулись. Пярну взяли и Хаа… как этот порт называется…

— Хаапсалу.

— Да. Их передовые отряды появились у Марья… Замполит не запомнил. Только помнит, что на «Марья» этот город начинается. Вот Пярну, — ткнул Лаптев пальцев в карту, — а этой Марьи нет. Знаешь ты такой город?

— Нет.

— Гаранин говорит, что комфлоту приказано командовать обороной Таллина. Чего ты уставился? Я тоже не совсем… Нас ведь не учили сухопутной тактике… А наш командир из штаба флота пришел вот такой… — Лаптев грозно насупился, полуприкрыв раскосые глаза. — Я к нему со своими вопросами насчет дока, а он отмахнулся и прошел в каюту. Он поддатый был… Что-то там, в штабе, случилось…

А случилось вот что.

Созвав подводников, командующий флотом коротко сообщил о складывающейся обстановке. Она была тревожная: на Таллин наступали несколько немецких дивизий, а противостоящая им 8-я армия, отступая с боями от границы, сильно истощена, обескровлена. Флоту приказано оборонять свою главную базу. Оттягивая тем самым часть сил противника с ленинградского направления. Формируется бригада морской пехоты. С кораблей, из береговых частей флота уходят

на сухопутный фронт… Необходимо усилить удары по врагу… Подводные лодки недостаточно активны, они должны… будут поставлены новые задачи… В своей речи 3 июля товарищ Сталин призвал драться до последней капли крови за наши города и села… к беспощадной борьбе с дезертирами, паникерами… немедленно предавать суду трибунала всех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны… Мы будем всеми силами…

Комфлот говорил негромко, но веско. Он выглядел утомленным и, казалось, куда-то спешил. Ну да понятно, такая свалилась ответственность — командовать и на море, и на суше. Спросил, есть ли вопросы.

Поднялся капитан-лейтенант Сергеев, представился.

— Товарищ командующий, разрешите два вопроса.

— Давайте. Коротко.

— Есть, коротко. Первый. Лодки, выходя на позицию, не имеют никакой информации о передвижениях кораблей противника. Ищем вслепую. Почему разведка флота…

— Ясно, капитан-лейтенант. Я тоже недоволен работой разведотдела. Разберемся. Второй

вопрос?

— Моя лодка имеет повреждения легкого корпуса, текут носовые цистерны, течет топливная. Нужен док. Мы стоим в Таллине восьмые сутки в ожидании…

— Ясно, — опять перебил его комфлот. И, обратясь к начальнику штаба флота: — Распорядитесь, Юрий Александрович.

Он закончил совещание, снова напомнив слова из речи Сталина: «Драться до последней капли крови».

После совещания Гаранин поднялся этажом выше — в Пубалт, политуправление флота. Сергеева подозвал контр-адмирал Пантелеев, начштаба флота, уточнил, в каком ремонте нуждается лодка. Сергеев доложил и в приподнятом настроении вышел в коридор. Кажется, получилось удачно, подумал он, решен нервотрепный вопрос с доком.

Он шел по длинному темноватому коридору к лестнице. Вдруг из бокового прохода шагнул к нему человек с нашивками капитан-лейтенанта. Сергеев резко остановился. В следующий миг он узнал Юрия Афанасьева, друга, однокурсника по училищу Фрунзе.

— Юрка! — Он обнял Афанасьева. — Вот встре-

ча! Что ты тут делаешь?

— Тебя поджидаю, — тихо ответил тот.

Сергеев с угасающей улыбкой всмотрелся в друга. Был Афанасьев в курсантское время очень хорош собой; высоко держал красивую голову над развернутыми плечами, и было нечто победительное в его выправке. Сейчас перед Сергеевым будто стоял другой человек: опущенные плечи, согнувшаяся спина, бегающие глаза.

— Узнал, что комфлот вызвал на ковер подводников, и решил тебя повидать.

— А ты что тут делаешь, в штабе?

— Я подследственный, Миша, — не сразу ответил Афанасьев, судорожными движениями пальцев надрывая пачку «Беломора». — Дай прикурить.

— Да ты что, Юрка? — Сергеев чиркнул спичкой. — Как это — подследственный?

Афанасьев присел на подоконник, курил быстрыми нервными затяжками. Вдруг вскинул голову, надвинул на лоб фуражку и посмотрел на Сергеева прищуренным взглядом.

— Миша Сергеев, — сказал он, медленно подыскивая слова. — Запомни, Миша. И всем нашим ребятам скажи. Если услышите, что я… что Афанасьев Юрий струсил… впал в паникерство… то

не верьте! — выкрикнул он. — Не верь, Мишка!

— Юра, да ты что, — растерянно проговорил Сергеев, — с чего ты взял? Такое и в голову не могло прийти…

— Да. А *им* пришло. — Афанасьев сделал страшный нажим на это «им». — И я не могу доказать.

Он опустил голову, зажмурясь, и быстрым движением указательного пальца смахнул выкатившиеся слезы.

— Юра! — Сергеев взял Афанасьева за плечи и слегка встряхнул. — Что случилось? Давай говори!

— Случилось… — Афанасьев покивал. — Случилось, Миша… Случилось, что в Либаве я оказался старшим командиром в группе ремонтирующихся кораблей на заводе «Тосмаре»…

— Знаю, что твой миноносец стоял там на ремонте.

— Да… Мой миноносец «Ленин»… Я радовался, Миша, когда меня назначили командиром… хоть миноносец из старых, но такое имя…

— Давай дальше!

— Бои шли уже в Либаве, немцы к «Тосмаре» прорывались. Утром звонит мне на «Ленин» Клевенский, командир Либавской базы: «Афанасьев, назначаю вас старшим по уничтожению всех

кораблей, стоящих на ремонте. Все взорвать! Также и склады боеприпасов и топлива. Срок исполнения приказа — немедленно. Затем — прибыть в штаб базы и доложить мне лично». Ты понял, Миша?

— Ну так правильно. Не оставлять же противнику.

— Правильно. А какая ответственность — ты понял? — Афанасьев еще закурил. — Представляешь, как мы закрутились? Приготовить и заложить заряды, вывести провода… Хорошо еще, что удалось собрать группу толковых минеров… На кораблях людей мало, бóльшая часть экипажей ушла оборонять Либаву… Ну вот, оставшиеся сошли на берег, и где-то в третьем часу дня мы бабахнули… Зажгли, можно сказать, гавань… Являюсь, как приказано, в штаб, докладываю командиру базы об исполнении. Прошу направить меня в морпехоту. Нет, он уходит со своими штабными на торпедном катере и приказывает мне идти с ними.

Отвернувшись, Афанасьев приоткрыл окно, поглядел на улицу, щелчком выбросил выкуренную папиросу.

— Ну а дальше, Юра? — спросил Сергеев, вдруг ощутив, как тревога подкатывает к горлу.

— Дальше… Пришли мы в Таллин. Заявляюсь в штаб флота, в кадры, за новым назначением. Мне велят: ждите. Жду несколько дней, ночую тут же в комендантской роте. Вдруг — вызывают в прокуратуру на допрос. Как вы посмели взорвать корабли и склады? Да приказ получил такой! Не было приказа, а было самовольство… Мишка, ты поверишь? Глазом не моргнув!

— Кто не моргнул?

— Командир Либавской базы! Его вызвали на очную ставку, и он, даже на меня не взглянув, говорит следователю: «Такого приказа я не отдавал. Уничтожение кораблей и складов — это самовольство Афанасьева. Паникерство и трусость». Нет, ты можешь понять такое, Мишка? Я — паникер!..

Соскочил с подоконника, сунулся в угол коридора, вернулся, с силой выговорил Сергееву в лицо:

— За что?! За что он хочет меня расстрелять?!

— Кто? — прохрипел Сергеев.

— Товарищ Сталин! Я за него жизнь готов отдать, а он третьего июля что́ сказал? Трусов и паникеров — немедленно под трибунал! Вот комфлот — во исполнение приказа решил меня обвинить…

— Юра, — сказал Сергеев, глаз не сводя с красно-

го, кричащего об ужасе лица Афанасьева. — Юра, трибунал не может ведь так… без доказательств… разберутся же…

— Нет! На лице следователя все написано… Пропал я, Миша… — Теперь слезы текли и текли по щекам Афанасьева. — Ты за меня повоюй…

— Юрка! — Сергеев рванулся к нему, обнял.

Они постояли несколько мгновений, обнявшись. Вдруг Афанасьев отвел руки друга, посмотрел на часы.

— Через сорок минут — опять на допрос. Миша, всем ребятам скажи: не виновен Афанасьев. Ни в чем! Прощай, Миша!

Резко повернулся, пошел к лестнице в конце длинного, полутемного, равнодушного к судьбам человеческим коридора.

Сергеев не стал дожидаться Гаранина, вышел из штаба флота, повернул влево, увидел свою короткую — по полуденному времени — тень, остановился.

Кинуться обратно в штаб, найти там этих, прокуроров-трибунальщиков, прокричать им, что нельзя так… нельзя Юру Афанасьева к расстрелу! Никакой он не трус, отстаньте от него, мать вашу…

Бессмысленно. И разговаривать не станут. «Не

лезьте, — скажут, — не в свое дело, капитан-лейтенант».

И пошел капитан-лейтенант Сергеев в Минную гавань, гоня тень перед собой. Вдруг увидел кафе, «kohvik» по-эстонски, толкнул стеклянную дверь, вошел в темноватую прохладу.

Свободных столиков много. Сергеев сел, постучал пальцами по чистой полированной столешнице. Подошел пожилой официант с желтой лысиной, вопрошающе посмотрел на Сергеева.

— Стакан коньяка, — сказал Сергеев.

Официант молчал.

— Вы не понимаете по-русски?

Официант молча повернулся, ушел в глубину зала. Минуты две спустя он вернулся, приведя с собой хорошо одетого человека с черной бабочкой, с вьющейся рыжеватой прической.

— Что вы хотите? — с легким акцентом спросил рыжеватый.

— Стакан коньяка.

— У нас сегодня закрыто.

— У вас открыто. Вот же сидят люди за столиками.

— Уже закрыто, — повторил рыжеватый. — Все закрыто, господин офицер.

Тут его окликнул сидевший за соседним сто-

ликом человек, чье лицо, как бы вытянутое за нос вперед, было обрамлено седой шевелюрой и седой бородкой. Они заговорили по-эстонски. Рыжеватый резко возражал седому, потом вдруг махнул рукой и быстро удалился.

— Вам принесут, — сказал Сергееву седой. — Если разрешите… — Он с чашечкой кофе поднялся.

— Да, пожалуйста, — сказал Сергеев.

Седой человек пересел к нему за столик.

— Плохая обстановка в городе. — Эстонец по-русски говорил чисто. — Многие люди в Таллине ждут прихода германских войск.

— Ждут, но не дождутся, — сказал Сергеев, набивая табаком трубку.

— Может быть, и так, — согласился седой. — Вы, конечно, знаете лучше, какие у вас… э-э… оборонительные силы.

Тут пожилой официант принес бокал с коньяком, молча поставил перед Сергеевым.

Сергеев отпил сразу полбокала. Хмуро взглянул на седого эстонца, закурил трубку.

— Но есть люди, которые вам чувствуют, — сказал тот, отпивая кофе.

— Сочувствуют, — поправил Сергеев.

— Да. Например, я. Знаете почему, господин офицер? Я служил на русском флоте.

— На каком корабле?

— Был линейный корабль «Петропавловск», я служил там машинистом.

— Линкор «Петропавловск», — сказал Сергеев, — после кронштадтского мятежа переименован в «Марат».

— Да-да, я знаю. «Марат». У вас его любят, а во Франции…

— Вы участвовали в мятеже? — Сергеев еще отхлебнул из бокала.

— Ах, господин офицер! — Эстонец улыбнулся, от чего глубже обозначились морщины на щеках. — Нас обманули с оптацией…

— Что это такое?

— На кораблях служили и люди из западных губерний. Из Эстонии, вот как я, из Латвии. Мы были, как сказать, ну — знали свое дело…

— Специалисты.

— О! Верно. В двадцатом году нам обещали оптацию. Значит, выбор гражданства и отправку на свою родину. Эстония ведь объявила независимость. Но нас не отпустили. Да, специалисты! Флот уже не воевал, но — не отпустили. Мы были недовольны…

— Так это вы, эстонцы-латыши, подняли мятеж?

— Нет, господин офицер! У русских матросов было очень большое недовольство. Мы не вмешивались.

— Матросы пошли за белогвардейским генералом.

— Нет! Все было совсем не так, господин офицер…

Но у Сергеева иссякло терпение. Какого черта? Своих забот хватает. Он залпом допил коньяк, подозвал лысого официанта и расплатился. Кивком простился с седым эстонцем и вышел из кафе.

На мостике лодки его поджидал Гаранин с широкой комсомольской улыбкой: только что со «Смольного» сообщили, что послезавтра — постановка в док.

— Прекрасно, — буркнул Сергеев, спустился, прошел в свою каюту и бросился ничком на койку.

Опять не поднять головы. Проклятые минометы. Немцы бьют по берегу Пириты, речку заволокло черным дымом, в траншеях морской пехоты удушающая вонь сгоревшего тола. Есть раненые. «Что же вы, зенитчики? — мысленно взывает мичман Травников, прижавшись к песчаной, осыпающейся стенке траншеи. — Что же ты молчишь, лейтенант Барыбин?»

Батарея зенитно-артиллерийского дивизиона, которой командовал Барыбин, прикрывала мост через Пириту, когда немцы прорвали оборону и вдоль Нарвского шоссе устремились к восточным предместьям Таллина. Тут они наткнулись на бригаду морской пехоты полковника Парафило, а храбрый лейтенант Барыбин, оказавшийся в боевых порядках бригады, все свои четыре зенитные пушки пустил на сухопутные цели.

Ага, сквозь пронзительный вой мин — звонкие удары барыбинских пушек. «Давай, давай, лейтенант! Говорят, ты ранен, но держишься как надо. Давай, родной, не жалей снарядов!»

Заткнул Барыбин пасть немецким минометам. Тишина. Только справа — очереди пулеметов, хлопки винтовок. Там, в парке Кадриорг, тоже с утра разгорелся бой.

Травников отряхнулся от песка и сунулся к ручному пулемету Дегтярева. «Дегтярь» был на месте, стоял, раскорячившись лапами, на бруствере. Алеша Богатко, второй номер у Травникова, уже возился там, очищал пулемет тряпкой.

— Порядок, Валя, — сказал он и, сняв бескозырку, помахал ею перед веснушчатым носом. — Фу, набздели, дышать нечем.

Богатко в душе был артист. Его хорошо знали

в училище: на концертах самодеятельности Богатко выступал с художественным свистом. Мог просвистеть все, что пожелаете, хоть арию Ленского, хоть «С одесского кичмана бежали два уркана». Он и был родом из Одессы. Вчера под вечер, когда отбили очередную немецкую атаку, когда поужинали сухим пайком — сухарями и консервами, — кто-то из ребят крикнул: «Алеша, свистани что-нибудь для души!» Богатко подумал пару секунд, облизал губы, задрал голову к небу, в котором медленно таяли дымы войны, и повел прекрасным чистым звуком арию Герцога из «Риголетто». Ах, как он свистел!

Когда отзвучал долгий заключительный звук, с той стороны Пириты, с немецких позиций вдруг донесся выкрик:

— Карашо, Ванья! Pfiff noch einmal![3]

А встретились Травников и Алеша Богатко три дня назад в Минной гавани. Приказом комфлота все практиканты-фрунзенцы, еще остававшиеся на кораблях, сошли на берег, построились на стенке близ небольшого судна «Пиккер», на котором держал свой флаг командующий флотом. Гремело и грохотало вокруг. Противник обстре-

---

[3] Notes: 3
Посвисти еще раз! *(нем.)*

ливал гавань. Корабли, укрываясь дымзавесами от немецких корректировщиков на рейде, вели непрерывный огонь по наводке частей, обороняющих Таллин, — крейсер «Киров», лидеры «Ленинград» и «Минск», эсминцы. В черно-фиолетовом дыму, накрывшем гавань, просверкивали огненные вспышки корабельных орудий.

С борта «Пиккера» сошел вице-адмирал Трибуц. Шеренги фрунзенцев замерли по стойке смирно. Война войной, а строевая дисциплина — сама собой. Равнение — как по линейке. Поднятые подбородки. Правая рука на ремне винтовки.

Комфлот прокричал сквозь орудийный гром:

— Узнаю вас по выправке, товарищи курсанты! Не скрою — на горячее дело идете. Бейте врагов, как били их ваши отцы и деды. За землю советскую, за родное Балтийское море — ура!

Протяжно прокатывается по шеренгам «ура».

— Нале-е-во! — выкрикивает командир роты. — Ша-агом марш!

А командир роты — курносый выпускник училища, новоиспеченный лейтенант Кругликов. Недавно на первомайском празднике в училище он танцевал с молодой женой — она, хорошенькая брюнетка в цветастом платье, поглядывала на него со счастливой улыбкой, — такая заметная

пара молодоженов среди голубых воротников. Теперь лейтенант Кругликов, строго сдвинув брови, повел роту фрунзенцев «на горячее дело» — в бой у восточных окраин города, где истекала кровью 1-я бригада морской пехоты.

Били строевой шаг под одобрительным взглядом комфлота. А выйдя из ворот гавани, пошли вразнобой. Слева горел-догорал заводской корпус. Скрипело под ботинками выбитое стекло.

Травников в строю оказался рядом с Алешей Богатко, спросил, где тот проходил практику — не на эсминцах ли? Нет, Алеша был на морских охотниках.

— На катерах служба — лучше не бывает, — сказал он убежденно. — А где практиковался ты, Валентин?

Травников изложил коротко: был на «эске», подводной лодке, потопили немецкий минзаг, а после выхода из дока в июльском походе еще и танкер потопили торпедами и корабль охранения артогнем.

Рота фрунзенцев, пополнив выбитый состав 1-й бригады, заняла позиции на развилке дорог, у речки Пириты, близ побережья Финского залива. У них за спиной бронзовый ангел поднял к облакам большой крест — то был памятник бро-

неносной лодке «Русалке», погибшей в шторм в 1893 году, памятник, воздвигнутый на добровольные взносы моряков и их семей. В постаменте была плита с фамилиями всех членов экипажа «Русалки», и шла крупная надпись: «Россіяне не забываютъ своихъ героевъ мучениковъ».

Воевать на суше курсантов-фрунзенцев никто не учил. Военная необходимость обучала. Первое дело, конечно, — рой окопы полного профиля, иначе и получаса не проживешь. Ну а потом — если уцелел при артобстреле, предшествующем очередной немецкой атаке, то стряхни с себя песок и удушье, подними голову над бруствером, — и твои руки сами прижмут к плечу винтовку или ручной пулемет, и палец ляжет на спусковой крючок. Вот и вся недолга́.

Опять ударили их минометы. Сквозь заложенные уши услышал Травников чей-то крик: «Ротного поранило!» Ох и огонь! Вжавшись в песчаную стенку траншеи, Травников уже и не знает, на каком он свете…

Конец обстрела. Сменить позицию! Он тащит «дегтярь» в соседнюю стрелковую ячейку. Там лежит, раскрыв рот в последнем глотке воздуха, убитый курсант. Алеша Богатко, притащивший коробку с дисками, закрывает убитому рот.

Час, а может два, отбивается рота фрунзенцев от настойчивых немецких атак. «Дегтярь» раскалился, это опасно, надо бы обвернуть ствол мокрыми полотенцами, да где их взять…

Неожиданно пала темнота. Вот же, целый день сумели прожить — и отбились, отбились!

Но потери велики. В грузовичок, подъехавший со стороны «Русалки», грузят раненых — их повезут в школу на Нарва-манте, где развернут полевой госпиталь. Вот Кругликова, комроты, поднимают в кузов. Где твой новенький китель, Кругликов? Нет кителя, широкая повязка с большим пятном крови на груди. Бледное лицо, частое трудное дыхание… Ох, не жилец ты, лейтенант Кругликов…

Под моросящим дождем курсанты, уцелевшие от огня, выкапывают братскую могилу для курсантов, убитых в этот проклятый день августа.

И по приказу комбрига передвигаются вправо, уходят разбитой дорогой в парк Кадриорг, на новые позиции.

— Подъем! Вы что, дрыхнуть сюда пришли? Па-адъем!

Фрунзенцы, лишь часа полтора назад расположившиеся в пустой землянке, недовольно ворчат, щурясь на фигуру, заслонившую у двери

землянки слабый свет раннего утра:

— Отдохнуть не даете… Чего раскричался?.. Всю ночь не спамши…

— Па-адъем! — не унимается крикун.

Кто это? Старшекурсники уже узнали его по высокому голосу, по манере растягивать гласные. А Травников, как услышал этот голос, так и встрепенулся, стряхивая сон. Шагнул к крикуну:

— Жорка… Ты живой… Япона мама…

— Валя! — Георгий Горгадзе, радостно хохотнув, обнимает друга, прижимается к его рту жесткими усами, пахнущими табаком и порохом. — А говорили, ты на подлодке погиб под глубинными бомбами.

— А ты — на «Гневном», на минном поле.

— Да, был я на «Гневном». Ну, это отдельная тема. Расскажу, если… Ребята! Земляки-фрунзенцы! Через час немцы в атаку пойдут, у них это по часам, ясно? А сейчас — быстро к восточному углу дворца, там полевая кухня, чаю попьете. Ну, быстро!

И повел их Горгадзе к розовому с белым, но закопченному военными действиями дворцу, некогда поставленному здесь царем Петром для Катеньки своей, Екатерины Первой. (Да и весь парк вокруг дворца носил ее имя на эстонский

лад: Кадриорг.) Он, Горгадзе, был старшиной роты, в которую влилось нынешнее ночное пополнение. А у старшины роты, ясное дело, обязанностей — сверх головы.

Дождь, моросивший всю ночь, вдруг припустил, словно вознамерившись потушить пожары, полыхающие в Таллине. Какое там… никакому дождю не загасить море огня…

Курсанты, напившись чаю с сахаром, заняли позиции в парке, под старыми дубами, под липами, чьи еще не облетевшие листья трепетали от ужаса войны. Травников был наслышан о белках, обитавших в Кадриорге, принимавших корм из ладоней людей, — куда же вы, белочки, подевались?

— Валька, — сказал Горгадзе, — ты с «дегтярем» вон в той боковой траншее устройся. Немцы пойдут — ты им в левый фланг ударишь.

— У меня всего два диска осталось.

— Мои помощники сейчас начнут боезапас разносить по траншеям. Принесут тебе диски, я им скажу.

А вскоре началось. С разнузданным воем понеслись по парку мины, рявкнули пушки, вывороченная земля обрушилась на головы, кто-то заорал от боли, горячие осколки находили

кого-то…

Отбились и в этот день августа. Помогли морпехоте устоять пушки канонерских лодок «Москва» и «Амгунь». Корректировщики, лейтенант и его радист, устроились на втором этаже дворца и приспособились направлять огонь канлодок на атакующие цепи противника.

И, не умолкая, работала тяжелая артиллерия — крейсер «Киров» и береговые батареи на островах Аэгна и Найссар. Им, так же как и лидерам и эсминцам, были «нарезаны» секторы огня по всему периметру обороны. Артогонь — без него не сдержать бы немецкие дивизии.

Но было ясно всем — от комфлота до последнего матроса и солдата: Таллин не удержать. Ну еще несколько дней — а потом?

Вечером, в начале короткой ночной передышки, в траншею Травникова спрыгнул Горгадзе:

— Валентин, ты живой? И ты, Богатко? Ну как же, помню тебя, ты же свистун знаменитый. Вот, ребята, последнюю коробку берег — давайте курите.

Он раскрыл коробку эстонских папирос «Викинг».

— Слабенькие, — сказал Травников, закурив. — Но приятные.

— Ва-алька! — Жора Горгадзе, обросший, темнолицый от загара и пороховой гари, раскрыл в улыбке белозубый рот. — Вот же повезло, свиделись мы. А как твоя Маша?

— Не знаю, где она. Писала, что студентов направляют на оборонительные работы. А может, домой уехала, в Кронштадт.

— А-а, Кронштадт! Сейчас открою вам, но это пока тайна, ясно? Комбат сказал, что есть приказ оставить Таллин и уходить на кораблях. В Кронштадт.

— Ну правильно, — сказал Травников.

— А как уходить? — продолжал Горгадзе. — Чтоб на плечах уходящих войск немец не ворвался в город и не расколошматил флот в гаванях, отрыв будет не простой. Вот какой будет отрыв. Контратаки! Понятно? Контратаки по всей линии обороны. А как стемнеет, начнется отход, посадка на корабли. Под прикрытием артиллерии. Всю ночь будут держать немца под огнем. Пока не отойдут части прикрытия.

— Мы тоже часть прикрытия? — спросил Травников.

— Ну да. Мы уйдем последними. Сядем на кораблики — и гуд-бай, Таллин! Гуд-бай, май дарлинг Элла!

— Это еще кто?

— Блондиночка тут одна. Еще до войны было, зашел я в парикмахерскую, а там золотое сияние! Чес-слово, сияние шло от ее головы. Я, конечно, заволновался. Дождался, когда ее кресло освободится, сел и говорю: «Красавица, сделайте и меня красивым вокруг ушей». Она немного по-русски понимала. Засмеялась и говорит: «Вы не есть красивый». Ну, трали-вали. Спросил, как ее зовут, и предлагаю: «Элла, а можно пригласить вас в кафе?» По-ихнему — кохвик. «Нет», — говорит она и стрекочет ножницами над моими ушами. «Сегодня нет, — говорю, — а завтра?» — «И завтра нет». — «Элла, я заберусь на Длинного Германа и брошусь в море». Она смеется и говорит: «Можно только… не знаю по-русски… дэй афтер тумор-роу»… «А-а, послезавтра!» — «Да. У меня рест-дэй». Ну, чудненько, договорились встретиться, у меня душа поет, как Пантофель-Нечецкая. И тут все — по закону подлости. Послезавтра с самого с ранья уходим в море, а еще послезавтра — война.

— Так и не увиделись?

— Где ж тут увидеться? — Пригорюнился Жора Горгадзе, от недокуренного «викинга» прикурил новую папиросу.

— Жорка, если не хочешь, не отвечай, но… что

у вас случилось на «Гневном»?

— А то и случилось, — не сразу ответил Горгадзе, мрачнея взглядом. — Шли на морской бой, а нарвались на минное поле.

И он рассказал, как вечером 22 июня вышел в море отряд кораблей: крейсер «Максим Горький» и три эсминца — «Гордый», «Гневный» и «Стерегущий». Ему, мичману Горгадзе, мерещилось, что предстоит бой с немецкой эскадрой — долгий артиллерийский бой, подобно когдатошнему Ютландскому. Никто не знал, вошла ли уже эскадра противника в наши воды, но считалось это вполне возможным.

Шел отряд белой ночью по тихой воде, приближаясь к устью Финского залива. «Гневный» шел головным, он и наткнулся на первую мину. Взрыв страшной силы подбросил эсминец, обрушил на него столб воды и обломков, обжег клубами пара. С разрушенным носом, перебитыми магистралями, оборванной бортовой обшивкой закачался «Гневный» на взбаламученной воде.

— Меня застигло у кормовой стотридцатки, — говорил Горгадзе. — Башку разбило при падении, но глаза-то видят… Много раненых, кричат от боли… В воде полно голов — кого взрывом сбросило… Старпом орет в мегафон про борьбу за

живучесть… Командир ранен, механик убит… Пытались пластырь завести, не вышло, вода затопляла корабль…

И тогда шедший на крейсере командир отряда кавторанг Святов приказал снять с «Гневного» экипаж, а корабль затопить. Малым ходом эсминец «Гордый» подошел к «Гневному», и началась долгая переноска убитых и раненых, переход уцелевших. Все это происходило обманчиво прекрасной белой ночью — второй ночью начавшейся войны — на минном поле. Оно, минное поле, еще до начала войны незаметно выставленное противником, будто не хотело ограничиться одной жертвой. Только «Гордый» закончил работу спасения и отошел от обезлюдевшего «Гневного», как ночь содрогнулась от нового мощного взрыва. Мина взорвалась под корпусом «Максима Горького». Когда опал гигантский столб огня и воды, все увидели, что у крейсера оторван нос по первую башню. Крик ужаса, исторгнутый у очевидцев, взлетел к задымленным небесам. Задним ходом «Максим Горький», вот же удача, сохранивший плавучесть, выбирался с минного поля. Выбирался и эсминец «Гордый», и тут…

— Опять взрыв, — говорил Горгадзе. — Мы, снятые с «Гневного», сидим в кубрике… Эсминец

здорово тряхнуло, свет погас… В полной темноте рванулись к трапу. Давка, ор, мат… Сверху кто-то орет, чтоб не лезли наверх… Ну, тут свет дали… прокричали, что мина не корабль порвала, а только параван… Успокоились мы…

Однако в шесть утра опять рвануло — у левого борта. Досталось «Гордому». В пробоину хлынула вода. Но храбр был командир корабля Ефет, и под стать ему — команда. Быстро завели пластырь, взвыли водооткачивающие насосы. Корабль потерял ход, но остался на плаву. Ефет получил от Святова приказ добить «Гневный», все еще качавшийся на минном поле. И стотридцатки «Гордого» открыли огонь — то были первые залпы войны, но не по противнику, а по своему — по невезучему собрату. «Гневный», объятый пожаром, затонул. Канонерская лодка «Москва», вышедшая навстречу отряду, привела «Гордый» на буксире в Таллин. «Максим Горький» дошел своим ходом. Им, крейсеру и эсминцу, предстоял большой ремонт на Морском заводе в Кронштадте.

— Ну вот, — сказал Горгадзе, — такие пироги. Команду «Гневного», кого поранило, — в госпиталь. Там и меня заштопали. — Он, сняв мичманку, потрогал свой затылок. — А потом

всех нас — в морскую пехоту. Такие пироги, — повторил Горгадзе. Его лицо, с черными усами, с большими темными глазами, освещали сполохи пожаров. — Скажи, Валя, разве так мы представляли себе войну?

— Нет.

— Почему же так плохо воюем? Немцы приперлись вплотную к Питеру… вплотную к Таллину… Что случилось с нашей армией? Где наши танки, где авиация? Почему корабли гибнут не в бою, а на минных полях? Что — проспали, просрали постановки мин? Почему не противодействовали?

— Наша лодка потопила минзаг, выставлявший мины у Ирбенского пролива, — хмуро сказал Травников.

— Вы потопили, молодцы, а сколько минзагов поставили мины — и никто им не мешал?

— Жорка, давай поспим немного. На твои вопросы никто не ответит.

— Знаю. — Горгадзе воткнул окурок в стенку траншеи и поднялся. — Знаю, что нет ответов. А здесь, — приставил он палец к груди, — горит у меня.

— У меня тоже, — сказал Травников.

— Ну, пока, ребята. Завтра трудный будет день. Попробуем остаться живыми.

Что может морская пехота?

Морская пехота все может. Прикажут стоять насмерть — она стоит. Прикажут пойти в контратаку — она пойдет. Только умирать не надо приказывать морской пехоте. Это не по приказу делается, а по судьбе.

Она, судьба, у каждого своя.

27 августа был днем судьбоносным. Немцы подступили к восточной окраине Таллина и прорывались в город. Прорыв нельзя было допустить! Он сорвал бы эвакуацию, разработанную штабом флота. Вместо организованного отхода и посадки войск на корабли возникли бы уличные столкновения, кровавые бои в гаванях — стихия войны грозила гибелью гарнизону Таллина и флоту.

Сдержать противника!

Выло и грохотало железо над парком Кадриорг. Шел несильный дождь. По обрубленным аллеям, по перепаханным цветникам бросилась в контратаку морская пехота. Пулеметный огонь прижимал к земле, но снова — вперед, вперед, ура-а… — поднимались живые и метр за метром… под усилившимся дождем…

Уже не помня, на каком он свете, с винтовкой наперевес бежал Валентин Травников — падал,

полз среди мокрого кустарника, но снова по свистку, по выкрику ротного — вперед, «впере-о-од!»... И только вот это — добежать до немецких позиций, достать штыком — только это — больше ничего не осталось в жизни, да и сама жизнь — была или почудилась?..

Нет, не добежать, все плотнее огонь. Короткими перебежками — назад, к своим траншеям. Кто уцелел — назад...

А кто не уцелел, остались лежать среди кустарников Кадриорга. Тут и там лежали фрунзенцы, на бегу остановленные пулями. Лежали, кто навзничь, кто ничком или скорчившись, в своих черных бушлатах, мало пригодных для сухопутных боев. Молодые, ни до чего, кроме войны, не дожившие, они остались лежать в Кадриорге, проклятом парке, — и не было никакой возможности их похоронить.

Даже и тебя, Горгадзе Георгий, друг дорогой. Бросившись наземь после короткой перебежки возле куста жимолости, Травников увидел его. Жора лежал под расстрелянным дубом. Пулеметная очередь прошила его грудь — смерть была мгновенной — топорщились усы над оскаленным в азарте атаки ртом — в раскрытых темных глазах, залитых дождем, застыла угроза.

Травников подполз к другу, закрыл ему глаза. Встав на колени, закинул винтовку за спину. Попробовал, взяв под мышки и пятясь, потащить тело Горгадзе к своим траншеям. Резкий свист пролетевших над головой пуль бросил Травникова ничком на траву, облитую кровью Горгадзе. С головы слетела мичманка. Травников не стал дотягиваться до нее. Мысленно попросив у друга прощения, перебежал, пригнувшись, к реденькому, как непрожитая жизнь, кустарнику. Удушье перехватило ему горло. Он упал и покатился, чуть слышно завывая. Слез не было, нет. И страха не было. Ничего не было, кроме отчаяния. И проливного дождя.

Дождь лил и ночью, когда морпехам, уцелевшим в дневных контратаках, было приказано отходить. Еще ревели орудия тяжелых батарей на Аэгне и Найссаре, удерживая противника от ночного прорыва в город.

Шли молча по Нарва-манте, потом по узким улицам, освещенным пожарами. Где-то справа — может, в Купеческой гавани — гремели взрывы.

В грохоте взрывов, в море огня уходили из Таллина отряды прикрытия.

Вошли в ворота Минной гавани. «Япона мать!» — пробормотал Травников. Гавань-то

пуста! Ни «Кирова», ни эсминцев, ни прочих кораблей. Ушел флот!

Ушел недавно: еще не успокоилась опустевшая вода гавани, взбитая винтами кораблей. Так почему-то подумалось Травникову. Хотя, скорее, вода и вообще-то не успокаивалась весь август под немецкими снарядами и бомбами.

Тут справа возникла на причале фигура краснофлотца — он свистнул, замахал бескозыркой. Морпехи направились к нему, увидели катер, пришвартованный к стенке. Да не один, а три. То были торпедные катера Д–3, деревянные, довольно поместительные. Спускались, осторожно шагая усталыми ногами по шатким сходням. Разместились на катерных палубах. Травников прислонился спиной к холодной трубе торпедного аппарата и — впервые за четыре или пять минувших дней — подумал, что он, кажется, еще живой.

Взвыли моторы. Катера, набирая обороты, пошли к выходу из гавани.

Алеша Богатко, с забинтованной правой рукой, протиснулся к Травникову:

— Валя, у тебя голова мокрая, весь день без мичманки. Дай-ка оботру.

Левой рукой вытащил из кармана бушлата не

то носовой платок, не то тряпку, которой протирал «дегтярь», и обтер Травникову голову.

— Спасибо, Алеша, — сказал тот. — Как твоя рука?

— Болит.

Дождь приутих, зато набирал силу ветер. Травников смотрел на удаляющийся силуэт Таллина, на иглу Длинного Германа, с которой был спущен флаг, на башню Толстая Маргарита, на шпили Домской и других церквей, впечатанные в багровое, грозно мерцающее небо.

Подумал: «Странный город Таллин; наверное, я не увижу тебя больше… прощай…»

На внешнем рейде резко усилился ветер. Качались на волнах корабли. Вот он, флот, не ушел еще. Стоят на якорях крейсер, эсминцы, тральщики, подлодки, вспомогательные суда. Грузно переваливаются с борта на борт крупные транспорты. К одному из них и подходят торпедные катера.

По спущенному трапу поднимается морская пехота на его верхнюю палубу. Она кажется такой прочной, надежной — после окопов Кадриорга. Массивный человек с торгфлотскими нашивками на рукавах кителя зычно прокричал:

— Внимание, морская пехота! Проходите

в надстройку, в коридор левого борта. Там и располагайтесь! По каютам не шастать, судно переполнено. На верхнюю палубу не выходить! Гальюн в конце коридора. Все понятно?

— Понятно… Как не понять… — ворчали морпехи. — Все нельзя… Хоть в гальюн можно, спасибочко… Как называется ваш замечательный пароход?

— «Луга»! — крикнул массивный человек. — Не толпитесь, проходите по одному!

В коридоре, неярко освещенном плафонами, двери многих кают были приоткрыты, и пахло оттуда потом, портянками, окровавленными бинтами. Похоже, ранеными солдатами набита эта «Луга».

Но вот что хорошо: крыша над головой и теплая, покрытая коричневым линолеумом палуба под ногами… Морпехи ложились вповалку в длинном, как улица, коридоре. Отоспаться бы, душой отойти от ада Кадриорга…

Алеша Богатко, растянувшись рядом с Травниковым, бубнил, позевывая:

— Я знаешь что вспомнил? В детстве, когда мать говорила «нельзя», я кричал: «Льзя!» Дурачок же был… упрямый… Отец плавал старпомом на сухогрузе… в Грецию ходил, в Италию… Он нам с

сестрой привозил подарки… игрушки красивые… А потом ушел к другой… Мама на судоремонтном работала… Она, знаешь, очень нервная стала… Ты спишь?

— Почти, — отвечал Травников.

Он противогазную сумку подложил под голову. Не очень-то удобно. К тому же — качка. Но усталость была такая тяжелая, что заснул Травников — и спал бы целую вечность, если б очень ранним утром не разбудил его мощный грохот взрыва. Вскинулся Травников, привычно хватаясь за винтовку.

Готовая ко всему, поднималась морская пехота, прислушиваясь к протяжному грохоту… ко второму, столь же мощному взрыву… что-то там, на внешнем рейде, происходило нехорошее… Ожидали команд: что делать, куда бежать… а бежать-то ведь некуда…

Наконец появился в коридоре замполит, а вернее — комиссар бригады (с июля опять утвердили при командирах военных комиссаров — военкомов). Объяснил про взрывы: это взорвали тяжелые батареи на островах Аэгна и Найссар. Всю ночь они держали огневую стену перед немцами, а теперь, когда флот и войска ушли из Таллина, дальнобойные орудия, сделавшие свое

дело, взорваны.

Непогода задержала начало движения флота на восток. К полудню ветер стал стихать, и первый конвой снялся с якорей и дал ход. Около шестнадцати часов двинулся третий конвой, в составе которого шел транспорт «Луга».

Работали машины в недрах судна, мелко вибрировала палуба, и с каждой пройденной милей — подумалось Травникову — мы ближе и ближе к Кронштадту. Раздали еду — по ломтю черного хлеба и по банке рыбных консервов на двоих. Ну, это вообще! Кормят, не пытаются тебя достать осколком или пулей — что еще человеку надо? Вот с куревом плохо. Папиросы кончились почти у всех. Вспомнил Травников, как ночью спрыгнул к ним в окоп Жорка Горгадзе с коробкой «Викинга»... сладко было затянуться легким дымком...

Алеша молодец: пробрался к дружку-земляку, одесситу, и вернулся от него, неся на обрывке газеты рыжую горсть махорки. Травников свернул цигарки. Разжились огоньком и растянулись на теплой палубе, блаженно жмурясь при каждой затяжке. Ну чем не хорошая жизнь?

Не знали они только, что к вечеру конвой вошел в минное заграждение Юминды...

Рвануло около десяти вечера. Взрыв оглушительной силы раскатывался долго. Разом оборвалась работа машин. Где-то что-то тяжело падало, сотрясая корпус «Луги». Мотались двери кают, и крики, вой неслись оттуда. Да и морпехи орали, матерились, бросились из надстройки на верхнюю палубу.

Выскочил и Травников. В облаке горького дыма не сразу разглядел, что делается, — только понял, что судно накренилось на правый борт. Там, справа, горело что-то, и матросы «Луги» сбивали огонь из брандспойтов. «Второй трюм затоплен!» — раздался истошный крик.

Транспорт, все более кренясь, тонул — но медленно. Пытались откачать воду, заливавшую машинное отделение. Из надстройки вылезали ходячие раненые. Одного красноармейца, на костылях, с забинтованной ногой без сапога, опрокинули в толкучке, он упал навзничь и кричал плачущим голосом: «За что? Братцы, за что-о?! А-а-а-а…» Травников поднял его, костыли сунул под мышки.

— Да не ори, — сказал. — И без тебя тошно. Перестань орать!

Лицо у красноармейца было как будто безглазое: темные впадины вместо глаз. Надвинулся

страшным лицом на Травникова:

— Морячок, дай закурить перед смертью.

— Нет у меня курева, — отодвинулся от него Травников. — И умирать не спеши. Еще не тонем.

Медленные, как тягучее ночное время, плыли облака. Вдруг открылась луна, проложив золотую дорожку к объятой паникой «Луге», и… Травников вгляделся: да-да, в лунном свете возник корпус судна, которое, похоже, приближалось к левому борту «Луги».

С мостика «Луги» громкий голос прокричал в мегафон:

— На «Скрунде»! Подходить к корме!

Этот пароход с латышским названием «Скрунда» был заметно меньше «Луги». Дымя из высокой трубы, он малым ходом подошел к округлой, перекошенной креном, но пока еще возвышающейся над водой корме «Луги». Тот же властный голос скомандовал: экипажу и ходячим пассажирам — помогать раненым перейти на борт «Скрунды», лежачих переносить.

Стонущим потоком плыли по сходне, переброшенной с кормы на борт «Скрунды», тяжелораненые — их несли на руках. Травников работал в паре с другим фрунзенцем, третьекурсником

Шматовым, бывшим комсомольским активистом. Этот Шматов, маленький ростом, быстро выдохся, и Травникову пришлось без его помощи тащить на руках раненых пехотинцев. Двоих перенес, вернулся на «Лугу», отдышался. Увидел в толпе, скопившейся на корме, давешнего красноармейца на костылях. Тот пытался пройти к сходне, кричал плачущим голосом:

— Братцы, пустите! Пустите меня!

Не пропускали. Травников подался к нему, отобрал один костыль:

— Обхвати меня за шею, солдат. И скачи на одной ноге.

Так они вклинились в поток раненых, плывущий по упруго шаткой сходне, и застучал по ней костыль солдата.

На борту «Скрунды» распоряжался старпом, долговязый латыш в синем свитере, в фуражке с непонятным «крабом». Велел пройти на бак, там скапливались люди с «Луги».

— Как тебя звать? — спросил Травников, отдав красноармейцу костыль.

— Тетушкин я, — отозвался тот плаксивым тенорком.

— А, тетушкин, — кивнул Травников. — Откуда ты, с тетушкой своей?

— Курские мы. С колхоза «Заря коммунизма».

— Понятно.

— С Восьмой армии я, с десятого корпуса… От само́й границы отступаем, — продолжал словоохотливый Тетушкин, усевшись на палубу возле брашпиля. — Это ж надо, всю дорогу под пулями, под бомбами — а я живой. А под Таллином прихватило, ка-ак дали по ноге…

— Заживет твоя нога. Живи дальше, Тетушкин.

Травников увидел Алешу Богатко, появившегося на баке, и протолкался к нему.

— Валя! — Богатко обрадованно протянул здоровую левую руку. — А я тебя искал… Ну и ночка! Я слышал, рулевой с «Луги» говорил, что тут мин понаставлено и много кораблей подорвалось.

— Как твоя правая?

— Болит. — Богатко покачал перевязанной рукой. — Там в толпе двинули меня как раз по ней. Спасу нет, как болит.

Они сели у фальшборта.

— Придется потерпеть до Кронштадта, Алеша, — сказал Травников, поднимая воротник бушлата.

Ветер был холодный. В его посвистывании почудилось Травникову: «Спасли-и-ись…» Волны, набегая на корпус «Скрунды», хлюпали, разбива-

лись, набегали снова. В сплошном гуле голосов с того борта «Скрунды», на который была перекинута сходня с «Луги», доносились выкрики: «А ну, побыстрей!.. Закрепите!.. Чего — закрепите, не видишь, что на борт валится… Давайте скорей, скорее!..» С матерком, понятно…

«Луга» ложилась на правый борт, разрушенный взрывом мины. Водонепроницаемые переборки держали ее почти два часа на плаву, но теперь вода полностью завладевала судном. Все быстрее оно уходило под воду. Мачты легли… мостик и дымовая труба тонули… Со странным звуком — будто с последним вздохом — транспорт «Луга» скрылся под водой… крутилась на месте его гибели огромная воронка…

Страшно, когда на твоих глазах убивают людей.

Но страшно и увидеть тонущее судно…

Работа по спасению продолжалась: вытаскивали, бросив спасательные круги или просто канаты, людей с «Луги», оказавшихся в воде.

Затем «Скрунда» дала ход. Но вскоре машина умолкла, судно остановилось. Что еще стряслось?! Боцман, бородатый человек в голубой зюйдвестке, появился на баке и пустил брашпиль. Затарахтела, уходя в клюз, якорная цепь.

«Почему? Почему становимся на якорь?» — посыпались вопросы. С нелегким акцентом боцман громогласно объявил:

— Приказ команди… командýющего, вся колонна стоять до утра на якорь. Капитан просит — вам идти в трюм. Там больше тепло, чем здесь.

В назначенное природой время наступил рассвет 29 августа. Прояснилось небо, очищаясь от предутреннего тумана, от дымов и гари войны, от кошмара минувшей ночи.

Травников проснулся от выкрика какого-то раненого — то ли от боли он крикнул, то ли от страшного сна:

— Уйди! Уйди…

И, само собой, обычное выкрикнул окончание.

Трюм сонно вздыхал, храпел, стонал. И не тепло было тут спать, на слежавшейся соломе. Хотя, конечно, теплее, чем на верхней палубе, под обнаженными небесами.

Море было светлее неба. На его голубовато-пепельной поверхности тут и там колыхались черные округлые полушария. То были макушки мин. Подрезанные резаками тралов там, где прошли тральщики, мины всплыли, их, как положено, расстреливали с кораблей, но было их много, много…

Черные макушки с торчащими рожками, в которых затаился взрыв. Черная гибель на светлой воде. Раннее утро 29 августа.

А впереди и слева — силуэты кораблей. Стоят на якорях: крупный транспорт, похожий на «Лугу», а дальше еще транспортное судно поменьше, а левее — старый миноносец, один из «новиков». Правильно, что движение флота, всей длиннющей колонны, остановлено на ночь.

Так думал мичман Травников, стоя на верхней палубе транспорта «Скрунда» и потрясенно глядя на Финский залив, словно засеянный ядовитыми семенами войны. (Не знал тогда еще Травников, сколько кораблей и вспомогательных судов подорвалось минувшим днем на минном барьере Юминды.)

Между тем в голове колонны, на фалах крейсера «Киров», взлетел флажной сигнал: сняться с якорей, начать движение. Повторяясь от корабля к кораблю, приказ комфлота облетел всю колонну, растянувшуюся миль на пятнадцать, до замыкающего ее арьергарда. И корабли двинулись на восток, навстречу разгорающемуся костру нового дня.

Дала ход «Скрунда». Травников смотрел, как судно аккуратно обходит плавающие мины, но

держится в кильватере впередиидущего транспорта. Ветер бил Травникову в лицо, и чудилось в посвисте ветра: «Спасли-и-ись…»

И уже шагнул он к люку трюма — там все же теплее, чем наверху, — как вдруг новый, но уже хорошо знакомый звук удержал его на верхней палубе. В заголубевшем небе шел «фока», или «рама», как прозвали на флоте немецкий самолет-разведчик «фокке-вульф». По нему открыли огонь. С мостика «Скрунды» заговорил скороговоркой спаренный пулемет. «Рама» быстро удалялась к хвосту колонны — высматривала…

«Ну, теперь начнется, япона мать…»

И началось.

Вой воздушных моторов быстро нарастал — и вот они, «юнкерсы», с черными крестами на крыльях, на хищных телах, целая эскадра. Снижаясь, с поворотом на бок, они с устрашающим завыванием сирен накинулись на колонну. Военные корабли встретили их плотным зенитным огнем. А на торгфлотских транспортах, на вспомогательных судах вооружение было слабенькое — пулеметы ДШК на мостиках, иногда и единственная зенитная пушка. Не отбиться от пикирующего бомбардировщика…

Море вскипело от разрывов бомб. Тут и там

вздымались водяные столбы. Грохот бомбовых ударов, вой «юнкерсов», зенитный огонь слились в адскую какофонию. Захлебывался на мостике «Скрунды» спаренный пулемет.

А Травников на ее корме будто врос в палубу, невольно пригнувшись. Страшно было ему. И негде укрыться. В трюме ведь не спасешься. Он увидел, как ухнула бомба в транспорт, идущий перед «Скрундой», — сверкнуло там, взметнулось бурое облако, взлетели обломки. Закричал сигнальщик на мостике «Скрунды»:

— Разбомбили «Вторую пятилетку»!

Теперь «юнкерс», описав в задымленном небе большую дугу, устремился на «Скрунду». Спикировал с диким воем сирены. Полыхнуло огнем, взорвался воздух, оглушающий взрыв сотряс беззащитное тело парохода…

Мощная взрывная волна сбросила Травникова с кормы «Скрунды». На какой-то миг он потерял сознание, но холодная вода, накрыв его с головой, пробудила мысль, одну единственную: вынырнуть… вынырнуть…

Вынырнул, глотнул воздуху, осмотрелся — и удивился тому, что его отнесло так далеко от «Скрунды». Он поплыл к пароходу, над которым еще не рассеялось черное дымное облако, па-

роход то скрывался за волнами, то появлялся вновь, — и вдруг Травников понял, что «Скрунда» тонет. Сквозь гул моторов «юнкерсов», сквозь грохот бомбовых ударов он услышал страшный продолжительный человечий вопль.

«Скрунда» мелькнула между волнами в последний раз и скрылась. Скрылась навсегда, унося в глубину раненых солдат, защищавших Таллин… город, чуждый им, в сущности…

Травников плыл саженками к месту гибели парохода. Плыл с неясной мыслью о, возможно, спущенной с него шлюпке… или хотя бы о деревянном обломке палубы, за который можно уцепиться… Еще мысль была об Алеше Богатко — как он там, с одной-то рукой…

И была еще мысль о письмах Маши, о комсомольском билете и о курсантском удостоверении, они, конечно, промокли в кармане бушлата, но надо бы их сохранить… а бушлат скинуть… тяжело в нем плыть…

И он проделал все это — сунул письма, билет и удостоверение в вырез фланелевки, за пазуху, и, барахтаясь в воде, стянул с себя и отбросил бушлат. Плыть стало легче, но, наверное, он потерял направление. Никаких обломков «Скрунды» не попадалось. Не видно было и плывущих людей,

а ведь не могло быть, чтобы никто, кроме него, не уцелел.

Впрочем… Кажется, мелькнуло темное что-то слева… захлестнуло волной… опять мелькнуло…

Он поплыл в ту сторону — и выплыл прямо на мину. Срезанная с минрепа, огромная, черная, она качалась на воде, выставив поблескивающую макушку с рожками. Здрасте!.. Травников поскорее поплыл прочь.

Он плыл, плыл, переворачивался на спину, чтобы отдохнуть, и снова плыл, ориентируясь по солнцу, скрывающемуся за негустой облачностью, — плыл на восток. Разумеется, он представлял себе, что находится в середине Финского залива, и где-то тут остров Гогланд, там наша военно-морская база, и если плыть на восток, то, может быть…

Может быть, может быть…

Травников плыл теперь экономным брассом, но чувствовал, что устает. Волны, хоть и небольшие, но назойливые, плюхались и плюхались ему в лицо… «Как только им не надоест, япона мать… эй, послушайте, угомонитесь, наконец… не то я велю вас высечь… кто-то ведь, рассердившись на море, велел его высечь… кто?.. никак не вспомню… да это не важно… вот важно то, что

профессор одобрил твою курсовую работу… ты ведь умная у меня… а Кухтина очень жаль, ребята… как же это оставили его на этом острове… как он называется…»

Спохватился, что мысли путаются.

Часов у него не было. Но, наверное, уже много прошло времени. Ну да, солнце уже миновало зенит. Где же ты, остров Гогланд?

Устал. Очень устал. И воды, горькой, соленой, наглотался. Лечь на спину, отдохнуть. Только бы не заснуть. Заснуть — тогда все — камнем на дно — на дне очень холодно, наверное, и тихо…

Пена вокруг горла.

Волны плюхаются, бьют по голове.

«Не спать, не спать, — командует себе мичман Травников. — Раскрыть слипающиеся глаза… о, как хочется уснуть…»

Вдруг — удар по голове… скользящий, над левым ухом… но болезненный очень…

Травников, вскрикнув, переворачивается на живот.

Что-то медленно проплывает перед ним. Какой-то брус толстый… Может, обломок пиллерса?.. черт его знает…

И за эту спасительную деревяшку держится человек. Вцепился намертво обеими руками, и

торчит над водой белобрысая голова с полузакрытыми глазами, очень даже знакомая голова, это Шматов, фрунзенец.

— Здорово, Шматов, — хрипит Травников, тоже ухватившись за брус.

Тот не отвечает.

Травников потирает ушиб за ухом, ладонь становится красной. Да это не просто ушиб, а рана. Рана, разъедаемая соленой водой. Хорошо еще, что чертов брус не раскроил череп. Это очень приятный момент, пытается Травников подбодрить себя.

Но брус не выдерживает двоих, погружается. Шматов, не ослабляя хватки, вскидывает на Травникова взгляд, вполне выразительный: дескать, чего вцепился, отвали…

(И — мгновенное воспоминание: на комсомольском собрании в училище Шматов, член комитета комсомола, громит курсанта, пойманного за чтением вредной книги писателя Достоевского «Бесы», — вот такой же был у Шматова яростный взгляд.)

— Давай, давай, Шматов… спасайся… — бормочет Травников, отпуская брус и отплывая.

Он продолжает плыть в восточном направлении. Но плыть все труднее. Он чаще переворачи-

вается на спину и лежит, слегка подрабатывая руками и ногами, — лежит, раскачиваемый волнами, под медленными облаками, под холодным солнцем.

Очень холодно. Особенно ноги мерзнут. «Какой ты холодный, прямо как замороженный судак… Кто это сказал?.. Ах, ну да, Рита сказала, старшая сестра… Мы с Лешкой Копновым пошли в лес по грибы… А леса вокруг Губахи дремучие. Заблудились мы, октябрьский день был холодный, без солнца, заночевали в буреломе, мерзли всю ночь ужасно, наутро поплелись куда глаза глядят, вышли к ручью, напились воды, от которой зубы ломило, пошли вдоль этого ручья. Леха говорит: „Главное, что вода есть, а кушать будем грибы“. Я говорю: „От сырых грибов отравимся“. Он говорит: „Не отравимся“. А я: „Тихо! Замри!“ Мне голоса далекие послышались. Поперли на них напрямик. А это нас звали! Лешкина мама и Ритка, моя сестра. И с ними Чемберлен, наш пес лохматый. Он, Чомбик, первым выбежал на нас и — давай прыгать и целоваться. Ритка кинулась ко мне, обняла и кричит: „Валька, какой ты холодный, прямо как судак замороженный“

Где-то — может, на лесной опушке — дятел стучит и стучит…

Холодно… Глаза слипаются…

Нет!.. Вынырнуть!..»

Уже погрузившийся с головой, Травников движениями рук заставляет себя всплыть. Наглотался опять…

А это что? Он прислушивается. Никакой не дятел — стучит мотор! Откуда только силы взялись — Травников поплыл в сторону этого звука. Вскоре мелькнул между волнами катер… скрылся… снова мелькнул…

Тревожно колотится сердце: это же морской охотник, «мошка», он низко сидит в воде, с него могут не увидеть… не заметить голову плывущего среди волн… Закричать!

Травников машет рукой и кричит: «На катере!» Но разве они услышат? Он и сам не слышит своего голоса, тонущего в рокоте моторов.

Но вот морской охотник как-то разом, всем корпусом возникает перед ним. Травников машет, машет рукой: «Ребята, смотрите, смотрите… смотрите!»

На катере смотрели и — увидели.

Оборвался рев моторов. Инерция придвигает морской охотник почти вплотную к Травникову. Ему кидают канат, подтягивают к борту. Матрос, вылезший на привальный брус, одной рукой

держащийся за леерную стойку, протягивает вторую руку, и Травников судорожно хватается за нее — за свое спасение.

Его трясло от холода, когда в темноватом катерном кубрике он с помощью того же краснофлотца, который вытащил его из воды, снял ботинки и стянул с себя мокрую одежду. Его обтерли, одели в сухое и дали стакан спирту. Травников с трудом влил в себя полстакана, запил водой и повалился на койку, но тут же со стоном сел, схватившись за голову.

— Э, да ты ранен, — сказал матрос, увидев кровяное пятно на подушке. — Погоди, не ложись.

Он мигом взлетел по трапу наверх и вскоре вернулся, приведя в кубрик молоденького лейтенанта со знакомым мальчишеским лицом.

— Где рана? — деловито спросил лейтенант. — Поверни голову. Ага, вот. — Он раскрыл принесенную санитарную сумку, достал бинты. — Волосы слиплись от крови, — сказал, осторожно бинтуя Травникову голову. — Повезло тебе, осколок царапнул. Если б на полсантиметра глубже, то…

Травников не стал объяснять, что не осколком царапнуло, а доской ударило. Сил у него хватило, только чтобы промычать «спасибо» и повалиться навзничь. В голове было плохо, цветные пятна

плясали перед глазами, даже когда он смежил веки.

Потом он провалился в сон.

Проснулся Травников от тишины. Сверху доносились какие-то крики, но — моторы не работали. Что там еще стряслось? Почему остановились?..

Он заставил себя встать. Как был — в чужой парусиновой робе и босой, — поднялся на верхнюю палубу. То ли от порыва ветра, ударившего в лицо, то ли от качки, а скорее от того, что́ он увидел, Травников не устоял на ногах, сел на световой люк моторного отсека.

Метрах в двадцати от левого борта катера раскачивалась на волнах зеленая от водорослей плавающая мина, а на ней, ухватившись обеими руками за рожок, лежал человек с дико взъерошенной гривой желтых волос. Рот у него был разодран как будто в крике, но не было слышно его крика. Кричал с мостика командир катера:

— Слезай с мины сейчас же! Ты слышишь?

Человек смотрел вытаращенными глазами и молчал, не делая и попытки оторваться от мины.

— Слезай! — орал командир. — Или я расстреляю мину вместе с тобой!

Человек продолжал безумную пляску на мине.

С борта гаркнул на весь Финский залив рослый

катерник с нашивками главстаршины — должно быть, боцман. Громовым голосом он обложил того человека матом такой плотности, что воздух загустел и легким звоном отозвалась антенна.

Обращение боцмана подействовало. Человек оттолкнулся от мины и исчез под водой, но вынырнул и поплыл к катеру. Его вытащили, он, в желтой фуфайке и длинных синих трусах, разлегся на палубе и на вопросы отвечал невнятно, кашляя и задыхаясь.

— Чего-то он говорит не по-нашему. Эстонец, что ли? — сказал боцман. — Ты эстонец?

Спасенный человек помотал головой.

Травников спросил:

— Ты со «Скрунды»?

— Да, да, «Скрунда», — закивал человек. — Бомба… трах-трах! — выкрикнул он. У него в глазах был застывший ужас.

— Он с парохода «Скрунда», там был латышский экипаж, — сказал Травников. — Нас утром разбомбили…

— Отведите его в кубрик! — крикнул с мостика командир охотника. — Переоденьте, спирту дайте!

Взревели моторы, завибрировала палуба, катер рванулся по неспокойной воде в сторону, проти-

воположную закату.

— Чего стоишь босой? — сказал Травникову лейтенант с мальчишеским лицом. — Простынешь. Спускайся в кубрик.

— Сейчас. — У Травникова, и верно, ноги были ледяные. Он поджал пальцы ног. — А я вас знаю, — сказал лейтенанту. — Вы Крутиков, да?

— Да. Я тоже помню тебя, ты ж у нас в училище был капитаном волейбольной сборной. Как фамилия?

— Травников.

— Ага. Я-то не в волейбол играл, а боксом занимался.

— Вы вместе с Кругликовым кончали, да?

— Конечно. Лучший друг. Наши жены — родные сестры.

— Лейтенант Кругликов в Таллине командовал нашей ротой. В Первой бригаде морпехоты.

— Да-да! — Крутиков впился острым взглядом в Травникова. — Нас после производства назначили на охотники помощниками командиров. В катер, на котором Витя служил, попал снаряд. Потонули они, но Витя и еще шестеро уцелели — пошли в морскую пехоту. Так ты видел его? Он жив?

— Его ранило.

— Тяжело?

— Да. Я видел раненых, Кругликова тоже, увезли в госпиталь.

— Значит, ранен Витя. — Крутиков покачал головой.

— Всех раненых из Таллина вывезли, — сказал Травников, — погрузили на транспорта́…

Он умолк, подумав, что Кругликов, быть может, был среди сотен раненых на «Луге», а потом на «Скрунде»…

Когда морской охотник ошвартовался в Средней гавани, Травников простился с командой маленького кораблика — со спасителями своими — и сошел на стенку Усть-Рогатки, а оттуда в Петровский парк.

Одежда, положенная в моторном отсеке на коллектор, высохла, но ботинки были сыроваты, неприятно холодили ноги, а носки Травников и вовсе выбросил. В парке, вокруг заколоченного досками памятника Петру, толпились моряки и пехотинцы, сошедшие с кораблей, которые прорвались в Кронштадт. Кто-то из здешних командиров басовито кричал в мегафон, повторяя приказ — пришедшим из Таллина построиться и идти в учебный отряд на Флотскую улицу, там, в Школе оружия, развернут сборный пункт. Но

никто из пришедших с моря не торопился строиться. Делились табачком, курили, говорили все разом, каждый о своем — как выжил на переходе под бомбами, уцелел при взрывах мин. Да что ж, радостно были возбуждены оттого, что прошли сквозь погибель и вот — ступили на прочную землю Кронштадта, и, значит, можно жить дальше…

Но за гулом их голосов слышался рокот артиллерии — грозный отзвук боя, идущего недалеко, на Южном берегу.

Тут словно с неба свалился пушечный гром — орудия били совсем рядом, на Большом Кронштадтском рейде, где стояли корабли эскадры, — звонкие удары рвали воздух, колотили по ушам.

— Станови-и-ись! — орал сквозь грохот командир с мегафоном.

Стали строиться. А Травников быстрым шагом помчался к выходу из парка. Ему вслед крикнули: «Эй, обвязанный, куда пошел? А ну, назад!» Но он ускорил шаг, правильно прикинув, что никто за ним не погонится.

Выскочил на Июльскую улицу, осмотрелся. Кронштадт он знал плохо, был тут только на практике после первого курса. Обратился к прохожему — пожилому командиру с интендантскими

белыми нашивками: как пройти на улицу Карла Маркса? Интендант окинул его быстрым взглядом (и Травников как бы его глазами увидел себя — давно не бритого, с обвязанной головой, без фуражки, в мятой одежде) и сказал прокуренным голосом:

— Иди прямо, перейдешь мостик, повернешь направо, вдоль Обводного канала. Ты был в боях?

Травников кивнул и зашагал по Июльской, мимо длинного желтого здания бывшего инженерного училища (и еще более бывшего Итальянского дворца), перешел по мостику Обводный канал и повернул направо. Верно сказал интендант: улица, проложенная вдоль канала, носила имя Карла Маркса. Она была неказистая, мощенная булыжником.

Вот и двухэтажный, тоже неказистый, дом номер пять. Перед дверью квартиры Редкозубовых на первом этаже Травников постоял несколько секунд, прежде чем позвонить. Вот бы Маша открыла ему дверь! Но она, наверное, в Питере. Что ж, по крайней мере он узнает от ее мамы адрес…

Он нажал на кнопку, но звонка не последовало. Травников постучал. Раздались шаркающие шаги, дверь отворила высокая полноватая женщина

лет шестидесяти, в байковом халате тускло-серого цвета.

— Здравствуйте, — сказал Травников. — Здесь живет…

Но закончить вопроса не успел. Женщина, пристально глядя сквозь очки светлыми глазами, перебила:

— Вы Валентин? Входите, входите.

По коридору, освещенному подслеповатой лампочкой, она провела Травникова в комнату с окном на улицу (с видом на старую двухмачтовую посудину, торчавшую в канале, может, со времен его прорытия). У окна стоял и курил пожилой мужчина со звероватым лицом, седой, с черными усами и угрюмыми черными глазами.

— Федя, — сказала женщина, — это Валентин. Ты понял? К Маше Валентин явился.

Федор Редкозубов, скользнув взглядом по Травникову, густым басом произнес:

— Стотридцатки.

— Что — стотридцатки? — не понял Травников.

— Стотридцатки бьют. С эсминцев. Это ж на какое расстояние немца подпустили, если стотридцатки достают, мать его…

Женщина перекрестилась.

— Ты слышал, Федя, что́ я сказала?

— Да, слышал. — Редкозубов раздавил папиросу в пепельнице, оглядел гостя, протянул здоровенную ручищу. — Ну, давай знакомиться, Валентин.

У него двух пальцев не было на правой — мизинца и безымянного.

— Сходи на завод, Тася, Машу позови, — сказал он. — Пусть придет срочно.

— Да ее ж не отпустят. Средь рабочего дня…

— Конькову скажи, что я просил отпустить.

Женщина вышла.

— Так Маша здесь? — Травникова словно теплой волной окатило. — Маша в Кронштадте?

— А где ж ей быть? Весь август.

— Что — весь август?

— За тебя сильно беспокоилась. — Редкозубов дотронулся до повязки на голове Травникова. — В Таллине ранило?

— В море, на переходе.

— Значит, так, Валентин. Я воду согрею, помоешься. Бритва у меня опасная. Ты умеешь опасной?

— Управлюсь. Спасибо, Федор…

— Матвеич.

Прихрамывая, Федор Матвеевич повел гостя в

кухню. Там возилась у плиты соседка — тощая женщина в кофте и юбке защитного цвета, придававших ей полувоенный вид.

— Вот, Игоревна, — сказал Редкозубов, — к Маше муж прибыл.

От этого слова — «муж» — Травникова в краску бросило.

— Здрасте, — сказал он с кивком.

— Приветствую. — Соседка всмотрелась в него. — Ишь, зеленоглазый. В боях были?

— В боях, в боях, — сказал Федор Матвеевич. — У тебя в чайнике вода горячая, Игоревна? Налей-ка вот в кружку, Валентину побриться надо. А то он как дикобраз.

При своей хромоте и тяжеловесности Редкозубов оказался расторопным мужиком. Подкинул дров в топку полупогасшей плиты, поставил на конфорку бак с водой. Травников перед зеркальцем над раковиной густо намылил щеки и подбородок и принялся бриться — в первый раз опасной бритвой. Редкозубов посмотрел на его неуверенные движения.

— Э, да ты не умеешь. Дай-ка бритву.

— Нет-нет. Я сам.

Дело шло медленно. Только соскреб Травников щетину с одной щеки и приступил ко второй, как

в коридоре раздались быстрые шаги — и в кухню влетела Маша в синем, косо надетом берете.

— Валечка!

С разбегу бросилась к нему, закинула руки за шею. Целовались, счастливо смеялись, обтирая губы от мыльной пены.

— Господи, Валя, живой! Мой, живой! Валька!

— Дай ему добриться, дуреха, — басил Редкозубов. — Хватит обниматься! Помыть его надо, а не целовать.

— Дед… ты ничего… не понимаешь… — говорила Маша между поцелуями. — Немытый, небритый… ну и что… Живой!

Травников добривал щеку, глаз не сводя с Машиного лица, а она, оживленная, рассказывала о том, как их, девчонок из университета и других вузов, в июле привезли на какую-то станцию под Лугой и они в чистом поле рыли противотанковый ров, а над ними пролетали немецкие самолеты и однажды бомбили. А когда их, измученных и голодных, привезли обратно в Питер, она, Маша, отпросилась на факультете и уехала в Кронштадт, домой, и дед устроил ее на заводе своем — он же мастер по ремонту артиллерии, — устроил ученицей токаря в механическом цехе, и она — «Ты представляешь, Валечка?» — так быст-

ро научилась точить по чертежу металлические заготовки, что ей на днях третий разряд дали…

Травников сказал:

— Молодчина.

Он любовался ее лицом, светло-карими глазами, в одном из которых сияло золотое пятнышко, знакомыми движениями ее рук, раздвигающих на лбу два крыла волос. Ради одного этого, подумалось ему, ради того, чтобы увидеть прекрасное ее лицо, стоило остаться живым.

Вода в баке согрелась. Редкозубов с его, Травникова, помощью, перенес бак в чулан, отгороженный от уборной, тут имелся слив в канализацию. Травников намылился черным бруском хозяйственного мыла, окатывал себя горячей водой, постанывая от удовольствия. Тем временем Маша простирнула его тельняшку и трусы, прогладила фланелевку и брюки. Потом его, одетого в просторную рубаху и штаны Редкозубова, усадили за стол. Маша сменила ему повязку на голове (все еще кровоточила рана). Появились на столе бутылка, стаканы, закуска — соленые огурцы и картофельные оладьи.

И не было у Травникова сил прервать нежданное застолье и бежать на сборный пункт. Все равно, подумал он, там долго еще будут чикать-

ся — переписывать, выяснять, кто и откуда…

Маша сидела рядом, она успела переодеться — очень ей шло темно-коричневое платье, по которому как бы разлетелись оранжевые листья. Ее колено прижалось к ноге Травникова, и радость его объяла от теплоты прикосновения. Вот так бы и сидеть рядышком, никуда не торопясь…

Смущала его Таисия Петровна, бабушка, — она, сжав губы в неровную линию, смотрела на Травникова сквозь большие очки в черной оправе. Чудилось ему нечто осуждающее в этом пристальном взгляде. А дед Редкозубов поинтересовался, пьет ли Валентин неразбавленный спирт, или надо ему разбавить.

— Пятьдесят на пятьдесят? — удивился Федор Матвеевич. — Это ж все равно что одна вода. У нас так никто не пьет. Ну ладно, вольному воля. — Он плеснул воды в граненый стакан, наполовину наполненный спиртом, и протянул Травникову. — Значит, за то, что ты живой явился. Хотя лучше чистый.

— Что — чистый? — не понял Травников.

— Ну что — спирт. Его разведешь — так никакой пользы.

Нисколько не морщась, Редкозубов выпил свои полстакана чистого спирта, запил глотком воды

и захрустел огурцом. Травников пил трудно, сдерживая дыхание: спирт был крепок, да не чист, с запашком неприятным. Но хороши были огурцы и оладьи. Давно уже не ел он такую вкусную еду. Давно не сидел за накрытым столом в жилой комнате, в домашнем, знаете ли, кругу. Он теснее прижал ногу к теплому колену Маши, и такая явилась мысль, что огромная выпала ему удача и ничего с ним не случится плохого…

И он поднял стакан и рассказал, запинаясь слегка, как вчера (или уже позавчера?) бомбардировщик раздолбал транспорт и он, Травников, чуть не утонул в холодном Финском заливе, но его спас морской охотник, и там велели ему выпить спирту, чтобы не помереть от переохлаждения…

— Ну-тк первое дело, — вставил Редкозубов.

— Хочу вам спасибо сказать, — закончил Травников свой тост, — что так тепло меня приняли.

Канонада за окном вдруг усилилась. Стекла дрожали, дребезжали от ударов тяжелых орудий.

— Трехсотпятки ударили, — сказал Редкозубов. — С линкоров. — И, помолчав, взглянул на жену. — Помнишь, Тася, как в двадцать первом? Тоже они палили… мятежные…

— Как же не помнить? — Таисия Петровна нервно вскинула руки к лицу. — Это ж страх был

ужасный… Отсюда палят, оттуда бьют… Капа из сарая как раз дрова принесла, вошла и стоит с охапкой… Я говорю: «Брось дрова», — а она бледная стоит, с дровами, а по щекам слезы, слезы…

— Пойду. — Травников поднялся. — Спасибо большое за теплоту вашу.

Вслед за Машей он вошел в соседнюю комнату. Тут стояли кровать с высокими спинками и — у стены напротив — кушетка, над которой задумался вышитый на коврике олень с ветвистыми рогами.

— Это мама вышивкой увлекалась, — сказала Маша.

— Как ее зовут? Капитолина Федоровна? А где она?

— Мама в Морском госпитале работает. Сегодня она на дежурстве. Посиди, Валя, я пойду посмотрю, высохли ли твои доспехи.

Травников взглянул на свое отражение в овальном зеркале, вделанном в дверцу шифоньера, и подумал, что не знаком с этим верзилой с повязкой на голове, с ввалившимися бритыми щеками, в просторной желтоватой рубахе без воротничка и плисовых штанах. «Это вы, товарищ мичман?» — пробормотал он и присел к письменному столу у окна. Тут стопка книг

лежала, сверху — «Овод». К чернильнице прислонилась твердая фотокарточка: сидел матрос с суровым лицом, с закрученными кверху усами, с раздвоенным подбородком, в бескозырке, по околышу которой шло крупными буками: «Петропавловскъ». Рядом, положив ему руку на плечо и улыбаясь, стояла Маша в длинном платье. Еще тут была тонконогая этажерка, а на ней большая ваза с цветами.

— Ты удивительно похожа на маму, — сказал Травников вошедшей Маше. — Просто одно лицо.

— Да, верно. А отца я никогда не видела. Он погиб в Гражданскую. Валечка, посиди немного. Не совсем еще высохли тельняшка и трусы. Тебе, — добавила она, засмеявшись, — очень идет рубаха деда.

— И его портки, — сказал Травников. — Машенька, я здорово по тебе соскучился.

— И я по тебе. Валя, ты чуть не утонул? Как страшно…

— Чуть не утонул… Чуть не сгорел… Чуть не разнесло на куски… — Он целовал, целовал ее. — А знаешь, почему остался жив?

— Почему?

— Хотел тебя увидеть… Тебя хотел…

— Ох, Валя… Валька… Сейчас… Ну, обожди…

Она откинула с кушетки покрывало и стала раздеваться.

Потом они лежали обнявшись. Маша тихо сказала:

— У нас будет ребенок, Валечка.

— Да? Значит, не задержка была, а…

— Четыре месяца уже. Мама против. Не такое время, говорит, чтоб рожать. И бабушка против. А дед кричит, чтоб никаких абортов…

— Ну и правильно кричит, — сказал Травников. — Время, конечно, не такое, но… Рожай, Маша. Сына! — Он осторожно погладил ее живот. — Как здорово, будет у нас сын.

— Непременно сын?

— Да! Знаешь, — сказал Травников, помолчав, — я уже его люблю.

— Валечка! — Маша, улыбаясь, прильнула к нему. — Я, если по правде, побаивалась…

— Не бойся. Время переменится…

— Боялась, что ты будешь против.

— Ну что ты, Машенька! Что ты!

Они снова слились.

Тельняшка и трусы высохли. Нашлись у деда Редкозубова и носки подходящие. Только фуражки не нашлось. Вернее, извлек дед из ящика

комода старую-престарую бескозырку с полустершейся надписью на ленте «Петропавловскъ», но кто же нацепит на себя такой антиквариат?

Сытый и вымытый, обласканный любовью, Травников простился с Редкозубовыми и пошел по Карла Маркса, мимо Гостиного Двора, на Флотскую улицу, к красным корпусам учебного отряда. Шел все быстрее, быстрее, пушечные удары словно подгоняли его.

А Маша собралась вернуться на работу, на Артемзавод.

Редкозубов еще хлебнул спирту и сказал ей:

— Вежливый.

— Ты о ком, дед? О Вале?

— О ком же еще? Мужичок не пустой.

— Он хороший, — сказала Маша.

— Федя, хватит пить, — сказала Таисия Петровна. — Ну да, — взглянула на внучку, — хороший. Но лучше я тебе прямо… не надо, Машенька, за него… не получится у вас семьи…

— Откуда ты знаешь, бабушка?

— Знаю.

— А! — Маша досадливо рукой махнула. — Вечно ты… наперед все знаешь… Все у нас получится! — выкрикнула она и устремилась к двери, натягивая на голову свой синий берет.

Глава пятая
«Вам не видать таких сражений»

Травников, очень загорелый, в каске, под которой белела повязка, шагнул к Вадиму:

— Здорово, Дима.

— Здорово.

— Вот где встретились, — сказал Травников. — У тебя усы рыжие.

— Да. Ты давно из Таллина?

— Тридцатого пришли в Кронштадт.

Он мог бы рассказать Плещееву, как несколько дней в Кронштадте переформировывалась 1-я бригада морской пехоты: к тем, кто уцелел в Кадриорге и на переходе, присоединяли пополнение из береговых частей, да и с кораблей снимали, — а потом на баржах перебросили бригаду в Ленинград. Там, в Дерябинских казармах на Васильевском острове, получили винтовки и пулеметы, боеприпасы, каждому выдали каску, и на машинах, с ветерком — сюда, под Красное Село.

Мог бы, конечно, и о походах на подлодке рассказать, и о боях под Таллином, и о том, как в Кронштадте встретился с Машей. Но Плещеев

ни о чем не спрашивал, да и о своих боях не стал распространяться, сказал только:

— Говорят, немцы Чудово захватили и перерезали железную дорогу — ты слышал?

Тут услыхали они приближающийся свист снаряда.

— Ложись! — крикнул Травников.

Рвануло недалеко. И еще, и еще. Грохочущие кусты разрывов взметывались вдоль дороги, как бы указывая направление, по которому немцы намеревались прорваться в Красное Село, в Лигово, в Ленинград. Дым, смрад, тупые удары осколков… крики раненых… «Ока-а-апываться! — орал кто-то страшным голосом. — Быстро!»

Плещеев вернулся на свою позицию, к отделению своему, в котором был командиром. Спрыгнул в траншею, пока неглубокую.

— Потери есть? — спросил Ваню Шапкина, долбившего землю саперной лопаткой.

— На данный момент нету, — выпалил тот, отирая рукавом фланелевки пот со лба.

Оба повалились на дно траншеи, укрываясь от осколков очередного снаряда, рванувшего поблизости. И услышали звонкие удары пушек, вступивших в дело.

— Оттуда бьют, — привстал и прислушался

Плещеев, кивнув в ту сторону, откуда недавно приехали. — С Пулкова, что ли…

Позже, когда умолкли пушки, узнал он от взводного, что, верно, на Пулковских высотах, на Дудергофских тож, расположились морские батареи и бьют по скоплениям войск противника. А еще ведут огонь корабли с Большого Кронштадтского рейда, с позиций на Неве и в ленинградском торговом порту. Артиллерия флота била по сухопутью — работала сильно, непрерывно, увесисто.

Контузия все же давала о себе знать. Копал Плещеев окоп полного профиля, копал — но вдруг ноги перестали держать. Он упал, задыхаясь, привалясь спиной к стенке траншеи. Шапкин сказал:

— Отдохни, Вадим. Мы управимся без тебя.

Плещеев вынул из кармана кисет с махоркой, стал сворачивать цигарку. Пальцы неприятно дрожали. «Эй, а ну успокойся!» — мысленно прикрикнул он на себя. На свою усталость непозволительную крикнул.

Пахло сыростью вырытой земли.

«А там, по ту сторону дороги, — подумал он, — окапывается Валя Травников, друг заклятый. Наподдавал я тебе мячей на волейбольных

площадках, Валечка. А ты мне ответил *такой* топкой…»

Случайная встреча тут, под Красным Селом, разбередила рану. Но… вот что интересно: как-то все это отодвинулось… словно дымом заволокло, пушечными ударами приглушило…

С неба послышался, быстро нарастая, гул моторов. В просветах между дымами разрывов Вадим увидел группу «юнкерсов»… да не группа, а туча бомбовозов шла на север — на Ленинград! В тот же миг представилось Вадиму лицо мамы. Ее широко раскрытые голубые глаза, ее маленькие, в голубых прожилках руки, лежащие на столе, рядом с недопитой чашкой чая…

— Вадим! — заорал Шапкин. — Ты видишь? Летят Питер бомбить!

Грозный рокот моторов, предвещавший большую беду, удалялся.

Вскоре донесся оттуда, с севера, протяжный, басовито пульсирующий гул бомбардировки. Он был прострочен нервной скороговоркой зениток. Это продолжалось долго.

С ужасом смотрели морпехи из своих окопов на разгорающееся над Ленинградом кроваво-красное зарево.

То, что началось на рассвете следующего дня,

трудно выразить словами. Надо быть Гомером… или Данте… не знаю, кто сумел бы описать критические сентябрьские дни у ворот Ленинграда.

«Вам не видать таких сражений…»

Мощный удар начатого фон Леебом штурма имел целью прорыв в Ленинград. Всего-то десять-двенадцать километров оставалось немцам пройти. Главный удар пришелся на измотанные, обескровленные части 42-й армии, в полосу которой накануне прибыла под Красное Село наша бригада морской пехоты.

Рев моторов, грохот бомбежки — так началось утро. «Юнкерсы» повисли над передним краем. Зенитный огонь был сильный, но сбитых — задымивших и рухнувших — «юнкерсов» я видел только три. Конечно, сбили (или подбили) больше.

Потом обрушила огненный вал артподготовка.

Ты лежишь на дне траншеи, твои барабанные перепонки чуть не лопаются от сплошного грохота, и уже безразлично — убьют тебя или не убьют, потому что ты уже не ты, все кончено, — и только одна мыслишка бьется в голове, как в клетке: *когда это кончится?*

Но все кончается, стихает огонь, и ты, засыпанный землей, полуоглохший, поднимаешься,

отряхиваешься и видишь: с пологого холма перед твоим окопом сползают темно-зеленые машины немецкой мотопехоты. Они идут по обожженному ничейному полю, идут, чтобы смять, протаранить оборону, раздавить или расстрелять тебя и ворваться в твой город. А у тебя за спиной Пулковские высоты и Воронья гора, и оттуда бьют батареи по машинам, докатившимся сюда из Германии, — и черные кусты вымахивают по всему полю — и черным дымом заволакивает подбитые машины — и вон бегут эти, в зеленых мундирах, фашисты — и ты наводишь винтовку, беря на мушку ближайшего…

После отбитой атаки — новый обстрел, и опять бомбежка; а в небе ты видишь впервые, как наши истребители, «ишачки» тупоносые, атакуют немецкие бомбовозы, а тех прикрывают «мессершмитты», и возникает безумная воздушная карусель.

И опять идут цепь за цепью зеленые мундиры.

Вам не видать таких сражений…

Ночью хоронили убитых. Много их было, морпехов, не переживших дня беспрерывных боев.

А следующим утром все повторилось.

Не знаю, какими силами отбились от утренней атаки. Нас мало осталось в живых, да и пехотин-

цев в двух обескровленных стрелковых дивизиях, я думаю, тоже.

Наступило короткое затишье.

Вдруг из дыма и пыли позади наших траншей возникли «эмка» защитного цвета и грузовик, сопровождавший ее. Из «эмки» вылезли несколько военных и направились к нашим окопам, обходя воронки. Впереди шел командир маленького роста в надвинутой на брови фуражке, со странно знакомым лицом, с седыми усами. Постаревшее, но по портретам хорошо знакомое лицо…

Да это же Ворошилов!

Зачем он приехал? Он же командующий, ему нельзя лезть под пули.

Ворошилов споткнулся, один из сопровождавших — адъютант, что ли, — поддержал его, сказал что-то, но Ворошилов отмахнулся и продолжал идти на передний край. Маршальские звезды на красных петлицах его гимнастерки сияли, как на параде. За ним шли несколько, наверное, штабных чинов и — тесной гурьбой — выпрыгнувшая из грузовика охрана — рослые парни с автоматами.

По траншеям раздались свистки: внимание! — и раскатилась команда, по которой мы, битая, но уцелевшая на данный момент морская пехота,

повылезали из окопов. Мы стояли и хлопали глазами, глядя на легендарного маршала, а он, остановившись, обвел быстрым взглядом нашу неровную цепь, прокашлялся и выкрикнул:

— А-а, моряки! Ну как вы тут? Достается вам?

— Достается, товарищ маршал, — раздалось в ответ. — Крепко достается… Да мы выстоим… Подкреплений бы только…

— Надо выстоять, моряки! За Родину нашу! За честь флота Балтийского! — Опять закашлялся Ворошилов. Провел ладонью по усам. — Ленинград в опасности! — крикнул он. — Отбросим врага! — Снова обвел наши цепи, как мне показалось, каким-то потусторонним взглядом и выкрикнул: — Пошли!

И двинулся к позициям противника, обходя воронки и на ходу расстегивая кобуру, вынимая пистолет. Охрана ускорила шаг, обступила его.

Ну а мы? А что́ мы, морская пехота, не пойдем за Ворошиловым? «Ура-а-а!!!» — заорали мы и пошли в контратаку — побежали по ничейной земле, опережая маршала. Мы не видели, как его чуть не силой остановили и повели назад, об этом можно было, конечно, догадаться.

Немцы, может, обедали в эти минуты. А может, просто не ожидали контратаки? Так или иначе,

огонь они открыли, когда мы уже ворвались в деревню, покинутую жителями.

Немецкая часть, выбитая нами из деревни (немцы побаивались «черных дьяволов» — так называли они морскую пехоту), атаковала нас. Мы отбились. Опять взревели пушки. С Пулковских высот ударили по немецким позициям морские батареи. День угасал в сплошном реве артиллерии.

А когда стемнело, мы, уцелевшие в контратаке, не имевшей военного значения, отошли к прежней позиции, к своим окопам у дороги на Красное Село.

Первая бригада морской пехоты заткнула опаснейшую брешь в полосе 42-й армии под Красным Селом и три дня отбивала атаки. Потери были ужасные, к 12 сентября уцелело лишь двадцать процентов личного состава бригады. На исходе этого дня армия — ее сильно поредевшие полки — оставила Красное Село и Дудергофские высоты и отступила к поселку Володарский, к станции Лигово — к юго-западным предместьям Ленинграда. Это был последний рубеж, за ним, невдалеке уже, вытянулись притихшие городские улицы.

Отступление к этому рубежу прикрывала

тяжелая артиллерия. Форты Кронштадта, оба линкора — «Марат» и «Октябрьская революция», — крейсера и эсминцы, железнодорожные батареи, почти не умолкая, били по моторизованным немецким дивизиям, прорвавшимся в Петергоф и Стрельну на берегу Финского залива, захватившим Красное Село.

А Пулковские высоты на левом фланге 42-й армии удалось удержать.

Фельдмаршал фон Лееб готовился к последнему рывку. Потери в группе армий «Север» были огромные, но, подтягивая резервы, фон Лееб подсчитал, что сил у него достаточно, чтобы сломить сопротивление упрямых русских и ворваться в город.

А Ленинград готовился к уличным боям: перегораживали улицы баррикадами, ставили противотанковые надолбы, размещали на важных перекрестках артиллерию и пулеметные точки.

Новый командующий фронтом, генерал Жуков, сменивший Ворошилова, железной рукой пресекал растерянность. Срочно усиливал плотность войск, бросая последние резервы на самые незащищенные участки обороны.

Спешно сформированная из подводников и

краснофлотцев учебных отрядов 6-я бригада морской пехоты мчалась на автомашинах к станции Лигово. Сквозь дым и вспышки огня полная луна глядела, как «черные дьяволы» выпрыгивали из грузовиков и занимали позиции, вгрызались в землю.

Близился рассвет. Луна заволоклась облаками, смешанными с дымами пожаров. Обезумевший подлунный мир медленно, неохотно втягивался в новый день.

«…Ты помнишь первомайский концерт самодеятельности? Мы „Яблочко“ отгрохали, а с нами, помнишь, две девчонки плясали. Да, помнишь? Клава, так одну звали, ту, что ростом меньше, рыженькую, со смехом…»

«Со смехом?» — переспросил Вадим.

«Ну да. Она ж всегда смеялась, когда плясала — тоже. Она из области, из Тосно, что ли, в Питер приехала учиться на медсестру. А жила у тетки на Загородном проспекте».

«Ты с ней гулял?» — спросил Вадим.

«Ну да. Как увольнение, так я к Клавке. Сидим, чай пьем, тетка про свою жизнь травит при театре — она шила костюмы в театральной мастерской. Я шуточки отпускаю, а Клавка — ха-ха-ха! Полная эдилия. Да-да, знаю — идиллия.

Однажды тетки не было весь вечер, так мы с Клавкой под патефон потанцевали, а потом она — прыг на кровать. Ну и я прыгнул».

«Молодец», — сказал Вадим.

«Трижды я был молодец, — засмеялся Ваня. — Лучше этого вечера не было у меня в жизни. Вот лежим мы, значит, ее голова рыжая у меня под мышкой, и Клавка… ну, как сказать… размечталась. „Мы с тобой, Ванечка, — говорит, — будем знаменитые плясуны. Меня с осени, наверное, возьмут в ансамбль песни и пляски округа. Так ты тоже туда пробейся. А что? Ты здорово пляшешь, — говорит. — Корабли без тебя обойдутся, Ванечка, — говорит и смеется. — Поедем с ансамблем в Москву на День Красной армии, а наш концерт знаешь, кто приедет смотреть? Сам товарищ Сталин!“ Вот была у Клавки такая мечта — сплясать для товарища Сталина…»

Теперь, плетясь в хвосте колонны по проспекту Стачек, я вспомнил об этом разговоре — о последнем своем разговоре с Ваней Шапкиным.

Передышка была меж двумя немецкими атаками (немцы никогда не забывали пообедать — не то что мы). Ваня вспорол последнюю банку консервов. Хлеба у нас не было, сожрали родных бычков в томате так, в натуральном виде. В моем

отделении в живых оставались только Ваня Шапкин и Владлен Савкин с первого курса нашего училища. Этот Савкин был сыном какого-то крупного начальника, — может, поэтому он держался несколько высокомерно. Такой невысокий, плотненький, холодные глаза полуприкрыты веками. Но воевал Владлен нормально (если было хоть что-то нормальное на этой войне).

Сидя, значит, в своей траншее, выгребли мы бычков из банки, утерли томат на губах и закурили — махорка была в тот день. Привычно погромыхивала артиллерия, над нашими головами свистела сталь летящих снарядов. Тут-то Ваня Шапкин и вспомнил вдруг о рыжей плясунье Клавке. Жмурясь при каждой затяжке, с улыбкой на худеньком, припорошенном пороховой гарью лице, он рассказал нам с Савкиным о самом счастливом дне своей жизни.

А тут и немец, как видно, отобедал: грохнули поблизости разрывы снарядов, нацеленных на наш передний край. Я осторожно высунул голову над бруствером — посмотреть, что́ там делается, не попер ли немец в атаку. Дым стелился по ничейной земле — дым от горевшей станции. И Ваня приподнялся посмотреть на обстановку…

Полыхнуло огнем, громыхнуло прямо перед

нами. Без стона, без крика Ваня Шапкин опрокинулся навзничь. Я рванулся к нему — и застыл в ужасе. На месте лица было у Вани кровавое месиво…

Ночью нас, оставшихся в живых бойцов 1-й бригады морпехоты, вывели из боя. Наши опустевшие позиции занимала спешно сформированная 6-я бригада. Одних «черных дьяволов» сменяли другие.

Мы шли по разбитой дороге, превратившейся в разбитую улицу с дымящимися развалинами. Тащились со своими винтовками и пулеметами под расстрелянным, багровым небом, мерцающим при вспышках огня дальнобойных орудий.

Сколько было нас, сотни три, не больше, — выбитая бригада — полуживые двуногие существа, охреневшие от грохота, огня и дыма.

Узким проходом обошли баррикаду, перегородившую улицу нагромождением бетонных плит. Из углового полуподвала смотрел ствол пушки.

Уже рассветает. Неужели будет еще один день?..

Сплю я, что ли, на ходу? Почему Травников приснился?

Нет, не снится. Вот он, Травников, в каске, из-под которой видна грязная повязка. Он шел

впереди и вдруг остановился. Меня поджидает.

— Ты еле тащишься, Дима. Давай помогу. Держись за меня.

— Не надо, — говорю.

— Смотри-ка, — говорит Травников, указывая на угол дома.

Смотрю, но ничего особенного не вижу. Дом как дом, серый, трехэтажный, неразбитый.

— Не видишь? Название улицы затерто.

Теперь вижу: на синей дощечке название улицы и номер дома замазаны широкой белой полосой. Во как! — медленно удивляюсь я. Это, значит, чтобы противник, если прорвется в город, не знал, на какой он улице?..

— Мы, — говорю, — по проспекту Стачек идем.

— Куда идем — вот вопрос.

— Вопрос в том, — говорю, с трудом шевеля языком, — сохраним ли мы свои скальпы.

Травников смотрит на меня:

— Где ты это вычитал? У Фенимора Купера?

— Что?

— У тебя в усах песок. Дима, ты спишь, что ли?

— Он рядом со мной стоял. Когда рвануло…

— Кто?

— Осколком в голову… прямо в лицо…

— Дима, ты о ком говоришь?

Мы, колонна морпехов, бредем по проспекту Стачек, вдоль пригородной деревни Автово, а впереди уже сквозь дымную пелену проступают крупные дома на Комсомольской площади.

— О Ване Шапкине говорю.

— Шапкин, который в самодеятельности плясал? Жалко его… А ты Алешу Богатко помнишь?

Каждый шаг с трудом дается. Каждая смерть братьев в Таллине, в парке каком-то, Жоры Горгадзе. Почти никого не осталось в живых — вымерло училище Фрунзе…

Вот и корпуса Кировского завода. Тут довольно многолюдно. Патруль идет навстречу — три солдата и мальчик-лейтенант с суровым лицом, все четверо с автоматами на груди. Немцы сплошь с автоматами, а у нас их мало, этих ППД. Палим из винтовочек образца 1891 года, модернизированных.

Напротив заводской проходной вытянулось длинное здание дворца культуры имени Газа. Он, Газа, был, кажется путиловским рабочим, героем Гражданской войны. Там афиши какие-то. Большими красными буквами: «Марица». Всматриваюсь, читаю: «Премьера в Театре музкомедии». Вот это да! В семи трамвайных остановках отсюда, от Кировского завода, ярост-

ное идет сражение, пехота сухопутная и морская умирает, но не пускает немцев в Питер, — а тут премьера оперетты! Охренеть!

Тащат аэростат: над группой солдат плывет, удерживаемая тросами, надутая воздухом серебристая оболочка. Похожа на гигантскую колбасу. Аэростаты заграждения висят в ленинградском небе. И говорят, что к ним и взрывчатку подвешивают, но я не слышал, чтобы на них натыкались бомбардировщики.

Длинная очередь к магазину. Знаю, что введены карточки на продовольствие. Ну а очереди — когда их не было? До тринадцатого года? Тьфу, странная какая мысль…

Трамвай! Господи, ну прямо как до войны, идет, звонит, красный, глазастый, с прицепным вагоном. И вот же удача — останавливается у хвоста нашей колонны. И мы с одобрительными криками и свистом набиваемся в оба вагона.

Мы едем, едем, качаясь от езды и усталости, я гляжу в окно на свой родной город — о, я знаю, что́ сейчас будет. Нарвские ворота! И вот они, на месте, и площадь Стачек, она же Нарвская застава, на месте. Бомбили площадь, бомбили, вон яма громадная, воронка…

Ну а Дворец культуры имени Горького — он-то

на месте? Вот он — выдвигается солидным желто-серым боком. Здравствуй, дворец!

В девятом классе учились тогда и во время зимних каникул поехали однажды, чуть не всем классом, во Дворец Горького на какой-то концерт. И танцы были после концерта. Мы с Аней Смирновой танцевали. Нравилась мне эта веселая золотоволосая девочка с отличной фигуркой, с ее манерой строить глазки. Аня была дочкой видного инженера, который участвовал в строительстве тут, напротив Дворца культуры, фабрики-кухни — очень необычного здания из бетона и стекла. Так вот, мы танцевали с Аней, она смеялась моим шуткам, и строила глазки, и учила меня правильно танцевать танго. Кончились танцы, мы высыпали из дворца в морозный лунный вечер, пошли к трамвайной остановке. Дурачились, сажали друг друга в сугробы. Девочки визжали, хохотали. Ярко горели на площади фонари. Я посадил Аню в сугроб и протянул ей руку, но она сама выбралась и, не отряхнув снег с пальто, накинулась на меня, попыталась посадить в сугроб. И тут — как-то само собой получилось — я обхватил Аню и поцеловал в холодные дрогнувшие губы. Она отшатнулась, воскликнув: «Ах ты какой!» И засмеялась…

В грязном бушлате, с винтовкой за плечом, с противогазом на боку, безмерно уставший — но живой! — я глядел из окна трамвая на площадь Нарвской заставы, на остановку, близ которой когда-то, в другой жизни, я впервые поцеловал девушку.

Вот и Обводный канал со своей темно-зеленой стоячей водой. А за каналом — завалы, полуразрушенный дом, и работают там, разгребают — может, пытаются найти и вытащить тех, кого завалило при бомбежке.

Подъезжали к площади Труда, когда вдруг завыла сирена. Все выше, выше взлетал долгий пронзительный звук. Трамвай остановился. Пожилая кондукторша заорала:

— Воздушная тревога! Выходи из вагона! В укрытие!

Повыскакивали мы на улицу. Вой сирен оборвался, стали слышны удары зениток, все чаще, все ближе. «В укрытие!» А где тут укрытие?

Кто-то из командиров крикнул:

— Р-разойдись! Не толпиться! В подъезды домов!

В Дерябинских казармах — старых краснокирпичных корпусах на краю Васильевского острова, обращенном к заливу, — просторно и неуютно.

Еще только сентябрь на дворе, а в казарме уже, скажем так, прохладно.

Воздушные налеты — каждый день. Начальство велит спускаться в бомбоубежище — в подвал, где стоит неизвестно с какого века тяжелый запах сырости, мышиного помета и еще черт знает чего — всеобщего запустения, что ли. Но морпехи побегали дня два, а потом плюнули, перестали спускаться в подвал. Если на роду написано столкнуться с пулей или осколком снаряда, то бомба тебе не очень страшна. Подумаешь, бомба! Так рассуждали морпехи из 1-й бригады. И продолжали забивать козла. А кое-где и в картишки резались. Командиры сердились, орали, а потом и сами плюнули на это дело. Переформирование шло; кто и кем тут будет командовать — все неясно.

А бомбы падали недалеко от Дерябинских казарм — в гавани. Старые корпуса сотрясались, содрогались. Были и ночные налеты, с немецких самолетов сыпались на город зажигательные бомбы — как спички из коробка.

Вспыхивали пожары. На крышах размещали ящики с песком, лопаты, ведра, — дежурили на крышах, и если падали с враждебного неба зажигалки, то их, разбрызгивающих огонь, под-

хватывали на лопаты и кидали в песок.

Небо, затянутое дымом пожаров, исполосованное ищущими лучами прожекторов, еще и потому выглядело враждебным, что к бомбардировщикам летели ракеты. Говорили, что кто-то сигналит немецким самолетам.

— Гады, шпионы, мать их… — ругался Паша Лысенков. — Ракетами на цель наводят.

— Да нет, — сказал Владлен Савкин. — Это не ракеты. Это трассирующие зенитные снаряды.

Вадим Плещеев видел: в один из дней к Савкину приехал отец — плотный рыжеватый полковник (четыре шпалы было на петлицах). Скрипя огромными сапогами, он прошел в комнату комбата. Вскоре оба они вышли, комбат крикнул дежурному, чтоб привел курсанта Савкина, а он, Владлен, уже и торчал тут поблизости. Папа и сын, похожие очень, оба с полуприкрытыми глазами, поздоровались без всяких там улыбок, потопали к выходу и уехали в «эмке» защитного цвета. Вадим видел это из окна. Вернулся Владлен в казарму под вечер — молча повалился на свою койку. Несколько курсантов уселись на соседние койки, и пошел такой разговор:

— Кто твой отец? — спросил Вадим.

— Военный инженер, — ответил Савкин. Он

лежал на спине, закинув руки за голову и глядя в потолок.

— Что он говорит об обстановке? — спросил Травников.

— О какой обстановке?

— Ну, под Ленинградом. Не притворяйся, что не понимаешь.

— Никто не притворяется. Обстановка тяжелая. — Савкин медленно помигал и добавил: — Немцы захватили Шлиссельбург.

— Это что значит? Ленинград окружен?

— Ну, почти. Они вышли к Неве, а финнов остановили на Сестре.

— Как — на сестре?

— На реке Сестре. На старой границе. Значит, осталась узкая полоса. К Ладоге выходит. — Савкин закрыл глаза и закончил разговор: — Ребята, я устал очень.

«Ишь ты, устал! — подумал Вадим Плещеев, направляясь в гальюн. — Домой съездил, папенькин сынок, нажрался пирожков — и устал». Почему ему пирожки померещились, Вадим и сам не знал. Но, конечно, обидно ему было, что кого-то отпустили домой на побывку, а ему не разрешают. Лишь один раз комбат разрешил ему поздно вечером позвонить по телефону. «Ой,

Димка! — крикнула в трубку мама. — Ты живой, какое счастье! Где ты?» И ведь недалеко от дома был он, тут, в казарме на Васильевском острове… «Димка, приезжай! — кричала мама, в ее голосе слышалось отчаяние. — Приезжай, приезжай!»

Только свернул Вадим самокрутку и закурил, как в гальюн вошел Травников. Как раз сегодня его назначили командиром взвода в формируемом батальоне.

— Дай прикурить, — сказал он.

— Валя, — сказал Вадим, — мне надо дома побывать. Позарез.

— Знаю. Но что я могу поделать? Увольнения запрещены.

Это Вадим и сам знал прекрасно. Но савкинское увольнение стучалось ему в душу.

— Похоже, — сказал Травников, дымя махоркой, — что нас отправят за Ладогу.

— Товарищ командир взвода, — сказал Плещеев, — официально вас извещаю, что уйду в самоволку.

Травников посмотрел на него, покусывая согнутый указательный палец:

— Не советую, Дима. Нарвешься на патруль…

— Тут недалеко. На трамвае. Я быстро обернусь.

— Дима, не надо. Могут быть очень тяжелые…

— Ты завтра заступаешь дежурным командиром? Вот завтра вечером я и пойду.

Днем был долгий воздушный налет. Бомбили центр города, но и на Васильевском, в гавани, тоже грохотали взрывы бомб. Одна рванула в соседнем корпусе, где прежде размещался учебный отряд подводного плавания. Выли сирены. Над городом повисло гигантское черно-рыжее облако дыма и гари.

Ближе к вечеру утихло. Только с юго-запада доносился ставший привычным гул канонады. Ленинград зашевелился, тяжело дыша отравленным воздухом, всматриваясь воспаленными глазами в разрушения. Трубили кареты «скорой помощи». Двинулись, звеня, застывшие при бомбежке трамваи. У дымящихся завалов появились со своими лопатами и носилками дружины МПВО — местной противовоздушной обороны.

Вадим Плещеев вышел из казармы и быстрым шагом направился к конечной трамвайной остановке. Он налегке шел, без привычной тяжести оружия. Только в противогазную сумку сунул не съеденную за ужином тефтельку, зажатую меж двух ломтиков черняшки и завернутую в обрывок газеты «Красный Балтийский флот».

(Вообще-то, нетипичная это была еда — тефтели, не полагались они морской пехоте, но кто знает, что полагается морской пехоте, а что нет. Факт тот, что они, тефтели, ни в какое сравнение не шли с бычками в томате.)

Уже подходил Вадим к остановке, как вдруг навстречу — патруль. Черт его принес, не иначе. Напряглись у Вадима мышцы ног — удирать обратно, в казарму, — но тут как раз отошел от кольца трамвай и стал набирать скорость. Вадим припустил за ним и, представьте себе, догнал и запрыгнул на заднюю площадку. Глядя сквозь стекло на удаляющийся патруль, хлопнул себя по сгибу руки: вот вам!

Большой проспект был похож на себя довоенного, но кое-где громоздились развалины. Трамвай на остановках вбирал в себя все больше народу. Вадим стоял на задней площадке, плотно стиснутый (как тот же бычок в консервной банке, подумалось ему). Вокруг говорили о сегодняшней бомбежке… об очередях за пайком… о перерезанных немцами железных дорогах… о сгоревших Бадаевских складах…

— Тонны мяса и муки сгорели, — говорила худощавая женщина средних лет в шляпке малинового цвета. — Две тысячи тонн сахара рас-

плавились и стекли в подвалы. Представляешь?

— Ужас, — отвечала собеседница, тоже немолодая, округлив водянистые глаза. — Что же это делается? Неужели будет голод?

— Если не будет подвоза… не знаю, — вздохнула малиновая шляпка.

Вадим протиснулся к двери и на углу 4-й линии соскочил на ходу. Помчался вдоль бока Академии художеств. Все тут, каждая выбоина в тротуаре, было ему знакомо с детства. Только вот странно пустынной была улица — будто вымершая. И двор родного дома показался странным оттого, что не гоняли мяч мальчишки, не прыгали, играя в классы, девочки.

Взлетел на третий этаж. Остановился на миг — перевести дыхание, вдохнуть неистребимый запах кошек.

Отворила дверь не мама, хоть он и нажал на кнопку своего звонка. Соседка, маленькая, коротко стриженная, в махровом синем халате, уставилась на него — и, выкрикнув: «Ой, Вадим!» — кинулась обнимать.

— Здрасте, Елизавета Юрьевна, — сказал Вадим. — А мама дома?

— Дома, дома! Только… — Соседка запнулась.

— Что — только?

Вадим побежал по коридору, как и прежде освещенному вечно тусклой лампочкой. Ворвался в комнату.

Диван, на котором лежала Вера Ивановна, был переставлен от окна к стенке рядом с дверью в кабинет. Вера Ивановна повернула голову, лицо у нее было мокрое от слез. Увидев сына, она поднялась и с плачем припала к нему.

— Мама… мамуля… Что ж ты плачешь? — Вадим гладил ее по седеющей голове, по худенькой, вздрагивающей спине. — Ну что же ты… успокойся…

— Ей позвонили полчаса назад, — тихо сказала Елизавета. — Мальвину убили при бомбежке.

Вера Ивановна сквозь слезы смотрела на Вадима.

— Ох! — вздохнула прерывисто. — Димка! Наконец-то…

Вытерла платком лицо, улыбнулась, поправила смятую домашнюю кофту.

— Ты усы отпустил… Навоевался мальчик… Димка, сними бушлат, сядь… Ты голодный?

— Нет, мама, я ужинал. Вот, я принес… — Вадим вытащил из противогазной сумки пакетик с тефтелькой. — Ты поешь, мам. У вас ведь, говорят, нормы урезаны.

— На прошлой неделе срезали, — сказала Елизавета. — Пятьсот грамм хлеба для рабочих, триста грамм для нас, для служащих. На мясо, на жиры тоже… А очереди какие…

— Нет-нет, Димка, — сказала Вера Ивановна, — ты сам ее съешь. Ты такой худой… У тебя глаза совсем другие стали. Насмотрелся… навоевался… — Опять ее голубые глаза-озера наполнились слезами. — Мальчик мой… Лиза, вскипяти чайник, пожалуйста. И макароны из шкафчика достань, разогрей… А конфеты тут у меня… — Она зашарила в буфете. — Вот они. Не очень сладкие. Но ничего…

— Верочка, не суетись, — сказала Елизавета. — Сядь и сиди. Я все сделаю.

Она вышла из комнаты.

— Кто тебе позвонил? — спросил Вадим. — Про Мальвину?

— Свербилов. Сотрудник наш.

— А, это пожилой, который в Стрельне живет?

— Да. Он давно овдовел, жил бобылем, а в июне они с Мальвиной решили пожениться. Свербилов к ней переехал. Хотели расписаться, а тут война началась… — Вера Ивановна горестно вздохнула. — Не знаю, зачем они сегодня в центр поехали, в Гостиный Двор… может, что-то купить

по хозяйству… Попали под бомбежку. Жуткая была сегодня бомбежка…

— Да. В гавани, возле нас, тоже…

— Он, Сергей Сергеич… Свербилов… позвонил недавно. У него на глазах Мальвину убило… Тревогу объявили, когда в Гостином Дворе полно было народу. Побежали искать бомбоубежище… паника… бомба ударила прямо в универмаг. Свербилова взрывной волной отбросило… я не поняла… с галереи, что ли, сбросило… Пришел в себя, пошел искать Мальвину, а там дым, пожар, много трупов… Представляешь, он в этом аду нашел Мальвину… по красному жакету нашел… Она лежала с размозженной головой… под обломком стены…

Вера Ивановна с плачем опустилась на диван, голову обхватив руками.

Из коридора донеслись нарастающе громкие голоса — визгливый чей-то и почти по-мужски низкий голос Елизаветы.

— А вот я в милицию заявлю про твое воровство! — гремела Елизавета.

— Сама ты воровка! — визжал женский голос. — Из больницы спирт тащишь!

— Не ври, психопатка!

Распахнулась дверь, Елизавета вошла, рас-

серженная, с красными пятнами на щеках. Поставила на стол дымящуюся кастрюльку и небольшой графин темного стекла.

— Вера, не оставляй на кухне продукты, — сказала она. — Я уж тебя предупреждала. Эта стерва ворует. Переполовинила твои макароны.

— Что за стерва? — спросил Вадим.

— Ника.

Вадим удивился: Ника, дочка Покатиловых, в его представлении была маленькой девочкой, крикливой плаксой, прыгающей через веревочку-скакалку. Хотя — ну да, она подросла, ей уже лет шестнадцать…

— …Бросила учебу в техникуме, — говорила меж тем Елизавета, выкладывая на тарелки макароны, — пошла домработницей к старому пердуну, бывшему начальнику всех кладбищ, замуж за него вышла… Верочка, Вадим, садитесь за стол. Вадим, я тебе налью разведенного спирта. Не возражаешь?

— Чего я буду возражать? Нам положено полста граммов.

— Нам в хирургии тоже выдают немножко. Тебе, Верочка, не наливаю, ты же непьющая.

— Налей, — сказала Вера Ивановна. — Выпьем за упокой души Мальвины. Это была такая

прекрасная душа. Чистая, благородная. — Она закашлялась, хлебнув из рюмки. — Ой, Лиза, совсем забыла, у меня же банка крабов, ну, «чатка», в кабинете, между рамами, принеси, пожалуйста.

Елизавета принесла банку с бело-красной наклейкой, и Вадим вскрыл ее консервным ножом.

— В коммерческих магазинах, — сказала Елизавета, — только «чатка» и осталась. Хотя магазины эти, кажется, уже закрывают. Что же будет? — спросила она, выпив залпом из рюмки. — Неужели голод? В Бадаевских складах, говорят, чуть не годовой запас продуктов сгорел. А подвоза нет, железные дороги перерезаны.

Бадаевские склады… Вадим уже не в первый раз это слышит. И каждый раз вспоминает, как 8 сентября — они в тот день под Красным Селом дрались — видели прошедшую над их головами эскадру «юнкерсов» и вскоре услышали долгий, долгий гул бомбардировки… ужасное зарево увидели…

Он погладил руку Веры Ивановны — маленькую руку со ссадинами и набухшими венами, лежащую на столе возле тарелки с макаронами.

— Да не будет голода, — сказал он. — Все сгорело на складах? Ну не может этого быть.

— Ах, Димка! Хочешь меня утешить… Все мо-

жет быть! Уже было в моей молодости, и вот опять… Как же это получилось, что Питер опять осадили? Кричали по радио, что наша армия самая сильная. И вдруг немцы чуть не на улицах! Город обклеили плакатами «Враг у ворот!». Баррикады строим, противотанковые рвы копаем! Вот! — Вера Ивановна вскинула руки ладонями кверху. — Мозоли от лопаты! Не будет голода? Ох, боюсь, что будет… — Она стиснула щеки, устремив взгляд на потолок, на старую лепнину в углу. Выкрикнула: — Что за жизнь у меня — из одних потрясений! Короткие передышки — и опять, опять… Почему так безжалостно… Господи, разве я виновата в чем-то?..

— Мама, успокойся! Ты ни в чем…

— Димка! Когда твоя открытка пришла из Ораниенбаума, я зацеловала ее… Хотела в церковь бежать, свечку поставить… Но я же не знаю… мы же атеисты, без Бога живем…

Прощание было трудным.

— Димка, береги себя! Береги себя, — твердила, требовала Вера Ивановна, припав к груди Вадима. — Не лезь под пули… Я знаю, радио говорило, морская пехота героически сражается… Не геройствуй, Димка! — Она плакала и повторяла, повторяла: — Береги себя…

— Да-да, не тревожься, — говорил Вадим, гладя ее по голове. — Я постараюсь… Ты тоже, мама… При бомбежке — сразу в бомбоубежище… Есть у вас в доме?

— В подвал бегаем, — сказала Елизавета. — Я присмотрю за мамой, ты не беспокойся.

Она вышла в коридор проводить Вадима.

— Ты знаешь, — сказала негромко, — она хорошо держалась. Никаких истерик. А сегодня, как позвонили ей о Мальвине, так будто… будто плотину прорвало…

Тут из кухни вышла, неся чайник, кудрявая девица с круглым лицом и сама кругленькая, рано, как говорится, развившаяся.

— Ой, Вадим! — пропищала она, улыбаясь. — Ой, моряк, красивый сам собою!

— Ника, — остановился перед девицей Вадим. — Ты запомни: будешь у матери продукты воровать, я тебя выпорю. Или просто пристрелю. Поняла?

— Ой, напугал! — Ника щелкнула языком. — Ой, я вся дрожу!

Обогнула Вадима и пошла по коридору, раскачивая не по возрасту широкими бедрами.

— Вы говорили, Елизавета Юрьевна, она замужем за кладбищенским начальником? — спросил

Вадим.

— Умер начальник. А его сын, или кто там, может, дочка, — прогнали они Нику. У нее теперь кто-то другой. Приходит в военной форме, но без петлиц, без нашивок. Рожа красная. Хрен его знает, кто такой.

— А родители ее? Живы?

— Покатилов в армии, в каких-то ремонтных мастерских. Клавдия где-то работает по хозяйственной части. Вадим, ты маме пиши. Хоть несколько слов в открытках. Ей это очень, очень нужно. Счастливо, Вадим. Дай-ка я тебя поцелую.

На лестничной площадке Вадим закурил (пачка папирос «Ракета» у него имелась в загашнике) и постоял несколько минут. Каменной тяжестью легла на душу встреча с мамой. Нехорошая мысль всплыла: «Не последняя ли встреча у нас?» Быстрыми нервными затяжками Вадим отогнал эту мысль. Затоптал ее, как окурок папиросы. И сбежал на второй этаж.

Там у двери квартиры Виленских стояла странная фигура — невысокая, в ватнике и черных брюках с подвернутыми манжетами, в черной кепке козырьком назад — и звякала ключом, пытаясь вставить его в замок.

— Эй, ты что тут делаешь? — крикнул Вадим.

Фигура оглянулась — вот так так! Это же Райка! Лицо осунувшееся, с черным пятном на щеке, но это она — у кого еще такой испытующий взгляд темно-серых глаз?

— Райка, привет! — Вадим обнял ее, ощутив горький запах дыма от ватника.

— Дима! — Она, улыбаясь, всмотрелась в него. — Гроза морей! Откуда ты… Димка, помоги дверь отворить. У меня руки дрожат.

Они вошли в квартиру. Райка скинула ватник и башмаки и повалилась на диван.

— Извини, — сказала. — Что-то ноги не держат.

— У тебя сажа на щеке.

— Знаю. — Она дотронулась рукой до черного пятна. — Весь день налеты, бомбежки. Весь день мы без передышки…

— Так ты в МПВО?

— Ну да. Как начались бомбежки, нашу дружину стали посылать к разбомбленным домам. Копаемся в завалах. Иногда удается спасти… Сегодня возле Тучкова моста работали, лопатами обломки разгребали — и вытащили двоих. Маму и ребенка, девочку. У нее кукла была в руках, представляешь? Сама мертвая, а в руках зажат заяц тряпичный… Мама со сломанной ногой,

но живая… Прижала к себе дочку, смотрит сумасшедшими глазами… Ой, Димка, что же это делается…

У Райки голос дрогнул. Она зажмурилась, пытаясь удержать слезы. Вадим подсел к ней на диван, снял кепку с ее головы, погладил по густой копне каштаново-кудрявых волос.

— Дим, — сказала она тихо, — ты в морской пехоте воюешь, я знаю от мамы твоей… Как ты там? Страшно?

— Страшно, да… А что Оська?

— От Оськи давно нет вестей. Последний раз была открытка, мы не поняли откуда, штемпель как клякса. Несколько строчек. «Жив, здоров, не волнуйтесь. Гитлера в Питер не пустим. Воюем изо всех сил». А последняя фраза — «A la guerre comme á la guerre».

— Это — «на войне как на войне»? Оська правильно написал. Он во Второй дивизии ополчения, да? Под Котлами эта дивизия была соседом нашей бригады. Нам здорово там досталось. Ополченцам тоже.

— Аня звонила две недели назад… Это девушка Оси…

— Знаю. Пианистка в консерватории.

— Да. Кто-то из них, консерваторских, тоже был

в ополчении, его, раненого, привезли в Ленинград, и он Аньке позвонил из госпиталя. Сказал, что видел Оську в конце августа. Они отступали по направлению к Петергофу. Так он сказал Ане.

— Понятно. Немцы прорвались в Петергоф неделю назад. Но, похоже, у Лигово они остановлены. Наша бригада почти вся там легла. А Оська, может, по ту сторону оказался.

— Как это — по ту сторону?

— Ну, к западу от Петергофа. На ораниенбаумском пятачке.

— Что это значит? Они отрезаны от Ленинграда?

— По суше — да. А по заливу связь, конечно, есть. Через Кронштадт.

— Пойду умоюсь. — Райка поднялась с дивана. — Ты посиди, я быстро. Между прочим, знаешь, кто в Кронштадте? Маша Редкозубова. Мы копали под Лугой противотанковый ров, вернулись в Питер — и тут Маша отпросилась и уехала в свой Кронштадт.

— Ну что ж… — сказал Вадим и посмотрел на часы.

Шел девятый час, за окном давно стемнело. Надо бежать домой… тьфу, не домой, а в казарму… Скоро начнется ночной налет…

«Какое мне дело до того, что Маша в Кронштадте?»

Райка вошла с умытым лицом и переодевшаяся, в длинной черной юбке и голубой кофточке, перетянутой в талии серебристым поясом.

— Совсем другое дело, — одобрительно заметил Вадим. — Хотя брюки тебе тоже к лицу.

— Ты находишь? Это Оськины штаны. А вот тебе усы совершенно не идут. Ты в них похож на опричника.

— На опричника? — удивился Вадим. — Надо же… Я-то думал, что похож на князя Серебряного.

— Скорее на его стремянного — Михеича.

— Ладно. На Михеича так на Михеича.

«Это Вальки Травникова касается, что она в Кронштадте. А мне-то что?»

— Пойду, Райка. А то скоро комендантский час. Как мама твоя поживает?

— Мама теперь военврач, в госпитале работает. Занимается послеоперационным лечением раненых. А вот и она! — воскликнула Райка, услышав шаги в коридоре.

Шаги были твердые, тяжелые. Розалия Абрамовна вошла в военной форме, гимнастерка и юбка хаки скрадывали ее былую полноту.

В петлицах была одна шпала — значит, в чине капитана или, вернее, военврача третьего ранга.

— Здравствуйте, — кивнула она в ответ на приветствие Вадима, но в следующий миг, узнав, тихо сказала: — Вадим, милый, как я рада!

Обняла Вадима, поцеловала в обе щеки. И — еще тише:

— Бедные вы мои мальчики. Какая вам выпала юность…

Глава шестая
Гора колокольня

Когда 13 июля части 2-й дивизии народного ополчения грузились на Варшавском вокзале в вагоны-теплушки, настроение у бойцов было бодрое. Воинственное было настроение. Хоть и не успели они как следует обучиться военной премудрости. Многие впервые взяли в руки винтовку. Да и, между прочим, не всем они, винтовки, достались. Боец Сергей Якубов, бывший студент Военно-механического института, заявил, что в дивизии на шестерых бойцов приходится пять винтовок.

— Откуда ты знаешь? — спросил боец Иосиф Виленский.

— Я люблю точность, — сказал Якубов. — И я умею считать.

— Трепаться ты умеешь.

— Ну это как раз по твоей части. Интеллихенция, — сделал Якубов особое ударение на слоге «хен». — Тебе вообще не винтовка нужна, а скрипка.

— А тебе, как потомку сельджуков, полагается

не винтовка, а ятаган.

Якубов был потомком не столько турок-сельджуков, сколько крымских татар, но в Крыму ни разу не бывал: военная служба мотала его отца по всей стране, Сергей и родился-то в поезде, идущем из Владивостока в Свердловск. В январе сорокового года отец, достигший чина подполковника, погиб при штурме линии Маннергейма. В том же году Сергей Якубов, выдержав конкурсный экзамен, поступил в Ленинградский военно-механический. Он был, что называется, математической головой. И между прочим, голова была, при его высоком росте и худосочном телосложении, непропорционально большая. Когда ополченцев обмундировывали, Якубову не могли подобрать пилотку — все были малы. Еле разыскали на вещевом складе округа большую фуражку б/у (то есть бывшую в употреблении), да и та сидела на якубовской голове криво.

В третьем стрелковом полку, кроме Виленского и Якубова, были и еще студенты — главным образом из Военно-механического и Инженерно-строительного институтов. Несколько студентов, так сказать, представляли высшее музыкальное образование, то есть Консерваторию. С одним из них, Заиграевым с фортепианного факультета,

Иосиф Виленский дружил. Ну как же: он, Леонид Заиграев, учился в одной группе с Аней Кравец, в которую Иосиф был сильно влюблен и на которой намеревался жениться — само собой, после войны. Вот этому Заиграеву, как и многим другим ополченцам, не досталось винтовки. Выдали ему две ручные гранаты и сказали, что винтовка будет после первого же боя.

Это сказал ему взводный — Захаркин. Вообще-то, он, Захаркин, военного образования не имел, а был отслужившим срочную и сверхсрочную службу старшим сержантом, уцелевшим на зимней финской войне. После ее окончания он ударился в запой и был уволен из армии, но сумел опомниться и поступил на завод «Красный треугольник» по бывшей своей специальности — слесарем. Но так повернулась жизнь, что опять призвали старшего сержанта запаса Захаркина на войну и, за недостатком среднего комсостава, произвели в младшие лейтенанты, дали взвод в формируемой дивизии народного ополчения. Был Захаркин малорослый и рябоватый, с громким — даже громоподобным — голосом и мрачным характером. (Мрачность, быть может, имела причиной большое усилие, потребовавшееся для отказа от пьяной жизни.) «Пр-р-ра-вое плечо

вперед!» — орал Захаркин во дворе общежития военно-механического института на занятиях по строевой подготовке. «Коли! — орал он, обучая взвод штыковому бою. — Р-раз, два!» Его голос был слышен далеко за пределами двора.

Настроение в теплушках, когда поехали на фронт, было боевое. Слух прошел, что на Луге-реке немцы остановлены, что они отброшены от Шимска. А где он, Шимск?..

Пели песни. Вася Кузовков, красивый вихрастый малый с пивоваренного завода, запевал одну за другой — «Катюшу», конечно, и «Трех танкистов», и, с особым чувством, «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч».

Около полудня эшелон остановился на станции Веймарн. Ополченцы повыпрыгивали из теплушек, строились, побатальонно выходили на дорогу, ведущую, как было приказано, к селу Ивановское. А дорога-то забита!

Шли навстречу беженцы — главным образом женщины с детьми. Тарахтели телеги, ржали лошади, кто-то гнал блеющих коз.

— Ося, слышишь? — Заиграев, шедший рядом, повернул к Иосифу Виленскому узкое лицо с глазами, какие называют «нездешними» — словно увидевшими не один только окружающий

мир. — Ты слышишь?

— Мычание коз? Слышу, конечно.

Иосиф был озабочен своими ногами: плохо намотанные портянки причиняли неприятность ступням.

— Да какие козы? — сказал Заиграев. — Прислушайся! Или у тебя не абсолютный слух?

Иосиф вытянул шею из воротника гимнастерки и, вслушавшись в звуки текущей жизни, уловил как бы слабый ее фон. Где-то далеко рокотали моторы.

— Товарищ комвзвода! — окликнул он Захаркина, шедшего обочь колонны. — Нам навстречу идут машины. Может быть, танки.

— Р-разговорчики в строю! — рявкнул тот. — Командование знает, чего там навстречу. Шире шаг!

А Сергей Якубов, шагавший впереди, обернулся и сказал:

— Интеллихенция!

Но рокот моторов нарастал, нарастал. Заметно поредел поток беженцев. А может, не поредел, а стал съезжать с дороги вправо — в посадки, в картофельные грядки, и влево — в дикое поле, за которым синел лес.

Все ближе грохотали моторы, и полетело над

колонной ополченцев тревожное слово «танки!».

И они возникли — из дыма, из пыли, — быстро несущиеся, грозно рычащие, желто-зеленые, с крестами на боках, их пушки-хоботы шевелились, словно осматриваясь и выискивая, и оглушительно изрыгали огонь. Снаряды рвались на дороге и по бокам от нее, среди массы ополченцев, сыпанувших в разные стороны… среди беженцев с их скарбом… Кричали раненые, ржали лошади, взлетали в столбах земли и дыма обломки телег и деревьев…

Боец Заиграев вдруг поднялся из картофельных кустов и, выдернув кольцо, швырнул гранату в один из танков. Граната в танк попала, но ее разрыв не причинил ему вреда.

Танки — сколько их было? полтора десятка? два? — проносились по дороге, неукротимые хищные звери войны. Кто способен их остановить? Народное ополчение с их винтовками, имевшимися к тому же не у каждого бойца?

Свистки и выкрики командиров заставляли ополченцев окапываться — за танками могла появиться немецкая пехота… ее нужно остановить…

Так она вступила в войну — 2-я дивизия народного ополчения. Нарвались на танковый прорыв,

побежали, пытаясь укрыться от огня среди кустов и деревьев, — но не всем удалось спастись. Дым рассеялся, открыв страшную картину: тут и там лежали мертвые тела ополченцев и беженцев.

Иосифа Виленского засыпало землей от близкого взрыва, но повезло: осколки не задели. Он поднялся, отряхиваясь и с ужасом оглядываясь.

— Эй ты! — крикнул ему, проходя мимо, Захаркин. — Остолбенел, что ли? Была команда окапываться!

Остановившимся взглядом Иосиф смотрел на Якубова. Он, Сергей Якубов, полчаса назад еще живой, лежал, вытянувшись в длинный свой рост, под сосной с переломленной повисшей кроной. Лежал ничком, в залитой кровью гимнастерке, вывернув большую черноволосую голову щекой к траве, с раскрытым ртом.

Захаркин выдернул из его мертвой руки винтовку и крикнул:

— Заигр-раев, возьми! Подсумки с патронами с него сними! Окапываться, так вашу мать!

Только окопались, как поступил приказ атаковать немецкую часть, прорвавшуюся на восточный берег Луги, выбить ее из села Среднего. Примкнули, как учили, штыки, побежали по бугристому полю. Захаркин вел взвод к двум

темным сараям на краю поля, среди деревьев, и было видно, как там замигало пламя, — заработал пулемет. Еще успел увидеть Иосиф Виленский на бегу, как над сараями взлетела стая птиц и полетела прочь, прочь от гиблого места…

Больше он ничего вспомнить не мог. Бежали, орали, падали, ползли сквозь кустарник — только это и помнил. Выбить немцев не удалось, стемнело, отошли к своим окопам.

Так окончился первый день на фронте для 3-го стрелкового полка. Потери были большие.

Сережку Якубова жалко… умницу, насмешника…

— Он мечтал знаешь где побывать? — сказал Иосиф Заиграеву. — В Крыму. Из Бахчисарайского фонтана хотел воды напиться.

— Да и нам не мешало бы попить, — пробормотал Заиграев. — Обещали, что полевая кухня будет. А где она?

Он лежал на дне траншеи, сунув под голову противогазную сумку и закрыв нездешние глаза.

Иосиф сидел рядом, стянув с тонких своих ног сапоги, и, размотав портянки, растирал натруженные ступни. Ему, конечно, показали, как надо наматывать, и он так и делал, но почему-то получалось плохо, портянки собирались в складки и

натирали ноги.

Дивизия, растянувшаяся от Поречья до Ивановского, пыталась отбить эти поселки, но не смогла, понесла большие потери. Только 3-му стрелковому полку удалось выбить немцев из деревни Малые Пелеши на восточном берегу Луги — и долго после этого немецкая артиллерия долбила деревню, сожгла все избы, обломками и вывороченной землей накрыла огороды. Каким-то образом уцелел только возле сгоревшего сельсовета шест с призывным плакатом: «Выше бдительность!»

В тот день прибыл артдивизион, приданный дивизии, — не разобравшись в обстановке, он стал вдруг лупить по северной околице Пелешей, когда уже утих немецкий огонь. Как раз взводу Захаркина достался этот дурацкий огонь. Укрылись от него кто как мог — в воронках, в подвалах; и тут Захаркин, взъерошенный, потерявший пилотку, крикнул Иосифу:

— Виленский! Колодец видишь вон там, с журавлем? Там комбат. Давай к нему, доложи, что по нам свои бьют.

Вообще-то, у Захаркина связным был Кузовков, но его ранило в начале боя. Он, в разорванной гимнастерке, с обвязанным плечом, сидел у

поворота траншеи и хрипло дышал, матерясь сквозь зубы.

Иосиф измерил взглядом расстояние до колодца — метров двести. Двести метров открытого пространства под огнем…

— Товарищ комвзвода, — сказал он тихо, — вы понимаете, какой приказ отдаете?

— Выполнять! — заорал Захаркин. — Живо! Перебежками — к колодцу!

— Такой приказ выполнить не могу.

— Невыполнение приказа! — Рябоватое лицо Захаркина побагровело. — Знаешь, что́ за это?!

Он выхватил из кобуры наган. Страшно побледневший Иосиф стоял перед ним недвижим: вот и все… Сейчас хлопнет выстрел…

— Что тут происходит?

Из-за поворота траншеи вышел военком батальона Бородин.

— Что происходит? — повторил он, остро глядя, прищурясь, сквозь очки.

— Товарищ старший политрук, — Захаркин повысил голос, чтобы перекричать близкий разрыв снаряда, — боец Виленский отказался выполнить приказ!

— Командир взвода послал меня на смерть, — угрюмо сказал Иосиф, не в силах отвести взгляд

от все еще нацеленного револьвера.

Военком Бородин быстро разобрался в ситуации.

— Уберите наган, Захаркин, — велел он. — Я отменяю ваш приказ. А вы, боец Виленский, если еще раз — хоть один раз — не выполните, то пойдете под трибунал. Ясно?

— Ясно, товарищ комиссар! — прокричал Иосиф.

Он, можно сказать, влюбился в этого пожилого (Бородину было под сорок), сухощавого политработника — ну, не то чтобы влюбился, а поверил ему.

Вечером того же длинного, огнем испытанного дня, когда 3-й стрелковый полк, похоронив в братской могиле убитых и выставив боевое охранение, улегся на ночной отдых, боец Заиграев сказал бойцу Виленскому:

— Ося, ты спишь? Нет? Ты сегодня второй раз родился.

— Знаю, — ответил Иосиф.

— Не иначе как Бог тебя спас.

Они лежали головами друг к другу на дне траншеи, устланном, за неимением иных подстилок, ветками тополей. Над ними сквозь медленное таяние дымов войны устало мерцали далекие

звезды.

Иосифу не спалось. Хоть и лето, а ночью в поле, в окопе — не тепло.

— Прохватывает, однако, без шинели, — проворчал он.

И сам удивился легкости, с какой срываются теперь с языка такие вот слова. В прежней жизни у него к ним привычки не было.

А вот и привычные мысли приплыли — о «Чаконе», работу над которой оборвала война.

— Ты спишь, Леня? — спросил он.

— Нет, — ответил Заиграев. — Что-то не спится.

— Как ты относишься к «Чаконе» Баха?

— К «Чаконе»? — Заиграев хмыкнул. — Очень своевременный вопрос… Хорошо отношусь, конечно. А что?

— В чем ее особенность, как ты думаешь?

— Ну, в ее основе старинный испанский танец.

— Да это я знаю. Был ли Бах счастлив, когда сочинял «Чакону»?

— Ну и вопросик! — После паузы Заиграев сказал: — Ося, я немножко знаю его прелюдии и фуги. А партиты для скрипки — знаю плохо. Не помню, когда он сочинил «Чакону». Если после женитьбы на певице этой… как ее…

— Анна Магдалена.

— Да. Он был счастлив во втором браке. Да и вообще счастливчик. Народил много детей.

— Счастливчик… Почему же в «Чаконе» столько драматизма? Столько басовых нот.

— А как может быть без драматизма, если слышишь… если ведешь тему судьбы?

— А-а, судьба! Вот это я и хотел… хотел понять…

Три недели держалась 2-я дивизия на лужском рубеже, а 8 августа началось немецкое наступление. Танки прорвали оборону, за ними устремилась пехота. Доходило до рукопашных схваток на брустверах и в окопах. Редеющие батальоны ополченцев отходили, цеплялись за высоты, за складки земной поверхности, оставляя на ней шрамы окопов.

На одном из привалов, поздним вечером, при свете луны, боец Юркин, бывший рабочий завода «Красный треугольник», присмотрелся, как боец Виленский сматывает портянки с ног, натертых до волдырей.

— Слышь, корешок, — сказал Юркин бабьим тонким голосом, — выбрось на хер свои портянки. На них же складки задубели.

— У меня других нет, — сказал Иосиф.

— Да я дам тебе новые. — Юркин порылся в своем вещмешке и вытащил пару белых чистых портянок. — На, возьми.

— А ты как же? — застеснялся Иосиф.

— Да я себе со склада другие выпишу. — Юркин залился смехом, похожим на школьный звонок.

Он был смешливый. О таких «смехунах» говорят: «Покажи ему палец — с хохоту помрет». Хотя в жизни Юркина маловато было поводов для смеха. Он Иосифу однажды, в час затишья, рассказал:

— Батя у меня был военный. Ну, чин небольшой, вроде нашего Захаркина. А мама была цыганка. Она здорово пела под гитару, понял? А красивая какая! Я в нее пошел! — Юркин похохотал, а потом: — Батю в тридцать восьмом арестовали. Что-то не так сказал. Точно не знаю, врать не буду. Ты что, спишь?

— Нет-нет, — сказал Иосиф, — слушаю. Просто глаза закрыл.

— Ну вот. Что-то батя сказал, а кто-то услышал и донес куда надо. Тоись куда не надо! — Опять Юркин посмеялся, правда невесело. — Ну вот. Мама ходила по начальству. Писала даже товарищу Сталину, что батя ни в чем не виноватый. Просила, чтоб отпустили его. Она батю любила. Понял?

— Как не понять…

— Ну вот. Во все двери стучалась. А потом заболела. У ней кровь горлом пошла. Умерла она.

Юркин умолк, принялся сворачивать махорочную самокрутку.

— Так ты один остался? — спросил Иосиф.

— Почему один? Мы с сестрой у бабушки жили. Я со школы ушел, с восьмого класса, на завод поступил. Ну вот. А потом стал чемпионом города.

— Каким чемпионом? — удивился Иосиф.

— Ну, бегал я. По длинным дистанциям первое место взял. В юношеском разряде.

— Молодец, Юркин.

— Меня Костей зовут. Константин. А ты, говорят, на скрипке играл?

— Да.

— А я на гитаре умею. Вот бы нам дуэ́том сыграть, а?

Юркин разразился заливистым смехом. У него, когда смеялся, глаза превращались в щелки, маленький нос будто утапливался, и один только оставался на лице широко отверстый рот с крупными зубами.

Под Котлами ополченцы 2-й дивизии оборонялись стойко. С помощью артиллерии, да и бутылками с горючей смесью, отбили две

танковые атаки. А сколько накатывалось атак мотопехоты — уж и не считали.

Потери были большие. Как назло, август стоял безоблачный, ни одной тучки, — и немецкая авиация, конечно, вовсю пользовалась летной погодой.

В то утро «юнкерсы» опять, в который уже раз, бомбили передний край. Досталось и зенитным батареям, немцы налетали на их позиции настойчиво, но и зенитчики из уцелевших орудий вели отчаянный огонь, подбили двух пикировщиков, а третий был не подбит, а напрочь сбит. Со страшным воем, волоча черный шлейф, он врезался в ничейную землю. А когда рассеялся дымный факел, стали видны два белых парашюта. Их сносило ветром за передний край ополченцев, к пологому холму, у подножия которого, среди купы деревьев, расположилась медсанчасть 3-го стрелкового полка.

Как раз Надя Ефремова, сандружинница, вела туда раненого Леонида Заиграева.

Странным он был бойцом, Заиграев: он словно испытывал себя в боях. То поднимется в полный рост при обстреле, когда, напротив, пригнуться надобно, чтоб голову сберечь. То высунется из траншеи и стрельнет из винтовки в пикирую-

щий бомбардировщик. Ему, вообще-то, везло. Но такому везению всегда настает конец. Сегодня горячий осколок достал Заиграева — раздробил ему бедро. Надя Ефремова, бывшая студентка Инженерно-строительного института, и потащила Заиграева в полковую медчасть.

Маленькая, но крепко сложенная, она закинула руку Заиграева себе за шею и, обхватив его, худенького, за талию, повела, а он прыгал на здоровой ноге, стиснув челюсти, чтоб не заорать от боли.

Дальше события пошли с нарастающим ускорением. Одного немца-летчика парашют посадил на дерево — он повис, суча ногами и выпутываясь из стропов. А второй приземлился аккурат на пути сандружинницы и Заиграева. Парашют поволокло ветром прямо на них, летчик в черном шлеме высвободился из стропов, огляделся — и, выхватив из кармана пистолет, выстрелил. Заиграев и Надя упали на землю, Заиграев сорвал с плеча винтовку…

Увидев это и услышав выстрелы, Иосиф Виленский выбрался из траншеи и побежал туда, крича во всю глотку:

— Эй, фриц! Nicht schießen![4]

Его обогнал Юркин. Вот же бегун! Быстрее ветра он помчался к месту перестрелки, где распластался белый купол парашюта. А летчик кинулся к деревьям. Там к нему присоединился второй, слезший с дерева, они побежали к кустарнику, за которым приютилась темно-зеленая палатка медсанчасти. Из палатки вышел врач в белом халате внакидку, а за ним выскочил боец — может, санитар — с винтовкой наперевес. Летчик на бегу выстрелил из пистолета, врач, схватившись за грудь, упал. Санитар, остановившись, выпалил из винтовки. Оба летчика побежали в другую сторону, петляя меж сосновых стволов. Но тут уже Юркин, а вслед за ним и Иосиф загородили им дорогу огнем из своих винтовок. Летчики, с разбегу упав в кусты, поползли куда-то вбок, Юркин и Иосиф стреляли по колыханиям кустарника и продвигались поближе.

Летчики отстреливались из пистолетов, пока не кончились патроны. Некуда им было деваться. Они поднялись — один высокий, худощавый, второй пониже ростом и, видимо, раненый, в окровавленном комбинезоне.

---

[4] Notes: 4
Не стрелять! *(нем.)*

— Hände hoch![5] — заорал Иосиф, медленно надвигаясь на них.

Немцы подняли руки. Тот, что пониже, одну руку поднял, вторая висела неподвижно. Лица у обоих были перекошены не то болью, не то ненавистью. Высокий бормотал-хрипел:

— Verdammt!.. Verflucht...[6]

— Selbst bist du verflucht! — яростно крикнул Иосиф, тыча в него дулом винтовки. — Mit deinem Hitler![7]

Он и Юркин повели пленных летчиков на командный пункт полка.

Ночь была не темная. Не от лунного света была она такой, нет, луна плыла высоко, хотя света давала очень уж мало сквозь дымные полотна войны. Горели Котлы за позициями ополченцев. Мрачный красный отсвет пожаров скользил по лицам бойцов, уцелевших в дневных боях.

По ходам сообщений, по траншеям неторопливо шел Бородин, военком батальона. Глядел сквозь очки на бойцов, будил тех, кто сумел за-

---

[5] Notes: 5
Руки вверх! *(нем.)*

[6] Notes: 6
Проклятый!.. Окаянный... *(нем.)*

[7] Notes: 7
Сам ты проклятый! Со своим Гитлером! *(нем.)*

снуть на краю своей военной жизни:

— Просыпайтесь… Поднимайтесь, мальчики… Отходим. Отход на новые позиции. Подъем!

Иосиф Виленский не спал. Лежал с открытыми глазами, думал о своем. Маму вспоминал и сестру: «Как они там? Ведь Питер бомбят… А ты, Анечка?.. Анка, милая, как хочется целовать тебя…»

Тут остановился над ним Бородин:

— Ты Виленский?

— Я, товарищ старший политрук.

— Надя! — окликнул Бородин сандружинницу, шедшую за ним и задержавшуюся возле бойца Кузовкова. — Ты Виленского искала, так вот он.

Надя Ефремова, с санитарной сумкой через плечо, подошла, деловито сказала, глядя снизу вверх на поднявшегося Иосифа:

— Тебя Иосиф зовут? Такое имя! Заиграев тебе передает, чтоб ты его маме позвонил. Ну, если в Питер попадешь, ясно? Телефон его помнишь?

— Да. — Иосиф прокашлялся, у него голос сел от простуды. — Что сказать, если позвоню?

— Скажешь, что он раненый, но живой. А что ногу хотят отнять, не говори. Ясно? — Надя шагнула было уходить.

— Обожди! Как это — ногу отнять? Почему?

— Почему! Сам не понимаешь? Чтоб гангрену

не допустить.

— Гангрену, — пробормотал Иосиф. — Разве у него такое…

— Да, такое ранение. — Надя всмотрелась в Иосифа. — Ты хрипишь чего-то. Ты болен?

— Нет.

— Парашютист когда нас обстрелял, Заиграев упал на землю — ну, с открытой раной. Загрязнение получилось. Заражение крови. А он кричит — не хочет ампутации.

— Так, может, обойдется?

— Слушай, ты хрипишь, как лошадь. — Надя раскрыла сумку, поискала в ней. — Вот тебе аспирин. Проглоти со слюной. Вы здорово парашютистов в плен забрали. С этим, как его…

— С Юркиным.

— Ага. Они, сволочи, нашего начальника убили. Прямо в сердце стрельнули. Такой был классный врач! Ну, пока, Иосиф.

— Надя, а можно я в санчасть приду? Заиграева проведать.

— Ты что, не слышал? Отход на новую позицию. Говорят, к Петергофу отступаем. За ранеными машина придет из дивизии. Ну, все.

Иосиф Виленский не попал в Ленинград. 2-я дивизия народного ополчения — три ее полка,

потерявшие больше половины своего состава, — отступала по направлению к Петергофу. На песчаном берегу тишайшей речки Ижоры 3-й стрелковый полк несколько дней держал оборону близ деревни Романовки. Дрались отчаянно. По ночам отходили на новые позиции — хмурые, безмерно утомленные, нередко голодные. Снабжение не успевали им подвозить, да и, бывало, тыловики просто не знали, где находятся части дивизии.

Были на исходе боеприпасы.

Уже сентябрь наступил. В полусотне километров к северо-востоку гремело, не утихая, огромное сражение — немецкие дивизии прорывались в Питер. А дивизия народного ополчения получила приказ занять позиции в урочище Порожки, вдоль Гостилицкого шоссе, ведущего в Петергоф.

На исходе ночи 3-й полк вошел в большую деревню Гостилицы и расположился на часовой отдых. Тут начиналась широкая деревенская улица, по обе стороны стояли темные, еще не тронутые войной избы.

Рассветало медленно и, как подумалось Иосифу, неохотно. Природа — поля, овраги, леса и небо, особенно небо, не успевавшее очистить себя от дымов, — была явно враждебна войне.

Из серенькой пелены рассвета проступило дощатое ограждение колодца в недальней перспективе улицы. Там звякали ведром, крутили рукоять во́рота несколько фигур — все в черных бушлатах. Потянулись к колодцу и ополченцы.

Скрипел ворот, наматывая цепь, поднимая наполненное ведро. Моряк с тремя «галочками» на рукаве бушлата подхватил ведро и обратил к ополченцам широкое лицо с усами, словно отлитыми из меди:

— Давай, пехота, подставляй котелки!

Иосиф, когда подошла его очередь, подставил под струю воды котелок и сказал:

— У меня друг воюет в морской пехоте, он тоже курсант.

— Как фамилия? — гаркнул медноусый.

— Плещеев. Он из училища Фрунзе.

— Не, мы не из Фрунзе. Из Инженерно-технического училища ВМФ.

— У нас, — сказал другой моряк, в лихо заломленной бескозырке, — Плещунов есть. Не подойдет тебе?

— Нет, — качнул головой Иосиф.

— Жаль. Мы бы отдали его. Он очень силен в сухопутной стратегии, а также…

— Хватит травить, — заметил третий курсант.

Возможно, он-то и был Плещуновым. — Давайте быстрей, водохлебы. Скоро фриц прилетит.

Недолгим был отдых. Ополченцы покинули Гостилицы, потопали по дороге на север. Слева к шоссе подступал смешанный лес и виднелась возвышавшаяся над ним верхушка горы. Она была округлая, поросшая негустым сосняком.

Еще не знали ополченцы, что гора эта называется Колокольней. Но вскоре узнали.

Части 2-й дивизии народного ополчения с ходу прошли через деревню Порожки и к северу от нее стали занимать позиции вдоль Гостилицкого шоссе, до соседней деревни Петровское.

А в Гостилицах тем временем разгорелся бой — были слышны пушечные удары и скороговорка пулеметов. Там горели избы, дымом окутались огороды. Немцев, прорвавшихся в Гостилицы, атаковала 2-я бригада морской пехоты. Четверо суток шел бой. Морпехи выбили немцев из Гостилиц. Но, получив подкрепление, противник вновь овладел этой большой и, вероятно, тактически важной деревней. Отступив, морская пехота удержала гору Колокольню — высоту, господствующую над местностью.

Состыковав свои позиции с окопами морпехов, ополченцы заняли, что называется, жесткую

оборону. Уже не те неумелые, плохо владеющие оружием новобранцы, какими были месяц назад, — дрались ожесточенно. Командиры — от ротных до комдива — орали в трубки полевых телефонов: «Боеприпасов!»

Немцы, пробив коридор к Финскому заливу, заняв Новый Петергоф и Стрельну, отрезали дивизию ополчения от Ленинграда. Дивизия оказалась на юго-восточном выступе Ораниенбаумского плацдарма. В сентябре, когда земля кричала от боли, а небо заволоклось кровавой пеленой, — в страшном, окаянном сентябре — ополченцы 2-й дивизии, голодные, на пределе сил и боеприпасов, отбивали атаки немцев. Наконец службы тыла разобрались в обстановке: стало прибывать снабжение. По проселочным и лесным дорогам грузовики везли из Ораниенбаума боеприпасы и провиант. И что не менее важно — теплое обмундирование. То есть шинели. Ополченцы шинелям сильно обрадовались: очень намерзлись по ночам в окопах. Ведь осень уже подступала. «Осень, ребята… А вы и не заметили, что лето кончилось…»

Это Иосиф Виленский так подумал. Он-то, со своей простудой чертовой, как взял из рук старшины роты шинель, так и влез в нее поскорей,

даром что шинель оказалась ему не по росту великоватой. Юркин как глянул на него, так и покатился со смеху:

— Ну и шинель у тебя! Хлястик на жопе!

— Чего ты ржешь? Такая теперь мода, — сказал сквозь кашель Иосиф.

— Мода? — Юркин озадаченно помигал на него.

— Да. Приказ был наркома, как правильно хлястик должен быть расположен.

— Ну да! — усомнился Юркин. — Не может быть, чтоб приказ насчет хлястика.

К концу сентября поплыли с запада гонимые ветром тучи, пролились дожди. И что-то происходило на фронте. Заметно поубавилось налетов пикировщиков. Артобстрелов меньше не стало. Но целые дни проходили без немецких атак. Ополченцы копали ямы для землянок, накрывали сосновыми стволами, землей засыпали. Было похоже, что располагались тут, в урочище Порожки, надолго.

Но вдруг (а на войне все *вдруг* и происходит) приказ поступил батальону морской пехоты, оборонявшему гору Колокольню, передвинуться куда-то. А чтобы важную высоту не оставлять без защиты, было приказано дивизии народного

ополчения выдвинуть один из батальонов на Колокольню. Как раз и оказался этим батальоном тот, в составе которого находился боец Иосиф Виленский.

Ворчали недовольно ополченцы, темной ночью двигаясь к высоте: только землянок понарыли, утеплились, как на́ тебе, все бросай на хрен и лезь на гору. А Колокольню эту фрицы очень хотят отобрать, потому как с нее видна текущая вокруг война. Немецкие позиции недалеко были, за полем, заросшим мелким кустарником, и где-то там, за посадками близ деревни Гостилицы, располагались их батареи.

Особенно досаждала минометная. Несколько раз в день немцы засыпа́ли Колокольню минами. На склоне горы, обращенном к противнику, морская пехота успела выкопать траншеи и ходы сообщения, в них и укрывались от огня ополченцы. На обратной от противника стороне копали землянки; лопатки часто натыкались на скальную породу, ополченцы материли Колокольню и искали податливый грунт.

Война — это много тяжелой работы. Особенно если твоя позиция на горе.

Колокольня, Колокольня…

Ну да, обзор отсюда, с высоты, хороший. Ес-

ли, конечно, не стоит стеной обложной дождь и не стелется над местностью туман. В солнечный день — ну просто красивый вид. Лес, уходящий широкой полосой на север, к Ораниенбауму, — как зеленый бархат, расстеленный… кем, собственно?.. Если не матушкой-природой, то — ладно, пусть Господом Богом… которого, как знали бойцы батальона, нет…

Комбат по рации связывался со штабом полка, просил «огонька», давал координаты немецких батарей у Гостилиц. Полк связывался со штабом дивизии — и вскоре пушки артдивизиона начинали обстрел батарей противника. Те отвечали огнем, артиллерийская дуэль раскатывала нарастающий грохот, над Колокольней выла, дико свистела сталь встречных снарядов.

Колокольня, ах ты ж, Колокольня…

От военкома батальона Бородина узнали важную новость: противник, остановленный на пороге Ленинграда, прекратил штурм и начал окапываться.

— Ага! — воскликнул комвзвода Захаркин. — Окапывается, значит, это… позиционная, значит…

— Да, переход к позиционной войне, — подтвердил Бородин, указательным пальцем по-

правляя очки на носу. — Но это, товарищи, не значит, что противник перестанет атаковать. Фашисты продолжают угрожать нам. Дескать, «разрушим Ленинград, сровняем его с землей. А Кронштадт — с водой». Такую пишут хренови-ну в своих листовках.

В тот день шел дождь — по-осеннему холодный, долгий. Весь день работали под дождем — рыли землянки, рубили топорами и валили сосны. Вечером, наевшись перловой каши и попив чаю, набились в те землянки, что были готовы для заселения. Иосиф еще и дозор отстоял (за противником беспрерывно наблюдали, сменяясь каждые четыре часа). В начале первого ночи залез он в землянку, где размещалось полвзвода, и втиснулся на свое место между бойцом Юркиным и пожилым, почти сорокалетним бойцом Елисеевым. Прежде чем улечься на подстилку из сосновых веток, Иосиф стянул с себя мокрую шинель. В землянке тепло не было, но хоть дождь не лил.

Только улегся, как напал на него кашель. Иосиф рот зажимал рукой, чтоб ребят не разбудить, но разве кашель уймешь? Вон Юркин проснулся, заерзал, зашуршал подстилкой. А Елисеев как храпел, так и храпит, его кашлем не разбудишь.

Он до войны на пивоваренном заводе работал, и не простым рабочим, а техником, и интересно рассказывал, как надо правильно варить пиво, и всякий раз споры разгорались, потому как имелись на этот счет разные мнения.

Наконец отпустил кашель. Иосиф лежал на спине, накрывшись мокрой шинелью и надеясь, что до утра она высохнет, хотя полной уверенности не было.

Юркин сказал вполголоса:

— Я знаешь, как лечился, когда простужался? Мороженое кушал.

— Мороженое? — удивился Иосиф.

— Ага. Клин клином! Бабушка так научила.

— Ну, если бабушка… тогда конечно…

— Особенно я эскимо любил. Помнишь, появилось в продаже? На палочке, в шоколаде. Эскимо!

— Конечно помню. Я тоже его любил.

— Вот кончится война, мы с тобой, Иосиф, эскимо накупим, наедимся — и поиграем дуэ́том. Ты на скрипке, я на гитаре…

— Тихо вы! — раздался из угла землянки голос командира взвода Захаркина. — Разговорились два друга… медаль и подруга.

— Не медаль, а модель, — буркнул Иосиф.

Ему хотелось заснуть. Вон Юркин — умолк и уже через полминуты уснул, слегка посвистывая. А Иосифу не спалось. Прокрутилась в голове мысль о Захаркине: взводный заметно потеплел к нему с того дня, когда они с Юркиным захватили двух немецких летчиков. Однажды спросил вдруг, не врач ли у него, Иосифа, отец: его, Захаркина, жена болеет, что-то с головой неладно, частые боли, а он слыхал, что у евреев врачи хорошие, так вот — не доктор ли его, Иосифа, отец. Иосиф сказал, что отец умер, он не был врачом, а вот мать — как раз врач. И они с Захаркиным уговорились, что как только вернутся в Ленинград, так и посмотрит мама Иосифа захаркинскую супругу.

И конечно, отца вспоминает Иосиф. Удивительный он был человек. Как совершил в юности, молодым приват-доцентом, поездку в Грецию и на Крит, так будто и остался там навсегда. Война, революция, голод в Петрограде — все это имело малое касательство к его жизни, а вот Троянская или Пелопоннесская война — это и была сугубая реальность. Однако, когда пустили на продажу знаменитые картины из Эрмитажа, отец резко высказался против — и ему, олимпийцу самозваному, тут же напомнили, что живет он не под

древнегреческими небесами. Выперли из университета, запретили издание книги. Отец свалился с параличом… мама несколько лет тянула его, тянула…

Хочет заснуть Иосиф — а не спится. Лежит под мокрой шинелью в земляной яме… как в первобытной пещере… а в голову, одуревшую от тяжелой работы, от сволочного свиста немецких мин, от жизни на горé, на которой жить невозможно, — лезут в голову мысли-воспоминания. Как там мама и Райка — как живут под бомбежками? Ленинград ведь окружен, железные дороги перерезаны…

«А ты, Анечка, милая? Где ты, Анка? На оборонительных работах? Руки не повреди! Свои красивые белые руки… Как хочется их целовать — твои удивительные руки…

Знаешь, Анка, это смешно, но я все еще думаю о том, как надо играть „Чакону“. В строгой манере! Ничего не навязывать. С первых же ударов смычка — басовая тема… Чтобы сразу — ожидание чего-то очень важного в жизни… басовые вариации главной темы — как шаги судьбы… да-да, Анка, *шествие судьбы*! В этом — патетика „Чаконы“… И вот еще смешная мысль: хорошо бы сыграть „Чакону“ на старинной скрипке…

например, на скрипке мастера семнадцатого века Руджери… смычок короче, струны другие… звук немного другой… более близкий Баху, верно? Так сыграть „Чакону“, чтобы Баху могло понравиться, — вот задачка, а? „Бах“ — это по-немецки „ручей“. Но здорово сказал когда-то Бетховен: „Nicht Bach — Meer sollte er heissen“ — „Не ручьем, а морем должен был он зваться“»…

Такие дела, Анка. Тут, на горе Колокольне, я мысленно играю „Чакону“…

Что за глупости лезут в голову… Это, верно, оттого, что лежишь под мокрой шинелью и пытаешься уснуть… и ничего не известно о будущем… даже и о завтрашнем дне… если он наступит… Спокойной ночи, милая…»

Дождь к утру утих. Серенький, невзрачный наступил рассвет — и тут началось. Немецкие батареи накрыли Колокольню шквалом беглого огня. Разрывы снарядов рвали склон, обращенный к противнику, били по верхушке горы. Колокольня покрылась дымом, содрогалась от обвального грохота.

Батареи ополченческой дивизии открыли ответный огонь. Он ли заставил замолчать немецкие пушки, или те сами заткнулись, закончив артподготовку, — но уже двинулись к

Колокольне машины мотопехоты. Ревя моторами, они полным ходом катили по открытому полю, подминая кустарник. В каждой, как круглых шляпок грибов, было понатыкано множество касок немецких солдат.

Пушки ополченцев перенесли огонь на ничейное поле — били сбоку, из лесочка, прямой наводкой. Несколько машин остановились, опрокинулись — с горы было видно, как из них повалил дым. Но остальные машины прорвались к подножию Колокольни, из них повыпрыгивали солдаты в зеленых мундирах, с автоматами, с пулеметами, и, рассыпаясь цепью, полезли наверх. По ним ударили уцелевшие огневые точки ополченцев — несколько станковых пулеметов строчили из окопов на середине горного склона, били и ручные пулеметы Дегтярева, вели огонь из винтовок и стрелки.

Бой то утихал, то с новой силой разгорался. Немецкие штурмовые группы вскоре опоясали всю высоту и упорно продвигались через кусты и деревья — вверх, вверх. Ополченцы, перебегая, пытались их остановить. Потери с обеих сторон нарастали… сквозь пальбу слышались стоны раненых… отрывистые команды немецких офицеров… выкрики ополченских командиров…

яростные матюги…

Бой складывался плохо. В самом его начале шальной снаряд рванул на командном пункте батальона на вершине горы. Как раз из землянки КП вышел комбат — поглядеть в бинокль на обстановку — и упал замертво, изрешеченный осколками. Вскоре был тяжело ранен военком. Начштаба, суетливый старший лейтенант, метался по окопам и ходам сообщений, орал на командиров рот, требуя перемещений, но обстановка боя становилась все хуже. К полудню противник выбил ополченцев почти со всех позиций на теле горы — только верхушка Колокольни сопротивлялась.

Здесь и взвод Захаркина оборонялся. Как залегли у каменистой гряды, за которой начинался некрутой спуск по протоптанной дорожке, так и держались тут с двумя «дегтярями». Уже несколько раз отбились от штурмовых групп, появлявшихся с этой стороны.

Начштаба прокричал Захаркину:

— Влево передвинься! На сто метров! Ты слышишь?

— Взво-од, за мной! — скомандовал своим громовым голосом Захаркин и пошел быстрым шагом, маленький и непреклонный, в пилотке,

надвинутой на брови. (Пилотка была с чужой головы, свою Захаркин потерял в каком-то бою.)

Иосиф Виленский и другие уцелевшие бойцы взвода шли за ним. Шинель у Иосифа не высохла за ночь, ее тяжелые полы били по ногам. А в голове одна только мысль: сколько патронов осталось в подсумке и в вещмешке? Вдруг Иосиф увидел: возле штабной землянки, под сосной, привалясь спиной к ее пятнистому стволу, сидел военком батальона Бородин. Без очков, с закрытыми глазами. Над ним нагнулся санитар, нащупывая пульс на тощей шее.

— Живой? — спросил Иосиф.

Санитар покачал головой.

Новая позиция была хуже предыдущей. Там каменистая гряда прикрывала от пуль, а здесь открытое было место, покатое, поросшее кустарником, и торчали побитые артогнем десятка два сосен. Из-за этих сосен ударили немецкие пулеметы-машиненгевéры. Из своего «дегтяря» ответил длинной очередью Елисеев. Несколько минут длилась их перестрелка, потом наступила пауза, немцы меняли позицию, замелькали там, за соснами, перебегающие зеленые фигуры, бойцы захаркинского взвода били по ним из винтовок.

Иосиф стрелял, держа ствол винтовки на по-

валенной сосне. Заставлял себя не спешить, прицеливался. Брал упреждение, одно только это дело и оставалось делать — брать на мушку врагов, прикативших из Германии сюда, к горе Колокольне. Страха не было — только тоскливое чувство безысходности…

Елисеев, сменивший позицию, поник, с коротким выкриком упал на ручной пулемет. Захаркин подполз, оттащил его тело в сторону и короткими очередями ударил из «дегтяря» по солдатам противника, перебегающим среди кустарника.

Тут с двух сторон опять застучали немецкие пулеметы. Иосиф, глянув вправо, увидел, как Юркин схватился за окровавленную голову. Крика не услышал. Очень плотен был огонь. Но своим громоподобным голосом Захаркин перекрыл грохот боя.

— Воронков! — выкрикнул он фамилию начштаба. — Подкрепление давай сюда!

А где он, начштаба, старлей суетливый? Услышал ли? Да и жив ли? А если жив, откуда он возьмет подкрепление?

Пули свистят над горой. Стучат, стучат пулеметы.

— Виленский! — орет Захаркин. — Диски подай!

Лицо Захаркина — страшно. Бесцветные глаза едва не вылезли из орбит. И почудилось Иосифу, что рябины на щеках комвзвода налились чернотой.

Иосиф нащупал в кустах коробку, подполз, подал диск. Захаркин выбил опустевший диск, заменил новым — и вдруг, охнув, рухнул ничком.

Стучат пулеметы над горой Колокольней. Свистят, свистят пули. Плотен огонь.

На миг подняв голову, Иосиф Виленский увидел в сером небе словно бы уголок голубого одеяла. Промелькнула голубизна — и исчезла, затянулась густой облачностью.

Развернув ствол «дегтяря» вправо, Иосиф послал трассирующие очереди во вспышки немецкого пулемета. Вдруг увидел: поднявшись из кустов, бегут прямо на него немецкие солдаты. Быстро мигающее пламя их автоматов увидел. Последние вспышки огня. И — мгновенная страшная боль.

Он упал рядом с телом Захаркина. Их кровь смешалась.

Глава седьмая
Рейд по финскому тылу

Травникова ранило, когда на исходе ночи разведгруппа выходила из тыла противника.

Поначалу операция развивалась успешно. Мы на лыжах тихонько обошли по льду передний край финнов, упиравшийся в берег Ладоги, и вклинились в их тыл неподалеку от деревни Гумбарицы. Наша боевая задача именовалась солидно: «вскрыть систему огня и особенности обороны противника». А попросту говоря, это была разведка боем. Один из батальонов 3-й бригады морпехоты предпринял фронтальную атаку — через замерзшую Свирь — и таким образом отвлек внимание финнов от скрытного рейда нашей разведгруппы. Мы, два взвода с тремя пулеметами на волокушах, проникли со стороны озера в тыл противника и наделали там шуму. Расстреляли их наблюдательные посты, белыми призраками (в маскхалатах, конечно) промчались по лесной опушке, с ходу обстреляли финскую батарею на окраине Гумбарицы, которая вела огонь по демонстративно атакующему

батальону. В общем, малость пошумели в ближнем тылу. И убедились, не в первый раз уже, что «особенность обороны противника» состоит в том, что она построена крепко и глубоко эшелонирована.

Конечно, финны не хлопали ушами. Разобрались, кто и какими силами не дает им спать холодной мартовской ночью. На выходе из тыла противника, в сосновом лесу на бровке береговой полосы, разведгруппа нарвалась на финский лыжный отряд, спешивший на пересечку нашего движения. Мы были уже порядком измотаны, скорость продвижения у нас снизилась. С ходу мы повалились носом в снег, предрассветный воздух над нашими головами прошили трассы пулеметного и автоматного огня. Полетели щепки от разодранных пулями сосновых стволов. Одна чуть не выбила мне глаз, в кровь разбила правую скулу. Черт знает, сколько длилась перестрелка, — время тоже было насквозь прострочено цветными трассами и замерло в ожидании: чья возьмет?

Финны явно стремились окружить разведгруппу, не дать ей выйти на лед озера. Лейтенант Сахацкий, выпускник нашего училища, крикнул Травникову:

— Передвинься с двумя пулеметами влево, к поваленным деревьям! Прикроешь отход! Движение к озеру по той лощине, — показал он. — Дам ракету — пойдешь и ты на лед со своими ребятами! Понял?

Что тут не понять? Мы, взвод мичмана Травникова, переползли к соснам, поваленным артогнем прошлой осенью. Трудно это — ползти по снегу в маскхалате, с неснятыми лыжами, с палками в одной руке, с винтовкой в другой. Да и не ползли мы, а передвигались, так сказать, вприсядку, на карачках. Лоскутов и Ивакин к тому же тянули за собой волокуши с двумя станковыми пулеметами. Такое шествие легко расстрелять, но нам помогла предрассветная темень. В здешних дремучих лесах и ясным днем темновато, а уж ночью и подавно. Тут леший бродит… покачиваются под порывами ледяного ветра сосны и мохнатые ели… из-за их черных стволов хищно смотрят, перемигиваются волчьи глаза… Да какие там волки — это мигают вспышки финских пулеметов и автоматов.

Ну, короче, прикрыли мы огнем отход взвода Сахацкого и ждем ракету — сигнала, что он вышел на озеро и, значит, можно и нам туда прорываться. А ракеты нет и нет. Смотрю на своего

«Павла Буре», сорок минут прошло, Сахацкий наверняка до озера добрался. Говорю Травникову:

— Давай отходить. А то рассветает уже, нам не дадут пройти.

А он:

— Надо ждать ракету.

Ну что ж. Он командир (а я, между прочим, помкомвзвода) и, значит, лучше, чем я, знает, что и когда надо делать. Вот только предотвратить рассвет Травников не может. А в лесу между тем становилось светлее.

Перестрелка усилилась — а ракеты все нет…

Вдруг крикнул Пожалов, второй номер у пулеметчика Ивакина:

— Командир! Ивакина убило!

Я выматерился сквозь зубы и говорю Травникову:

— Ну все! Давай команду отходить! Или я скомандую!

Он поправил каску на голове, помянул «япону мать» и прокричал:

— Внимание! Отходим на лед! Взвод, за мной!

Мне он бросил, чтоб я шел замыкающим, и, встав на лыжи, направился в ту сторону, где начиналась лощина, а вернее, овраг, выходящий к береговой кромке. За ним пошли ребята, раз-

миная замерзшие ноги. Белые призраки, лешие здешних лесов…

Я помог тщедушному Пожалову уложить тяжелое безжизненное тело Ивакина на волокушу, рядом с неостывшим пулеметом, и мы потащили ее на недлинном конце, замыкая вереницу взвода. (Вообще-то, если точно, было нас не больше полувзвода. Полного состава не имело ни одно подразделение на передовой.) Вслед нам свистели пули, справа ударили финские автоматчики, но мы уже вкатились в овраг. Спуск оказался довольно крутым. Волокуша, движимая тяжестью пулемета и тела Ивакина, ринулась вниз и наехала на меня, сбила с ног. Ее полозья остановились на моей спине, я слышал, как что-то хрустнуло, и подумал, что сломался позвоночник. Но, выбравшись с помощью Пожалова из-под саней, я убедился, что способен стоять на ногах и даже медленно двигаться на лыжах. Очень болел копчик, принявший удар волокуши. Уж не сломан ли? Да еще при падении в густой кустарник его тугие прутья хлестанули меня по лицу. Я тащился, превозмогая боль, по лыжне, по следу ушедшей группы, — и вот впереди, за кустарником, просветлело.

Наконец-то! Синевой раннего утра встретила

Ладога. Лед был неровный, громоздились торосы — ледяные холмы, раскиданные по всему окоему. Снежный покров тоже не был однообразно ровным — где намело с полметра, а где сдуло бешеными ладожскими ветрами, обнажив лед.

Ну, теперь влево, вдоль темной линии лесистого берега — к расположению бригады, к теплым землянкам, к кружке горячего чая. Взвод Сахацкого уже и начал движение — вон машут палками, скрываясь за торосами. А Травников объявил нашему взводу десятиминутный перекур. Командирам отделений велел доложить, все ли бойцы в сборе.

Я подъехал к нему, сказал о гибели пулеметчика Ивакина.

— Да, — вздохнул Травников. — Эх, Борька Ивакин… Непутевая голова…

Я знал, Ивакин был его однокурсником, такой веселый малый, дерзкий на язык. Учился он неплохо, но имел пристрастие к выпивке, из увольнений возвращался нетрезвый, с опозданием. Конечно, он получал взыскания, на «губе» сиживал, однако до поры до времени училищное начальство относилось к его выходкам терпеливо. Но 1 мая прошлого года Ивакин ушел в увольнение и не вернулся ни к двадцати трем

часам, ни ночью, ни даже утром. Лишь к вечеру 2 мая заявился, опухший, со странной кривой улыбкой. Этого загула Ивакину не простили — отчислили из училища и списали на рядовую службу, в Кронрайон СНИС[8], что ли. А как началась война, ушел Ивакин на сухопутье, и привела его военная судьба в 3-ю бригаду морской пехоты, на речку Свирь. Сюда же и нас, группу курсантов-фрунзенцев, в октябре перебросили через Ладогу, — вот и встретились они, бывшие однокурсники Ивакин и Травников…

— Ты ранен? — спросил Травников. — У тебя лицо в крови.

— Да нет, — говорю, докуривая махорочный чинарик. — Ветками оцарапало.

— Взводный! — крикнул кто-то из ребят. — Савкина нету!

— Кто видел его в последний раз? — спросил, поворотясь, Травников. — Может, ранен он? Или убит?

Тут воткнулся нам в уши быстро нарастающий свист. До тошноты знакомый свист летящей мины. Взрыв. Чей-то выкрик…

— Ложись! — заорал Травников. — Рассредо-

---

[8] Notes: 8
СНИС — служба наблюдения и связи.

то…

Но не успел договорить: разрыв очередной мины достал его. Он упал, сбив меня с ног. Стоя на коленях, я приподнял его, взяв за плечи.

— Ничего… не больно… — проговорил Травников, прижав ладонь к груди. — Выводи взвод…

Под его пальцами расплывалось по маскхалату алое пятно.

Наверное, финны, подвезя на берег миномет, неясно видели группу лыжников в белых халатах среди торосов. Так или иначе огневой налет был коротким, да и передвинулся куда-то вбок. Ранены были двое — Гребенчук и Травников. Их везли на волокушах.

Когда вышли из зоны огня, Плещеев, принявший командование взводом, приказал остановиться, чтобы перевязать раненых. Гребенчук, когда санитар раздел его до пояса, жаловался, что холодно, и просил не щекотать.

— Я щукотки боюсь, — голосил фальцетом этот веселый хохол, первый трепач во взводе.

У него рана была легкая.

А вот Травников очень Плещеева тревожил. Поначалу все твердил, что ничего, боли нету, но вскоре умолк. Осколок мины, влетевший ему в грудь, видимо, затруднял дыхание. Травников

хрипел, задыхался. Лицо у него сделалось белым, как маскхалат. Плещеев скомандовал начать движение.

— Шире шаг! — крикнул он.

Только бы продержался Травников оставшиеся несколько километров. Только бы не умер… «Осколок в меня летел, в меня! А Валька рядом стоял… принял осколок…» Неотвязно билась у Плещеева в голове эта мысль, заставляла бежать, превозмогая боль и дикую усталость, — второе дыхание, наверно, появилось…

— Шире шаг!

Наконец-то береговая полоса слева приобрела привычные очертания. Ну вот проход через заминированную полосу, сквозь проволочные заграждения, — и начинается расположение бригады морпехоты, траншеи и дзоты, жилые землянки с торчащими из снега трубами от печек-времянок, полевая кухня, дымящая на краю утоптанной лесной поляны.

Подвезли волокуши к землянкам бригадной медсанчасти. Тут стояли, курили лейтенант Сахацкий и военврач Арутюнов, недавно появившийся в бригаде, молодой, черноглазый и черноусый, в армейской форме. (Слух прошел, что всю морскую пехоту переоденут в армейское,

сухопутное. Но пока не переодели.)

— Что, Валентин убит? — вскричал Сахацкий, взглянув на мертвенно-бледное лицо Травникова.

Тот раскрыл глаза, пробормотал:

— Не совсем…

Арутюнов немедля принялся за дело. Травникова и Гребенчука, переложив на носилки, потащили в землянку медсанчасти. Вскоре туда прошел, сутулясь, главврач Потресов. За ним поспешала Лена Бирюля, операционная медсестра, бойкая синеглазая девица «с довоенным цветом лица», как говорил, посмеиваясь, Плещеев, тайно по Лене вздыхающий. Она, проходя мимо, метнула в него, как синюю молнию, по-женски быстрый взгляд.

— Тяжело его ранило? — спросил Сахацкий, щелчком отбросив окурок в снег.

— Тяжело. — Плещеев снял каску, сдвинул со лба шерстяной подшлемник. — Почему вы ракету не дали?

— Как это не дали? Три ракеты выстрелил я лично! — У Сахацкого, когда он кричал, рассерженный, в углах тонких губ пена проступала. — А вы там как будто заснули!

— Ну, значит, нам приснилось, что финны

атакуют. Что Борю Ивакина убили… Да не кричи ты… — поморщился Плещеев.

Он Сахацкого, крикуна этого, давно знал, в волейбол играли в одной команде. Но прошлым летом Сахацкий училище окончил, получил лейтенантские нашивки.

— Я хотел сказать, товарищ лейтенант, — спохватился Плещеев, что надо же соблюдать субординацию, — что мы ваши ракеты потому не увидели, что в лесу так темно, как у негра в жопе.

— Какие в твоем взводе потери, кроме Ивакина?

— Еще Савкин. Правда, его никто не видел убитым. А из лесу на лед он не вышел.

— Вы что — оставили его умирать в лесу?

— Никто не оставлял. Говорю же, не видели…

— Надо было видеть! Ну, пошли в штаб докладывать.

Сахацкий, с лыжами и палками под мышкой, двинулся по протоптанной в лесу дорожке к штабу бригады.

— Погоди, лейтенант, — хмуро сказал Плещеев. — Рано еще. Давайте чаю попьем горячего.

В просторной землянке, приспособленной под операционную палату, лежал на столе, на бе-

лой простыне, Травников. Санитарка Дроздова обтерла ему грудь, залитую кровью. Другая санитарка — Пичугина («наши птички», называли их раненые) зажгла все четыре керосиновые лампы, подкинула дров в печку в углу землянки. И стало тут почти светло и тепло. Лена Бирюля готовила к операции инструменты и прислушивалась к негромкому разговору врачей, осматривающих рану Травникова.

— Кровоизлияние в полость плевры, — хмурился над раненым начальник медсанчасти Потресов.

— Да, гемоторакс громадный, — покачал черноволосой головой доктор Арутюнов.

— Обнажить легкое невозможно.

— Невозможно, — подтвердил Арутюнов. — Но убрать осколок-то нужно. Придется откачать из плевры кровь.

— Да вы что, Сурен? Такая потеря крови… — Потресов прикоснулся длинными пальцами к шее Травникова. — Пульс нитевидный. Он даже прокола грудной клетки не выдержит.

— Николай Иванович, ничего другого не остается.

Врачи помолчали, раздумывая.

И тут Лена, тряхнув белокурой головой, зака-

тала рукава фланелевки и тельняшки, прошла к другому столу и легла со словами:

— Николай Иваныч, забирайте кровь. Я готова.

— Ну вот, — вздернул брови Арутюнов, — Лена за нас решила. Да, Николай Иванович?

Потресов кивнул и отправился к рукомойнику. Арутюнов тоже помыл руки и, войдя иглой в вену девушки, начал забор крови. Лена, прищурясь, спокойно смотрела, как тоненькой струйкой лилась в колбу ее теплая кровь. Уже не в первый раз отдавала она свою кровь первой группы, пригодную для переливания раненым с любой другой группой крови.

— Стоп! — сказал Потресов. — Четыреста кубиков. Спасибо, Леночка. Начинайте, Сурен.

Взяв большой шприц, Арутюнов подступил к Травникову и чуть помедлил, прислушиваясь к его трудному и, похоже, угасающему дыханию. Затем решительно проколол иглой грудную клетку Травникова — шприц стал наполняться кровью, откачиваемой из плевры. Потресов перевязал Лене руку и начал переливание взятой у нее крови в вену Травникова.

Тихо было в операционной. Санитарки, «наши птички» хлопотливые, сидели в углу притихшие, словно опасаясь обычной своей болтовней нару-

шить значительность происходящего.

Шприц за шприцем наполнялась ванночка — около литра крови откачал доктор Арутюнов из плевры Травникова. Одновременно в его вену шла свежая кровь. Лена сказала негромко:

— Кажется, дыхание выравнивается.

С каждой минутой становилось все заметней: раненый оживал. Появился пульс, освободилось от тяжких хрипов и перебоев дыхание.

В тот же день, спустя несколько часов, Травникова прооперировали. При свете керосиновых ламп (две лампы держали над столом санитарки Дроздова и Пичугина) хирург Арутюнов обнажил легкое Травникова, уснувшего под эфирным наркозом, и извлек крупный осколок мины. Долго, тщательно сшивал поврежденные сосуды. Лена Бирюля помогала ему.

Вечер выдался сравнительно тихий. Погромыхивала артиллерия выше по Свири, где-то в районе Лодейного Поля, у Подпорожья, где финны вцепились в плацдарм на левом берегу, и выбить их оттуда не удавалось. А тут, при впадении Свири в Ладожское озеро, на удерживаемом 3-й бригадой морпехоты пятачке на правом берегу, пушки помалкивали. Только строчили пулеметы на передке — вели беспокоящий огонь.

У Плещеева недавно произошел неприятный разговор. В землянке комбата его допрашивал бригадный особист, майор с буденновскими усами на вытянутом лице — черная горизонталь на бледной вертикали. Особиста интересовало, как получилось, что боец Владлен Савкин не вернулся из рейда — ни живой, ни убитый. Что мог ответить Плещеев на строгие вопросы? Бой шел под утро, в темном лесу, команды — передвинуться, начать отход — отдавались голосом… если ты ранен, то можешь и не услышать…

— А если не ранен, а притаился? — прервал его особист.

— То есть как? — выдохнул Плещеев. — Что это значит?

— Это значит, ждал конца боя, чтобы сдаться в плен.

— Да вы что, товарищ майор! — Плещеев, ошеломленный, вскочил со скамьи.

На столе, сколоченном из нестроганых досок, заколебался огонек коптилки в узком горле сплющенной снарядной гильзы.

— Сядьте, Плещеев, — сказал особист и постучал пальцем по столу. — Что вы знаете о Савкине?

— Ну, знаю, что у него отец военный инженер, полковник…

— Про отца нам известно. О самом Савкине — что знаете, как помкомвзвода? О его настроениях.

— О настроениях? Ну, ничего такого… Нормальный боец. Скрытный немного. Молчаливый.

— А-а, скрытный. То-то и оно. — Майор опять постучал по столу. — Нам известно, что у Савкина были высказывания.

— Какие высказывания?

— Что у финнов тут, на Свири, линия не слабее, чем линия Маннергейма в финскую войну.

Плещеев пожал плечами. Чего он, майор особого отдела, привязался к нему? Он, Плещеев, не обязан прислушиваться, о чем говорят между собой бойцы взвода. Настроения!

— Настроение, товарищ майор, — сказал он, щуря глаза на коптилку, — во взводе нормальное. Мы знаем обстановку. Знаем, что не даем немцам и финнам замкнуть второе кольцо окружения Питера. Об этом и высказываемся…

— Если завтра, — опять прервал его особист, — по финскому радио услышим Савкина, как он зовет советских бойцов в плен, так разговор у нас, Плещеев, будет другой.

С этими словами особист, надвинув шапку на брови, вылез из землянки. Плещеев, рас-

строенный неприятным разговором, спросил у командира батальона разрешения выйти. Комбат, не проронивший при разговоре-допросе ни слова, сказал:

— Сядь, Плещеев. — Протянул пачку «Беломора». — Закуривай.

«Беломор», конечно, папиросы хорошие, но что-то не получалось у Плещеева удовольствия от первых затяжек.

— С чего майор взял, — спросил он, — что Савкин сдался в плен?

— Работа у них такая, — ответил комбат, перегнав дымящуюся «беломорину» из одного угла широкого рта в другой. — Лучше подозревать, чем прозевать… Я тебя не допрашиваю, Плещеев, — сказал он, помолчав, — но просто по-человечески скажи, что́ ты думаешь по делу Савкина.

— Да нет никакого дела, товарищ капитан. Савкин не мог сдаться в плен. Ну не верю я.

— Прямо не знаю, что́ доложить комиссару бригады… С ним же не просто, с Савкиным. Его отец чуть не всей инженерной службой командует на Ленфронте.

— Я помню, товарищ капитан, он приезжал к нам в Дерябинские казармы с сыном повидаться. — Плещеев поднялся. — Савкин, когда в лесу

бой завязался, наверняка был тяжело ранен или убит. Вы так и доложите. Разрешите, я пойду, товарищ капитан. Нам в боевое охранение скоро заступать. А я хочу успеть Травникова проведать.

— Как он там? Продышался? Ну ладно, Плещеев, ступай.

Темный, сырой, бесприютный был вечер. У Плещеева от этой сырости поламывало в костях, когда он шел к землянкам медсанчасти. Ветер вдруг ударил в лицо колкой ледяной крупой. Плещеев остановился, поворотясь спиной к ветру, лицом на север — перевести дыхание.

А ведь там, подумалось ему, недалеко за финскими позициями, течет в Ладогу тихая речка Олонка, и стоит на ее берегу деревянный городок Олонец. Ему, Вадиму, три года было, когда отец однажды летом привез его в этот Олонец — с дедом и бабушкой познакомиться. Бабушку он, Вадим, помнил плохо, а вот дед Василий, высокий и прямой, с лысой головой и скрипучим голосом, хорошо запомнился. На второй, что ли, день он, Вадим, во дворе стал гоняться за курами, те страшно раскричались, раскудахтались, и дед Василий, выйдя на шум, подхватил его, Вадима, на руки. Нет, не побил, но понес в комнату — в

горницу — и посадил его на шкаф. Вадиму стало страшно под потолком, он расплакался, а дед, стоя под ним, втолковывал, что нельзя кур гонять и вообще обижать домашних птиц и животных…

Давно нет в живых деда и бабушки — и теперь Вадим, вспомнив о них, подумал: хорошо, что они не дожили до войны, до захвата Олонца финской армией. И еще подумал: как здорово, что удалось на Свири остановить финнов, а под Волховом — немцев. Что не дали им соединиться и замкнуть за Ладожским озером второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Это новое слово *блокада* недавно замелькало на столбцах газет, вырвалось из черных тарелок радиорепродукторов. Большую беду означало оно. В своих коротеньких письмах мама не употребляла этого слова. Она писала: «У нас страшный голод и холод. Димочка, — писала она, — надеюсь, что на фронте у тебя не голодно. Береги себя!» Три маминых письма дошло до Вадима зимой, но вот зима кончилась, март на дворе, а от мамы с середины февраля не приходило писем.

Беспокойно было на душе у Вадима Плещеева.

Подземная жизнь не очень приятна, скорее наоборот. Но все же это жизнь.

Жизнью, несомненно, была наполнена простор-

ная землянка бригадной медсанчасти, носившая хорошее название — «палата для выздоравливающих». Полтора десятка коек тут стояли, и лежали и сидели на них морпехи, чьи раны оказались не смертельными и заживали. Топилась в углу печка, и — замечательное явление! — пол тут был не земляной, как в прочих землянках, а закрытый досками. С потолка, тоже дощатого, свисали две керосиновые лампы «летучая мышь». По узким проходам сновали санитарки Пичугина и Дроздова, «наши птички», делали свою повседневную работу, бойко отвечали на шуточки раненых.

Плещеев спустился в «палату» и, осмотревшись, прошел к койке Травникова в дальнем углу. Травников лежал, по горло накрытый одеялом, и разговаривал с кем-то, сидевшим на койке у него в ногах. Да это же Павел Лысенков. Он, помкомвзвода во взводе Сахацкого, тоже был в разведывательном рейде и вот — пришел Травникова проведать.

Поздоровались.

— Да ничего, опять я живой, — ответил Травников на вопрос Плещеева о самочувствии. — Садись, Вадим, послушай, что́ Павел рассказывает. Важная новость.

Ну, у Паши Лысенкова всегда есть новости. Откуда только узнает? Он медленно помигал на Вадима, словно раздумывая, стоит ли с ним делиться важной новостью, и сказал:

— Ну, короче: готовится наступление. С задачей отбросить финнов от Свири и освободить Петрозаводск.

— Здорово! — сказал Вадим. — А у меня тоже… интересный был только что разговор.

И рассказал о давешнем допросе.

— С чего-то взял этот майор, что Савкин ждал, когда кончится бой, чтобы сдаться в плен. Полная чушь! И будто Савкин говорил, что у финнов линия на Свири не слабее, чем линия Маннергейма…

— Я сам слышал, как Савкин это сказал, — вставил Лысенков.

— Ну и что? Разве это не так?

— Так или не так, мы не знаем. А вот преувеличивать силу противника… ну, неправильно это.

— Паша… — Вадим посмотрел на бывшего однокурсника с удивлением. — Да ты что? Сила противника! Кажется, мы с тобой ее узнали не понаслышке… Ты что, Паша?.. Уж не ты ли сообщил майору про Савкина… про линию Маннергейма?

— Чего ты ко мне пристал? — Лысенков поднял-

ся, шапку нахлобучил. — Савкин, Савкин! А кто его знает? О чем он думает? Он же себя выше всех считает! Пошел я. Поправляйся, Валентин.

После ухода Лысенкова немного помолчали.

— Что скажешь, Валя? — поинтересовался Вадим.

— Не знаю. В душу, конечно, не залезешь, но этот Савкин, по-моему, и верно какой-то… ну, высокомерный.

— И поэтому сдался финнам?

— Я этого не говорил.

— Но подумал, да?

— Нет! — повысил голос Травников. — Сдаться финнам в плен — это предательство. Не допускаю мысли, что Савкин предатель.

— Что такое? Что за споры перед сном? — раздался властный женский голос.

Лена Бирюля, спустившаяся в землянку, прошла к койке Травникова.

— Привет, прекрасная Елена. — Вадим улыбнулся, с удовольствием глядя на красивое лицо медсестры.

— Здравствуй, усатенький. И до свиданья, время визитов кончилось.

— И она метнула взгляд, синей молнии подобный, — сказал Вадим.

— Всегда что-нибудь придумаешь, усатенький. Ты что, поэт?

— Я быстроногий ристатель.

— Не знаю, что это такое. Ну что, Валя? — Она тронула ладонью лоб Травникова. — Все еще температуришь. На-ка, измерь.

Лена вручила ему градусник, И, оборотясь, вопросила грозно:

— А кто тут курит? Прекратить немедленно!

Вадим дорогой третий день собираюсь тебе написать но рука не идет. Трудно очень. Мама твоя три дня назад умерла. Она очень ослабела я как могла ей помогала. Я с работы пришла а она лежит на кровати в шубе в валенках. И не дышит. Ты не представляешь как мы зиму прожили без отопления без света и воды и голод страшный 125 грамм хлеба горького а вместо мяса студень из бараньих кишок. Вера держалась я ей помогала мы почти всю мебель ваш буфет старинный на дрова порубили для буржуйки. Чтобы согреться немного. Воду из Невы таскали в ведре. Она говорила Лиза смотри у меня тела совсем не стало. Лев Васильевич

приходил принес хлеба масла немного он офицер в военной газете. Я ему из больницы позвонила что Вера умерла он на машине приехал мы Веру отвезли похоронили на Пискаревском. Без него я бы не управилась. С 25 января нормы немножко прибавили но все равно голод страшный. Вадим я квартиру вашу заперла чтобы Ника не залезла стерва ужасная воровала если что в кухне оставишь у меня два куска мыла украла. Вадим мама за тебя всегда беспокоилась твои письма перечитывала говорила у меня жизни нет пускай я привыкла а за что Димка страдает. Она тебя любила очень. Вадим напиши мне что получил письмо. Я запятые ставить не люблю если хочешь сам поставь где надо. Тебе посылают сочувствие Рая и Роза Абрамовна. Они говорят от Оси давно нет писем наверно пропал без вести. Вадим дорогой целую тебя. Елизавета.

Осточертевший пейзаж переднего края: выжженный артогнем лес, вырванные с мощными корнями сосны, колючая проволока, мокрый от

дождя кустарник. Из него — прямо перед глазами — косо торчит ствол пушки, брошенной финнами в боях прошлой осенью.

Дождь как полил в начале апреля, так и льет почти без передышки. Скоро зальет наши окопы, землянки и дзоты, всю нашу жизнь.

Смотрю — и вижу сквозь бесконечный дождь два голубых озера. Это твои глаза, мама. Твои удивительные, широко распахнутые глаза под седой челочкой. И руки твои вижу — маленькие, с ссадинами и набухшими венами, с мозолями от оборонных работ, руки, лежащие на скатерти рядом с недопитой чашкой чая. Хочу поцеловать, мама, твои руки. Что же ты, говорю я себе, ни разу их не поцеловал? Олух ты, корю я себя. Олух, стесняющийся выказать свою нежность…

Передний край расплывается перед моими глазами, полными непролившихся слез.

Бригаду трясло. Сам командующий 7-й армией, в состав которой она входила, приехал к нам на пятачок, на правый берег Свири, потребовал объяснений: почему пропал боец Савкин, не вернувшийся из ночного рейда? Мы понимали, конечно, что отец Савкина, полковник из штаба Ленфронта, гонит эту волну. Понимали, как он переживает. Владлен был единственный сын у

него. Но искать виновных в гибели сына… Война есть война. На войне открывают огонь и убивают. Это узаконенное убийство людей. Разве виноват лейтенант Сахацкий, возглавлявший разведгруппу, в том, что боец Савкин погиб в ночном бою? За что же Сахацкому грозят разжалованием? Хорошо еще, что не трибуналом… Или мичман Травников, командир взвода, — разве при отрыве от противника он мог проверить, не летит ли в каждого бойца убийственная пуля? Его самого, Травникова, противник чуть не уложил насмерть. А я, помкомвзвода, в мелком чине главного старшины, в чем виноват?

Наслушались мы начальственного рыка — сверх головы. Не знаю, чем бы закончилось расследование нашего злополучного разведрейда, если б не целый ворох событий в апреле.

Главным событием, конечно, был приказ всем курсантам высших военно-морских училищ вернуться в Ленинград для продолжения учебы. Нас, ушедших из училищ в морскую пехоту, не много осталось в живых в сухопутных боях минувшего сорок первого. А тут весна подступала. Скоро вскроется ото льда Финский залив, и уцелевший флот, стянутый в его восточный угол, должен будет охранять морские подступы к

Кронштадту и Питеру. Нам, курсантам, предстояло по *ускоренной* программе окончить училища и пополнить выбитые кадры командного плавсостава. Офицерами мы станем — это царапающее наш комсомольский слух слово, очищенное от ругани, как бы вновь возвращалось в строй.

Нашу бригаду сменит тут, на Свири, другое соединение. И еще: с большой вероятностью мог подтвердиться слух о готовящемся наступлении. Уже не только всезнающий Паша Лысенков об этом говорил, но и комбриг на совещании комсостава.

Кстати: Лысенков подал рапорт об оставлении в сухопутных силах. Ну да, военно-морские науки повергали его в сон, я помнил, как он дремал на лекциях и при этом ухитрялся расписываться на тетрадном листе, делая вид, что ведет запись лекции. А в окопной жизни Лысенков нашел себя — был, можно сказать, исправным младшим командиром.

В день нашего отъезда, ранним утром, мы с Валей Травниковым вылезли из землянки на свет божий, со своими винтовками и тощими «сидорами» за спиной.

— Япона мать! — пробормотал Травников. — Ну и погода!

С серого неба, давно не видевшего солнца, лил дождь, холодный и беспросветный, как при библейском Ное. Нас даже не обстреляли, когда мы вытащили из траншеи свои костяки в пудовых от налипшей грязи говнодавах. Да и можно понять финнов: дождь ведь лил и на их головы. Кому охота высовываться из-за бруствера, прицеливаться в нечто размытое, са́тана пе́ркала? (Это финское «черт побери» мы часто слышали с их переднего края вместе с другими, чисто русскими выражениями, которые финские солдаты выкрикивали почти без иностранного акцента.)

Когда мы и другие бывшие курсанты, шлепая по лужам, добрались до штаба бригады, оказалось, что машины для переброски нас в Новую Ладогу еще не прибыли. Уж не утонули ли в тающих снегах зимней дороги?

Мы попрятались от дождя в полуразрушенном каменном сарае. Пожалов, нахальный малый из второкурсников, залез в блиндаж, где работали офицеры оперативного отдела, его, само собой, прогнали.

А вот это уж совсем было ни к чему: появилась из лесной чащобы, как подумалось мне, фея этих мест. Конечно, феи не носят краснофлотских шинелей, да и вообще в лесах не феи жили, а — как

они назывались? Кажется, дриады? Вылезши из сарая покурить, я увидел ее, Лену Бирюлю, вышедшую из леса. Шапка на ее белокурой голове сидела набекрень — для фасону, конечно. Она остановилась, озираясь. Я помахал ей. Лена подошла, улыбаясь точно такой улыбкой, какой по утрам улыбались феи… или дриады, сатана перккала…

— Привет, усатенький, — сказала она. — Вы еще не уехали?

— Как видишь. Машины еще не пришли.

— Ясно. А где Валентин?

Я кивнул на дверной проем сарая. Лена отправилась туда. Я посмотрел на ее ноги, открытые от края коротковатой шинели до ботинок, — на ее икры, обтянутые черными чулками, сквозь которые слегка просвечивала белая кожа. И вспомнилось мне совсем уж несуразное: «Однако ножка Терпсихоры прелестней чем-то для меня».

Ну да, конечно, куда там мне до Валентина Травникова. Он высокий, рожа красивая, глаза цвета крапивы… Не то что я, косолапый, с рыжими усами, с шишкой на голове… К тому же она, Лена Бирюля, чуть не пол-литра своей крови отдала Травникову… одна и та же кровь в них взыграла, вот и все…

Дождь перестал лить. Только капало и капало сверху.

Докурив, я вошел в сарай. Тут полно было морпехов — не только курсантов, но и матросов корабельных специальностей, которых тоже отзывали с сухопутья на флот. В том углу сарая, где зияла огромная пробоина в стене, они стояли, Лена и Валентин. Разговаривали, смеялись, — ну и черт с ними. Какое мне до них дело…

Наконец пришли две полуторки, «по уши» забрызганные водой и грязью. С шуточками, с подначками полезли морпехи в их кузовы. «Опять дорога, — подумал я. — Мама, — подумал я, — вот я снова еду в Питер, а тебя там нет…»

— Смотри-ка, главный, — сказал Пожалов, стоявший в кузове рядом со мной. — Мичман наш никак со своей бабой не расстанется.

Они, и верно, не торопились. Что-то Лена говорила Травникову, а он кивал, слушая ее.

— Красивая баба, — продолжал наблюдательный Пожалов. — Задние черты лица у ней замечательные.

— Заткнись! — сказал я.

— Заканчивайте посадку! — крикнул кто-то из штабных.

Те двое подошли к машине. Лена улыбнулась

мне снизу:

— Прощай, усатенький!

— Счастливо оставаться, прекрасная Елена, — сказал я без улыбки.

И, подав руку, помог Травникову влезть в кузов.

Машины тронулись. Лена махала нам, пока за поворотом лес не заслонил ее.

По раскисшей от дождей грунтовке, по бесконечным лужам и колдобинам, мы катили в Новую Ладогу — базу Ладожской флотилии на восточном берегу озера, в устье реки Волхов.

Этот неказистый одноэтажный городок, заваленный снегом, начинающим таять, показался мне безлюдным, ненаселенным. Только близ порта, где дымил какой-то завод (наверное, судоремонтные мастерские), ходили и ездили люди. Виднелись мачты и рубки небольших кораблей, вмерзших в лед у причалов.

Тут мы выгрузились. Я выпрыгнул из кузова машины и — сатана перккала! — чуть не угодил под копыта вороной лошади, везущей подводу, груженную чем-то железным. Лошадь шарахнулась, дернув мордой, а пожилой возница лениво обложил меня матом. Ребята засмеялись. Я проворчал, «сердясь не в меру: „Занес же вражий дух

меня на распроклятую квартеру!“».

Возле домика комендатуры, на груде обломков разбомбленного барака, мы кое-как расположились и пообедали сухим пайком — черняшкой и рыбными консервами. Запили мы с Валей это пиршество водой из моей фляги (не помню, рассказал ли я вам, что фляга у меня трофейная, найденная в какой-то деревушке, откуда удалось выбить немцев).

Пообедав, свернули самокрутки, кресалом добыли огня, закурили. Тучи медленно плыли над нами, но не изливались дождем. В небе, как видно, тоже был перекур.

Я спросил:

— Почему вы с Леной не поцеловались на прощанье?

Валя воззрился на меня:

— А почему я должен целоваться с Леной?

— Ну, ты же переспал с ней…

— Вадим, — оборвал меня Травников, сузив глаза, — кончай пороть хреновину.

Я отвернулся. Что-то горьким был сегодня махорочный дым. От этого (от чего же еще?) как-то теснилось у меня в грудной клетке.

— Если хочешь знать, кто с ней спит, — сказал Травников, — то…

— Нет. Не хочу знать.

— Хочешь. Доктор Арутюнов, вот кто.

«Да пошли вы все в жопу, — подумал я, выдохнув облачко дыма. — Какое мне дело…»

— Я видел, — сказал Травников, решив, наверное, добить меня. — Видел, какими ты на нее смотришь голодными глазами.

Я отбросил недокуренную самокрутку и встал, выкрикнув:

— Еще что ты видел?

И пошел к воротам порта. Подальше от моего заклятого друга. Чтобы не сорваться, не заехать ему в морду…

Я думал, что проторчим тут, в Новой Ладоге, до вечера, чтобы выехать на ледовую дорогу в темноте. Но ошибся. Колонна грузовиков, в том числе и две полуторки с нами, морской пехотой, тронулась засветло. Машин, груженных ящиками и бочками с продовольствием для Ленинграда, было в колонне не меньше пятнадцати. Одна за другой съехали на исполосованный, коричнево-серый, *изъезженный* лед и пошли на небольшой скорости.

В прошлом октябре шли на тихоходном транспортном судне «Вилсанди» с западного берега на восточный сквозь шторм, посвистывал ветер,

бил в лицо дикими порывами. Теперь пересекаем Ладогу в обратном направлении, и тот же ветер бьет нам в спину. На Ладоге без ветра нельзя. Уж так заведено в здешнем краю с первого дня творения.

Слева — торосы и зенитная батарея среди них, пушки выкрашены в белый цвет. Справа — торосы и между ними вмерзшее в лед полузатонувшее черное судно. Изъезженная ледовая дорога вдруг исчезла — под колесами покрытая рябью, темная вода, колонна словно плывет по озеру талой воды. Озеро поверх озера…

Выехали опять на дорогу. Торосы, торосы. Вспомнилось: наш комбат, в прошлом речной капитан из здешних мест, рассказывал, что лед способен на злые шутки. Вдруг, в одно мгновенье, он с треском дыбит торосы, и был случай, когда внезапный торос поднял на гребне машину, из которой посыпались люди и грузы. Не знаю, правда это или миф.

Но вот что правда: лед под колесами вдруг стал потрескивать. Не сильно, но внятно. Ребята, сидящие в кузове, притихли — оборвались все разговоры.

Знаете, страшно это. Мое дурацкое воображение живо нарисовало картину: грузовик носом,

задрав корму, проваливается в разлом льда, в трещину, в черную холодную глубину…

Ну да, говорю я себе, середина апреля, весна, лед на озере тает… Но есть же служба, измеряющая толщину льда… не может же быть, чтобы…

Треск прекратился. Вскоре возник вновь. Но почему-то уже не так страшно было…

Да нет, все равно страшно.

Шло уже к полуночи, когда перед колонной машин вырисовалась на темном, слегка луной подсвеченном фоне неба черно-полосатая башня Осиновецкого маяка.

Глава восьмая
Лиза

В адски холодном актовом зале училища мы, морская пехота, пропахшая окопной сыростью, тротиловой вонью и махорочным духом, выслушали приветствие начальства в лице батальонного комиссара — широкоплечего невысокого брюнета с орденом Красного Знамени на кителе. Нам предстояло — старшекурсникам к началу лета, третьекурсникам к началу осени — по ускоренной программе подготовиться к экзаменам, чтобы, сдавши их и пополнив кадровый офицерский состав флота, принять участие в решающих боях. «Фашистская Германия, — объявил батальонный комиссар хрипатым голосом, — должна быть разгромлена в текущем году».

Потом нас повели в баню.

Если хотите знать, что такое счастье, то вот правильный ответ: счастье — это баня. Мы получили по куску черного мыла и вафельные полотенца, ну а чистое белье — у кого было, у кого нет. У меня были сравнительно чистые кальсоны и тельняшка, а носки я намеревался в бане выстирать.

Баня! Мы знали, что все бани в Питере закрылись еще в декабре: не работал водопровод. И вот поди ж ты — длинной колонной идем по линиям Васильевского острова, — куда идем? В баню, черт побери!

На углу группа женщин в ватниках, в валенках с галошами, разгребает снег с трамвайного пути. Все они худющие, с синеватыми лицами, и не слышно ни разговоров, ни смеха, словно это и не женщины вовсе, а так — бесплотные существа из других миров.

А вот выехал из-под арки, из двора какого-то, грузовик с горой грязного снега. Мне показалось, что поверх этой горы лежат несколько человеческих фигур, присыпанных снегом.

Возле бани — толпа женщин.

— Эй, морячки! — крикнула одна густым голосом. — Быстрее мойтесь!

— Сегодня наш день, женский! — добавила другая. — А вы вперлись!

— Да мы не виноваты! — откликнулись курсанты. — Пошли с нами, бабоньки! Вместе помоемси!

И в ответ:

— Очень вы нам нужны… Да мы бы пошли, только вы испугаетесь, когда глянете на нас…

Теплая вода из крана — это же чудо, братцы! Ты окатываешь ею себя, и снова наполняешь шайку, и блаженствуешь; мокрые волосы лезут в глаза, и какой-то шутник заезжает тебе ногой по заднице.

Нет ничего прекраснее бани! Я даже сочинил нечто в своем излюбленном стиле: «Чресла омыв, и ланиты, и прочие органы тела, снова, подобно троянцам, мы к битве готовыми стали» — ну и так далее. Хотел показать кому-нибудь свое замечательное творение — но кому? Ванечке Шапкину прочитать бы, но нету Вани… Вальке Травникову? Он, конечно, оценил бы, но вскоре после нашего прибытия в Питер Валя получил письмо из Кронштадта, от которого сделался мрачным, глядел сурово, лопатой махал неистово.

Да, учебный процесс начался с большой приборки.

Тут надо пояснить, что училище имени Фрунзе, с частью преподавателей и курсантов, эвакуировалось по Ладожской ледовой дороге и обосновалось в далеком от войны Баку. Здание же училища за зиму дико промерзло, сквозь разбитые окна навалило снегу, осыпалась с потрясенных стен штукатурка, на паркетах, залитых водой из лопнувших труб, образовалась

толстая наледь. Мы выгребали грязь, ломили лед, зашивали разбитые окна фанерой. На улице, на 8-й линии, вгрызались кирками и лопатами в горный хребет серого, набухшего весенней водой снега, кидали его в грузовики…

На третий день уличных работ это было. Моя лопата ткнулась во что-то темное, вмерзшее в лед. Я стал осторожно окапывать — увидел ногу… костлявые, обтянутые желтоватыми рейтузами, вдетые в черные валенки ноги… огромный платок, намотанный на пальто… Голод свалил эту женщину, наверное, уже давно, в декабре или январе, лицо ее было страшно — она кричала, или плакала, или молилась, перед тем как навеки уснуть в ледяной купели…

Сутулый, как вопросительный знак, водитель подъехавшей полуторки хмуро взглянул на труп женщины и сказал:

— Их полно на улицах. Жмуриков замерзших. — И добавил, сворачивая цигарку: — А куда денешься, если голод.

Это и Елизавета подтвердила: тысячи трупов раскапывают на улицах из сугробов, вытаскивают из подвалов, выволакивают с лестниц домов, с мостов, с невского льда. Смерть под названием алиментарная дистрофия бродила, размахивая

косой, по городу, осажденному беспощадным врагом.

В тот вечер, когда я, получив увольнение, отправился домой… ну, не то чтобы домой, а навестить Елизавету Юрьевну, в тот вечер был обстрел. Немецкая артиллерия, как подумал я, прижавшись к каменному боку Академии художеств, била по набережным, у которых стояли врассыпную корабли Балтфлота. Грохотало неподалеку — у моста Лейтенанта Шмидта. А вот ударили наши. Минут через двадцать артиллерийская дуэль смолкла.

Я вошел во двор родного дома. Двор было не узнать: заваленный снегом в рост человека, с двумя-тремя прорезанными в нем пешеходными дорожками, он был грязен, залит нечистотами. Пытаясь обойти лужи, я прошел к своему подъезду — черному прямоугольнику, не имеющему двери. Спалили, наверно, старую дверь со всеми нацарапанными на ней надписями. Лестница была скользкой, грязной, с мерзким запахом.

Это — мой родной дом?!

Звонок не работал: еще не настал, видимо, час, когда ненадолго давали электричество. Я постучал. Тишина. Не пришла еще, что ли, с работы Елизавета? Да и вообще… мало ли что?.. Я уже

повернулся уходить, но тут звякнул засов, щелкнули замки — дверь отворилась. Там в полутьме стоял мужчина плотного сложения с седой шевелюрой и молодым лицом. На нем были галифе, гимнастерка без знаков различия и поверх нее меховая жилетка.

— Елизавета Юрьевна дома? — спросил я.

— Нету ее. — Седой-молодой вдруг заулыбался. — А вы Плещеев, да? Заходите. Она скоро придет, вы у нас обождите.

— Да нет… Приду в другой раз.

— Заходите, прошу! — Мужчина прямо-таки излучал доброжелательность. — Ника! — крикнул в темную глубь коридора. — Иди сюда! Наш сосед прибыл!

Ника подошла, шаркая шлепанцами. Она похудела, конечно, за минувшую зиму, но не выглядела дистрофиком, под длиннополым шерстяным жакетом угадывалась фигура, не высушенная дистрофией.

— Ой, Вадим! — заулыбалась она. — Заходи, заходи!

Я все еще торчал на лестничной площадке, не хотелось мне идти к ним в гости.

— А моя мама все вспоминает, как из очереди твою маму притащила, — сказала Ника. — Ой,

ну идем!

Она ухватила меня за рукав шинели. Мы прошли по темному коридору в покатиловскую комнату. Тут на круглом столе горела керосиновая лампа. У окна, крест-накрест заклеенного бумажными полосами, топилась чугунная печка с коленом, выведенным в форточку. На печке стоял чайник — наш старый синий чайник с облупленной крышкой, я его сразу узнал. А в углу за печкой сидела в кресле худая старая женщина с вытаращенными глазами. Она нисколько не была похожа на Клавдию Поликарповну, но… кто ее знает… блокада сильно отражается на людях… Я поздоровался с ней — она не ответила, только слегка пожевала губами.

— Это моя мамаша, — сказал седой-молодой. — Ага, стемнело, надо маскировочку сделать.

Он задернул окно черной шторой, прибавил в лампе огня, подкинул в печку пару поленьев. Он неслышно двигался в мягких чувяках, и видно было, что он не ослаблен дистрофией. Да и не седой он, как я вначале подумал в полутьме, а белобрысый — ну, альбинос. А лицо было красноватого цвета.

— Вы садитесь, Вадим, — сказал он, придвигая стул. — Давай выпьем за знакомство. Как полага-

ется. Меня Геннадий зовут.

— Я пить не буду. Ты сказала, — обратился я к Нике, — твоя мама мою притащила. Это как?

— А ты не знаешь? — Ника ставила на стол тарелки, стаканы. — Они в очереди стояли за хлебом. А тут обстрел. Как раз по Большому проспекту. Одна бомба прямо в очередь и попала…

— Не бомба, а снаряд, — поправил Геннадий.

— Какая разница? Много баб побило, всю очередь почти. Твоя мама тоже упала. Моя увидела, кинулась к ней, думала, что убитая. А у ней это… живая, только не видит, не слышит…

— Контузия, — сказал Геннадий, ставя на стол бутылку.

— Да. Ну, моя стала ее поднимать. Там еще одна была с нашего дому. Они твою маму на ноги поставили и домой повели. Вот моя лежит, значит, вспоминает. Как же так, бормочет, я ее, Веру Иванну, до дому притащила, а она померла…

— Садись, Вадим. — Геннадий уже и плеснул из бутылки в стопки. — Это чистая водка. С гарантией. Не технический спирт. Помянем.

— А где твоя мама? — спросил я Нику.

— Да там, — мотнула она головой на дверь во вторую комнату. — Слабая совсем, не встает.

Я хотел пройти туда, спасибо ей сказать, но

Ника не пустила:

— Не надо. Мама спит.

Она сняла с буржуйки чайник и стала наливать в стаканы чай. Давно не видел я крепко заваренного чая, — нам ведь под таким названием давали кипяток, слегка подкрашенный чем-то. А тут был именно чай. Но не нравилось мне, что без спросу наш чайник взяли. Да и этот альбинос краснолицый не нравился.

Тут я услышал шаги в коридоре.

— Спасибо, — сказал я, отстраняя руку Геннадия со стопкой водки. — Елизавета Юрьевна пришла, мне с ней повидаться надо.

— Вадим! — Елизавета кинулась мне на шею, я чмокнул ее в щеку. — Ой, как я рада!

Она только что пришла, зажгла на столе коптилку, пальто еще не успела снять или вообще его не снимала. В комнате было холодно, не то что у Покатиловых. На железном листе перед печкой-буржуйкой лежала куча обрезков досок, перевязанная веревкой.

— Очень сегодня повезло, — говорила Елизавета оживленно, — пачку папирос выменяла на эти доски. А знаешь, что́ люди рассказывают? Кто-то с Медного всадника доски содрал, которыми его заколотили. Мол, ему не холодно, а мы согреемся!

Она засмеялась, глядя на меня ласковыми глазами. И принялась растапливать буржуйку — наколотые щепки заложила, сунула скомканный обрывок газеты и подожгла. Дым повалил в комнату, но тут же, сообразив, что ли, что пыхнул не туда, пошел в трубу, выведенную за окно. Оно было заколочено фанерой.

Я огляделся. Мебели в комнате почти не было. Стояли у стен две кровати, заваленные одеялами, скатертями, чем-то еще. Стол, накрытый клеенкой, был заставлен посудой. Еще стояла в углу швейная машинка «зингер». Ну и пара стульев — вот и вся мебель. Тут и там на голых стенах были ободраны обои (серые, в выцветших розовых цветочках). Висел телефонный аппарат (но телефон не работал). В черной тарелке репродуктора стучал метроном, бесстрастно отсчитывая тягучее блокадное время: так-так-так-так…

— …Не представляешь, Вадим, как мы жили… — Елизавета, растапливая печку, ставя на нее кастрюлю и что-то наливая из судка, говорила безостановочно. — В ноябре–декабре по рабочей карточке двести пятьдесят, а нам, остальным, — сто двадцать пять грамм… Это два тонких ломтика… А хлеб — одно название… говорили, в нем целлюлоза… опилки сосновой

коры… Съедобные опилки — представляешь? Да что опилки! Конторский клей варили — студень получался… давились, но ели… К нам в больницу на санках привозили умирающих… груды трупов, завернутых в простыни… Ты не представляешь! Сейчас разогреется, мы супу поедим.

— Не надо, Елизавета Юрьевна. Я не голодный, а вы поешьте.

— Какая я тебе Юрьевна? Просто Лиза.

Так-так-так-так — стучал метроном.

— Твоя мама вот на этой кровати умерла. Заснула и не проснулась. Я ее в январе к себе забрала, вдвоем теплее. Вадим, она не жаловалась — никогда! Один только раз сказала: «Лиза, посмотри, у меня тела не стало. Вот растаю, и никакого следа от меня не останется». Лев Васильич приходил, приносил немножко хлеба, масла. Вера ему говорила: «Зачем? Не надо. У тебя же своя семья». А он жену с дочкой отправил в эвакуацию. Про тебя спрашивал. Ты зайди к нему, Вадим, он в редакции газеты Ленфронта.

— Зайду, если смогу, у нас увольнения редкие.

— Ты снова учишься на морского командира?

— Да. Лиза, это правда, что маму контузило, когда она в очереди за хлебом…

— Так и было. Снаряд шарахнул рядом с оче-

редью, человек десять баб побило осколками насмерть, другие разбежались, а потом вернулись снова в очередь… стали рядом с трупами… Сидорова Маша из восемнадцатой квартиры вдруг заметила, что Вера шевельнулась. Подняла ее, тут и Покатилова Клавдия стояла, помогла, вдвоем они Веру привели домой. Вера не слышала, плохо видела, ходила, за стены хватаясь…

— Что такое контузия, я знаю.

— Я хотела Веру в больницу, но она наотрез… Речь к ней вернулась, хотя и не очень внятно, — она говорит: «Дома хочу умереть». И знаешь, не совсем понятно… «Да, — говорит, — я готова…» Будто с кем-то разговаривает… И так мягко… «Нет-нет, с меня хватит, — говорит, — ну сколько можно… А дров всегда не хватало…» Это последние ее слова, какие я услышала. «Дров всегда не хватало».

— Маме казалось, что она с Богом говорит?

— Не знаю. Голод очень на психику воздействует. А насчет Бога… сейчас… — Елизавета из ящика стола достала желтоватый листок. — Вот. Кто-то мне в почтовый ящик это бросил.

Я прочел машинописный текст: «Лишь Бог спасет Ленинград. Молитесь! Пришло время апокалипсиса. Христос на вершинах Кавказа».

— Время апокалипсиса… — Я хмыкнул. — А что это значит — Христос на вершинах Кавказа?

— Откуда я знаю? — Елизавета подкинула в печку обрезков досок. Сняла платок с головы и с улыбкой посмотрела на меня. — Ой, знаешь, вчера великое было событие. Трамвай пустили! Всю зиму вагоны стояли в сугробах, разбитые, ну — мертвые. А вчера, я сама видела, «семерка» шла по Большому проспекту. Набитая людьми! Как до войны! Я увидела — плакать захотелось… Да-да, прохожие смотрели на трамвай и плакали.

И, словно в подтверждение этих ее слов — «как до войны», — вспыхнул в комнате электрический свет. Он был неярок, темно-желтый, но все равно — ослепителен. В нем Елизавета, осунувшаяся, с обтянутыми скулами и слегка опухшими веками, показалась мне немыслимо красивой. Улыбаясь, она взбила волосы, примятые платком. У нее прежде была короткая стрижка, теперь же волосы отросли — волнистые, рыжевато-русые, вьющиеся на концах.

Я сказал, что хотел бы заглянуть в свою квартиру. Прошли в конец коридора, я повозился с замками, не сразу поддавшимися поворотам ключей. Мы вошли.

Дыхание перехватило от лютого холода — будто в прорубь во льду провалился. Комната, столько раз снившаяся мне, наполненная привычными вещами, родными лицами, жизнью, — была пустая… мертвая… Не было в ней большого буфета, шкафа, старинного стола с фигурными ножками. Только стоял у двери в кабинет диван, заваленный одеялами, одеждой, подушками без наволочек. И у окна, зашитого фанерой, торчала железная печка с раскрытой дверцей — она словно кричала, требуя огня.

— Да, — сказала Елизавета, медленно кивая. — Все сожгли, что давало тепло.

Я вошел в кабинет, зажег свет. Со стены уставился на меня с портрета дед Иван Теодорович, его взгляд показался строгим, даже осуждающим. А бабушка Полина Егоровна смотрела удивленно.

Поразительно было то, что уцелели книги на полках и старинный письменный стол Ивана Теодоровича. У мамы не поднялась рука, чтобы сжечь их, подумалось мне. На столе, рядом с чернильным прибором, лежала — случайно забытая — тетрадь в выцветшей голубой обложке. Я раскрыл ее. Время почти стерло давным-давно записанные слова, но я-то помнил, помнил…

Там, где жили свиристели
И качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей…

Оглушенный, с влажными глазами, я листал бабушкину тетрадь.

Как будто издалека доносился голос Елизаветы, я слышал, но не вслушивался.

— …Каким-то транспортным хозяйством ведает. По-моему, спекулянт ужасный. А эта засранка ему помогает.

— Вы о ком? — спохватился я.

— Ну, об этом Геннадии краснорожем. Ты что, плохо слышишь? У него мать маразматичка. И сестра, тоже стервозная, с ребенком-идиотом. Та еще семейка. Они, Вадим, на твою квартиру нацелились. Мол, стоит пустая, жильцов в ней нет.

— А я что — не жилец?

— Ты где-то воюешь, не живешь… Ника однажды, между прочим, у Веры спросила: «Вы же немка, да? Ваш папа немец был…»

— Он был обрусевший остзейский немец, — сказал я. — Ну и что?

— Это ты Нике скажи — «ну и что?».

Мы вернулись в комнату Лизы. Тут уже тепло

было, буржуйка хорошо горела. Лиза скинула пальто, захлопотала с супом. Я хотел было уйти, но она не пустила. Усадила за стол, налила полтарелки. Суп был жиденький, плавали в нем три… нет, четыре ломтика сушеной картошки. В сущности, горячая водичка. К хлебу — тонкой полоске липкой черняшки — я не притронулся.

Лиза, критическим взглядом окинув меня, сказала:

— У тебя шрам возле глаза. А усы не стрижены, правый ус длиннее левого. Давай-ка подстригу.

Так-так-так-так — стучал метроном.

Положив мне на грудь полотенце, Лиза принялась ножницами щелкать у меня под носом. От нее веяло теплом и каким-то женским запахом. Я обнял ее. Она села ко мне на колени, ножницы бросила на стол. Всмотрелась в меня вопрошающим взглядом, сказала тихо:

— Ты хочешь?

О Вадиме в детстве-отрочестве очень заботилась мама. Вера Ивановна обожала сына. Рано научила читать-писать, даже играть в шахматы. Кидалась йодом или зеленкой замазывать каждую ссадину, полученную Вадимом при падении или в школьной драке. *Оберегала* сына.

Но жизнь сложилась так, что поотвык домаш-

ний мальчик от маминых забот. Курсантские годы, а потом война — самому приходилось заботиться о том, чтобы, как называл это Вадим, сохранить свой скальп.

Один-одинешенек остался он после смерти Веры Ивановны, некому было заботиться о нем.

И вдруг — Лиза.

Отдаваясь Вадиму, она шептала: «Хороший… хороший мой… сладко тебе?..» Каждый раз, когда Вадим приходил, старалась приготовить что-то вкусное: то луковицу где-то раздобудет, то даже пару яиц — и вовсе невиданное лакомство. Даже каша из льняных жмыхов обретала приемлемый вкус под ее заботливыми руками. Она перестирала и выгладила белье Вадима, заштопала дырки на пятках его носков.

Лизу тревожило, что у Вадима поламывало суставы.

— Это признак цинги! — восклицала она, округлив беспокойные глаза.

— Да какая цинга? — отвечал с усмешкой Вадим. — Цинга знаешь, у кого была? У матросов Магеллана.

— Ты не шути. Дима! Магеллан! Цинга — тяжелая болезнь! От голода, от нехватки витаминов.

Из своей больницы Лиза принесла пакетики с

красным порошком.

— Вот! Это витамин це. Перед едой два раза в день будешь принимать.

И пояснила: один питерский профессор нашел способ извлекать необходимый организму витамин из сосновых игл.

А тут курсантам, да и всему личному составу флота, стали выдавать облатки с этим красным порошком. Витамин С! Никто раньше о нем и не слыхал. А теперь оказалось, что без него нельзя жить. Без витамина С как раз и заедет тебе в зубы цинга, и станешь ты *полужмуриком*.

Ох и много полужмуриков тащилось по ленинградским улицам весной сорок второго — высохшие, опухшие, со страшным безразличием в глазах. Говорили, что в апреле очень возросла смертность в Питере, что похоронили не менее ста тысяч человек. И еще прошел слух, что к этому апрелю в городе осталась всего треть населения, которое было 30 августа, когда немцы захватили Мгу и началась блокада.

Так вот, еще о витамине С. Его красный порошок очень был похож по цвету и рассыпчатости на перец — флакончики с перцем и солью имелись на столах в училищной столовой. Как-то утром Вадим прибежал на завтрак с опозданием,

когда вся группа уже сидела за столом. Сел на свое место, схватил лежавший возле тарелки с перловой кашей пакетик и, развернув его, всыпал в рот. И — чуть не умер от удушья. Это был перец! Вадим сразу выплюнул, выхаркнул жгучий порошок, схваченный слюной, но от мгновенного ожога перехватило дыхание. Он захрипел, застонал, глаза выкатил… дело могло плохо кончиться, если б не сунули ему в руку кружку с водой. Несколько трудных глотков… вдох, другой… продышался…

Кто-то за столом заржал: вот же «купили» Плещеева! Но большинство смотрело сочувственно. Травников крикнул:

— Пожалов, это ты ему перец подсунул?

— А что такое, пошутить нельзя? — Улыбка на худеньком лице курсанта Пожалова погасла.

— А вот морду тебе расквасить за такие шутки! — резко сказал Травников.

— Ладно, ладно, — прохрипел Вадим. — Будем считать, что меня разыграли. Поскольку я остался живой.

Живой-то живой, а все же цинга, хоть и приостановленная витамином С, дала о себе знать. Десны стали вдруг кровоточить у Вадима, и впервые в жизни разболелись зубы. С двумя даже пришлось расстаться — их выдернул пожилой

дантист в больнице, где работала Елизавета, и посоветовал Вадиму кушать больше овощей, чтобы уберечь от цинги остальные зубы.

Овощи! А где их взять?

Но по приказу Ленсовета по всему городу вскапывали каждый клочок земли, свободной от асфальта, сажали картошку, капусту и прочие овощи. Даже на Марсовом поле, среди торжественных захоронений, близ позиции зенитной батареи, робко зазеленели огородные грядки. А Елизавета — вот же удивительная баба! — не дождавшись урожая овощей, раздобыла где-то миску квашеной капусты, каковой и лечила Вадима. То ли капуста помогла, то ли женская забота себя оказала, только цинга постепенно отпустила Вадима. Он уже не вспоминал несчастных матросов Магеллана.

Он сочинил: «Если ты страшной злодейкой цингой обзавелся, морской пехотинец, если она, расшатав твои зубы, сыпью пометила жопу твою и, конечно же, бледные ноги, то обратись поскорее к Елизавете, Юрия дщери. Только она с помощью квашеной овощи сможет злую цингу усмирить…»

— Ну ты и сочинитель, Дима! — Лиза посмеялась, выслушав его самодельный гекзаметр.

И вдруг погрустнела. — Вот ты написал «Юрия дщери». А знаешь, Юрий Алексеич, мой папа, был замечательный человек.

— Мама говорила, что ты дочка московского врача.

— Да. Папа был хирург. Веселый, с сильными руками. Обожал оперу, сам с хорошим слухом, пел арии из опер. Знаешь, какую особенно любил? «Но никогда я так не жаждал жизни, не жаждал жизни!..» — пропела Лиза.

— Это, кажется, из «Тóски»?

— Да. Ария Каварадосси. Как он пел, Дима!

У Лизы дрогнул голос. Она закрыла лицо ладонями.

— Что ты, Лизанька? — Вадим погладил ее по голове. — Не плачь, милая.

— Мне так нравится, когда ты говоришь «милая». — Лиза вытерла слезы, вздохнула. — У папы запас жизни был на сто лет, не меньше. И вдруг эта страшная болезнь. Лейкемия.

— Что это?

— Рак крови. Папа сгорел за два месяца.

— Сочувствую, — сказал Вадим. — А почему ты уехала из Москвы?

— Почему я уехала… — Лиза долгим взглядом посмотрела на него. — В тебе, Димочка, есть

что-то, вызывающее доверие. *Тебе* можно рассказать… Почти год прошел после папиной смерти, и мама снова вышла замуж. За сотрудника папы, врача-анестезиолога. Он бывал у нас дома, такой улыбчивый, молодой. Он здорово играл на пианино, аккомпанировал папе, а папа пел. Такие концерты устраивали! Значит, мама вышла за него, за Станислава. За Славочку, как его все называли. Мама ведь еще молодая была, младше папы. Ты слушаешь, Дима?

— Я весь внимание.

— А мне показалось, что ты отключился… Ну вот… Я тогда в восьмом классе училась. Дурочкой была, конечно, но, знаешь, заметила, что Слава поглядывает на меня… ну, ты понимаешь…

— Да, понятно.

— Мама работала завучем в школе, вечно на работе. А у отчима свое расписание времени. И вот однажды…

Опять она закрыла лицо руками.

— Лиза, — сказал Вадим, уже понимая, к чему клонится ее рассказ. — Лиза, если трудно об этом, то не надо.

— Ну, если я уж начала… Я билась, царапалась, выла, но он был сильнее. Он изнасиловал меня. Вот почему я уехала. Я бежала из Москвы, потому

что не могла под одной крышей…

— Понимаю, — кивнул Вадим. — Бедная ты моя!

— Бедная Лиза! — Она невесело усмехнулась. — В Питере жила старшая сестра мамы, вдова, я и приехала к ней. Свалилась на ее седую добрую голову. Мама прикатила тут же, чтоб увезти меня обратно, но я наотрез… Дима, слез было пролито через край. Я осталась в Ленинграде, у тети Дуси, у нее была комната в коммуналке на Охте. И поступила в медучилище. Что тебе еще рассказать?

— Ничего больше не надо.

— Нет. Надо. Ты ведь хочешь знать, какое сокровище заполучил. В нашем училище были девчонки — ну, не то чтобы гулящие, но очень озорные. Они вытащили меня из депрессии. «Хватит киснуть, Коса-Краса!» Я носила тогда длинную косу, вот девчонки и прозвали меня так. И Коса-Краса отправилась с веселыми подружками прожигать жизнь. Они, знаешь, дружили с курсантами артиллерийского училища на Выборгской стороне. Романы крутили. Закрутила и я. Аркадий был настоящий красавчик. Веселый, танцевал как бог.

— Боги разве танцевали?

— Еще как танцевали! Ну и дотанцевалась я,

Димочка, до того, что пришлось делать аборт…

— Лиза, хватит! Чтó ты душу выворачиваешь?

Но Елизавета, помолчав немного и допив свой чай, жестко продолжила:

— Аборты были запрещены. Мне делала подпольная повитуха. Чуть не отправила меня на тот свет. Но я все-таки выжила. А мой Аркадий в то лето как раз окончил училище и исчез. Даже адреса не оставил, по которому я могла бы послать милому другу прощальный привет. Вот. Дима, ты думаешь, я побежала топиться в пруду? Нет. Я не бедная Лиза. Но и не богатая. Просто решила, что все мужчины скоты и я больше не буду их подпускать. Свою красивую косу отрезала. Хотя и жалко было. Тетя Дуся всплакнула даже: «Ай-яй-яй, что ты наделала, идиотка?» Она была добрая и переживала за меня. У нее, знаешь, муж был белый офицер, его расстреляли в двадцатом году, и тетя Дуся после него осталась одна навсегда. Она умерла в тридцать восьмом.

Лиза опять уставила на Вадима долгий взгляд:

— Ты хочешь спросить, почему же я тебя подпустила?

— Да, — сказал Вадим, тронув пальцем усы. — Почему?

— В тебе нет того, что я ненавижу, — хамства,

развязности, грубости.

— Лиза… К твоему сведению: война — грубое занятие, и я… В общем, я такой же, как все…

— Нет, Дима. Ты — другой, — сказала она тихо.

Виленские на звонки и стук в дверь не отвечали. Вадим решил, что они эвакуировались по Ладожской ледовой дороге. Но Елизавета ему сказала, что Розалия Абрамовна здесь, по-прежнему работает в армейском госпитале, просто дома бывает редко. А Райка, насколько ей, Елизавете, известно, пошла на военную службу. Кем она сделалась — санинструктором или, например, радисткой, Лиза не знала. Но встретила однажды Райку во дворе дома — она была в военной форме.

1 мая противник обстреливал город с особой яростью. Дескать, вот вам подарок к вашему празднику. Наши батареи, конечно, отвечали, немецкие пушки умолкали, но вскоре опять открывали огонь. Так продолжалось весь день, до вечера, уж какой там праздник — быть бы живу.

Около семи вечера Вадим, получив увольнительную записку, отправился домой. Ну, точнее — к Лизе своей. Накануне он успешно сдал нелегкий зачет по кораблевождению и теперь был намерен отметить это дело. В противогазной

сумке он нес пол-литровую бутылку со спиртом.

Вообще-то, спиртом эту жидкость можно было назвать лишь условно: плохо очищенный, он обладал неприятным запахом и употреблялся для технических надобностей — но и для питья тоже, поскольку чистого спирта, ректификата, остро не хватало. С души воротило Вадима, когда он впервые его отведал, но потом — ничего, привык. Он эту поллитровку выменял у Тольки Пожалова за свое месячное денежное довольствие и пачку махорки. (Между прочим: махорка тоже стала дефицитной, вместо нее теперь выдавали *филичёвый табак*. Сделанный черт знает из чего, только не из табака как такового, филичевый был вонюч и горел с треском, выбрасывая искры. На флоте его прозвали ММБ, то есть «матрац моей бабушки». Были и другие прозвища: БТЩ — «бревна, тряпки, щепки», ТЩ — «только щепки», а также ППЖ — «прощай, половая жизнь».) Пожалов был необычайно динамичный парень, мог достать и выменять все, что угодно, ребята шутили, что в его зад вставлен мотор мощностью в двести лошадиных сил.

Только выскочил Вадим из училища, как взвыл и поплыл над Ленинградом, все выше забираясь, сигнал воздушной тревоги. Вернуться и пере-

ждать налет в подвале бомбоубежища? Но Вадим лишь ускорил шаг. Бегом пробежал по 8-й линии до Университетской набережной и, между прочим, не столько о воздушном налете думал, сколько о том, что в бутылке затычка слабая, как бы спирт не вылился.

Повернул на набережную, увидел остановившийся красный вагон трамвая — и в эту самую минуту обрушился с ясного неба вой моторов и нарастающий металлический свист. Рвануло недалеко, за памятником Крузенштерну, из Невы вымахнул огромный столб воды. И спустя несколько секунд — еще ближе — оглушительно, страшно. Набережная содрогнулась, толчок разорванного взрывом воздуха отбросил Вадима к стене дома. Летели обломки разрушенного трамвайного вагона. Вадим поднялся. Прямо на него бежали уцелевшие пассажиры из разбомбленного трамвая. Маленькая женщина в военной форме, в берете со звездочкой, упала, кем-то сбитая с ног. Вадим, расталкивая толпу, шагнул к ней, схватил под мышки, помог подняться.

— Перестань орать, — сказал он Райке.

Да, это была она. Безумным взглядом Райка уставилась на Вадима. Взрывы бомб удалялись. Взахлеб били по бомбардировщикам зенитки.

— Ой, не могу, не могу, — слышал Вадим проясняющимся слухом Райкину скороговорку, — успела выскочить, когда рвануло… а тут второй… прямо в трамвай… не могу, не могу, не могу…

Вадим, крепко держа Раю под руку, повел ее сквозь дым и смрад бомбежки к 4-й линии. И, лишь войдя во двор родного дома, Рая пришла в себя, успокоилась, отряхнулась. Удивленно помигала на Вадима:

— А ты? Откуда ты взялся?

— То же самое и я могу спросить. Здравствуй! — Он обнял Райку, поцеловал в щеку. — Гляди-ка, — ткнул пальцем в ее петлицы с одним треугольничком, — ты, оказывается, младший сержант? Вот так и начинают свою карьеру маршалы.

— Ой, Димка, как я рада тебя видеть, — сказала она, — живого, усатого. Пойдем к нам; мама, наверно, уже пришла из госпиталя. Или ты к своей Елизавете торопишься?

Вадиму не понравилась подначка, он ее пропустил мимо ушей. Надо ведь, уже сплетня пошла гулять по дому!

Поднялись на второй этаж, тут теперь было довольно чисто, только пахло нехорошо. И в квартире Виленских воздух был застоявшийся, нежилой. В гостиной, прежде красиво обстав-

ленной, стояли лишь стол со стульями и старый беккеровский рояль. Когда-то музицировал тут Михаил Лазаревич, да и Райка играла, пока не оборвала музыкальное обучение.

Розалии Абрамовны дома не было.

— Уговорились с мамой по телефону, что вечер вместе проведем, — говорила Рая, сняв берет и взбадривая гребешком прическу.

Она была теперь коротко подстрижена и, очень похудевшая, обтянутая гимнастеркой и юбкой хаки, казалась выше ростом, чем прежде. Вадим кивнул на ее фетровые бурки:

— Почему не по форме обута? Где твои сапоги?

— Почему, почему… — Рая вынимала из противогаза и клала на стол какую-то снедь. — На вещевых складах нет сапог моего размера.

Да уж, ножки у нее были куда меньше, чем предусмотрено военной службой. Что правда, то правда.

Вадим вынул из противогазной сумки бутылку и озабоченно ее осмотрел. Затычка, плотно сложенная из газетного обрывка, промокла, пропиталась спиртом, но держалась в зеленом горле бутылки. Ну, порядок на Балтике. Вадим предложил Рае «хлебнуть» по случаю хорошо сданного зачета.

— Да я не против. Тем более закуска есть, — сказала Рая и вытащила из ломтиков черного хлеба удивительное лакомство — кубик бело-розового сала.

— Откуда это у тебя? — спросил Вадим.

— К празднику выдали. Только давай маму дождемся.

— Ладно. Райка, где ты служишь?

— Где я служу? — Она села напротив Вадима, принялась нарезать на тарелке сало на тонкие ломтики. — Понимаешь, в политуправлении Ленфронта есть отдел по разложению войск противника. У них радиопередачи и газета «Die Front» на немецком языке.

— Газета? И немцы на нее подписываются?

— Не говори глупости, Дима. Газету перебрасывает авиация в немецкий тыл. Партизаны распространяют… Хочешь слушать, так не перебивай.

— Слушаю, слушаю, товарищ младший сержант.

— Меня вызвали в этот отдел, проверили, как я знаю язык, потом надолго замолчали. Проверяли, наверно, кто я такая. Я уж и забыла про них. Ты не представляешь, Димка, какая ужасная была зима.

— Представляю, Раечка.

— Я уже доходила, но мама не дала мне дойти. Если б не мама с ее железным характером… В общем, я выжила. А в конце февраля меня опять вызвали. И определили на военную службу — им нужны люди с немецким языком. И я стала работать в редакции газеты «Die Front».

— Ты пишешь статьи, которые разлагают…

— Перевожу на немецкий. Да, статьи антифашистского, антигитлеровского содержания.

— Райка, ты думаешь, эти статьи хоть как-то…

— Ничего я не думаю. Но бывают очень даже умные статьи. У нас работает один ленинградский писатель.

— Знаешь, в первые дни войны у нас был политрук, так он говорил нам, что немецкие рабочие из классовой солидарности портят на заводах снаряды и бомбы. Между тем их снаряды и бомбы исправно взрываются.

— Твой политрук был просто дурак. Да, так вот, работает у нас писатель Александр Ярцев, ты, конечно, не слышал о нем…

— Об Александре Дюма слышал, а об Александре…

— Он германист, — не обратила Райка внимания на замечание Вадима. — Переводил Гёте,

Виланда, Гейне. Он немолодой уже, под шестьдесят, зимой потерял жену, да и сам еле выжил. В отделе ему выхлопотали командирский доппаек. Ярцев чудно пишет! Напоминает немцам, какая великая культура у них за плечами.

— Великая культура всегда уступает грубой силе, — сказал Вадим. — Так уж идет история. Культура, в сущности, беззащитна. Те же германцы, например… ну, их предки, варвары, сокрушили Рим с его великой культурой.

— Ах, ах, какое блестящее объяснение!

— Больше не буду. Я, вообще-то, не объясняльщик. Просто подумал, что немецкие солдаты, даже и прочитав умные статьи Ярцева, не перестанут обстреливать Питер.

— Но кому-то из них западет в голову, что они ведут захватническую войну…

— Ну и что, если западет? Он перестанет стрелять?

— Дима, ты нигилист. Не хочу с тобой спорить.

— Да и я не хочу. Райка, это же здорово, что ты нашла свое место на войне. За это тоже надо выпить. А что Оська? Есть какие-нибудь сведения?

— Мама наконец получила ответ на свои запросы из штаба Ленфронта. Две строчки: «Боец второй дивизии народного ополчения Иосиф

Виленский считается пропавшим без вести».

— Бедный Оська…

— Но ведь это не значит, что он погиб?

— Да, не значит. — Вадим потеребил усы. — Пропавшими без вести считают тех, гибель которых не установлена… Ну, если нет определенных свидетелей… Оська мог, например, попасть в окружение, уйти к партизанам.

«А мог и, раненый, попасть в плен», — подумал Вадим. Но вслух эту мысль не высказал: плен для Оськи означал бы гибель… не надо пугать Райку…

— Мы надеемся, — сказала она. — Мы с мамой надеемся, что он жив. Аня тоже надеется, я с ней виделась перед ее эвакуацией. Она плакала… говорила, что у Оськи огромный талант…

— Давай выпьем за Оську, — предложил Вадим и извлек из бутылки промокшую затычку.

Елизавету беспокоила цинга у Вадима, но с помощью витамина С и, конечно, квашеной капусты цингу одолели. Отделался от нее Вадим, потеряв всего лишь два зуба. Но теперь Лизу беспокоило другое. В Ленинграде, схваченном за горло блокадой, умерли от голода, погибли при бомбежках и обстрелах десятки тысяч жителей (да и не на сотни ли тысяч уже шел счет?). Многие

ленинградцы эвакуировались по Ладоге. И теперь пустовало в городе множество квартир.

— Захватывают! — говорила Лиза, округлив беспокойные глаза. — Представляешь, Дима? Какие-то мерзавцы захватывают пустующие квартиры.

— Ну и зря, — посмеивался Вадим. — Их всех поймают и в тюрьму посадят.

— Ты какой-то легкомысленный, Дима. Посадят! Они же подкупают управдомов, да и милицию, наверно. Попробуй их выковырять из захваченных квартир!

— Да ты не беспокойся, милая.

Вадим обнял ее, привлек к себе.

— Я о тебе беспокоюсь! Дима, тебе надо принести в домоуправление бумагу из части, ну, с курсов твоих…

— Какую еще бумагу?

— Ну, что ты учишься на офицера флота. И просишь позаботиться о квартире, о сохранности… Ты пойми, эти гады, Ника и Геннадий, не остановятся… Ох! Димка, перестань целоваться… Ох… Неугомонный… хорошо, хорошо… сейчас…

Наверное, он, Вадим, и впрямь был легкомысленный. В одно ухо влетело ему предостережение Лизы, из другого вылетело. Правда, учебная на-

грузка на курсах очень возросла с приближением лета. Оставляла мало времени для других дел.

Вдруг вызвал Вадима батальонный комиссар Гладких. Черноволосый, широкоплечий, он сидел под портретом Сталина за столом, перед ним лежали какие-то бумаги. С острым прищуром он всмотрелся в Вадима.

— Садитесь, курсант Плещеев, — прохрипел он. — Как у вас дела по учебной части?

Выслушал краткий ответ Вадима, а потом задал неожиданный вопрос:

— Вы кто по национальности, Плещеев?

— Я русский, — ответил удивленный Вадим.

— Но ваша мать немка.

— Ну, наполовину. Ее отец был из обрусевшей семьи прибалтийских немцев… подданных России…

— Как его фамилия?

— Фамилия деда — Регель. Он был кораблестроитель, работал в Питере на Балтийском заводе.

— Были у него родственники в Германии?

— Нет, насколько я знаю… Дед был строителем первых советских сторожевиков…

— Подвергался репрессиям?

— Нет. Дед умер на стапеле… на строящемся корабле…

— У вашей матери были какие-либо связи, переписка с людьми немецкой национальности?

— Нет. Никаких связей не было. Товарищ батальонный комиссар, я не понимаю смысла ваших вопросов…

— Сейчас поймешь, Плещеев.

Опустив голову, Гладких полистал бумаги на столе. Вадим увидел круглую плешь среди черной шевелюры. Невольно всплыло в памяти литературное сравнение: «как луна в джунглях». О батальонном комиссаре Гладких знали на курсах, что он во время финской войны был в лыжном десантном отряде, действовавшем на островах в Выборгском заливе. Гладких воевал храбро, был ранен, награжден орденом Красного Знамени — на курсах к нему относились уважительно.

«Что это он вздумал копаться в моей родословной?» — подумал Вадим. В груди у него неприятно теснилось.

— Ну вот, Плещеев. Поступил сигнал, что у тебя мать — немка. А раз мы воюем с Германией, значит тебе не место на курсах, готовящих советских офицеров.

— Товарищ комиссар! — Вадим, побледнев, вскочил на ноги. — Да вы что…

— Сядь, Плещеев. Это тут, — постучал Гладких пальцем по бумажному листу, — так написано. Я знаю, что ты воевал в бригаде морской пехоты у полковника Парафило.

— Да. И не только у него в первой бригаде, но и в третьей, на Свири.

— Я просмотрел твое личное дело, Плещеев. Между прочим, я дружил с Парафило… Слушай! — Гладких как бы сам себя оборвал. — Давай как десантник с десантником… Никаких претензий к тебе не имею. Но поступил сигнал, и моя обязанность — разобраться. Кто такая Сальникова, написавшая этот… эту бумагу?

— Сальникова? Не знаю, товарищ комиссар. Хотя… как ее имя-отчество?

— Инициалы — Н. Е.

— Тогда знаю. Ника Егоровна Покатилова, моя соседка по квартире. Вышла замуж, сменила фамилию… Сальникова, значит.

— Почему твоя соседка пишет на тебя донос?

— Потому что сволочь она. И муж у нее гад, спекулянт. У меня, товарищ комиссар, в марте мать умерла. От дистрофии. Наши две комнаты стоят пустые, так эти гады хотят у меня отобрать…

— Понятно, Плещеев. Но и ты пойми: я обязан поступивший сигнал передать в особый отдел.

Это по их части.

Как удары тяжелого молота упали эти слова. «Да какого черта?.. Воюю, учусь, выполняю приказы — так что вы лезете ко мне с какими-то расспросами? Что за дурацкая подозрительность?»

— Обязаны передать, так передавайте, — сказал Вадим и поднялся: — Разрешите идти?

— Погоди. — Гладких смотрел на него, подперев щеку ладонью. — Слушай, кем тебе приходится Лев Плещеев?

— Он мой отец.

— Он писал о действиях нашего десантного отряда. Во время финской войны.

— Разрешите идти? — повторил Вадим.

— Он же известный журналист. Герой штурма Кронштадта. Поговори с отцом, Плещеев. Ты сказал, муж этой Сальниковой — спекулянт? Пусть отец пригрозит ему судом. Пусть приструнит твоих соседей. Ты понял?

— Да… понял…

— О нашем разговоре никому не говори. Только отцу. А теперь…

Гладких скомкал бумагу с доносом, положил на стеклянную пепельницу, чиркнул спичкой и поджег.

— Никому ни слова, Плещеев, — повторил он.

— Спасибо, товарищ комиссар, — обрадованно сказал Вадим. — Большое спасибо!

Он узнал, где находится редакция газеты Ленфронта «На страже Родины» — в историческом здании Главного штаба, — и намеревался в первый же день увольнения навестить отца.

Но все получилось иначе. Отец вдруг сам заявился к нему.

Вызванный комиссаром Гладких с занятий, Вадим вошел в его кабинет с беспокойной мыслью: что еще стряслось? Гладких восседал за своим столом, а перед ним сидел лысый сухопутный офицер, тоже батальонный комиссар, судя по нашивкам. Он встал навстречу Вадиму, улыбаясь и глядя сквозь крупные очки в роговой оправе.

— Здравствуй, Дима! — Отец обнял Вадима.

От него пахнуло хорошим табаком.

— Здравствуй, — сказал Вадим, слегка отстраняясь.

— Ну, вы тут побеседуйте, — прохрипел Гладких, — а у меня дела.

Прихрамывая, стуча палкой, он вышел из кабинета.

— Возмужал, возмужал! — Плещеев-старший, что называется, во все глаза глядел на сына. Улыб-

ка на его хрящеватом лице угасала, карие глаза за стеклами очков смотрели невесело. — Садись, Дима. Ты куришь?

Он раскрыл коробку «Казбека».

— Ух ты! — Вадим осторожными пальцами вынул длинную папиросу. — Вам такое роскошное курево выдают?

— Нет, конечно. — Лев Плещеев чиркнул спичкой. — Я брал интервью у одного генерала, он мне подарил. Дима, я страшно рад тебя видеть. Ты уцелел в боях, это же подарок судьбы.

— При чем тут судьба? — Вадим медленно выпустил струю ароматного казбечного дыма. — Просто повезло.

— Просто, да не просто… Безумно жалко маму. Я пытался хоть как-то ей помочь…

— Знаю, — резко сказал Вадим.

Ему не хотелось выслушивать слова, саднящие душу. Он понимал, конечно, что надо бы потеплее с отцом, столько лет прошло-пролетело, пора прекратить ссору. К тому же он теперь не мальчик с наивными понятиями, он осознал, какой мощной притягательной силой обладают женщины, и мог понять отца… нет, не простить ему измены, но *понять*…

— Знаю, что ты помогал маме, — повторил он

мягче. — А как ты… как твоя семья пережила зиму?

— Жена с Люсей были на грани… Очень тяжело было, Дима. Но в январе удалось эвакуировать их по Ладоге. Они в Саратове сейчас, вернее — в Саратовской области. Там есть город Аткарск. Вот они там.

— Понятно.

— Вадим, — сказал отец, сняв очки и потирая пальцем переносицу. — У меня беда. Позавчера разбомбили мой дом.

— Да ты что?! Где это?

— На Загородном проспекте. Близ Витебского вокзала. Бомба попала как раз в тот угол дома, где моя квартира. Ничего не осталось у меня, Дима. Все завалило… разрушило…

— Сочувствую, отец! Но хорошо, что сам-то уцелел.

— Меня дома не было. Я, после того как отправил их в эвакуацию, дома редко бываю. Живу в редакции. Но как же без квартиры…

— Отец, мои комнаты пустуют, я же там не живу. Переселяйся ко мне, вот и все.

— Я об этом и хотел попросить… но ты сам, с полуслова… Спасибо, сын.

Вадим еще одну «казбечину» взял из раскрытой

на столе коробки, уж очень хорош был, после филичёвого горлодера, этот всадник, скачущий на голубом фоне Кавказского хребта. По-деловому сообщил отцу, что ключи от квартиры у Елизаветы Юрьевны, у нее же и что-то из одежды, и посуда. И о намерении Ники и ее хахаля захватить плещеевские комнаты, ну и о доносе, присланном на курсы, тоже рассказал.

Отец, нахмурясь, покачал головой:

— Поподробнее, Дима. Что именно она написала?

— Что мать у меня немка и поэтому я не имею права учиться на офицера.

— Вот же тварь!

— Наш комиссар предложил поговорить с тобой. Поскольку ты… ну, известный человек… и мог бы приструнить этих… Муж Ники, ну, сожитель… какой-то спекулянт. Елизавета уверена. Да и видно по ним, по Нике и Геннадию, что не дистрофики они.

— Геннадий, а фамилия как?

— Не знаю. Ника теперь Сальникова, так подписала бумагу. Но это может быть фамилией первого мужа, кладбищенского начальника.

— Дима… — Отец в раздумье наморщил лоб. — Тебя вызывали уже в особый отдел?

— Нет. Гладких прямо при мне сжег донос.

— Сжег? — У Плещеева-старшего за очками ярко, как в молодые годы, блеснули глаза. — Ай да Коля Гладких! Недаром я написал очерк о нем, он ведь был в десантном отряде, который…

— Знаю, отец.

— Ну, так. Это, конечно, облегчает задачу. Я займусь. А ты, сын, напиши бумагу, что не возражаешь против моей прописки… Я узна́ю поточнее и сообщу тебе, как надо написать по всей форме.

— Ладно. — Вадим посмотрел на своего «Павла Буре». — У нас сейчас обед будет, пойдем. Покормлю тебя. Уж очень ты отощал, папочка.

— Спасибо, Дима, но у меня нет времени. Так когда у тебя производство в офицеры?

— Летом. В июле, наверно.

— Пойдешь на надводные корабли?

— Хочу на подводные лодки.

— А-а, это здорово! Знаешь, я веду переговоры в Пубалте, хочу сходить в поход на какой-нибудь подлодке. Кампания уже началась, верно?

— Кампания началась. Но подводное плавание, отец, очень опасное дело. Финский залив сильно минирован.

— Ничего. Чем опаснее, тем лучше.

— Да? Ты так считаешь? — Вадим с некоторым даже удивлением смотрел на Плещеева-старшего. — Ну ладно. Можно я возьму еще пару папирос?

— Возьми всю коробку.

— А как же ты — без «Казбека»?

— Обойдусь. Ну, счастливо, Дима!

— Будь здоров, отец.

Они обнялись на прощанье.

Глава девятая
Кампания сорок второго

Производство в офицеры прошло, конечно, не так торжественно, как до войны. Но все же было построение в зале Революции, и к новоиспеченным лейтенантам обратился приехавший из штаба флота капитан первого ранга — поздравил их от имени Военного совета флота и выразил уверенность в том, что они отдадут все силы борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, — ну, в общем, напутствовал молодых офицеров.

Травников — ростом самый высокий — стоял в строю на правом фланге, задрав, как полагается, выбритый подбородок. Хорошо, без единой складки, сидел на нем новенький китель с нашивками на рукавах — одна средняя и одна тонкая под золотой звездочкой. Он глядел на штабного каперанга, но не вслушивался в гладкие слова напутственной речи.

О чем же думал лейтенант Травников в столь торжественный момент своей жизни? Не о том ли, что вот, назло всем смертям, всем чертям, он выжил, уцелел, сохранил, как говорит Дим-

ка Плещеев, свой скальп? Или, может, думал о полученном на днях письме матери из Москвы — письме, полном беспокойства о нем и об отце (отец, старший Травников, не послушался врачей, пошел воевать; дивизия, в которой он был начальником политотдела, попала в окружение, понесла тяжелые потери, но с группой бойцов Травников-старший пробился, в боях под Москвой был ранен и пошел было на поправку, однако сердечный приступ надолго приковал его к койке в одном из московских госпиталей — не годилось его больное сердце для войны).

Нет. О сыне своем — вот о ком думал новоиспеченный лейтенант Травников.

Витьку Маша родила в январе. Письмо, в котором она известила Валентина об этом событии, было необычно коротким. «Мальчик, — писала Маша, — как будто здоровый, хотя вес небольшой. С питанием трудно, молока у меня нет, но делаем все возможное, чтобы прокормить. После сентябрьских бомбежек мама еще не оправилась. О смерти бабушки я тебе уже писала. Доходят мои письма? Валя, береги себя…»

Письмо и обрадовало, и встревожило Травникова. «Вес небольшой… молока нет…» Он понимал, конечно, что в Кронштадте такой же голод, как в

Питере, — блокада проклятая. Не лучшее время для родов. Травников написал Маше, как он рад, предложил назвать сына Виктором. Душа его рвалась в Кронштадт, но что же он мог поделать, если война определила ему сидеть в окопах на берегу Свири, не пускать финнов соединиться с немцами, замкнуть второе блокадное кольцо.

А с конца февраля письма от Маши перестали приходить. Травников очень тревожился. Ледовая почта ходила ненадежно, немецкие самолеты бомбили ладожские автоколонны. Он, Травников, засыпáл Кронштадт треугольниками своих беспокойных писем.

Вскоре после прибытия курсантов в Ленинград пришло наконец письмо из Кронштадта. Маша извещала Валентина, что в последний день февраля их сын, Виктор, умер. «Не удалось спасти малыша» — этими горькими словами заканчивалось письмо.

И теперь, стоя в строю, Травников думал о Викторе, сыне своем, которого ему не довелось не то что спасти — даже увидеть. И еще думал лейтенант Травников о предстоящей встрече с Машей. Подлодки, зимовавшие в Питере, уже начали переходить в Кронштадт. Скоро и «эска», на которую он, Валентин, получил назначение,

пойдет туда. По тону Машиных писем Травников чувствовал: что-то переменилось. Голод, бомбежки, тревога за ребенка и его смерть — все это не могло не отразиться… не потрясти душу… Травников понимал это. Предстоящая встреча в Кронштадте и радовала его, и страшила.

Обед после торжественного выпускного акта был не по-блокадному хороший. Коки расстарались. Бледно-зеленые листки какого-то растения изображали закуску. На первое принесли суп из гороха с настоящим (не консервированным) мясом. На второе — жаркое из мяса же с картофелем (сушеным). И — внимание! — дали компот из настоящих сухофруктов! Нет, вы понимаете? Вернулся на обеденные столы компот, без которого всегда была немыслима флотская служба.

Конечно, и положенный спирт был выдан: как же без него?

В конце обеда Плещеев подсел к Травникову, поздравил. Ему-то, Плещееву, выпуск предстоял позже — вероятно, в июле. Они обменялись рукопожатием, немного потравили по обыкновению.

— Раньше, — сказал Плещеев, — ты был лохматый, как де Сото. А теперь тебя здорово обкарнали.

— Кто это — де Сото? — поинтересовался Трав-

ников.

— Ты не знаешь? Бенито де Сото, последний пират, который…

— А, вспомнил. О нем Лухманов писал в «Соленом ветре». Он плавал на черной бригантине, да?

— Да. Она называлась «Black joke». «Мрачная шутка». А теперь ты выглядишь как стриженый пудель.

— Ты находишь? — Травников допил из граненого стакана компот и прищурился на Плещеева. — А ты знаешь, на кого похож? На Планше.

— А кто это?

— Слуга д'Артаньяна.

— А-а, да-да. Д'Артаньян его высмотрел, когда Планше стоял на мосту и плевал в Сену.

— Его высмотрел Портос и привел к д'Артаньяну. Что ж ты не помнишь таких простых вещей? Портос заявил, что это занятие — плевать в воду и любоваться разбегавшимися кругами — означает склонность к рассудительности.

— Ну, — засмеялся Вадим, — рассудительности, точно, у меня не меньше, чем у Планше.

Бывают же такие совпадения: на «эске» капитан-лейтенанта Сергеева опять пустовал штат минера, и лейтенант Травников получил назна-

чение именно на эту подводную лодку. Вот же удача!

Майским днем Травников, переждав утренний артобстрел, отправился к месту службы. По мосту Строителей перешел на Петроградскую сторону, миновал Госнардом с черными руинами сгоревших «американских горок» и длинной дугой проспекта Максима Горького вышел к площади Революции. Продвигался Травников привычным быстрым шагом, но непривычной была одышка — последствие ранения в легкое. Вещмешок за плечом не очень отягощал его: все-то имущество состояло из нескольких тельняшек, трусов и носков, бритвы-безопаски и зубной щетки, да еще были там две книги — «Капитальный ремонт» Леонида Соболева и Корабельный устав.

Троицкая церковь посредине площади выглядела неважно — обшарпанная, без креста. Между нею и Посольским домом, почерневшим от старости и военных невзгод, расположилась позиция зенитной батареи.

А вот и Петровская набережная. Когда-то, при царе, чье имя она носила, здесь был первый порт строящегося Санкт-Петербурга. Тут, у деревянных пирсов, стояли, покачивая мачтами с зарифленными парусами, первые корабли, пришедшие «в

гости», «первые флаги» (и где-то поблизости, подумалось Травникову, был трактир, знаменитая *австерия,* где сам Петр Алексеевич сиживал и выпивал с иноземными шкиперами).

Теперь у гранитного парапета Петровской набережной стоял двухмачтовый корабль «Иртыш» — плавбаза бригады подводных лодок. К ее борту, как дочки к маме, приникли три субмарины, накрытые маскировочными сетями. На рубке одной из них Травников увидел хоть и поблекший, но хорошо знакомый номер «своей» подлодки.

Оформление в штабе бригады было недолгим. Уже через час с четвертью Травников сошел с трапа на узкую палубу «эски», поднялся на мостик и был встречен вахтенным сигнальщиком — старшим краснофлотцем Лукошковым.

— Здравия желаю! — Матрос козырнул с широкой улыбкой. — Опять к нам служить, товарищ лейтенант?

— Опять к вам. Здравствуй, Лукошков, — сказал Травников.

Его хорошо встретили на «эске». Капитан-лейтенант Сергеев стиснул ему руку и, усадив в своей каюте на разножку, сказал басовито:

— Так, Валентин Ефимович, лейтенант флота

российского. Поздравляю. Рассказывайте — где воевали. И как живым остался.

Травников с удовольствием смотрел на сухощавое лицо командира с насмешливым изгибом губ. Сергеев похудел, конечно, по сравнению с прошлым летом, но командирской осанки не потерял.

Только начал Травников рассказывать о своих боях, как в каюту вошел военком — старший политрук Гаранин.

— Здравствуй, здравствуй! Мне уже сказали, что ты снова к нам.

Травников, обменявшись с комиссаром рукопожатием, глядел на него со смешанным чувством удивления и сочувствия. Почти неузнаваемо осунулось лицо Гаранина — ввалились щеки, выпятился подбородок, а глаза, еще недавно веселые и самоуверенные, будто заволокло тенью.

— Ну что, Владимир Иваныч? — отнесся к нему Сергеев. — Есть новости?

— Нет, Михаил Антонович. В сводке только про отход на новые позиции. И большие потери.

Позже, после обеда (обедали в кают-компании на «Иртыше»), узнал Травников от инженер-механика Лаптева, что в Харькове, захваченном немцами, остались у Гаранина молодая жена и

родители, с прошлого августа не было от них писем. А когда 12 мая началось наше наступление на Харьков с юга, с Барвенковского выступа, — Гаранин обрадовался.

— Ну что ты! — сыпал Лаптев скороговоркой. — Воспрянул он. Все сводки информбюро слушал в радиорубке, ждал, когда скажут, что Харьков освобожден. А до Харькова — не дошли. Что-то там, на юге, не так.

Он был все такой же, механик Лаптев: порывистый, напористый. Все тот же «пиратский» взгляд черных раскосых глаз вперял он в собеседника.

У него на «Иртыше» была двухместная каюта, к нему и определили Травникова на временное жилье. Здесь, на маленьком письменном столе, лежали навалом служебные бумаги. Была тут под стеклом и фотокарточка с обтертыми уголками — а на ней удивительный оркестр. Под деревьями сидел на табурете парень с нечесаной головой, с растянутым баяном на коленях. Вокруг него расположились, сидя на земле, семеро босоногих подростков в майках и трусах, в пионерских галстуках. Они играли на дудочках, один бил палочками в барабан, а худенький мальчик с выпученными глазами, с колпаком, свернутым из газеты, на чернявой голове, держал подвешен-

ный к веревочке металлический треугольник и, видимо, ударял по нему ложкой.

— Узнаешь? — Лаптев ткнул пальцем в музыканта с треугольником. — Да я это, я! Это наш шумовой оркестр в пионерском лагере в Бузовнáх.

— Что за Бузовны? — спросил Травников.

— Приморское селение на Апшероне, близ Баку. Я же бакинец! А вот эта особа, — указал Лаптев на хорошенькую девочку с бойким лицом, с панамой на кудрях, с дудочкой у рта, — за ней весь пионерлагерь стрелял. Ну что ты! Валька Фаталиева! Твоя тезка. Представляешь, я отшил всех кандидатов, ха-ха-а! Мы с Валькой поженились сразу, как школу окончили.

— Молодец, — улыбнулся Травников. — Тебе любая преграда нипочем. Жена здесь, в Питере?

— Нет, последним поездом уехала с дочкой. Поезд немцы бомбили, но он проскочил. Валька в Баку, преподает в школе математику, она же мехмат окончила. А дочка болеет. Что-то с нервной системой после той бомбежки.

Они курили, пуская дым в открытый иллюминатор. Вечер был тихий, светлый — не настал еще час вечерней бомбежки. Напротив стоянки «Иртыша», на левом берегу Невы, впал в задум-

чивость (не о прежней ли спокойной жизни?) пышно-зеленый Летний сад.

— Вот ты сказал «любая преграда нипочем», — продолжил разговор Лаптев. — Эх, как бы не так! У нас зимний судоремонт, Валя, был — как последний день Помпеи. Ну что ты! Все, что можете, делайте своими силами, — так приказало начальство. А сил-то мало! Триста грамм хлеба, чечевичная похлебка, чумичка перловой каши — это сила?

— Знаю, знаю, — буркнул Травников. — Нас, морпехоту, тоже не бифштексами кормили.

— Бифштексы! Ну и вскрыли мы механизмы, с обоих дизелей сняли крышки цилиндров, начали шабрить, клапана притирать. А где поршневые кольца взять? Втулки? На мои заявки — одна резолюция: «Отказать за отсутствием...» Я, Валя, такую битву вел за кольца. Ну что ты!.. А знаешь, — вдруг прервал Лаптев свою скороговорку, — знаешь, что самое страшное было? В начале сентября все лодки приняли по две глубинные бомбы и легли на грунт.

— Глубинные бомбы? Зачем?

— А затем, чтобы взорвать, если немцы ворвутся в Питер. Все корабли, весь флот — на воздух! Такой был секретный приказ. Мы лежали

недалеко от Большого Кронштадтского рейда и слушали… Валя, ничего страшнее нет, чем лежать на грунте, а над тобой грохот бомбежек, зенитная пальба. Кронштадт в двадцатых числах сентября жутко бомбили… Линкору «Марат» нос оторвало…

Бомбежки Кронштадта… Всякий раз, услышав о них, Травников испытывал страх. Рисовалась ему картина: вымахнул черный куст разрыва, Маша бежит от него, прикрывая голову руками, и беззвучно кричит… зовет его на помощь…

— Ну вот, — продолжал Лаптев. — Такой сумасшедший ремонт. Нет запчастей, материалов, перебои с электроэнергией… Мороз, голод. А тут еще давай посылай своих мотористов на завод «Русский дизель» — двигатель там надо собрать, а людей не хватает, поумирали от голода. И на городской водопровод посылай — лопнувшие трубы менять… Ну что ты…

Поздний час уже — двенадцатый. А все еще светло за иллюминатором. Белая ночь. «Пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады…»

Нет, не совсем ясны: туман поднимается от невской воды, от затаившихся стогн. Туман — это хорошо. Может, не прилетят ночные бомбардировщики…

Сквозь туман, сквозь белую ночь — быстрый говорок механика Лаптева:

— Однажды при обстреле ранило в зоопарке слониху Бетти. Как она кричала! Валя, ты не представляешь! Всю ночь слониха кричала, трубила — ужас!

Между Охтенским и Железнодорожным мостами есть в реке Неве ложбина, будто нарочно созданная для боевой подготовки подводных лодок: двадцать четыре метра глубины. Тут застоявшиеся у зимних причалов субмарины перед началом летней кампании отрабатывали погружение-всплытие, проверяли герметизацию отсеков, проворачивали механизмы. На холостом ходу татакали дизели, заглушая канонаду, доносившуюся сверху, с Невской Дубровки, где стоял насмерть десант, отбивший у немцев полоску плацдарма на левом берегу.

На «эске» капитан-лейтенанта Сергеева задачу номер один отработали благополучно. Механизмы, стряхнув зимнее оцепенение, отстучали-прогудели-отзвонили готовность к началу кампании.

Правда, старший лейтенант Зарубов выражал недовольство. На лодке был он человеком новым — заменил помощника Бойко, назначенного

командиром одной из лодок-«малюток». Зарубов, новый помощник, сделал механику Лаптеву замечание: недостаточно быстро сработал трюмный Мирошников по команде «срочное погружение!». Лаптев, конечно, завелся с полоборота:

— В чем дело, норматив Мирошников выполнил, да вы не видели, как он доходил в январе, а вот, пересилил дистрофию…

— Я, товарищ Лаптев, — повысил голос Зарубов, ростом невысокий, но с прямой спиной, — тоже не с планеты Марс прилетел!

На «эске» знали, конечно, что Зарубов на «щуке» служил штурманом — свой человек-подводник, и тот же горький блокадный хлеб вкуша́л, — но…

— Вы меня зарубить хотите! — шумел вспыльчивый Лаптев. — Не выйдет, товарищ Зарубов!

— Перестаньте, Игорь Николаевич, — вмешался военком Гаранин. — Что вы раскричались? С вас не взыскивают, так? Просто примите к сведению замечание помощника командира.

Вскоре, за обедом в кают-компании «Иртыша», штурман «эски» Волновский, кудрявый насмешник, схватил вилку и нож и, вертя ими, выкрикнул:

— Меня зарубить хотят!

Лаптев поперхнулся чечевичным супом, прыс-

нул. А Зарубов, усмехнувшись, проворчал: «Ну вы даете…»

Он, между прочим, и Травникову сделал замечание — дескать, в седьмом отсеке беспорядок, приведите своих торпедистов в меридиан. Беспорядка особого не было, ну разбросан инструмент, переноска валялась посредине отсека, — после такой чертовой зимы не сразу наведешь полный порядок. Травников не стал возражать помощнику, коротко ответил: «Есть навести порядок». Сам-то он находился в первом отсеке, где были четыре торпедных аппарата, а в седьмом, концевом отсеке с двумя аппаратами командиром был старшина группы торпедистов — знакомый по прошлогодним походам Бормотов, теперь уже в звании главстаршины.

Появление Травникова в офицерском чине, в должности командира БЧ, Бормотов, человек с повышенным самолюбием, воспринял сдержанно. Ну и ладно. Строго уставные отношения устраивали обоих. А порядок в седьмом Бормотов навел быстро.

Глава десятая
Сенечка

Семен Малякшин, радист, происходил из хорошей семьи: его отец Константин Семенович был детским писателем. Начинал он битву жизни актером Театра юных зрителей. Своими шутками, озорными четверостишиями молодой острослов обратил на себя внимание Самуила Маршака. Онто, набиравший известность поэт и драматург, посоветовал актеру Малякшину попробовать силы в литературе. И дело пошло. Первые стихотворные опыты напоминали маршаковские «Багаж» и «Прогулку на осле», потом, однако, окрепла рука неофита, появились веселые рассказы для детей — их печатали в журналах «Еж» и «Пионер». В ТЮЗе приняли к постановке комедию Малякшина. К тому времени он остепенился, был женат на юной актрисе, и уже в их комнате на улице Рубинштейна попискивал младенец, Сенечка, серьезнейшее существо.

Сенечкой называли его родители, и почему-то и в школе, и на физфаке так обращались к нему однокашники. Уж таким он уродился — доб-

рожелательный, любящий, чтобы все было по справедливости. Изредка, но все же встречаются в разнообразной человеческой массе подобные люди — *общие любимцы*.

С детских лет пленили Сенечку стихи и звезды. Юный книгочей бегал в Дом пионеров на занятия кружка любителей астрономии. В редкие для Ленинграда ясные вечера, когда раскидывалось в мощной своей красе звездное небо, очистившееся от вечных облаков, Сенечка Малякшин находил в нем ковши обеих Медведиц, строгие рисунки Волопаса, Ориона, Кассиопеи и других знакомых созвездий. Бормотал строки из Ломоносова: «Открылась бездна, звезд полна. / Звездáм числа нет, бездне дна», из Баратынского: «Себе звезду избрал ли ты? / В безмолвии ночном, / Их много блещет и горит / На небе голубом». Избрал он себе Арктур, альфу Волопаса, ее и отыскивал прежде всего, и чудилось Сенечке, что вокруг Арктура ходит невидимая отсюда планета, а на ней стоит и вглядывается в далекую звезду Солнце разумный арктурианин — и в черной бездне космоса встречаются их ищущие взгляды.

Он был по-юношески твердо намерен стать астрономом, или точнее — астрофизиком, потому и поступил по окончании школы на физический

факультет. Но проучился лишь один год: в сороковом ему исполнилось восемнадцать, и по новому указу о всеобщей воинской обязанности пошел Семен Малякшин на военную службу. Думал отслужить два года в армии и вернуться к учебе, но — выбора-то не было — угодил на флот. Выучившись в Кронштадте, в учебном отряде, на корабельного радиста, был он назначен на подплав, на подводную лодку типа С.

«Себе звезду избрал ли ты?» — пробормотал Сенечка, ступив на узкую стальную спину «эски». Да нет, ничего он не избирал. В оргмоботделе не спрашивали, где ты хочешь служить. Вокруг было сумрачно и дождливо, на пирсе тявкал случайный, кем-то забытый щенок. Сенечка, поднимаясь по крутому трапу на мостик лодки, бормотал: «И в масляной воде качались и шипели / На якорях железные медузы».

«Эска» капитан-лейтенанта Сергеева была везучая. Выдержала первые удары войны, торпедировала три судна противника, уцелела в таллинском исходе. В начале октября лодка, обстрелянная немцами с южного берега, перешла из Кронштадта в Ленинград, встала на зимовку у Петровской набережной.

Получив увольнение, Сенечка помчался домой,

в центр, на улицу Рубинштейна. Только перешел Кировский мост, как начался обстрел. На Марсовом поле, изрезанном укрытиями-щелями, Сенечка сиганул в одну из них. Там сидели на холодной земле несколько женщин с кошелками в руках. Почти целый час просидел Сенечка в щели и слушал, как женщины говорили о своих тяжких жизнях на войне.

Потом он быстро шел по Садовой, близ кинотеатра «Молодежный» увидел полуразрушенный дом, женщин с лопатами среди завала. Еще недавно, летом мирного сорокового года, смотрел он в «Молодежном» фильм «Истребители», там здорово пел Бернес хорошую песню: «В далекий край товарищ улетает». Рядом сидела Лена, однокурсница с физфака, — он, Сенечка, пригласил ее, и вот она в пестреньком сарафане сидела рядом, а он мучительно хотел обнять ее за открытые пухлые плечи, но так и не решился.

На Невском тоже зияли пробоины в сомкнутых рядах домов. Кричали плакаты: «Враг у ворот Ленинграда!» Мешками с песком были завалены витрины кафе-автомата на углу улицы Рубинштейна.

Взлетел на третий этаж родного дома. Ему отворила дверь Инна, семилетняя сестренка, с воплем

«Сенька!» повисла у него на шее. Всегда над ее черноволосой головой возвышался, как петушиный гребень, крупный красный бант, а сегодня он был небрежно повязан где-то сбоку, над ухом.

— Непорядок на Балтике, — сказал Сенечка, входя за сестрой в комнату. — Дай-ка перевяжу тебе бант.

— Я сама повязала утром, — тараторила Инна, кивая на каждом слове, — мама ушла в пять часов в очередь, еще не пришла, ой, Сенька, тебе морская форма как идет! А ты знаешь…

— Постой. Инка. В какой очереди мама?

— Ну, в булочной, за хлебом. Ой, Сенька, по карточкам мало дают, мама сказала: «Не знаю, как тебя прокормлю…»

— Погоди, Инка…

— Мама говорит, за декаду сто грамм мяса, двести грамм крупы, а я не знаю, сколько это…

— Это мало. Ну помолчи минутку. Что слышно о папе? Есть от него письма?

— Да, пришло вот вчера… нет, раньше… Он в Аранби… Никак не запомню…

— В Ораниенбауме. Ну, жив, значит.

Сенечка со вздохом сел на диван. Инна — по́здднее дитя Малякшиных — продолжала болтать, теперь — о Зинаиде Генриховне, соседке, и ее

любимом коте Гекторе, которого она не знает, как прокормить, кошкам и собакам ведь продуктовых карточек не дают, а кушать они тоже хотят, как люди…

Тут мама пришла. Сенечка кинулся к ней, забрал сумку, снял с Людмилы Васильевны пальто. Она, безумно усталая, повалилась на диван. Ее кукольное лицо со вздернутым носиком и ямочками на щеках, с улыбкой обращенное к сыну, было по-прежнему красиво и, как бы поточнее выразить, зовуще-беззащитно. Она ведь в театре, в ТЮЗе, была *травести* — играла мальчиков, девочек тоже. В восемнадцать вышла замуж за Константина Малякшина, у них *головокружительная* была любовь — а теперь война перевернула всю жизнь. Малякшин ушел на фронт, его определили, как писателя, в газету одной из дивизий, он чуть не погиб под Кингисеппом, а потом оказался со своей «дивизионкой» на ораниенбаумском плацдарме. Людочка, оставшись без мужней защиты, растерялась было, но что поделаешь, пришлось приспособиться к жизни в блокаде — к обстрелам и бомбежкам, к самому страшному, чего никто в Питере не ожидал, — к нарастающему голоду. По ночам она с другими жильцами дома дежурила на крыше.

Плача от страха, хватала лопату и закидывала песком зажигательные бомбы, разбрызгивающие огонь и едкий дым.

— Сенечка, слава богу, ты живой, — улыбалась Людмила Васильевна, промокая платочком серо-голубые беззащитные глаза. — Мой дорогой. Ты плаваешь на подводной лодке, это страшно, да?

— Совершенно не страшно, мама.

— Сенечка, что же это делается? В очереди говорили, что немцы Вязьму взяли и наступают на Москву. Как же так? Считали, что мы всех сильней. Даже песню пели: «От тайги до британских морей…»

— Мама, ты отдыхай. Лежи, лежи!

— Ну как же, чаем тебя напою. Вместо сахара дали сегодня соевые батончики.

Людмила Васильевна сладкое обожала. Пока еще были деньги, оставленные мужем перед уходом на фронт, она на Сенном рынке покупала горелый сахар — спекшиеся куски черной сладкой земли, извлеченной из-под разбомбленных Бадаевских складов. Промыть как следует такой кусок и откусывать, запивая кипятком, — вот, значит, и чаепитие.

Грозное время заваливало город сугробами, лишало жителей воды, тепла и света, морило

голодом. *Жители…* само это слово теряло привычный смысл… не жители, какая там жизнь, *тени* — вот кто… тени, бредущие по ущельям улиц… замерзающие в грязных пещерах жилищ… «У себя на кровати замерзал, как в степи», — звучал из черных тарелок репродукторов надтреснутый голос поэта Ольги Берггольц.

«Пещерный быт ворвался в Ленинград», — думал Сенечка Малякшин, бредя по проходам, протоптанным в высоких снежных завалах. Нелегко было ему, получив увольнение, одолеть дорогу до улицы Рубинштейна. Ноги, ослабленные дистрофией, плохо служили намерениям. Схватиться бы за трамвайную подвеску (думалось ему) и скользить по ней… но толстые наросты льда сковали провода…

Каждый раз приносил он ломтики хлеба, два-три кубика рафинада, урываемые от своего скудного рациона. Тащил какие-нибудь деревяшки для печки. Буржуйку поставил в комнате Малякшиных умелец, пожилой рабочий сцены из ТЮЗа. Людочка расплатилась с ним банкой кофейного напитка из прошлой жизни и кисетом с филичёвым табаком, принесенным Сенечкой.

С каждым разом — видел он, добравшись до квартиры, — становилось все хуже. Мама и сест-

ра ободрали в комнате обои, пытались сварить нечто съедобное из высохших еще в прошлом веке желтых пятен клея. Сенечка брал ведро и плелся на Фонтанку, по скользким ступеням спускался к проруби. Однажды — в конце декабря, под Новый год — притащил он ведро воды и, войдя в подъезд, увидел знакомую пожилую почтальоншу — она, закутанная в многослойные одежды, присела отдохнуть на ступеньку.

— Ты из двенадцатой? — сказала она чуть слышно. — От хорошо… а то мне не подняться… тут письмо вам…

В казенном письме начальник штаба такой-то пэ-пэ извещал, что «7 декабря с. г. политрук Малякшин К. С. погиб смертью храбрых за Родину».

Сенечка, вслух прочтя эти машинописные строчки, упал на стул, глотая холодный воздух. Людмила Васильевна, опухшая от воды, которую пила чрезмерно, как лежала на кровати, так и осталась молча лежать, уперев взгляд в черный от дыма буржуйки потолок. А Инна, резко похудевшая, сидела, опустив нечесаную черноволосую голову, и водила пальцем по столу. Она, знаете, обожала переводные картинки — их потрешь мокрым пальцем, и на бумажном листе возникают цветные рисунки: парусники в море, домики

на курьих ножках, смешные человечки — все, что хотите. Картинки были все переведены (уплыли парусники), а привычка осталась, Инна часами сидела, водя пальцем по пустому столу.

Потом был январь.

В соседней комнате тихо умирала Зинаида Генриховна, вдова незнаменитого, но прекрасного художника и сама художница, иллюстратор книг. Вместе с ней умирал ее любимый кот Гектор — от голода облезла его роскошная бело-рыжая шкура, обтягивающая ребра и неровный позвоночник. Соседи с первого этажа покушались на жизнь Гектора, но Зинаида Генриховна сама держалась из последних сил, однако не съела своего любимца и другим голодным людям не позволила.

Людмила Васильевна в январе стала сама не своя. Бродила по коридору, бормоча что-то, и однажды подстерегла Гектора, попыталась его схватить, но кот увернулся. Сенечка в тот день приходил, видел это, увел мать в комнату. Людмила Васильевна, кривя рот в ужасной улыбке, спросила:

— А если молотком? Где наш молоток, а?

Сенечка уложил ее, укрыл одеялом, поплелся на Фонтанку по воду. Вернувшись, увидел: Инна сидела на полу возле печки и, раскачиваясь,

грызла принесенное им полено.

Этот день, 21 января, был самым страшным в жизни Сенечки. Инна цеплялась за полено, но он отобрал и нарубил его, разжег буржуйку. Два ломтика черняшки, посыпанных солью («сэкономил» от своего завтрака), принес он в тот день, один ломтик дал Инне и поставил перед ней чашку с кипятком. Второй ломтик хлеба предназначался маме. Сенечка позвал ее, но она не откликнулась, не шевельнулась. Он шагнул к кровати, чтобы поднять маму. И отпрянул, простонав. Людмила Васильевна лежала с неподвижными глазами, упертыми в потолок. Ее опухшее синеватое лицо было как маска, нисколько не похожая на прежнее бело-розовое лицо хорошенькой травести. Сердце остановилось. Остановилась жизнь, которую и жизнью не назовешь.

Сенечка закрыл глаза матери.

— Мама умерла, — сказал он в тишине, прострочeнной привычным стуком метронома.

Инна, будто и не услышав, допивала остывающий кипяток. Вдруг вскочила — и, зарыдав, упала на тело Людмилы Васильевна, укрытое коричневым одеялом.

Сенечка сидел, оцепенело глядя в красный зев догорающей буржуйки. Потом уложил Инну на

ее кровать, укрыл, дал второй ломтик с солью. Голодная Инна, всхлипывая, вонзила в хлеб зубы. Сенечка велел ей из комнаты не выходить. Надел шапку и пошел в ЖАКТ, то есть домоуправление. Оно было в полуподвальном помещении соседнего дома. С очищенного от снега тротуара перед двумя его оконцами сочился серый, будто ненастоящий свет. Начальница ЖАКТа, женщина с суровым мужским лицом, в овчинном тулупе, прервала крупный, судя по повышенным тонам, разговор с тощим человеком, закутанным в огромное одеяло, из-под которого торчали черные валенки. Хмуро выслушав Сенечку, начальница спросила:

— Малякшина — это которая артистка? Вот, Федосеева, — обратилась она к человеку в одеяле, — совсем молодая умерла, артистка, в тридцать лет…

— Тридцать восемь, — сказал Сенечка.

— Ну, тридцать восемь. А тебе сколько, Федосеева?

— Сколько ни есть, все мои, — прохрипела та.

— Ну, иди. Канализация не только у тебя, у всех не работает. У всех невозможная жизнь.

Сенечке начальница сказала, чтобы принес маму.

— Тут у меня еще четыре лежат. Как раз обещали завтра машину прислать, отвезут на Серафимовское кладбище.

— Один я не смогу… не управлюсь…

— О-хо-хо… Кто бы мне помог управиться?.. Ну, обожди. — Начальница дописала карандашом какую-то бумагу, медленно выводя буквы пальцами в перчатках. И грузно поднялась. — Чернила замерзли, ну и дела, — сказала она. — Пошли, моряк.

Войдя в комнату Малякшиных, начальница огляделась в полутьме.

— Это покойница? Сними с нее шубу и найди простыню, завернуть. А это кто? Сестра? Сколько лет? Что делать будем? Надо в детдом оформить.

— Нет, — сказал Сенечка. — Возьму ее к себе.

Он и сам оторопел от этих слов — они как бы сами собой возникли, без какого-либо размышления.

— Куда возьмешь? — спросила домуправ, вздернув одну бровь выше другой. — На военный корабль?

— Да.

Сенечка в этот страшный день был сам не свой. В него будто вселился некто *другой*, управлявший поступками и словами.

Когда он с помощью начальницы выносил из комнаты тело Людмилы Васильевна, Инна вдруг сползла с кровати с плачем, с криком:

— Зачем уносите?

Пришлось Сенечке на нее прикрикнуть, чтоб легла и лежала, а он скоро вернется. Когда несли нетяжелую ношу по темному коридору, начальница сказала:

— У ней глаза опухли совсем. Ты сможешь ее подкормить?

— Подкормлю, — ответил Сенечка.

— Карточку ее взять не забудь. Говорят, с двадцать четвертого паек увеличат. Детям будет хлеба двести пятьдесят.

В домоуправлении, в соседнем с конторой помещении, в котором в прежние годы проводились собрания жильцов, холодина была как на улице. Мебели не было никакой; скамейки, прежде тут стоявшие, конечно, спалили в печках. На полу лежали три трупа, завернутые в простыни, и еще один — в белой майке и ватных штанах, в штопанных синих носках.

Положили с краю тело Людмилы Васильевны. Сенечка, став на колени, поцеловал ледяной лоб матери. Он понимал, что больше никогда ее не увидит.

Впоследствии он не мог вспомнить, откуда взялись санки. Может, домуправ их дала? Факт тот, что он усадил Инну, одетую во все теплое, что нашлось, на санки и длинным ремнем от старого чемодана обвязал ее ноги, чтоб не свалилась по дороге.

И потянул.

Сил у него хватило, чтобы дотянуть до кинотеатра «Молодежный» на Садовой. Тут он сел в сугроб, свернул самокрутку и стал ждать, кто бы дал прикурить. Инна понуро сидела на санках с закрытыми глазами. Кажется, ей было все равно — ехать или не ехать, жить или не жить. Сенечка задремал.

— Корешок, ты жив чи не жив?

Сенечка очнулся, вскинул взгляд на высокого, как грот-мачта (так ему подумалось), солдата с лицом, похожим на лицо Максима из картины «Юность Максима».

— А я думал, матрос, ты на хер замерз. Ой! — дурашливо спохватился солдат. — Это баба у тебя на санках? Извиняюсь!

— Сестра, — сказал Сенечка. — У тебя спички есть? Или кресало.

— А как же? Вся бы жись пропала, коли б не кресало.

Он был веселый, этот прохожий солдат. И, что особенно удачно, шел в ту же сторону, что и Сенечка, — к Марсову полю. Вдвоем потянули они сани с девочкой, это ж было для Сенечки такое облегчение. Всю дорогу солдат болтал, вопросы сыпал — какой паек у вас, подводников, — сравнивал со своим, зенитно-артиллерийским. У него заметна была склонность к раешнику, он легко рифмовал:

— У нашего комбата твердая рука, а жена евонная — инженерша о-тэ-ка.

— Это технический контроль? — уточнил Сенечка.

— Ну да, контроль по полной форме, только плохо очень кормит.

Рассказал, что командир батареи велел ему отнести жене-инженерше кусок масла и банку консервов из своего доппайка, и он, солдат, отнес, а жена-инженерша на работе была, на заводе «Русский дизель», их квартира запертая, и перед дверью сидит на грязном полу старуха, мама инженерши, и бормочет. Ключи потеряла! Солдат постучал в дверь, чтобы соседи открыли. А старуха бормочет: «Не стучи… никого нету… все померли…» — «Ё-моё, — сказал солдат, — что делать-то будем?» А старуха бормочет: «С ночи

в очереди стояли, ждали, а хлеб не привезли… чевой-то там случилось… может, разбомбили…»

— Наши мотористы на «Русском дизеле» работали, — сказал Сенечка, остановившись, чтобы дух перевести.

— Ну, мы-то не мотористы, — сказал солдат. — Мы артиллеристы. Знал бы, где этот завод, я б туда побёг. Ну, давай, подводник. Поехали!

И продолжал рассказывать. Как он дверь плечом толкал, а она не поддалась. И как ножом в замке ковырял — тоже зазря. И вдруг (тут солдат остановился и на Сенечку странно посмотрел)…

— Вдруг дверь открылась! Хочешь верь, хошь не верь, а она сама открылась! Я вошел, там темно, и нету никого… Это как понять, а? Может, врут, что Его нету?

— Что ты хочешь сказать? — воззрился Сенечка на человека в солдатской длинной шинели.

Но тот не ответил. Дернул за веревку и пошел, наклонясь вперед. И Сенечка, оглянувшись на сестру, потянул. Инна сидела на санках, низко опустив голову, обвязанную темно-красным платком, и, кажется, спала. Ветер сорвался с плывущих над городом косматых туч, свистнул, ударил снежным зарядом.

На Марсовом поле, близ заколоченного дос-

ками памятника Суворову, солдат и Сенечка простились.

— Спасибо, — сказал Сенечка, — ты здорово мне помог.

Солдат прищурился на него ну в точности как артист Чирков, игравший Максима, и ответил:

— Это ладно, что помог. А вот надо, чтоб сестру сберег.

Кивнул и зашагал к своей батарее. Снежный заряд странно быстро замел его длинную фигуру.

На Кировском мосту бешеный порыв ветра чуть не сбил Сенечку с ног. (Он, надо сказать, и вообще-то был субтильный, некрупного сложения, а теперь еще и ослабленный дистрофией.) Из последних сил он дотащил санки до причала, до трапа «Иртыша». Развязал ремень, снял Инну с санок. Сверху удивленно смотрел на них вахтенный у трапа.

— Ты сможешь идти по трапу? — спросил Сенечка сестру. — Ну, по лестнице.

— Не знаю, — прошептала Инна.

Она, сделав несколько шагов, опустилась, села — не было сил подниматься на высокий борт плавбазы. Сенечка поднял сестру — а у него откуда силы взялись? — и понес вверх по трапу. Там уже стоял, вызванный вахтенным, помощник

командира «Иртыша»…

Ну и покатилось, перекидываемое, как футбольный мяч, «дело» о непозволительном приносе ребенка на боевой корабль. Накормить-то Инну, конечно, накормили: в кубрике, где размещалась команда «эски», в обеденный час ее усадили за стол рядом с Сенечкой и налили в миску две чумички супу из бачка.

— Не торопись, — сказал ей Сенечка. — Ну, не торопись, говорю.

Досыта наелась девочка. Но вскоре у нее живот разболелся и подскочила температура. В корабельной санчасти занялся ею судовой врач. Там, в санчасти, отгородили для Инны, простыней завесили уголок. Она тихо лежала на койке, спала или думала неизвестно о чем.

Вряд ли ей привиделась *эта, костлявая*, которая неустанно косила косой по всему Ленинграду. Но от Инны ее, страшную, отогнали. Да, отбросили, вот так-то. Сенечке спокойнее становилось на душе, когда он видел улыбку, вернувшуюся на лицо сестры, слышал ее позвончевший голос. Судовой доктор поставил девочку на ноги. Сперва несмело, а потом все более резво забегала Инна по корабельным помещениям, затопала быстрыми ножками по трапам. Матросы улыбались ей.

Учили распознавать корабельные сигналы. Когда горнист играл, возвещая обеденный час, Инна звонким голосом подпевала бодрому сигналу, согласно матросскому фольклору: «Бери ложку, бери бак! Хлеба нету — кушай так!» Услышав сигнал приборки, орала в такт горну: «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, бери кирпич, бери кирпич, драй, драй, драй!» Матросы одобрительно смеялись. Советовали ей, между прочим, не попадаться на глаза командиру «Иртыша».

Понятное дело, он, командир плавбазы, ничего не имел против девочки, ставшей корабельной любимицей. Но служба есть служба, не так ли? Порядок должен быть. А он не допускал присутствия на боевом корабле посторонних лиц, в том числе, конечно, и детей.

В общем, стали готовить оформление Инны в детдом. Сенечка дал необходимые сведения о сестре, на душе у него было тяжко, беспокойно, но он понимал, что другого выхода нет.

— Не хочу в детдом! — кричала Инна.

— Мы скоро уйдем из Питера, — объяснял Сенечка, — моя лодка уйдет в поход. «Иртыш» в Кронштадт перейдет.

— Ну и что? — бунтовала девочка. — Я разве мешаю? Я на «Иртыше» буду тихо сидеть.

— Инка, да пойми же, нельзя детям в боевой поход…

— Не хочу, не хочу! — Инна плакала, кричала: — Сенька, не хочу в детдом!

Вдруг все переменилось.

В тот апрельский день командиры лодок, в том числе и командир «эски» капитан-лейтенант Сергеев, с утра занимались на тренажерах: проигрывались различные варианты торпедных атак. Занятия были прерваны воздушным налетом — разрывы немецких бомб опасно приблизились к Петровской набережной, потом переместились вглубь Петроградской стороны. Сергеев поспешил на свою лодку. Повреждений от бомбежки, слава богу, не произошло. Вернувшись на плавбазу, Сергеев продолжил заниматься на тренажере, обсуждать с другими командирами преимущества залповой стрельбы.

Вопросами тактики торпедных атак была забита голова Сергеева, но где-то сбоку билась беспокойная мысль. Как только наступил обеденный час, он прошел в рубку оперативного дежурного. Не полагалось занимать тут телефон частными разговорами, но… Штабной капле́й, давний приятель по училищу, бросил Сергееву: «Коротко!» — и отвернулся.

Сергеев набрал номер городского радиокомитета и попросил позвать редактора Чернявскую.

— Римма, — сказал он, услышав ее раскатистое «алло-о-о», — бомбежка вас не зацепила? Ты живая?

— Пока живая. А ты? Когда домой придешь?

— Может, в воскресенье забегу. Ну ладно, будь.

— Миша, я вот что хотела… Я думала насчет этой девочки, о которой ты говорил…

— Ты же отказалась.

— Да. Но, понимаешь… Я думала, думала, и… в общем, Миша, давай возьмем. Хотя время не такое, чтобы…

— Я понял, Рим. Очень хорошо. Когда сможешь прийти на «Иртыш»? Тебе же надо посмотреть на девочку.

— Завтра, часа в четыре, — сказала Римма.

Тут надо пояснить. Около трех лет были они женаты — Сергеев и Римма Чернявская. Познакомились на вечеринке у однокурсника Сергеева, тоже в то время старшего лейтенанта, служившего на морских охотниках, и была там его сестра Римма, студентка-выпускница Института журналистики. Произошло то, что бывает нечасто и носит возвышенное название — любовь с первого взгляда. Сергеев решительно прервал отношения

с любовницей, женщиной-экономистом, которая, осерчав, написала на него жалобу в политотдел. А он, Сергеев, в то время еще не был членом партии (вступил позже) — за что же было его наказывать? Ну, погулял, и все, дело житейское. Ограничились беседой у замначполитотдела о необходимости соблюдать моральный облик. Сергеев и Римма поженились и стали жить на Большой Пушкарской в квартире родителей Риммы — профессора-химика Чернявского и его жены, тоже профессора, но не химии, а педагогики.

Военно-морская служба — особенно когда он стал командиром подлодки — не часто отпускала Сергеева на Большую Пушкарскую. Каждый его приход был как праздник. Только вот что: не беременела молодая жена. Это вносило огорчительную ноту в прекрасную музыку любви. Оба хотели ребенка, но — мешало какое-то, что ли, физиологическое несовпадение. А на третьем году их непростой семейной жизни началась война.

Блокадная зима, как бы это выразить, подсушила обоих. Забота о пропитании, о выживании заслонила все прочие выплески душевных сил. Очень сдал профессор, отец Риммы. Сергеев

приносил на Большую Пушкарскую свой офицерский дополнительный паек. В январе родители Риммы отправились в эвакуацию по ладожскому льду, профессор, слава богу, выжил, теперь они в безопасности, в Саратове.

Впервые за эту ужасную зиму Римма улыбнулась мужу:

— Может, доживем до весны?

— Непременно доживем, — сказал Сергеев, обняв ее.

Однажды он поднялся на борт «Иртыша», отдал, как полагается, честь флагу, и тут выбежавшая из-за надстройки девочка в вязаной красной шапочке остановилась и, как бы отвечая ему, подняла руку к виску. Сергеев засмеялся и скомандовал: «Вольно!»

Разумеется, он знал, что его радист Малякшин привел на плавбазу сестренку, — о них, осиротевших, рассказал ему военком Гаранин. И вот он увидел Инну. Знаете, Сергееву врезалось в память, как девочка с бледным кукольным лицом, надув губы, чтобы сдержать улыбку, дурашливо отдает ему честь. И влетело Сергееву в голову: надо ее *удочерить*. Пусть будет она у них с Риммой — дочкой.

Римма, когда Сергеев предложил ей это, отка-

залась:

— Это же такая ответственность, ты понимаешь? Где взять столько сил?

Сказано было точно, блокада слишком много сил перемолола, унесла. Как не понять?

Однако в истерзанный город робко, осторожно, натыкаясь на непроходимые сугробы, вступила весна. Понемногу город оживал, согревался, очищался от грязи и снега, от зимнего морока. Понемногу увеличивали паек. В апреле ленинградцы плакали, увидев пущенный трамвай…

По Неве плыли последние льдины, сходил ладожский лед, много повидавший истекшей зимою. Скоро подводные лодки отлепятся от невского гранита, уйдут в Кронштадт и, наверное, дальше — уйдет и капитан-лейтенант Сергеев на своей «эске»…

— Миша, — сказала Римма, — я передумала. Давай возьмем эту девочку.

Он понимал: ей было страшно остаться одной.

Римма пришла, поднялась на борт «Иртыша». Она принарядилась — хорошо смотрелась в синем демисезонном пальто (хоть и излишне свободно свисавшем с узких плеч). С довоенным, можно сказать, шиком сидел на голове большой синий берет с блестящей штучкой сбоку. Ее щеки

запали, обтянув скулы, но все же лицо по-прежнему было ярко красиво.

Сергеев провел жену в свою каюту, и вскоре пришел вызванный радист Малякшин со своей сестрой. Инна оробела, воззрившись на незнакомую женщину. Римма заговорила с ней приветливо, спросила, умеет ли девочка читать, рисовать, петь. Инна отвечала односложно, взявшись обеими руками за края вязаной шапочки и натягивая их на уши, словно не желая ничего слышать. На вопрос, какие стихи знает наизусть, она ответила:

— Я знаю много стихов. Только не буду читать.

— Почему? — удивилась Римма.

— Не хочу.

— Ну и правильно, — вмешался в женский разговор Сергеев с легкой такой улыбочкой. — Я тоже их не люблю — стихи. Кому они нужны?

— Товарищ командир, — не понял его скрытого юмора Малякшин. — Что это вы говорите?

— Тебе, Сенечка, стихи нужны, знаю. А нам с Инной — нет. Ну их!

И тут девочка засмеялась, она ведь была смешливая.

Короче говоря, постепенно освоилась Инна с пугающей мыслью, что чужие тетя и дядя хотят

взять ее к себе и *удочерить*. «Инка, — сказал Сенечка, — тебе у них будет хорошо». Она верила брату. Никого ведь больше у нее не осталось.

Оформление тянулось почти три недели. И настал в конце мая день, когда горнист последний раз сыграл корабельной любимице сигнал, призывающий к субботней большой приборке: «Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, бери кирпич...»

Глава одиннадцатая
Лодки первого эшелона вышли в море

Белые ночи — прекрасны.

«Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак...» Удивительна эта прозрачность ночной синевы, объемлющей спящий город, его дворцы и площади, мосты над рекой, темную зелень его садов. Нет, синий сумрак не скрывает разрушений, завалов, стен, избитых осколками бомб и снарядов. Он, удивительный сумрак, прозрачен, как чистая вода. У него свой воздух, своя тайна...

Белые ночи — опасны.

Тебе надо пройти из Ленинграда в Кронштадт, расстояние невелико, но прозрачный сумрак белой ночи не укроет тебя от глаз противника. Ты весь у него на виду. И ты идешь узким фарватером под огнем немецких пушек, и десятиметровая глубина не позволяет твой подводной лодке погрузиться, скрыться под водой...

Тихо шелестя электромоторами, шла по Большой Неве «эска» капитан-лейтенанта Сергеева, а за ней — «щука» капитана второго ранга Ко-

жухова. Три морских охотника сопровождали их — один катер в голове конвоя, два по бокам.

Сомкнув каменные плечи, темными провалами окон глядели на уходящий конвой невские берега, укрытые синим сумраком. Конвой миновал причальные линии торгового порта, прошел вдоль длинного, как белая ночь, мола и — вместе с невской водой — влился в залив. Началась неогражденная часть Морского канала. Тут в лица подводников, стоявших на мостиках субмарин, ударил сырой и широкий норд-вест. То был воздух моря, непохожий на застойный, горьковатый, отравленный войной воздух осажденного города.

Но слева темнел приземистый южный берег, занятый противником, Стрельна, а за ней Новый Петергоф — и оттуда выбросился прожекторный луч и прошелся, вглядываясь, по мостикам «эски» и «щуки», по рубкам морских охотников.

— Ну, сейчас начнется концерт, — сказал командир «эски» Сергеев с биноклем у глаз.

И точно: на южном берегу мелькнули быстрые вспышки света, а затем раздались хлопки орудийных выстрелов и нарастающий свист снарядов.

— Дым! — донеслась с головного охотника резкая команда.

Разрывы снарядов грохнули один за другим с перелетом. А из трубы дымаппаратуры на корме катера уже валили белесые клубы дыма, и ветер разматывал их, наносил на подлодки. Шли в желтоватой мгле дымзавесы, дыша ее кислым духом. Снаряды свистели, рвались вслепую, и уже ударили по южному берегу кронштадтские батареи — началась артиллерийская дуэль.

Словно раскатами грозы полнилась белая ночь. Прикрытые дымзавесой, шли по Морскому каналу две субмарины и три катера-охотника. Слава морскому богу Нептуну, без потерь проскочили открытое место.

Сквозь редеющий дым впереди проступил прямоугольный силуэт островка Кронштадт. А вот и выплыл, будто из сказки о волшебных городах, византийский купол Морского собора.

С рейдового поста замигал прожектор, требуя позывных приближающегося конвоя.

От Купеческой гавани, у гранитных стенок которой расположилась бригада подводных лодок, до улицы Карла Маркса минут десять ходьбы.

Почти что бегом покрыл это расстояние лейтенант Травников июньским вечером. Еще солнце не зашло, хоть уже и низко нависло над западной стороной Кронштадта, — красный шар, усечен-

ный сверху облаком, над красным мрачным корпусом полуэкипажа.

Вот и дом номер пять, обнаживший рыжую кирпичную кладку в тех местах, где осыпалась штукатурка.

Травников постучал. Дверь отворила тощая женщина в кофте и юбке защитного цвета. Травников помнил ее, соседку.

— Здрасьте, — сказал он. — А Редкозубовы дома?

Но он уже слышал: из редкозубовских комнат доносились громкие голоса, там вопила женщина: «Что ты хочешь от меня? Сам распустил ее!»

— А-а, вы Валентин? — сказала соседка, вглядываясь в Травникова. — Заходите. Дома они.

Оттуда, из конца коридора, донесся бас Редкозубова: «Ты мать! Значит, должна!» — «Ничего я не должна!» — В женском крике была истерическая нотка.

Травников постучал в их дверь. Голоса сразу смолкли.

— Чего надо, Игоревна? — спросил оттуда Редкозубов.

— Это я, Валентин, — сказал Травников. — Можно войти?

— Заходи, — раздался бас после паузы.

В комнате с окном на восток было темновато, еще не зажгли электричество. Редкозубов сидел на диване, в серой майке и засученных штанах, держа ноги в большом тазу с водой. Из-за стола с неубранной посудой поднялась женщина лет сорока пяти, с обвязанной по лбу головой, и уставилась на Травникова светло-карими, точь-в-точь как у Маши, глазами. Выражение ее лица было напряженное, бледные губы плотно сжаты…

— Ага, — прогудел Редкозубов, без улыбки глядя на гостя, — ты в офицеры вышел.

— Здрасьте, Федор Матвеич, — сказал Травников. — Добрый вечер, Капитолина Федоровна. Рад познакомиться.

— Здравствуйте, — не сразу ответила женщина, поправляя волосы над повязкой. — Вы Валентин, знаю, а по отчеству как?

— Да не надо по отчеству. Просто Валя. А Маша — ее что, нет дома?

— Вы садитесь, — сказала Капитолина Федоровна, суетливо сдвигая на столе тарелки. — Маши нет… скоро, может, придет…

— Может, придет, — подтвердил Редкозубов, — а может, нет.

Он начал вытирать полотенцем синеватые

ступни.

— А где она? — спросил Травников, садясь.

— У Корзинки своей, — проворчал Редкозубов.

— Маша к подруге ходит, к Тамаре Корзинкиной, — уточнила женщина, — помогает ей… больная дочка у Тамары… Вы посидите, Валентин… Сейчас я…

Заметно растерянная Капитолина Федоровна вышла в смежную комнату.

— Двадцать первого, — кивнул ей вслед Редкозубов.

— Что двадцать первого? — не понял Травников.

— Шарахнули в госпиталь двадцать первого сентября. Ну, бомбежка. С тех пор она… Контузило ее сильно.

Редкозубов сунул ноги в тапки. Прохромал к буфету, вынул бутылку и пару стаканов, поставил на стол. Рубашку-ковбойку надел навыпуск.

— Давай, — сказал он, садясь напротив Травникова. — Обмоем твои нашивки.

— Федор Матвеич, может, не надо? Подождем, когда Маша придет.

— Надо. — Редкозубов налил спирт в стаканы. — Она придет или не придет — не знаю. Ну? Давай, лейтенант.

Граненые стаканы чокнулись незвонко. Редкозубов мощными глотками выпил до дна. Валентин споловинил: этот спирт плохо шел в глотку, хоть вроде и привычна она уже была к «наркомовским ста граммам». Федор Матвеевич еще налил и пустился рассказывать в своей обрывистой манере, какая туча налетела 21 сентября на Кронштадт.

— Бомбы по гаваням, по Морзаводу. По всему городу, понятно? Даже и в Морской госпиталь, прямо в те… трапевтическое отделение. В приемный покой. Капу там контузило, вот. Месяц лежала, молчала. Головные боли все время. Ее друг там кокнулся. Доктор…

— Ты про себя расскажи, — раздался голос Капитолины Федоровны, она из смежной комнаты вошла. — Что же вы без закуски пьете?

— А есть у тебя? Так давай.

Травников поразился: в комнату вошла словно другая женщина. Она сняла с головы повязку, причесалась и переоделась. Вместо мятого халата на ней теперь было шелковое платье вишневого цвета. Ну просто красивая женщина — очень похожая на Машу. Только в глазах что-то тревожное…

— Вот. — Она поставила на стол сковородку с бе-

лесыми оладьями. — Это пшённики, — пояснила, кладя перед мужчинами тарелки и вилки. — Извиняюсь, что больше ничего нету.

— Спасибо, — сказал Валентин, — вы не беспокойтесь, я не голоден.

— А я как раз голодный. — Редкозубов ткнул вилкой в пшённик. — Эх, теперь-то ничего, прибавили. Вот зимой! Ну давай, Валентин, — поднял он стакан. — Поскольку живые остались, значит уважим.

— Что уважим?

— Ну что? Флот Балтийский. — Редкозубов осушил свой стакан, вытер ладонью губы, приподняв усы. И, жуя пшённик, спросил: — Тебе налить, Капа?

— Нет. — Женщина села у дальнего края стола и отрешенным взглядом уставилась в окно, за которым медленно угасал светлый вечер.

— Нет так нет. Ты, Валентин, знаю, на суше воевал. А у нас тут! Двадцать третьего опять был налет — небо черное от них. Двести пятьдесят бомбардировщиков!

— Я слышал, — сказал Травников. — «Марат» разбомбили в тот день.

— Да, «Марат». Я как раз на «Марат» и шел. Вчетвером со своей бригадой. Мы там сорокапят-

ки, которые на башнях, меняли на новые, значит, автоматы. Почему не пьешь?

— Пью, Федор Матвеич. Только сразу не могу.

— Эх ты! Шли, значит, чтоб закончить. Думал в тот день закончить. А тут! Как завыла тревога! Как пошли они пикировать!

Редкозубов добавил крепкое выражение.

— Маму убили в тот день, — сказала Капитолина, глядя в окно. — Она в очереди стояла. У Татарских рядов очередь была в булочную. Хлебную карточку отоварить. Бомба там рванула.

— Сочувствую, — сказал Валентин. — Очень сочувствую.

— Да. — Федор Матвеевич плеснул еще в стаканы. — Значит, за память. Чтоб Таисье на том свете хорошо было.

Мужчины выпили, помолчали.

— Маме там хорошо, — сказала Капитолина, взглянув на Травникова. — Она в Бога верила.

Сколько же ей, Капитолине, было лет тогда, в конце 1908 года? Лет семь, ну да, никак не больше. Холодным декабрьским днем мать, Таисия Петровна, надела на нее теплое пальто на ватине, с башлыком и повела в Андреевский собор. Идти было недалеко, по Соборной-то улице, а

там — такая собралась толпа! Ну весь Кронштадт. И господа в дорогих шубах стояли со свечками, и простые люди, и особенно много женщин. Многие плакали. Капитолина услышала, как мама всхлипнула. Взглянула на нее — мамино круглое лицо было мокрое от слез.

Да и ей, Капитолине, захотелось плакать, когда медленно приблизились к гробу, в котором лежал он, отец Иоанн. У него было худое вытянутое лицо с бородкой, глаза закрыты. Лоб высокий, белый, и лента поперек лба. «Перекрестись, — тихо сказала Капе мама. — Поклонись».

Осанистый батюшка отпевал покойника, женский хор подхватывал высокими голосами. Со стен храма смотрели святые люди с грустными лицами, это были, как рассказывала мама, *праведники,* но она, Капа, не очень понимала, что́ это означает. Ее заинтересовал один из двух мальчиков, помогавших священнику. На нем тоже была ряса, а сам он был белобрысый, и над затылком у него волосы торчали, как косичка. Вот он подал священнику кадило, и тот замахал им, и дымок пошел сладковатый.

Капе хотелось, чтобы он, белобрысый, на нее посмотрел, но, конечно, мальчику было не до нее. Вот бы, подумала она, заплести ему косичку, — ей

даже смешно стало от этой мысли. «Крестись, поклонись», — тихо сказала мама.

Опять Капа мысленно вернулась к покойному отцу Иоанну. О нем много хорошего говорили в Кронштадте. Как он раздавал деньги бедным людям, а одному бездомному, рассказывали, отдал сапоги, сняв их со своих ног. Его, отца Иоанна, к самому государю возили. Он не только тут, в Кронштадте, но и в Петербурге излечивал людей от болезней. Привезли его к больной княжне, фамилию Капа не запомнила, ну, к девочке, у которой ножки не ходили, так она как увидела отца Иоанна, так встала и пошла. Чудо!

Отпевали долго, а потом отца Иоанна увезли хоронить в Питер. И долго мела в тот день, запомнившийся Капе, метель.

Как же круто все изменилось через десять лет! Веру в Бога отменили, с церквей кресты порушили. Про Иоанна Кронштадтского объявили, что никакой он не *праведник*, а обманщик, алчный стяжатель. Соборную улицу переименовали в улицу Карла Маркса. А в тридцать втором году взорвали Андреевский собор, разнесли в куски, в прах. Пустырь остался на месте храма. Проходя мимо этого пустыря, Таисия Петровна крестилась, слезы утирала. Бормотала что-то об Антихристе.

— Мама в Бога верила, — сказала Капитолина, взглянув на Травникова.

Тот промолчал, кивнул только слегка: дескать, понятно, что у старых людей остались предрассудки от прошлых времен.

— Пей, Валентин, до конца, — строго сказал Редкозубов. — За память. Ну вот, — продолжил он, проследив, чтоб Травников осушил стакан. — Мы до «Марата» не дошли. Как его начали бомбить, так мы сыпанули с Усть-Рогатки в Петровский парк. Повалились под дубы и лежим. На «Марат» со всех сторон пикировали. И до нас, значит, осколки. Такой грохот! Я оглох. Ну все, думаю, отстрелялся! Бомба в тонну! Я видел, на «Марате» фок-мачта со всеми пристройками повалилась. И черный дым во все небо! Ты понял? Нос оборвали с фок-мачтой и первой башней. А вторую башню повредили, но не совсем. Вот я и делаю. Ремонтируем.

— Понятно, — сказал Травников.

— Лучше меня никто ее не знает.

— Кого — ее?

— Ну, башенную артиллерию. Раньше, конечно, были. Бруль, например, кондукто́р по артиллерии. Он знал. Его, Бруля, расстреляли. Ну давай еще, Валентин.

— Больше не могу.

— Нет так нет. — Редкозубов налил себе и выпил залпом. — Да-а. Твой тоже башню знал, — кивнул он дочери. — С соображением был комендор. А что осталóсь? Только книжка от него и осталáсь — называется «Овод». Он бы далеко пошел, если б не это… — Редкозубов пошевелил пальцами изувеченной правой руки.

— А что случилось? — спросил Травников.

— Он погиб при Перекопе, — сказала Капитолина.

— Да какой Перекоп! — Редкозубов трахнул кулаком по столу так, что сползла с подставки сковорода с пшённиками.

— Успокойся! — крикнула Капитолина.

Федор Матвеевич хотел ответить дочери, да так и остался с открытым ртом, уставясь на скрипнувшую дверь. Травников оглянулся. В дверном проеме стояла Маша.

Казалось, она окаменела, вытаращив глаза на Валентина. Она была коротко подстрижена, заметно похудевшая, в черно-белой кофте и длинной черной юбке.

— Здравствуй, Машенька! — Травников обнял ее.

Она молча прильнула к нему, с опаской, будто

не веря глазам, положив руки ему на плечи. Нет, она не плакала. Не ответила на поцелуй, только губы ее чуть дрогнули.

— Вот, значит, и встреча, — объявил Федор Матвеевич, снова схватив бутылку. — Ну, давайте. Капа, достань еще стакан. А ты, — отнесся он к Маше, — прям как учуяла, что Валентин приехал.

— Ты теперь тут будешь, в Кронштадте? — спросила она, глаз не спуская с Травникова.

— Несколько дней, наверно, пробуду.

— Несколько дней, — повторила Маша.

Слегка наклонив голову, она смотрела, смотрела на него — словно издалека, из страшного грохочущего сентября, из заваленного бомбоубежища, из ужасной зимы с последним днем февраля, когда взорвали зарядом аммонала промерзшую землю кладбища…

— А иначе, — сказала Маша, — невозможно было вырыть могилу для Витеньки. Земля была как камень. Ох, Валя… — вздохнула она. — Мне жить не хотелось.

— Бедная моя. — Валентин поцеловал ее. — Досталось тебе.

Они лежали, обнявшись, на тахте в узкой, как коридор, комнате с единственным окном, в ко-

торое заглядывали верхушки тополей с улицы Зосимова. Комната принадлежала Машиной школьной подруге Тамаре Корзинкиной. В другом ее углу стояла деревянная кроватка, в ней тихо чмокала соской-пустышкой пятимесячная Катя, дочка Тамары.

Маша уже рассказала Травникову, что они родили почти одновременно — Тамара на неделю позже. Ее, Тамары, муж, старшина-артиллерист, служил на Втором северном форту, служба редко отпускала его в Кронштадт, а все Тамаркины родственники вымерли, — она была одна и одна.

— Катя тоже, как и Витя наш, слабенькая родилась, хилая, — говорила Маша. — Но все ж таки… У меня молока совсем не было, а у Тамарки было. Она и Витьку подкармливала. А детское питание… Немножко риса по голодной норме… Манку покупали у спекулянта… Держали Витеньку на отварах, сколько могли… Только он, видно было, не жилец… всего тридцать шесть дней прожил на белом свете…

Маша плакала.

— Прости, — сказала сквозь слезы. — Думала, что разучилась плакать, а теперь…

— Поплачь, поплачь. Ничего.

— Знаешь, Валя… Не могу отделаться от мыс-

ли… Двадцать первого сентября Артремзавод разбомбили, первый цех совсем разрушили, а наш, механический, — немного. Бомбоубежище, в котором мы спрятались, когда объявили тревогу, завалило. Света нет, дым, пыль, дышать нечем, выход завален… Больше суток, Валя! Больше суток мы задыхались… помирали… пока не откопали… пробили проход… И вот я думаю… В тот день Витенька… еще не родившийся… задыхался вместе со мной… Потому и не выжил, что родился такой… задохнувшийся…

— Маша, ну что это ты придумала!

Шли и шли слезы, невыплаканные с минувшей зимы. Тикали над тахтой часы-ходики с намалеванным на жестяном циферблате лебедем, лежащим на зеленой воде. Откуда-то, с южного берега, конечно, доносилась канонада — привычный пушечный гул.

— Прости, — сказала Маша, платочком утирая слезы. — Прости, что разнюнилась. Валя, расскажи о себе. Ты писал, что был ранен. Как это было? Рана опасная?

Он рассказал, не углубляясь в подробности, о мартовском рейде: как они пронеслись на лыжах по ближнему тылу финнов, и как при отходе достал его, Валентина, горячий осколок мины, и

как Плещеев Вадим потащил его на волокуше по ладожскому льду, и как хирург Арутюнов своими золотыми руками извлек осколок из легкого.

— Вот это шрам от раны? — Маша нащупала и поцеловала рубец на его груди. — Слава богу, ты живой. А Вадим — он жив?

— Да. Скоро тоже станет лейтенантом и появится в Кронштадте.

Катя захныкала, запищала тоненько. Маша поднялась, нагнулась над ее кроваткой, сменила пеленку.

— Ну-ну, не плачь, — сказала. — Ты уже сухая. — И, взглянув на ходики: — Скоро мама придет, накормит.

Вернулась на тахту к Валентину.

— Я так понял, — сказал он, — что дед недоволен, что ты живешь теперь тут, у Тамары.

— Когда у Тамары вечерняя смена, я, конечно, у нее. Она на телефонной станции работает. Нельзя ведь девочку без присмотра оставлять. Валя, ты не представляешь, какая она была, Катька. Это сейчас она пищит. А тогда, в феврале… Лежит без движения, глаза прямо мертвые… Витюшу не удалось спасти… но Катьку мы вытащили… — Маша вздохнула, голову положила Валентину на плечо. — Вот так мне легче дышится… Валя, ты

надолго в море уйдешь?

— Не знаю.

Он целовал и ласкал ее.

— Ох!.. Неужели я еще живая?.. Валька, неужели я тебе нравлюсь… такая худая?

Начало похода было неудачным. «Эска» в составе небольшого конвоя вышла ночью из Кронштадта, но вскоре, за Шепелевским маяком, получила приказ остановиться. С головного тральщика просигналили: подсечена якорная мина. Значит, противник выставил минную банку по курсу, которым ходили наши корабли на Лавенсари. Пока протралят фарватер, приказано «эске» лечь на грунт.

Легли.

За обедом командир Сергеев сказал:

— Это финны, наверное, мин накидали.

— Зря! — сказал механик Лаптев, подцепив вилкой длинную макаронину. — Зря с Финляндией церемонились. В сороковом, когда прорвали линию Маннергейма, надо было идти на Хельсинки. Занять всю Финляндию.

— Уж больно вы грозны, — усмехнулся Сергеев. — Оккупация Финляндии в сороковом была невозможна. С какой стати? Отодвинули границу от Ленинграда, этого было достаточно.

— Нет! — возразил упрямый Лаптев. — Недостаточно! Финляндия входила в состав Российской империи? Входила! Вот и повод для возвращения. И мы бы теперь спокойно ходили по заливу, а не лежали на грунте. Спасаясь от финских мин.

— Странно рассуждаете, Игорь Николаич, — сказал военком Гаранин. — Мы не империалистическое государство, чтобы нападать и оккупировать соседнюю страну.

Лаптев буркнул что-то и запил компотом свое особое мнение.

Разговорились о Финляндии. Вот же — страна по соседству, а знали о ней мало.

— Я только и знаю, — сказал штурман Волновский, — что там леса и озера. И еще Пааво Нурми, бегун знаменитый.

— Не только бегун, — уточнил Сергеев. — Композитор Сибелиус, вот кто еще.

— А еще Тойво Антикайнен, — сказал Травников.

— Кто это? — спросил Лаптев.

— Финский коммунист. Он был в отряде лыжников, выбившем белофиннов из Карелии. Книга такая есть: «Падение Кимас-озера». Антикайнен, между прочим, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

— Ну, значит, наш человек, — завершил разговор Гаранин.

Двое суток пролежала «эска» на грунте. Уже трудно становилось дышать в отсеках. Слышали, как ходили корабли, стук их дизелей то нарастал, то удалялся, — это тральщики расчищали фарватер.

Третьей ночью всплыли наконец и двинулись дальше — к Лавенсари.

Этот маленький остров в середине Финского залива (в матросском просторечии — Лаврентий) удалось удержать в страшной неразберихе сорок первого. Его укрепили артиллерией, разместили в его гавани морские охотники — так называемый дивизион поддержки. Главной задачей этих катеров стал эскорт подводных лодок к месту погружения и встреча при их возвращении с моря.

День отстаивались на Лавенсари у пирса. За узкой полоской галечного пляжа темнел сосновый лес. Поднимаясь на мостик покурить, подводники смотрели на этот лес, негустой и мелковатый ростом, но прекрасный и грустный, как прощальная песня.

А в первом часу ночи отдали швартовы, и «эска», сопровождаемая двумя морскими охотниками, покинула маневренную базу Лавенсари.

В заданной точке на восточном гогландском плесе «эска», просигналив охотникам «спасибо», погрузилась. Началась одинокая непредсказуемая подводная жизнь.

Конечно, знали, что тут, за Гогландом, противник выставил минные заграждения, металлическими сетями загородил фарватеры — создал противолодочную позицию, препятствующую выходу советских подлодок на простор Балтийского моря.

Эту позицию надо было — во что бы то ни стало — *форсировать*.

В отсеках было тихо. Только рокотали негромко электромоторы. Только падали в тишину командные слова, главными из них, наверное, были: *«Слушать в отсеках!»*

И услышали: по правому борту возник и стал медленно передвигаться от носа к корме неприятно царапающий звук. Будто некий подводный зверь ощупывал корпус лодки острыми когтями. Только растаял звук за кормой, как снова возник скрежет — теперь по левому борту.

Молча слушали в отсеках. Понимали: лодка вошла в зону заграждений и в своем движении натыкалась на минрепы — длинные тросы гальваноударных мин. На этих тросах над головами

подводников качались мины — огромные шары, начиненные смертью.

Травников в первом отсеке, впервые слыша этот отвратительный скрежет, представил себе, как минреп, задетый корпусом, не сползает с лодки, а, зацепившись за мостик, притягивает мину и она ударяет рожком-взрывателем… «Нет, не думать о таком!» — приказал он себе. Вон торпедист Федоров, — его лицо с тонкими усиками поблескивает от пота, но не выражает волнения. И белобрысый Мелешко спокоен, только моргает чаще обычного. Он, Мелешко, недавно получил письмо от мужа сестры, сумевшего выбраться из оккупированной Белоруссии. Сообщил родственник, что немцы спалили их деревню за помощь партизанам и что все, кто остался жив, бабы с детьми, разбрелись кто куда — по соседним селам. Петя Мелешко, добродушный малый, получив это письмо, заметно помрачнел. Не откликался на подначки Федорова, перестал улыбаться. Травников слышал, как он ответил Гаранину, попросившему рассказать о том, что случилось там, на Витебщине: «Да не знаю я… Маманя партейная, председатель в колхозе. А партейных немец стреляет, да?»

Лодка шла курсом, рекомендованным разведот-

делом, и по времени (и по счислению штурмана) выходило, что первая линия минных заграждений пройдена. Но была еще и вторая линия.

— Штурман, место? — Сергеев над плечом Волновского заглянул на карту.

Тот, сидя за своим столиком, ткнул острием карандаша в точку на линии курса. Линия предварительной прокладки как бы прижималась к шхерам финского берега, к маяку Порккалан-Каллбода, — расчет был в том, чтобы пройти в вероятную щель между маяком и северной кромкой второй линии минных заграждений. Эти заграждения на карте были обозначены заштрихованным прямоугольником, перегородившим Финский залив.

— Через два часа поворот на курс двести пятьдесят пять, — показал на карте Волновский.

Но еще до точки поворота гидроакустик услышал шум винтов какого-то судна. Сергеев поднял перископ, из окуляра брызнул ему в глаза свет солнечного дня. С довоенной яркостью сияло солнце над колышущейся синей водой — такая там, наверху, была мирная картина. Но акустик продолжал докладывать о звуке винтов по пеленгу такому-то, и вот Сергеев увидел на горизонте дым, а потом и мачты, а потом и черный корпус

судна. Продолжая сближение, Сергеев велел приготовить к стрельбе первый и третий торпедные аппараты. Он уже видел, что идет транспорт не менее шести тысяч тонн водоизмещением и сидит он низко — значит, «в полном грузу́». И насчитал три сторожевых катера в охранении транспорта, но — могло их быть и больше.

Торпедная атака! По докладам акустика (пеленг не менялся), по таблицам, с которыми сверялся помощник Зарубов, по наблюдениям в перископ Сергеев определил элементы движения цели — курс и скорость — и рассчитал угол встречи.

Лодка на боевом курсе. Сергеев скомандовал: «Товсь!» — и ждал прихода цели на угол упреждения.

И по его команде «Пли!» понеслись две торпеды к месту встречи с транспортом. Дважды вздрогнула субмарина от мощных толчков сжатого воздуха — и чуть не выскочила на поверхность, но боцман Кияшко удержал ее, переложив горизонтальные рули на погружение.

— Двадцать метров! — крикнул ему Сергеев, а рулевому-вертикальщику скомандовал: — Лево на борт!

Он томился: слишком долго, казалось ему, шли торпеды. Неужели промах?.. Стрелял с восьми

кабельтовых, это большая дистанция… цель, если заметит след идущих торпед, успеет отвернуть…

И тут услышали приглушенный расстоянием и массой воды, но отчетливый взрыв. Ну, все! Не промахнулся Сергеев. Одна из торпед достигла цели! А может, и обе — и два одновременных взрыва слились в один.

— Поздравляю, Михал Антоныч, — улыбнулся Гаранин командиру, а потом по переговорным трубам поздравил экипаж с первой победой.

А в первом отсеке Травников сказал своим торпедистам:

— Молодцы!

Они, и верно, поработали четко. И теперь возились у торпедных аппаратов, проверяли валики и рычаги автоблокировки. Травников ожидал команды о перезарядке аппаратов. Но тут началась бомбежка.

Противник, значит, увидел след торпед на воде или, может, заметил воздушный пузырь, который вырывается вместе с торпедами из аппаратов. Взрывы глубинных бомб стегали лодку с какой-то злобной свистящей оттяжкой. Посыпались, звеня, плафоны, погас свет. Тревожная тьма поглотила отсеки, ее прорезали пляшущие лучи ручных фонариков. Прогрохотал взрыв прямо над головой,

лодку подбросило, как футбольный мяч…

Сергеев уводил «эску» мористей, дальше от здешних малых глубин. Взрывы бомб стихли. В отсеках заменили лампы в плафонах, дали свет. Лодка шла на глубине сорок метров, и уже возникла надежда, что ушли от преследования, как вдруг лодка сотряслась от внезапного удара такой силы, что люди попáдали в отсеках. Нет, не на мину наехали, и не «глубинка» рванула — «эска» наткнулась на что-то, ударилась носом и, царапнув днищем об это «что-то», продолжила движение.

— Что это, штурман? — крикнул Сергеев, поднимаясь и потирая ушибленное место. — Подводная скала?

Волновский, удержавшийся за края штурманского стола, ответил:

— Не знаю. Здесь нет подводных скал.

— Об затонувшее судно, что ли, ударились? Запросите первый, — сказал Сергеев Зарубову, — у них все в порядке?

И тут свистнула переговорная труба. Зарубов выдернул пробку:

— Есть, центральный.

— В первом поврежден шов в корпусе, — донесся голос Травникова. — В отсек поступает вода!

Щель поврежденного шва была небольшая, но под напором глубины забортная вода била сильной струей, заливала правые торпедные аппараты, растекалась по палубе. Мелешко залез наверх, сунул руку в рваную щель — и вскрикнул от боли.

— Отставить, Мелешко! — заорал Травников. И — в переговорную трубу: — Трюмного прошу срочно! Клинья нужны!

В отсек прибежал старшина группы трюмных Мирошников, принялся обстругивать деревянный клин. Потом ударами кувалды Мирошников вогнал клин в щель. Поступление воды прекратилось, но набралось ее в трюме отсека довольно много. Командир велел пустить помпу для ее откачки.

Травников вызвал в отсек фельдшера Епихина. У Мелешко была окровавлена правая рука — поранил о рваные края щели. Епихин примчался со своей сумкой, начал промывать, обрабатывать рану. Мелешко сидел на краю койки с отрешенным видом. Совсем не был он похож на себя прежнего, улыбчивого и наивного, — так подумал о нем Травников. И еще он подумал, что лодка, возможно, наткнулась на затонувшее судно. Может, на «Лугу», на которой он шел из

Таллина. Или на «Скрунду», тоже потопленную в том проклятом августе. Много их, судов, погибших в таллинском переходе, лежало на холодном дне Финского залива. Недаром этот залив получил прозвище «суп с клецками»…

Тут возобновилась бомбежка. Шум помпы демаскировал «эску», и сторожевые катера вновь ее настигли. Глубинные бомбы рвались правее ее курса, и Сергеев повернул влево, приказав остановить помпу. Но финны, конечно, слышали шум лодочных винтов. Взрывы опасно приблизились…

— Стоп моторы, прямо руль! — крикнул командир. — Ложиться на грунт!

Лодка затаилась, были застопорены все механизмы. И даже топать по металлической палубе запретил командир. Ходить в носках! Не разговаривать громко! Ни малейшего звука не должны услышать гидроакустики на катерах-охотниках.

Бомбометание то стихало, то начиналось вновь. Финны не жалели глубинных бомб. «Эска» содрогалась, лежа на грунте. Патроны регенерации уже не помогали, в отсеках воздух как бы уплотнился, насыщенный углекислотой, — все труднее дышали люди. В тусклом аварийном свете влажными пятнами белели их лица.

Травников задремал, сидя на разножке. Вдруг очнулся, огляделся. «Сколько — вторые сутки лежим? — подумал он. — Или уже третьи? Сколько — сорок три, кажется, я насчитал разрыва „глубинок“... Вроде бы тихо... только дышать нечем...»

— Мелешко, — позвал он, с трудом шевеля языком. — У тебя кровь под носом... есть у тебя платок... вытереть?..

Мелешко повел на него взгляд воспаленных глаз и пробормотал что-то.

— Что ты сказал? — Травникову послышалось слово «Каховка». — Что ты сказал, Мелешко?.. Какая Каховка?

Но тут — будто гром грянул:

— В носу-у! — Голос командира Сергеева из переговорной трубы взорвал тишину. — По местам стоять, к всплытию! — И — вскоре: — Артрасчеты — в центральный!

В оцепеневшие отсеки вернулась жизнь. Затопали башмаки. Зазвучали голоса. Мотористы готовили к запуску дизеля. С ревом продуваемых балластных цистерн лодка всплывала в крейсерское положение.

Оглушительно хлынул свежий воздух из рубочного люка, открытого командиром. Сергеев,

подняв тяжелую верхнюю крышку, поднялся на мостик, за ним выскочил сигнальщик Лукошков. Травников и его торпедисты, они же и артиллеристы, висели на трапе, скопились в рубке, ожидая команды «К орудиям!».

«Верное, верное решение — схватиться с противником в артиллерийском бою, — подумалось Травникову. — Лучше бой, чем медленное удушье...»

Но вместо команды «К орудиям!» последовала другая:

— Оба полный вперед! — И — вслед за ней: — Отбой тревоги! Очередной смене заступить на вахту!

Артрасчеты вернулись в свои отсеки. Бодро отбивали полный ход дизеля, работая и на зарядку батареи. По отсекам сквозь раскрытые двери гулял ветерок вентиляции.

Травников, заступив вахтенным офицером, поднялся на мостик. Вот оно что — туман! Плотный, липкий, он лежал на воде, как бы примяв ее волнение. Туман, значит, и избавил лодку от преследования.

Недаром «эску» командира Сергеева считали везучей.

Сдержанно чертыхался штурман Волновский.

Он поднялся на мостик, чтобы определиться астрономически — взять секстаном высоту какой-нибудь звезды. А вместо неба над головой — сплошная перловая каша. Мог бы ее пробить маяк на острове Кери, к которому, по счислению, приближалась «эска», но маяки погашены в чертовом Финском заливе.

— Ну и плавание! — пробормотал Волновский, закончив это восклицание общеизвестной формулой.

Тут сигнальщик Лукошков, с биноклем у глаз, сказал неуверенно:

— Слева двадцать… не пойму что́, товарищ командир… вроде торчит там что-то…

Ну Лукошков!

— Молодец! — сказал Волновский.

Он всматривался в указанном направлении, но, кроме колышущихся полос тумана, ничего не видел. Однако глазастому сигнальщику можно было поверить. Именно там, двадцать градусов влево, и ожидал штурман, что откроется маяк Кери. Он дал командиру истинный курс к устью Финского залива.

«Эска» вышла в Балтийское море и направилась на заданную позицию — к Норчёпингской бухте. В шведские территориальные воды было

запрещено заходить. Швеция соблюдала нейтралитет, но продавала Германии железную руду, — вот и ходили в этих водах германские транспорты-рудовозы. Они-то и были целью для подводных лодок.

Несколько суток «эска» командира Сергеева выжидала, днем под водой, а ночью всплывая для зарядки батареи и вентилирования отсеков. Стояла редкая для неспокойной Балтики штилевая погода. Сергеев видел в перископ гладкую воду, освещенную солнцем так мягко и золотисто, словно и не было никакой войны.

Ясным было ночное небо. По очереди поднимались на мостик покурить. Солнечного света который уже день не видели в тесной стальной «коробке», так хотя бы лунного и звездного света хлебнуть.

Закончив сеанс ночной радиосвязи с базой, поднялся на мостик Семен Малякшин. После долгого сидения в тесной жаркой радиорубке до чего приятно было вдохнуть широкий воздух моря. Малякшин закурил самокрутку, неспешно оглядел небо, отыскал на нем звезду Арктур, альфу Волопаса, и — по придуманной еще до войны привычке — послал мысленный привет тамошнему обитателю-арктурианину.

А Волновский только что зеркальцем секстана «посадил» Полярную звезду на линию горизонта. Штурманы, известно, обожают, когда ночное небо безоблачно — ясно прочерчен горизонт. Волновский закурил «Беломор» и обратился к Малякшину:

— Ну что, Сенечка, нашел свой Волопас?

— Да. Вон он, — указал Малякшин.

— А мне больше нравится Орион.

— Понятно, товарищ старший лейтенант. Тоже красивое созвездие.

— Ну-ка, найди его.

Сенечка и Орион, похожий на восьмерку, отыскал среди скопища звезд и ткнул в него пальцем.

— А как называется альфа Ориона? — продолжал штурман ночное развлечение.

— Бетельгейзе, — сказал Сенечка. — Вон она горит. Яркая.

— Великий астроном! — Волновский одобрительно хлопнул его по плечу. — Кончится война — поступишь в училище Фрунзе. Будешь штурманом.

Пятые сутки начались, когда ранним утром обнаружили транспорт, вышедший из Норчёпингской бухты. Сергеев пошел на сближение, выстрелил, но — чертов штиль! — на транс-

порте увидели след идущей торпеды и успели отвернуть. Транспорт устремился обратно — в шведские территориальные воды.

В тот же день, ближе к вечеру, обнаружили конвой, идущий с севера. Восемь транспортов насчитал Сергеев, и были они, по-видимому, «в полном грузу́». Наверное, шли из Лулео — шведского порта, где производилась погрузка железной руды. Их сопровождали четыре сторожевых корабля. (Тут надо заметить, что немцы, перегородив Финский залив, полагали, что их плаванию русский флот не угрожает. Об этом свидетельствовало то, что́ увидели лодки первого эшелона, прорвавшие заграждения и вышедшие в Балтийское море: немецкие суда ходили без охранения, с освещенными иллюминаторами. После первых же торпедных атак огни на транспортах погасли, и появилось у них охранение.)

Сергеев начал маневрировать, нацеливаясь на последний в колонне транспорт. Но на сторожевиках не зевали — заметили след перископа на гладкой воде. Один из них повернул на лодку, намереваясь ее таранить. Сергеев увел «эску» глубже и мористей. А когда спустя час снова всплыл под перископ, то увидел дымы уходящего конвоя на кроваво-красном фоне закатного неба.

Ночью перезарядили торпедные аппараты. Перед тем как началась эта работа, в первый отсек пришел Гаранин, а за ним шагнул главстаршина Кияшко, боцман, чье лицо, обрамленное рыжей бородкой, обычно выражало озабоченность. Но сейчас боцман слегка улыбался. В руках у него была бадейка с суриком и кисть.

— Напишем на торпедах: «Смерть фашистам!» — сказал Гаранин. — Давай, Яков Степаныч.

Боцман потянулся к верхней торпеде на стеллаже, но, при изрядной ширине плеч, росту ему недоставало.

— Дайте кисть, боцман, — сказал Травников.

Аккуратно, избегая подтеков, он написал грозные слова на стальных боках двух торпед. Гаранин похвалил его почерк.

— А можно я напишу: «Это вам за Ленинград»? — спросил Травников.

— Правильно! Пиши, Валентин Ефимыч, — одобрил военком.

Темно-красная надпись появилась на третьей торпеде. Травников обмакнул кисть в бадейку и занес ее над четвертой. Вдруг Мелешко выкрикнул:

— Эх, а за Смоляны? Товарищ комиссар… За

Смоляны тоже…

— Это твоя деревня так называется? — спросил Гаранин.

— Да… Нету уже ее…

— Ладно. Пиши, Валентин Ефимыч: «За Смоляны».

Так на четвертой торпеде появилось название белорусской деревни, спаленной оккупантами.

После перезарядки аппаратов Мелешко не то чтобы повеселел, но как бы оттаял. За обедом (а обедали теперь ночью, около трех часов) вдруг пустился рассказывать, как маманю, председателя колхоза, райком наградил патефоном.

— С пластинками? — поинтересовался Федоров. — Или так?

— Як же так? — удивился Мелешко. — Ну да, с тремя пластинками. Одна была така харошая — «Каховка». — И он напел ее: — «Каховка, Каховка, родная винтовка, гарачию пулей лети…»

— Горячею пулей, — поправил Федоров.

— А я што гавару?

Следующим днем штиль на море сменился волнением балла на три. Самая подходящая погода. Сергеев и воспользовался ею. В районе острова Эланд он атаковал транспортное судно водоизмещением не менее пяти тысяч тонн. Обе торпеды,

выпущенные из носовых аппаратов, прошли незамеченными и поразили цель. Столб огня и дыма увидел Сергеев в перископ. На сторожевых катерах, шедших в охранении, услышали шум лодочных винтов и набросились на лодку. Более двух часов гремели взрывы глубинных бомб. Но Сергееву удалось уйти от преследования.

Ночью он получил радиограмму — приказ перейти на другую позицию, к восточному побережью в районе между Виндавой и Либавой. Тут ему не повезло. Транспорт с сильно дымящей трубой неожиданно увеличил скорость, и обе торпеды, посланные из кормовых аппаратов, прошли мимо. Сергеев приказал всплыть и дать ход дизелями. Догнав транспорт, он вызвал наверх артрасчеты. Травников с мостика выкрикнул в мегафон Бормотову, командиру носового орудия-сотки, цифры целеуказания. Сотка бабахнула, с третьего выстрела накрыла цель, на транспорте вспыхнул пожар. Но тут появились сторожевые катера, и Сергеев скомандовал прекратить огонь и ушел под воду.

Опять медленно потянулось время поиска и ожидания. Уже двадцать шесть суток утюжила «эска» Балтику. Люди, конечно, устали. «Какие мы давно не мытые, не бритые, — думал Травников

иной раз, пощипывая себя за отросшую мягкую бородку. — На наших лицах „подводный загар“… Когда еще доберемся до базы… до бани… Ты бы испугалась, увидев меня сейчас», — обращался он мысленно к Маше…

А на двадцать седьмые сутки, ранним утром, Зарубов, стоявший вахтенным офицером, вызвал Сергеева в рубку:

— Дымы большого конвоя.

Сергеев прильнул к окуляру перископа. Ничего себе конвой! Полнеба застит дымами. Идя на сближение, Сергеев вскоре различил в середине конвоя крупное судно необычных очертаний. Зарубов, глянув в перископ, сказал:

— Это танкер. Тысяч на десять тонн.

Зарубов до войны плавал на судах торгфлота и хорошо разбирался в классах транспортных судов.

И началась торпедная атака. Охранение было сильное: шли миноносец и три сторожевых корабля. «Эска», нырнув, прошла под первой линией охранения. Прошумели над ней, подвывая, винты миноносца. Оказавшись внутри конвоя, Сергеев всплыл под перископ, но поднял его всего секунды на три. Не очень-то за такое время осмотришься, но главное командир увидел: танкер

шел, не меняя курса. Он приказал приготовить к стрельбе второй и четвертый аппараты. Акустик, держа контакт с целью, докладывал пеленги, помогал Сергееву уточнить скорость танкера. Зарубов и Волновский, со своими таблицами и планшетами, работали над картой. И когда лодка пересекла вторую линию охранения, Сергеев получил нужные данные для стрельбы. Он скомандовал ложиться на боевой курс. В первый отсек полетела долгожданная команда:

— Аппараты, товсь!

Дистанция была надежная — не больше пяти кабельтовых. Сергеев слышал тяжкий стук винтов танкера. Увидел в перископ: его черный нос ползет к перекрестью нитей…

— Аппараты, пли!

Дважды вздрогнула лодка, исторгнув длинные сигары торпед.

Как долго они идут… Командир в рубке (а Травников в первом отсеке) отсчитывают: ноль шесть… ноль семь… ноль восемь… десять… Ну что такое?! Неужели промах?!

И тут — грохот взрыва, за ним второй, оба громоподобные, протяжные. Сергеев помедлил, не поторопился опустить перископ: море огня залило окуляр. Страшное зрелище: море горело!

Такого Сергеев еще не видывал…

Он услышал: внизу, в центральном посту, крикнули «ура!». Увидел: катера-охотники ринулись на лодку.

Нажата кнопка, перископ пошел вниз.

— Срочное погружение!

Ах, боцман Кияшко… не удержал… лодка после торпедного залпа подскочила кверху, показала рубку… «Ныряй, боцман, ныряй!..»

Глубинные бомбы ударили звенящими взрывами. Лодка уходила, набирая глубину. Сергеев направил ее к пылающему танкеру — укрыться под ним от бомб… Катера-охотники не полезут в горящую нефть, разлившуюся по воде…

Но танкер уже начал тонуть — надо уходить из-под него. Сергеев вывел лодку полным ходом. Но мал, мал подводный ход. Катера настигли ее, сбросили серию глубинных бомб. Море рвалось и ревело, грозя гибелью. И стонало, принимая удары, корабельное железо.

Глава двенадцатая
«Ты сохранишь свой скальп»

Елизавета, когда я заявился к ней в новом своем, офицерском, облачении, нашла, что прежняя краснофлотская форма была мне «больше к лицу». Женщины всегда найдут, что что-то не так. Мне нравился мой темно-синий китель с лейтенантскими нашивками на рукавах. Другое дело — то, что я не из писаных красавцев. Рыжие усы, шевелюра цвета разваренной гречки, некоторая косолапость… Правда, глаза у меня, как определила Лиза, «хорошие, честные». Ну, не знаю. Я редко гляжу на себя в зеркало.

Она, Лиза, была задумчива в тот вечер, когда я пришел проститься перед уходом в Кронштадт. Задумчива и нежна. Отдаваясь, шептала мне: «Мой хороший… сладко тебе?»

А потом, когда сели за стол и я налил в рюмки разбавленный спирт, Лиза тихо сказала, наклонив голову набок:

— Вот и кончилось мое счастье.

— С чего ты взяла, что кончилось? — возразил я. — Кажется, я пока живой. И не собираюсь те-

рять свой скальп.

— Скальп — что-то из романов про индейцев?

— Да. Индейцы срезáли кожу с головы поверженных врагов. Это и называлось — снять скальп.

Лиза смотрела на меня, медленно улыбаясь. Из тарелки репродуктора лилось негромко и проникновенно: «Здесь, помню, некогда меня встречала, свободного, свободная любовь. Здесь сердце впервые блаженство узнало…»

— Ария князя из «Русалки», — сказала Лиза. — Папа ее любил… Как хорошо поет Лемешев, правда?

— Правда.

— Ты сохранишь свой скальп, Дима. Я уверена.

— Сохраню и привезу к тебе. Ну, за нашу будущую встречу.

Мы чокнулись, выпили, закусили. А князь тем временем довел свою замечательную арию до конца.

— Так ты будешь плавать на подводной лодке?

— Да. Это очень хороший вид транспорта.

— Дима, — сказала Лиза, глядя на меня долгим немигающим взглядом, — в тебе прочно сидит бывший мальчишка.

— Ну и пусть сидит, — сказал я. — Вот он просит

спирту добавить.

Очень хотелось мне отвлечь Елизавету от грустных мыслей. Но — не удавалось.

Да и вообще было не до шуток: тревожное шло лето. На юге, в излучине Дона, развернулось сильное германское наступление. Вчера нам перед строем зачитали приказ Сталина, требовавший остановить отступление: «Ни шагу назад!» Нас вроде бы не касался этот суровый приказ — нам ведь отступать некуда. Но продирало от него холодком: страна в опасности… что будет с нами, если проиграем войну?.. Приказ учреждал заградительные отряды — их задача расстреливать *своих,* если самовольно покинут позиции под натиском противника… если побегут… Я живо вспомнил, как впервые услышал про заградотряды: отец рассказал, что при штурме мятежного Кронштадта разместили такой отряд с пулеметами за спинами штурмующих…

Такие дела.

Настало время прощания. Лиза кинулась в мои объятия, мы целовались, она повторяла сквозь слезы:

— Димка, береги себя… береги себя… береги…

В ночь на 9 августа базовый тральщик БТЩ–217 вез из Ленинграда в Кронштадт нас — группу но-

воиспеченных флотских лейтенантов. В августе ночи темные, но немцы с южного берега — из Стрельны и Нового Петергофа — шарили прожекторами по Морскому каналу и, конечно, увидели идущий тральщик и обстреляли его.

Мы, лейтенанты, сидели в кают-компании, где иллюминаторы были задраены броняшкой. Слышали, как командир заорал с мостика: «Боцман! Шашки с левого борта!» Понимали, что сброшенные дымовые шашки прикрывают корабль дымзавесой. Но разрывы снарядов грохотали все громче, и один, похоже, рванул на корме. Тральщик содрогнулся, отчетливо застучали осколки по металлу верхней палубы.

— Щас шарахнет по нам, — сказал один из лейтенантов спокойным, как на учениях, голосом.

Да и шарахнуло бы, возможно, если б не ответный огонь Кронштадта. Было слышно, как там рявкнула тяжелая артиллерия. Ночь свистела, ревела, рвалась — дьявольский этот оркестр был хорошо нам знаком, но, знаете… когда сидишь не в окопе среди поля, а в тесной железной коробке… в общем, понятно, не так ли?..

А когда умолкла артиллерийская гроза, в кают-компанию заглянул военком тральщика, чернобровый политрук, и спросил, прищурясь:

— Шо, молодежь, никто от мандража не помер?

— Ну и шуточки у вас, товарищ политрук! — сказал я. — Один снаряд, кажется, влепили?

— Влепили, — ответил военком. — В корме пробоина, ахтерпик затоплен. Да это ничего, откачаем. А вот двух ребят поранило. Одного — тяжело. — Он вздохнул протяжно: — О-хо-хо… Шо поделаешь, война — дело сурьезное… Готовьтесь, лейтенанты, через час будем в Кронштадте.

Вот они, лодочки, потаенные суда, как их когда-то называли. Прислонились к пирсам Купеческой гавани Кронштадта, ветер лениво полощет их флаги на кормовых флагштоках, ворчат на холостом ходу дизеля, идет утреннее проворачивание механизмов. А две лодки пришвартованы к бортам плавбаз «Иртыш» и «Смольный», и оттуда, из недр плавбаз, судовые стрелы вытягивают и грузят в отверстые люки подлодок сверкающие на солнце торпеды. Эти лодки готовятся к выходу в море.

Мы, несколько лейтенантов, назначенных на подплав, предстали перед начальником штаба бригады. Знаете, что он мне сказал, когда я представился?

— Лейтенант Плещеев, кем вы приходитесь пи-

сателю Льву Плещееву? А, сын. Ну так вы немного опоздали: ваш отец сегодня ночью ушел в море.

Я знал, конечно, что отец в Кронштадте, что он добивался разрешения пойти в боевой поход. Но надо же! Этой ночью, когда я шел в Кронштадт, отец ушел на одной из лодок. Я уточнил: на подводном минном заградителе типа «Ленинец». Это особая субмарина, у нее шесть носовых торпедных аппаратов, а в корме две трубы для постановки мин. Двадцать мин она несет; и уж будьте уверены, поставит их в любом месте Балтийского моря — дальность плавания у минзагов огромная.

Знаете, что я подумал? Отец виноват во многом, ну, вы знаете, что я имею в виду. Я не забыл. Но — испытал восхищение, когда услышал, что он пошел в плавание. В такой, черт дери, опасный поход!

А меня направили на одну из «малюток» на стажировку — помощником командира БЧ-один-четыре, то есть штурмана. Командовал «малышом» капитан-лейтенант Бойко, недавно назначенный и поэтому ужасно строгий. Если кто-то из экипажа в чем-то провинился, Бойко кричал на него, свирепо шевеля желтыми усищами. Ладно хоть, что воздерживался от мата.

Вообще, очень скоро я убедился в том, что крику на флоте много, ох, много.

Первые дни я изучал лоцию Финского залива, помогал штурману Королькову корректировать карты. С Володей Корольковым мы быстро сдружились, он был, как и я, ленинградцем, с Выборгской стороны, училище Фрунзе окончил год назад. Человек крупного телосложения и почти двухметрового роста, он не очень-то подходил к службе на «малютке» — не соответствовал по габаритам. На этой лодке тесно, бóльшую часть площади занимают механизмы, переплетения труб, оставляя экипажу лишь узкие проходы.

В те дни возвращались из боевых походов лодки первого эшелона. 14 августа пришла с моря «эска» капитан-лейтенанта Сергеева. Было раннее ветреное утро, с запада валили тучи, чреватые дождем. «Эску» встречали торжественно. На пирсе стояли командующий флотом и члены Военного совета, ну и, конечно, наш комбриг и старшие офицеры бригады, и экипажи лодок, уже вернувшихся из походов или готовящихся к ним. Гудел, трубил, бряцал медью бригадный оркестр. «Эска» подошла малым ходом, стала, на пирс полетели канаты швартовов. Бросилось в глаза, что ей крепко досталось: помятый форштевень,

вмятины, и сорваны, кажется, два листа легкого корпуса.

На верхней палубе «эски» выстроился экипаж. Все в черных пилотках, все обросшие и, конечно, улыбающиеся. Я всмотрелся в одного из офицеров, самого высокого в строю, — господи, да это ж Валька Травников! Его лицо обросло бакенбардами и бородкой цвета некрепкого чая, но можно, можно узнать! Это Валькина улыбка в сто зубов, это его зеленые глазищи.

По сходне командир «эски», очень прямой и тоже бородатый, сдержанно улыбаясь, сошел на пирс. Оркестр оборвал громыхание, и стало слышно, как командир Сергеев рапортует комфлоту, что лодка потопила торпедами танкер и три транспорта противника и один повредила артогнем. Комфлот обнимает и целует Сергеева, затем и комбриг, и члены Военного совета флота. Заметно, что Сергеева немного пошатывает, — он отвык ходить по твердому, по земле.

А командир береговой базы преподносит командиру и комиссару «эски» четырех жареных поросят — по счету потопленных судов. Такова традиция.

В тот день не удалось встретиться с Травниковым. Они, экипаж «эски», мылись в бане,

отмывались, отъедались, рубали своих поросят. Потом отдыхали, конечно.

А мы на своей «малютке» готовились к походу. Я помогал Королькову наносить на путевую карту предварительную прокладку курса.

Одна из лодок первого эшелона не вернулась из боевого похода. Никто не знает, как гибнут подводники, но имелось предположение, что она погибла на минах Финского залива, когда возвращалась домой. Вернувшиеся же субмарины сообщали ценную информацию о том, как форсировали противолодочные заграждения в заливе. На основе этой информации разведотдел и штурманская служба корректировали карты, рекомендовали предварительную прокладку. Разумеется, такая прокладка не гарантировала безопасность плавания: немцы и финны постоянно обновляли, усиливали противолодочные позиции.

Вечером, после ужина, я отыскал в красно-кирпичном корпусе береговой базы комнату, в которой разместились офицеры сергеевской «эски», постучался и вошел. А там, судя по шумному разговору, клубам табачного дыма и разгоряченным лицам, шло пиршество. Несколько офицеров, в расстегнутых кителях либо в рубаш-

ках-теннисках, сидели за столом, Травникова среди них не было. Я спросил: где он? Кудрявый старлей, со стаканом в руке, глянул на меня шалыми глазами и воскликнул:

— Сие есть военная тайна!

А другой старлей, с раскосым и хищным, как у пирата, взглядом, спросил:

— Лейтенант, почему тебя интересует этот моральный разложенец?

Они, как и еще двое собутыльников, были «на взводе». Не имело смысла вступать в серьезный разговор, и я ответил:

— Мы с Травниковым незаконные дети лейтенанта Шмидта.

Они захохотали и предложили мне присоединиться к пиршеству. Кудрявый старлей (я немного помнил его по училищу, он окончил два года назад и был великим спортсменом — почти как диккенсовский мистер Уинкль) налил мне в кружку спирт из зеленой бутыли.

— За ваше плавание, — сказал я и отпил из кружки. — Вы молодцы. А где все-таки Травников? И почему вы его обозвали разложенцем? — обратился я к старлею с пиратским взглядом.

— Потому что он, вместо того чтобы культурно отдохнуть с боевыми товарищами, побежал к

своей бабе, — ответил тот скороговоркой.

Вот оно что! — подумал я. К Маше Редкозубовой побежал. Ну да, Маша же здесь, в Кронштадте… Это ж куда лучше… куда интереснее, чем тут лакать спиртягу… Ха, «культурный отдых»…

Я еще отхлебнул из кружки. Все в порядке, ребята. Порядок на Балтике. Но как-то теснилось у меня внутри, в груди…

Шел шумный разговор — шутили, смеялись. Я допил из кружки до дна, и стало мне легче: хороший напиток действует безотказно. Мистер Уинкль (вдруг я вспомнил его фамилию: Волновский) налил мне еще и посоветовал не пренебрегать закуской. А закуска была замечательная — свиная тушенка, привезенная из Америки к нашим берегам. По-научному это называлось «ленд-лиз», и очень жаль, что ароматное мясо, извлеченное из золотистой банки, накладывалось на блокадную черняшку, а не на белый хлеб, — но где же его, белый хлеб, взять?

Я еще выпил, память еще более изострилась, и я, вспомнив, в каком виде спорта преуспел в училище Волновский, спросил:

— А боксом ты занимаешься? Или бросил?

— Еще как занимаюсь! — Он легонько ткнул меня кулаком в плечо. — Пых-пых-пых! Ты по

какой специальности? А-а, штурман! Коллега! А на какую лодку назначен? А-а, к Бойко! Он у нас помощником был, мужик серьезный, не советую тебе с ним пререкаться, лейтенант Шмидт!

— Я Плещеев.

— Тем более! — вскричал кудрявый старлей Волновский. — Давай примем еще. Еще — плещё! — веселился он.

Ну и сны показывают в Кронштадте…

Даже странно: главная база Балтийского флота, а сны тут легкомысленные, более того — дурацкие. Приснилось, будто мы с Оськой и еще одним пареньком из нашего восьмого «бэ» притащили с улицы на школьный двор, в дальний угол, дырявую автомобильную шину и пытаемся ее поджечь, спичками чиркаем, торопимся, скоро кончится большая перемена, — и вдруг появляется директор школы Артемий Иванович в своей вечной серой толстовке и басом говорит: «Сюшьте, что вы делаете? Ведь вонять же будет».

Положим, так оно и было в реальной довоенной жизни, да, хотели сжечь старую покрышку, а директор не позволил, накричал. Но зачем вспоминать это? Что за киномеханик прокручивает сновидения? «Ведь вонять же будет…» Тьфу!

Я лежал в комнате на береговой базе подплава,

проснувшись от глупого сна. Слева ритмично храпел Володя Корольков. Справа в приоткрытое окно, с которого я убрал светомаскировку, вливался серенький рассвет, и вкрадчиво шелестел несильный дождь.

Знаете, что такое предутренняя тоска? Ну вот… Я лежал без сна в казарме на острове Котлин, как на плоту посреди бурного моря, а вокруг бушевала война, огромная, нескончаемая… а впереди был Финский залив, начиненный минами, как суп клецками…

Это выражение — «суп с клецками» — я услышал от Травникова. Ранним вечером мы с ним встретились на береговой базе, у входа в столовую. Он был гладко выбрит, в выглаженных кителе и брюках. Мы обнялись. А после ужина вышли покурить.

— Ты не торопишься? — спросил я. — К Маше своей?

— Сегодня не пойду, — сказал он отрывисто. — Нельзя каждый день. Давай излагай — что у тебя, на какую лодку назначен?

Я изложил. Потом Валентин стал рассказывать о походе своей «эски». Мы прохаживались по стенке Итальянского пруда, курили папиросу за папиросой; со стороны Усть-Рогатки, у которой

стояли несколько тральщиков и линкор «Марат», обрубленный сентябрьской бомбежкой, доносился перезвон склянок (отбили полвосьмого). А я… знаете, сквозь звон корабельных рынд я как бы услышал скрежет минрепов о корпус подводной лодки…

Валька рассказывал, как ударились форштевнем о затонувшее судно… о торпедных атаках… как горело море вокруг торпедированного танкера… как лежали на грунте под ударами глубинных бомб, задыхались от недостатка кислорода… а после того как потопили третий транспорт на обратном пути, в устье Финского залива, почти четверо суток лежали, затаясь на дне, под непрерывным бомбометанием, и дышать было нечем… и один матрос-торпедист «тронулся» от кислородного голодания и заорал: «Каховка, Каховка, родная винтовка», а немецкие гидроакустики на сторожевых катерах могли услышать, и пришлось тому матросу заткнуть рот полотенцем…

Мы долго ходили взад-вперед по стенке Итальянского пруда, курили. Дождь, моросивший весь день, к вечеру перестал, и вечер наступал свежий, знобкий, томительно медленный.

Когда мы, наговорившись, шли к корпусу береговой базы, Валя сказал:

— Да, чуть не забыл. Маша о тебе спрашивала. И привет передала.

Шло в августе развертывание подводных лодок второго эшелона. Отправилась в боевой поход и «малютка» капитан-лейтенанта Бойко.

Автономность плавания у «малютки» небольшая — десять суток. Мы пробыли две недели. Мы форсировали полосу минных заграждений (и, слыша жуткое шуршание минрепов о корпус лодки, я понял, что расхожее выражение «с замиранием сердца» — не пустые слова). Командир Бойко имел боевую задачу — разведать обстановку в западной части Финского залива, проверить достоверность сведений о том, что противник усиливает там корабельные дозоры и ведет постановку новых минных банок. И мы получили убедительные доказательства, что так оно и было.

Мы форсировали первую — гогландскую — линию заграждений и двухторпедным залпом потопили транспорт, вышедший из Таллинской бухты. На нашу «малютку» накинулись катера ПЛО, то есть противолодочной обороны; взрывы глубинных бомб сотрясали корпус лодки, подбрасывали ее, как футбольный мяч, погас свет, в темноте кто-то, падая, сбил меня с ног… я ударил-

ся головой о переборку… кто-то матерился… вот и кончается моя война, к чертовой матери… сейчас шарахнет последний удар — и все… прощайте, люди…

Но ударило не так… не так сокрушительно… серия взрывов удалялась… Бойко маневрировал, уклоняясь от бомбометания, — и оторвался наконец от катеров ПЛО.

Уцелела наша «малютка», электромоторы, слава богу, не подвели, работали исправно — но повреждения были. Сгорели предохранители на станции гирокомпаса, и он вышел из меридиана. Навигационные приборы были в моем ведении, но я не знал, что надо делать, если отказывает такое сложное устройство, как гирокомпас. Да и вообще никто не знал, кроме специалистов. Оставалось надеяться на старый добрый магнитный компас.

Хуже было то, что в аккумуляторных ямах, когда лодку швыряло при взрывах, выливался электролит. Плотность его в аккумуляторах заметно понизилась, нужна была доливка, но всплыть и произвести зарядку батареи и доливку эту самую нам долго мешали.

Да, мы убедились, что дозоры у противника не дремлют — ни днем ни ночью. Всплыв под пе-

рископ, видели однажды, как немецкий минзаг ставит новую минную банку между островами Аэгна и Кери и прикрывает его целый отряд сторожевых катеров. Ночью всплыли — были обстреляны катерами, срочно погрузились. Немцы и финны явно укрепляли вторую противолодочную линию — по меридиану от финского полуострова Порккала-Удд до эстонского острова Нарген, или, иначе, Найсаар.

Мы неудачно атаковали транспорт (он успел отвернуть от идущих торпед), и опять нас долго преследовали корабли охранения. Лодка легла на грунт. На нас сбросили больше полусотни глубинных бомб. Я считал, считал их разрывы, а потом перестал — что толку считать?.. Это же все равно как если бы врач спросил, потел ли больной перед смертью… Нет, я не думал о смерти, вернее — ни о чем не думал… Тупое безразличие, вот…

Все проходит, прошло и лежание под бомбами. Повезло: корпус выдержал, и мы не задохнулись. Получив приказ о возвращении в базу, наш «малыш», пройдя гогландский меридиан к югу от этого острова, подорвался на антенной мине. Слава богу, что не на гальваноударной, но все же… Все же был поврежден вертикальный руль. Мы шли подводным ходом, управляясь мо-

торами, при неподвижном руле, к точке встречи с нашими катерами в Нарвском заливе. Шли по счислению. А когда в назначенной точке всплыли, то увидели не «мошки» (морские охотники), а немецкие сторожевые катера, похожие, как мелькнула у меня посторонняя мысль, на одногорбых верблюдов.

— Все вниз! — рявкнул Бойко. — Срочное погружение!

Внизу, в центральном посту, начав маневрирование, уходя от бомбометания, Бойко грозным взглядом окинул нас, Королькова и меня, и проворчал:

— Два лба не могут курс проложить правильно.

Потом, когда сутки спустя «малютка» добралась до Лавенсари, мы уточнили, что невязка у нас была небольшая, всего три мили. Попробуйте точнехонько проложить курс, если обстановка не позволяет определиться ни астрономически, ни по береговым ориентирам, если бездействует вертикальный руль. Невязка — три мили. Да, в трех милях от точки всплытия нас поджидали два морских охотника. Они примчались, вступили в бой с немецкими катерами, вызвали подмогу с Лавенсари…

В общем, «дохромали» мы до Лаврентия, а через двое суток в сопровождении тральщика и катеров возвратились в Кронштадт.

Такое, значит, произошло у меня подводное «боевое крещение».

Глава тринадцатая
Встречи в кронштадте

Дорогой мой Дима! Почему ты не пишешь только одно письмо было я волнуюсь очень. Если ты выходишь в море то надевай теплые носки от сырости могут опять заболеть суставы ноги надо всегда держать в тепле. Вчера обстрел был страшный рядом с больницей дом разрушили а у нас шла операция прервать нельзя хирург кричит простыню над ним держите чтобы с потолка не сыпалось. Димка дорогой я беспокоюсь за тебя ты много плаваешь? У нас событие вдруг вернулся с фронта Покатилов считали что пропал без вести а он вернулся на костылях одной ноги до колена нет. Его трудно узнать борода седая как у Толстого. Он как увидел меня так почесал под бородой и говорит ну что так же долго сидишь в сортире? Дима представляешь Покатилов Геннадия прогнал и его идиотку мамашу и сестру с сыном кретином.

Ой что было Дима. Ника орала так что щекотурка сыпалась. Или штукатурка я не помню как правильно. Геннадий его по морде а он костылем Геннадия по башке чуть не сломал костыль. Покатилов грозился милицию вызвать а Геннадий ее боится уже приходил участковый наверно приходил проверить письмо твоего отца в исполком. Вобщем съехали они засранцы и Ника с ними. Увезли между прочим мою кастрюлю медную и твой синий чайник. Грузовик приехал они погрузились и уехали ну и чорт с ними. А Ника через три дня вернулась вся в слезах. Такие дела у нас. А еще новость Рая Виленская вышла замуж за писателя его фамилия Ярый или Ярцев точно не знаю они вместе работают в газете он старше Райки почти в три раза. Это Роза Абрамовна мне сказала мы на лестнице говорили. Димка милый я часто о тебе думаю вспоминаю как хорошо было с тобой. Дима пиши мне не забывай. Береги себя! Крепко крепко целую. Лиза.

Вот как получилось: 7 сентября пришла в

Кронштадт из двухнедельного похода наша «малютка», а 10-го — вернулся из месячного плавания подводный минзаг с моим отцом на борту. У них был поистине героический поход, и мне запомнилось, как грозно пылали отцовы глаза за очками, когда он рассказывал:

— Шел большой конвой. Знаешь банку Штольпе в Южной Балтике? Вот в том районе. Представляешь, командир дал залп четырьмя торпедами! И два транспорта буквально разломились на куски. Командир дал мне взглянуть в перископ. Дима, это потрясающая картина, исполненная трагедийности. Столбы огня и воды, летящие к небу обломки… Апофеоз войны!

— Ты напишешь об этом походе? — спросил я.

— Да! Поэму надо написать об этих героях. Оду! Но я всего лишь прозаик. Будет книга, непременно.

Разговор происходил на плавбазе «Иртыш», тут отцу дали каюту, — он, можно сказать, был персона грата у нас на бригаде. Мы курили, говорили, я показал отцу письмо Елизаветы.

— Ага! — воскликнул он. — Вытурили этого мерзавца, хорошо! Я прослежу, чтобы его проверку довели до конца. Порок должен быть наказан! Ох!..

Отец вдруг согнулся, рукой потирая поясницу.

— Что с тобой? — спросил я.

— А черт его знает. Ревматизм, что ли. Вдруг вступает.

— На «Иртыше» доктор хороший. Давай отведу тебя в санчасть.

— Да нет, отлежусь. — Отец улегся на койку. — Ты газету свежую принеси.

— Ладно. Пойду, отец, у меня дела. Перед обедом забегу к тебе.

Вот какие дела: неожиданно меня перевели на «щуку», которой командовал капитан второго ранга Кожухов. Штурмана этой лодки тяжело ранило при обстреле (немцы с петергофского берега часто открывали огонь по Кронштадту), и меня назначили на его место. Признаюсь: страшновато было. Лодкой командовал самый старый на Балтфлоте подводник, служивший еще в Гражданскую войну на знаменитой «Пантере». Получив назначение, я подумал: ну и ну, Кожухов скажет кадровикам: «Да вы что, вашу мать, подсовываете мне желторотого птенчика?» Кожухов был офицером плотного сложения, с бритым наголо черепом. Когда я предстал перед ним, он задумчиво прищурился, ухватил двумя перстами кончик крупного носа и, покрутив его, сказал:

«Не расслышал ваше имя-отчество. А, Вадим Львович. Так-так. Принимайте дела. Мещерский, мой помощник, вам поможет. По устройству лодки поможет механик Круговых. Срок — десять дней. Зачет приму я. Вам все ясно?» — «Так точно, товарищ командир», — сказал я как можно более молодцевато. Хотя кошки, или кто там еще, скребли у меня в душе острыми коготками.

В отличие от «малюток», «щуки» — подводные лодки среднего тоннажа. Водоизмещение побольше, и мощность, и, конечно, дальность плавания: проектную автономность в двадцать суток «щуки» перекрывали в два и даже три раза. «Щуки» — самые массовые у нас лодки к началу войны. Подводники их ценили за простоту устройства и эксплуатации.

Простота — это верно. Но с меня, как говорится, семь потов сошло, пока я с этой простотой управился. Знаете, я просто утопился бы, если б не сдал зачет командиру лодки.

Так вот, перед обедом я опять навестил отца. У него в каюте сидел полковой комиссар, начальник политотдела бригады, он с добродушной улыбкой взглянул на меня:

— Ваш сынок, Лев Васильевич?

— Мой. — Отец подмигнул мне сквозь очки.

Он, похоже, управился с ревматизмом. Сидел на койке, курил.

— Знаю, — сказал начпо, — ты к Кожухову назначен, лейтенант. Кожухов, Лев Васильич, старейший у нас подводник. Он службу свою, понимаешь, начал на «Пантере».

— На «Пантере»? — У отца глаза за очками блеснули. — Это лодка, которая в девятнадцатом году потопила английский миноносец?

— Да, та самая.

Они заговорили о первом поколении российских подводников, о «Барсах», на которых те плавали.

— Какое блестящее поколение! — говорил отец, слегка захлебываясь, как бывало и прежде, когда он чем-нибудь восторгался. — «Гвозди бы делать из этих людей!»

— Да, поколение сильное. Да ведь и вы, Лев Васильич, к нему принадлежите. Вы же герой штурма Кронштадта.

— Какой я герой? Рядовой участник штурма, красный курсант.

— Не прибедняйся, понимаешь. Ну, желаю здравствовать.

Начпо поднялся, солидный, неторопливый, и плавно выплыл из каюты.

— Ты принес газету?

— Вот «Красный флот». Позавчерашняя. Вот «КБФ» — сегодняшняя.

— Ага! — Отец углубился в чтение последних сводок Совинформбюро. — Ай-яй-яй, — пробормотал он, — в Сталинграде как ухудшилось…

Да уж, дела там шли плохо. В августе немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда, а теперь, похоже, и южнее. На улицах города шли напряженные бои…

Мы обсудили положение в Сталинграде. Отец считал, что необходимо для его спасения усилить давление на немцев на других фронтах, прежде всего тут, на Ленфронте и на Балтике. Я не обладал стратегическим даром отца и поэтому полностью с ним согласился.

В тот вечер в Доме флота выступали приехавшие из Питера писатели — поэт и два прозаика, возглавляемые Всеволодом Вишневским. Они и отца позвали, конечно. Он выступил лучше всех (вообще-то, не лучше Вишневского, такое просто невозможно). Так живо, так увлеченно рассказал отец о походе подводного минзага, так молодо блестели его глаза… Знаете, я, распираемый гордостью за отца, прямо-таки всплыл над большим залом Дома флота — как «облако в шта-

нах». И между прочим, увидел с высоты своего полета… впрочем, об этом потом.

А ночью отец, вместе с писательской группой, ушел на большом морском охотнике в Ленинград. Мы обнялись на прощанье. Наверное, первый раз в жизни отец меня поцеловал. И тихо сказал:

— Береги себя, Димка.

Он увез мое письмо Елизавете.

Лизанька, дорогая, милая, хорошая!

Я нарочно наставил много запятых, чтобы компенсировать их недостаток в твоем письме.

Спасибо за твою заботу. Я непременно буду, уходя в море, надевать теплые носки. Те, которые ты так здорово заштопала на обеих пятках. Я тоже вспоминаю, как было хорошо нам с тобой.

Я уже сходил в один поход. Скоро уйду в следующий – на другой лодочке. Отец тебе расскажет подробнее. Он недавно вернулся из долгого плавания, можно сказать – героического. Он молодец. Я попросил его защищать тебя, если соседи вздумают тебя обижать. Как здорово, что Покатилов выгнал Геннадия и его

кодлу из нашей квартиры.

А Розалии Абрамовне передай привет, и пусть она передаст мое поздравление Райке с ее женитьбой, то есть с замужеством. Я помню, Райка рассказывала, что писатель Ярцев – переводчик немецкой классики и хоть и пожилой, но очень хороший человек. Я за нее рад.

Лизанька, я за тобой скучаю (или, правильнее, по тебе). Ты моя хорошая. Целую и обнимаю тебя.

Твой Димка

Знаете, кого я увидел в большом зале Дома флота?

Писатели закончили свои выступления, и был объявлен перерыв, после которого начнется концерт. Я пошел курить, проталкивался по проходу, и тут из какого-то ряда вышла прямо на меня Маша Редкозубова. Я остановился, сердце мое заколотилось у горла. На ней было синее платье, в котором я увидел ее в первый раз, только без белого банта, и оно не обтягивало Машу, как прежде, — она заметно похудела. Но все те же два крыла русых волос ниспадали на лицо. Невероятно похожее на лицо Любови Орловой, оно так

часто мне снилось…

Я стоял столбом.

— Здравствуй, Вадя, — пропела Маша, улыбаясь.

А Травников, вышедший вслед за ней, сказал в обычной своей манере:

— После выступления Плещеева-старшего младший Плещеев задрал нос.

— Ничего я не задрал… — Я прокашлялся. — Здравствуй, Маша.

Мы вышли в фойе. Тут было, прямо скажем, брауновское движение. Среди кителей и матросских суконок бросались в глаза цветные пятна — будто острова — женских платьев. Гул голосов, взрывы смеха… Господи, подумалось мне, это же чудо: жизнь рвали в черные клочья, втаптывали в землю, в снег, она захлебывалась, истекала кровью, умирала от голода, — а вот же, вот же ее круговорот. Жизнь продолжается, она круто замешена, ее не возьмешь бомбами… Ну, чудо!

Извините, это я потому раскричался, что слегка обалдел — от улыбки Маши, от ее широко расставленных глаз, от звука ее голоса… Она говорила, что знает, как я раненого Вальку тащил на волокуше по ладожскому льду. А я глядел на нее, тупо улыбаясь… на золотистое пятнышко в

ее правом глазу глядел…

Маша спросила про Виленских.

— Оська пропал без вести, он был в народном ополчении, — сказал я. — А Райка на военной службе, недавно вышла замуж.

— Бедный Ося. — Маша качнула головой. — Он ведь такой талантливый. А за кого вышла Райка?

Я изложил то, что знал о писателе Ярцеве.

— Ярцев? Мне эта фамилия знакома… А-а, — вспомнила Маша, — я читала его комментарий к переводам Жуковского из Шиллера. Так он жив? Я думала, что Ярцев из прошлого века.

— Нет, — сказал я, — он из нынешнего.

— Точно, — сказал Травников. — Рая не такая женщина, чтобы выйти за человека из прошлого века.

— Вообще-то, — уточнил я, — он все-таки родился в прошлом веке.

— Вот и хорошо, — заулыбалась Маша, — мы разобрались в этом вопросе.

— Но не до конца, — сказал Валя. — Пойдем покурим, Дима.

Мы спустились на первый этаж. Тут, возле гальюна, дымили курильщики. Мы закурили «Красную звезду» — не лучшие из папирос, но все

же более приятные, чем филичевый табак.

— Почему ты сказал, что не до конца разобрались с женитьбой? — спросил я.

Валя посмотрел на меня, покусывая сгиб указательного пальца. Он был хорош, китель на нем сидел без единой складки, и блистал на кителе новенький орден Красного Знамени. Весь экипаж их «эски» наградили орденами, командир и военком получили ордена Ленина, остальные офицеры — Красное Знамя. Несколько дней назад я уже поздравил Травникова с наградой.

— Могу тебе сказать. — Валя затянулся и выпустил длинную струю дыма. — Мы с Машей решили пожениться. Загс работает, я узнал. Но Маша хочет — не сейчас, а в новом году. Вбила себе в голову, что этот год плохой, надо его… ну, изжить… а первого января можно и в загс.

— Что ж, — сказал я, — до конца года не так уж далеко.

Глава четырнадцатая
Штурман Плещеев в боевом походе

В середине сентября начались выходы в море субмарин последнего, третьего эшелона. 17 числа покинула Кронштадт «щука» капитана второго ранга Кожухова. И я на ее борту в качестве штурмана. Это был первый мой самостоятельный выход, и меня *обеспечивал* дивизионный штурман. Так было принято на бригаде: молодых командиров БЧ вывозили в их первые походы штабные специалисты.

Дивизионного штурмана, капитана третьего ранга, звали удивительно: Наполеон Наполеонович. По-моему, он, как и его знаменитый тезка, был гением — не в полководческом, конечно, смысле, а в штурманском. Я многому научился у Наполеона Наполеоновича, прежде всего — стремлению к точности.

— У уважающего себя штурмана, — говаривал он, подняв одну бровь выше другой, — место всегда должно быть на кончике остро отточенного карандаша.

«Конечно, где же еще ему быть? — посылал я ответную беззвучную мысль. — Только вот, когда лодка маневрирует под водой, уходя от глубинных бомб, без конца меняя курс, меняя скорость, — как-то трудно, дорогой Наполеоныч, удерживать место „на кончике карандаша“».

— Да, трудно, — отвечал он на невысказанную мысль, поднимая другую бровь. — А что легко в подводном плавании?

И опять был совершенно прав.

Знаете, чему я у него, между прочим, научился? Не спать в походе. «Штурману, лейтенант, в море спать нельзя, — говаривал Наполеоныч. — Спящий штурман — все равно что одноногий футболист. Заснешь здесь, — тыкал он карандашом в какую-либо точку на карте, — а проснешься к югу от Мадагаскара».

Никто из знакомых мне людей не знал так хорошо географическую карту мира, как Наполеон. Однажды я спросил его:

— Что-то никак не вспомню, как называется главный город Новой Каледонии. Не подскажете, Наполеон Наполеоныч?

Он подумал секунды три и сказал:

— Нумеа.

Финский залив наша «щука» форсировала по-

чти благополучно. «Почти» означает, что мы не напоролись на гальваноударные мины, хоть и задевали их минрепы. Но вот антенные…

Взрыв антенной мины — как удар по нервам. Я не удержался, упал со стула. Вася Коронец, штурманский электрик, помог мне подняться. Опять я ударился головой — о маховик клапана вентиляции, что ли. Бедная моя башка — так и колотит по ней война, так и колотит…

Еще взрыв. Палуба уходит из-под ног. Лодка проваливается, на глубиномере — семьдесят пять метров. В ушах заложено, но слышу, как командир приказывает застопорить моторы. Лодка ложится на грунт.

Кожухов и Наполеоныч склоняются над картой. Я кончиком карандаша показываю место. Наполеон прошагал измерителем по линии курса.

— Пять миль до точки, намеченной для зарядки, — говорит он.

Несколько секунд Кожухов размышляет. На его широком лбу под краем пилотки вижу косую ссадину, набухающую кровью, — тоже ударился головой. Он медленно ведет пальцем вдоль заштрихованного на карте прямоугольника.

— Заграждение из антенных мин, — говорит Кожухов. — Выставлено вдоль кромки минного

поля. Так-так. Против нас выставлено. Так-так. А вот мы пойдем надводным ходом.

И командир приказывает всплыть и приготовить к запуску дизеля. Ревет сжатый воздух, продувая цистерны. «Щука», всплыв, закачалась на волнах. Я спешу с секстаном наверх, на мостик, — может, в ночных облаках отыщется чистый промежуток, а в нем звезда, которую удастся посадить на горизонт…

Черта с два! Безлунная ночь, никаких звезд, нет и горизонта. Ни хрена нет, кроме огромной бесприютной ночи. Мостик «щуки» валится вправо-влево, вправо-влево, — ощущаю что-то неровное, нервное в бортовой качке. Скрытую тревогу источает ночь. Я курю быстрыми затяжками. Вдруг вижу: слева от нашего курса вспыхнул свет. Это прожекторный луч, он ложится на зубцы волн, ползет, осматриваясь. Нет, он не достигает до нашей лодки. Но — не слышит ли невидимый противник грохот наших дизелей? Не следует ли погрузиться?

Командир Кожухов стоит спиной ко мне, держась за ограждение мостика. Он упакован в капковый бушлат, на голове шапка-кубанка. Он спокоен. Он знает, что надо делать тут, под накатами волн, среди минных банок, среди этой

грозной ночи. Будто по незримым проводам, спокойствие командира перетекает в мою взбудораженную душу.

Спускаюсь по вертикальному трапу в центральный пост.

— Видимость — ноль, — говорю Наполеону, сидящему на разножке возле штурманского столика. — Ни звезд, ни горизонта.

Он сидит с закрытыми глазами, будто дремлет. Но я знаю, что, даже задремав на пять минут, дивштурман не перестает бодрствовать.

— Возьми глубину, — говорит он, не раскрывая глаз.

Включаю эхолот и жду, уставясь на черный диск указателя глубины. Мерный гул вращения сменяется частыми щелчками, вспыхивает красный огонек против цифр 7 и 0. Отраженный импульс, оттолкнувшись от грунта, вернулся. Что ж, глубина та же, которая стоит на карте в счислимом месте, то есть полученном по показаниям компаса и лага. Но нет у меня уверенности, что расчетное место совпадает с истинным. Все сделано как надо, даже поправка в полградуса на подводное течение (ее внес Наполеон, знаток лоции Финского залива), но все равно нет покоя.

Уж такая беспокойная служба у штурмана:

доверяет только месту, обсервованному астрономически или по наблюдению береговых предметов, да и то опасение невязки остается. (Штурмана́ шутят, что верх невязки воспет в песне: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону».)

Механик Круговых, мрачноватый капле́й, небольшого роста, с очень длинными руками, докладывает, что зарядка батареи закончена. И вскоре ревун короткими хриплыми звуками возвещает срочное погружение. Обрывают, словно на полуслове, свою монотонную песню дизеля. Слышу грубые хлопки открывающихся кингстонов главного балласта.

Остаток ночи идем под водой. Пять раз натыкались на минрепы (от их скрежета по корпусу лодки хотелось сжаться, стать меньше, забиться в безопасный уголок, даром что таких уголков на подлодках не существует). Утром, когда там, наверху, полагалось начаться рассвету, «щука» подвсплыла, и Кожухов, медленно вращая толстую трубу перископа, осмотрелся.

— Ну и где ваш маяк? — сказал он, дернув щекой. — Что-то не вижу. Посмотрите, Наполеон Наполеоныч.

Тот прильнул к окуляру и, ухватившись за рукоятки, пошел вокруг перископа. Вглядывался

несколько минут. По счислению уже должен открыться маяк Кери. Неужели у нас большая невязка? Или, может, на море туман…

— Есть маяк, — говорит Наполеон. И дает мне отмашку: — Возьми пеленг, штурман.

Спешу к перископу. Вижу серый рассвет и бесконечно бегущие волны. Где же маяк? Не вижу, не вижу… Пляска волн, больше ничего… К чертовой матери… не гожусь я в подводники…

— Немного левее перекрестья, — слышу голос Наполеона. — Успокойся, напряги зрение.

Я напряг. Я напряг.

И увидел! Вертикальная черная черточка, спичка, то захлестывающаяся волнами, то открывающаяся…

Я пеленгую эту чертову спичку.

Невязка, к моему удивлению, небольшая — всего две мили. Да, с Наполеоном не собьешься с курса. Выбрав эту невязку, уточнив прокладку, я немного расслабляюсь. Хочется закурить. Какое там… Предстоит долгий день подводного хода. С севера пересечем меридиан острова Керн, аккуратно обойдем наше минное поле, выставленное в сорок первом. Потом прорвемся между немецкими минными банками севернее острова Нарген. Бог даст, прорвемся, а дальше — ляжем

на курс двести тридцать и полным ходом в открытое море.

Голова побаливает. Да и как не болеть голове от Финского залива? От проклятого «супа с клецками».

Ну вот, малость почистила наша «щука» Балтийское море. В районе Мемеля (там была у нас первая позиция) командир Кожухов потопил двумя торпедами крупный транспорт, набитый солдатами, — куда-то перебрасывало немецкое командование воинскую часть, а отправилась она прямехонько к «морскому шкиперу». Так определил Кожухов. А военком Ройтберг назвал эту операцию «купанием фрицев».

На траверзе Либавы нам помешала штормовая погода: две посланные торпеды не попали в атакованный транспорт. Думаете, Кожухов рассердился, расстроился? Даже не матюгнулся! Преспокойно приказал всплыть и дать ход дизелями. Это же какая дерзость: на виду у кораблей охранения пуститься в погоню за уходящим транспортом. Форсируя дизеля, наша «щука» догнала транспорт, дававший отчаянные гудки, и Кожухов всадил в него неминучую торпеду. Катера противолодочной обороны мчались к «щуке», стреляя из пушек, но шторм мешал прицельному

огню, мы успели срочно погрузиться — и долго, долго Кожухов маневрировал, уходя от бомбометания.

Когда стихли разрывы глубинных бомб и страшное напряжение боя отпустило нас, Наполеон Наполеоныч сказал Кожухову:

— Ну, Федор Иваныч, вы корифей подводных дел.

Кожухов не то улыбнулся, не то дернул щекой. Сняв пилотку, вытер огромным носовым платком вспотевшую бритую голову и сказал:

— Очередной смене заступить на вахту. Коку — сварить какао. Для поддержания затраченных сил.

А себе велел подать стакан крепко заваренного чая.

Неспешно тянулся к концу сентябрь. От Либавы до Виндавы наматывали мы на винты пустые мили. Вот и шторм приутих, а море будто метлой вымели. «Куда фриц подевался?» — ворчал капитан-лейтенант Мещерский, помощник командира, оглядывая в перископ пустынную морскую равнину. Сменившись с вахты, он предлагал военкому, старшему политруку Ройтбергу, партию в шахматы. Военком любил шахматы, иногда и выигрывал, но чаще получал мат. «Я

недоглядел, а ты воспользовался, — говаривал он, поднимаясь, — просто тебе повезло, а везение связано со случайностью и, значит, незакономерно». Наш военком любил глубокомысленные выражения, он до войны преподавал марксизм-ленинизм в одном из ленинградских вузов.

А командир обычно помалкивал. Однажды за ужином Наполеон Наполеонович все же разговорил его.

— Федор Иваныч, — спросил он, наливая чай в стакан, — вы не помните, с какой дистанции Бахтин выстрелил в английский эсминец?

— Не помню, — ответил Кожухов. И, покрутив кончик носа двумя пальцами, добавил: — Я и не должен это помнить. Кем я был тогда? Сигнальщиком, салажонком по первому году.

— Да, понятно. — Наполеон поднял одну бровь выше другой, отчего его худощавое лицо вроде бы перекосилось. — А верно, что вся команда была награждена?

Тут я впервые увидел, как наш командир улыбается. Своему, может, далекому прошлому он улыбнулся и сказал:

— Бахтину дали орден Красного Знамени. Главная награда в то время. Так? И вся команда получила продовольственный паек. Дополни-

тельный. Это же великое было событие: круг колбасы, кусок рафинада, кулек чая. А еще — три дня отдыха. Я в Питер съездил, маманю навестил. Мы чаю настоящего напились. Так?

Вы понимаете, конечно, что разговор пошел о знаменитом выстреле «Пантеры» — подводной лодки, в девятнадцатом году потопившей в Финском заливе английский миноносец «Виттория». Именно «Пантера» открыла боевой счет Красного подводного флота.

С почтением я взирал на капитана второго ранга Кожухова, на его темноватое лицо с жесткими складками от носа к углам рта, на широкий лоб, посередине заклеенный пластырем. Прямо человек из легенды — так?

— Бахтин, — сказал военком Ройтберг, — кажется, был арестован.

— Ничего об этом не знаю, — сказал, как отрезал, Кожухов и отхлебнул из стакана крепко заваренный чай.

— Он в каком был чине? — спросил я. — Кавторанг.

— Да какой кавторанг? — Кожухов дернул щекой. — Лейтенантом он был на старом флоте. А после революции все чины отменили. Все были просто военморы. И командиры, и мы, рядовые.

И он пустился рассказывать, как в конце восемнадцатого года его, ученика слесаря из депо Финляндского вокзала, призвали на Красный флот, а он не хотел на флот, его паровозы интересовали, сильное было желание выучиться на машиниста и мчаться по рельсам.

— По рельсам мчаться, — повторил Кожухов, с легкой улыбкой вглядываясь в далекое прошлое. — Но ведь не спрашивали, чего ты хочешь. В Кронштадте меня постригли наголо, а была вот такая волосня, — он рукой взмахнул выше головы, — и коротко, за два месяца, обучили сигнальному и рулевому делу. Так? И — на «Пантеру». Она только-только из Питера пришла в Кронштадт. Название сильное — пантера опасный зверь, — а сама-то лодка… Нет, они, серия «Барсóв», были первыми боеспособными лодками в России. Но их состояние… Года два «Пантера» не погружалась. Как в марте восемнадцатого пришла из Гельсингфорса, так и стояла у причалов. Часть экипажа ушла на сухопутье воевать… Еще чаю принеси, — отнесся Кожухов к расторопному вестовому. — Что-то разговорился я сегодня.

— Давайте, давайте, Федор Иванович, — сказал Ройтберг. — Нам ведь интересно. Расскажите, как воевали.

— Да что же рассказывать. Бахтин имел опыт подводного плавания, он на лодке «Волк» служил старшим офицером. У них были успешные атаки в шестнадцатом. Он, Бахтин, получил за храбрость ордена — Станислав там… Святая Анна… Сами знаете, как в Кронштадте было с флотскими офицерами после революции. А Бахтин Александр Николаевич — его не тронули, он сразу признал советскую власть. Ясно вам, Яков Наумович? — взглянул Кожухов на военкома.

— Ну да, признал. Но потом…

— А потом честно служил. «Пантеру» он принял с неполным малообученным экипажем. Дисциплина — одно название. Ну, он, Бахтин, не побоялся этих, языкастых. Стал обучать. Погружения, всплытия — ну, все такое. А обстановка серьезная. Юденич попер на Петроград. В Финский залив вошла английская эскадра — поддержать его наступление. Ну, сами знаете. Короче: тридцать первого августа вышла «Пантера» на патрулирование в Копорскую губу с прилично обученным экипажем. В перископ Бахтин увидел: на рейде острова Сескар встали на якоря два английских эсминца. С солнечной стороны пошли мы на сближение, ну и двухторпедным залпом потопили «Витторию». Это потом узнали, как назывался

эсминец. Он, кстати, новенький был, в семнадцатом спущен на воду. Второй эсминец преследовал нас. Мы уклонились. Тридцать часов шли под водой. Без регенерации. На одном, можно сказать, революционном энтузиазме. Так?

— По тому времени, — сказал Наполеон, — это был рекорд. С тогдашними аккумуляторными батареями…

— Да уж. На «Пантере» еще ничего, она помоложе других «Барсóв», а на прочих батареи сильно изношены. Такая была маета… Элементы с одной лодки на другую перетаскивали, чтоб могла выйти в море…

Кожухов усмехнулся. Но в глазах у него, красноватых от недосыпания, не было веселья.

— «Пантера», — сказал инженер-механик Круговых, посасывая свою трубку (под водой курить нельзя, так он, заядлый курильщик, хотя бы вдыхал табачный дух из пустой трубки), — она и вообще рекордсмен. До сих пор служит.

Я недавно это узнал — что старенькая лодка, называвшаяся ПЗС–1 (то есть плавучая зарядовая станция, чьи дизеля использовались для зарядки батарей действующих лодок), — она и есть знаменитая «Пантера». Не отпускали старушку на покой.

— Федор Иванович, «Пантерой» одно время Рейснер командовал, после Бахтина. Вы с ним служили? — спросил Наполеон.

— Нет. Меня осенью на сухопутье отправили.

— Понятно. О Рейснере я слыхал, что прекрасный был командир, грамотный подводник.

— Да, верно. Подводный флот вообще зачинали заметные люди. Особая порода. «Ершом», например, командовал Грибоедов. Сами понимаете, чей он был потомок, так? Немирович-Данченко служил на подплаве — брат режиссера. А Рейснер, между прочим, родной был брат Ларисы Рейснер. Помните? Журналистка, большевичка, комиссар Главного морского штаба.

— Я слышал, — сказал Наполеон, — что с этой Ларисы писатель Вишневский написал женщину-комиссара в пьесе… как же она называется…

— «Оптимистическая трагедия», — подсказал я. — Кажется, Лариса Рейснер была женой Раскольникова, который командовал Балтфлотом…

— Отставить! — поморщился военком Ройтберг. — Раскольников оказался врагом народа. Его разоблачили. Так что нечего вспоминать.

Тут из центрального поста сунулся во второй отсек Вася Коронец, штурманский электрик:

— Товарищ командир, помощник просит вас

к перископу.

Так закончилось запомнившееся мне чаепитие.

Кожухов увидел в вечереющем закатном небе дымы, дымы…

— Большой идет конвой, — прохрипел он, вглядываясь в окуляр. — Так-так-так…

Он скомандовал поворот и пошел на сближение с конвоем. А я снова прилип к путевой карте. В центральном посту возникла особая — напряженная, как стрела на натянутой тетиве, — атмосфера. Только команды, только цифры отсчетов, беспрерывные доклады гидроакустика.

Атаку осложняло то, что конвой прижимался к побережью, а глубины тут, в районе маяка Акменьрагс, небольшие. Я доложил командиру, что мы приближаемся к десятиметровой изобате (подлодкам не рекомендовано ее пересекать). Но Кожухов не из тех подводников, которые отказываются от атаки. Сблизившись с охранением, он двухторпедным залпом потопил сторожевой корабль. В момент залпа «щуку» вытолкнуло из-под воды, секунды на две она показала рубку и тут же нырнула. Но этих секунд хватило, чтобы немцы ее заметили. Еще гремел, раскатываясь, взрыв наших торпед, а на лодку уже набросились

катера-охотники.

Мелководье проклятое! «Щука» ударилась днищем о грунт. Кожухов велел остановить электромоторы. Лодка опустилась на грунт — и затаилась. Взрывы прекратились — противник, тоже застопорив ход, выслушивал лодку. А мы ничуть не шумели. Даже башмаками по настилу никто не стучал — ходили в носках. Но бомбежка возобновилась. Серия бомб рванула прямо над головой. Лодку подбросило. Посыпались стекла плафонов, погас свет, кто-то коротко простонал. В прыгающем свете ручных фонариков я увидел окровавленное лицо боцмана.

Мне *было страшно*.

Взрыв, еще взрыв…

Хлынет в пробоину вода — и все… Умоешься морской солью, кровью захлебнешься… сгниешь в железном гробу на дне моря…

Но «щуки» скроены прочно. Если нет контакта, прямого попадания, то они держат удары.

Выдержал и я.

Двое суток мы лежали на грунте, и все труднее становилось дышать. Я посматривал на Кожухова, сидевшего на разножке у перископа. Его обширная плешь слабо отражала тусклый аварийный свет. Чтобы не уснуть, не задохнуть-

ся, я про себя тупо повторял старую школьную дразнилку: «Гололобая башка, дай кусочек пирожка...»

Эти последние двое суток сентября я впоследствии назвал «великим лежанием при Акменьрагсе». Бомбометание передвинулось, затем прекратилось, но катера-охотники наверняка болтались поблизости, выжидая всплытия лодки. Всплыли второй ночью. Артрасчеты кинулись к пушкам. Но катеров не было видно. Ночь простерлась безлунная, черная, в антеннах и леерах посвистывал ветер, предвещая шторм. Взревели дизеля. И тут за кормой, в нескольких кабельтовых, вспыхнул прожектор. Не ушли охотники немецкие! Замигали вспышки, грохнули с недолетом разрывы снарядов. Наши артрасчеты открыли ответный огонь из обеих пушек. Катеров не видать, били по вспышкам — ну что это, бой вслепую, а тем временем дизеля набирали обороты, форсировали ход до четырнадцати с половиной узлов, «щука» уходила мористее в непроглядную тьму.

Штормовая ночь поглощала и гасила немецкие прожектора.

Мы ушли — измученные, но живые. И не невредимые. Во всех отсеках работали, устраняя повре-

ждения механизмов. Гудели помпы, выбрасывая воду, проникшую через сальники внутрь прочного корпуса. Самым опасным повреждением было то, что лопнуло несколько аккумуляторных баков, в четвертом отсеке появился хлор. Баки могли воспламениться, вызвать пожар, взрыв. Но электрики успели быстро их отключить.

Короче говоря, в лодке шла борьба за живучесть. И этой борьбой отлично руководил механик — инженер-капитан-лейтенант Юрий Иванович Круговых. Невысокий, рябоватый, спокойный, он всюду поспевал. Казалось, своими длинными руками он доставал до любого протекавшего шва, до любого уголка в любом отсеке.

Кличка у него была — «Юрий Долгорукий».

Всю дорогу не утихал шторм. Сменяя позицию, «щука» шла на север, к Аландскому морю. Так называется та часть Балтики, которая омывает Або-Аландский архипелаг — несколько тысяч островков у входа в длинную кишку Ботнического залива. По сведениям разведки, по Аландскому морю отмечено оживленное судоходство, нацеленное на финский порт Турку. Однако мы, войдя в южную полосу Аландского моря, не заметили особого оживления.

Штормовая погода, наверное, удерживала

финские транспорты и сторожевые корабли в гаванях — в Турку и в главном городе Аландского архипелага Мариехамне.

Несколько суток мы утюжили море в районе маяка Утэ. Этот маяк не был погашен, я хорошо запомнил его огонек среди беспросветной воющей ночи. Шторм швырял лодку из стороны в сторону, заливал мостик, сквозь рубочный люк обрушивал потоки воды в центральный пост. Помпа откачивала воду. Дизеля, казалось, захлебывались, «хватали» воздух из отсеков, — наши легкие реагировали на эти захваты судорожными вздохами.

Пятой ночью, когда «щука» всплыла для зарядки батареи, я поднялся на мостик с пеленгатором, чтобы уточнить место лодки. Я взял пеленг на мигающий желтый огонек маяка Утэ и, запомнив цифры, закурил.

Накат волн был слабее, чем в предыдущие ночи. Шторм явно «убивался». Вода клокотала в прорезях верхней палубы, но не достигала мостика. Лодка шла малым ходом, грохотали дизеля, работая на винт и на зарядку батареи. Докурив папиросу, я шагнул к люку, чтобы спуститься в центральный пост, и тут сигнальщик Степанищев заорал страшным голосом:

— Торпеды!

Как он разглядел в темноте ночи (слабый-слабый свет был только от скобки новорожденного месяца) на накатах волн пузырьки-дорожки двух торпед — понять невозможно.

— Торпеды — левый борт сорок пять! — проорал Степанищев.

И тотчас — выкрик Кожухова:

— Право руля!

Я увидел… черт побери, я увидел их — пузырьки двух торпед, идущих под углом наперерез курсу лодки… Поворотом вправо мы уклонились. «Впритирочку» прошли вдоль нашего левого борта обе торпеды… а пущены они были точно… Кем пущены?!. В южной стороне, откуда их сбросили, ночь сгустилась до полной черноты…

Вдруг там — вспышки желтого огня… одна, другая… звуки орудийных выстрелов… разрывы снарядов выбрасывают столбы воды за кормой «щуки»…

— Стоп дизеля! — кричит Кожухов. — Все вниз! Срочное погружение!

Какое-то время шли на двадцатиметровой глубине под электромоторами. Нас не преследовали, не закидывали глубинными бомбами. Кто же атаковал нас?

— Это была подлодка, — сказал Кожухов, в раздумье покручивая нос.

— Я тоже так думаю, — сказал Наполеон Наполеонович. — Финская лодка, наверное.

— Финская? — переспросил Кожухов. — Почему не немецкая? У финнов всего-то три или четыре лодки.

— Да. А базируются они тут, на Аландах. В Мариехамне. Вот и патрулируют.

А через двое суток, когда «щука» всплыла ночью для зарядки (и верхняя вахта была усилена наблюдателями), нас снова атаковали. И опять сигнальщики углядели приближающиеся дорожки торпед, и Кожухов успел отвернуть.

За нашей «щукой» явно охотилась подводная лодка противника. Днем, когда мы ходили на перископной глубине, она, наверное, лежала на грунте в районе нашей позиции и своей акустикой выслушивала шум наших винтов. Когда же наступала ночь и «щука» всплывала для зарядки батареи, финская лодка засекала работу ее дизелей, шла на сближение и выстреливала по нам торпеды. Это была тактика *засады*.

— Ну я покажу тебе, хитрый гад, игру в кошки-мышки, — ворчал Кожухов в адрес командира невидимой вражеской субмарины.

— Да уж, он хитер, — сказал Наполеон Наполеонович. — Занимает положение для атаки к югу от нас, в темной части горизонта. В это время года видимость на север больше, чем с севера на юг.

Кожухов решил перехитрить финского подводника. На подходе к Южному Кваркену — проливу, ведущему в Ботнический залив, — мы легли на грунт и затаились до наступления ночи. Наши гидроакустики, сменяя друг друга, слушали море. Они слышали шум винтов нескольких транспортов, один из них прогрохотал, как паровоз, над нашими головами. Кожухов выжидал, ему нужен был звук винтов лодки, идущей под электромоторами, — специфическая тонкая «строчка».

Но финн молчал. Возможно, шастал где-то по Аландскому морю, пытаясь найти нашу «щуку», возобновить потерянный акустический контакт.

Во втором часу ночи Кожухов дал команду всплыть и начать зарядку батареи. Иначе было уже невозможно, плотность в аккумуляторах упала чуть не до нуля. На мостике стояли наготове матросы обоих артрасчетов. Качка была не сильная, но какая-то нервная, рывками — словно море трепала лихорадка. В небе тоже было неспокойно — облака то шли густой толпой, то сползали с лунного серпа, и он разливал при-

зрачный свет, и мнилось мне, что он, небесный старожил, при этом скалит зубы в насмешливой улыбке (да какие зубы у луны, тьфу! — корил я собственную фантазию).

Мучительно медленно текла ночь. Лодка ходила курсами норд-зюйд. Грохотали дизеля, набивая электричеством аккумуляторные баки. И уже шла к концу зарядка, и напряжение сил экипажа понемногу ослабевало, когда вдруг Степанищев, человек, сросшийся с биноклем, выкрикнул:

— Справа сто тридцать — рубка подлодки!

Я был внизу, сидел за штурманским столиком, не видел, как произошло дальнейшее. Только слышал. Только слышал, как ахнули обе наши сорокапятки… слышал взрывы с обоих бортов… потом от мощного удара по корме содрогнулась лодка и стала задирать нос…

В общем, ночной бой был коротким. Луна юлила в тучах, то укрываясь черным одеялом, то выныривая на минутку-другую. За эти считаные минуты «щука» и финская лодка обменялись яростным артогнем. Не знаю, достали ли «финку» наши пушкари, но нам попало крепко: один снаряд разорвался в кормовой надстройке. Кожухов скомандовал срочное погружение. «Щука» с большим дифферентом на корму опустилась на дно.

Медленно спустился по трапу, левой рукой хватаясь за перекладины, помощник Мещерский. Правая, залитая кровью, висела — мне показалось, что она почти оторвана. Ему, раненому, сил не хватило, нога не нашла перекладины — он рухнул бы на настил центрального поста, если б его не подхватил Вася Коронец. Усадил Мещерского на разножку. Красивое лицо помощника, обросшее белокурой бородкой, было смертельно бледным. Губы плотно сжаты — ни крика, ни стона. Наш фельдшер, лысоватый Борис Федосеевич, занялся его раной. Осколок снаряда порвал Мещерскому плечо. Федосеич остановил потерю крови, отвел туго перевязанного помощника во второй отсек, уложил на койку, сделал обезболивающий укол.

Не стану описывать борьбу за живучесть, которую вел экипаж под руководством Юрия Долгорукого. Я бы сказал, он чудом удифферентовал лодку, когда мы всплыли следующей ночью (и обнаружили большое масляное пятно на зыби: была, как видно, повреждена топливная цистерна, и, вероятно, по этому пятну подводный финн решил, что наша лодка потоплена). Так или иначе, никто не выслеживал нас наверху.

Радисты связались с Кронштадтом, и Кожухов

отправил радиограмму, доложил о серьезных повреждениях. Спустя полтора часа приняли приказ: возвращаться в базу.

Почти до утра, сменяясь, работали трюмные и мотористы в кормовой цистерне: чинили привод кормовых горизонтальных рулей. Знали, конечно, были предупреждены: при появлении противника лодка срочно погрузится, и они погибнут.

Нам повезло: противник не помешал довести работу до конца.

Утром 20 октября — ранним притуманенным утром — наша искалеченная «щука», исклеванная осколками, с пробоиной в корме, с почти до нуля опустевшей топливной цистерной, тихо, под электромоторами, вошла в Купеческую гавань Кронштадта и ошвартовалась у пирса. Грянул бригадный оркестр. Мы, измученные, но живые, стояли в строю на верхней палубе. Каждого из нас поздравил, каждому руку пожал комбриг. А командир береговой базы преподнес традиционный приз — трех поросят.

Все было как положено.

Я как добрался до своей койки на береговой базе, так и заснул в ту же минуту. Потом отмылся в бане, пообедал — и опять мертвым сном.

Мы отсыпались, и страшное напряжение похода понемногу отпускало нас.

Кожухов, конечно, доложил командованию подробности похода. Особое внимание привлек к тому, что в Аландском море, близ маяка Утэ, финские подводные лодки применяют тактику засад. И когда наступило время ночной связи с субмаринами, действующими в том районе, им было отправлено радиопредупреждение о возможности ночных атак подлодок противника.

Но это предупреждение опоздало.

Глава пятнадцатая
Аландское море

«Эска» капитана третьего ранга Сергеева вышла из Кронштадта в ночь на 15 октября. Накануне выхода Сергеев сказал радисту старшему краснофлотцу Малякшину:

— Сенечка, пиши письмо сестре. Есть оказия в Питер.

Уезжал в Ленинград, в командировку, его приятель, один из штабных. Сергеев отправлял с ним Римме, жене, посылку — золотистую банку американской тушенки и жевательную резинку. Это, знаете, была настоящая драгоценность. По ленд-лизу шли из Соединенных Штатов не только автомобили и самолеты, но и продовольствие, в частности так называемые десантные пайки. В коробку с пайком входили: банка тушенки, банка консервированной колбасы, упаковка с галетами, сигареты и пакетик жевательной резинки. Эту резинку до войны высмеивали в наших газетах: тоже, придумали толстопузые буржуи, жуют резину и радуются. А оказалась она, жвачка, очень даже приятной,

кисленько-сладкой. Флотские интенданты быстро разобрались, что к чему: банки с тушенкой и колбасой не часто, но все же попадали к нам на стол, а вот жевательная резинка шла только им, интендантам, и, конечно, начальству. Простым смертным жвачка не полагалась (разве что по знакомству — в виде исключения).

Сенечка написал крупными буквами:

Инка, привет! Получил твое письмо. Я так и думал, что тебе в школе не трудно. Я-то, помню, с большим трудом одолел первый класс. А ты ведь умная, читать и писать умеешь с первого дня рождения. Хотя и довольно глупая. Зачем ты повторяешь ерунду, которую тебе сказала твоя новая подруга Настя, что под водой долго плавать нельзя? Долго нельзя только некоторым глупым девочкам. Но я тебя к ним не причисляю. Мы, подводники, плаваем под водой столько, сколько захотим. Так и скажи Насте. А то, что мама Римма велит тебе хорошенько завязывать шарф вокруг горла, очень правильно. У тебя всегда бывали простуды и ангины. Так что не спорь с мамой Риммой и не фасонь с открытой шеей. Хотя, конечно, шея у тебя красивая. Всем бы такую шею иметь.

Ну будь здорова, Инка! Целую тебя. Твой стар-

ший и главный брат Семен.

Незадолго до отплытия Сергеев получил звание капитана третьего ранга. Повышение вышло и помощнику Зарубову, и инженер-механику Лаптеву — они стали капитан-лейтенантами. Весь экипаж был награжден орденами и медалями, и сама лодка стала *краснознаменной*. Что же до военкома Гаранина, то и он был представлен к повышению звания, но как раз на днях вышел указ об упразднении института военных комиссаров. Вводилось полное единоначалие (строевые командиры созрели наконец-то, чтобы управлять войсками и кораблями без политической опеки), а военкомы становились заместителями — замполитами. И звания им заменили на строевые, общевойсковые. Так что вместо следующего чина — батальонный комиссар — Гаранин получил звание капитан-лейтенанта. Но после похода, как сказали в политотделе, присвоят ему кап-три, то есть звание капитана третьего ранга.

В связи с этими переменами настроение у Гаранина было сложное. Однако он заявил, что, будучи «солдатом партии», одобряет и принимает к исполнению любое ее решение. По-прежнему рьяно он выполнял свои обязанности. Если замечал у кого-нибудь неправильность взгляда,

то немедленно объяснял, как нужно правильно понимать.

Как-то зашел за ужином в кают-компании разговор о том, какая будет жизнь при грядущем коммунизме. Лаптев сказал:

— Вот я люблю сгущенку, например. Так она бесплатно будет выдаваться? По потребностям?

— Нет, — сказал Травников. — Бесплатно будет выдаваться хлеб. Ну, может, и мясо. А сгущенка — деликатес, за нее платить надо.

— Это вы шутите, Валентин Ефимыч? — устремил на него Гаранин взыскательный взгляд. — Неуместно! Вы что, не проходили в училище основ марксизма-ленинизма? При полном коммунизме деньги отомрут. Бесплатно будет все.

— Деньги отомрут? — Лаптев, спорщик известный, хмыкнул с сомнением.

— Да, отомрут, потому что будут не нужны. Всего, что надо людям, будет вдоволь.

И тут помощник Зарубов, обычно помалкивающий за едой, сказал:

— В моем детстве в Ялте проводили эксперимент — продажу спичек без продавца. Люди клали в кассу гривенник и брали коробок. Но многие воспользовались, что продавца нет: хватали спички бесплатно.

— Что вы хотите сказать, Алексей Никитич? — повел Гаранин строгий взгляд на помощника. — Что и при коммунизме будут хватать?

— Ну, не знаю, — пожал плечами тот. — Люди — они все разные.

— При коммунизме будет у людей высокая сознательность. Никто не станет хватать сверх потребности, понятно?

Как не понять? Ужин закончили в молчании, только вилки звякали о тарелки. И угадывалась в этом молчании мысль о том, что неплохо было бы и дожить до полного коммунизма.

Не все так думали, конечно. Люди, это точно подметил помощник, *все разные*. Лейтенант Травников, к примеру, и вовсе о другом думал.

Позавчерашним вечером, будучи в увольнении, главстаршина Бормотов подрался на Советской улице, на бульваре напротив Дома флота, с каким-то гражданским. Они успели надавать друг другу по морде, пока не подоспел патруль. Гражданского, проверив у него документы, патруль отпустил, а вот Бормотова отвели в комендатуру. По дороге он, зажимая носовым платком кровоточащую губу, резко высказывался, обидел начальника патруля, младшего лейтенанта; за драку и неподобающие высказывания комендант определил

Бормотову пять суток гауптвахты по-строгому. «С разбитой губой на губу», — понимающе кивнул Травников, когда Гаранин сообщил ему о происшествии, морщась от его неприятности.

— Должен сделать вам замечание, товарищ Травников, — продолжал Гаранин официальным тоном, — вы мало занимаетесь воспитанием подчиненных.

— Замечание принял, — сказал Валентин. — Но вы же знаете, товарищ замполит, что Бормотов — особый случай. Очень трудный, строптивый характер.

— Знаю, конечно. Каждый характер требует индивидуального подхода. А не отношения вообще. Понятно?

Но отсидел Бормотов на гауптвахте только сутки. Началась подготовка к выходу «эски» в море, и ему надлежало находиться в седьмом отсеке, принимать торпеды, а не «прохлаждаться на губе». Об этом из штаба бригады позвонили в комендатуру. Сергеев отправил Травникова забрать строптивца с гауптвахты.

Бормотов, небритый, с опухшей нижней губой, сухо ответил на вопрос Травникова о самочувствии:

— Лучше всех чувствую.

Они шли по улице Зосимова. Попутные тополя мотали облетевшими ветвями под порывами ветра. Травников рассеянно раскатывал мысли о погрузке торпед, об индивидуальном подходе к несимпатичному подчиненному, а главная мысль была — удастся ли вечером выбраться к Маше.

Вдруг Бормотов сказал:

— Знаю, вы меня не любите, лейтенант, потому и не спрашиваете.

— О чем я должен спросить?

— Должен! Ничего не должен никто… Мы с Зиной на танцы пришли, как раз танго заиграли, вот. Танцуем, значит. Вдруг этот, едрит-твою, подходит. Хватает ее за руку и как дернет…

— Кто?

— Ну кто — Коньков! С ремзавода. Гад лохматый.

— Дернул за руку, а дальше?

— Он Зину к выходу потащил, она отбивалась. А мне что — смотреть спокойно? Догнал, Зинку отнял, Коньков орет, ударил меня. Ну я же понимаю, где мы столкнулись. Говорю: «Давай на улицу выйдем». А у него искры из глаз. Орет как не знаю кто. Там ребята были с «Иртыша», они мне помогли Конькова на улицу вывести. Ну а

дальше… Пусть он, едрит-твою, спасибо скажет, что я его ремнем с бляхой не уложил. Под ноги адмиралу.

— Какому адмиралу?

— Ну, там памятник кому поставлен?

— А-а, Беллинсгаузену. Так вы у памятника дрались?

Бормотов не ответил. Дождь заморосил — западный ветер нагнал-таки тучи, набухшие небесной влагой. Дождливая шла она — вторая военная осень.

— А за что ему памятник стоит? — спросил вдруг Бормотов.

— Беллинсгаузен в прошлом веке открыл Антарктиду, — сказал Травников. — Он и Лазарев первые, кто увидели ее берега. И положили на карту.

— Вы, лейтенант, много чего знаете, — сказал Бормотов, помолчав. И, когда уже пересекали площадь Мартынова, добавил: — Я ведь тоже… не очень-то вас… но уважаю.

— Спасибо.

Травников посмотрел на него: не насмешничает ли? Но лицо строптивца не выражало насмешки. Напротив, было очень серьезно.

Вошли под арку Купеческой гавани.

— Приведите себя в порядок, Бормотов. И — на лодку.

— Есть, товарищ лейтенант.

День прошел в хлопотах, обычных перед выходом в море. В первый и седьмой отсеки были приняты торпеды в полном комплекте, в кранцы обеих пушек погружен боезапас. Командир Сергеев со штурманом Волновским прорабатывали на карте маршрут. Когда Травников после ужина спросил у Сергеева разрешения «сходить на берег», тот посмотрел на него раздумчиво:

— Ну, если у вас все в порядке…

— В порядке, товарищ командир, — сказал Травников. — В торпедах давление воздуха проверено, гироскопы отрегулированы.

— Вы женились, Валентин Ефимович? — прервал Сергеев его доклад.

— Фактически да, а формально…

— Надо и формально, если отношения серьезные.

— Отношения самые серьезные, товарищ командир. Мы поженимся после похода.

— Хорошо. Отпускаю до двадцати трех.

Второй раз за этот длинный день Травников быстро зашагал на улицу Зосимова: знал, что вечером Маша будет там у Тамары Корзинкиной.

Но когда он, постучав, вошел в комнату, Тамара была одна. Худенькая, маленькая, быстроглазая, она возилась с дочкой, сидевшей в кроватке и лопотавшей тонким голоском.

— Ой, Валя! — сказала Тамара. — А Маша еще не пришла, я жду, у меня смена через полчаса.

У нее на черноволосой голове косо сидел берет не берет — нечто вроде самодельной бордовой шляпы.

— Привет, Тома, — сказал Травников, снимая фуражку и плащ. — Ты иди, а то опоздаешь. Я за Катей присмотрю.

— Да? Ну спасибо, Валя, а то я… Катьку я накормила, так что… если заплачет, ты ей бутылочку с чаем дай. Ну, я побежала, а то…

Она облачилась в черное пальто, видимо перешитое из краснофлотского бушлата, и, схватив сумку, устремилась к двери. И тут вошла Маша. Подруги перекинулись несколькими словами, и Тамара убежала.

— Ух! — Маша улыбнулась Травникову. — Давно пришел? Я сегодня тебя не ждала. Ох! — Она, запыхавшаяся, перевела дух. — Бежала всю дорогу.

Травников снял с нее пальто и берет. Поцеловал Машу, спросил:

— Ты из дому? Или опять работа сверхурочная?

— Из дому. — Маша принялась расчесывать волосы крупным гребешком. — Из дому, из дому…

Было что-то нервическое в ее интонации.

— Маша, что с тобой? — Травников взял ее за плечи. — Что случилось?

— Ничего… Ничего особенного. Просто дед никак не уймется…

— Опять на мать накричал?

— Валя, я боюсь, у него в голове сдвинулось… Раньше бабушка все же его сдерживала. А теперь… Сегодня наорал просто ужасно… «Ты такая, ты сякая…» Про какой-то трудовой лагерь, после которого она приехала другим человеком…

— Что за трудовой лагерь?

— Не знаю. Первый раз слышу. Мать — в слезы… орут оба на всю Карла Маркса… «Ты сам меня с ним познакомил…»

— С кем познакомил?

— Не понимаю. Если о моем отце, так ведь он погиб при Перекопе… — Маша всхлипнула.

— Не плачь, Машенька. — Травников носовым платком вытер ей глаза, усадил на стул. — Успокойся. Теперь попробуй улыбнуться.

— Валька… — Она улыбнулась послушно, хоть и

невесело получилось. — Что же делать, Валечка? Так жизнь у мамы сложилась, она же не виновата, что революция, и войны, войны… Разве не хотелось ей, чтобы все по-хорошему, чтобы семья и все такое? Ну не получилось… Такое время, что трудно людям, — разве не так?

— Ты права, время трудное.

— Никак не могут ужиться, смириться… Мама хочет уйти, у нее теперь новый мужчина. Я его видела однажды — молодой, моложе мамы, прихрамывает, был ранен, что ли… Ой, Валька, заболтала тебя…

— Машенька, как ты себя чувствуешь?

— Ну как? Ты же знаешь, на четвертом месяце я… Мы с тобой все-таки сумасшедшие…

— Нет. Нормальные мы. Родишь сына. Я хочу сына.

— Знаю, Валя. Если б не твое желание… я не решилась бы снова испытывать судьбу.

— Моя хорошая. — Травников усадил Машу на колени, говорил между поцелуями: — Ничего не бойся… люблю… вернусь из похода — поженимся… расстели постель…

Она вдруг отвела его руки:

— Нет. Неловко как-то. Взгляни на Катьку.

Травников оглянулся. Сквозь решетчатую стен-

ку кроватки девочка, сидя с тряпичной куклой, смотрела на них круглыми темными глазами и тихо лопотала.

— А нельзя уложить ее спать? — сказал Травников.

— Валечка, ты смешной. — Маша поднялась, поправляя прическу. — Когда у вас поход? Не определилось еще?

— Определилось. Послезавтра.

Маша ахнула, зажала рот ладонью.

— Так скоро… Но послезавтра понедельник, а у вас ведь не принято в понедельник…

— Да, конечно. Уйдем в ночь на вторник. В ноль часов пять минут уже можно выходить.

— А завтра сможешь ко мне прийти? У нас завтра нет сверхурочной.

— Не смогу, Маша. Очень много дел перед выходом. Да, хотел тебя спросить: есть у вас на ремзаводе рабочий по фамилии Коньков?

— Коньков не рабочий, а мастер у нас в механическом. Почему ты спросил о нем?

— Он подрался с одним моим подчиненным.

— Так это твой матрос набил ему огромный синяк под глазом?

— Он не матрос, а главный старшина. Шебутной малый вот с таким самомнением. — Валентин

показал рукой выше головы. — Он танцевал со своей девицей в Доме флота, тут подошел ваш Коньков, обложил моего Бормотова и потащил девицу к выходу…

— Эта девица — Зинка Родионова из заводской бухгалтерии. Коля Коньков с ней жил года два, они были — ну как муж и жена. А когда началась блокада, голод… Коньков еле на ногах держался, ему не до Зинки было, они вроде бы разошлись.

— Понятно. А теперь стало полегче, паек прибавили, и он, значит…

— Значит, не хочет он Зину терять. Твой старшина шебутной? Ну так два шебутных сошлись. Коньков ее не отдаст. Он принципиальный. Так и скажи своему.

— Непременно скажу. И мы еще посмотрим, кто кого — твой или мой. Ты же умная, — добавил он, помолчав, — знаешь, из-за чего Троянская война началась — из-за женщины.

— Знаю, знаю. — Маша стояла у детской кроватки. — А знаешь, Валечка, Катька, кажется, заснула.

В ночь на 15 октября капитан третьего ранга Сергеев повел свою краснознаменную «эску» в боевой поход.

Финский залив, продутый ветрами всех рум-

бов, встретил лодку как старую знакомую. Как и в июльском походе, Сергеев, погрузившись на западном гогландском плесе, шел, прижимаясь к опушке финских шхер. Как и прежде, ему везло. Только несколько раз проскрежетали минрепы якорных мин по обоим бортам, только однажды задели антенную мину — «эска» форсировала первую линию заграждений «без крупных неприятностей» (по определению инженер-механика Лаптева).

Близ островка Макилуото гидроакустик доложил о шуме винтов по такому-то пеленгу. Сергеев поднял перископ и увидел на багровом фоне закатного неба дымы конвоя — не менее пяти кораблей шли курсом зюйд-зюйд-вест (вероятно, вышли из Хельсинки). Сергеев тотчас пошел на сближение и вскоре высмотрел в середине конвоя крупный транспорт. Он атаковал двумя торпедами и видел, как транспорт переломился пополам, выбросив столб огня и разлетающиеся обломки.

Корабли охранения долго преследовали «эску», глубинными бомбами избивая залив, давно забывший о покое. Сергееву, как всегда, везло: лодка уцелела и никто не задохнулся от удушья при двухсуточном лежании на грунте.

Удалось оторваться от преследования. Удалось форсировать вторую полосу заграждений.

Утром 20 октября «эска» достигла позиции в районе маяка Утэ. Здесь, в Аландском море, боевая задача предписывала трех– или четырехдневный поиск кораблей противника, а затем — переход через Южный Кваркен в Ботнический залив (чтоб и его «почистить»).

Весь день 20-го ходили на перископной глубине. Видел командир Сергеев мелкие, в триста-пятьсот тонн, суда, шастающие по неспокойному морю между Мариехамном и Турку. Но не атаковал их.

— Пренебрегаешь, Михаил Антоныч? — спросил замполит Гаранин.

— Эта мелочь не имеет военного значения, — ответил Сергеев. — Прибережем торпеды для более крупных целей.

— Ну что ж, воля твоя, командир.

Наступило 21 октября. «Эска» всплыла для ночной жизни. Грохотали дизеля, заряжалась батарея, вентилировались отсеки.

В ноль часов лейтенант Травников заступил на вахту. Надев капковый бушлат, он поднялся на мостик. Помощник командира Зарубов сдал ему вахту: лодка в крейсерском положении, курс такой-то, работают оба средний вперед, плотность

электролита такая-то, температура митчелéй (то есть подшипников Митчеля) такая-то.

Травников доложил командиру, что вахту принял.

И глубоко вздохнул, приняв вместе с вахтой свежесть ночного воздуха. После долгого-долгого сидения в стальном ящике, где вместо мебели торпеды в аппаратах и на стеллажах, а вместо воздуха — пониженное процентное содержание кислорода и повышенное — углекислого газа, после спрессованного дня подводной жизни — о, какое упоительное наслаждение в глоткé свежего ночного воздуха!

А ночь была черным-черна — безлунная, огромная. Только, если хорошенько присмотреться, можно было заметить мигающий крохотный светлячок справа десять — то был маяк Утэ. Штурман Волновский уже запеленговал его и теперь докуривал на мостике папиросу, прежде чем спуститься к своей карте.

— Валентин, — негромко сказал он меж двух затяжек, — ты слыхал о джиу-джитсу?

— Нет, — ответил Травников. — Что это за зверь?

— Это японская борьба. Самооборона без оружия.

— Хочешь ею заняться? — Травников закурил, пряча огонек в ладони.

— Кончим воевать — может, и займусь, — сказал Волновский, спортсмен великий. — Боксом — уже вряд ли. А джиу-джитсу — почему нет?

— Давай, давай, — сказал Травников.

Волновский заплевал окурок и нырнул в люк.

Поднялся на мостик радист Малякшин. Он только что принял сводку Совинформбюро и доложил командиру: продолжаются тяжелые оборонительные бои на улицах Сталинграда…

Травников слышал, как Сергеев проворчал:

— Ты бы, Сенечка, что-нибудь повеселее доложил.

— Я бы рад, товарищ командир, — сказал Сенечка, серьезный малый. — Но нету в эфире ничего веселого.

Перед тем как спуститься вниз, он подышал немного, задрав голову, пытаясь отыскать хоть какую-никакую звезду. Но не видно было ни одной.

Какая густая облачность, подумал Травников. Она своей тяжестью будто море придавила. Волнение заметно уменьшилось, килевая качка медленно вздымала то нос «эски», то корму. Выхлопы работающих дизелей привычно касались

щек теплыми облачками.

— Запросите плотность, — сказал Сергеев.

— В центральном! — крикнул Травников в люк. — Доложить плотность!

Снизу механик Лаптев доложил: еще не добили, не добрали до нормы. Еще часа полтора работать дизелю, заряжая батарею.

Вдруг напрягся сигнальщик Лукошков: будто померещилось что-то в южной стороне. Он всматривался, всматривался в бинокль…

Но черным-черна была ночь.

В радиорубке Малякшин уже отстучал в Кронштадт короткое зашифрованное сообщение о том, что лодка заняла заданную позицию. Радиоузел подплава подтвердил прием. Вскоре он начал передачу, Сенечка принимал — набрасывал на бланк цифры, группу за группой, шло какое-то важное сообщение.

Но…

Ночь взорвалась слепящим огнем.

Долгий грохот… вопль разрываемой стали… медленное кружение черной воды над гибнущей субмариной.

Глава шестнадцатая
Головная боль от финского залива

— Вот, — сказал Мещерский, сжимая и разжимая пальцы правой руки. — Видишь?

Он в сером больничном халате сидел на своей койке. Вадим Плещеев, пришедший в Морской госпиталь навестить Мещерского, сидел рядом на стуле и с улыбкой смотрел на упражнение руки.

— Боялся, что потеряю ее, — продолжал Мещерский, — но тут такие хирурги, Вадим Львович, каких нигде больше нет.

Вадим живо вспомнил хирурга Арутюнова из 3-й бригады морпехоты там, на Свири, — тоже ведь золотые руки, — но вслух сказал:

— Здорово, что они вам руку спасли.

— Через неделю, может, выпишусь. Что там у нас на лодке? Все еще в доке?

— В доке. Много возни, некоторые механизмы сдвинуты с фундаментов. Но корпусные работы почти закончены. Вам привет от командира и команды, Леонид Петрович.

— Спасибо. И за это тоже. — Мещерский кивнул

на принесенные Вадимом подарки — две пачки папирос «Ракета» и баночку с клюквенным экстрактом.

В палату заглянула медсестра — голова обтянута косынкой, миловидное лицо исполнено служебной строгости.

— Леонид Петрович! В процедурную.

— Иду, Лариса. — Мещерский поднялся, протянул Вадиму руку. — На массаж зовут. Ну, счастливо, штурман.

Вадим осторожно пожал ему руку и вышел.

День был холодный и ветреный, но мороз — не сильный. Январское бледное солнце то затягивалось облаками, то появлялось вновь — негреющий небесный фонарь.

Снег поскрипывал под ботинками. Счастливый человек, думал Вадим о Мещерском. Красив, удачлив. Кажется, из дворян, но семья не репрессирована, потому что отец Мещерского видный специалист, гидролог, — занимался нагонами и спадами воды в Финском заливе, а когда начались перевозки по Ладожскому озеру, он, изучив несущую способность ледяного покрова, составил методику, позволявшую определять грузоподъемность льда. Словом, папа Мещерского был нужным человеком. Да и сыночек, Леонид Пет-

рович, исправный офицер-подводник, хорошо продвигался по службе.

Вадим повернул с улицы Аммермана на Октябрьскую и — резко остановился. Маша Редкозубова тоже остановилась на встречном повороте. С Морского завода раздался сиплый, словно простуженный гудок. А они секунды три молча стояли друг перед другом.

— Здравствуй, — сказал он.

— Здравствуй, Вадя.

У нее на голове был черный платок. В светло-карих глазах — отстраненность. Будто подменили Маше глаза, погасили былой золотистый огонек. Пальто с воротником из рыжего потертого меха было как будто с чужого плеча. «Располнела, — подумал Вадим. — А может, беременна?..»

— Я из госпиталя, — сказал он. — Там один наш офицер лежит, раненый.

— А я — в госпиталь, — сказала Маша, отведя взгляд в сторону. — Мама там работает. Вот… навестить ее иду.

— Маша… Я очень тебе сочувствую. Очень.

— Спасибо, Вадя.

Она кивнула, двинулась было, но вдруг остановилась и позвала:

— Вадя! Извини, но хочу спросить… Мне в ва-

шем штабе сказали, что лодка капитана третьего ранга Сергеева погибла в бою. А подробности неизвестны. Это правда, Вадя? Что случилось? Я хочу знать, что случилось.

— К сожалению, это правда, Маша, — сказал Вадим. — Подробности неизвестны. Никто не знает, как гибнут подводники.

Имелось, правда, предположение, что «эску» Сергеева торпедировала финская подводная лодка. Но предположение — не факт. Незачем забивать Маше безутешную голову предположениями.

— До свиданья, Вадя, — сказала она и пошла своей дорогой.

Снег поскрипывал под ее ногами, обутыми в черные валенки с галошами.

Да-да, никто не знает, как погибают подводники.

Но…

Вижу, слышу… отгоняю навязчивую мысль… но она возвращается… слышу ужасающий взрыв… слепящий, раскатистый… в рваную пробоину врывается вода, быстро заполняет отсек… отсек за отсеком… но, может, удалось остановить воду сжатым воздухом?.. может, в концевом отсеке кто-то сумел выйти через трубу торпедного

аппарата и всплыть, держась за выпущенный буйреп?..

У знакомого мичмана с бригадного радиоузла я узнал: в ночь на 21-е он был на связи с лодками, которые в море; «эска» Сергеева дала радиограмму — работал радист Малякшин, он, мичман, узнал его по «почерку». Сразу расшифровали: командир Сергеев доложил, что лодка достигла заданной позиции. Потом он, мичман, начал передавать командиру Сергееву распоряжение штаба бригады и — на какой-то группе цифр вдруг понял, что радист Малякшин оборвал прием… передача шла в пустоту… что-то на «эске» внезапно случилось…

Ночь за ночью, и еще ночь, и еще — «эска» командира Сергеева молчала, не отвечала на вызовы.

Это означало лишь одно — лодка погибла.

Никто не знает, как гибнут подводники.

Никто не застрахован; мы все, выходя в море, действуем на краю жизни и смерти.

Но *невозможно* было представить себе Вальку Травникова лежащим в холодной воде в затопленном отсеке, в разрушенной подлодке на дне моря.

Однако, наверное, это было именно так.

Маша родила девочку вечером 18 марта. В день Парижской коммуны — так ей подумалось, когда она лежала обессиленная, еле живая, в палате роддома на Березовой улице. (До войны день Паркоммуны всегда отмечали как пролетарский праздник.)

Новорожденная весила нормально, около трех килограммов. Маша хотела сына. Но когда ей показали девочку, на весь роддом орущую от первого соприкосновения с наружной жизнью, Маша поняла, что любит это крохотное краснолицее существо с зелеными (как у ее отца!) глазами. И сразу решила, что имя у девочки будет — Валентина.

Капитолина Федоровна помогала дочери управляться с ребенком. Вообще-то, она жила теперь у своего друга Григория Федякина, капитана интендантской службы. Всю зиму прожила у него в комнатке в том невзрачном северном районе Кронштадта, который называли Козьим Болотом (хотя ни коз, ни болота ныне живущие люди там не видели). Он, капитан Гриша (так прозвала его Маша), осенью сорок первого вывез из Урицка, из полосы боев, ценное радиотехническое имущество — вывез под огнем, был опасно ранен, но выжил. Гришу, тогда техника-интенданта, награ-

дили медалью «За отвагу». Еще лежа в Морском госпитале, он влюбился в Капитолину, медсестру из приемного покоя, хоть она была старше на одиннадцать лет. В нее, красивую, и раньше влюблялись, мало ли, она и внимания особого не обратила на юного интенданта. Но сентябрьские бомбежки перевернули жизнь Капитолины. Погиб ее многолетний друг, хирург, а сама она была контужена, напугана, удручена. С отцом обострились отношения, и прежде не простые. Федор Матвеевич, надо сказать, с младых лет отличался тяжелым характером (не оттого ли, что он всегда имел дело с тяжелой артиллерией?).

Нет, Капитолина Федоровна не вернулась снова жить в редкозубовскую квартиру на улице Карла Маркса. Но приходила часто.

А новорожденная Валентина оказалась очень беспокойной. Маша пугалась:

— Почему она кричит? Она же не голодная.

— Все дети кричат, — говорила Капитолина. — Ты была тоже крикливая — ух! Так орала, что стены тряслись.

— Раз она кричит, значит что-то болит.

— Поболит и пройдет, — успокаивала мать. — У детей всегда так. Переверни ее, посмотрим сыпь на попке.

— Аааааа-у! Уууууу-а! — кричала, плакала Валентина.

В детской консультации считали, что все нормально. Ну диатез. Ну повышенная нервозность. «А у тебя, молодая мама, блокада не отразилась на нервах?»

Что тут скажешь в ответ?

Как-то раз Маша отправилась под вечер в аптеку, — вышла из дому, а тут два офицера идут по Карла Маркса, и один из них — Вадим Плещеев. Остановились, поговорили.

— Мы в Дом флота идем, — сказал Вадим. — На концерт.

— Артисты Ленинградского театра музкомедии приехали — уточнил его спутник, рослый улыбчивый капитан-лейтенант. — Хороший будет концерт. Не пожелаете пойти с нами?

Маша качнула головой:

— Спасибо, но мне не до концертов. В аптеку иду, лекарства дочке купить.

— У тебя дочка? Поздравляю, Маша, — сказал Вадим. — Сколько ей?

— Полтора месяца.

«Не увидел Валя ни сына своего, ни дочки, — подумал Вадим. Ну и дела…»

— В день Парижской коммуны она родилась, —

сказала Маша.

— Ну, это хорошо. Будет, значит, парижанка. То есть коммунарка. А ты здесь живешь? — кивнул Вадим на обшарпанную дверь подъезда.

— Да, квартира два. Приходи как-нибудь.

— Спасибо, Маша.

— Все-таки странно. — Она прошлась взглядом по плечам офицеров. — Знаю, что ввели погоны. Но как-то странно. Всегда ругали золотопогонников.

— Нет ничего странного в том, что мы надели погоны, — сказал капитан-лейтенант Мещерский. — Погоны — отличительная черта военных людей. Просто традиция.

— Просто традиция, — повторила Маша. — Ну, до свиданья, товарищи офицеры.

Она быстро зашагала к площади Мартынова. Офицеры пошли дальше по улице Карла Маркса.

— Красивая баба, — сказал Мещерский. — Ты давно с ней знаком?

— С курсантских времен. Это жена Травникова. Вообще-то, не жена, но они хотели пожениться. Не успели.

Они уже подходили к углу Советской, как вдруг начался обстрел. Рвануло где-то на Флотской, потом ближе, у Гостиного Двора, и дымом все

заволокло, осколки плюхнулись чуть не у носков их ботинок.

— Леонид Петрович, тут щель! — заорал Вадим. — Быстро!

Щель, каких много нарыли на кронштадтских улицах, была метрах в пяти-шести. Они мигом пробежали и один за другим прыгнули в укрытие — яму, накрытую бревнами.

О-о-о! Враз матюгнулись и поспешно стали выбираться наверх: щель была залита водой, да какой холодной!

Выбрались, осмотрели брюки, промокшие, прилипшие к коленям. Попытались отжать, а обстрел между тем продолжался, и бабахнули в ответ кронштадтские батареи. Ну, куда деваться?! Обматерив немцев, да и самих себя, дураков, не сообразивших, что щели залиты вешней водой, поперли дальше, на Советскую, в Дом флота, на концерт.

Шел, пронизанный ветрами, промытый грозами, весенний месяц май. Растаяли последние ладожские льдины, вынесенные Невой в залив.

Главной боевой задачей флота в начавшейся кампании было расширение операционной зоны. Бригада подводных лодок, как и в минувшем году, нацелилась на активные действия в Бал-

тийском море.

Однако выход лодок несколько задержался.

Противник, потерпев зимой крупное поражение в Сталинграде, был еще очень силен. Рука, схватившая за горло Ленинград, не ослабела — продолжалась жесткая блокада. Воем моторов полнилось ночное небо: немецкие бомбовозы сбрасывали донные магнитные мины вокруг острова Котлин. Метались прожекторные лучи, скрещивались на пойманных самолетах. Палили зенитки.

Почти на месяц пришлось закрыть фарватеры: тральщики утюжили, очищали их от мин.

Был ясен стратегический замысел противника: не допустить повторения прошлогодней активности на Балтике советских субмарин, потопивших чуть не целое пароходство — шестьдесят два транспортных судна и семь боевых кораблей. Авиаразведка уже в марте донесла, что немцы усиленно укрепляют рубеж противолодочной обороны от Порккала-Удда на финском побережье до острова Нарген (или Найсаар) близ эстонского берега, — выставляют новые минные банки и — внимание! — *противолодочные сети*.

На сети натыкались лодки и в прошлом году, но теперь, похоже, противник перегораживал ими,

в два ряда, *сплошь* всю ширину Финского залива.

Военный совет флота принял меры противодействия. Бомбардировщики бомбили рубеж, с тем чтобы разрушить сети и таким образом пробить проходы для подводных лодок. Понимали, что их прорыв в Балтику может стоить больших потерь? Конечно понимали. Однако решили, что он, прорыв, возможен.

Одной из первых вышла — с задачей прорваться — подлодка капитана второго ранга Кожухова.

Накануне выхода, майским пригожим вечером, Вадим Плещеев навестил Машу Редкозубову. Нелегко дался ему визит. Оно, конечно: Маша пригласила его: «Приходи как-нибудь». Но это «как-нибудь» смущало Вадима. Вроде бы: «Можешь прийти, можешь не приходить — мне все равно…» Он понимал, в каком Маша потрясенном состоянии. Знал, что, незримый, будет присутствовать при их встрече Травников…

Вдруг пришло решение: «Хочу повидаться с ней, вот и все. Иду! А там будь что будет».

Дверь отворила Маша. Казалось, она ничуть не удивилась, увидев его.

— А, это ты, Вадя, — сказала. — Заходи.

Как будто сосед зашел спросить спичек.

Редкозубов сидел на своей тахте, погрузив ступни в таз с теплой водой. (Только это средство и признавал он от боли в ногах.) Вадим поздоровался, представился.

— Как вы сказали? — уставился на него Федор Матвеевич с прищуром. — Кощеев?

— Плещеев, — повторил Вадим.

— Ага, — кивнул Редкозубов. — Не его, значит, сын.

— Чей сын? — не понял Вадим.

— Ну чей? Кощея Бессмертного.

— Дедушка пошутил, — сказала Маша, раскрыв дверь в смежную комнату. — Сюда, Вадя.

Валентина — маленький сверток с белобрысенькой головой — лежала на подушке в большой плетеной корзине, стоявшей на двух стульях. Она плакала: аааaа-у! Но вдруг, увидев наклонившегося над ней Вадима, умолкла. «Надо же, — подумал Вадим, — глаза зеленые, как у Вальки».

Он достал из противогазной сумки банку тушенки и поставил на стол.

— Зачем, Вадя? Не такое время, чтобы такие подарки…

— Ты кормящая мать, тебе питание нужно хорошее.

— Спасибо, Вадя. А у тебя Красная Звезда, —

взглянула Маша на орден на его кителе. — Поздравляю.

— У нас весь экипаж награжден за осенний поход.

Помолчали. Маша, в байковом халатике неопределенного цвета, сидела, скрестив руки под грудью, и смотрела в окно, заклеенное пожелтевшими бумажными полосками крест-накрест. Глядя на ее отражение в овальном зеркале, вделанном в дверцу шифоньера, Вадим подумал, что не надо было упоминать об осеннем походе. Они-то из осеннего похода вернулись, повезло, а другие… а Валька остался там… у проклятого маяка Утэ…

Перевел взгляд на стол, заставленный пузырьками, бутылочками, коробочками с присыпкой. Стопка книг была на краю стола, сверху лежал «Овод», некогда сочиненный писательницей Войнич. И, прислоненная к стопке книг, стояла фотокарточка: скуластый матрос, в бескозырке с надписью «Петропавловскъ», с суровым лицом, с закрученными кверху усами, сидел, а рядом, положив ему руку на плечо, стояла и улыбалась молоденькая дева в длинном платье с белым пояском.

Вадим вспомнил: однажды Маша показала ему

эту карточку своих родителей. В университетском общежитии на Добролюбова было это — но как давно… в другой жизни… а была ли она, жизнь без войны, без блокады?..

— Я иногда вспоминаю, — сказала Маша, — как мы смотрели в Александринке спектакль, там чудно играла Рашевская.

— «Мать», — сказал Вадим, — по пьесе Чапека.

— Да. К ней, к матери, являются погибшие сыновья… Вадя… — Маша заглянула ему в глаза, — ты плаваешь на такой же подлодке, как Валя?

— Не на такой же, но — примерно такого же класса. На «щуке».

— На «щуке», — повторила она. — И вы уйдете в новый поход?

— Да. На днях пойдем.

Маша порывисто встала и шагнула к нему. Вадим мигом поднялся.

— Вадя, не смей… — В ее глазах блестели слезы. — Ты слышишь, Вадя, не смей погибать! — Она обожгла поцелуем его губы. — Ты должен, слышишь?.. Ты должен не погибнуть…

— Я постараюсь, Маша, — пробормотал он, ошеломленный ее порывом.

Маша отвернулась, вытирая слезы. Вадим стоял безмолвно. Что сказать? Никакие слова не утешат

молодую вдову… Вдову? Не жена — не вдова… подруга просто… О господи, как все сложно…

Но жизнь требовала будничных дел. Вечные повседневные заботы — не на них ли и держится жизнь? Настало время кормления ребенка. Вадим простился с Машей (она улыбнулась сдержанно) и вышел.

Однако тут же и уйти ему не удалось. В смежной комнате его поджидал Редкозубов. В сине-клетчатой рубахе навыпуск он сидел за столом. Перед ним стояли в стройном порядке бутыль зеленого стекла, графин с водой и вскрытая банка рыбных консервов.

— Садись, лейтенант, — сделал он приглашающий жест. — Познакомимся.

Вадиму захотелось понравиться этому старому, как он помнил, артиллеристу, коренному кронштадтцу. Он даже, по примеру Редкозубова, хватил полстакана неразведенного спирта (и, задохнувшись, потянулся к графину с водой). И тепло стало Вадиму, по всем жилам растеклось. С широкой улыбкой слушал он Редкозубова, а тот рассказывал о своем отце, лучшем доковом мастере в Кронштадте, и о деде, слесаре с Пароходного завода, и как дед по пьяному делу поджег однажды полицейский участок на Козьем Бо-

лоте и загремел в тюрягу, а отсидев, стал таким богомольным и тихим, что «никто его не признавал»…

— Не узнавал, — поправил Вадим.

— Ты пей, — строго взглянул Федор Матвеевич и долил ему спирту в стакан. — До дна пей, Кощеев.

— Я Плещеев.

— Что за фамилия — Плещеев? Ты что, из чухонцев?

— Да! — Вадим развеселился. — Из чухонцев. Как вы догадались?

— Ну, это сразу видно. Кто из кого.

И пошел Редкозубов дальше рассказывать — про аварию давнишнюю на «Петропавловске», когда он двух пальцев лишился и был списан в артмастерские. И как в начале германской войны на форту Милютин устанавливали шестидюймовые пушки «Канэ».

— Если хочешь знать, Коще… то есть Плещеев, это самые лучшие пушки.

— «Канэ»! — Вадим отпил из стакана. — Мы сидели на коне и палили из «Канэ».

— На каком еще коне? Ты закусывай. А то пьешь без ничего.

— У нас, у чухонцев, так принято — пьем без

ничего.

Старый мастер засмеялся, раздвигая усы трехпалой правой:

— Ну, ты артист, Плещей!

Тут распахнулась входная дверь. Капитолина Федоровна вошла и…

— Ой, что это?! — вскрикнула, ужаснувшись.

Вадим обернулся и встал с широкой улыбкой:

— Здравствуйте.

— А… здрасте… А я подумала — Валентин сидит…

— Лейтенант Плещеев, — представился Вадим.

Капитан второго ранга Кожухов был упрям. Два уже раза «щука» натыкалась на противолодочную сеть. Первый раз выпутались довольно быстро: дали ход назад, и сеть выпустила нос лодки из стального объятия. Малым ходом пошли вдоль сети. Знали, конечно, что наши бомбардировщики в апреле пробомбили Нарген-Порккалаудский рубеж. Может, бомбежка разрушила участок сетей, образовав проход для подводных лодок? Кожухов попытался пройти на этом участке, но сеть оказалась неразрушенной. Опять его «щука» застряла. Дали ход назад — ни черта! Ход назад с дифферентом на нос — ни хрена! С дифферентом на корму — черта с два!

Кожухов, сняв пилотку, вытер платком бритую голову. Коротко переговорил с механиком Круговых, с помощником Мещерским. Вадим понимал: если не удастся выпутаться, тогда лишь одно остается: всплыть и попытаться в надводном положении освободиться от сети. Но наверху — сторожевые корабли, катера-охотники, уж они вцепятся во всплывшую лодку.

Вадим вгляделся в карту. В этот чертов, заштрихованный в клеточку прямоугольник, обозначающий сеть, перегородившую залив. Лодка много маневрировала под водой, и он, штурман, разумеется, вел прокладку соответственно изменениям скорости и курса; так вот, он видел, что в семи милях к северу от нынешнего места лодки карта показывает глубину восемьдесят метров. Сеть не может перекрыть такую глубокую впадину. Поднырнуть в этом месте под сеть?..

Но как до него добраться, если не выпутаемся?

Кожухов отдал приказ: довести дифферент на нос до десяти градусов и дать самый полный ход назад. Ну а если и это не поможет…

От форсированной работы электромоторов дрожала и сотрясалась субмарина. Вдруг — сильно дернулась… от рывка попáдали в центральном посту… вырвались!

Непроходимо. Ну ясно же: непроходимо.

Но упрям командир Кожухов. Боевая задача: пройти. А он привык выполнять боевые задачи. Малым ходом шла «щука» вдоль сетевого заграждения. Плещеев доложил о глубокой впадине, к которой приближалась лодка, — ткнул измерителем в число 80. Кожухов задумчиво потеребил нос над картой. Замполит Ройтберг сказал:

— Попробуем нырнуть под сеть.

А Мещерский — тоже склонившись над картой:

— Попробовать можно. Только — немцы не дураки. Могли положить в эту впадину донные мины.

Кожухов засопел над плечом Плещеева, прервал свое размышление:

— Будем нырять.

Вот и все. Решение принято. Ну а дальше — будь что будет. Еще чуть больше трех миль до впадины. Негромко рокочут электромоторы. Вадим прикрыл воспаленные от недосыпа глаза.

Будем нырять — вот и все.

Но до впадины не дошли.

Царапающий звук, щелчок — взорвался третий уже сетевой патрон… лодка закачалась, резко остановленная. Моторы работали, но валы и вин-

ты крутились вхолостую. Опять, опять схвачены сетью… так ее и разэтак…

— Полный назад! — приказал Кожухов.

Но старшина группы электриков доложил из шестого отсека: полный дать невозможно. (Настолько уже разрядилась аккумуляторная батарея.)

А гидроакустик из своей рубки:

— Шум винтов справа семьдесят.

Крепко, ох и крепко влипли…

По приказу командира электрики дают задний ход рывками. Один, другой, третий… Нет, не отпускала сеть…

— Стоп моторы! — рявкнул Кожухов.

Вытащил свой огромный носовой платок, но, помяв его, сунул обратно в карман. Много, много лет занимало в его жизни подводное плавание, но впервые попал он в такой капкан.

Тихо в центральном посту. Кожухов вполголоса говорит с Ройтбергом и Мещерским. Их озабоченные лица блестят от пота. Духота в отсеке. Давно не вентилировали…

«Всплывем — вот уж провентилируемся, — думает штурман Плещеев». Другого выхода нет… всплывая, освободиться от сети… отбиваться от сторожевых кораблей артиллерией, дать ход

дизелями…»

А если не удастся скинуть сеть?

Воображение рисует: сеть стальными ячеями опутала носовое орудие… а может, и рубку… Черт, лучше об этом не думать…

А дифферент на корму нарастает…

Неуютно в Финском заливе, ребята…

Непорядок на Балтике…

Командир говорит что-то механику, ясно доносится слово «всплывать».

Но перед всплытием Кожухов решил еще раз попробовать оторваться от сети. Приказывает: довести дифферент на корму до пятнадцати градусов и дать, насколько возможно, самый сильный рывок обоими электромоторами.

О-о-ох!..

От резкого рывка Вадим упал, головой ударился об настил… Но — движение, движение! «Щука» дернулась и заскользила… с нарастающей скоростью пошла кормой вниз… освободилась от сети!

Круговых орет трюмным: «Пузырь в корму!» С ревом сжатый воздух врывается в кормовую дифферентную цистерну, выбрасывая излишек воды… Лодка выравнивается… почти на ровном киле садится на грунт…

Спаслись!

Но теперь на «щуку» накинулись катера-охотники. Взрывы бомб все ближе, ближе… Море оглушительно воет, грозя ворваться, затопить, отнять дыхание, прервать жизнь…

Плафоны — вдребезги, тьма и адский грохот…

Но — аварийный свет. Неживой, полутемный…

— Осмотреться в отсеках! — хрипит командир в переговорные трубы.

Из второго отсека докладывают о лопнувших аккумуляторных баках — электрики успели их отключить, не дали воспламениться…

Звенящий, со злобной оттяжкой, — взрыв над головой. Лодку подбросило. На мостике рвануло?.. В четвертом отсеке сквозь разошедшиеся швы прочного корпуса хлынула вода. Трюмные бросились забивать щели клиньями. Круговых, с окровавленным лицом, распоряжался, остановил поступление воды, запросил у командира разрешения пустить помпу для ее откачки. Кожухов разрешил не сразу: вой помпы могли услышать акустики на немецких охотниках, и бомбометание стало бы прицельным — это опасно… Но немцы долбили глубинными бомбами широкую площадь, торопились, чтобы не дать подлодке уйти, — сплошной грохот бомбежки, наверное,

мешал их акустикам прослушивать лодку. И Кожухов разрешил запустить помпу.

Два часа бомбили охотники. Два бесконечных часа задыхающийся экипаж «щуки» спасал свой израненный корабль, свою жизнь, повисшую на тонкой нитке. Малым ходом, чуть не ползком, уходила «щука» капитана второго ранга Кожухова от гибели.

Я часто вспоминал впоследствии этот поход — самый трудный в моей жизни. То, что наша «щука» трижды выпуталась из стальных сетей, перегородивших Финский залив, было исключительным везением. Было, если не возражаете, *чудом*.

С погнутым перископом и поврежденным легким корпусом, с протекающим прочным, с отключенной группой аккумуляторов, с вышедшими из строя глубиномерами «щука» дошла, доковыляла до Лаврентия, а потом — и до родного кронштадтского пирса. Контуженому штурману, то есть мне, каким-то образом удалось не свалиться и довести прокладку до конца, с небольшой невязкой. (Давала о себе знать школа Наполеона Наполеоновича.) А голова у меня раскалывалась — ох и сильна головная боль от Финского залива! Таблетки, которыми потчевал

меня фельдшер Федосеич, помогали плохо.

Вот написал: «Удалось не свалиться». Но я падал, когда лодку швыряло и подбрасывало, как футбольный мяч, и больно ударялся головой. Почему-то всегда головой. И когда мы вернулись из этого сумасшедшего похода, я *свалился* на самом деле.

Я плохо слышал, перед глазами плавали пятна, голова болела и болела, — словом, это была контузия. Хоть и не такая зверская, как в августе сорок первого под Котлами.

С трудом я вычертил кальки маневрирования, нужные для отчета. А потом меня отправили в госпиталь. В приемном покое пожилой врач с седыми пучками волос над ушами подверг меня осмотру и расспросу, ощупал шишку на голове. За соседним столом сидела медсестра в очках и записывала в историю болезни.

Эта же сестра повела меня в палату. Шли по темноватому коридору второго этажа — вдруг она спросила:

— А вы меня не узнали?

И с улыбкой сняла очки и косынку, волосы рассыпались; я всмотрелся и узнал: Машина мама! Они ведь очень похожи, только у мамы подглазья припухшие, в сеточке мелких морщин.

— Извините, — говорю, — Капитолина Федоровна, что я не сразу…

— Ничего, ничего. Я и сама знаю, что такое контузия. У вас поход был трудный?

— Да. Очень. Как Маша поживает?

— Ничего. В декрете пока, ну, с дочкой заботы все время. Дети ведь, знаете, болеют.

— Конечно, — киваю, будто действительно знаю про детские болезни. — Вы Маше привет передайте.

— Обязательно передам, — говорит она. — Вот ваша палата.

В палате у меня было трое соседей — один почти беспробудно спал после операции, а двое беспрерывно спорили. Они были выздоравливающие, их распирали стратегические соображения, ни по одному вопросу они не сходились, кроме польского, и от их криков, взаимных обвинений в «тупости» голова у меня не переставала болеть.

— Да перестаньте орать, — просил я. — Что вы никак не угомонитесь?

Тот, что был поменьше ростом, с загипсованной ногой, сверкнул непримиримыми глазами и закричал, кивнув на оппонента:

— Если он еще раз скажет, что немцы выбили нас с горы Колокольни и сидят там, то я его

убью!

Оба они были сержантами из морской пехоты, только из разных бригад. Я не вмешивался в их споры. Выходил из палаты, ковылял по коридору, курил.

Вот и в тот день, получив очередной укол в задницу и прикрыв уши от воплей неистовых сержантов, я вышел в коридор и уселся на диванчик. Из-за двери ближней палаты доносилось радио — такой, черт дери, знакомый романс: «Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня, а вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня…»

Тут я и увидел ее. Маша Редкозубова шла по коридору в полосатом жакете и длинной черной юбке, присматриваясь к номерам палат. Я, как последний болван, подумал: к кому она пришла? Видно, голова у меня все еще была не в порядке.

Я вскочил и пошел ей навстречу.

— Ой! — Маша, улыбаясь, протянула мне руку. — Мама сказала, что ты в двадцать седьмой палате, а ты в коридоре. Здравствуй, Вадя.

— Привет. — Я пожал ей руку. — Рад тебя видеть.

— Я тоже. Думала, думала, чем бы тебя угостить, и ничего не придумала. Только вот это.

Она вынула из сумки сверток — нечто завернутое в газету «Рабочий Кронштадт» — и протянула мне:

— Это щука.

— ?!

— Самая настоящая щука, — сказала Мала. — У деда в бригаде двое парней ловят рыбу, понимаешь?

Это-то я понимал, пол-Кронштадта ловили в заливе колюшку. У колюшки свои законы, в мае она, можно сказать, толпой валила на нерест, ее ловили неводами, глушили головыми шашками: эта невзрачная рыбка спасала кронштадтцев от голода. Но щука?

— …И вдруг видят — среди колюшки всплыла крупная рыба. Щука! Они деду ее принесли, я зажарила, — так вкусно, Вадя! Вот я кусочек тебе принесла. Ты плаваешь на «щуке», я и подумала, что будет кстати, если…

— Машенька, лучшего подарка нам, «щукарям», не бывает.

— Дед говорит: «Угости этого чухонца». Почему-то он считает тебя чухонцем.

— Спасибо, — говорю, — что посетила приют убогого чухонца.

Она засмеялась и подхватила:

— «И лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел…»

Мы сели на деревянную скамью в коридоре. Мимо ходили госпитальные люди — раненые, на костылях и без, и все, конечно, пялились на Машу. Мне это не нравилось, но что же делать, не вести же ее в палату, где орали друг на друга два сумасшедших сержанта.

— Вадя, отчего у тебя контузия?

— От войны, — говорю. — От чего же еще?

— Близкий взрыв был, да?

— Много их было.

— Говорят, немцы перегородили залив сетями.

— Да, сети. Наша «щука» три раза в них попадала. Еле выпутались.

— Господи! — Маша, округлив глаза, глядит на меня. — И вы снова пойдете?

— Наверное. После ремонта.

Она со вздохом отводит взгляд. Смотрит в дальний конец коридора, откуда с грохотом катят каталку с лежащим неподвижным человеком в таком же, как на мне, сером госпитальном халате.

Приходил проведать меня капитан-лейтенант Мещерский. Мы с ним не то чтобы сдружились (он ведь был моим начальником), но, можно

сказать, сошлись на прочитанных в школьные годы книгах. Разговорились однажды об Ильфе и Петрове, и выяснилось, что оба мы — «стулисты». То есть помним всех обладателей двенадцати стульев — и голубого воришку Альхена, и людоедку Эллочку, и блеющего Авессалома Изнуренкова, и бессмертного автора «Гаврилиады» Никифора Ляписа, ну и прочих. «Разве „Нимфа“, туды ее в качель, кисть дает?» — ворчал Мещерский, бывало, просматривая планы боевой подготовки, представленные командирами БЧ. Я подыгрывал ему, тоже изрекал какую-либо цитату (например: «Дешево продается астролябия! Для женотделов скидка»).

Вообще-то, я понимал, что не столько меня навещает в госпитале Мещерский, сколько Ларису — хорошенькую медсестру, с которой близко познакомился зимой, когда лежал тут. Как бы там ни было, он приходил, вытаскивал меня из палаты, мы курили в коридоре, и от него я узнавал новости.

Новости были тревожные. Одна за другой ушли две «щуки» с той же боевой задачей, что и наша. Форсировать линию сетей они не сумели и погибли. От первой было радио, что атакована катерами-охотниками и не имеет возможности

зарядить батарею. От второй не было никаких донесений. Одной из лодок, погибших у сетевого заграждения, командовал Герой Советского Союза Евгений Осипов, отличившийся в кампании сорок второго года.

От Мещерского же я узнал, что Кожухов высказал командиру бригады твердое мнение: залив перегорожен сетями, минными банками, усиленными противолодочными дозорами, — он *непроходим*. Надо прекратить посылку лодок в море. К этому трудному решению склонялся и комбриг, капитан первого ранга Верховский. На Военном совете флота он поддержал Кожухова и других командиров лодок: прорыв в море невозможен.

Но Военный совет лишь приостановил выходы субмарин.

1 июня я выписался из госпиталя. Наша «щука» все еще стояла в доке на Морском заводе, ремонт заканчивался. Мы готовились к очередному походу.

Нас ожидал Финский залив — холодный суп с весьма горячими «клецками». Ожидали бессонные ночи, осторожное движение вдоль кромки минных полей. Ожидали рисовавшиеся моему воображению фигуры немецких (или финских)

катерников у бомбосбрасывателей…

И сети.

Мы готовились по всем правилам. Проводились частые учения по борьбе за живучесть. На инструктажах мы, лодочные штурманы, получали рекомендации для предварительной прокладки. Я подолгу сидел над картой — рассчитывал длину курсов, наносил поворотные пеленги, отмечал места всплытия для зарядки батареи.

Но сети, сети…

Эта впадина под сетью, в которую Кожухов хотел нырнуть и до которой мы не дошли, атакованные катерами ПЛО, — эта чертова впадина не давала мне покоя. Не только мне, конечно. О нырянии под сеть говорили как о единственном шансе прорыва в Балтику, но выражали и сомнение: противник, возможно, поставил на глубоких местах донные магнитные мины.

В томительном ожидании прошел июнь — приказа о подготовке к походу не было. В июле наши войска сорвали немецкое летнее наступление на Курском выступе и перешли в контрнаступление. Высшее командование, наверное, требовало от Балтфлота активных боевых действий на морских коммуникациях противника. А главная ударная сила флота — бригада подплава — оказа-

лась закупоренной у кронштадтских причалов.

В конце июля по приказу комфлота одна из лодок, «эска», была отправлена к Нарген-Порккалаудскому рубежу с боевой задачей — разведать возможность прохода под сетями на глубине, где позволял рельеф дна. «Эска» форсировала Гогландский рубеж, сумела зарядить батарею и приблизилась к линии сетей — об этом ее командир Ващенко доносил на двух ночных сеансах радиосвязи. И — замолчал.

Комфлот приказал направить туда другую лодку, тоже «эску», с задачей торпедными залпами пробить в сетях проходы.

Я удивился, когда услышал об этом. Мы знали, какой размер ячеек у немецких стальных сетей: три метра на три. Подлодка, конечно, в такую ячею не пройдет — но торпеда? Каким это образом сеть загородит ей дорогу и взорвется? Я поделился своим недоумением с Мещерским. Он пожал плечами:

— Только одно могу сказать: приказы начальства не обсуждаются.

Командир этой «эски», Мыльников, выполнил приказ и доложил: все десять торпед, выпущенных лодкой, прошли сквозь сети свободно, не взорвались. А также подтвердил, что бомбо-

метание в апреле сетей не повредило. И еще доложил, что на рубеже много сторожевых кораблей. Мыльникову было приказано возвратиться в базу. Но «эска» этого храброго командира не вернулась.

Тот август был на редкость наполнен солнцем. Вечно плывущие по древнему небесному своду облака обходили Кронштадт стороной. Черные тарелки радиорепродукторов содрогались от победных маршей: закончилась огромная битва на Курской дуге, Москва салютовала войскам, вошедшим в Орел и Белгород. Война явно менялась в нашу сторону.

А у нас на подплаве возникла, говоря военным языком, оперативная пауза. Ценой гибели четырех субмарин — двух «щук» и двух «эсок» — было установлено неопровержимо: Финский залив наглухо перекрыт, прорыв Нарген-Порккалаудского рубежа невозможен. В конце августа Военный совет флота прекратил посылку подводных лодок в Балтийское море.

Глава семнадцатая
Объяснение в любви под обстрелом

Здравствуй дорогой Дима! Ты совсем мне не пишешь забыл наверно. Я не обижаюсь знаю у тебя служба трудная времени не хватает на письма. Лев Васильевич иногда передает привет от тебя и на том спасибо. Я ему достала мазь от боли в пояснице он говорит что помогает. Вчера привез на грузовике дрова и мне тоже дал спасибо. А то ведь осень холода наступают. У нас Покатилов умер сердце ночью остановилось. Ника отвезла похоронила его на Смоленском кладбище. Она теперь железнодорожница ее муж не муж в общем мужчина говорят начальник на Ириновской ветке ж. д. по которой грузы идут от Осиновца до Финляндского вокзала. Он приходит два раза в неделю сильно выпивает поет песни особенно любит Шумел камыш деревья гнулись. Ой Дима я что видела. 25 июля по Нев-

скому провели колонну пленных немцев наверное несколько тысяч. Они шли а на них сбежалось смотреть много народу ругали кричали Дайте их нам а большинство молча смотрели. Они молодые лица у них обычные не как у зверей я смотрела и думала ну зачем полезли к нам. Разве не понимали что завоевать такую большую страну такой народ невозможно. Они ведь не дикари почему же слушаются Гитлера выполняют его дикие приказы. Ну я разболталась ты не устал читать? Дима дорогой я часто тебя вспоминаю. Береги себя.

Елизавета.

Нет, Лиза, нет. Конечно, ничего я не забыл. Как можно забыть тебя, твою заботу? Ты вылечила меня от цинги. Но не это главное. Главное — что ты душу мою отогрела своим женским теплом. Своей нежностью.

Я так тебе благодарен, Лиза, милая!

Почему же не пишу тебе писем? Не знаю… не могу объяснить… почему-то рука не поднимается…

Нет, знаю! Не пишу, потому что не хочется

врать. Не могу писать тебе, как прежде, нежные слова, как будто ничего не произошло! Произошло! Налетело, нахлынуло так же сильно, как тогда, в январе–феврале сорок первого. Даже сильнее.

Я зачастил на улицу Карла Маркса (стал настоящим марксистом, посмеивался я над собой). Валентина болела, то одно, то другое, усматривали признаки рахита. Я мотался по аптекам в поисках нужных лекарств. Я был сам себе смешон, когда на Морзаводе, в столярном цеху, искательно просил пожилого хмурого плотника дядю Егора сколотить детскую кровать из обрезков досок (чертеж с размерами у меня был обдуман и готов заранее). Ну сколько можно держать ребенка в плетеной корзине — она же, Валентина, не кочан капусты. Она — живая душа. Дядя Егор, хоть и не сразу, но согласился: «Ну да, живая душа, гони, лейтенант, семьсот». (Столько как раз стоила той осенью поллитровка.) 18 сентября Валентине стукнуло полгода, и я в этот вечер принес на Карла Маркса детскую кроватку. Мне помог притащить ее Вася Коронец, мой штурманский электрик.

Вася — безотказный парень, бывший киномеханик из города Гусь-Хрустальный — вел

обширную переписку с девушками всего Советского Союза, включая жгучую, судя по карточке, брюнетку из населенного пункта Курья Алтайского края («Гусь на Курице женился», — острил Вася, хотя вряд ли помышлял о женитьбе).

Увидев кроватку, выкрашенную в голубой цвет, с решетчатыми стенками, Маша всплеснула руками:

— Вадя! Это же чудо!

И, засмеявшись, поцеловала меня.

Валентина, уложенная в кроватку, недоуменно огляделась и заплакала. Я нагнулся над ней:

— Что, хочешь обратно в корзину?

Она посмотрела на меня и — вот честное слово! — улыбнулась. Может, это была гримаса отвращения, но я считаю, что улыбка. Валентина, несомненно, понимала шутки.

Редкозубов объявил, что это дело надо обмыть, иначе «никакого проку». Он со своей бригадой дней десять был на южном берегу, на «пятачке» Ораниенбаумском — ремонтировали пушки в зенитном дивизионе, — на днях вернулся, охрипший от простуды, и не с пустыми руками вернулся — привез две бутылки чистого спирта. Сели за стол, приняли «на грудь», и Федор Матвеевич, кашляя и посмеиваясь, принялся

рассказывать:

— Башлыков из землянки вышел, поглядел на меня и говорит: «Дед, ты с Ка-три знаком?» Я говорю: «Тебя на свете не было, когда я с ней познакомился».

— Кто это — Ка-три? — спросила Маша.

— Ну кто? Пушка. Зенитная система. У Башлыкова борода рыжая. И глаза бешеные. «Чтоб мне никаких допуско́в не было, — говорит. — Ноль в ноль. Чтоб передачи к прицелам без мертвых ходов». Я говорю: «Иди, комбат, побрейся. У нас мертвых ходов не бывает».

Федор Матвеевич усы расправил и принялся спирт доливать в стаканы.

— Был, значит, налет, — продолжал он рассказывать, — шли они гавань бомбить, и слышу, как Башлыков из всех четырех стволов по ним застучал. Мы уже на другой батарее тогда работали. Я после отбоя к нему пришел: «Ну что, борода, были у тебя мертвые ходы?» — «Нет, — говорит, — не было. И более кучно, — говорит, — разрывы ложились». — «Ну то-то, — говорю. — Ноль в ноль, значит». У него борода раздвигается на две части. «Благодарность, — говорит, — напишу на твою бригаду, дед». И вот, значит, с полным понятием. — Федор Матвеевич щелкнул легонько

по бутылке.

Тут Валентина заплакала в соседней комнате. Маша поспешила к ней. Я тоже пошел посмотреть — может, привычка к плетеной корзине не дает девочке спокойно лежать? Но оказалось, что она просто мокрая.

Маша сменила ей, как говорится, форму одежды, уложила и взгляд с дочки подняла на меня. Я стоял по другую сторону кроватки, положив руки на ее решетчатую стенку.

— Вадя, — сказала Маша тихо, — я очень тебе благодарна.

— Да не за что, — отвечаю.

— Есть за что, — сказала она.

Выходов в море не было, субмарины стояли у причалов. Теперь командование перенесло оперативную задачу нарушения морских сообщений противника с подводных лодок на авиацию флота. В дело вступил 1-й гвардейский минно-торпедный авиаполк — тот, который в сентябре сорок первого совершил первые налеты советской авиации на Берлин. Дальние бомбардировщики Ил–4 взлетали с ленинградского аэродромного узла, неся на борту по одной торпеде. Уже через несколько минут они пересекали линию фронта, их дальнейший крейсерский

полет проходил над территорией и акваторией, контролируемыми противником. Сети и минные банки им не помеха. Пройдя полтыщи километров, летчики-торпедоносцы, далеко обозревая серо-голубую равнину Балтики, замечали дымы — и устремлялись к ним. И — счет на секунды — сквозь заградительный огонь шли на выбранную цель, сброшенная торпеда мчалась к транспорту — взрыв!

Нет, не все достигали цели. Но шестьдесят процентов воздушных торпедных атак были результативными. За лето и осень сорок третьего балтийские торпедоносцы потопили сорок шесть транспортов противника.

Немецкие конвои отгородились барьерами от торпед из-под воды — получили торпеды, сброшенные с неба.

Никогда Обводный канал, протянувшийся вдоль улицы Карла Маркса, не видывал такого. В его мутной темно-зеленой воде отразились — вспыхнули нездешним огнем — алые паруса. Расступитесь, люди и корабли! Капитан Грэй плывет к своей Ассоль…

Это, извините, разыгралось мое воображение, черт его дери…

Не было ни алых, никаких других парусов. А бы-

ла щель — земляное укрытие от обстрелов, яма, накрытая бревнами и дерном. Я уже упоминал эти щели, вырытые на кронштадтских улицах.

Был ранний вечер 5 октября, начинало темнеть, тянуло зябким восточным ветром, пахнущим дымом и опавшей листвой. Я пошел к Артремзаводу, к окончанию рабочего дня, — хотел встретить Машу, когда она выйдет, и проводить до дому. У нее декретный отпуск кончился, снова она стояла у токарного станка.

Я слонялся по Коммунистической улице взад-вперед у заводских ворот, за которыми высились рваными углами обломки артмонтажного цеха, разбомбленного в сентябре сорок первого. Механический цех тогда уцелел, он притаился за руинами — был смутно слышен гул его станков, стоны железа.

Вечно у них сверхурочная работа, недовольно думал я, поглядывая на своего «Павла Буре», который исправно отсчитывал уходящее время. Я ходил, курил, смотрел на луну, выплывшую из облака, похожего на кукиш с оттопыренным большим пальцем. Темными пятнами «морей» Луна недоуменно взирала на воюющих, истребляющих друг друга (то есть враг врага) обитателей планеты, из недр которой она, луна, некогда

вырвалась, — повезло ей, однако. Какие только мысли не лезут в голову, если торчишь без дела на улице и не знаешь, закончится когда-нибудь или нет на Артремзаводе рабочий день.

Но вот он кончился. Стали выходить из ворот заводские люди, потекли в обе стороны.

Ну, наконец-то и Маша! В длинном черном пальто, в синем берете, вышла она, разговаривая с невысоким мужичком в бушлате и кепке с пуговицей.

Увидела меня, удивленно вскинула брови:

— Ой, Вадя! Что случилось?

— Ничего, — говорю, — не случилось. Разрешишь проводить тебя?

— Ой, конечно!

Она познакомила меня с мужичком в бушлате, это был Коньков, их мастер, о котором я уже слышал, что он к Маше хорошо относится, отпускает с работы ребенка покормить. У него, у Конькова, глаза сидели в глубоких глазницах.

— Не обижает он тебя? — спросил он у Маши, глядя на меня, как мне показалось, высокомерно.

— Что вы, Николай Николаич. Мы старые друзья.

— Тогда ладно — если друзья, — сказал Коньков

и зашагал в сторону Якорной площади.

Мы с Машей пошли к Петровскому парку. Она тараторила о заводских делах: «Партком постановил к 20 октября выполнить месячный план, к годовщине Октября, мы включились, а как сделать досрочно, если ремонт артсистем огромный, тысячи деталей надо выточить, а заготовок вечно не хватает…»

Я слушал ее быструю речь, не сильно вникая в смысл слов, а просто радуясь их звучанию. Дойдя до парка, повернули вправо — на Июльскую. Только перешли мост через канал, как начался обстрел. Как всегда, внезапный. Снаряды с разболтанным свистом летели с южного берега, взрывались в Средней гавани, на Усть-Рогатке, разрывы приближались к Июльской. Я схватил Машу за руку, мы сквозь дым и грохот побежали в садик между Петровским доком и корпусом СНИС, — я знал, там была щель. По земляным осыпающимся ступенькам сиганули в эту щель. Тут было темно, холодно, скользко. Мы стояли на мокрой земле, прислушиваясь к разрывам. Вот ударили кронштадтские батареи. Их гулкие удары рвали сырой воздух в нашей земляной яме. Сыпался с бревенчатого наката песок.

Рвануло близко… почти что над головой… Ма-

ша, вскрикнув, подалась ко мне. Я ее обнял.

Наверху грохотало, грозным багровым отсветом вспыхивал лаз в нашу яму, эти вспышки выхватывали из тьмы Машино лицо — оно мерцало прямо передо мной…

— Я тебя люблю, — сказал я и прижался губами к ее губам.

Маша стояла как потерянная. Закрыла глаза. Не отвечала на мои поцелуи.

Минут через десять-пятнадцать кончился артобстрел. Мы вылезли из щели, пошли по Июльской. Дымились воронки, остро, неприятно, привычно пахло сгоревшим тротилом.

— Ты слышала, что я сказал? — спросил я.

— Слышала.

Мы дошли до поворота на Карла Маркса, и тут Маша, замедлив шаг, посмотрела на меня.

— Вадя, милый, я знаю, — заговорила быстро. — Все знаю. Ты очень хороший. Очень ценю… Но ведь еще и года не прошло после Валиной гибели…

— Через две недели, — говорю, — двадцать первого октября, будет год. — Помолчав, я добавил с отчаянной решимостью: — Маша, люблю тебя. Будь моей женой.

Глава восемнадцатая
Опасное знакомство в Хельсинки

Считается хорошим тоном завершить жизнеописание свадьбой. Как мне хотелось поступить именно так! Я не пожалел бы красок для описания свадебного пира на улице Карла Маркса. Я поведал бы вам, как была прекрасна невеста в новом платье из сиреневого крепдешина (перешитом из старого платья Капитолины Федоровны) и как, потупясь, с легкой улыбкой, она выслушивала поздравительные тосты. А стол ломился от ленд-лизовой тушенки, от селедки и капустных оладий, от торта, испеченного из теста с американским яичным порошком. Федор Матвеевич, в желтой сорочке, с полосатым галстуком, поглядывал из-под черных бровей на молодоженов «и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал». Ну, не мед, понятно, а спирт, но это дела не меняет. А друг Капитолины Федоровны, интендант Федякин, круглолицый добродушный «капитан Гриша», завел принесенный им патефон, и Клавочка, то есть некоронованная королева Кронштадта Клавдия Шульженко, всту-

пила в свои права. «Руки! Вы словно две большие птицы!..» — звенел ее голос, пробуждая воспоминания…

Вспыхнул в памяти новогодний вечер, ночь на сорок первый. У Виленских я впервые увидел Машу, Оська танцевал с ней, и те же томительные «Руки» звучали… «И все печали снимали вдруг»… О господи… Как будто время отмотали назад, и все еще живы, и все еще впереди…

Потом было танго. Капитолина Федоровна, очень оживленная, потянула меня танцевать. Я повел ее как умел, она что-то говорила, но я не слушал, только отдельные слова — «упрямая», «питание», «нормально» — доходили до сознания. А Машу пригласил Мещерский, единственный гость с моей стороны, они танцевали хорошо, танго вообще прекрасный танец. Мещерский, красивый породистый мужик, что-то ей говорил, а Маша, не поднимая глаз, слушала все с той же улыбкой.

Ну а потом время приблизилось к комендантскому часу, и «бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой». И — что-то сегодня классикой забита у меня голова — «Свершились милые надежды, / Любви готовятся дары; / Падут ревнивые одежды / На цареградские ковры»…

Вот бы и закончить жизнеописание на этих «коврах». Но столько событий произошло после нашей женитьбы…

Главным событием, конечно, было снятие блокады в январе сорок четвертого. Перед началом этой гигантской операции, с ноября сорок третьего, флот перевез из Ленинграда на Ораниенбаумский плацдарм 2-ю ударную армию генерала Федюнинского. Под утро 14 января сотни тяжелых орудий обрушили огненный вал на железобетон немецкого переднего края. Такой канонады Кронштадт не слыхивал с сорок первого года. Били батареи крупного калибра, били форты, мощными ударами рвали морозный воздух три башни линкора «Марат». После часовой артподготовки 2-я ударная начала наступление с плацдарма. А утром 15 января вслед за огневым валом с Пулковских высот пошла на немецкие позиции 42-я армия генерала Масленникова. Наступление — по глубоким снегам, по заснеженным болотам — шло трудно. Но, проломив сильнейшую долговременную оборону, две армии 20 января сошлись, соединились в районе Ропши.

Почти два с половиной года группа армий «Север» осаждала, убивала, морила голодом

Ленинград. И вот засидевшийся в своих окопах противник отброшен — к Нарве, к Пскову. То был *конец блокады*. На исходе восемьсот восьмидесятого дня, считая с потери станции Мга, и восемьсот семьдесят второго со дня падения Шлиссельбурга Ленинград салютовал войскам, освободившим его от жесточайшей осады, какой не знала история. Не разрывами зенитных снарядов, а пестрыми огнями фейерверка вспыхнуло небо над израненным, исстрадавшимся городом. Не бомбы падали, а гаснущие праздничные звезды тихо опускались на ленинградцев, высыпавших на улицы. Смеялись, плакали, качали военных, кружили друг друга в танце.

Слышали ли победный гром салюта сотни тысяч бойцов в братских могилах — наспех закопанных в полях и перелесках, в сожженных деревнях и поселках, на Пулковских высотах, на горе Колокольня, у Синявинских болот, на Ораниенбаумском пятачке, на берегах Невы и Луги, Свири и Сестры? Вам, ценой своей жизни — единственной и уникальной — остановившим бронированное чудовище германского фашизма у своего порога, салютовал Ленинград. Слышите? Кончилась, кончилась блокада, проклятая!

Грохот этого салюта просто не могли не услы-

шать ваши бессмертные души.

Что отличает женатого человека от неженатого? Я бы сказал: чувство равновесия.

Неженатый утром встает, впереди уйма дел, и все неотложные, и у него настроение уже испорчено, а еще и нагоняй он получает от начальства за то, что подчиненный ему радист Петькин вчера в увольнении напился пьян и надерзил задержавшему его начальнику патруля, и настроение становится еще хуже, а потом нелегкая приносит на лодку флагштурмана бригады, и он обнаруживает неоткорректированную карту западной части Финского залива, и опять нагоняй, и настроение становится хуже некуда.

А женатый человек? Ну все наоборот. Он просыпается утром, и первая мысль: «Сегодня вечером помчусь домой, обниму и расцелую милую, ненаглядную, а дела — ну что дела, сколько успею сделать, столько и сделаю, а радист Петькин, сами знаете, товарищ замполит, квартальный пьяница, раз в квартал непременно напьется, а специалист-то он хороший, ладно, ладно, усилю воспитательную работу среди него. Ну а насчет неоткорректированной карты, то ваше замечание, товарищ флажок, принимаю, виноват, но сами знаете, что не к спеху западная часть

Финского залива наглухо отгорожена и пока недоступна, лодки стоят в оперативной паузе, так ведь? Конечно так». И ничто не может испортить настроение, потому что тебя держит на плаву *душевное равновесие*. Ты знаешь: вечером тебя ожидает радость.

И вот он, вечер. С кораблей, стоящих в Средней гавани, доносится перезвон: три с половиной склянки, половина восьмого. Весенний ветер резким порывом срывает с головы фуражку, но я ее подхватил. Да я все, что хотите, удержу, не то что фуражку. Я иду, бегу к милой, ненаглядной — к своей жене! Расступитесь, люди и корабли!

И вот я на улице Карла Маркса своим ключом отпираю дверь и вхожу в темноватый, пахнущий стиркой коридор, и соседка Игоревна, выглянув из кухни, делает мне привет мокрой от стирки рукой.

И вот я дома! Федора Матвеича нет, он со своими слесарями-монтажниками ремонтирует пушки на северных фортах. А Маша — вот она! Только что пришла с завода и, так сказать, приняла вахту от Тамары Корзинкиной, которая сегодня присматривала за Валентиной. Я обнимаю Машу и целую, целую, а Тамара, маленькая, худенькая, стоит и смотрит на нас, улыбаясь. Я и

ее чмокаю в щечку.

— Целовальник! — восклицает Маша. — Не можешь без поцелуев?

— Не могу, — говорю и, подняв Валентину, целую и ее в теплую русоволосую головку. — Между прочим, целовальниками называли не тех, кто целует, а тех, кто в трактирах водку продавал.

— Тоже мне, — смеется Маша, — водочный знаток!

Тамара прощается и уходит, провожаемая плачем Валентины. Ей бы только поплакать, покричать — на редкость голосистый ребенок. Я предсказываю: Валентина станет знаменитой певицей или, может, пропагандистом обкома партии.

— Почему пропагандистом? — удивляется Маша.

— Потому что они с утра до ночи пропагандируют, им крепкий голос нужен.

— Остряк-самоучка, — смеется Маша. — Посмотри, она уже совсем хорошо ходит.

Валентина на прошлой неделе неуверенно оторвалась от ножки стула и сделала первые шаги. А сегодня, и верно, совсем хорошо… Ох! Побежала вдруг, хотела, наверное, мне показать, какой она молодец, — и упала. Я подхватываю ее, сажаю к

себе на колени, она ревет, конечно, не столько от боли, сколько от неудачи — самолюбивая же девочка, — наверное, это у Валентины наследственное…

Отрываю от «Рабочего Кронштадта» полстраницы и делаю бумажного голубя. Игрушек у Валентины нет, где их взять, игрушки? А бумажный голубь, пущенный мной в Машу, заинтересовывает девочку. Она сползает с моего колена и пускает голубя туда и сюда — и, довольная, хохочет.

Маша разогревает на кухне и приносит ужин — кашу из перловой сечки и чай с белыми конфетами-подушечками (у них красивое название — пралине́). А я добавляю к этой пище богов банку консервированной колбасы (ленд-лиз!). И мы ужинаем всем семейством, я отпускаю шуточки, и, знаете, пусть хоть трава не растет, а мне хочется, чтобы так она и шла — жизнь.

Ну а потом Маша укладывает Валентину — ей спать пора. Вскоре девочка засыпает с бумажным голубем в руке.

И настает прекрасное время любви.

Мы лежим, отдыхаем, у Маши глаза закрыты, а зацелованные губы чуть приоткрыты в улыбке.

— О чем ты думаешь? — спрашиваю.

— О тебе.

— Прекрасный предмет для размышлений, — одобряю я. — Ну и что ты надумала?

Маша молчит. Как хочется мне услышать слова любви. Знаю, она тоскует по Травникову. По какому-то негласному уговору мы не говорим о нем: больная тема. Знаю и понимаю: вытеснить Вальку из ее головы (и, конечно, из сердца) невозможно. Я и не пытаюсь вытеснить. Но — слаб человек! — глухо ворочается в бесстыдной глубине сознания неутоленное чувство соперничества… Маша прекрасно ко мне относится, но… вот эта тихая грустная ее улыбка и опущенный взгляд…

— Вадя, вот что я надумала. Вчера в «Ленправде» была заметка, что университет вернется в Ленинград из эвакуации. Из Саратова.

— Когда вернется?

— Наверно, к началу учебного года. К сентябрю.

— Понятно. И ты хочешь…

— Да, хочу восстановиться на филфаке, продолжить учебу. Как ты отнесешься?

— Дело хорошее, — говорю. — Но…

— Да-да, как быть с Валентиной, понимаю твое «но». Конечно, невозможно. А если перейти на заочное отделение?

— То есть продолжать работать на заводе и учиться заочно? Маша, это нагрузка огромная.

— Я выдержу.

— Ты ведь и в заводском комсомольском комитете…

— Ну и что? Не каждый же день там заседания.

— Машенька, — говорю. — Конечно, ты выдержишь. Чем я могу тебе помочь?

— Своим одобрением! — Она прижалась ко мне. — Спасибо, Вадя.

— Знаешь, — говорю, помолчав, — Ройтберг, наш замполит, предложил мне вступить в партию. Он хочет сделать лодку коммунистической. Знаешь, что он мне сказал? «Если твоя жена живет на улице Карла Маркса, то политически непонятно, почему ты беспартийный».

— Так и сказал? — Маша смеется. — Какой умный дяденька!

На Красногорском рейде в первых числах июня шла у нас, экипажа «щуки» капитана второго ранга Кожухова, основательная тренировка. Погружения, всплытия, учения по живучести (заделка условных пробоин) отрабатывались по всем правилам. Да и то надобно признать: за год стоянки у причала мы, конечно, не растеряли боевой опыт, но несколько расслабились. К тому

же на лодке появилось молодое пополнение — два торпедиста, электрик и гидроакустик. Ушел на повышение минер (командир БЧ–2–3), на его место назначили молодого офицера, не бывавшего в боях.

Белые ночи разливали над нами сказочный жемчужный свет, но — звонки боевой тревоги врывались в сказку. Команда «К погружению!» — длинный звонок — грубые хлопки открываемых кингстонов главного балласта — длинный ревун — открываются клапана́ вентиляции — надолго уходим под воду…

Словом, две недели усиленной боевой подготовки.

Утром 9 июня покидаем рейд Красной Горки. Утро тихое, мягко освещенное солнцем. Дизеля бодро стучат, тянут басовую ноту: «До-мой, домой!» Я на мостике докурил папиросу и шагнул к рубочному люку, спуститься в центральный пост, как вдруг впереди слева сверкнуло и удар страшной силы потряс небо и море. Рокотало грозное эхо, — и опять удар, и еще, еще…

— Форт Обручев бьет, — сказал Кожухов, глядя в бинокль.

Канонада нарастала.

— Похоже, работают все северные форты, —

сказал Мещерский. — Ну, дело дошло до Финляндии.

Так оно и было. Весь день 9 июня артиллерия била по переднему краю финнов, а ранним утром 10 июня, после часовой артподготовки, войска Ленфронта под командованием генерала армии Говорова прорвали первую линию финской обороны и начали наступление на Выборг.

Это наступление нас, подводников, очень касалось: если Финляндия будет выбита из войны, то откроется нам возможность пройти шхерными фарватерами вдоль финского побережья — с севера обойти чертовы заградительные барьеры и прорваться в Балтику. Ведь так? Пора, ребята, пора! Сколько можно торчать у стенки?

На третий день после возвращения с учений отправился я вечером домой, к своей жене. Вышел из-под арки Купеческой гавани, уголком глаза увидел: с площади Мартынова идет патруль, трое в армейской форме. Ну, мне-то что, пусть идут. Я не краснофлотец, к которому непременно придерутся: куда идешь, почему у тебя клинья в брюках, и все такое. Поворотил на Карла Маркса, и вдруг:

— Товарищ лейтенант, остановитесь!

Гляжу на начальника патруля, рослого дети-

ну с лейтенантскими звездочками на полевых погонах, на его толстогубую — и такую знакомую! — улыбочку.

— Паша, — говорю, — это ты? Здоро́во!

Мы обнимаемся с Пашей Лысенковым. Он трогает пальцем орден, привинченный к моему кителю:

— А-а, уже Красную Звезду заработал. Ну, шустёр.

— Да, — говорю, — мы, подводники, шустрые ребята.

— А-а, подводник. А я как был в морской пехоте, так и остаюсь. Командую ротой в Двести шестидесятой бригаде морпехоты.

— Молодец, — говорю и достаю пачку «Беломора».

Мы закуриваем. Только я пустился в воспоминания (нам есть что вспомнить), как Лысенков меня прервал:

— Вадим, ты Борькин архипелаг знаешь?

— Имеешь в виду Бьёркский архипелаг в Выборгском заливе?

— Ну да. Мы его зовем: Борькин.

— Конечно знаю. Я же штурман, мне положено знать. Ну и что Борькин архипелаг?

— А то, что наша бригада будет его брать. Такой

слух имеется. Как только Ленфронт Выборг возьмет, так и мы пойдем брать острова.

— Понимаю, Паша. Там у входа в Выборгский залив остров Бьёрке, он сильно укреплен. Оттуда финны наши корабли обстреливают. Из Бьёркезунда их катера налетают на наши коммуникации.

— И нам так объясняли. Значит, будем десант высаживать на Борьку.

— Желаю тебе успеха, Паша.

— Слушай, а как твой друг, ну, Травников, он тоже подводник?

— Погиб Травников. Его лодка не вернулась из боевого похода.

— Жалко. Крепкий был боец, — говорит Лысенков, щурясь от табачного дыма. — Вадим, а ведь наши отцы когда-то, в двадцатые, вместе учились на курсах красных командиров. Ты знаешь?

— Знаю, что отец учился на курсах.

— Ну, твой не доучился. В писатели пошел. А мой эти курсы окончил.

— Так он служит на флоте?

— Ну да.

— А где?

— В особом отделе. — Лысенков затоптал сапогом выкуренную папиросу. — Ну, подводник,

давай. Пока!

Пожали друг другу руки. Лысенков со своими патрульными двинулись на Июльскую неторопливым «комендантским» шагом. А я заторопился на Карла Маркса.

Белые ночи июня сорок четвертого года были расстреляны артогнем в Выборгском заливе. Выборг пал 20-го, а в ночь на 21-е разведотряд высадился на Пийсари — длинный остров в Бьёркском архипелаге. Завязался бой, финны пытались сбросить десантников в узкий пролив Бьёркезунд, отделяющий Пийсари от полуострова Койвисто, в проливе схлестнулись пушечным и пулеметным огнем финские канонерки и бронекатера Балтфлота. Под прикрытием дымзавес, медленно тающих в ночном влажном воздухе, тендеры с десантниками 260-й бригады шли к Пийсари. К утру 23 июня этот остров был, как говорится на военном языке, очищен. Десантники высадились на остров Бьёрке, имевший тяжелую артиллерию и хорошо укрепленный. Но бой был недолгим, финны покинули остров, к ночи на 24-е был очищен и он, и соседний остров Торсари. Тяжелые орудия финны взорвать не успели, только замки вынули. В ночь на 27 июня морпехи 260-й бригады закончили захват Бьёрк-

ского архипелага. В начале июля был полностью очищен Выборгский залив — все его острова.

Финляндия капитулировала в сентябре. 19-го подписали акт о перемирии. А 25 сентября на острове Лавенсари — на знаменитом (в кругу балтийских моряков) Лаврентии — произошла встреча, еще недавно совершенно невозможная. Штабные офицеры Балтфлота сели за стол со штабными чинами военно-морских сил Финляндии. От финнов потребовали подробных сведений о минных и прочих противолодочных заграждениях и о выходных фарватерах, ведущих в открытое море. Более того, финская сторона приняла обязательство: их лоцманы будут выводить в море наши подводные лодки.

Вы понимаете? К чертовой матери барьеры, перегородившие Финский залив! По чистой воде, не опасаясь мин и сетей, пойдут субмарины в Балтику — на оперативный простор.

— Ой, Вадя! Привет! А я только полчаса как приехала из Питера!

Мы поцеловались, и Маша, усадив меня, стала рассказывать о своей поездке в Ленинград. Валентина, сидя у нее на коленях, рассматривала цветные картинки в книжке, привезенной Машей, и лопотала что-то. А Федор Матвеевич

лежал, одетый, на своей тахте с закрытыми глазами — то ли спал, то ли думал о чем-то. Он в последнее время помрачнел, помалкивал — как будто прислушивался к чему-то, происходившему в глубине организма.

— …Полно́ народу в электричке, — говорила Маша, а я с удовольствием смотрел на ее оживленное лицо, — ну как до войны! И трамваи переполнены, толкотня, а я, как дурочка, радуюсь: ах, хорошо, совсем как раньше, до войны, толкаются! — Маша смеется и продолжает: — Приехала в университет, иду в деканат филфака, вдруг в коридоре меня окликают. Смотрю — военный, но без погон, с палочкой, в лице что-то знакомое, но страшный шрам по щеке. Захромал ко мне: «Что, не узнаешь?» Я скорее по голосу его узнала: Юрик Чесноков! Был у нас на факультете такой студент, страшно головастый…

— Я его помню, — говорю, — комсомольский активист. У него уши торчали.

— Неужели помнишь? Ну и память у тебя! Юрик был зенитчиком, в каком-то знаменитом полку, попал под бомбежку, ужасно изранен. Належался в госпитале, вернулся на филфак. Пошел со мной в деканат — помочь, если надо, но не потребовалась помощь, там секретарем, как до войны,

Полина Михайловна, она меня помнила, занесла меня в список студентов, возвращающихся к учебе. Насчет заочного отделения пока неясно, но, наверное, будет. Ой, как хочется учиться! Юрик говорит: «Пойдем в фундаменталку, книг возьмешь. Я, — говорит, — знаешь какого поэта для себя открыл? Аполлон Григорьев. Просто замечательный!» А я не могу, тороплюсь на электричку в Ораниенбаум — чтоб не опоздать на рейсовый пароход на Кронштадт. «Как хорошо, — говорю, — что ты живой…» А в Ленинграде как стало! Чисто, трамваи ездят, и никаких обстрелов! Ну — жизнь!

— Здóрово! — Я тоже радуюсь. — Здóрово, Маша, что ты опять студентка.

А она только тут заметила, что у меня тоже произошло некоторое изменение:

— Ой, Вадик! У тебя на погонах третья звездочка. Ты теперь старший лейтенант?

— Да. Вчера пришел приказ. Теперь, — говорю, — никто не скажет, что я не хватаю звезд с неба.

Маша смеется и начинает хлопотать с ужином. Редкозубов поднимается с тахты и объявляет, что надо обмыть новую звездочку, «иначе проку нет». Он ставит на стол бутылку со спиртом. Вдруг,

согнувшись и морщась, потирает живот.

— Дед, — встревожилась Маша, — что с тобой?

— Ничего. — Федор Матвеевич выпрямляется. — Первомайский, — говорит он, прижав трехпалую ручищу к животу.

— Что — Первомайский?

— Да вот, вспомнил наконец, как теперь форт Тотлебен называется. Там, на Тотлебене, возни было много. С двумя пушками. Ничего, сделали, лейнера поменяли. Какой Первомайский, какой Красноармейский — запутаешься. Раньше ясно было: Тотлебен — значит Тотлебен. Садись, Вадим, обмоем, как положено.

Обмыли мы, значит, мою третью звездочку, и тут я выкладываю главную новость:

— Ухожу в Финляндию.

Маша тихо ахнула и уставилась на меня. Я пустился объяснять обстановку. Финны проведут своими шхерными фарватерами наши лодки в Хельсинки. Там будем временно базироваться. Оттуда выходными фарватерами выйдем по ту сторону противолодочных барьеров. Теперь, когда Ленфронт взял Таллин и очистил от немцев южный берег, когда и северный под нашим контролем, Финский залив — снова наш. Уже тральщики начали тралить «суп с клецками». Ну

а лодки выйдут из Хельсинок в открытое море и вступят в дело.

— Понятно? — спрашиваю, закончив изложение обстановки.

Маша кивает, глядя на меня своими удивительными глазами с золотым пятнышком в правом. И брови высоко вскинула.

— Как придем в Хельсинки, напишу тебе, — говорю.

Она кивает. И все смотрит, смотрит молча. Спазм, что ли, запер ей горло…

— Машенька, — говорю, накрыв ладонью ее руку на столе, — не тревожься, милая. Все будет хорошо.

Это легко сказать — «не тревожься».

Я недолго сидел дома: перед выходом в море всегда много дел. Когда, простившись, нацеловавшись, я уходил, Валентина громко заплакала. Такая у нее манера: как только кто уходит, так она в плач.

Берег то скрывался из видимости, то вновь появлялся — темная островерхая полоска леса. Тянул с берега ветер, пахнущий дымом, непролившимся дождем, осенью. Островки, поросшие сосняком, проплывали по обоим бортам.

Мы шли финскими шхерами: тральщик БТЩ

с финном-лоцманом во главе колонны, а за ним наша «щука» и еще две. Я стоял на мостике и, можно сказать, впитывал в себя морскую дорогу в Хельсинки. Вглядывался в вехи на извилистом фарватере, отмечал в блокноте градусы поворотов и время по хронометру.

И было странное ощущение чего-то нереального. Как будто залетели ненароком в другое время, населенное невоюющими людьми, — они живут на зеленых островах, у них много еды, и не нужно никого подстерегать и убивать. *Время без войны* — какая странная фантазия…

День клонился к вечеру, когда мы вошли в залив, в глубине которого стоял город Хельсинки. Слева тянулся остров с длинным приземистым строением, это был Свеаборг, когда-то грозная шведская крепость, а теперь просто историческое место давних столкновений. Плыли слева и справа островки, мигали белые и красные огни — и вот открылась перед нами слитная красно-серая масса домов, тут и там проткнутая острыми шпилями церквей.

По тихой воде, под взошедшей полной луной мы подошли к гранитной стенке гавани и ошвартовались за кормой «Иртыша», нашей старой доброй плавбазы, которая причапала сюда

несколькими днями раньше.

На «Иртыше» мы и поселились и начали подготовку к боевому походу. Уже ушли отсюда и действовали в открытом море три лодки. Кончилась затянувшаяся оперативная пауза.

Но мы же стояли не где-нибудь в месте, забытом богом, а в столице зарубежного государства. Заграница! Надо бы посмотреть на нее, верно? Какая она? И вот мы с Мещерским отправились посмотреть на эту заграницу. Из Южной гавани вышли на Эспланаду — улицу, посредине которой узкой зеленой полосой тянулся парк. В парке стоял в полный рост памятник пожилому грустному человеку, его фамилия Рунеберг нам ничего не говорила. Две женщины в форменной синей одежде подметали аллею, засыпанную опавшими листьями. Они замерли со своими метлами, уставившись на нас. Да и прохожие пялились — они же никогда не видели советских морских офицеров. Разглядывали нас с таким удивлением, будто из наших ушей валил дым.

Мы вышли из парка на ту сторону улицы, вдоль которой сияли чистым стеклом витрины магазинов. Чего только не было в этих витринах. Стояли манекены женских и мужских фигур в красивых платьях, костюмах; вообще всякой одежды было

столько, сколько нужно для того, чтобы одеть с головы до ног не только маленькую Финляндию, но и наш большой Советский Союз, — такая странная и даже крамольная мысль залетела в голову.

Сидящий женский манекен натягивал на длинную ногу чулок — необычайно тонкий, словно сшитый из облака. Вот бы Маше подарить такие чулки, подумал я. Часть жалованья теперь нам будут платить финскими марками, но пока мы не получили, у нас ни копейки не было, вернее — ни пенни.

Остановились закурить у витрин огромного дома, накрытого кровлей из позеленевшей меди. «Stockman» — значилось имя этого универмага на вывеске.

— Посмотри, — говорю, — какие тут роскошные блокноты.

— Не туда смотришь, Вадим, — говорит Мещерский. — Погляди на эту машину.

Небольшой зеленый грузовичок с открытым кузовом, подъехавший к дверям универмага, и впрямь выглядел удивительно: на крыше его кабины лежала, схваченная ремнями крест-накрест, большая вязанка дров. Аккуратно напиленные дрова. Странно! Двое юнцов выгружали из кузова и таскали в дверь универмага

картонные коробки с каким-то товаром. За ними присматривал шофер — скуластый человек лет под пятьдесят в черном берете, из-под которого спускались на щеки седые бакенбарды. На нем был серый пуловер грубой вязки. Сквозь очки в черной оправе шофер посматривал на нас.

— У него что, печка в автомашине? — говорю. — Зачем ему дрова?

— Ну как же, — говорит Мещерский. — В Финляндии полно лесов, некуда дрова девать.

— Верно сказали, господин офицер, — говорит вдруг шофер в черном берете на чистом русском языке. — Много дров, а бензина нету.

Голос у него гулкий, как из пустой бочки.

— Вы русский? — спрашиваю.

— Да, — отвечает он. — Газогенераторы у нас на автомобилях. Не бензин, а дрова жгем.

— Жжем, — поправляю. — Так у вас паровые машины, что ли, вместо моторов?

— Почему паровые? — усмехается шофер. — Двигатели внутреннего сгорания, только газовые.

— А много русских живет в Финляндии?

— Немного. Но есть.

— Маннергейм, когда войну начал, вас здорово прижал?

Он смотрит на меня сквозь очки. Переспрашивает:

— Кого прижал?

— Вас. Русских.

— Нет. Как жили, так и живем. Ну, конечно, карты.

— Карточки на продукты?

— Да. Хватает, не голодаем. Вот только с табаком плохо. Курить нечего. Кроме эрзацев, но это дрянь.

Я вытаскиваю из кармана пачку:

— Закуривайте.

— «Беломор», — читает он и осторожно вытягивает из пачки папиросу. — Премного благодарен, — говорит как-то старомодно.

Закурив, он отдает по-фински распоряжение юнцам-грузчикам и сопровождает нас до угла «Штокмана».

— Вот, — говорит, — Сенатская площадь. Кафедральный собор, мы его называем по-старому — Святым Николаем. А вот — сенат, — кивает на желто-белое здание, похожее на Таврический дворец у нас в Питере. — А там — университет.

— Замечательно, — говорю. — Спасибо, что показали.

— А так, — показывает пальцем наш добро-

вольный гид, — на Торговую выйдете площадь. Там ратуша, дворец президента, Успенский собор. — Он прикладывает ладонь к седому виску. — Желаю здравствовать, господа офицеры.

Мы с Мещерским, не торопясь, идем по Хельсинки. Торговая площадь не так красива, как Сенатская, но тоже хороша. Чистый прибранный город.

— Он похож на Питер, — говорю, — ты не находишь?

— Чем-то похож, — отвечает Мещерский, — а чем-то нет. В Питере не спотыкаешься о скалы.

Да, верно. Улица, по которой мы идем, застроенная трехэтажными домами, вдруг упирается в огромную серую скалу. Мы идем по чистому городу, выросшему в давнее время между морем и гранитными скалами. Тренькают трамваи, плещется чужая речь, названия улиц прочитываются с трудом. Вот на углу Александринкату и, кажется, Генрихинкату скульптурная группа — три кузнеца, работают, бьют молотами. Но почему они голые? Хотя бы передники надел на них скульптор. Вряд ли какой кузнец займется своим горячим делом, не прикрывшись спереди.

Мы посмеиваемся. Группка девушек, идущих мимо, посматривают и улыбаются нам. Они

все — хорошенькие, тараторят по-своему. Мой друг Леонид Мещерский мигом оживляется и машет им рукой.

Два морских охотника сопровождали нас, на одном из них шел финский лоцман. Наша «щука», выйдя из Хельсинки, из тесноты шхер, оказалась по ту сторону сетей, минных заграждений — о таком плавании и мечтать не смели в прежних кампаниях.

Командир Кожухов имел приказ занять позицию у порта Виндава. Огромная немецкая группировка была окружена на Курляндском полуострове, прижата к морю, ее снабжение осуществлялось через порты Либава и Виндава. Нам, бригаде подлодок, а также авиации флота и торпедным катерам командование поставило задачу — сорвать морские перевозки противника, блокировать с моря курляндскую группировку.

Без проблем мы подошли к рейду Виндавы и всплыли под перископ. Кожухов, припав к окуляру, развернул трубу. Мне показалось, что у него возник хищный оскал… да нет, не хищный… просто увидел нечто, достойное внимания…

А увидел Кожухов три транспорта, стоявшие на якоре, и было охранение — два сторожевых корабля, и сквозь дымку проглядывали очертания,

возможно, третьего.

Мое дело было — предупредить командира о малых глубинах: всего восемнадцать метров. Кожухов коротко отмахнулся — «знаю», мол. И малым ходом вошел на рейд.

Наверное, не каждый командир решился бы. Но Кожухов повел «щуку» на охраняемый мелководный рейд и произвел четырехторпедный залп веером.

Мы услышали раскаты взрывов и вой сирен. Два транспорта пошли ко дну, а третий, в облаке черного дыма, остался на плаву, но был поврежден.

На выходе с виндавского рейда началось преследование. Катера-охотники долбили море глубинными бомбами с понятным остервенением. Кожухов маневрировал, уходя мористее и погружаясь все больше. Бомбометание стихало, возобновлялось — лишь на вторые сутки нашей терпеливой «щуке» удалось оторваться от охотников.

И тут боцман доложил, что не может удерживать заданную глубину, что-то случилось с горизонтальными рулями. Повреждение, видимо, произошло в кормовой балластной цистерне. Как только стемнело, лодка всплыла. Кожухов

вызвал добровольцев для ремонта рулей и честно предупредил, что в случае появления противника придется срочно погрузиться: не будет времени дождаться возвращения работающих людей на мостик, они погибнут в цистерне. Добровольцев, готовых пойти на смертельно опасное дело, оказалось больше чем нужно. Кожухов выбрал троих, в том числе трюмного Горшенина, первого силача у нас в экипаже. В легководолазном снаряжении, обвязавшись, они прошли по заливаемой верхней палубе в корму, вскрыли горловину и около четырех часов работали в цистерне. Их обдавали накаты холодной воды. Коченели руки. Они сумели исправить поврежденное рулевое устройство. Я видел с мостика, как трое шли обратно, еле волоча ноги по палубе, через которую перекатывались волны, — в пристальном свете луны было видно, что они смертельно устали. Горшенин шел последним, мне показалось, что он улыбался.

Лодка продолжала поход. Кожухов выследил конвой, шедший в Либаву, и на подходе к либавскому аванпорту потопил крупный, тяжелогруженый транспорт. Опять нас долго преследовали, но не достали. Последние две торпеды Кожухов влепил в сторожевой корабль, пытавшийся нас

таранить.

Двадцатичетырехсуточный поход завершился благополучно. Утром 3 ноября наша «щука» возвратилась в Хельсинки и ошвартовалась у стенки Южной гавани.

В походе штурману не до сна, спишь урывками, по пятнадцать-двадцать минут. А тут, на «Иртыше», я добрался до своей каюты и провалился в глубокий, как бездонная впадина, сон в ту самую минуту, как голова коснулась подушки. Меня будили обедать, я не смог подняться с койки, промычал, чтобы оставили в покое. Но на ужин меня все же растолкали. Мещерский прокричал в ухо, что я обязан быть на торжественном ужине.

И я стряхнул с себя сонную одурь. Вспомнил: подъем флага! Десять лет назад построили нашу «щуку», на ней подняли военно-морской флаг, что и означало вступление в строй.

Десять лет для подводной лодки — срок службы немалый. В сущности, старушка она, наша «щука».

Годовщину отметили славно. Вся команда получила по стакану крепкого кагора, а привычные макароны, политые каким-то особым соусом, неожиданно приобрели новый вкус. Командир дивизиона, поздравивший нас, сказал, что пред-

ставит экипаж к орденам.

С утра следующего дня шел снег, не сильный, ленивый. На лодке проворачивали механизмы, уточняли повреждения. Механик Круговых, наш Юрий Долгорукий, за чаем объявил, что без дока не обойтись, текут заклепки там-то и там-то, и требуется ремонт рулей — и вертикального, и горизонтальных. Командир Кожухов покрутил двумя пальцами нос и сказал:

— Ясно, Юрий Васильич. Подготовьте дефектную ведомость.

Попивая крепко заваренный чай, он послушал, как замполит Ройтберг объяснял сложное внутриполитическое положение в Финляндии, но, не дослушав до конца, сказал басом:

— Да, положение, конечно, говенное. Но валюта у них есть. По моим сведениям, сегодня начфин начнет ее выдавать.

Вот это да! Настоящий подарок к празднику.

Финские марки были не очень похожи на деньги. Скорее — на небольшие бледные репродукции каких-то картин. Может, иллюстрации к «Калевале». Этот финский эпос я не читал, но слышал о нем.

Ну да ладно. Что бы на финских марках ни было нарисовано, мне хотелось поскорее их по-

тратить на подарки. И 5-го числа, после обеда, мы с Мещерским отправились знакомой дорогой в универмаг «Штокман». На Эспланаде было малолюдно — холодным ветром будто сдуло гуляющих. С облачного неба то сыпалась, то переставала снежная крупа.

В универмаге, ярко освещенном и просторном, мы довольно быстро нашли нужные отделы. Я купил шелковые чулки Маше и пестренькую, тоже шелковую, кофточку Капитолине Федоровне, а Валентине — дивную куклу, умеющую закрывать и открывать глаза. Редкозубову купил опасную бритву знаменитой фирмы «Золинген» (у деда старая бритва, как он выражался, «не брила, а выдирала»). А себе — пару роскошных больших блокнотов с золочеными гербами и бумагой белее снега, на такой бумаге только любовные письма писать.

В этом отделе одна продавщица — миловидная, с прекрасной фигурой — говорила по-русски с забавным акцентом. Мы поболтали, пошутили, и я вижу, что мой Леонид Петрович возымел, так сказать, и иные намерения (кроме шуток). Он продолжал трепаться со смеющейся фрекен (нет, по-фински «девушка» — как-то иначе), а я вышел из универмага и закурил. Подожду Мещерского,

пока не выкурю папиросу. А не появится — черт с ним. Пойду домой, на «Иртыш».

И вот я стою, курю, весь такой благоудовлетворенный. Ну как же: всем подарки куплены. Похоже, без ремонта нам не обойтись, и после праздников «щука», старушка наша, уйдет в Кронштадт. И уж я постараюсь, чтобы вручение подарков прошло весело. Ха, лучшее время для подарков — это, известное дело, война.

Тут подъезжает зеленый грузовичок с дровами вместо бензина. Двое юнцов начинают его разгружать, а из кабины вылезает тот самый шофер в очках и черном берете, русский финн (или финский русский?). Он подходит ко мне:

— Здравия желаю, господин офицер.

— Здравствуйте, — отвечаю. И предлагаю ему закурить. У них же трудности с табаком.

Он вытягивает папиросу из пачки «Беломора», сдержанно благодарит. Я докуриваю свою, а Мещерского все нет; ну, не буду ждать этого ловеласа, пойду.

Но что-то меня удерживает. Сам не понимаю почему.

— Как вас зовут? — спрашиваю шофера.

— Терентий.

Заплевав по нашей привычке окурок, кидаю

его в урну и кивком прощаюсь с этим Терентием, но тут он говорит:

— Знаете, господин офицер, я служил на русском флоте.

— На каком корабле? — спрашиваю.

— На линкоре «Петропавловск».

— Он теперь называется «Марат».

— Знаю.

— И кем вы там служили?

— Гальванёром. В первой башне.

— Вот как. А… в какие годы вы служили на «Петропавловске»?

— В двадцатом и двадцать первом.

Он смотрит на меня сквозь очки немигающим взглядом, и, знаете, мне становится не по себе. Я начинаю понимать…

— Вы, наверно, слыхали о восстании в Кронштадте? — говорит он гулким голосом.

— Конечно, — отвечаю. — Кронштадтский мятеж. Вы… вы участвовали в нем?

— Да.

Ни к чему продолжать разговор с бывшим мятежником. С беглым, вероятно, матросом. Ну его на хрен! Если наши узнают, неприятностей не оберешься…

— Послушайте, Терентий, — говорю, понизив

голос, — я строевой офицер, политика меня не касается. Но вы… э-э… вам надо знать, что Кронштадтский мятеж… ну, у нас к нему отношение отрицательное. Малограмотная матросская масса пошла на поводу у белогвардейского генерала, связанного с Антантой…

— Да откуда? Все не так, господин офицер. Если матросы и шли на поводу, то — у нужды, у плохой жизни…

— Плохая жизнь! — говорю раздраженно. — А какая она могла быть после Гражданской войны, когда разруха и…

— Да кончилась же война, а крестьян продолжали давить, отнимали посевы… у меня, то есть у матери моей, лошадь увели…

— Не собираюсь с вами спорить. Был антисоветский мятеж в Кронштадте, вам удалось бежать в Финляндию…

— Не было антисоветского мятежа в Кронштадте, — говорит этот тип, выпятив упрямый костистый подбородок. — Было восстание, потому что большевики всю власть у Советов захватили… все только себе… А мы как раз советскую власть хотели восстановить, переизбрать в Кронштадте совет…

— Это ваши отговорки. Только слова.

— Нет, не только слова. Есть доку́менты.

— Да какие докуме́нты? Если и есть, то они засекречены.

— Я сохранил доку́менты ревкома. Могу показать. Если пожелаете.

— Нет. Не желаю.

— Никогда, — шофер отводит взгляд в сторону. — Никогда люди не хотят знать правду.

Я уже повернулся уходить, какого черта… но эти его слова зацепили меня… *Знать правду!* Да именно этого я и хочу… всегда хотел…

— Послушайте, — говорю Терентию, шагнувшему к своему грузовичку, — ну и где ваша правда? Где документы?

Он смотрит, не мигая, сквозь очки.

— Я живу, — говорит, — тут недалеко. Пятнадцать минут езды. За полчаса все прочтете, и я отвезу вас обратно, куда скажете.

Знаю, нельзя было ехать. Нас предупреждали: никакого общения с местным населением. Да и без указаний ясно: страна воевала против нас, здесь полно врагов, очень возможны провокации, держи ухо востро, старлей Плещеев.

Но этот Терентий не похож на врага… черт бы его побрал, беглого мятежника… с его «доку́ментами»…

Но ведь интересно взглянуть…

Нельзя ехать! Но я совершаю безрассудный поступок — иду к кабине грузовичка, залезаю и кладу на колени портфель, набитый подарками, и коробку с куклой. Уж она-то, думаю, закрыла глаза, чтобы не видеть моей глупости…

Терентий отпускает мальчишек, закончивших разгрузку, и заводит мотор. Двигатель тарахтит, в кабине пахнет как в натопленной комнате. Едем по широкому проспекту, сворачиваем на тихую улицу с редкими прохожими, вот небольшая площадь со стаей голубей, еще поворот — останавливаемся у трехэтажного дома, на его углу читаю на синей табличке название улицы: Lönnrotinkatu.

Входим в подъезд, очень чистый, не пахнущий кошками, и на третьем этаже Терентий отпирает дверь своей квартиры:

— Пожалуйте, господин офицер.

Он вешает мою шинель, кладет на подзеркальник мою поклажу и, пригласив в комнату, зовет:

— Аннели!

Из кухни выходит женщина средних лет, худощавая, в темно-красном платье, с валиком белокурых волос над выпуклым лбом. Она удивленно таращит бледные глаза, Терентий что-то

говорит ей по-фински, и она улыбается мне:

— Здарасте.

— Здравствуйте, — отвечаю.

И тут бросается в глаза столик желтого дерева у окна, а на нем большая фотография на картонной подставке: сидит скуластый матрос в бескозырке с надписью на ленте «Петропавловскъ», с суровым лицом, с закрученными кверху усами, а рядом, положив ему на плечо руку, стоит улыбающаяся девушка в длинном темном платье с белым поясом на тонкой талии.

Глава девятнадцатая
Кронштадтский лед

С парохода, прибывшего из Ораниенбаума, Федор Редкозубов сошел в хорошем расположении духа. А чего? Удачно съездил, навестил Сашку Семенцова, друга и соседа, — Сашка, моторист гидроотряда дивизиона, записку прислал с оказией: приезжай, мол, дело есть. Вот он, Федор, и поехал к нему в Ораниенбаум. А дело было не просто хорошее, а — лучше и не бывает. В гидроотряде получен спирт, давно обещали, наконец привезли и стали его делить по справедливости — сколько на уход за техникой, а сколько и кому на руки. Дележ спирта — важное дело, сами знаете.

Сашка ему, Федору, налил почти полную четверть. Ну, жизнь! Само собой, выпили они и поговорили. Про питерские волнения высказался Сашка, что правильно требуют на рабочих собраниях от власти, чтоб прекратила снижать выдачу хлеба, два с половиной фунта — это что, разве проживешь, не меньше трех фунтов должно быть. А он, Федор, подтвердил, что и в Кронштад-

те недоволен народ, война кончилась, а где же улучшение жизни, и на кораблях неспокойно, матросы на собраниях кроют Раскольникова, комфлота, — дескать, он со своим штабом и бабой своей обедают из трех блюд, а их вонючей воблой кормят, хотя хлеба дают и больше трех фунтов, но что ж хлеб, не одним же хлебом набивать отощавшее брюхо.

Но, между прочим, он, Федор, понимал, что Сашку Семенцова не столько выдача хлеба тревожит, сколько жена Ирина Игоревна, ближайшая соседка Редкозубовых. Эта Ирина при заметной внешней фигуре имела и хорошую должность — работала в кронштадтском совнархозе в буглах… то есть в бухла… ну, в тамошнем отделе, где деньги считают и выдают, кому сколько расписано. Имел Сашка подозрения, что Ирина (они не обвенчаны были, а так, жили вместе, пока Сашку не перебросили на службу в гидроотряд, в Рамбов)… в общем, подозревал он, что Ирка не только деньги считает, но и старшему булгахтеру выдает. Он так и спросил:

— Федя, ты мне друг?

— Ну а кто ж еще? — поднял Федор черные брови на большую высоту.

— Так скажи правду, ходит к Ирке кто-нибудь?

Пузатый или просто так?

— Нет, Сашка, нет, — честно сказал Федор. — Не видал, чтоб ходили. Ни пузатый, ни просто так.

Значит, с рейсового парохода сошел он, Федор Редкозубов, в хорошем настроении и зашагал по родному Кронштадту домой. Стемнело уже, по вечернему времени Петровская улица была пустынна, а фонари уже который год не горели. Ну ладно. Федор, конечно, заметил, что из Летнего сада вышли две фигуры и стали молча его догонять. Он шаг ускорил, кошелку с четвертью обеими руками прижимая к животу. И уже почти дошел до Княжеской (переименованной в Коммунистическую), которая была слабо освещена окнами домов, когда те двое с топотом набежали сзади и набросились, гады, с кулаками. Один бил Федора по ушам, по лицу, а второй вырывал кошелку. Федор, хрипя и матерясь, вертелся вьюном, ногой достал одного по яйцам, но силы были неравны, и кошелку с ценным продуктом у него, конечно, отняли бы, если б не случайная подмога.

Из-за угла Княжеской появился военмор, рослый мужик, и, взгядевшись, заорал:

— Эй, вы чего? Двое на одного!

И с криком «Полундра!» кинулся в драку. Одного с ходу двинул по роже так, что тот растянулся

на булыжнике, со вторым бился напористо и обратил его в бегство. Оба они, нападавшие лихие люди, побежали в темную глубь Петровской улицы. (Она тоже была переименована — в Октябрьскую.)

— Вставай, дядя, — сказал военмор Федору, скорчившемуся у стены. — Э, да тебе всю морду раскровянили.

— Спасибо, матрос, — прохрипел Федор и медленно поднялся, распрямился, а кошелку намертво прижимал к животу.

— Дай-кось оботру тебе личность.

С этими словами военмор вытащил из кармана бушлата газету, быстро скомкал ее и принялся протирать мокрое от крови лицо Федора.

— «Петропавловскъ», — прочитал Федор на его бескозырке. — Эх, я ж на нем служил… Ладно, хватит тереть.

— Так я же Терентий, вот и тру. — Военмор отбросил газету на мостовую. — Ну что, дядя, ты идти смогешь?

— Может, сопроводишь меня? Я недалеко тут живу, на Соборной. Или торопишься?

— Куда торопиться? Линкор без меня не уйдет. Пошли.

Так он, Терентий Кузнецов, случайным образом

попал в редкозубовскую квартиру на Соборной, переименованной в улицу Карла Маркса.

Таисия Петровна, жена Федора, всполошилась, повела мужа в кухню, теплой водой обмыла ему разбитое лицо, кровоподтеки обтерла примочкой. Она, при полноте своей, легко двигалась. И что-то шептала — может, тихо молилась?

А военмор Кузнецов хотел было уйти, но Федор не пустил, крикнул ему, чтобы обождал. Ну ладно. Снял бескозырку и сел на диван. Тут из соседней комнаты выглянула девушка, очень молоденькая, с удивленными светло-карими глазами. Военмор встал, приглаживая волосы, и представился:

— Главный начальник всех морских сил Рэсэфэсээр Терентий Кузнецов.

Девица прыснула, отчего привлекательность ее лица еще усилилась. Она вошла, с раскрытой книгой в руке, и, в тон военмору, провозгласила:

— А я главная заведующая Третьей трудовой школы Капитолина Джаваха.

— Как вы сказали? — заинтересовался военмор. — Джахаваха?

— Вот. — Она протянула ему обложку книги, на ней значилась фамилия автора: Лидия Чарская — и название «Княжна Джаваха».

И, усевшись на диван, повели они полушутливый разговор — об этой княжне Джавахе с ее жизнью, бесконечно далекой от нынешней, и о других книжках, и Терентий очень нахваливал книгу «Овод», которую подарил ему двоюродный брат Сергей Елистратов, лекарский помощник санотдела сухопутных войск Кронштадтской крепости.

Тут вошел Федор Редкозубов, умытый, но с разноцветным от кровоподтеков лицом, с подбитым глазом, а за ним озабоченная жена.

— Вот, — провозгласил Федор, — что значит «Петропавловск», своих не дают в обиду. Как тебя? Ага, Терентий. Если б не Терентий, так меня, очень просто, значит, на тот свет…

— Что ты несешь, Федя! — Таисия Петровна мужа и себя перекрестила. — Спасибо вам, — улыбнулась она Терентию.

— Одним спасибом не обойдешься. Становь все, что есть, на стол.

С этими словами Федор принялся аккуратно наливать в графин спирт из спасенной четверти. Сели за стол, выпили, Федор пустился рассказывать, как в пятнадцатом году во время аварийных работ неуклюжий боцманмат Комлев уронил кувалду ему на руку и он, комендор Редкозубов,

лишившись двух пальцев, был списан с линкора в артмастерскую.

— А ты, значит, гальванёр? — впился он неповрежденным глазом в скуластое молодое лицо военмора. — А, ну-ну, расскажи вот им, — кивнул на жену и дочь, — откуда ток в башне берется.

«Ишь, проверяет, не вру ли», — подумал Терентий Кузнецов. Тронув ладонью и подкручивая кверху недавно отращенные усы, он сказал:

— Известно откуда. Уголь в топках горит, в котлах вода кипит, получается пар. Так? А пар крутит динамо-машину, получается ток. Ну а я ток включаю в муфту Дженни. Так? И он гонит зарядники из погреба наверх. Подает к казенной части орудий снаряды и полузаряды с порохом. Так?

— Так! — крикнул Федор. — Свой человек!

Он добавил Терентию спирту в стакан и стал расспрашивать, кто из старых артиллеристов на «Петропавловске» продолжает служить. Оказалось: никто. Ну-тк, понятное дело, столько всяких событий произошло. Один, впрочем, из знакомых артиллеристов на линкоре остался — Бруль Зиновий Иванович, бывший кондукто́р.

— Он у нас второй артиллерист, — сказал Терентий. — Заведует всей стадвадцатимиллиметровой. Умный мужик.

— Это точно, — подтвердил Федор. — У него и раньше понимание было.

И пошел за столом разговор о том, что́ на линкорах делается.

Как летом перевели их — «Петропавловск» и «Севастополь» — из Петрограда в Кронштадт, так и началась буза. В Питере, известно, жизнь повеселее, и увольнялись матросы в город. А тут приказы пошли: отменяются отлучки с корабля и ночевки на берегу. И вот что еще возмущало: отпуска отменил Раскольников до особого распоряжения. Дисциплину он, вишь ты, подтягивает. Но время-то на дворе другое, офицеро́в с ихней привычкой к мордобою теперь нету, теперь все просто военморы. На общих собраниях выкрикивали недовольство, и комиссары довели это растущее недовольство до штаба флота, до Пубалта. И вот, приказ об отлучках с корабля перестали требовать, а главное — разрешили отпуска до двух процентов личного состава.

Отпуска — это ж святое дело. Почти все матросы были призваны служить в Красный флот из деревень. Оттуда, из деревень, шли им письма: во первы́х строках приветы от родни, во вторых — жалобы на трудную жизнь. Продолжалась чертова отбираловка: приезжают с ружьями,

орут и угрожают, отбирают — у кого посев, у кого лошадь, а у кого вещи носильные. Вот ему, Терентию, мать написала, что увели кобылу, — как же теперь пахать, кто плуг потянет…

Он, Терентий, в отпуск просился, хоть на одну неделю, ему ж ехать недалеко, за полдня доберешься — до деревни Систопалкино, Копорской волости, Петергофского уезда. Хотел он, Терентий, в волостном совете пошуметь: как они, мать их так, посмели лошадь увести из дома, где одни бабы — мама с двумя малолетними дочками, а он, единственный в семье мужик, — красный военмор и, между прочим, победитель Юденича.

Может, ближе к новому, двадцать первому году и дадут ему, Терентию, недельный отпуск. Хотя вокруг неспокойно. В Питере на заводах, на рабочих собраниях требуют уже не только прекратить уменьшение выдачи хлеба, но и перевыборы в Совет депутатов. Чтобы там не одни большевики верховодили.

Ну, про это и на «Петропавловске» в кубриках толкуют. Сигнальщик Штанюк, например, кричит: «Они чего — одни только за социализьм? А другие партии? Эсэры чего — против социализьма? А они, большевики, всех отпихнули! Это чего — народовластье у них такое?» Ну,

Штанюк — горлопан со своим «социализьмом». А вот Юхан Сильд, машинист, человек тихий, с плешью на белобрысой голове, потягивает табачок-самосад, присланный братом из Эстонии, и говорит спокойненько, но горько: «Обманщики они. Рабоче-крестьянская власть. А что они с крестьянами делают? Оптацию уявили… то есть объявили… Ну так отпустите меня в Эстонию. А Озолса и других латышей — в Латвию. Так не отпускивают… то есть не пускают». Юхан и табачком угостит, и поговорить с ним можно — у них подвесные койки рядом. Яша (так Терентий Юхана называет) — матрос с лицом, как бы выдвинутым за нос вперед, парень что надо, умный, рассудительный.

Терентий на собраниях не кричал. Он слушал. Да, слушал — и ворочал услышанное в собственной голове. А выступать — нет, не выступал. Куда там ему! Вот корову пасти — это да. Или поле помочь отцу распахать. Вот, правда, имел он пристрастие — книжки читать. И между прочим, по окончании церковно-приходской школы получил похвальный лист. А книжки брал в Копорье — ходил в тамошнюю библиотеку при земстве. Очень нравились ему сочинения Марлинского, а особенно книжка Короленко «Слепой

музыкант».

Но тихое течение жизни вдруг оборвалось. Как гром с неба грянула германская война. Отец по мобилизации пошел воевать — и не вернулся. «Погиб за веру, царя и отечество», — так в полученной казенной бумаге было написано. От свояка Ивана Елистратова, ушедшего в той же маршевой роте, что и отец, и вернувшегося спустя полгода с одной рукой, узнали, что отца, Кузнецова Максима, разорвала германская граната где-то в Восточной Пруссии.

Время шло трудное. Солнце каждое утро, как и положено, восходило, и мелкая речка как текла, так и обтекала деревню Систопалкино, но во всем остальном жизнь сделалась перевернутая. Царя не стало, Учредилку разогнали, кто был ничем, тот станет всем. Новая власть была вроде бы своя, без погон и мундиров, но вместо хамоватого урядника, коего побаивались, появились люди того же низкого сословия, что и они, крестьяне, но с ружьями, с наганами, — и стали командовать ходом жизни, отбирать выращенный урожай. Дескать, революция требует, в городах рабочий класс голодает. Отобьемся от буржуев, от белых генералов — наступит хорошая жизнь. А пока что — вся-то наша жизнь есть борьба…

Как достиг он, Терентий, нужного революции возраста, так и мобилизовали его весной девятнадцатого года. Привезли в Кронштадт, остригли наголо, выдали матросскую одежду и — в учебный отряд, в электроминную школу. В Красный, одним словом, флот. Но до конца не доучился Терентий — сняли их, салажат, с учебы и, наскоро обучив стрелять из винтовки, двинули на фронт против Юденича. Воевали недолго, но в октябре очень были тяжелые бои на Пулковских высотах. Он, Терентий, уцелел под огнем и в штыковой атаке не сковырнулся — повезло ему.

Юденича от Петрограда отбили. А Терентия Кузнецова орготдел, или как там их звали, командиров жизни, определил на стоявший в Питере линкор «Петропавловск». И поскольку Терентий обучался по части электричества, поставили его гальванёром. Он, головастый, быстро усвоил движение тока в проводах, понял, как его невидимая удивительная сила гоняет вверх-вниз тяжелые механизмы подачи, лотки со снарядами, поднимает и поворачивает двенадцатидюймовые орудийные стволы. Электричество — это же настоящее чудо!

Бруль, второй артиллерист, посмеивался:

— Гальванёр, вруби рубильник, не то получишь

подзатыльник.

— Ваши подзатыльники, — отвечал Терентий, — теперича отменены, Зиновий Иваныч.

— И зря отменили. Была служба — вот! — показал Бруль крепкий кулак. — А теперича, как ты, деревня, зюзюкаешь, вот! — поднес он к носу Терентия кукиш, пропахший махоркой.

Известно, он, Бруль, был на старом флоте кондукто́ром. Артиллерийское дело знал как профессор. Но…

— Ты, Зиновий, монархист, — схватывался с ним в споре Петриченко, старший писарь на линкоре. — Старый режим с унижением трудящегося класса тебе важнее.

— Очумел ты, Степан! — возражал Бруль. — Какой я монархист? Мне важнее, чтоб порядок был, понятно, нет? А не анархия: чего захочу, то захвачу.

— Где ты анархию увидел?

— Кругом и вижу! Корабли до чего довели, приборку делать не заставишь. Трудящий класс — а трудиться не хотят.

— Приборка! Нашел об чем жалиться! Война же…

— Кончилась война! Врангеля уже в море скинули.

— С белыми — да, закончили войну. А внутри страны что деется? Крестьянские хозяйства порушены разверстками. Деревни обезлошадили…

— Так это ж ты и порушил со своей партией!

— К твоему сведению, Зиновий, — прищурился Петриченко, тонкие губы поджимая после каждой фразы, — не я командую разверстками. Партийные вожди приказывают. У них чрезвычайки, у них продотряды.

В кубрике, в котором шел этот разговор, было холодновато, грелки вдоль стальной переборки почти не давали тепла, уголь на линкоре экономили — но не от холода ежился Терентий Кузнецов. От резких разговоров Петриченки и Бруля, от горьких слов Юхана, Яши подирало холодком. Как же так? Прошлогодней осенью, когда Юденича от Питера прогнали, от радости заходились. От нее, от радости победы, объявили партийную неделю. То есть открытый прием в РКП(б). Вот и он, Терентий, той осенью поступил в большевицкую партию — вместе с массой красных бойцов. Такое время, все бурлило, а какие слова выкрикивали на собраниях — «карающий меч пролетариата», «даешь мировую революцию!».

А нынешней осенью — переворачивалось по-

другому. Что-то не так шла жизнь, как хотели… как ожидали…

Вскоре после знакомства с семьей Редкозубовых, в середине ноября, получил Терентий недельный отпуск. Он был везучий: через Ораниенбаум проходил по чугунке товарняк в сторону Копорья и Котлов, и Терентий как раз успел примоститься на тормозной площадке последнего вагона, так и доехал. От Копорья шел в свое Систопалкино пешком по знакомой дороге, раскисшей от осенних дождей. День был холодный и темный от туч по всему небу — а он, Терентий, шел, дышал и радовался, узнавая то каменистый пригорок, то дуб с большим дуплом на повороте дороги. А уж речка! Терентий остановился, улыбаясь: вот на этом месте, под тремя плакучими ивами, они, пацаны деревенские, разувались и лезли в холодную текучую воду — ловили корзинами плотву и линей…

Мать, конечно, постарела — жизнь, полная невзгод, врезала морщины в ее лицо. И седая она стала. Рассказывала тихим надтреснутым голосом, как Люльку, кобылу, уводили, а она не шла, головой мотала, а эти гады били ее без жалости прикладами.

А сестры, конечно, подросли. Терентий с ними

копал в огороде картошку, шутил, сестры хихикали. И вспомнилась Терентию редкозубовская дочка, Капа, «княжна Джахаваха» (так уж называл он ее про себя). Как она смеялась, голову запрокидывая! Что-то часто стал он Капу вспоминать — зацепила эта девочка военмора.

Мамина сестра, тетка Дарья, в августе овдовела: ее муж, однорукий Иван Елистратов, упал замертво у колодца, сердце остановилось. Их старший сын Сергей, окончив фельдшерские курсы в Ораниенбауме, служил лекпомом в Кронштадте — счастливая случайность объединила Терентия с двоюродным братом. А тут, в деревне, в доме Елистратовых, мужская работа пала на пятнадцатилетнего сына Ваню. Он, Ваня-младший, умело запряг жеребца (не отобранного пока!) в телегу и, подражая покойному отцу, покрикивая: «Пошел, пошел, гнедышащий!» — быстро довез дядю Терентия в Копорье.

В волостном совете сидели двое. Один, хмурый, молча читал какую-то бумагу. Второй, в мятой гимнастерке, вихрастый, выслушал Терентия — дескать, по какому такому праву увели со двора лошадь — и ответил, слегка заикаясь:

— П-по какому праву? П-по революционному.

— Революцию не для того делали, — строго

сказал Терентий, — чтоб у крестьян отбирать.

— У б-бедняков не отбирают. А к-кулацкие хозяйства д-должны…

— Какие мы кулаки? — взъярился Терентий, сбив бескозырку со лба на затылок. — Все богатство — корова да кобыла, это что — нельзя?

— Т-ты тут не кричи, — повысил голос волостной начальник. — Ишь, разорался, к-клёшник.

— Я тебе не клёшник, а красный военмор! Я с Юденичем воевал!

— Ну, м-мы тоже не в с-сарае сидели…

— Вот бы и сидел в сарае! Чем волость разорять!

Что-то еще они друг другу выкрикивали, но тут второй начальник оторвался от чтения бумаги и закрутил ручку телефонного аппарата.

— Трунова дай, — сказал в трубку. — Товарищ Трунов, это я, Костиков. У нас тут расшумелся один. Матрос. Ну да, клёшник. Пришли своих людей.

Понял Терентий, что зря тут время теряет. С ними, неизвестно откуда взятыми во власть, не столкуешься, они тебя не слышат. У них — что в голове, что на языке — одна только «классовая борьба». Короче, не стал он дожидаться «людей Трунова», вышел из совета, хлопнув дверью и

смачно плюнув на крыльцо, и поехал домой. «Гнедышащий» жеребец ходко бежал сквозь снежный заряд — тоже, наверное, торопился убраться подальше от классовой борьбы.

Последние два дня Терентий чинил избу — тот угол крыши, где подгнили стропила. Настал день отъезда. Мать и тетка Дарья собрали в мешок картошку, яблоки, кусок свиного сала. Терентий не хотел брать, с пропитанием тут, в деревне, теперь непросто, а его и Сергея, лекпома, все же кормят в Кронштадте казенным харчем. Но мать и Дарья настояли на своем: «Нас как-никак земля прокормит, а у вас с Сережкой, знамо дело, не сытно — сам же говорил про воблу вонючую». Ну ладно, закинул Терентий нелегкий мешок в телегу и попрощался. Мать не плакала, нет, она уже все слезы выплакала. А сестры кинулись ему на шею и разревелись, дурочки.

Ваня-младший — вот же молодец, настоящий мужик подрастает. В лучшем виде он доставил Терентия на станцию — загодя, за час, а то и за два до прибытия поезда на Петергоф. Расписание на станции висело, но поезда не очень-то его придерживались, опаздывали, а то и вовсе не приходили.

Ваня посидел немного с Терентием, покалякали

о том о сем, интересовало Ваню, почему корабли, такие тяжелые, железные, не тонут в воде. Терентий, как умел, объяснил, а потом отпустил мальчика — тот укатил на «гнедышащем».

День был холодный, в станционную «залу» набилось несколько десятков народу, почти все — бабы, но и мужики были, и один даже военмор, из какого-то отряда переходящих команд. Терентий угостил его махоркой, но разговора с этим «переходящим» не получилось: он сыпал скороговоркой о том, как переспал с девкой, которая сперва не давала, а потом… — ну и подробности выкладывал матрос, похохатывая. Пустой человек.

За полдень уже перевалило. Вдруг вошел на станцию вооруженный отряд, человек семь или восемь, в шлемах-буденовках, с «разговорами» на шинелях, и у дверей двое часовых встали. И пошла проверка, кто что везет. Если везли хлеб, муку и другие продукты, то отнимали. Бабы выли, цеплялись за мешки. Старший из отнимальщиков гудел хриплым басом:

— Заградотряд. Девствуем по декрету. Пр-р-родукты запрещено пр-ровозить. Пр-рошу без супротивлений!

Терентий осерчал, вступил с ним в спор:

— Не имеешь права отнимать у красного военмора. Я с Юденичем воевал!

— Ну и что? — гудел старший. — По декрету девствуем. Отдай по-хорошему.

— А не отдам — что, расстреляешь?

— Под трибунал пойдешь. Как супротивляющий мешочник.

Что тут будешь делать? Сила на ихней стороне. Только матом обложить. Хмуро смотрел Терентий, как его мешок кинули к другим отобранным мешкам…

Поздним вечером добрался он до Кронштадта, до «Петропавловска».

А там буза уже шла вовсю. Декрет о концессиях, принятый Совнаркомом, горячо обсуждался.

— Ну и правильно, — слышался в кубрике рассудительный голос машиниста Сильда. — Страну разу… разорили, а теперь надо поднимать, а значит, капитал вложать… вкладывать… А где его взять? Ну где — за границей…

— Капитал! — криком оспаривал его сигнальщик Штанюк. — Буржуев прогнали, а теперь, значить, обратно к ним в лапы?

— Зачем в лапы? — слышались и другие голоса. — Деньги взять, а самих — не пускать!

— Да не бывает так, чудило! Кто тебе задарма

деньги отвалит?

— Что вы несете хреновину? — вмешался в бурный разговор Терентий. — Консесии, конфесии — не нашего ума это дело.

— Почему не нашего? — кричали ему. — А что — нашего? Требовать заместо воблы жареного барашка?

Смех покатился по кубрику. Придумают тоже — барашка!

— Ха-ха-а! — передразнил Терентий. — Гогочете как гуси! По деревня́м эти шастают, с винтовками, отбирают скот. Выращенный урожай отнимают! На станциях — заградотряды. Кругом — отбираловка! Что за власть такая?

Первый раз Терентий высказался в спорах, которыми был линкор переполнен от погребов до топов мачт. Накипело у него на душе после недельного отпуска.

Степан Петриченко, старший писарь, зазвал его к себе, в каютку-канцелярию, угостил папиросой из настоящего табака, спросил:

— Ты Терентий, а как по отчеству?

— Максимыч.

— Ну, значит, мы два Максимыча, — усмехнулся Петриченко, прищурясь. — Ты в кубрике говорил про отбираловку в деревне. Давай-ка

изложи подробно. Как там было.

Терентий изложил, ничего не упуская.

— Какой уезд? Петергофский? — Петриченко качнул головой. — Это под Питером! А что в глубинке деется! Из Питера приезжал человек, сказал, что в Тамбовской губернии большое восстание началось.

— А кто восстал? Крестьяне?

— Да. Слушай, Максимыч, давай-ка мы введем тебя в судовой комитет.

Терентий не возражал. Хотя имел понимание, что не его это дело — заседать в комитете. Ну да ладно, там военморы собрались не из тупых. Дальномерщик Маврин, например, — это ж голова! Полтора десятка тельняшек и синих воротников, полтора десятка крикливых глоток, а рассуждений о текущем моменте — не меньше, чем верст до Луны.

Однажды после вечернего чая Терентий отправился к Редкозубовым. В гости не в гости (какие теперь гости?), а так — навестить по знакомству. Но по правде, очень хотелось ему с Капой, «княжной Джахавахой», повидаться. Да был и подходящий предлог — ведь обещал принести ей для прочтения хорошую книгу «Овод». Вот он подкрутил усы и пошел на Соборную, ныне нося-

щую имя главного большевика Карла Маркса.

У Федора Редкозубова кровоподтеки почти сошли с лица. За столом, за выпивкой, он выразил опасения — выдачу продуктов опять сократили, в Питере неспокойно, а тут в артмастерской разговоры пошли, будто советская власть скоро кончится, к весне падет.

— Не кончится она, — высказал Терентий свое мнение. — Вот только надо перевыборы сделать. Чтоб народно… народовластие, — не сразу выговорил трудное слово, — а не власть одной только партии…

— Да ты сам кто? В какой партии состоишь?

— Ну, состою, — неохотно ответил Терентий. — Нас, которые Юденича не пустили в Питер, почти всех записали в большевики. А для них я никто…

— Для кого? — не понял Редкозубов.

— Ну, для вождей. У них — «что хочу, то и ворочу». Я какие-никакие продукты вез из своей деревни, так на станции заградотряд все отобрал.

— А вы, чем отдавать, взяли бы и съели, — сказала Капа.

Она тоже сидела за столом, слушала, что мужчины говорят. И на Терентия поглядывала с легкой улыбкой. В ее светло-карих глазах озор-

ство было, игра… а может, просто любопытство к жизни.

— Что ты несешь? — строго сказала дочери Таисия Петровна.

А Терентий усмехнулся:

— Да и надо было схарчить, всего-то один мешок. А я не догадался.

Он Капе подыгрывал. Очень ему нравилось, как она хохочет, запрокидывая кверху голову, и русые ее кудри, казалось, тоже смеялись.

Еще перед тем как сели за стол, Терентий вручил ей хорошую книгу «Овод». Капа стала ее листать, а он сказал:

— Слушай, княжна Джахаваха…

— Джаваха! — поправила она.

— Пускай так. Ты граммофон послушать хочешь?

— Граммофон? — Капа вскинула на Терентия любопытствующий взгляд. — А у тебя есть?

— Откуда? У нас одна только музыка — дудки боцманов. А у моего брата есть. Он на Песочной живет.

Тут следует уточнить. Не было, конечно, у его двоюродного брата Сергея Елистратова никакого граммофона. Но уже полгода жил Сергей у одной вдовы, довольно еще молодой, хоть и старше его

лет на десять, по имени Василиса Васильевна. Вот у нее, обладавшей крупным телосложением, хорошей работой в морской хлебопекарне и комнатой с отдельной кухней, был граммофон и несколько пластинок к нему. Этот редкостный предмет еще до германской войны привез из Петербурга муж Василисы, ныне покойный инженер из службы связи кронштадтского телеграфа.

— На Песочной? — Капа чуточку подумала, часто моргая. — Не знаю… Может, на полчасика…

— Полчасика — это мало. — Терентий явно видел, что ей хочется послушать граммофон. Да и кому не захочется! — На один час, никак не меньше.

— Не знаю… А в какое время?

Он назначил Капе встречу на четверг, в полвосьмого, знал, что у Василисы на работе по четвергам вечерняя смена. А Сергея, братца, попросил в этот вечер где-нибудь «прошляться» часа два и взял ключ от квартиры. «А-а, девахой обзавелся, — подмигнул ему Сергей, большой любитель женского пола. — Давно пора, Терёшка».

У Терентия по этой части опыт был незначительный: случайное знакомство в Питере с девицей-комсомолкой (она прислуживала в семье богатого домовладельца, в восемнадцатом

владелец лишился своих домов и бежал куда-то на юг, а девица всей душой и телом устремилась в революцию). Она, бойкая и языкастая, нравилась Терентию, но их связь была недолгой: как-то заявился он в неурочный час к своей Аглае на Малую Подьяческую и застал ее в постели с их-ним секретарем ячейки. «А что такое? — сказала Аглая в ответ на матерный упрек Терентия. — Не старое время, свободная любовь теперь».

«Свободная любовь»! Он уже не раз это слышал. Чудно́ ему было от «теории стакана воды» — то есть от того, что вступить в половую связь так же просто, как выпить стакан воды. В деревне Систопалкино как-то было иначе.

Нет, не было у Терентия намерения затащить Капу в постель. Она ж еще такая молоденькая, семнадцать лет с половиной. «Но может, погуляем, — думалось ему. — Я подожду, Капа в будущем году школу окончит, а потом будет же и моя демо-билизация…»

Неясность насчет будущего времени, конечно, имелась. Но, как солнце сквозь туман, просвечивало и что-то хорошее, без чего и жить не стоило.

Капа пришла в овчинном тулупчике, румяная с мороза и, как бы сказать, настороженная, что ли.

От чая отказалась и, сняв тулуп, села у комода, на котором стоял граммофон — полированный ящик с большой (почти как у паровоза) трубой приятного золотистого цвета. Терентий завел его ручкой и опустил иглу на закрутившуюся пластинку.

«Не уходи, побудь со мною, — раздался из трубы женский низковатый голос. — Пылает страсть в моей груди…»

— Ой, это Анна Вяльцева! — сказала Капа.

Подавшись юной фигурой к граммофону, она слушала со вниманием. «Снег пушистый, ночь морозная кругом», — пела знаменитая певица. «Опьянела я невольно… Сердцу больно…»

Так они и шли, песня за песней, и все жалостливые, хорошие, про страдающее женское сердце. Вдруг с четвертой пластинки раздался страстный мужской голос, тоже с жалобой: «Апре туá жё н'орé плю д'амур…»

— На немецком, что ли, поет? — спросил Терентий.

— Не знаю. — Капа внимательно слушала. — Мы в школе немецкий проходим. Нет, непохоже.

— Амур — река такая есть в Сибири.

— А по-моему, «амур» — это «любовь».

— Пускай будет по-твоему.

Терентий, когда эта песня закончилась, перевернул пластинку. Грянула звучная музыка без слов — ритмичная, будто зовущая к танцу. Капа, оттаявшая от обилия музыки, посмотрела на военмора:

— Ты танцевать умеешь?

— Нет, — сказал Терентий. — Откуда?

— Это не трудно, — сказала Капа, поднявшись. — Отодвинь стулья, я покажу.

Терентий осторожно обнял ее, и Капа, положив левую руку ему на плечо, стала учить танцевальному шагу.

— Не шаркай, ноги надо легко передвигать. И музыку слушай, надо в такт. А не как попало. Раз, два, третий в сторону…

Он послушно шагал, как она велит. И знаете, уловил такт, дело пошло на лад. Напряжение отпустило Терентия, все легче передвигал он ноги.

— Вот видишь, это совсем не трудно, — сказала Капа.

Она улыбалась, снизу вверх поглядывая на него озорными светло-карими глазами.

— Джахаваха, — мягко сказал он.

И вдруг поцеловал ее розовые губы.

В следующий миг Капа, вспыхнув, оттолкнула его.

— Извиняюсь, — пробормотал Терентий. — Да ты подожди…

Но она, быстро надев тулупчик, ни слова не промолвив, убежала прочь. Граммофон продолжал орать, извергая из трубы танцевальные ритмы. Терентий, обругав себя последними словами, остановил музыку.

Наверное, вид у него был виноватый, когда в один из темных январских вечеров он заявился к Редкозубовым. Электричество в тот вечер не давали, черт знает почему. Федор Матвеич зажег керосиновую лампу. В ее неровном свете Терентий увидел, что Капа ему улыбнулась. Значит, не сердится?!

Он приободрился. Поддакивал ей, когда Капа пустилась осуждать кардинала Монтанелли:

— Ну, узнал он, что Овод его сын, так что же не спас сыночка?

— Да-да, — кивал Терентий. — Овода на расстрел повели, а он…

— Кого на расстрел? — не расслышал, о чем идет речь, Федор Матвеич. — А-а, в книжке. А я-то думал, опять пошли расстрелы в Кронштадте. Тоже мне читатели. Ну, Терёха, чего там у вас на линкоре — кончилась буза?

— Да нет, не кончилась.

Буза, можно сказать, все более нарастала. В судовом комитете спорили, орали, к тому склонялись, чтобы всем партийным выйти из большевицкой партии. Но тут, в редкозубовской квартире, Терентий не стал об этом рассказывать. Тут был будто островок посреди шторма. А вместо маяка на островке — светились девичьи глаза. Очень — ну просто спасу нет — тянуло военмора к девчонке…

Она вышла проводить его в коридор.

— Может, придешь в четверг? — тихо сказал Терентий. — Там еще есть пластинки.

— Не зна-аю, — пропела Капа.

И захлопнула за ним дверь.

В четверг она пришла. Сняла шапку, скинула тулупчик Терентию на руки, гриву свою взбодрила и со словами: «Ну, заводи музыку» — уселась перед граммофоном. Терентий завел. И веселая мысль у него мелькнула: «Новый командир у меня появился».

«Апре туа, — жаловался со сдержанной страстью мужской голос, — жё н'оре плю д'амур…»

— Я спросила у нашей учительницы, — сказала Капа, взглянув на Терентия, стоявшего, подобно часовому, у поющей трубы. — Это по-французски: «После тебя у меня не будет любви».

— Ишь ты, — усмехнулся Терентий, подкрутив ус, — любви у него не будет…

— Ну и ничего тут смешного!

— Смешного нету, — поспешно согласился Терентий. — Да откуда он наперед знает, что больше ее не будет?

— Знает, потому что — настоящая любовь. Вот!

— Пускай будет по-твоему.

Про «настоящую» любовь он ничего не знал. Только в книгах бывало, что сильно любили. Например, как те же Артур и Джемма в «Оводе». Ну и что получилось у них? Ничего хорошего…

— Поставь ту, где танцы, — распорядилась Капа.

Опять она учила Терентия танцевать. Комната наполнилась такой ритмичной и звучной музыкой, что большой абажур из розовой складчатой материи начал раскачиваться над танцующими.

— Раз, два, третий в сторону. Раз, два, — учила девочка. — Теперь поворот.

На повороте она слегка прижалась, и Терентий обнял ее крепче. Капа остановилась, вскинула на него вопрошающий взгляд.

— Извиняюсь, — пробормотал он, медленно отпуская ее.

Боялся, что она опять рассердится, убежит. Но

Капа не убежала. Закрыв глаза, потянулась к нему. Ее губы дрогнули от поцелуя.

— У тебя усы щекутные, — сказала она, не раскрывая глаз.

И потом не раскрыла, когда, нацеловавшись, они, разгоряченные, бурно дыша, оказались на кушетке. Старая, видавшая виды кушетка заскрипела под их молодыми телами. Капа застонала от боли. Граммофонная игла, дойдя до края музыки, зашипела, как рассерженный кот.

Не хотел Терентий ввязываться в политику. Не его это было дело. Он поддерживал в исправности электрочасть в первой башне — не потому только, что служба такая, но и потому, что нравилось ему электричество: в этой невидимой силе была непостижимая великая тайна.

Но другая — и тоже невидимая — сила накаляла страсти той зимой. На обоих линкорах, стоявших в гаванях Кронштадта, — «Петропавловске» и «Севастополе» — матросская «братва» криком выказывала недовольство. Комиссары — те же военморы, только с властными полномочиями — пытались охладить горячих, успокоить рассерженных. Ссылались на тех моряков, которые жизни не пожалели на фронтах Гражданской войны, — на *красу и гордость революции.* «Ну да,

герои они, за советскую власть жизню свою положили! — кричали в ответ комиссарам. — А что *вы* с ней сделали? С советской властью? Где она?» — «Как это — где? Она и есть в России…» — «Нету ее! Всю власть забрали вожди партийные! Даешь перевыборы Советов!» — кричали военморы.

— Кэрат! — тихо ругался Юхан Сильд, лежа поздним вечером в подвесной койке рядом с койкой Терентия. — Обещают, а ничего не дают… не делают…

— Что такое «кэрат», Яша? — спросил Терентий.

— Это черт. Раскольников обещал оптацию — где она? Уехала вместе с ним.

Раскольников, верно, из Кронштадта в январе уехал, перевели его на новую должность, — говорили, что отправили полпредом куда-то в далекую страну. Врид командующего Балтийским флотом стал начштаба Кукель (бывший старший лейтенант). Ну и что — Кукель? Не видно его и не слышно. Уж скорее, чем он, командует военмор Кузьмин, комиссар Балтфлота. Этот Кузьмин приходил на «Петропавловск», выступил на общем собрании — мужик неглупый, не зря у него козырек на лбу. Хорошо все объяснил про временные трудности пролетариата. «А крестьяне? — крича-

ли ему. — Их-то зачем раком ставите?» — «Никто не ставит!» — возражал Кузьмин, его бледное лицо багровело, и он нес дальше — про классовую солидарность и близость мировой революции.

Вот кого на линкоре больше слушали, чем даже командира Христофорова и комиссара Иванова, так это Степана Петриченко, старшего корабельного писаря. Он сам-то был из малоземельной крестьянской семьи и грамоте обучен — его речи совпадали с настроениями экипажа. Его послушать и с «Севастополя» приходили. Он-то, Петриченко, и предложил отправить с обоих линкоров делегацию в Петроград — выяснить обстановку («что на заводах там деется»). В делегацию «Петропавловска» судовой комитет включил и Терентия Кузнецова.

Ему, Терентию, ехать в Питер не хотелось. Как раз на четверг назначили поездку, а у него по четвергам…

Ну, может, детство было хорошее, приятно же вспомнить прочитанные книжки и как в речке плотву ловили в плетеные корзины. А в дальнейшей жизни никакой радости — случайно выжил в штыковой атаке, а потом — свист боцманской дудки в шесть утра — «команде вставать, койки вязать!» — и нарастающая буза, крики, споры —

какая власть нужна, а кого надо прогнать к… ну, известно куда… И одна, *только одна отрада* у Терентия — встречи по четвергам с Капой… Отдавшись, она лежит с закрытыми глазами в его объятиях… тихонько мурлычет: «Это любовь?.. У нас любовь, Терёша, да?» — «Ну да, — отвечает он, — а чего ж еще?»

Вот, значит, и любовь, а он-то раньше не понимал, что́ это такое, и мучило Терентия, что не знал он слов для нее — для любви. Одно только повторял: «Джахаваха». — «Джаваха»! — кричала Капа и смеялась, запрокинув голову. Глаза у нее светились озорством.

В Петрограде было холодно и очень неспокойно. Как в семнадцатом, по улицам ходили патрули. Прохожие опасливо посматривали на кронштадтских военморов, хотя они, в отличие от семнадцатого года, шли невооруженные.

Разошлись по нескольким заводам. Терентий и еще два петропавловца заявились на Балтийский завод, издавна дымивший на Васильевском острове. Не дымил завод, рабочие бастовали. Кронштадтцев не хотел пускать на завод караул курсантов, стоявший у закрытых ворот. Но рабочие, собравшиеся по ту сторону ворот, стали требовать пропустить делегацию. «Кто вас

сюда поставил? — кричали курсантам. — Какой власти служите, вояки косопузые?» — «Сами вы косопузые! — сердились курсанты. — Работать надо! А не бастовать против советской власти!» — «Где она, советская власть? — кричали заводские. — Как не было, так и нету!» — «А ну, заткнись!» — «Сам заткнись! Хватит рты затыкать! Даешь народно… народовластье!»

Это слово, прежде незнакомое, *народовластие,* можно сказать, летало, кружилось над заводским двором, в облаке махорочного дыма, на виду у длинношеих кранов, застывших над опустевшими стапелями.

— Перевыборы Советов хотим сделать, — объясняли петропавловцам столпившиеся вокруг рабочие люди.

— Да и мы это хотим в Кронштадте, — отвечали военморы.

— Вот! Требуйте, чтоб старый распустить на хрен, а новый выбрать. Чтоб не одни коммунисты там сидели.

— А кого посадить туда хотишь? — возразил кто-то простуженным басом. — Анархистов? Эсеров?

— А что эсеры — буржуи, что ли? Они тоже социалисты. За трудовой народ страдают.

— Трудовой народ на голодном пайке держат! — крикнул тощий парень с красными от мороза ушами. — Сколько можно? Свободную торговлю требуем!

— Снять заградотряды на дорогах!

— Прекратить аресты!

Перебивая друг друга, рассказали военморам, как на Трубочном заводе, тоже тут, на Васильевском острове, на рабочем собрании написали на бумаге и проголосовали революцию… то есть ре-зо-люцию с требованием перехода к народовластию. А Петросовет — ну, его исполком — постановил: «Ах, вот вы как? Закрыть завод! Пере-ре-ги-стрировать, кто на нем работает». Ну, на следующий день, позавчера это было, они, трубочники, вышли на улицу. «И к нам человека прислали, и на завод Лаферма — звали бросать работу и к ним, значит, идти. Мы и пошли на митинг, народу много собралось, под три тыщи, наверно. Шумели, конечно, за перевыборы советов. „Ах, вы так? Разогнать!“ А кого на разгон? А вот этих, кто у ворот… а они давай стрелять…»

— Чего вы врете? — заволновались у ворот курсанты. — Не стреляли мы!

— Стреляли! — неслось в ответ. — Ну, правда, в воздух… Что теперь делать? Вчера военное

положение объявили… Война-то кончилась, а в Питере военное положение… аресты идут… Вы, матросы, там в Кронштадте всем людя́м скажите — пусть нам поддержку сделают…

Переночевали кронштадтские делегаты на линкоре «Гангут», вмерзшем в лед на Неве. На «Гангуте» тоже было неспокойно. Тревожил слух, что петроградское начальство намерено отправить для продолжения службы на Черное море «ненадежных» матросов из экипажей стоящих в Питере кораблей.

— Мы — ненадежные? — кипятились гангутцы. — Это мы — нежелательный элемент?

И обкладывали начальство многоэтажным матом.

Следующим днем, 27 февраля, делегация возвратилась в Кронштадт. На общем собрании в коммунальной палубе «Петропавловска» доложили о событиях в Питере. Терентий потом признался Юхану Сильду: «Стою, передо мной тыща голов, надо языком молоть, а у меня уши трясутся». Но хоть и «тряслись уши», а выступил, рассказал собранию, запинаясь с непривычки, как рабочие на Балтийском заводе бастуют, чего требуют и просят от Кронштадта поддержки.

Собрание забурлило, зашумело.

— Поддерживаем! — орали во всю глотку. — Даешь перевыборы в совет! Революю… резолюцию написать! Кто в большевиках — выйти из партии!..

— Но-но, — слышались несогласные голоса, — как это выйти? Ты, что ли, нас принимал?..

— Вы что, братцы, с ума съехали? — кричал, сильно волнуясь, комиссар линкора. — Нельзя из партии! Это ж, выходит, предательство мировой революции!

— Это вы предатели! — неслось в ответ. — Обещали «мир хижинам», а чего делаете, крестьян давите! А мировая революция — на хрена она нам?

И вот — неслыханное дело: и впрямь стали партийные билеты класть. Споры по этому жгучему вопросу сотрясали линейный корабль. Петриченко сдачу партийных билетов поддержал. Он и сам объявил, что выходит из РКП(б). (Правда, некоторые военморы говорили, что Петриченку еще осенью двадцатого года из партии выгнали за «махновские» высказывания. А еще кто-то утверждал, что он, Петриченко, самый настоящий эсер, из левых.) Так вот, Терентий свой партбилет тоже сдал — принес к Петриченке в каюту-канцелярию и положил со словами: «Как все, так и я». А Зиновий Бруль, второй артил-

лерист, сидевший там у своего друга Степана, насмешливо на Терентия прищурился и сказал:

— Как же Ленин с Троцким теперь без тебя? Не жалеешь ты их.

— А чего их жалеть? — проворчал Терентий.

— Пусть они *нас* пожалеют, — сказал Петриченко.

Он всегда зрит в самый корень. Потому и прислушивались к нему петропавловцы.

Он и еще несколько головастых военморов выработали *резолюцию* из тринадцати пунктов, каковую следующим днем, 28 февраля, представили на общее корабельное собрание. Таких собраний еще не видывали стальные переборки «Петропавловска». Поджимая тонкие губы после каждой фразы, читал Петриченко пункт за пунктом. Разгорались споры, выкрикивали уточнения. Кто-то потребовал вставить в резолюцию созыв Учредительного собрания.

— Это не надо! — кричал Петриченко. — Мы за советскую власть, верно? Зачем учреждать другую? Зачем дразнить гусей? Переизбрать Советы, чтоб народ был представлен! А не одна только партия.

И после уточнений — что-то выкинули, что-то добавили — резолюция была принята почти

единогласно.

Она начиналась так:

«Заслушав доклад представителей команд, посылаемых общим собранием команд с кораблей в гор. Петроград для выяснения дел в Петрограде, постановили:

1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян».

Дальше шли пункты о свободе слова и печати для всех левых социалистических партий, о свободе собраний и профсоюзов, об освобождении политических заключенных, упразднении политотделов («так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей…»), о немедленном снятии заградительных отрядов.

Был в резолюции очень важный 11-й пункт: «Дать полное право действия крестьянам над своею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами, т. е. не пользуясь наемным трудом».

В тот же день проголосовала за эту резолюцию и команда «Севастополя». В резолюцию добавили еще два пункта.

А 1 марта началось на Якорной площади общее гарнизонное собрание. Не только военморы с бригады линкоров утоптали тут снежный покров, но и «братва» с других, помельче, кораблей, и красноармейцы из сухопутных частей Кронштадтской крепости, а также и многие жители города. Черные бушлаты и серые шинели вперемешку перекатывались, подобно волнам, от Морского собора до памятника Степану Макарову — словно спешили столпиться под вытянутой рукой этого удивительного адмирала, который, будучи тут главным командиром порта, заботился о «нижних чинах», как родной отец: ввел в казармах газовое освещение и снабжение кипяченой водой для питья, строго следил за качеством питания и даже издал приказ с инструкцией «О приготовлении щей». С постамента своего памятника адмирал, погибший на Русско-японской, взывал: *«Помни войну!»* (А как же ее не помнить… хотя Степан Осипович имел в виду не Гражданскую…).

Председатель Кронштадтского совета Васильев открыл собрание. В своей речи комиссар Балтфло-

та Кузьмин призвал матросов, красноармейцев и рабочих крепости отказаться от политических требований. Он говорил долго, ему кричали: «Хватит! Надоело! Три года это слышали, больше не хотим!»

Васильев, пытаясь перекричать неспокойную площадь, предоставил слово председателю ВЦИК республики товарищу Калинину, приехавшему «для ознакомления с нуждами флота и крепости». Калинин, невысокий мужичок с желтенькой бородкой клинышком, начал с добродушных слов — дескать, Россия не забудет вклад моряков Балтфлота в социалистическую революцию, в победу над белогвардейской сволочью и их хозяевами из Антанты. И пусть трепещет мировая буржуазия, которой скоро придет конец. А что касается перевыборов Советов, то будут они сделаны, когда время подойдет. Сейчас еще не подошло, надо сперва с разрухой покончить. А партия большевиков лучше всех других партий понимает, какие интересы имеют пролетарии и трудовые крестьяне…

Тут будто шквал пронесся над Якорной площадью — гул голосов, возмущенных выкриков прервал руководящую речь председателя ВЦИК. Калинин разволновался, рукой замахал, нет, не

дали ему говорить. На трибуне появился военмор Петриченко — бушлат распахнут, тонкие губы плотно сжаты. Прищурясь от ветра, он оглядел бурлящую площадь. И площадь стала утихать — и утихла.

— Команды линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию о текущем моменте! — выкрикнул Петриченко. — Мы предлагаем гарнизонному собранию выслушать. — И он, вытащив из кармана листок, стал читать: — «Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян…»

Он читал медленно, с расстановкой, чтобы ветром не унесло ни одного слова, чтобы успевали «переварить» в неспокойных головах каждый пункт резолюции. Площадь отвечала одобрительными выкриками: «Верно!», «Даешь!». Одиннадцатый пункт — «дать полное право действия крестьянам» — встретили долгим битьем в ладоши.

И вот — лесом взметнувшихся рук ответила Якорная площадь на предложение голосовать. По сути, весь Кронштадт — моряки, гарнизон крепости и жители города — *принял резолюцию* восставших линкоров.

Не голосовали только убежденные коммуни-

сты. Сразу после митинга состоялось экстренное заседание парткома крепости. Вопрос был один: о подавлении волнений в Кронштадте. Михаил Калинин потребовал немедленно арестовать зачинщиков. Сослался на постановление Политбюро ЦК РКП(б) о *первоочередной задаче* — подавить политическую оппозицию, прежде всего произвести *изъятие* меньшевиков и эсеров. Однако комиссары кораблей и частей гарнизона доложили, что достаточного количества надежных частей «для подавления ненадежных» в Кронштадте на данный момент нет. «Как это нет? — возмущался председатель ВЦИК. — Вы что тут — спали? Куда смотрели? Как допустили… упустили…» Он распорядился немедля сосредоточить надежные части в наиболее важных пунктах крепости. И пообещал, что по прибытии в Петроград примет все меры к сосредоточению сил на берегах у Ораниенбаума и Сестрорецка для «применения репрессивных мер извне».

На «Петропавловске» военморы, конечно, не знали об этом заседании парткома, но понимали, что «всероссийский староста» в Кронштадт приехал неспроста. Наиболее горячие головы требовали задержать Калинина как заложника. Да и караул петропавловцев у Петроградских

ворот сделал такую попытку — задержал. Однако стараниями Кузьмина и решением судового комитета линкора товарищ Калинин был отпущен — и отбыл в Петроград.

События разворачивались ускоренно и неотвратимо.

Второго марта происходило делегатское собрание. Делегаты, выбранные на кораблях и в частях гарнизона, на Пароходном заводе и в прочих гражданских учреждениях Кронштадта, заполнили актовый зал бывшего Инженерного училища, ныне превращенного в Дом просвещения. Избрали президиум из пяти беспартийных, в их числе Степана Петриченко. Это был явный вызов партийной верхушке: что еще за самоуправство позволяет себе матросня?

Петриченко, избранный председателем собрания, был, похоже, настроен миролюбиво. Первое слово он предоставил комиссару Балтфлота Николаю Кузьмину. Повестка дня была одна — перевыборы Кронштадтского совета. Но Кузьмин, как и на вчерашнем митинге, повел речь по обычному «фарватеру» — о том, что народ России под руководством большевицкой партии сбросил гнет царизма и буржуазии… карающий меч советской власти сломил сопротивление…

но свергнутые классы плетут заговоры… нужна большая бдительность… нет у партии ничего важнее, чем интересы освобожденного пролетариата и трудового крестьянства…

— Хватит! — раздались выкрики из зала. — Надоело!

— У вас главный интерес — свою власть держать!

Комиссар Кузьмин рассердился:

— Только несознательные люди могут обвинять большевиков! Ни одна партия не имеет столько жертв, столько пролитой крови…

— Столько расстрелов в подвалах Чека! — крикнул кто-то из глубины зала.

— Товарищи! — воззвал Петриченко из президиума. — Тихо! Прошу поспокойней!

А Кузьмин:

— Да, революция должна защищаться от контры! Мы не можем сидеть сложа руки и чаи попивать! Большевики не откажутся от власти! Любая попытка отстранить нас означает лишь одно — прольется кровь!

Тут зал будто взорвался от возмущенных криков:

— Сколько еще крови вам нужно?.. Россия кровью захлебнулась!.. Долой комиссародержавие!..

Кузьмин побагровел, закашлялся. Надвинув на густые брови фуражку, сошел со сцены и сел в первом ряду.

Председатель Кронсовета Васильев поддержал Кузьмина:

— Да вы что, братцы? Против кого кричите? Матросы завсегда были за советскую власть…

— Были и остались!

— Даешь перевыборы!

Васильев пытался договорить, обещал, что, как только позволит текущая обстановка, выборы Совета будут…

Тут в зал вбежал матрос из вооруженной стражи и заорал сумасшедшим голосом:

— Полундра! На улице отряд с пулеметами! Вас арестовать идут! — и закончил яростным матюгом.

Делегаты бросились к окнам и увидели: верно! Шел по Июльской вооруженный отряд, серые шинели и буденовки, винтовки за плечами, у кого сапоги, а у кого обмотки.

— Бойцы особого отдела! — узнал кто-то командира отряда.

Зал бушевал. Петриченко кричал, надсаживаясь, что у входа выставлена охрана, она не допустит…

— Разоружить особотдел! — орали делегаты. — Отстранить комиссаров! Арестовать Кузьмина!

— Не имеете права! — кричал Кузьмин, вскочив, его бритое лицо пылало. — Я не вызывал особистов!

— Арестовать, арестовать!

— Тихо! Тихо, товарищи! — пытался Петриченко успокоить собрание. — Послушайте, есть предложение — выбрать революционный комитет! Передать ему власть! Кто за?

Взметнулись кверху руки. Так появился в Кронштадте Временный революционный комитет из пяти человек — тут долго не думали: кто сидел в президиуме собрания, тех и избрали в ревком. А Степана Петриченко — председателем.

Кузьмина и Васильева арестовали.

Так получилось, что Терентия Кузнецова понесло в мощном потоке событий. Он был на делегатском собрании 2 марта и голосовал за передачу власти ревкому. Следующим днем Терентий и еще два военмора-петропавловца, по заданию ревкома, отправились на форт Тотлебен — знакомить артиллеристов с резолюцией, принятой гарнизоном крепости, а также с первыми распоряжениями ревкома. «Петроград нас поддержит!» — уверенно отвечали на вопросы.

4 марта снова состоялось делегатское собрание. Петриченко доложил, что в Питере власть «сильно обозлилась» — арестовали парламентеров, отправленных, чтобы разъяснить Петроградскому совету и рабочим, «что деется в Кронштадте и чего мы хотим».

— Не хотят переговоров с нами, — сказал Петриченко. — Угрожают. По радио получили ульту… ультиматум за подписью Троцкого. Требуют сложить оружие и сдаться. Иначе будет разгром вооруженной рукой. Нас Троцкий обзывает «белогвардейскими мятежниками».

Тут зашумело собрание:

— Не сдаваться!.. У нас на кораблях и на фортах пушек много!.. Это почему «мятежники»?.. Почему «белогвардейцы»?..

— Тихо! — крикнул Петриченко. — Докладываю делегатам. Ввиду поступивших угроз мы решили обратиться в штаб крепости. Там военспецы, они могут, если потребуется, оказать нам помощь — организовать оборону Кронштадта. Как решим данный вопрос?

Опять зашумели.

— Чего их просить? — заорал небритый, квадратный в плечах военмор. — Они ж бывшие офицерá! Мы чего — сами не сделаем оборону?

Терентий знал этого крикуна — матроса с «Севастополя», тоже, как и он, гальванера. Выпивали они однажды в кабаке на Сайдашной улице, матрос и там кричал — ругал Раскольникова, что он со своей бабой каждый день из трех блюд обедает, «жареного гуся шамают, а нам»… ну, известно что.

А Зиновий Бруль, сидевший рядом с Терентием, гаркнул:

— Оборону делать — знание надо иметь! А не трепать языком туда-сюда! Обратиться в штаб!

Его многие поддержали. Терентий — тоже. Ясное дело, крикуны с линкоров оборону не наладят. Надо штабных позвать. За это и проголосовало большинство делегатов.

А еще приняли решение о выдаче винтовок и патронов рабочим — для усиления обороны, если власть начнет угрозу выполнять.

Этот вопрос Терентий понимал плохо. Они чего — пошлют войска на лед? Лед, конечно, еще крепок, выдержит идущих людей — но не огонь. На «наших» двух линкорах двадцать четыре двенадцатидюймовки, да и пушки меньшего калибра. А форты? а береговые батареи?.. Кронштадт таким огнем ударит, что весь лед к чертовой бабушке… наступление водой захлеб-

нется…

По предложению Петриченки в состав ревкома довыбрали еще десятерых. Теперь стало в ревкоме пятнадцать: шестеро матросов, пять рабочих, телефонист, лекпом и двое образованных — штурман дальнего плавания Кильгаст и учитель Орешин.

— Орешин! — воскликнула Капа, когда Терентий спросил, знает ли она этого учителя. — Он же заведующий нашей школой! Третьей трудовой! Такой умный дядька!

— Ну, если умники пошли в начальство, — сказал Терентий, — значит порядок на Балтике.

— Ой, Терёша, я вчера к папе в артмастерскую ходила, обед ему принесла, кашу-перловку, а там собрание, я сама слышала, кричали: «Долой коммуну, даешь советскую власть!» Как это, Терёша? Я не понимаю…

— Чего тут не понять? Коммунисты свою партию поставили над народом, а если кто не согласен, обругал плохую жизнь, так он враг, расстрелять его. Ну, надоело, вот и все.

Они, Терентий и Капа, встретились, как накануне уговорились, на Нарвской площади и теперь шли по Николаевской улице к Гостиному Двору. Там, в каком-то закоулке, делал фотографиче-

ские снимки один тихий человек, отец Капиной школьной подруги, и вот взбрело Капе в шальную голову, что надо ей с Терентием сняться. Терентию, понятно, было ни к чему, никогда он не подставлял рожу этому, как его… раньше называли дагеро… тьфу, не выговоришь… ну, ящику со стеклянным глазом. Но если Капа чего хотела, так он не перечил. Сам себе удивлялся, но…

Вот идут они по Николаевской, давят ботинками лужи от растаявшего снега, а навстречу патруль, трое военморов с «Севастополя», и они, патрульные, ухмыляются и подмигивают военмору с «Петропавловска» — дескать, ну и молодуху ты отхватил, браток…

Гостиный Двор пустует. Торговли нет никакой, только в двух-трех местах стоят очереди за пайком. Терентий с Капой почти весь Гостиный обошли, пока не наткнулись на закуток с небольшой витриной, на которой были выставлены в два ряда фотографические снимки.

Тихий человек с большой остренькой лысиной глядит на них сквозь очки и произносит немного в нос:

— Да-да-да, мне Леночка говорила. Садитесь, молодые люди.

В закутке тесно. Капа сидеть не пожелала. Об-

тянула длинное платье, поправила белый поясок, сказала:

— Пусть Терентий сядет, а я рядом встану.

— Прекрасно, прекрасно, — одобрил фотограф в нос.

Придвигает этажерку с вазой, наполненной бумажными цветами (для красоты обстановки), нацеливает на парочку фотографический аппарат и прирастает к нему, накрывшись черным полотнищем. Ну а затем — «Внимание! Снимаю!» — рука снимает крышечку с объектива — яркая вспышка — «Готово, благодарю вас».

Протянутые Терентием бумажки — денежные совзнаки — тихий фотограф отказывается взять.

— Вы же друзья моей Леночки. — Взглядывает, часто моргая, на Терентия. — Что же будет, товарищ матрос? Какая теперь у нас власть?

— Власть — какую хотели, такую и сделали.

— Какую хотели, — кивает тихий человек. — Да-да-да.

Юхан Сильд сказал:

— Ты не спишь, Терентий?

— Нет. Что-то не спится.

— Мне тоже.

Они лежали в своих подвесных койках. В кубрике было холодно: почти не топили, угля на

линкоре осталось очень мало. А подвоза не было вовсе: власти в Питере перекрыли даже и то плохонькое снабжение, которое как-то поддерживало Кронштадт. Ни топлива, ни продовольствия не поступало, даже и письма перестали доставлять. А свои запасы на складах крепости подходили к концу.

Не спится Терентию. В кубрике полутемно, и привычный храп слева и справа, и сигнальщик Штанюк страстно подвывает во сне, ему всегда один сон снится — как он с бабой, значит.

— Мне тоже, — говорит Юхан Сильд, машинист. — Что же будет, Терентий? Мы встали… то есть восстали. Мы третью революцию сделали, так ревком сказал. Да?

— Ну да, — не сразу отвечает Терентий. — Свобода нужна… Как в феврале… А не отбираловка и расстрелы… Ох-хо-хо-о… — Он зевает. Все же клонит в сон.

— Они свободу не дадут, — говорит Сильд, тоже, за компанию, зевнув. — Если в Питере нас не поддержат, то…

— Поддержат, — говорит Терентий.

Но полной уверенности у него нет.

Поддержкой питерских рабочих, а также военморов на линкорах «Гангут» и «Полтава»,

стоявших на Неве, ревком был очень озабочен. В своих воззваниях, напечатанных в листовках и в газете «Известия ВРК», он извещал всех рабочих, крестьян и красноармейцев, что волею широких масс власть в Кронштадте «от коммунистов перешла без единого выстрела в руки Временного Революционного Комитета… В городе создан образцовый порядок… Мы знаем, что питерские рабочие измучены голодом и холодом. Вывести страну из разрухи сможете только Вы… Коммунистическая партия оставалась глухой к Вашим справедливым, идущим из глубины души требованиям. Временный Революционный Комитет убежден, что Вы, товарищи, поддержите Кронштадт».

И далее: «Не поддавайтесь нелепым слухам, что будет в Кронштадте власть в руках генералов и белых. Это неправда. Она выполняет только волю всего трудового народа».

Но Питер, в котором, собственно, и «заварилась каша», молчал. Не сбылась надежда Кронштадта на его поддержку, Петроград не восстал. Его захлестнула волна арестов: в «Кресты» были брошены не только меньшевики и эсеры, значившиеся в списках Губчека, но и «зачинщики» заводских волнений, то есть активные рабочие.

«Что ж вы делаете? — раздавались возмущенные голоса. — Объявили диктатуру пролетариата, а хватаете пролетариев!» Рты затыкали не одними репрессиями. Дошли до Кронштадта слухи о подачках, коими власть пыталась успокоить заводской люд Петрограда. «Вот! — возмущались кронштадтцы. — Питерские рабочие за пару сапог и три аршина мануфактуры продали нас!»

А еще прошел слух, что во всей Петроградской губернии сняты с дорог и вокзалов заградительные отряды.

Власть явно боялась, что восстание в Кронштадте перекинется на весь Балтийский флот. Черт знает, чего еще ожидать от своевольной матросни. И вот что решили: отправить «ненадежных» (по спискам, составленным комиссарами) к черту на кулички, на Азовское море и на Каспийское, в Ленкорань какую-то для прохождения службы там, подальше от Кронштадта. Шестью эшелонами было вывезено более четырех тысяч моряков с линкоров «Гангут» и «Полтава», с других кораблей, стоявших в Питере, из минной дивизии, из береговых частей.

Не теряя времени, стягивали на северный берег, к Сестрорецку, и на южный, к Ораниенбауму, войска и артиллерию. Командующему срочно

восстановленной 7-й армией Тухачевскому было предписано «в кратчайший срок подавить восстание». Над Кронштадтом пролетели аэропланы, сбросили листовки, а на этих шершавых бумагах — угрозы, требование сложить оружие и сдаться, перестать подчиняться белогвардейскому генералу Козловскому. А также извещали листовки, что в Петрограде арестованы семьи мятежников и все эти арестованные объявлены «заложниками за тех товарищей, которые задержаны мятежниками в Кронштадте, в особенности за комиссара Балтфлота Н.Н. Кузьмина, за председателя Кронштадтского совета т. Васильева и других коммунистов. Если хоть один волос упадет с головы задержанных товарищей, за это ответят головой названные заложники».

На эти угрозы Кронштадтский ревком ответил в своих «Известиях» статьей «Злоба бессильных». В ней сказано так:

«Три дня, как граждане Кронштадта свободно вздохнули от диктатуры партии.

„Вожди“ кронштадтских коммунистов позорно, как провинившиеся мальчишки, бежали, спасая свою собственную шкуру, из опасения, что Временный Революционный Комитет прибегнет к излюбленному методу чрезвычаек — расстрелу.

Напрасные страхи.

Временный Революционный Комитет не мстит, никому не угрожает. Все кронштадтские коммунисты на свободе, и им не угрожает никакая опасность. Задержаны только те, кто пытался бежать и был перехвачен патрулями. Но и они находятся в полной безопасности…»

Так оно и было. Многие коммунисты бежали.

Нет, Кузьмин и Васильев не покинули Кронштадт — были арестованы на делегатском собрании. Вместе с комиссаром бригады линкоров Зосимовым и еще несколькими комиссарами они сидели в следственной тюрьме, не потеряв ни одного волоса с головы.

Дел на ревком навалилось — выше крыши. Ну да, одно дело — кричать на собраниях, а совсем другое — когда взял власть. Главные заботы были — продовольствие, топливо и оборона.

Уточнили, что имеется на складах. Муки и мяса было на несколько дней, сахару — на десять, лучше обстояло с консервами и галетами. Посчитали: если суточную норму снизить до банки консервов и до фунта овса, то на полмесяца хватит. А потом? Зиновьев из Петрограда не пришлет. Обратиться за продовольственной помощью к Финляндии? Большинством голосов ревком эту неприятную

мысль отверг. Вопрос остался открытым.

С топливом дело обстояло не лучше. Чтобы кронштадтцы не замерзли, ревком распорядился: пустить на слом старые деревянные дома в северной части города. Топить печки дров хватит, а там уж и весна не за горами. Хуже обстояло с углем для корабельных котлов. На линкорах уголь был на исходе. Где его взять? С фортов вывезти? Заменить жидким топливом? Обратиться — опять-таки раздавались голоса — за помощью в Финляндию?

И конечно, самое главное — оборона.

Без военспецов тут было не обойтись. Оперативная тройка ревкома заявилась в штаб крепости. Неизвестно (но можно себе представить), что подумал начальник штаба Соловьянов, бывший подполковник, увидев в своем кабинете трех матросов — писаря Петриченко, машиниста Ососова и телефониста Яковенко. Однако прекрасно понимал, что они — реальная власть в Кронштадте, восставшем против большевицкой диктатуры. Соловьянов вызвал начальника оперативного отдела штаба Арканникова, тоже бывшего подполковника, и начальника артиллерии крепости, бывшего генерал-майора Козловского. Совещание было недолгим. Штабные приняли

предложение ревкома организовать оборону.

Этот штаб привыкли видеть сонливым, вялым. А тут его будто подменили — на корабли и в сухопутные части посыпались его строгие распоряжения. Да что ж, угроза Кронштадту нарастала с каждым днем, разведка докладывала о прибытии на северный и южный берега войсковых частей, шло явное сосредоточение сил для штурма, и лед был еще крепок. Нельзя было медлить. Штаб разработал план обороны, предписывающий расположить по всей береговой линии острова Котлин пехотные и морские части — за исключением команд обоих линкоров, им надлежало остаться на кораблях и готовиться к артиллерийскому отражению атак. Особой заботой штаба была организация стрельб с фортов, линкоров и береговых батарей, связь артогня с действиями пехоты и тому подобные специальные вопросы.

А еще штаб крепости вот что предложил: не дожидаясь штурма, перейти в наступление — занять Сестрорецк и Лисий Нос на северном берегу, расширить таким образом базу восстания; этот захват мог бы осуществить 560-й полк, расквартированный в Кронштадте. Однако ревком ответил штабу решительным отказом: первыми начать

военные действия не хотел ни в коем случае. Вообще, все действия штаба ревком держал под контролем.

Начальником обороны был назначен Соловьянов. Но власти в Питере и Москве, узнав, что среди военспецов, примкнувших к мятежу, есть бывший генерал, сразу прицепились к Козловскому.

«Теперь всякому ясно, что готовили Красному Питеру его враги, — писали петроградские газеты. — Эсэры и меньшевики должны были открыть дорогу мятежному белому генералу… Теперь новый козырь в руках Антанты — бывший генерал Козловский… Но тщетны все усилия белогвардейщины. Мощь рабочего красного города дала отпор Краснову, смяла Юденича, она сметет со своей дороги и нового монархического последыша Козловского… Карающий меч пролетариата отрубит последнюю голову ядовитой монархической гидре…»

Алексей Николаевич Козловский, бывший генерал-майор, с восемнадцатого года служил в Красной армии. «Ядовитая гидра…» Нет, к этой риторике Козловский, суховатый шестидесятилетний офицер с короткой седой бородкой, отнесся с презрительным прищуром. Но вот аресты…

В Петрограде Губчека арестовала всю семью Козловского — жену Наталью Константиновну с дочерью-школьницей и четырех сыновей: двадцатидвухлетнего Николая, коммуниста, слушателя артиллерийской академии, девятнадцатилетнего Константина и восемнадцатилетнего Дмитрия, курсантов училища комсостава флота, и шестнадцатилетнего Павла, школьника. Все они были объявлены заложниками. Арестовали и сослали в Архангельскую губернию и всех питерских родственников Козловских. А в Гомельской губернии нашли шестидесятилетнего крестьянина Петриченко, его с двумя сыновьями привезли в Москву, на Лубянку, усердно допрашивали, но — выяснили, что никакого отношения к вожаку кронштадтского мятежа гомельские Петриченки не имели.

На весь мир прокричало московское радио и разнесли центральные газеты: в Кронштадте белогвардейский антисоветский мятеж! Во главе мятежных матросов бывший генерал Козловский — «монархический последыш», «ядовитая гидра»…

Замкнутый, немногословный начальник артиллерии Кронштадтской крепости Козловский не выказывал недоумения по поводу шума, под-

нятого вокруг его личности. Разве что в разговоре с Соловьяновым.

— Присаживайтесь, Александр Николаевич. — Соловьянов придвинул к Козловскому пепельницу, предложил папиросы. — Последние сведения: к Ораниенбауму гонят бронепоезда, не менее двух. На подходе к станции Лигово — эшелоны с частями Двадцать седьмой дивизии, ну вы знаете, их перебрасывают с Западного фронта.

— Да, — кивнул Козловский, закурив. — Западный фронт отброшен от Варшавы, Тухачевский побит, теперь он, по-видимому, жаждет отыграться на Кронштадте.

— Да уж, Троцкий не даст ему передышки. Меня, Александр Николаевич, тревожит Красная Горка. Единственный форт, неподконтрольный ревкому, с тяжелой артиллерией.

— Красная Горка подавить огонь Кронштадта не сумеет. У них восемь двенадцатидюймовых орудий, четыре восьмидюймовых. А у нас на линкорах, вы же знаете, двадцать четыре двенадцатидюймовых и…

— …И тяжелые орудия на Тотлебене и других фортах. Конечно. Но обстрел Кронштадта может вызвать панику. В городе довольно много коммунистов, которые, вопреки нашим строгим

приказам, не сдали оружие. Начнут стрелять в спину.

— Значит, надо усилить патрули. Главную опасность, Евгений Николаевич, я вижу в том, что власти готовят штурм.

— Да, штурм. Трудно представить, что выведут массу людей на лед… на открытое ледовое поле… под сильнейший артогонь… Но ведь они не считаются ни с какими потерями… Каковы ваши прогнозы, Александр Николаевич?

Козловский встал, подошел к окну. Там сыпался с серого неба негустой и как бы ленивый снег. Вернулся к столу, на котором была расстелена оперативная карта. Сухо сказал:

— Вы сами, Евгений Николаевич, ответили на свой вопрос. Большевики с потерями в живой силе не считаются. Мы, конечно, отобьем атаки. Первую, вторую… десятую… Но как бы ни был силен наш огонь, проломить весь лед вокруг Котлина, — Козловский обвел рукой очертание острова на карте, — мы не сможем. А они не остановятся, будут бросать на лед цепь за цепью. — Помолчал, постучал пальцем по карте. — У нас мало активных штыков. Не безграничен запас снарядов. А что будем, извините, жрать? Вы ежедневно совещаетесь с Петричен-

ко — потребуйте немедленного обращения к Финляндии за продовольственной помощью.

— У нас был разговор об этом. В ревкоме нет согласия. Там не одни только умники.

— Да-да. Умников вообще на свете немного. Евгений Николаевич, а что в Европе? Понимают они смысл нашего восстания?

— Думаю, что понимают, — сказал Соловьянов. Невысокий, рано лысеющий в свои сорок лет, он тоже поднялся, расправил под ремнем гимнастерку. — Сведений немного. Радиопередач из Парижа наши радисты не понимают, не знают языка. Но я дважды слушал, сидел с наушниками. Слышимость плохая, трески, затухания, но вот что я все же ухватил. Большую активность проявляет Врангель. Предлагает перебросить в Кронштадт свою армию — ну, части, находящиеся в Галиполи и…

— Кому предлагает?

— Правительству Франции. Переброску войск предполагает на кораблях французской эскадры либо бывших кораблях нашего Черноморского флота, стоящих в Бизерте.

— Интересная идея. И что же правительство Франции?

— Выжидает. Выясняет вашу личность, Алек-

сандр Николаевич. «Женераль Козлёвски» переполняет эфир.

Козловский поморщился:

— Вольно́ же им прислушиваться к вранью большевиков! Неужели неспособны понять, что в меня только потому ткнули пальцем, что я тут единственный генерал? Ублюдки! — Козловский снова закурил, нервно чиркая спичками. — Я не им согласился служить — не смутьянам, примчавшимся из эмиграции захватить власть… не уголовникам, выпущенным в феврале из тюрем… Служить несчастной истерзанной России я согласился…

— Александр Николаевич, присядьте, успокойтесь, прошу вас. — Соловьянов впервые видел обычно сдержанного начальника артиллерии таким возбужденным. — Я полностью разделяю ваше негодование. Мы с вами оказались в таком положении, в таком тяжелом, неопределенном…

— Неопределенность, — прервал его Козловский, — в том, как долго мы сможем продержаться без внешней помощи.

— Это верно… Но полагаться на помощь Антанты… нет, я бы не стал… Другое дело — внутренние волнения. Есть слух о крупном крестьянском восстании на Тамбовщине.

— Вы считаете, что этот бунт поможет нам продержаться?

— Не знаю. Многое зависит от масштаба крестьянских волнений.

— Восстание в Петрограде — вот что могло бы нам помочь. Но его нет, — сказал Козловский и ткнул окурок в пепельницу.

Они стояли, глядя друг на друга, над оперативной картой. Из соседней комнаты доносился стрекот пишущей машинки.

— Евгений Николаевич, — спросил Козловский, — что вы намерены делать, если потерпим поражение?

— Вопрос прямой. — Соловьянов полуприкрыл глаза. — И ответ будет прямой: уйду в Финляндию. А вы?

— У меня в Питере семья объявлена заложниками, — сухо сказал Козловский и направился к двери.

Штурм начался с перестрелки.

Вечером 7 марта, в 18 часов 35 минут, громыхнул первый выстрел: батареи, установленные в Сестрорецке и на Лисьем Носу, начали обстрел Кронштадта. В Средней гавани, в Военной гавани, где стояли линкоры, взметнулись фонтаны разрывов.

Звонки боевой тревоги ударили в огромное стальное тело «Петропавловска». Загрохотали по палубам и трапам башмаки матросов, разбегающихся по боевым постам. В первой башне комендоры заняли свои места. Гальванер Терентий Кузнецов плавно, как учили, вдвинул тяжелый рубильник и уставился на датчики приборов. Ну, порядок, муфта Дженни не подвела после долгого бездействия — объяла током механизмы управления и подачи снарядов. Ровно, без одышки, зарокотали моторы.

Томительно текло время. Черт знает, что делалось там, в гавани, в городе, — башня линкора глухое место, непроницаемое для наружных звуков.

«Что же это? — всполошенно думал Терентий. — Они огонь открыли, — значит, опять война? Опять убивать друг друга… Мама, ты зачем меня родила на свет божий?.. А Бога-то, говорят, нет… раньше был, а теперь не стало… О-хо-хо-о-о…»

Командир башни, военмор Лесников, бывший мичман, сдвинув на затылок фуражку, посматривал в башенный перископ, но помалкивал, он и вообще-то молчун, ни в каких разговорах — ни в какой бузе — не участвует. Наводчик левого

орудия Жорка Осокин, по кличке Обжора, сидел, сутулясь и покашливая, у замка — массивной казенной части орудия. Его лицо, с детства побитое оспой, влажно блестело. Он-то, Осокин, как раз не молчун — крикун известный, на собраниях выкрикивал разную ерунду, особенно часто, что, дескать, самоуправляться надо, а что это такое — и сам объяснить не мог.

Тихо в башне, только моторы жужжат, как стая мух. Стоят и сидят на своих местах комендоры в боевом отделении, в перегрузочном и в самом низу — погребе.

Ждут.

Резким ударом по натянутым нервам ворвался в башню телефонный звонок. Лесников выхватил трубку из зажимов. С командного пункта старший артиллерист продиктовал целеуказание. Лесников, репетуя, выкрикивал цифры отсчетов; установщики прицелов, в свою очередь отрепетовав, работали у приборов, наводчики погнали орудия на нужный разворот и высоту — на цель, невидимую отсюда. Тем временем в погребе со стеллажей перевалили на лотки три снаряда, каждый весом в тридцать пудов, и полузаряды — холщовые мешочки с порохом. Зарядники, движимые током, заверещали, подняли лотки

в перегрузочное отделение, там снаряды и полузаряды перевалили на верхние зарядники, и нижние пошли обратно в погреб на следующую загрузку. А верхние поднялись в боевое отделение, прильнули к замкам орудий и с лязгом и звоном затолкали снаряды и полузаряды в раскрытые пасти каналов стволов.

Башня на наводке.

— Залп! — скомандовал Лесников.

Одновременно три наводчика нажали на педали. Одновременно три двенадцатидюймовых ствола, в желтом пламени пороховых газов, с громоподобным грохотом выбросили снаряды, и те, бешено вращаясь, буравя воздух, понеслись к целям.

Из башни не видно и не слышно. Грохот залпов почти не ощутим — только толчки воздуха при каждом выстреле и откате пушек. А бил «Петропавловск» по Красной Горке.

Так оно началось — десятисуточное сражение.

Обстрел Кронштадта начали батареи с северного берега. Вскоре к ним присоединилась, ударила с южного берега Красная Горка (переименованная в форт Краснофлотский). Какое-то время Кронштадт не отвечал. На его улицах и в гаванях гремели разрывы снарядов. А телефонные линии

клокотали возбужденными голосами. Начальник обороны требовал согласия ревкома на ответный огонь, в ревкоме совещались, орали, наконец Петриченко прокричал Соловьянову согласие, и тот немедленно позвонил начальнику артиллерии Козловскому: «Начинайте!» А у помощников Козловского — Буркcера и других профессиональных артиллеристов — на планшетах обозначены все возможные цели, и полетели по проводам на корабли и форты приказы открыть огонь и целеуказания.

«Петропавловск» и «Севастополь» ударили башенной артиллерией по Красной Горке. Форты Тотлебен и северные номерные — по Лисьему Носу и Сестрорецку. До поздней ночи грохотала канонада, грозными вспышками огня озарялось небо над Кронштадтом. Потом наступило затишье — надо же и орудиям, раскалившимся от стрельбы, дать отдохнуть. Уж не говоря об артиллеристах.

В башнях «Петропавловска» прозвучала команда:

— Дробь! Орудия и приборы на ноль!

Выполнив этот приятный душе артиллериста приказ, комендоры вылезли из башен. Ночь была холодная и мокрая, с погасшего неба сеялся не

то снег, не то дождь. Дрянная была погода, но все равно тут, на ветру, легко дышалось. Не то что в башне, где тебя бьют по ушам, по нервам толчки воздуха, отравленного пороховыми газами.

Закуривали, неторопливо шли по верхней палубе к люкам своих кубриков. Набирали в стесненную грудь побольше воздуху.

— Повоевали — и будя, — возгласил наводчик Осокин, свернув длинную «козью ножку». — Дай прикурить, Терёха. — Он пыхнул махорочным духом. — Ты как считаешь, достали мы по Тухачу? Ну, чего молчишь?

— Отвяжись, Жорка, — сказал Терентий.

Осокину лишь бы потрепаться. А у Терентия на душе смутно. Сплошные вопросы: «Значит, война? Опять свои против своих? Целую армию, говорят, на Кронштадт бросают, во главе с Тухачом, то есть Тухачевским, да неужто по льду пойдут? А в Москве, говорят, съезд партии открывается, — так они хотят к съезду нас *подавить*. Да что за хрень? За что давить? За то, что хотим Советы переизбрать?..»

А сквозь тревожные мысли просвечивало, будто луной освещенное, девичье лицо. Капа улыбалась ему… стонала тихонько, закрыв глаза… мурлыкала: «У нас любовь, Терёша, да?..»

«Когда же теперь увижу тебя, княжна Джаха-ваха?..»

Подвесная койка закачалась под Терентием, он накрылся с головой одеялом, глубоко вздохнул. И, уже засыпая, вдруг увидел, будто наяву, старый дуб на дороге в Систопалкино — дуб с большим дуплом, поросшим мохом. В это дупло и провалился, заснув.

Но спал недолго. В пятом часу ночи опять ударили колокола громкого боя — прозвенели звонки боевой тревоги.

Лед был крепок, но почти на четверть аршина покрыт водой. Идти по нему было тяжело. Красноармейцы шлепали сапогами по воде, матерились не только мысленно, но и вслух. С севера шли из Сестрорецка несколько войсковых частей, курсанты военных училищ, двигались к форту Тотлебен и крайнему из номерных фортов — Седьмому.

Одновременно начала наступление южная группа, вышедшая на лед из Ораниенбаума. Тут была кратчайшая дорога на Кронштадт, десяток верст, — но стерегли эту дорогу южные форты. Шли в обход этих фортов 561-й и сводный полки.

Шли в белых маскхалатах, хлюпала под сапогами ледяная вода, мокрые полы халатов неприятно

липли к ногам. Материли мятежников, дурную погоду, своих командиров, погнавших на лед.

Наблюдательные посты увидели: идут! Заметались прожекторные лучи, выхватывая из тьмы и непогоды цепи, шагающие по льду. Ночь взорвалась артогнем.

Тяжелые орудия форта Тотлебен остановили наступление с севера. Разрывы снарядов крошили, ломали лед, разверзая под ногами пехоты черные полыньи, пехота попятилась, теряя бойцов. Но рота курсантов сумела прорваться на островок Седьмого форта и после короткого боя закрепилась там.

Тем временем южная группа кратчайшей дорогой шла к Кронштадту. Но дороги-то не было. Был лед, покрытый водой. И — откуда ни возьмись — снежный заряд, а сквозь летящий ненужный снег — прожекторные лучи с Котлина, пробежавшие по лицам красноармейцев.

Ударили форты Милютин и Константин, вздымая фонтаны огня, льда и воды. 561-й полк, не пройдя и полдороги, остановился. Раздались голоса: «Дальше не пойдем!.. Подыхать на льду… Назад, братцы!» Матерились. Орали комполка и комиссар, угрожали трибуналом, их голоса покрывал грохот обстрела.

Часть двинулась обратно, к ораниенбаумскому берегу. Но и назад дороги не было — цепь заградотряда хлестнула пулеметным огнем.

Ну куда деваться?!

— Вперед! — орали командиры и комиссары. — Вперед!

Пошли, побежали меж столбами разрывов, под пульсирующим багровым небом, к кронштадтскому берегу. И были встречены пулеметами мятежного 560-го полка. Первый зацепившийся за берег батальон красноармейцев выкинул белый флаг — маскхалат, надетый на штык. «Братцы, не стреляйте! — кричали отчаянно. — Мы с вами!..»

Так получилось, что один батальон 561-го полка, полтыщи бойцов, уцелевших от огня и воды, перекинулся на сторону мятежников. Другие два батальона получили команду отступать и врассыпную, обходя черные полыньи, побрели по льду обратно к Ораниенбауму.

Что до сводного полка, то передовой его батальон прорвался в Кронштадт. У Петроградских ворот возникла яростная перестрелка. Брезжил неясный трудный рассвет, когда кронштадтцы кинулись в штыковую атаку и отбросили этот батальон на лед. Две роты, около двухсот пятиде-

сяти красноармейцев, были взяты в плен.

Атака была отбита.

Около полудня 8 марта на Кронштадт налетели аэропланы. Шестерка аппаратов «ньюпор» со шмелиным жужжанием сделала круг над городом, высматривая цели и разбрасывая листовки (их подхватил ветер и, похоже, понес обратно в Ораниенбаум, откуда аэропланы и взлетели). Три «ньюпора» пошли на линкор «Петропавловск».

— Этажерки летят! — заорал сигнальщик Штанюк. — Полундра!

Десятка два матросов, назначенных в уличные патрули, шли по верхней палубе к трапу. Услыхав выкрик сигнальщика, остановились. Увидели приближающиеся аэропланы. Несколько военморов вскинули винтовки и стали в них стрелять. Им крикнул Зиновий Бруль, артиллерист:

— А ну, прекратить стрельбу, дурачье!

И верно, зачем патроны зря тратить? Разве достанешь их, летунов?

Один за другим прошли «ньюпоры» над линкором и сбросили бомбы. Два взрыва вскинули столбы льда и воды с правого борта, а третий рванул в опасной близости к корме, побил стенку причала и ранил осколками двух матросов и мастерового, пришедшего по каким-то ремонт-

ным делам. Раненых отвели-унесли в лазарет линкора.

Аэропланы сбросили бомбы и на «Севастополь», но не попали. Бомбили другие суда у стенок Пароходного завода и улицы близ гаваней. По отчету воздухоплавательного отряда в этот день было сброшено девятнадцать бомб весом в четыре пуда пять фунтов каждая.

Весь день, то усиливаясь, то ослабевая, обстреливали Кронштадт батареи северного и южного берегов. Появились жертвы, возникли пожары. Кронштадт отвечал. Форт Тотлебен бил по Сестрорецку и Лисьему Носу — там тоже вспыхнули пожары. «Петропавловск» из своих двенадцатидюймовок обрушил огонь на Седьмой форт, занятый курсантами, — с наступлением темноты уцелевшие курсанты покинули форт, отступили на исходные позиции.

Ожидали ночью на 9 марта повторения штурма. Но штурма не было — зря елозили прожекторные лучи по ледовым полям. К утру поутих и артогонь с обеих сторон. На «Петропавловске» отпустили комендоров — наконец-то дали отдохнуть после почти непрерывных полуторасуточных стрельб.

Терентий Кузнецов скинул ботинки, снял робу и забрался в подвесную койку. Протяжно зевнул.

Смежил усталые веки.

— Навоевался? — спросил Юхан Сильд, сосед.

— Ага. Ты чего не спишь, Яша?

— Не спится.

Сильду что — он машинист, не у пушек стоит, у него вахта у парового котла, ну и еще — в аварийной команде он. Ему спину не ломит, и не отравленным воздухом дышит. Чего ему не спится?

— На «Севастополе», говорят, было прямое попадание, — сказал Сильд. — Тяжелый снаряд шарухнул.

— Шарахнул, — поправил Терентий.

— Да. С Красной Горки били. Два матроса погибли.

— Мы ее раздолбаем, Красную Горку.

— А потом?

— Что потом?

— Что будет в Кронштадте после «раздолбаем Красную Горку»?

— Что будет, то и будет. В Кронштадте артиллерия сам знаешь какая. Отобьемся.

— Это я знаю. А что кушать будем?

— Давай-ка, Яша, поспим, — сонным голосом сказал Терентий.

Вечером 9 марта из тумана, накрывшего Фин-

ский залив, вынырнула к острову Котлин пара запаленных лошадей, запряженных в крытую повозку. Разбрызгивая воду поверх ледового припая, этот незваный экипаж въехал на пляж неподалеку от форта Риф, расположенного на западной оконечности Котлина.

— Эй! Стой! — На подъезде к казармам форта пароконную повозку остановил часовой. — Кто такие?

Из повозки вылезли трое в меховых пальто и добротных шапках.

— Опусти штык, молодец, — сказал один из них, полнощекий, с закрученными усами, по виду непростой человек, из господ. — Мы не шпионы. Мы представляем русский Красный Крест.

— Чего? — не понял часовой.

— Проводи нас к своему командиру.

Командир форта, артиллерист из бывших унтер-офицеров, повертел в руках лист плотной бумаги, предъявленный усатым господином.

— Тут не по-русски написано, — прохрипел он прокуренным голосом.

— Да, по-английски. Видите? — Усатый ткнул пальцем в красный крестик в верхнем углу листа. — Мы уполномоченные Красного Креста в Финляндии. Прибыли с предложением продо-

вольственной помощи.

Командир форта, конечно, смекнул, что дело тут серьезное. Он крутанул ручку полевого телефона, вызвал штаб крепости и доложил дежурному о пришельцах. Вскоре из штаба прислали на Риф автомобиль. Ну да, понятно, дело срочное. Отъезжая, усатый господин попросил командира форта накормить возницу и напоить лошадей, дать им отдохнуть в тепле. Корм для них, торбы с овсом, в повозке имелся.

Пришельцев из Финляндии в штабе встретили как желанных гостей. Главного из них, дородного господина с закрученными седоватыми усами, к тому же и знали: это был барон Вилькен, бывший командир линкора «Севастополь». В отличие от Соловьянова и Козловского, Вилькен не принял советскую власть, не пошел в «военспецы» — в восемнадцатом году остался в Гельсингфорсе и вот теперь намеревался помочь восставшему Кронштадту.

Строго говоря, не русский Красный Крест представлял он, а американский. Объяснил штабным: когда Юденич пошел на Петроград, из Соединенных Штатов отправили ему в помощь груз продовольствия и медикаментов. Все это было закуплено их Красным Крестом и доставлено на

пароходе в Финляндию. Но Юденич потерпел поражение и убрался в Эстонию. А тот груз так и остался лежать на финских складах.

Теперь зависело от ревкома — принять помощь от буржуев или сказать твердое пролетарское «нет».

В одной из комнат ревкома, занимавшего помещение на Николаевской улице, Петриченко и несколько других ревкомовцев выслушали Вилькена.

— Мы сочувствуем вашей борьбе, — говорил барон. — Красный Крест готов предоставить Кронштадту помощь продовольствием и медикаментами. Готовы отправить груз конным обозом по льду из Териок и Келломяги.

— Спасибо. — Петриченко, прищурясь, глядел на холеное лицо неожиданного пришельца *оттуда.* — Помощь нам, конечно, очень даже нужна. Только… Знаете, господин Вилькен, мы не можем платить…

— Это бесплатная помощь.

— Не деньги имею в виду. Если шум поднимут на весь мир, что мы… ну, пошли на сговор с международным капиталом…

— Красный Крест — не международный капитал. Это организация помощи тем, кто голодает

и болеет.

— Я понимаю. Конечно, помощь… Нам надо посоветоваться в ревкоме. Обсудить с командами кораблей…

Тут распахнулась дверь, вошел коренастый усатый матрос, возгласил с порога:

— Степан! Опять не дошли ребята, кого я в Ораниенбаум послал с листовками, всех похватали!

Вдруг матрос увидел барона Вилькена. Его небритое лицо выразило крайнее изумление, брови взметнулись к околышу бескозырки. С языка едва не сорвалось привычное в дореволюционное время обращение «вашскородь»…

— Вижу, — кивнул ему Вилькен. — Вижу, что ты с «Севастополя». Старослужащий?

— Так точно. Гальванер Перепелкин Петр.

— Член Революционного комитета, — добавил Петриченко официальным тоном. — Мы обсудим ваше предложение, господин Вилькен, и дадим ответ.

— Прошу не затягивать, господин Петриченко, время дорого. Имейте в виду, что у нас нет разрешения правительства Финляндии. Премьер-министр Столберг не хочет нарушать мирный договор с Россией, подписанный в прошлом октябре, и поддерживать ваше восстание не будет.

Но имущество Красного Креста есть имущество Красного Креста, и на его по сути контрабандный вывоз правительство Финляндии посмотрит сквозь пальцы.

— Понятно, — сказал Петриченко. — Ответ вам дадим завтра к вечеру. Теперь о вашем размещении: как в штабе этот вопрос…

— Нам предложили ночлег в одной из комнат штаба. Но я бы хотел… — Вилькен взглянул на Перепелкина: — Кто теперь командир «Севастополя»?

— Врид командира — военмор Карпинский.

— Карпинский… Да, был такой лейтенант — кажется, плутонговый командир?

— Так точно. — Перепелкин кашлянул в кулак. — Если хотите у нас на линкоре ночевать, так я могу это дело в судовом комитете…

Весь день 10 марта обстреливала Кронштадт тяжелая артиллерия, с южного берега били прибывшие в Ораниенбаум два бронепоезда. Кронштадт отвечал башенными двенадцатидюймовками линкоров, тяжелыми пушками фортов. Грохотом, дымом, гарью наполнились улицы. Пожарные команды поливали загоревшиеся дома водой из брандспойтов.

А в ревкоме шли споры, потом и на делегатском

собрании, которое удалось, хотя и не полностью, созвать. Наконец, при неутихающей канонаде, санкционировали решение ревкома: помощь Красного Креста принять, но без политических обязательств. Барону Вилькену так и сказали Петриченко и Орешин: никаких политических обязательств — и желательно, чтобы доставка продовольствия производилась по возможности скрытно. И лишь одно условие выдвинул Вилькен: чтобы разрешили ему присутствовать при распределении продуктов населению и гарнизону. Его спутники в тот же вечер отправились обратно в Териоки, а он, Вилькен, остался.

В следующие три дня, а вернее, ночи конные обозы доставили в Кронштадт четыреста пудов продовольствия — муку, масло, консервы и прочие продукты, а также ящик папирос.

Тухачевский нервничал. Только что командующий Южной группой Седякин доложил, что войска группы не готовы выполнить приказ о сегодняшнем — в ночь с 14 на 15 марта — штурме Кронштадта.

— Как это — не готовы? — крикнул Тухачевский в трубку. — Что там у вас творится, черт бы вас побрал?!

— В трех полках двадцать седьмой дивизии

неспокойно, — сыпал скороговоркой Седякин. — Отказываются идти на лед…

— В каких полках?

— В Минском, Невельском и Оршанском.

— Не может быть! Я с этими полками брал Омск, наступал на Варшаву!

— Но это так, Михаил Николаич. Полки не хотят идти на лед. Тут начособотдела, он считает, что в полках действуют агитаторы, шептуны…

— Немедленно примите самые решительные меры, Александр Игнатьевич! Вплоть до разоружения полков! Агитаторов выловить и расстрелять! Вы отвечаете головой за скорейшее усмирение — ясно вам?

Тухачевский бросил трубку на рычаг телефонного аппарата. Наштарм Перемытов, сидевший рядом, вопрошающе взглянул на командарма, чье красивое лицо искажала злая гримаса.

— Отмените приказ о сегодняшнем штурме, Алексей Макарович, — сказал Тухачевский. — Тяжелым артдивизионам усилить обстрел Кронштадта. И какого черта, — добавил раздраженно, — спят воздухоплаватели? Прикажите им работать! Бомбить эти проклятые броненосцы!

— Нелетная погода, командарм, — сказал Перемытов.

Тухачевский пробормотал невнятное ругательство (от чего обычно воздерживался) и, закурив папиросу, вышел из штаба.

Ангел с крестом отрешенно плыл над Дворцовой площадью… нет, плыли беспросветные темно-серые, бурые, синие тучи над Петроградом…

Площадь была пустая. Только катила, грохоча колесами по обледеневшим торцам, телега с чем-то, накрытым брезентом. Возница, красноармеец в буденовке, взглянул на Тухачевского, стоявшего под аркой, и стеганул кнутом каурого конягу — тот мотнул головой, но не потянул быстрее.

Тухачевский курил нервными затяжками.

Нелетная погода, нелепая война…

Не хотелось думать о вчерашнем разговоре с Троцким, но мысли то и дело к нему возвращались. Он приехал вчера на Николаевский вокзал, где на укромной ветке стоял поезд Троцкого, прошел охрану, поднялся в вагон. Там уже сидели главком Каменев и, конечно, главный начальник Петрограда Зиновьев, и еще сидел в уголке молодой человек в морской форме… как его… да, Кожанов, только что назначенный командующим Балтфлотом. Он, Тухачевский, развернул на столе карту, стал докладывать обстановку: в Ора-

ниенбаум прибывают части 79-й бригады 27-й дивизии… 80-я бригада развернута… Бронепоезда и форт Краснофлотский держат мятежников под огнем… С аппаратов вчера сброшено на Кронштадт тысяча восемьдесят пять фунтов бомб…

— Михаил Николаевич, — прервал его Троцкий, — вы недопустимо затянули штурм. Оттепель… мм… съедает лед. Мы сделали все, чтобы создать на обоих берегах кулак, способный обрушиться на мятежников со всей мощью Красной армии. Мы не можем допустить, чтобы таяние льда вокруг Кронштадта остановило расправу.

— Я это понимаю, Лев Давыдыч, — ответил Тухачевский, держа обе руки на оперативной карте, будто зажимая остров Котлин мертвой хваткой. — И докладываю: штурм назначен на завтрашнюю ночь.

— На завтрашнюю ночь, — повторил Троцкий. Он прошелся по вагону, стуча каблуками, и остановился перед командармом, вскинул на него проницательный взгляд из-за стекол пенсне. — Так. Хорошо. Остается надеяться, что у вас не повторится конфуз ночи восьмого марта.

— Я тоже надеюсь, — сказал Тухачевский, складывая карту. И счел нужным добавить как бы в оправдание конфуза той ночи: — Хотя мы имеем

дело с первоклассной крепостью, оснащенной…

— Первоклассная крепость! Ну и что? Прошлой осенью нам уши прожужжали: «Не пройдете через неприступные твердыни Перекопского перешейка!» Так прошли же! Хотя вы были на другом фронте…

«Вот же змей подколодный, — подумал Тухачевский. — Не может не ужалить… А где ты был, когда я там, под Варшавой, требовал переброски подкреплений с Юго-Западного ко мне на Западный фронт? Они — Егоров со Сталиным — увязли под Львовом, а я-то был на направлении главного удара. Да-да, я бы взял Варшаву, если б получил подкрепления! И вы, Сергей Сергеич, это понимали, — мысленно обратился он к главкому Каменеву, — вы же отправили на Югозап директиву о передислокации войск, а они вашу директиву не выполнили… А Пилсудский не дурак — снял с-подо Львова крупные силы и ударил мне в тыл…»

Главком Каменев сидел — вот уж точная фамилия! — с каменным лицом, глядя в окно вагона. Побаивается председателя Реввоенсовета, — думал Тухачевский. — Боевой офицер, полком командовал в мировую войну. А перед этим оратором… крикуном… помалкивает. Н-да…

— Пройти по открытому ледовому полю под ураганным огнем, — сказал он сдержанно, — не легче, чем форсировать Сиваш. Но мы пройдем. Кронштадт будет взят.

— Будет взят завтрашней ночью, — отчеканил Троцкий. — Хорошо. Я передам эти ваши слова Владимиру Ильичу.

Снаружи донесся вскрик маневрового паровоза. Словно точку поставил.

— Есть сведения, — заговорил в своей быстрой манере Зиновьев, — что в Кронштадте у мятежников усилились раздоры. Я получил воззвание группы анархистов — предлагают вступить с Кронштадтом в переговоры…

— Никаких переговоров! — воскликнул Троцкий.

— Конечно. Я ответил отказом. Пресечены все попытки мятежников связаться со своими сторонниками в Петрограде. Но обстановка в Питере все еще плохая. Губчека раскрыла контрреволюционный заговор — большая группа бывших офицеров, во главе профессор из университета…

Разговор пошел о текущем моменте, о необходимости *изъятий,* о том, что скорейшее подавление кронштадтского мятежа несомненно отобьет у *этой публики* охоту бунтовать…

Троцкий вызвал служивого человека, велел подать чай. Но Тухачевский сослался на неотложные дела, откозырял и, выйдя из вагона, направился к своему автомобилю. Не до чаю ему было.

Теперь, стоя под аркой штаба, он курил папиросу за папиросой, с мыслями собирался. А они, мысли, возвращались к вчерашнему неприятному разговору. «„Недопустимо затянули штурм…“ Прекратите меня подгонять, товарищ Троцкий! Вот так надо было ответить… Хватит! В прошлом августе подгоняли — давай, давай, быстрее бери Варшаву! А результат? Растянутый фронт, недопустимое — да-да, вот что действительно недопустимо! — промедление с переброской подкреплений… обидное поражение… А теперь? Опять — давай быстрее, Тухачевский! А быстрота, верно сказано, при ловле блох она нужна…

Штурм, назначенный на сегодняшнюю ночь, отменен. Перенесем его на двое суток. Двух суток достаточно, чтобы навести порядок в полках Двадцать седьмой дивизии. Особисты выловят агитаторов, расстреляют два-три десятка — остальные как миленькие пойдут на лед. Седякин и Дыбенко наведут порядок. Итак, штурм — в ночь на семнадцатое.

Вы упомянули твердыни Перекопа, Лев Давидович? К вашему сведению: лед Финского залива еще тверже! Но я пройду. Я возьму Кронштадт!»

Щелчком отбросив окурок, Тухачевский быстрым шагом отправился к себе в штаб.

Григорий Хаханьян, двадцатипятилетний командир 79-й бригады, ранним утром брился в штабной комнате. Он, держа себя за нос, смотрел в круглое зеркальце, прислоненное к жестяной кружке, и вел скрипучее лезвие бритвы по намыленной худой щеке. Зеркало отражало беспокойный немигающий взгляд комбрига.

С того февральского дня, когда эшелоны с частями 79-й бригады, входящей в 27-ю дивизию, начали выгружаться на станции Лигово, беспокойство Хаханьяна нарастало все больше. Во всех трех полках — Минском, Невельском и Оршанском — раздавались недовольные голоса. Мол, идти по льду на Кронштадт — это ж все равно что на верную смерть… задача невыполнимая… Он, Хаханьян, и командиры и комиссары полков работали с людьми — говорили красноармейцам на общих собраниях, что лед крепок, опасности не больше, чем в обычном полевом наступлении, и вообще — «вам ли не знать, славным бойцам, что нету для Красной армии невыполнимых бое-

вых задач...» Но эти правильные слова — до всех ли бойцов доходили?

Да к тому же — и размещение. Привезли вчера бригаду сюда, в Ораниенбаум, распихали по казармам, а там, в казармах, грязно и холодно, с дровами плохо, служба тыла — ни к черту, даже кипятку вчера не было...

Только приступил Хаханьян ко второй щеке (тупая бритва плохо шла, со скрежетом), как в дверь стукнули, вошел Иван Тюленев, командир Минского полка. И — с порога:

— Григорий! Мой полк бунтует!

Хаханьян живо утер полотенцем недобритую щеку, натянул гимнастерку, шинель, а Тюленев тем временем бросал отрывисто:

— Со Смирновым мы их уговаривали... там крикуны... Мохов орет: «Нас сюда привезли, чтоб утопить!..» Я ему, гаду конопатому: «Заткнись! Не лепи провокацию!..» Орут, винтовки расхватали... Мы с Василием, да и ротные политруки, — останавливать их... Кто остановился, а другие...

Хаханьян затянул ремень с маузером на боку:

— Пошли!

Выбежали из здания старой офицерской школы на Александровскую улицу. Длинноногий Тюленев широко шагал, Хаханьян, ростом невысокий,

поспевал вприпрыжку. До Военного переулка добрались быстро. А там, у казарм, творилось неладное. Толпились красноармейцы всех трех полков, гомонили, кто-то голосистый орал: «Не пойдем на лед!» И еще были слышны истошные крики: «Утопить хотят, как котят!», «Братцы, айда в Петергоф! В Мартышкино! Восьмидесятую подымем!», «Рассыпемся по деревням!».

Опрометью кинулся Хаханьян за угол, в дом наробраза, где разместился штаб Оршанского полка, — к полевому телефону. Оттолкнул дежурного, крутанул ручку, вызвал командующего Южной группой. Седякин ответил резко:

— Мне уже доложили особисты. Как вы допустили такое разложение, комбриг? Немедленно построить полки! Мы с Дыбенко к вам выезжаем. Выполняйте!

Легко сказать — «построить». А как? Уже двинулись толпой за крикунами — неужели и впрямь поперли в Мартышкино, где стояли части 80-й бригады? Тюленев и военком его полка Василий Смирнов — делегат, между прочим, Десятого съезда — пытались остановить, орали… и другие командиры и политруки надсаживались… кто к сознательности взывал, а кто угрожал… Хаханьян руки раскинул, будто мог удержать от движения

огромную толпу, и кричал, срывая голос:

— Красноармейцы, стойте! Командующий приказал построиться! Он едет сюда! Чтоб выслушать вас… ваши претензии! Остановитесь, бойцы!

Его лицо со впалыми щеками (одна недобрита) было красное от сильного волнения: ну еще бы, не поздоровится ему за бунт в бригаде…

— Стойте! — орал он что было мочи. — Построиться на смотр!

Но, конечно, остановить поток вооруженных людей, выкрикивающих черт знает что, комбриг Хаханьян не мог. Он пятился под напором толпы, выхватил из кобуры маузер. Неизвестно, что бы тут еще произошло, но вдруг раздался тяжкий топот по булыжнику — из-за угла вытянулась тесная цепь с винтовками наизготовку — перегородили улицу — их командир, с прямоугольным, как скворечник, лицом, с наганом в руке, крикнул басом:

— Назад! Вернуться в казармы!

Гомон поутих. Умолкли крикуны. С полминуты стояли, с неприязнью глядя на цепь, загородившую дорогу — дорогу куда?..

Опять прокричал Хаханьян приказ построиться перед казармами. «Ладно, пошли, братцы, — раздались голоса. — Не ломиться же через них…

Командующий приедет, ему скажем...» Медленно, ворча и ругаясь, потекли назад. Захлопотали командиры полков, требуя построиться.

Строй получился неровный, не такой, как бывало перед смотром. Курили, переходили с места на место — и тут подъехал автомобиль. Вылезли из него командующий Южной группой Седякин в огромной белой папахе, черноборо-дый начальник сводной дивизии Дыбенко во флотской шинели и начполитотдела Южгруппы Милейковский — очень молодой, почти юноша с виду, со строго насупленными бровями. С ними приехал и еще один — мужичок среднего роста с неприметным, как круглая лужица талого снега, бритым лицом. Шинель на его плотной фигуре была туго перетянута ремнями.

Быстро подойдя к строю, Седякин выкрикнул:

— Здравствуйте, красноармейцы!

Ответило ему не мощное, как положено, «здрасть!», а несколько, ну десятка два, голосов. Все тут шло не по правилам, наперекосяк. Нахмурился Седякин. Дыбенко шагнул к строю, тронул усы и вдруг закричал, задрав бороду:

— Бойцы! Как же вы можете? В Кронштадте белогвардейский мятеж, рабочие и крестьяне всего мира смотрят на нас, ждут, когда мы уда-

рим! Когда шею свернем предателям мирового пролетарского дела! А вы — как же вы, красные бойцы, испугались? Где ваш революционный долг? Где совесть…

— Хватит! — прервал его голосистый долговязый армеец с юным лицом, обсыпанным веснушками. — Наслушались ваших речей! Надоело!

И сразу — взрыв голосов:

— Чего совестишь?.. Какие предатели?.. Там, в Кронштадте, наши братья!.. Не пойдем на лед!.. Горячей пищи второй день не даете!.. Вы с ними, кто в Кронштадте, разговаривайте, а нас под снаряды не кидайте!.. Не пойдем, чтоб утонуть!..

— Не слушайте провокаторов! — закричал Дыбенко далеко слышным голосом.

А Седякин — тоже в полную силу:

— Минский, Невельский, Оршанский! Приказываю сложить оружие! Разоружить!

Последнее приказание было отдано батальону курсантов, который загородил дорогу бунтовщикам. Цепь, тесно сомкнутая, угрожающе надвинулась…

Нет, не сопротивлялись те полки. Благоразумно, без единого выстрела подчинились. Побросали винтовки и подсумки. Вот и все… будь

что будет…

А мужичок с неприметным лицом — срочно назначенный председатель Чрезвычайной революционной тройки Александр Николаев — приступил к действиям немедленным и устрашающим. В казармах появились его люди — быстроглазые немногословные сотрудники особого отдела охраны финляндской границы республики. И стали *изымать*. То есть арестовывать тех, кто громче других кричал «не пойдем на лед!», кто, можно сказать, взбаламутил полки 79-й бригады. На них указали сознательные, партийные красноармейцы, ну и, само собой, политруки рот. Их обозвали «провокаторами», «шкурниками» и даже «наймитами белогвардейского генерала Козловского».

Одним из первых арестовали долговязого красноармейца, на бледном лице которого вдруг ярче прежнего проступили веснушки — будто шляпки гвоздей. Когда парня уводили из казармы, он сбил армейскую папаху к тощему затылку и крикнул:

— Прощайте, братцы! Эх, напишите Моховой Катерине Васильевне — деревня Рябово, Гдовского уезда, — напишите, что ее сыночек Костя погиб за то, что…

— А ну, заткнись, длинный! — Один из конвои-

ров ткнул его прикладом в спину.

— За то, что правду хотел! — докричал уводимый Костя Мохов.

Аресты в Минском и Невельском полках, отчасти и в Оршанском, шли весь день 14 марта. В два часа пополудни приехали полевые кухни, и был, значит, выдан горячий обед. И между прочим, откуда-то привезли дрова, натопили печи в казармах. Комиссары объясняли на собраниях положение в республике и вред от белогвардейского мятежа в Кронштадте; красноармейцы хмуро слушали, поглядывали в окна, за которыми, надо же, зашумел дождь (весна все-таки подступала, хоть и медленно). А батальон курсантов, торчавший у казарм, увели. Только в памяти осталось — как они, красные курсанты, шли тесной цепью с наставленными винтовками.

К полудню 15 марта кончились аресты.

Председатель Чрезвычайной тройки Николаев докладывал в рапорте своему начальству:

«В силу того, что воинские части, предназначенные для наступления на Кронштадт, разлагались с чрезвычайной быстротой, причины к этому являлись: агитация против „комиссародержавия“, материально-продовольственное положение, „страсти“ о наступлении на Кронштадт, что кре-

пость неприступная не только потому, что она хорошо вооружена, но и потому, что кругом ея обломан лед и пешим туда идти нельзя — все равно утонут и т. д… Удержаться от применения репрессивных воздействий было невозможно, к чему и было приступлено. Восставшие полки были силой оружия и отчасти увещеванием о том, что все будет прощено, обезоружены курсантами, после чего благодаря своевременному пребыванию сотрудников Особого Отдела, в момент восстания работавших в среде восставших как „свои“, удалось выхватить зачинщиков в количестве ста с небольшим человек, из которых 74 человека расстреляно Тройкой; остальные освобождены… После прочтения приговора и учтя его действия на команды, в положительном смысле для наступления, разоруженные полки были вновь вооружены и поклялись искупить свою вину взятием Кронштадта…»

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
7–Й АРМИИ ТУХАЧЕВСКОГО

№ 11/015
Петроград, 15 марта 1921 года
Тяжелое впечатление произвело на меня вчерашнее преступное митингование

Славных и Победоносных Минского и Невельского полков.

Советская власть разоружением и арестом этих полков показала, что в Красной Армии она не допустит ни отсутствия дисциплины, ни измены.

Все провокаторы и шептуны жестоко поплатились за свою контрреволюционную деятельность.

Теперь, когда обманутые ими герои просят дать им возможность взятием Кронштадта искупить свою вину перед рабочими и крестьянами Советской России, приказываю:

Возвратить Минскому и Невельскому полкам их оружие и Революционные знамена.

Я уверен и надеюсь, что вновь увижу героями своих старых боевых друзей, с которыми вместе мы брали Челябинск и Омск и с которыми вместе наступали на Варшаву.

Вперед! На штурм изменников Кронштадта!

Командующий 7-й Армией М. Тухачевский
Наштарм А. Перемытов

Радиограмма

Временного Революционного Комитета Кронштадта

Петроградскому Совету

16 марта Ораниенбаум начал обстреливать мирное население Кронштадта.

Несколько снарядов упало в районе госпиталя и контузило служащую в нем Елизавету Михайлову, убит гражданин Иван Ошанин и ранен рабочий Петр Теренков.

В ответ на это наше командование отдало приказ открыть огонь из тяжелых орудий по Ораниенбаумскому берегу.

Результаты нашего обстрела хорошо известны Петросовету: сожжен Ольгинский лесопильный завод, возникли большие пожары в Ижоре и Ораниенбауме, взорвана спасательная станция, подбит бронепоезд и пр.

Временный Революционный Комитет

Кронштадта предупреждает Петросовет, что варварским расстрелом мирного населения – детей, женщин и рабочих – он не добьется никаких уступок, и если еще один только снаряд разорвется в городе, – Кронштадт снимает с себя ответственность за последствия, сумеет показать свою мощь в полной мере.

Настоящее радио просим огласить на общем собрании Петросовета.

Временный Революционный Комитет Кронштадта.

С двух часов дня 16 марта артобстрел Кронштадта резко усилился. С северного и южного берегов били батареи и бронепоезда, посылал тяжелые снаряды форт Краснофлотский (он же — Красная Горка). Пошел на десятки счет убитых жителей, а раненых — может, на сотни. Тут и там горело, дымило, лошади пожарных команд пугались, не шли в задымленные улицы, возницы в касках материли и нахлестывали их.

Линкоры и форты отвечали огнем тяжелых орудий. В воспаленном небе свистели и рокотали несущиеся в противоположных направлениях снаряды. Суша и море содрогались от грохота

взрывов. Люди и звери попрятались в укрытия. Даже птицы исчезли, не видно было чаек, вечно круживших над Маркизовой лужей в поисках корма.

Никак не могла остановиться, разгулялась по измученной России война.

— А я что слышал, братцы, — говорит наводчик Осокин по прозвищу Обжора, ссутулившийся у замка левого орудия. — В Москве партейный съезд продотряды отменил. Значить, у крестьянина отбирать зерно не будут, только налог плати, а если хлеб или что там осталóсь, так вези в город на базар и продавай.

— Ты бы помолчал, Осокин, — бросает командир башни Лесников, сидящий у перископа.

У них передышка. Час десять минут башня работала, била по целям, даваемым старшим артиллеристом линкора (а тот получал целеуказания из штаба крепости). Теперь, значит, передышка. Батареи противника продолжали обстрел, и несколько снарядов рвануло в опасной близости у бортов «Петропавловска». Но башенные орудия линкора раскалились от долгой работы, надо дать им остыть. И отдохнуть — комендорам.

Душно в башне. Замки орудий, горячие от вос-

пламенений пороха, источают жар. Гальванер Терентий Кузнецов уселся на металлическую палубу, спиной к стенке, ноги вытянул. Покурить бы! Но в башне курить нельзя. А отбоя боевой тревоги — нет.

— Да я бы помолчал, командир, — говорит Осокин своим бабьим голосом, — если бы не текучий момент.

— Текущий, — хмурится Лесников.

— Мы чего хотели? — Лицо Осокина, побитое оспой, влажно блестит в желтой духоте башни. — Чтоб у крестьян не отнимали, так? Чтоб заградотряды убрали. Ну-тк убрали же. И отнимать хлеб не будут. Что ж тогда палить — они в нас, мы в них?

— Будут отнимать или нет — неизвестно. — Лесников морщится то ли от этой неизвестности, то ли от духоты. — Так что помолчи.

Но Осокин разве умеет помалкивать?

— Что я слышал, братцы, — продолжает он молоть. — Наши снаряды не все разрываются. Которые разрываются, а которые только лед пробивают и утупают…

— «Утупают»! — передразнивает Лесников. — Заткнись, Осокин.

Эти разговоры о партийном съезде, отменив-

шем продразверстку, Терентий уже слышал. Машинист Воронков, Кондрашов из боцманской команды, да и не только они, шуршат по кубрикам: «Съезд, съезд… кончили разверстку… облегчение объявили… пора и нам кончать бузу…» А как ее кончишь, коли не идут большевики на разговор… Они, Воронков с Кондрашовым и их дружки, известно, коммунисты… А Осокин — ему лишь бы языком потрепать…

Терентий закрывает глаза. Вот бы приспнуть минут шестьдесят… и увидеть в сладком сне девочку Капу… княжну Джахаваху… как она, прильнув к нему, мурлычет про любовь…

Лишь поздним вечером сыграли на линкоре отбой тревоги. Умолкли пушки с обеих сторон. Комендоры высыпали из башен в темную и сырую, туманом подернутую ночь. Воздух наконец-то вдохнули в стесненную грудь. В кубриках на столах чайники вскипяченные их ожидали — напились комендоры чаю с рафинадом, — спасибо, значит, судовому комитету за полночную заботу.

Теперь — ну что теперь — поспать бы до утра.

Но не вышло.

В середине ночи, в четвертом часу, колокола громкого боя опять подняли на ноги экипаж «Петропавловска».

Штурм начался в 2 часа 45 минут, когда части северной группы пошли в наступление на форты. Шли трудно, в иных местах чуть не по колено проваливаясь в ледяную воду. Туман прикрывал их медленное движение. Хоть бы не рассеялся…

В три часа ночи сошла на лед и двинулась к Котлину южная группа. В белых маскхалатах шли, хлюпая по воде, и была надежда, что туман поможет, не даст противнику разглядеть их на открытом ледовом поле.

Но прожекторы с фортов и с котлинского берега шарили по льду и не то чтобы прожгли туманную завесу, а словно споткнулись об нее: их длинные бледные лучи задрожали и стали останавливаться на тяжело идущих цепях. Прожектористы вглядывались.

Громом артиллерии, свистом летящих снарядов наполнилась ночь.

Огонь обрушился с перелетом. Туман, наверное, искажал панораму. Разрывы грохотали, рвали лед за последними шеренгами 32-й и 187-й бригад, движущихся к кронштадтской Военной гавани, к Петроградским воротам. Чуть ли не до цепей заградительного отряда, вытянутых на льду, доставал огонь. Но вот снаряды стали разрываться в гуще штурмующих войск. Цепи рассыпались,

движение замедлилось — падали убитые, стонали и корчились на льду раненые, кричали командиры и комиссары: «Вперед! Вперед!»

Кровью, туманом, огнем, ледяной водой захлебывалось наступление. Командарм Тухачевский кричал в телефонную трубку Седякину: «Не ослаблять натиск! Вводи сто шестьдесят седьмую!» И шла на лед, на помощь редеющим частям, 167-я бригада.

Огонь линкоров очень мешал продвигаться и южной, и северной группам. Разъяренный Тухачевский прокричал приказ инспектарму артиллерии: «Приготовиться атаковать линкоры „Петропавловск“ и „Севастополь“ удушливыми газами!»

79-я бригада наступала левее 32-й бригады — имела боевой задачей захват южных фортов. Ее провинившиеся «преступным митингованием» полки искупали вину кровью. Неся большие потери, 79-я взяла 1-й и 2-й южные форты. Комбриг Хаханьян, охрипший, продрогший, жаждущий боевого успеха, повел поредевшие полки дальше — на форт Милютин.

Вспышки огня, обвальный грохот, черные дыры в полосах тумана, черные полыньи на пробитом снарядами льду. Стоны многочисленных

раненых. Яростные крики командиров: «Вперед! Не отставать! Вперед!»

В шесть утра с минутами уцелевшие на льду части 32-й и 187-й бригад ворвались в Кронштадт. Встреченные пулеметным и артогнем, залегли. Завязался долгий бой у Петроградских ворот, на восточных улицах города.

Тем временем части Северной группы заняли форт номер семь, а к восьми часам утра — и номер шестой. Отдельный батальон двинулся в обход фортов к Котлину, к северным улицам Кронштадта, а остальная часть группы направилась к фортам пять и четыре. Продвижение шло медленно, тяжелые батареи Тотлебена и Обручева (форт Красноармейский) крушили лед, опустошали наступающие цепи. Из резерва был направлен на помощь севгруппе курсантский полк. Наконец к двум часам дня группа ценой больших потерь овладела северными номерными фортами. Их орудия — те, что оказались исправны, — были развернуты и открыли огонь по фортам Красноармейскому и Тотлебен.

Командарм Тухачевский приказывал «решительно развить первоначальный успех штурма… сегодня же окончательно завладеть городом и ввести в нем железный порядок…».

Но «завладение» Кронштадтом шло чрезвычайно тяжело. Сводные команды матросов с кораблей, из школ учебного отряда и сухопутные части крепости сопротивлялись натиску «Тухача» изо всех сил: отступать-то было некуда. У Петроградских ворот, в восточной части Петровской улицы, на Богоявленской, Песочной, Большой Екатерининской продвижение штурмующих полков было надолго остановлено. Били пулеметы, вели винтовочный огонь чуть ли не из всех дворов, из окон. Из резерва Седякин бросил в бой 80-ю бригаду и кавалерийский полк.

Заволокло дымом, оглушило грохотом оружия мятежный город Кронштадт.

Потери были огромные. Военком 79-й бригады докладывал, что полки бригады проявили выдающийся героизм, что «в строю осталось $^{1}/_{2}$ состава штыков. Выбыло $^{4}/_{5}$ комсостава, $^{2}/_{3}$ комиссарского состава».

Из Ораниенбаума на обозных лошадях, на подводах, доставляли штурмующим полкам боеприпасы и продовольствие — хлеб, консервы, остывший чай в котелках. На обратном пути обозные подбирали со льда раненых и убитых. Но разве подберешь всех, кого огонь разбросал на смертных верстах?

А день клонился к вечеру, и все яснее становилось штабу обороны, что положение — катастрофическое. Переутомленность защитников крепости в непрерывных боях явно нарастает, резервы исчерпаны, идут доклады о порче многих орудий от огромного числа выстрелов. Конечно, переутомлены и штурмующие войска, но к ним прибывают свежие силы, их численный перевес очевиден.

Кронштадт — не удержать…

Что же делать? Сражаться до последнего патрона и пасть в уличном бою к ногам красноармейцев? Быть захваченным в плен, что означает неминуемый расстрел и гниение в яме общей могилы?

Нет. Штаб принимает труднейшее решение: всем составом бойцов, обороняющих Кронштадт, интернироваться в Финляндию.

— Я не приму участие в бегстве, — сказал Козловский.

— Это не бегство, Александр Николаевич, — возразил Соловьянов, дымя папиросой. — Это отступление.

— И вы думаете, финны встретят массу беженцев с улыбкой?

— Улыбок не будет. Интернирование — это

трудная жизнь по законам военного времени. Но — жизнь. Мы предъявим финнам официальное обращение к коменданту Карельского военного сектора. С изложением мотивов, вынудивших нас к переходу границы. Это обращение подпишете вы.

— Я всего лишь начальник артиллерии Кронштадта.

— Нет, Александр Николаевич. Так получилось, что вы объявлены вождем восстания…

— Нет никакого вождя! — резко сказал Козловский. — Есть самозваный ревком во главе с матросом Петриченко. А мы согласились с ним сотрудничать, потому что…

— Перестаньте! — Соловьянов ткнул в пепельницу недокуренную папиросу. — Восстание связано с вашим именем. Да, указали на вас большевики, но так получилось, что во всем мире… Ну, сами знаете! — сказал он раздраженно. — Так сложилась у вас судьба.

— Судьба… — Козловский отвернулся к окну, за которым угасал расстрелянный день. Отчетливо доносились снаружи пулеметные строчки. — Не надо про судьбу… Есть давно известное средство против любой судьбы…

— Не имеете права! — выкрикнул Соловья-

нов. И — после недолгой паузы: — Александр Николаевич, вы не можете уйти от своей ответственности. Тысячи людей перейдут границу. Финские власти не захотят вести переговоры с матросами. А с вами — будут. Именно с вами.

Козловский потер глаза, красные от затяжного недосыпания. Потеребил седую бородку.

— Вот что, — сказал негромко. — Вы не должны думать, что напомнили мне об ответственности.

— Конечно! Я вовсе не…

— Давайте о деталях. Движение надо начать, когда стемнеет. Ехать к форту Риф… Как у нас с лошадьми?

— Транспортный обоз крепости может дать триста лошадей с повозками.

— Вы думаете, Евгений Николаевич, этого хватит?

— Невозможно предусмотреть, сколько будет беженцев. Скорее всего, не хватит. Кто-то пойдет пешком.

— От форта Риф по льду до Териоки — тридцать с чем-то верст.

— Да, но что же делать? От Рифа до форта Обручев ледовая дорога накатанная. А дальше, к финскому берегу, придется по торосам, по сугробам. Иного пути исхода нет.

— Исход, — сказал Козловский. Постучал пальцем по карте, расстеленной на столе. — Да, это лучше звучит, чем бегство. С ревкомом вы его… исход… согласовали?

— Они согласились. Понимают, что другого выхода нет. Александр Николаевич, дайте команду артиллерии прекратить работу в течение двух часов. Не позднее девятнадцати прикажите взорвать замки башенных орудий на линкорах. В двадцать ноль-ноль начнем движение с Нарвской площади, туда будут поданы повозки.

Удушливые газы, которыми командарм Тухачевский хотел атаковать мятежные линкоры, не понадобились.

Все четыре башни «Петропавловска» умолкли. Длинные стволы двенадцатидюймовок остывали в сгущающейся темноте вечера. Они сделали свое дело — надолго задержали штурмующие части на восточной оконечности Кронштадта. И похоже, больше не были нужны.

Командир первой башни Лесников, выслушав последнее приказание старшарта, медленно вдвинул телефонную трубку в зажимы. Он был озадачен… поражен страшным приказом… Зачем-то опустил ремешок фуражки под узкий подбородок, поросший мягкой белокурой бо-

родкой.

— Ну что будем делать, командир? — спросил Терентий Кузнецов.

Лесников обвел взглядом комендоров. Тут, в тесном боевом отделении, вся башня собралась, — из перегрузочного, из погреба поднялись сюда военморы. Глаза у всех разные, но во всех — беспокойство.

— Приказано… — Лесников прокашлялся. — Приказано взорвать замки орудий…

— Это как?! — ахнули, присвистнули, заговорили разом: — Как это — взорвать?.. Линкор не телега, чтоб его раскурочить… Ну правильно — чтоб большевикам не достался… Чего, чего правильно?!

Наводчик Осокин вопил бабьим голосом:

— Нельзя взрывать! Линкор — народное имущество!

— Да не ори, Осокин, — морщился, как от зубной боли, Лесников. — Я приказ не досказал. Взорвать замки и уходить. Покинуть корабль.

— Куда уходить?!

— К форту Риф. А оттуда по льду — в Финляндию.

Чуть не сотряс башню общий выкрик:

— Чиво-о-о?!

Маврина, Маврина найти! С этой мыслью, бьющейся в висках, бежал-бродил Терентий по холодным помещениям линкора. Этот Маврин, Павел, дальномерщик, в судовом комитете был самой умной головой. Вот как он, Маврин, скажет, так тому и быть: остаться на корабле и ждать — что будет, то и будет, — или бежать…

Куда бежать — в Финляндию?.. Чужая страна, чужой язык — как там жить? Кому ты там нужен, беглый русский матрос?..

Нету Маврина в его кубрике. Куда подевался? Терентий выскочил на верхнюю палубу. А там — между фок-мачтой и второй башней — толпятся, кричат, да чуть не драка. Подбежал Терентий, увидел: сцепились Зиновий Бруль и машинист Воронков. Бруль, второй артиллерист линкора, ухватил ручищами Воронкова за ворот бушлата, а тот, маленький и юркий, вырывался и орал простуженным голосом:

— Ты рук не распускай! Твой дружок Петриченко сбежал, так его мать, а тебя мы не пустим! Не уйдешь от трибунала!

— Насрал я на твой трибунал! — гремел Бруль. — Да кто ты такой, штоб на корабле командовать?

— А вот и командую! — Воронков напрягся, от-

бросил руки Бруля. — Командир линкора сбежал, старпом и старшарт смылись, а вас, которые по Красной армии стреляли, мы под арест берем!

И подступили к Брулю несколько военморов, в их числе и Кондрашов из боцманской команды, ростом с оглоблю, — ну, понятно, коммунисты корабельные тихо сидели, когда восстал Кронштадт, а теперь…

— Но-но! — неслось из свалки, вперемешку с матюгами. — Руки!.. По морде получишь, новый комиссар!.. А пулю в лоб не хошь?!. Убери руки, гад!.. Всех вас, стреляльщиков, — к стенке!.. Вон еще один стоит, из судового комитета!..

Это уже к нему, Терентию, относилось. Он не стал ждать, когда за ворот схватят, — быстро отступил в тень башни и — бегом в свой кубрик.

В висках у него колотилось тревожно. Маврина нет, сбежал, наверно, Маврин… Весь судовой комитет съехал, один он, Терентий, застрял на корабле… ну и Бруль еще, тоже член комитета… Бруль малой артиллерией командовал, палил в Красную армию из стодвадцатимиллиметровых пушек. А он-то, Терентий, какой стреляльщик?.. Ну, ток подавал к моторам… к орудиям, к зарядникам — за это к стенке?!.

Вниз по трапу в полутемный кубрик, а навстре-

чу — Юхан Сильд с парусиновым чемоданом в руке.

— Яша! — обрадовался Терентий. — Ты уходишь? Обожди пять минут, вместе пойдем!

— Ну, давай быстро. — У Сильда под надвинутой на брови шапкой глаза будто белым огнем горели. Он на себя был непохож.

У Терентия чемодана из парусины нет. Быстро покидал в вещмешок скудное свое имущество — фланелевку и брюки первого срока, тельники, трусы, носки, пачку газет «Известия ВРК» сунул — и к трапу. Прощай, кубрик, дорогуша-кубарь с вечным твоим шумом, гамом, храпом, с подвесными койками, с твоими беспокойными снами. Прости-прощай, линейный корабль «Петропавловск»!

Быстро зашагали к сходне.

— Ваш Воронков, он же, как ты, машинист, вот он объявил себя комиссаром, — сказал Терентий.

Сильд не ответил.

— Хочет сдать линкор большевикам.

Сильд буркнул неразборчиво — ругнулся, наверное, по-эстонски.

У сходни заминка. Десятка полтора военморов тут столпились — вооруженная вахта загородила им дорогу, не пускала на трап. Препирались,

матерились, вахтенные орали, что не велено сходить на берег. Угрожали:

— Стрелять будем!

Но обошлось без стрельбы — вахтенных отпихнули, сбили с ног, и загрохотали по сходне башмаки-говнодавы.

Скорым шагом — к Нарвской площади. Со стороны Петроградских ворот несется стрельба, тяжелый разговор пулеметов. Уже и в Военной гавани, во дворах Пароходного завода идет бой.

«Где-то Сережка Елистратов? — влетела Терентию в голову беспокойная мысль». Брательник, живой ты? Лекпом не стреляет, лекпом раненых перевязывает… но когда вокруг стрельба, то…»

Туман опускается на Кронштадт, но, похоже, бой не дает туману сгуститься в улицах, в гаванях… огонь нескончаемого боя рвет туманное одеяло на полосы… Пульсирует огнем расстрелянное небо…

— Яша, ты ж не артиллерист… Тебя не тронут… Почему уходишь в Финляндию?

Юхан Сильд бросает на Терентия быстрый взгляд.

— Почему, почему… Они что, спрашивать будут?.. Кого поймают, того… А финны к нам, эстонцам, ро́дники…

— Родственники?

— Да… Зачем ты… почему стоишь?

Терентий, перейдя канал, остановился на углу Соборной, то есть Карла Маркса. Нарвская площадь — вот она, в десяти шагах, там черная толпа, колыхание в тумане, лошади, повозки. Но Терентий протягивает Сильду руку:

— Ты иди, Яша. Я потом… мне зайти надо… Счастливо, Яша! Будь жив!

К Редкозубовым ночью, под утро, чуть не влетел в окно снаряд. Рвануло в канале, и еще, и на улице под самым окном — шальной осколок ударил в стекло одной из рам — оно со звоном разлетелось по комнате — ладно хоть, что никого не порезало. Капа с визгом кинулась в дальний угол комнаты, села на пол, съежилась, босая, в длинной ночной рубашке. Таисия Петровна, тоже в ночном платье, крестилась, бормотала молитву. Федор Матвеевич, в трусах по колено, стоял твердо перед разбитым окном, матерился сквозь зубы, соображал, где взять стекло, или, может, просто досками заколотить…

А канонада нарастала, вот и линкоры ударили, а когда бьют их двенадцатидюймовки, в Кронштадте сильное сотрясение воздуха и земли. И воют от страха собаки.

По работе артиллерии Редкозубов пытался понять, что происходит. Ясно было: Ленин с Троцким хотят вконец подавить восставших матросов, по Кронштадту садит тяжелыми Красная Горка, а калибром поменьше бьют батареи из Сестрорецка и Рамбова, бронепоезда тож. А по ним лупят в ответ форты и линкоры. «Ну, охренели все! Чего не поделили — власть? Да подавитесь вы своей властью! Людям от вашей драки кушать нечего — понятно, нет?» Вчера он, Федор Матвеевич, пошел паек получить, под обстрел попал, лежал, прижавшись боком к стене Гостиного Двора; ну, обошлось, встал, отряхнулся, сунулся к пункту выдачи — а он закрыт!

Хорошо, что у Таси в загашнике перловая сечка, — ею и питались вчера. И сегодня тоже — сечка и чай. И привет от Тухачевского. Сплошная, в общем, тухасечка.

С ночи как начали (вон, стекло разбито, Капка напугана, скулит в углу), так и идет, — значит, штурм. Пушки не умолкают. Он, Редкозубов, различил даже: в южной стороне работают «канэ» — шестидюймовки, которые он в начале германской войны поставил на форту «Милютин». Хорошие пушки, шесть штук.

Утром хотел сходить к Гостиному Двору —

может, начали паек выдавать, — но Таисия Петровна умолила не вылезать из дому. Какой паек?! Стрельба уже в городе — к Петроградским воротам, наверно, со льда прорвались.

Сиди и жуй опостылевшую перловку.

Капа места себе не находила. Бродила по комнатам, ладонями уши закрывала от грома пушек линкоров. Воображала, как Терентий, Терёша, заряжает эти пушки (знала, что он артиллерист, но не представляла подробностей его работы). Давно они не виделись — как началась стрельба, так и перестали отпускать военморов с кораблей в город. А ей, Капе, очень хотелось Терёшу увидеть. Да и не только увидеть — было о чем поговорить.

С мамой повести разговор о том, что ее вот уж неделю тревожило, Капа не решалась. Видела, как мать обеспокоена. Как она бормочет молитвы и крестится, уставясь на угол, в котором раньше висела икона. Эту потемневшую от времени икону отец снял года два назад… или три уже?.. ну, когда объявили, что Бога нет, а религия — опиум, придуманный эк… плук… ну, угнетателями народа… Что такое опиум, Капа не знала. Но очень было жалко маму: как она плакала, когда отец собственноручно снял икону из угла, в ко-

тором она сто лет висела! Вон, обои на стенах кругом выцвели, а под бывшей иконой они как новенькие… такой коричневый квадрат… «Что поделаешь? — сказал тогда отец. — Не плачь, Тася. Надо сполнять, что власть приказывает».

Власть — она всегда со стрельбой. За нее всегда дерутся — разве не так? Вон — захотели в Кронштадте власть поменять, «третью революцию» сделали, как Терёша говорил, чтобы в совете не одни только коммунисты сидели. Так нельзя! Целая армия, говорят, по льду пошла на Кронштадт — и вот стрельба…

Весь день стрельба не умолкала. К вечеру усилилась и вроде приблизилась. Сквозь разбитое окно в комнату втекал холод. Федор Матвеевич завесил окно старым одеялом, но все равно было холодно. И электричества не давали.

Зажгли керосиновую лампу. Света от нее было, казалось, меньше, чем теней. Редкозубов ватную куртку надел, а женщины закутались в шерстяные кофты. Сидели в полутьме, слушали стук пулеметов. Ждали… А чего ждали?

— Что же будет, Федя? — спросила Таисия Петровна.

— Не знаю. — Он подумал и добавил: — Что будет, то и будет.

Молчали. Слушали.

— Летом Клава звала к ним в Шую, — сказала Таисия Петровна. — Вот и надо было поехать. — Она вздохнула.

— Ну и что там в Шуе? Пироги с капустой? Голь перекатная… У них Шуя, а нам… — Редкозубов удержался от окончания фразы.

Капа подумала: да, жалко, что не поехали. Тетя Клава, мамина сестра, добрая… своих детей нету, так она к ней, Капе, как к дочери… Ездили в Шую однажды, она, Капа, совсем маленькая была. Тети-Клавин муж, машинист, как-то раз привел ее на станцию и поднял в паровоз, показал там все, она потрогала блестящие ручки — интересно!

Только Капа вспомнила шуйский паровоз, как раздался стук в дверь. Кто-то стучался с улицы. Федор Матвеевич встал, пошел было открывать, но Таисия вскрикнула:

— Нет! Не ходи, Федя! Мало ли кто там…

А стук усилился — кулаком, что ли, бухали в дверь.

Капе вдруг в голову будто стукнуло — сорвалась, бросилась из комнаты, мать не успела удержать. Темным коридором пробежала Капа, ключ повернула, засов отодвинула, распахнула дверь — и кинулась с криком «Терёша!» в его

объятия.

Терентий целовал ее, целовал. Крепко держал — словно в спасательный круг вцепился.

Редкозубов с лампой в руке выбежал в коридор, а за ним Таисия.

— Вот какой гость! А ну, зайди! — крикнул Федор Матвеевич. — Хватит целоваться!

Вошли в комнату. Терентий огляделся, будто опасаясь чего-то.

— Ну? — Федор Матвеевич поставил лампу на стол. — Чего дышишь? Гнались, что ли, за тобой?

— Никто не гнался…

Терентий только на Капу смотрел, только ее видел. А Капу мать за плечи обхватила: оборонялa своенравную девочку от неясных угроз — от войны, от стрельбы за окном, да и от военмора этого, с непозволительными его поцелуями…

— Кончилась ваша буза? — вопросил Редкозубов. — А? Побунтовали, коммуну прогнали. А она со льда пришла и хвать вас за жопу! А? Чего молчишь?

Терентий выпрямил позвоночник и, пройдясь мрачным взглядом по Редкозубову, сказал, будто выталкивая из горла трудные слова:

— Где вы коммуну видели? Расстрелы только… отбираловка… вобла вонючая… Не буза была —

хотели, чтоб жизнь по правде… Они с нами говорить не схотели… Лед кровью залили…

Помолчали немного. Неутомимо стучали за окном пулеметы. Редкозубов трехпалой десницей потеребил волосы на макушке.

— Ну? — спросил тихо. — Что ж теперь будет?

— А то и будет, что было. — Терентий опять на Капу уставился. — Расстреливать будут. А я… ну не хочу к стенке… Ухожу… Вот, проститься пришел…

— Куда уходишь?

— В Финляндию… больше некуда…

— Терё-о-оша! — вскрикнула Капа.

Вырвалась из рук матери, бросилась к Терентию. Со всей нежностью, на какую был способен, он целовал ее, плачущую.

Родители смотрели, оцепенев.

— Прости, — проговорил Терентий сдавленным от горя голосом. — И вы простите… Счастливо оставаться…

Поправил вещмешок за плечами, шагнул к двери.

— Обожди! — крикнула Капа.

Метнулась в смежную комнату, принесла оттуда фотокарточку на твердом картоне.

— Вот… возьми… на память, — сказала сквозь

слезы.

Надвигалась ночь. Уже почти сутки шел штурм Кронштадтской крепости. Переутомленность обеих сторон была страшная. Бой то затихал, захлебывались пулеметы на углах улиц, то вспыхивал вновь. Ожесточение рвалось огнем из раскаленных пулеметных стволов. Ненависть обрушивалась осколками снарядов и ручных гранат.

Никак не могла остановиться разгулявшаяся по России война своих против своих.

Но силы — количество штыков и стволов — были неравны. Штурмующие медленно продвигались, выбивая, вытесняя оборону с улиц, простреленных насквозь. В десятом часу вечера мятежные пехотинцы и матросы сводных команд бросились в отчаянную контратаку — на Угольной площадке начался смертный бой. Последний бой восставшего Кронштадта против беспощадного к нему государства.

А в это самое время выезжали из Кронштадтских ворот и, трясясь на ухабах и наплывах льда грунтовой дороги, ехали к форту Риф, что на западной оконечности Котлина, подводы с беженцами. Уезжали главные люди восстания — члены Революционного комитета, командиры из

штаба крепости, военморы с «Петропавловска» (немногие) и «Севастополя» (еще меньше), из береговых частей, артиллеристы, бежавшие с захваченных фортов, а также многие «простые» люди — жители города, по разным причинам опасавшиеся репрессий. На подводах далеко не всем хватило мест — тянулась к Рифу длинная вереница пеших беженцев. И уже близ форта съезжали на лед конные повозки, наполненные мрачными молчаливыми людьми в бушлатах, серых шинелях, «гражданских» пальто. Были среди них и женщины, и дети.

Тысячи людей из Кронштадта уходили по льду в неизвестность, в другую жизнь.

А на Угольной площадке гремел смертный бой. Красные бойцы выдержали атаку и, получив подкрепление, стали теснить мятежников. А те, огрызаясь огнем, отходили, отдавали улицу за улицей — но потери были большие, и кончались патроны, не стало подносчиков боеприпаса. Укрывались в домах, из окон стреляли в перебегающие фигуры красноармейцев. У Гостиного Двора задержали «Тухача». Отходили на Павловскую, на Луговую улицу, к Кронштадтским воротам, а дальше… ну что ж дальше, боеприпаса нет, да и сил нету, чтобы кинуться в штыковую…

Рассыпа́лись, растекались по домам, по дворам, а иные вышли на дорогу, направляясь к форту Риф…

Около трех часов ночи 18 марта утихла стрельба. Еще слышались отдельные выстрелы, но — штурм был закончен. Крепость Кронштадт пала.

В пять утра части Северной группы взяли форты Тотлебен и Обручев. Заняли без боя: артиллеристы мятежных фортов ушли в Финляндию.

К девяти часам утра части 79-й и 80-й бригад, кровью искупившие «преступное митингование», окончательно *очистили от мятежников* город Кронштадт.

К одиннадцати утра бойцы Южной группы заняли форты Риф, Милютин и Константин.

Все было кончено.

Сразу началась расправа.

По особому приказу тех, кто был захвачен с оружием в руках, расстреливали на месте. Все остальные военнослужащие прошли через трибунал. Особисты, чекисты не утруждали себя долгим следствием. Требовали ответа на два вопроса: где был во время восстания и кто твои «сообщники»? Голосовал 2 марта за «линкоровскую» резолюцию? К стенке! Принес в свою часть листовку или «Известия ВРК»? К стенке! Само

пребывание в крепости в дни мятежа выглядело преступлением.

Особенно жестокой была расправа с моряками линкоров. Накануне, вечером 17-го, лишь небольшая часть экипажа «Петропавловска» успела скрыться: командир линкора Христофоров, старпом, старший артиллерист и десятка два военморов (члены судового комитета, башенные комендоры) ушли по льду в Финляндию. С «Севастополя» ушло и того меньше — военморы-коммунисты воспользовались замешательством комсостава и задержали, арестовали врида командира линкора, старпома, артиллерийских начальников, штурмана, членов судового комитета. Все они по приговору реввоентрибунала 20 марта были расстреляны.

В тот же день, 20-го, заседала на «Петропавловске» чрезвычайная тройка — слушали «дело» по обвинению ста шестидесяти семи военморов. Заседали недолго — всех приговорили к расстрелу, в том числе и артиллериста Зиновия Бруля. Расстрелы продолжались и в следующие дни. 1–2 апреля судили еще шестидесяти четырех военморов с восставших линкоров. 20 апреля на заседании президиума Петроградской Губчека приговорено — главным образом к расстрелу —

огромное количество кронштадтцев, не только с кораблей, но и из береговых частей. Приговоры все были окончательные и обжалованию не подлежали. Исполнялись в тот же день.

По всему Кронштадту неутомимо работали чекисты — шел поголовный обыск. По доносам осведомителей хватали и тех, кто не был причастен к мятежу, а просто родственников или знакомых «кронмятежников». Применялись, как докладывал один из следователей, «наказания в целях устрашения обывательской антисоветской массы».

— Ну, всё, — сказал Редкозубов, придя домой из артмастерской. — Был «Севастополь», а теперь нету.

— Как это? — удивилась Таисия Петровна, ставя на стол кастрюлю с дымящейся перловой кашей. — Куда ж он подевался?

— Да он-то как стоял, так и стоит. Ему имя дали другое — «Парижская коммуна».

— Зачем? Почему «Парижская»?

— Хватит накладывать. — Федор Матвеевич придвинул к себе тарелку с кашей, взял ложку. — Потому что восемнадцатое — день Парижской коммуны. Когда мятеж уби… ухлопали. Соль подай. — Он принялся за еду. — А «Петропав-

ловск» мой — тоже, говорят, пере… ну, другое дали имя — «Марат».

— А что это такое?

— Может, какого большевика фамилия. — Редкозубов взглянул на дочь, сидевшую у окна. — Капа, кто это — Марат? Вам в школе говорили?

— Нет. Не знаю, папа.

— Никто не знает. — Федор Матвеевич покрутил черноволосой своей головой. — Ну, дела! А чего не садитесь за стол?

— Мы поужинали, Федя, — сказала жена, подперев ладонью щеку. У нее щеки были раньше круглые, тугие, а теперь, за последние года два, похудели заметно. — Ты ешь, ешь. Как там в мастерской у вас? Пошла работа?

— Да какая работа! — неохотно ответил Редкозубов. — Ходят, проверяют… допросы… где был… за кого голосовал… А чего вы такие смурные? — оглядел он жену и дочь. — Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось. Ешь, Федя. Чай подать?

Не сказала Таисия Петровна мужу, отчего она «смурная». Знала: скажи ему, *что́ случилось*, так он взорвется… закричит страшным криком, а то и рукам даст волю…

А случилось вот что.

Как пошла стрельба на льду, да и в самом городе, так Капа дома сидела, в окно глядела, странно притихшая. А сегодня, когда Федор Матвеевич ушел на работу, она решилась наконец открыть матери, что́ ее уже полторы недели тревожит: месячных в марте не было.

— Ну, может, задержка, — сказала мама, подметавшая в углу, возле затопленной печки. — Это бывает.

Капа помолчала, глядя в окно. А потом досказала свое опасение до конца — о том, что́ у нее в феврале было с Терентием.

Таисия Петровна выпрямилась, отбросив веник. Уставилась на дочку. (У них глаза были очень похожие.)

— Ты что? Да как посмела? Грех какой…

Капа опустила голову. Грех… А почему?.. Разве любить грешно?.. Мама же сама не раз говорила, что Господь про любовь проповедовал.

Молча выслушала упреки и причитания матери и все глядела в окно — в ту его половину, что уцелела при обстреле (разбитую раму отец заколотил фанерой). Словно ожидала, что там вместо старой баржи, стоявшей в канале неизвестно, с какого века, появится что-то другое — хорошее,

золотое.

Вдруг вскинула голову, уперла в маму потемневший от грустных мыслей взгляд и сказала:

— А если это… ну, беременность… так можно выкинуть?

Таисия Петровна перекрестила Капу.

— Да уж придется… что ж поделаешь, коли ты… но рано еще… месяца через два только… — Вздохнула с долгим стоном и, подавшись к непутевой дочке, обняла ее. — Как же ты, а? Глупая, глупая девочка!

И тут они, обнявшись, поплакали.

Отцу решили пока не говорить.

Федор Матвеевич наелся каши, чаю попил с куском рафинада и, закурив махорочную самокрутку, пустился рассказывать про текущий момент.

— У Козловского в Питере жена осталась и десять детей, все в тюрьме как заложники, а он убежал в Финляндию.

— Ну уж десять детей! — усомнилась Таисия Петровна.

— Так этот сказал, ну, который ходит проверяет у нас. Козловский, говорит, с Врангелем снюхался, царя опять хотели нам на шею. А Петриченко, говорит, был эсер. Он с Черновым снюхался, ну, с

главным эсером, который ему помощь обещал… А Кронштадт он хотел спалить… нет, не спалить, а взорвать…

Так он, Федор Матвеевич, отдыхая после трудного дня, излагал текущий момент.

Тут раздались звонки. Электричество в тот вечер давали, и звонки были сильные, частые. Федор Матвеевич, запнувшись на полуслове, поднялся, побледневший, уязвленный мыслью, что вот, значит, за ним пришли. В коридоре затопали, распахнули дверь, в ее проеме мелькнуло испуганное лицо соседки Игоревны.

В комнату вошли двое.

Один был невысок, но широк в плечах, в кожаной куртке, рыжеусый, со строго сдвинутыми бровями, тоже рыжими. Второй, голубоглазый, в армейской шинели, был ростом повыше, он часто шмыгал носом и морщился — может, от простуды. Оба, конечно, были при оружии, с револьверами в потертых кобурах.

Рыжеусый, оглядев комнату, вытянул из-за пазухи бумагу и, развернув ее, показал Федору Матвеевичу со словами:

— Второе особотделение.

Тот кивнул, предложил:

— Вы присядьте…

Рыжеусый, понятно, садиться не стал. Вычитал из бумаги, содержавшей целый список:

— Редкозубова Капитолина кто будет?

Вскинул бровь, когда Капа чуть слышно откликнулась:

— Я…

— Вы? — Особист, похоже, был удивлен. Вынул из-за пазухи фотографический снимок, вгляделся. — Тут вы постарше. — Он протянул снимок Капе. — Это вы снялись с матросом?

— Да…

— Он вам кто? Муж?

Капа, страшно испуганная, помотала головой — слова у нее не шли, застряли в горле.

— Да какой муж, товарищ командир? — сказал Редкозубов, в полном недоумении разведя руки. — Она ж девочка, в трудовой школе учится…

— Девочка, а шляется с кронмятежником! — повысил голос особист. — Мы выяснили, этот Кузнецов — один из главарей! В судовом комитете «Петропавловска» гнул антисоветскую линию! Из башни вел огонь по красным войскам!

И еще из обличительных слов рыжеусого человека в кожаной одежде выяснилось, как шло дознание. Сотрудники особого отдела вели обыск в Гостином Дворе, увидели витрину с фотогра-

фиями, и на витрине снимок — вот этот, матрос с «Петропавловска», и девица. Снимок забрали, на «Петропавловске» сразу узнали: это Кузнецов Терентий, член судового комитета, артиллерист с первой башни, вел огонь по героям штурма, а потом, спасая свою шкуру, трусливо убрался в Финляндию.

— Ну а девица, — взглянул рыжеусый на Капу, — ее опознал фотограф Глазов Ди-о-дор, такое, значит, у него имя. Дочка этого Диодора, Елена, учится в одной группе с Капи-то-линой, — произнес он по слогам, не спуская пристального взгляда с Капы. — Верно говорю?

— Давай быстрее, Семен, — сказал его напарник, простуженно шмыгая носом. — Работы много.

— Одевайся, Капитолина, — велел рыжеусый особист. — Вы арестованы.

— Да вы что? — Федор Матвеевич дочку заслонил своей крупной фигурой. — Она ж девочка… школьница…

А Таисия Петровна, сама не своя, обхватив Капу за плечи, бормотала:

— Свят, свят, свят…

— Не сопротивляться! — крикнул рыжеусый. — А ну, отойди, папаша!

В следующий миг он отшатнулся от удара в кожаную грудь.

— Ты как смеешь! — заорал голубоглазый. Выхватив из кобуры наган, он подскочил к Редкозубову, приставил дуло к его горлу.

— Не стреляй! — остановил напарника рыжеусый. Впился взглядом в Федора Матвеевича. — Мы тобой займемся. А ты одевайся! — велел Капе. — Ну, живо!

Таисия Петровна выбежала на улицу, перекрестила уводимую плачущую Капу и вдруг, потеряв силы, упала на выщербленный обстрелом тротуар. Редкозубов поднял жену, увел в дом.

Все, связанные с кронмятежниками родственными узами, или даже дружившие с ними, были, как заложники, приговорены к различным срокам. К Капе, ввиду ее возраста, снизошли: всего один год получила она.

В составе огромной группы осужденных ее увезли в Архангельскую губернию, в Холмогорский лагерь принудительных работ.

Глава двадцатая
Дочь мятежника

Не веря своим глазам, я уставился на фотографию.

Будто мостик подлодки качнулся и меня накрыла штормовая волна. Я ухватился за спинку стула.

— Что с вами, господин офицер?

Я перевел потрясенный взгляд на Терентия. Лысоватый, скуластый, с седыми бакенбардами, он стоял передо мной — вынырнул черт знает откуда…

— Это вы? — Я ткнул пальцем в матроса на фото.

— Кто ж еще? — Он пожал плечами, вгляделся в меня. — Аннели, принеси воды господину офицеру!

— Не надо, — сказал я. — Ее дочь… дочка Капитолины Федоровны, — с усилием выговорил я, — знает… считает, что ее отец погиб при штурме Перекопа.

— Да вы что?! — Терентий отпрянул от меня, глаза у него странно перекосились за очками. —

Дочка Капы?.. Ты знаешь Капу?! — заорал он страшным голосом.

— Маша — ее дочь! — крикнул и я. — Маша — моя жена!

Плохо помню наш сумбурный разговор.

Мы перебивали друг друга, а Капитолина Федоровна… Капа… радостно улыбалась с фотографии. Как же ей не радоваться: зять с тестем встретился…

Черт! Черт! ЧЕРТ!

Беглый мятежник — мой тесть!!!

Помню, Аннели поставила на стол пару бутылок пива. Наклейки на них были синие, с надписью «Sinebrüchoff». Какой-то еще Синебрюхов встрял в эту чертовщину…

Терентий снял очки. Стал более похож на того матроса на фото. Он говорил, говорил… вдруг тяжело закашлялся… Жена дала ему выпить ложку коричневой жидкости из флакона, что-то строго сказала по-фински. Терентий отдышался, опять заговорил, не сводя с меня немигающего взгляда.

Я слушал и не слушал. Как никогда в прежней жизни, мне было не по себе. Будто неосторожно ступил и провалился в яму… в узилище… Слабенькое синебрюховское пиво не очень-то помогало…

Все же что-то доходило до слуха, до потрясенного сознания.

Я понял, что беженцам-кронштадтцам в Финляндии жилось плохо. Их было много, восемь тысяч, никому они не были нужны, финские власти разместили их в поселках Териоки, Келломяги, на форту Ино. Нет, не морили голодом, американский Красный Крест кормил их со своих складов. Но объявили карантин. Вообще, отношение было плохое. Несочувственное. Ну, понять можно: нахлынула толпа чужаков, не знающих языка, местное население глядело на них, смутьянов, хмуро. Но — чего-то просил у финских властей Козловский. И стали выпускать беженцев из карантина — ходили по ближним поселкам, ни от какой работы не отказывались.

Он, Терентий, устроился на лесопильный завод чернорабочим, угол снимал в дровяном сарае, мерз как бездомная собака…

Я не испытывал сочувствия к нему. Ну, трудная судьба, так ведь беженец и не может рассчитывать на легкую жизнь. Бунтовать не надо, вот что… Мы же проходили по курсу истории: матросы в Кронштадте несознательной массой пошли на поводу у белогвардейского генерала…

— Что вы сказали? — спохватился, что не слу-

шаю.

— Спрашиваю, как правильно: цалулаз или целулаз?

— Целлюлоза, что ли?

— Да! На фабрике, где ее делали, это возле Котки…

И дальше: как ему повезло на этой фабрике, так-то ничего, работа и работа, но однажды…

— В каком же году… в двадцать пятом, аккурат на Иванов день, они же отмечают Иванов день, пошел я на речку искупаться, вдруг — ветер. Такой шквал, тучи, волны, и вижу: один пойка захлебнулся…

— Пойка?

— Ну, мальчик. Посеред речки его захлестнуло, значит, и… ну, тонет. А я неподалеку плыл. Вытащил пойку на берег. Там люди дыхание стали ему делать. Я сам отдышался, пошел домой. Мы с Павлом, тоже из беженцев, комнату сымали близ фабрики. Лег я, заснул, значит, вдруг Пашка толкает в бок. «Вставай, — говорит, — до тебя пришли». Встал я, смотрю — люди, и сам Хилтунен вошедши. Управитель фабрики. Мне руки жмет. «Ты, — говорит, — моего сына спас. Какую, — говорит, — сделать тебе помощь?» А я говорю: «Ничего не надо… одно только — на шóфера бы

выучиться…» У Хилтунена младший брат в Котке имел свое дело по мебельной части. И два имел грузовых авто. Вот я, значит…

Опять закашлялся Терентий. Я поставил стакан с недопитым пивом на стол. В голове прошумела мысль, будто это не вправду, а в странном сне явился беглый матрос, назвался отцом моей Маши; ну не может такого быть — ее отец погиб при Перекопе…

Но с фотографии сурово смотрел на меня этот Терентий с закрученными усами и улыбалась молоденькая Капа — уж она точно была Машиной мамой, у них полная схожесть лиц. И значит, не было Перекопа…

Опять, откашлявшись, повел Терентий рассказ о том, как выучился водить автомобиль…

Нет, иначе шел этот головокружительный разговор. О Маше расспрашивал Терентий: как выглядит, где учится («А-а, токарем на артзаводе!»), и как мы поженились… и есть ли дети… («А-а, дочка от первого брака! С первым мужем разошлась?.. а-а, погиб он… а-а, подводник…»)

Уперев в меня немигающий взгляд, Терентий расспрашивал с жадным интересом о Капитолине Федоровне. Я отвечал коротко, я и знал-то о теще своей не много. Медсестрой в Морском

госпитале работает. Нет, замужем не состоит, да и, кажется, не была ни разу. Был у нее друг, хирург, — в сорок первом погиб при бомбежке. А ее, Капу, контузило. Ну и блокада, конечно; голод… Постарела? Я бы не сказал. Не молода, конечно, но старой не назовешь. Красивая женщина… Друг у нее есть, интендант…

— Что? Что вы сказали? — насторожился я. — Какой лагерь?

Сбивчиво, волнуясь, рассказывал Терентий, как пытался связаться с матерью и сестрами. Многие беженцы обращались в советское консульство в Гельсингфорсе — просились обратно в Россию. Нет, не бывшие матросы — их разве простили бы? Пехотинцы обращались, да и гражданские. Кому-то и разрешали вернуться, и он, Терентий, нескольких возвращенцев просил черкнуть письмо в свою деревню, Свистопалку, что ли, в Петроградской губернии, что, мол, жив он. Просил и свой адрес в Котке запомнить, пусть, дескать, напишет ему мать, — может, и дойдет письмо. Хотя надежды на это мало. Люди обещали, уезжали — и все. Никаких вестей. Но вдруг в двадцать седьмом году пришло ему, Терентию, письмо. Можно сказать, чудо случилось. Один возвращенец, бывший учитель, выполнил

обещание, написал в эту Свистопалку, что жив Терентий, и адрес его дал. Почта сработала, и пришло в финский город Котку письмо — но не от матери, а от двоюродного брата Сергея Елистратова. Написал он, что мама Терентия уже два года как умерла «от паралича конечностей». Одна из сестер «тут на хозяйстве сводит концы», а вторая вышла замуж за милицейского и живет в Копорье. Его, Сергея, младший брат Иван призван на военную службу и учится на артиллериста («Всюду у нас в роду артиллерия», — чертыхнулся Терентий). А сам он, Сергей, хотя «в драке не участвовал, только перевязывал раны, а все равно посчитался участником». Дали ему пять лет принудработ. В Холмогорском лагере этот Сергей работал по своей специальности — фельдшером в санчасти. Была в том году эпидемия сыпняка, больных много. И помогала лагерной медицине одна девица, тоже из заключенных, в качестве санитарки. Он, Сергей, разговорился с девицей и опознал в ней ту самую Капу, с которой «ты, брательник, дело имел в квартире моей подруги Василисы. Она, Капа, была беременная и, когда срок подошел, родила девочку…».

Я потянулся к пиву, неловко опрокинул стакан, залил скатерть. Обхватив руками голову, локтя-

ми упершись в стол, сидел, скованный ужасом.

В Хельсинки третий день мело. Заносило снегом гавань, Эспланаду, гранитные скалы, в которые тут и там упирались улицы. Снег прикрыл белым саваном наготу бегущего бронзового человека — памятник бегуну Пааво Нурми, обладателю двадцати двух мировых рекордов.

— Где вы были, штурман? — спросил замполит Ройтберг, когда я, облепленный снегом, вернулся на «Иртыш».

— Ходил в магазин, — сказал я.

Ройтберг посмотрел на мои руки, не отягощенные покупками.

— Надеюсь, вы помните, Вадим Львович, что общение с местным населением нежелательно.

А что такое? Сегодня выходной день, 8 ноября, — почему бы не сходить в магазин, нам же выдали часть оклада финскими марками. А то, что я сегодня ничего не купил, никого не касается.

Но вслух я только сказал:

— Конечно помню.

У себя в каюте завалился на койку лицом к переборке. Никого не касалось, что я после праздничного обеда ушел и шлялся под снегопадом по Хельсинки. Пааво Нурми! Тебе одному могу

признаться, какая беда обрушилась на меня…

Отец моей жены — беглый мятежник… Она родилась в концлагере… Что мне делать, люди добрые? Могу ли я по возвращении в Кронштадт сказать об этом Маше… глядя в ее светло-карие глаза, так похожие на глаза Капитолины Федоровны… Капы?..

НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!

Да и если бы только это…

Пожелтевшие, обтрепанные по краям газетные листы положил передо мной Терентий — «Известия Временного Революционного Комитета», издававшиеся мятежниками. Бросились в глаза поблекшие от времени, но жгучие, невозможные слова…

«Требуем восстановления свобод и народовластия!» — кричали заголовки. — «Покончить с комиссародержавием!»

Резолюция восставших линкоров, с которой, как видно, все и началось, требовала:

«Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием…»

«Немедленно снять заградительные отряды… покончить с разверстками и реквизициями… упразднить политотделы… дать полное право

действия крестьянам над своею землею так, как им желательно…»

«Волею широких масс, — извещали „Известия ВРК“, — власть в Кронштадте от коммунистов перешла без единого выстрела в руки Временного Революционного Комитета. В городе создан образцовый порядок…»

«Три дня, как граждане Кронштадта свободно вздохнули от диктатуры партии… Временный Революционный Комитет не мстит, никому не угрожает…»

«Не поддавайтесь нелепым слухам, что будет в Кронштадте власть в руках генералов и белых. Это неправда. Она выполняет только волю всего трудового народа…»

А стихи какие! Вот пишет моряк К. Колодочкин:

Кровавый ужас Николая
Мы не успели позабыть,
Коммуны партия «святая»
Кровь нашу снова стала лить.
Она свободу нам сулила,
Нам обещала счастья дар,
Но этот дар свой превратила

В кровавый ужас и кошмар.
Расстрелы, пытки, истязанья,
Лилася кровь из-под мечей,
Дала три года нам страданья,
Но хуже царских палачей.
Свершилось. Волею народа
Кошмар насилия разбит,
Возвращена опять свобода,
Пожар восстания горит.
Седой Кронштадт в былое время
Революционным шел вперед.
Он Николая сбросил бремя
И сбросит коммунистов гнет.

Где же тут белогвардейский мятеж?!!

Невозможно читать эти газеты.

Народовластия они хотели… Свободно вздохнули от диктатуры — вы такое слыхали?! — от *диктатуры партии*!

Я не политработник. Я строевой офицер, мое дело — подводное плавание. Но мы живем в государстве, которым руководит партия, ВКП(б). Партия — наш рулевой. Мы знаем это с детства, это привычно, как таблица умножения. Лучшие

люди — все партийные, разве не так?

Вот и мне замполит Ройтберг предложил вступить в партию. Понимаю, это большая честь. Перед последним походом я написал заявление: «Прошу принять меня в ряды…» Ройтберг сказал, что может быть прием по боевой характеристике, и велел ознакомиться с Уставом партии. Ну да, конечно, демократический централизм и все такое. Я ознакомился. Но пока что не позвали меня на прием, хотя знаю (от Мещерского), что командир лодки написал боевую характеристику. Мне кажется, что замполит… как бы сказать… ну, присматривается ко мне.

И надо же свалиться на мою несчастную голову этому чертову Терентию!

Лодка пришла в Кронштадт вечером 10 ноября. Весь следующий день готовились к постановке в док. Проверка матчасти, возня с документами, — ну, как обычно, привычно. Выяснилось, что док будет не раньше, чем через три дня.

И вот вечером 12 ноября я отправился домой, на Карла Маркса. Было тихо. Иссиня-серые тучи повисли недвижимо на мачтах кораблей. Перезвон склянок напоминал о времени. Казалось, что оно, время, тоже зависло, остановилось.

Я шел вдоль темного, как мое настроение, ка-

нала. Шел — и пришел. Своим ключом отворил входную дверь. В темноватом коридоре, как всегда, пахло стиркой. Из нашей комнаты доносились голоса: Маша о чем-то спорила с матерью.

— Ой, Вадя! — воскликнула она и бросилась в мои объятия.

Вот оно, мое сокровище. Никому не отдам, никаким Хельсинки. Я целовал теплые улыбающиеся губы.

— У тебя усы стали совсем густые, — сказала Маша. — Ты надолго приехал… пришел в Кронштадт?

— Недели три простоим в доке. Здрасте, Капитолина Федоровна.

Поцеловался с тещей. Бросилось в глаза: она заметно поседела. Но лицо было по-прежнему красиво. Зубы, открытые в улыбке, были ровненькие, не испорченные ни возрастом, ни блокадой.

— А мы с Машей, — сказала она, — обсуждали насчет ее учебы. Я считаю…

— Перестань, мама, — сказала Маша. — Мы с Вадимом обсудим это.

Ко мне подбежала Валентина в полосатом платьице (перешитом из моей тельняшки), с бумажным листком в руке. Я поцеловал ее в белобрысую головку:

— Ну, что ты нарисовала?

Она ведь у нас художница, обожает водить цветными карандашами по бумаге. Вот только с бумагой плохо, негде ее взять. Маша дает дочке листки, вырванные из школьного учебника по географии, и та испещряет каракулями сведения о климате Норвегии и о полезных ископаемых Южно-Африканского Союза.

— А где Федор Матвеич? — спросил я.

Оказалось, дед в госпитале.

— У него давно уже боли в животе, — сказала Капитолина Федоровна, — думали, что гастрит, но лечение не помогало. Вдруг стало ему живот раздувать. И желтый он стал лицом. Я его уговорила — в госпиталь. Водянка! Позавчера положили, воду спустили. Врач говорит: цирроз печени.

Я про эту болезнь не слыхал, но понимал, что с печенью бывает плохо, если сильно пьют. А уж он-то, Федор Матвеич…

Однако следовало начать выдачу подарков. Я раскрыл свой парусиновый чемодан и достал коробку с куклой.

— Это тебе, Валентина.

Они, все трое, изумленно уставились на неземное существо в небесно-воздушном платье,

спавшее в белых шелках. Когда Маша вынула куклу и та проснулась, открыв огромные голубые глаза, Валентина громко заплакала. Чудеса на то и чудеса, чтобы вызывать сильные эмоции. С опаской девочка взяла куклу, и стало ясно: теперь она не выпустит ее из рук.

Благосклонно были приняты шелковые чулки для Маши и кофточка для Капитолины Федоровны.

Но это еще было не все.

Понимал ли я, что разразится буря? Еще как понимал! Но что же было делать? С той минуты, когда я на чужом столе увидел хорошо знакомую фотографию, словно чья-то властная рука перевела стрелку с одного пути моей жизни на другой. Скрыть то, что произошло? Закрыть глаза? Нет, невозможно. Я же не кукла…

Итак, я вынул из чемодана два больших пакета и сказал:

— А это вам от Терентия Кузнецова.

— От кого?! — Капитолина Федоровна отшатнулась от меня на заскрипевшем стуле. — С чего ты взял?! Не знаю никакого Терентия!!! Не знаю, не знаю!!!

Маша, ничего не понимая, поднесла матери чашку воды, но та резко оттолкнула, вода проли-

лась на стол.

— Никакого Терентия знать не знаю! — криком кричала Капа.

Тут я вспомнил: Терентий говорил, что если она не захочет вспомнить, то — «одно только слово ей скажите…».

И я сказал негромко:

— Джахаваха…

Мигом оборвалась истерика. Капитолина Федоровна как-то сразу поникла. Кутая плечи в старый шерстяной платок, уставилась на меня влажными глазами:

— Ты… ты видел его?

Я начал было рассказывать, как случайно у дверей универмага в Хельсинки разговорился… — но умолк. Теперь хлынули слезы…

Ну и плач это был — долгий, безутешный. Упав головой на руки, скрещенные на столе, Капа содрогалась всем телом.

Мы с Машей были растеряны. Однако нельзя же так… Капа захлебывалась, хрипела, что-то невнятно бормотала. Мы подняли ее со стула, перенесли на диван, заставили выпить воды. Маша нашла пузырек с валерианкой в домашней аптечке, накапала в стаканчик с водой. Руки у нее дрожали…

Опять приснился возвратный сон — как мы с Оськой притащили в школьный двор старую автомобильную покрышку и пытались ее поджечь, и вдруг Артемий Иванович, наш директор, возник перед нами в своей вечной серой толстовке и пробасил: «Сюшьте, что вы делаете? Ведь вонять же будет».

В прежней реальной жизни, положим, так оно и было. Зачем же тащить эту покрышку в сны? Людям обычно приятное снится, ну, или страшное. А не дурацкая покрышка — тьфу!

Док еще на двое суток отодвинули.

Я шел домой сквозь снежный заряд. Зима наконец и до Кронштадта добралась, клала первые белые мазки на его промокшие от дождей темные улицы, на воронки от артобстрелов. Настроение было, должен признаться, смутное. Я опасался, что Капитолина Федоровна, если она здесь, на Карла Маркса, опять впадет в истерику. Пусть бы она сидела у своего капитана Гриши, в его комнате на Козьем Болоте.

Но Капитолина была тут. Ничто не напоминало в ней женщину, бившуюся в истерике два дня назад. Гладко причесанная, в темно-зеленом платье, обтягивающем статную фигуру, она сидела за столом и, выкладывая из пакета в вазу бледные

желтые пирожки, говорила Маше что-то о том, как она исхитрилась их испечь при отсутствии нужных «инградиентов». Она блеснула в мою сторону очками и сухо сказала:

— А, здравствуй. Я знала, что ты сегодня придешь.

— Откуда вы знали? — удивился я. — Даже мой командир еще полчаса назад не знал, что я попрошусь…

— А я знала.

Капитан Гриша (он колол у печки лучину для растопки, негромко тюкал топором) обратил ко мне улыбающееся лицо и сказал:

— Привет, Вадим. Ты разве не слыхал, что Капа все знает раньше всех?

Он, капитан Гриша, был добрым или, точнее, добродушным мужичком. Слава богу, подумал я, обстановка спокойная. Женщины готовят ужин (с пирожками!), печка будет натоплена, Валентина укладывает спать свою чудо-куклу, и та послушно закрывает голубые, как небо в хороший летний день, глаза.

Порядок на Балтике.

Сели пить чай. Пирожки, хоть и не сладкие в довоенном смысле, были в общем съедобные — ну, кисловатые слегка. Гриша, крупный

знаток происходящих событий, пустился рассуждать о недавнем жестоком разгроме немцами Варшавского восстания. Он осуждал польское эмигрантское правительство в Лондоне, затеявшее это восстание без согласования с советским командованием:

— Наши уже подходили к Висле, а эти, лондонские, решили показать, что могут сами выбить немчуру из Варшавы. Верно я говорю, Вадим?

— Не знаю. — Я вытянул из вазы второй пирожок. — Может, и верно. Польские дела такие запутанные.

— Точно! — подтвердил Гриша. — Факт, что Миколайчик не смог договориться с этими… ну, которые в Люблине…

— С Комитетом национального освобождения.

— Во-во! Миколайчик и не хотел договориться…

Капитолина Федоровна вдруг прервала наш стратегически исключительно важный разговор.

— Да заткнитесь со своим Миколайчиком, — не очень вежливо потребовала она. — Я решила сказать — и скажу. Все, как было. Надоело врать. Терентий Кузнецов — он и есть твой отец, — объявила Капитолина Федоровна Маше. — Он на

линкоре «Петропавловск» служил. А я в школе училась, в третьей трудовой. Мне еще год оставался до конца. Терентий меня позвал граммофон послушать…

У Капитолины дыхание оборвалось на этой фразе. Судорожно вздохнула, очки поправила мизинцем и продолжила:

— Дурочкой была, конечно. Не устояла. Да и он, Терентий, не должен был… Но так уж получилось… Что тут особенного? Нас, баб и мужиков, всегда тянет друг к другу… — Она отпила из чашки чай. — Ну а мятеж… разве я понимала, почему матросы взбунтовались? Терентий, правда, говорил, что… ну, как-то не так пошла революция… но я… — Со вздохом Капитолина махнула рукой. — Мне это нужно было — революция, бунты? Нет! Я одно только хотела — любви!

Тут Валентина запищала:

— Ма-а! Пи-пи-и!

— Иди в уборную, я свет тебе зажгу, — сказала Маша и вышла вслед за дочкой в коридор. Вернулась, села, снова устремила на Капитолину взгляд, будто затянутый чем-то темным.

— Ну да, я знала, что Терентий ушел в Финляндию. Его бы расстреляли, если б остался, на линкорах чуть не всех постреляли… А он ушел.

И значит, жив остался. А кто с ними дружил, с мятежниками… или просто был знаком — всех арестовали. Меня они по карточке нашли — особисты… Я сама виновата, дурочка же была, уговорила Терентия сняться в фотографии, а они всюду рыскали и карточку увидели. По карточке и пришли сюда — меня арестовали. А за что? Гуляла с кронмятежником… Вот и нагуляла год принудработ…

Голос у Капитолины дрогнул, из-под очков потекли слезы. Гриша тихо сказал:

— Не надо, Капа. Зачем ты… Что было, то прошло…

— Нет! — Она вытерла щеки платочком. — Надо! Столько лет врала — надоело! В Холмогорском лагере принудработ холодина ужасная, снег по колено, суп из гнилой рыбы… Два с половиной месяца стирала в прачечной белье вохры. Потом взяли меня в санчасть помогать доктору. А фельдшером там был брат Терентия, тоже заключенный. Эпидемия сыпняка была в лагере, две медсестры там работали — они с ног сбивались. Меня им в помощь взяли — ну, прислугой… горшки выносить… полы мыть… подносить больному суп… а он не дышит… помер… и такое было…

Ровно звучал ее голос. Тихий был вечер, войну отбросили от Питера, от Кронштадта, — вот и тишина, значит, объяла эти, отвыкшие от нее места. Только взрыкивали заводимые где-то в Средней гавани моторы.

— У Кобякова лицо было как у разбойника. Глазищи черные, нос сворочен набок. Я как первый раз его увидела, так испугалась. А он меня спас. Двое конвойных за дровяным сараем меня снасильничать хотели, я отбивалась, орала, — Кобяков услышал, прибежал. Обоим морду намял. Меня поднял и говорит: «Я на тебя загляделся, еще когда ты подштанники наши стирала. Я, — говорит, — беру тебя в самодеятельность. Мы монтаж делаем про будущую хорошую жизнь, а ты, — говорит, — петь умеешь?» Кобяков был там, в лагере, начальник культпросвета. Ну вот. Я и пошла петь. Про хорошую жизнь. А время шло. Ты у меня сильно зашевелилась… да… ну и, значит, в ноябре я тебя родила.

Капитолина медленными глотками допила остывший чай. Я поглядел на Машу и поразился. В ней будто свет погас. Куда подевался золотой огонек в правом глазу? Молча смотрела она на мать с незнакомым темным прищуром.

— Если б не он, Кобяков, то не знаю… смогла

бы я управиться… Мне и восемнадцати еще не было… Он добрый был, добрый. Взял меня в свою комнату, — как ему это разрешили, я не знаю. Очень с питанием помог. Короче: в ту зиму он нас с тобой спас.

— Ты поешь. — Гриша положил Капитолине пирожок на блюдце. — А то что же… сама испекла, и сама не кушаешь. Маша, ты чаю еще согрей.

Маша молча взяла чайник и пошла на кухню. Она и потом, когда чай пили, ни слова не вымолвила. Хотя Капитолина именно к ней обращалась.

— Бабы в лагере, в женском отделении, были кто? Воровки, проститутки… ну и такие, как я… «враги советской власти», так нас называли… Они тебя обожали. Там Ядвига была, воровка известная, питерская налетчица, так она свой сарафан дала тебе на пеленки. Шелковый, весь в красных цветах. У меня же ничего не было… да и не умела я ничего… Они, бабы, справили и первые твои распашонки…

Меня Маша тревожила — молчанием своим, потемневшим ликом. Я сказал:

— Да, выпало вам, Капитолина Федоровна. Но, слава богу, все это позади.

На мою попытку закончить трудный разговор

Капитолина не обратила внимания.

— В апреле меня освободили, — продолжала она. — Хотела вернуться в Кронштадт. Но Кобяков не пустил. Говорил, там после мятежа все еще опасно. Да… У него с лагерным начальством ссора вышла. Из-за чего — он мне не сказал, но я думаю — из-за меня. Связался с преступницей… а ведь он был начальник культпросвета… Уволился Кобяков из лагеря и уехал в Череповец, он же оттуда, там на свет появился… Я освободилась, написала ему, так он сразу приехал в Холмогоры и увез нас. Два года прожили мы в Череповце, на Социалистической, сто десять. Ужасно длинная улица… Он, Павел Игнатьич, там работал в угрозыске. Я на курсах медсестер училась. Может, так бы жизнь и пошла. Но в двадцать четвертом, в августе, убили Кобякова. В ночной операции брали они бандитов. Вот он и попал под бандитскую пулю. Паша мой.

Тут Валентина заплакала. Вряд ли, конечно, оттого что услышала про гибель Кобякова. Просто ей, плаксе, спать хотелось. Маша отвела девочку в смежную комнату, уложила и вернулась. Села, обеими руками раздвинула свою гриву на лбу — белом треугольнике над потухшими глазами.

— В Кронштадт мы ехали долго, — продолжала

Капитолина. — В Волхове была жуткая пересадка, нас чуть под колеса не спихнули. Ну вот, приехали, ты простуженная, с кашлем, а я… Кто я? Преступница, отсидевшая срок. Меня на работу нигде не брали. В швейной мастерской только не испугались, взяли уборщицей. Мама устроила по знакомству. Мама меня жалела. А отец… твой дед тебя обожал, а на меня был вечно сердит… что я такая непутевая… Постепенно жизнь как-то наладилась. Ты подрастала, и решили мы… ты ведь спрашивала уже, где твой папа… Да, мы решили тебе сказать, что твой отец был революционный матрос и погиб при штурме Перекопа. По датам это не сходилось, так мы передвинули дату твоего рождения. Для твоей анкеты при дальнейшей жизни. Погиб при Перекопе, — значит, у тебя порядок с этим… как оно называется…

— С соцпроисхождением, — подсказал я.

— Да. Вот и все. Теперь ты знаешь правду.

— Теперь знаю, — сказала Маша, слегка кивнув. — Спасибо. За пирожки, — тихо добавила она.

Капитолина с капитаном Гришей вскоре ушли. Маша принялась убирать со стола посуду. Я обнял ее и говорю:

— Понимаю, как неожиданно все это… как

трудно тебе…

Она высвободилась гибким движением и взглянула на меня с тем же темным прищуром:

— Зачем ты это сделал?

— Что сделал?

— Зачем сошелся с этим Терентием?

— Я не сошелся. Я же рассказал: мы случайно разговорились возле универмага…

— В Хельсинки население — сотни тысяч, а ты *случайно* находишь беглого матроса, бунтовщика против советской власти.

— Он бунтовал скорее *за* советскую власть.

— Преступник! Трусливо сбежал, когда мятеж подавили!

— Маша, он твой отец…

— Не хочу! Не хочу такого отца! — Она с громким стуком поставила чайник на стол. Гримаса боли, незнакомая мне, исказила ее лицо. Рот был оскален — я не узнавал губы, которые так любил. — Мой отец не был мятежником! Он воевал за советскую власть и погиб при Перекопе!

— Но ведь это неправда…

— Это *моя правда*! Я с ней живу всю жизнь!

— Маша, сядь, успокойся, прошу… Я понимаю тебя. Я ведь тоже считал преступлением мятеж в Кронштадте. Ну, как нас учили…

— Нас учили правильно! И нечего оправдывать бунтовщиков!

— Да я не оправдываю. Но на самом деле было не так… не совсем так, как нас учили. Там не было белогвардейского мятежа. Они протестовали против расстрелов… против притеснений крестьян. Против разверстки и отбираловки. Матросы почти все были призваны из деревень, им в письмах писали, что отнимают посевы, лошадей…

— Шла Гражданская война! Это были вынужденные меры.

— Да, конечно…

Не имело смысла спорить. Я знал все, что скажет Маша. Нас учили правильно… Кто бы посмел усомниться?.. Я и сам так думал, пока не прочел у Терентия пожелтевшие газеты, черт бы их побрал… эти невозможные слова о комиссародержавии… о диктатуре партии, захватившей власть… Нельзя читать такое… эти отголоски когдатошней борьбы… Надо было просто послать Терентия Кузнецова подальше…

— Ты права, — сказал я, опустив повинную голову. — Я не должен был… Понимаешь, когда я увидел у него эту фотографию, у меня в голове… ну мозга за мозгу заскочила…

— Ты не должен был. — Маша села против меня,

глядя исподлобья. — Да. Не должен был жениться на мне. Я порченая. Родилась в лагере… Моими пеленками был сарафан питерской воровки…

— Перестань, — сказал я.

— Шелковый… в красных цветах… — Она заплакала, закрыв лицо ладонями. — В во-ро-вском сарафа-ане жизнь начала! — прокричала сквозь плач.

— Маша, перестань! Кто где родился, в каких пеленках лежал — это что, имеет значение? Никакого! Ты родилась — вот самое главное! А я тебя люблю!

В том ноябре, может самом страшном в моей жизни, на Кронштадт набросилась ранняя метель. Она завывала, хлестала снежными плетьми по лицу, когда я шел в Морской госпиталь.

А шел я навестить Федора Матвеевича.

Отряхнул от снега и сдал в гардероб шинель и шапку, накинул на плечи белый халат и заглянул в комнату медсестер. С Капитолиной мы договорились по телефону, она ждала меня.

— Здравствуй, Вадим, — кивнула она и, дописав что-то в журнале, поднялась из-за стола.

Мы шли тускло освещенным коридором, много повидавшим на долгом своем веку.

— Отец, наверно, спит, — сказала Капитоли-

на. — Он много спит теперь.

— Так, может, не будем его будить?

— Нет, разбудим. Ему общаться надо. А то лежит и молчит, молчит.

В палате трое лежали и спали, а один, с забинтованной головой, сидел на койке и ел что-то из консервной банки, доставая ложкой.

Федор Редкозубов спал, лежа на спине. Его узнать было трудно: желтое одутловатое лицо, обросшее многодневной седой щетиной, и разросшиеся усы, а брови, еще недавно угольно-черные, теперь тоже были седые.

Капитолина тронула его за плечо. Федор Матвеевич открыл глаза, мутно взглянул на меня и спросил хрипло:

— Принес?

— Что принес? — удивился я.

— Ну что! Плоскогубцы взял, а обратно…

— Федор Матвеич, вы меня не узнаете?

Он помигал, его глаза прояснились.

— А-а, Вадим… Я подумал, это Сыч.

— Что еще за сыч?

— Мишка Сыч, слесарь мой, монтажник. Как взял мои плоскогубцы на этом… на форту… Ну ладно. Ты чего? Ты же в море ушел.

— Был в море, а теперь пришли в Кронштадт —

моя лодка в доке.

— А-а, в доке. — Редкозубов с хриплым стоном сел на постели, согнув колени под одеялом. — А Маша где?

— Маша на работе, папа, — сказала Капитолина. — Я тебе на тумбочку утром кисель поставила в банке. Почему не пьешь?

— Попью.

— Ну хорошо. Вы поговорите, а у меня дела.

Она вышла из палаты.

— Федор Матвеевич, я вам из Хельсинок подарок привез. — Я достал из кармана узкий кожаный футляр. — Вот.

Он взял, осторожно раскрыл и вынул из футляра бритву.

— Это «Золинген», — сказал я. — Самая лучшая фирма.

Редкозубов медленно провел блестящим лезвием опасной бритвы по ногтю большого пальца левой руки. Ноготь был железного цвета да и, наверное, такой же твердости.

— Ух ты-ы! — качнул он головой. — «Золингу» раньше в Питере продавали. До революции. Где ты ее взял?

— Я ж говорю: в Хельсинки. Наши лодки теперь базируются в Финляндии — в Хельсинки, в Турку.

Там в магазинах все, что хотите, продают.

— А-а, в Финляндии. Ну спасибо тебе. А то бриться нечем. — Он улегся, закрыл глаза и надолго замолчал.

Я решил, что Федор Матвеевич заснул, и собрался уходить, но тут он сказал, не раскрывая глаз:

— Мне Таисия снится. Вчерашней ночью сели чай пить, а она говорит: «Ты зачем ее снял?»

— Что снял? — не понял я.

— Ну что — икону. Я ей говорю: «Раз велели снимать, значит надо». А она: «Бог не простит, что иконы снимают, храмы разоряют». Я ей: «Бога-то нету». А Таисия как закричит: «Есть Бог!» И крестится, крестится… Тут я проснулся. А ты как думаешь? — спросил он, покашляв. — Раньше-то люди всегда Богу молились… Так есть Он или нет?

— Я в Бога не верю, — ответил я, как подобает комсомольцу, хоть и выбывшему по возрасту. — А если кто верит, так не надо им мешать.

— А-а, мешать не надо… А ломать надо? Андреевский собор зачем сломали? В котором отец Иоанн служил? От него что — вред был?

— Не знаю, что вам сказать, Федор Матвеич.

Опять он замолчал надолго. О чем думал старый артиллерийский мастер? Вспоминал свою

трудную жизнь?

Когда Редкозубов стал похрапывать, я мысленно простился с ним и вышел из палаты.

В конце коридора несколько мужиков в серых больничных халатах курили, шумно разговаривали, смеялись. Насколько я уловил, проходя мимо, разговор шел о бабах. Ну как же, о чем еще говорить, коли жив остался в боях?

Вдруг я услышал:

— Эй, постой! Плещеев, что ли?

Из их группки вышел один на костылях, держа на весу правую ногу в толстом чулке обвязки. Светлые глаза навыкате, толстогубая усмешка, — да это же Лысенков!

— Здорово, Паша!

— Привет, Вадим. Чего тут делаешь?

— Навестил деда. А ты? Где тебя прихватило?

— На Вормси! Слыхал про такой остров?

Я знал, конечно: Вормси торчит между материковым побережьем Эстонии и островом Даго и прикрывает с севера вход в Моонзунд.

Лысенков, стуча костылями, направился к деревянному дивану у стены коридора. Мы сели, закурили. Паша пустился рассказывать, как их батальон морпехоты в порту Палдиски посадили на торпедные катера и — с ветром наперегон-

ки — помчались они к острову Вормси.

— При свете дня! Дневной десант, ты понял? — Он хохотнул. — Такое нахальство! Высадились быстро, там у берега мелко, и пошли, пошли на пригорок. Тут фрицы рюхнулись, огонь открыли. А мы прем, слева мельница, я со своей ротой жму к этому ветряку. Перебежками, сквозь кустарник! Тут и прихватило меня. Осколками выше сапога. Как раз новые сапоги я получил! — Опять он хохотнул. — Лежу, значит, и думаю: ну все, пропала нога. А десант прет, пальба страшная. Мои ребята, двое, потащили меня на плащ-палатке к урезу, перенесли на катер. Ну, за два часа управились, фрицы с Вормси сбежали на своих шаландах — на Даго переправились. Ты понял?

— Вы, морпехи, молодцы.

— Ага. Ну а нас, раненых, и убитых тоже, торпедники — полным ходом обратно в Палдиски. А там что? Войска прошли, только комендатура осталась, семь с половиной человек, медицины никакой. Сунулись в эстонскую больницу, там пусто, врачи куда-то подевались. Хорошо, что фельдшер, старичок-эстонец, на месте оказался. Он мне на ногу — шину. И другим раненым сделал перевязки. Мы ему деньги — нет, не берет, головой качает. Не в ходу у них советские деньги.

Так мы ему весь свой табачный запас! У меня трубка была красивая, я ее тоже отдал. Он же ногу мне спас, понятно?

— Понятно. — Я посмотрел на своего «Павла Буре».

— Торопишься? — сказал Лысенков. — Ну, короче, шел в Кронштадт катерный тральщик, нас на нем и отправили. А с ногой было тут плохо. Кости здорово раздробило осколками. Говорили врачи, что не срастется, что придется отрезать. Ну я — на дыбы! Не дам резать! Шум на весь госпиталь. Что ты! Мой отец приходил, просил, чтоб без ампутации. Значит, стали хирурги обтачивать, подгонять кости — ювелирная работа! Останется у меня нога, ты понял? Ну, будет короче, чем левая.

Лысенков глубоко затянулся, выпустил длинное облачко дыма.

Я пожелал ему твердо стать на ноги. Мы простились, я направился к выходу.

— Вадим! — вдруг окликнул Лысенков и, стуча костылями, подошел ко мне. — Чуть не забыл. Твой дружок, Травников, жив!

— Да ты что? Его лодка погибла в сорок втором… С чего ты взял?..

— Отец сказал. Они же получили списки моря-

ков, которые у финнов были в плену. Отец увидел в списке: Травников Валентин. По перемирию финны пленных передали обратно советским властям.

Я ошалело смотрел на улыбающегося Лысенкова.

— Где же он сейчас? — спросил я.

— Откуда я знаю? — сказал Лысенков. — Пленных проверять будут, это долгая история.

Валька Травников, ты уцелел при гибели лодки, при взрыве — как это возможно?

Да-да, я помню, ты говорил, посмеиваясь, что вода тебя не берет. И огонь, значит, тоже?

Валька, я рад, рад, рад, что ты жив.

Но как же теперь я… мы с Машей?..

Япона мать! Это ведь твое выражение, верно?

Проверка военнопленных — долгая история, знаю. Сразу их не выпускают, держат в каких-то особых лагерях. Но выпустят же в конце концов. И ты бросишься сюда, в Кронштадт — к Маше…

А ты, Маша? Будешь ожидать его возвращения?

Ну нет! Вот что вам скажу, мои дорогие: я Машу не отдам! Она моя жена! Жена где должна находиться? При муже! Вот и все!

Я не проверяльщик. Конечно, не стану, Валька,

проверять, каким образом ты попал к финнам в плен и что делал там, в плену. Но мы же оба понимаем, что плен бросил некую тень на тебя… Наверное, и Маша это поймет…

О-ох! Ужасная, неприятная мысль влетела в голову. Что это я… Никакой тени нет — и не может быть! — на Травникове. Он, безусловно, не виноват в плене.

Но все равно я Машу ему не отдам.

Я не скажу ей о том, что узнал от Лысенкова. Мы же с ним встретились в госпитале *случайно*. Могли бы не встретиться, и я бы не узнал ничего… Ничего… Случайная встреча не обязывает меня…

Не скажу Маше, что Валька жив.

Вот и все, япона мать!

Декабрь в Хельсинки был мягкий — с обильным снегом, но небольшими, не трескучими морозами.

Наша «щука» готовилась к очередному походу. Новый — сорок пятый — год мы, наверное, встретим в море. Вдруг оказалось, что встретим… что встретят без меня.

В хельсинкском небе было прямо-таки разлито нечто враждебное мне.

Нет, мне вовсе не хотелось искать новой встречи со своим неожиданным тестем. Но дело в том,

что Маша отказалась принять его подарок — костюм из чистой шерсти. Нужно было, значит, вернуть его Терентию — не выбрасывать же за борт такую дорогую вещь. Капитолина — ей Терентий тоже послал костюм — приняла подарок, велела передать бывшему своему… не знаю, как обозначить… передать ему спасибо и, конечно, привет.

Ну вот, в один из декабрьских вечеров отправился я к универмагу «Штокман». И представьте себе, стоял там знакомый зеленый грузовичок с вязанкой дров на крыше кабины. Двое юнцов разгружали, носили коробки с товаром. А Терентия не было. Вместо него сидел в кабине молодой финн в синей фуражке со спущенными ушами. Я постучал ему в стекло, он открыл дверцу и на мой вопрос ответил на ломаном русском, что Терентий болеет, а он его «заменивает».

— Я сын, — сказал парень с приветливой улыбкой. — Вы хочете ему смотрить?

Надо было просто достать из портфеля и отдать ему пакет с костюмом. Но — дурацкая мелькнула мысль: не обманывает ли парень? (Я еще не знал тогда о пресловутой честности финнов.) И сказал, что в субботу в это же время приду сюда, и если Терентий сможет, то пусть…

Терентий смог. В субботу, подойдя к «Штокману», я увидел его, стоящего у кабины грузовичка. На нем были лохматая шапка, короткое пальто стального цвета. Издали он мне показался закованным в латы.

— Здравия желаю, Вадим Львович, — сказал он гулким голосом, пристально глядя сквозь очки. — С возвращением в Хельсинки.

— Спасибо, Терентий. Вы что, болеете?

— Ничего, я на ногах. Ну как там в Кронштадте?

Он, конечно, жаждал услышать о Капитолине, о Капе своей. И я передал ему привет от нее и благодарность за подарок. Его глаза вспыхнули. Он, я видел, хотел высказать радость оттого, что Капа его не забыла, но не находил слов. Я раскрыл портфель и вручил Терентию ответный подарок Капы — пять пачек «Беломора», завернутых в газету «Рабочий Кронштадт». Он принял сверток, как мне показалось, с запотевшими очками. Этот беглый матрос прослезился!

— Спасибо, спасибо, — бормотал он. — Большое спасибо… Ей костюм подошел? Ну, как сказать… не жмет?

— Нет, нигде не жмет. Как раз впору.

— А, хорошо! Я очень… ну, очень радуюсь.

А дочка? Ей тоже подошло?

— Терентий, вот какое дело. Она отказалась принять ваш подарок. Вы понимаете, Маше еще в детстве сказали, что ее отец погиб при Перекопе…

— Понимаю, — кивнул Терентий. Сузил глаза, словно всматривался в какую-то даль. — Ей такой отец не нужен. Как я.

— Вот. — Я достал из портфеля и отдал ему пакет с отвергнутым костюмом. — Не обижайтесь на Машу, Терентий. Дадим ей время. Через какое-то время она привыкнет, что ее отец жив…

— Время! — перебил меня Терентий. — Никакое время не помогает, — заговорил он горячо. — Ни одного дня!.. Двадцать лет, больше, двадцать четыре живу в Финляндии… Ни одного дня, чтоб не вспомнил Россию… Деревню, маму, сестер… Первую башню на «Петропавловске»… Каждую улицу в Кронштадте… Финны хорошо живут. И мне с ними… А если б меня простили… разрешили домой, в Россию, то я… — Он махнул рукой и умолк, отвернувшись.

Я смотрел на него с сочувствием. «Понимаю, — сказал бы я ему, — но не советую возвращаться; тебя, может, не посадят, простят, но будут подозревать, не доверять…» Нет, я не сказал ему это.

Да он, конечно, и сам понимал. Из своей судьбы не выпрыгнешь.

— Вадим Львович, хочу вам подарок сделать. — Терентий достал из кабины и протянул мне большую книгу в твердом темно-синем переплете. — Это «Калевала». Главная у финнов книга, тут ихние сказки, старинные песни…

— Знаю, Терентий. Я слышал о «Калевале».

— Да. А записал их такой писатель Лённрот. Уважаемый человек. Я и живу на улице его имени.

Я поблагодарил Терентия, мы простились, пожали друг другу руки. И я направился восвояси. В свете штокманских витрин увидел группку краснофлотцев, шедших передо мной. Должно быть, вышли из универмага — тоже ведь получали они теперь валюту, хоть и очень мало, но что-то можно было на нее купить. Громко разговаривая, они топали в сторону Южной гавани. Туда же — к родному «Иртышу» — пошел и я с «Калевалой» в портфеле. Настроение у меня было странное. Неопределенное, что ли.

Верно подмечено каким-то мудрецом: пришла беда — отворяй ворота.

Вечером следующего дня, вскоре после ужина, только успел я выкурить папиросу, вызвал меня

в свою каюту на «Иртыше» замполит Ройтберг.

Предложил сесть и сам сел, всмотрелся в меня бдительным взглядом. Его коротко стриженная прическа острым черным мысом спускалась на лоб. Китель с начищенными до блеска пуговицами обтягивал худенькую сутуловатую фигуру.

— С кем вы вчерашним вечером общались возле универмага? — спросил он.

— Вчера вечером? — Я прокашлялся, у меня в горле пересохло. — Это местный русский житель… Мы случайно разговорились, вот и все…

— Нет, не все. Вы что-то передали ему. А он что-то дал вам.

Я мысленно выматерил того, кто настучал на меня, — конечно, это был кто-то из матросов, вышедших из «Штокмана».

Ну что тут делать? Без вранья не обойтись. И я, со стеснением в груди, стал врать, придерживаясь, насколько возможно, правды. Дескать, хотелось мне купить хороший костюм для жены, высматривал в универмаге, но очень дороги хорошие костюмы, а этот, местный русский, услышал разговор с продавщицей, понял мои затруднения и предложил помощь. Ну, почему нет? По более дешевой цене он достал костюм, и мы снова встретились у универмага, я расплатился,

через день мы ушли в Кронштадт. Костюм, очень хороший, не подошел, к сожалению, по размеру. Ну вот, пришлось вчера отдать его обратно. А он, местный русский, вернул деньги и подарил книгу — «Калевалу». Это финский эпос… на русском языке…

— Я знаю, что такое «Калевала», — сказал Ройтберг, не сводя с меня внимательного взгляда. — Националистическое произведение, написанное по заказу финской буржуазии.

— Да нет там никакого национализма, Яков Наумович. Это фольклор… старинные народные сказки…

— Ошибаетесь, товарищ Плещеев. Удивляюсь вашему легкомыслию. Финляндия воевала с нами, тут полно всяческого враждебного элемента. Я вас лично предупреждал: никакого общения. А вы… Кто этот «местный русский»? Как зовут, чем он занимается?

— Этого я не знаю. Но он наверняка не враждебный элемент.

— Наверняка! Что за ротозейство у вас? А если я другое дам определение: он ищет знакомства с советскими офицерами, чтобы узнавать о выходах в море подлодок. Вот это — действительно «наверняка»!

Я озлился:

— Ротозейство, легкомыслие. Что еще пришпилите?

— «Пришпилите»! — повысил голос Ройтберг. — Как смеете, Плещеев, так грубо разговаривать?

— А вы — так... мм... так беспочвенно обвинять?

— Я пока не обвиняю! Но предупреждаю: ваше поведение не соответствует. Не соответствует, — повторил он, поднявшись и одергивая китель. — Я вынужден доложить командованию, что ваше общение с местным населением должно быть проверено. И что я возражаю против вашего участия в будущем походе.

Я вскочил со стула и, не спросив разрешения, вышел из каюты замполита.

У себя в каюте я бросился на койку и стал обдумывать разговор с замполитом — каждое его и мое слово.

Чертов пономарь! (Так в своем кругу строевые офицеры называли политработников.) Ну чего, чего вам надо? Что вы лезете со своей подозрительностью в мою жизнь? Я видел, у вас на столе лежит книжка «Государство и революция». Ее, знаю, Ленин написал, мы проходили по основам марксизма-ленинизма, а вы в каком-то институте

преподавали эти основы, так? Вот бы и читали там свои лекции, товарищ пономарь, чем крутить мозги подводникам!

Я понимал, конечно, что положение мое *опасно*. «Общение с местным населением должно быть проверено…» Такими проверками занимается особый отдел. Если их проверяльщики выйдут на Терентия, то моей службе на подплаве конец. Да и вообще… связь с бывшим кронштадтским мятежником!.. Вот это запросто могут пришпилить. Штрафбатом сильно запахло, штурман Плещеев…

Я закурил. Лежал, дымил, думал: что же делать? Как избежать надвигающейся грозы? Возникла мысль об отце. У него серьезные связи — не только литературные… Но как дать знать отцу об угрозе, которая может уже в ближайшие дни превратиться в грозу? Написать ему письмо — но письма идут долго, да и военная цензура их читает…

Стук в дверь. Вошел капитан-лейтенант Мещерский и возгласил с порога, то есть комингса:

— Станция Хацепетовка! Выходите, гражданин! Приехали!

— Что это ты такой веселый, Леня? — проворчал я, садясь на койке.

— Ну как же, такое событие произошло, а ты не в курсе?

— Какое событие?

— Пришел приказ. — Мещерский вскинул красивую голову и досказал с торжественной интонацией: — За октябрьский поход экипаж награжден. Командиру и комиссару — ордена Ленина, другим офицерам — Красное Знамя.

— Орден Красного Знамени? — переспросил я, хлопая глазами. — Мне тоже?

— А ты разве не член экипажа? — рассмеялся Мещерский. — Вижу, вижу, господин штурман изволил поглупеть от радости. «Мне тоже»! — передразнил он, усаживаясь за столик и закуривая папиросу.

Я смотрел на него, и, знаете, тревожная оторопь сползала с меня, как сползает поутру туман, открывая башенку маяка. Вот человек, с которым мне легко. Мы оба «стулисты», ильф-петровцы, так сказать. Нам есть о чем поговорить. Что может быть приятнее, чем вспоминать прочитанные книги? Удачливый, породистый, веселый — ты очень мне по душе, Леонид Мещерский. А какой женолюб! Знаю, у тебя и здесь, в Хельсинки, есть женщина — хорошенькая продавщица из «Штокмана». Ты посещаешь ее, но наш бдительный

Ройтберг не пришпиливает тебе связь с *непроверенным* населением. Вряд ли, впрочем, он знает о твоих хождениях.

Мещерский меж тем листал «Калевалу», лежавшую у меня на столике.

— Ха, Вяйнемяйнен! — воскликнул он. — Это, оказывается, герой «Калевалы»?

— Да, главный герой, — подтвердил я. — Певец, волшебник. Похитил у злой старухи, хозяйки севера, мельницу-самомолку…

Мы-то знали, что у финнов есть броненосец береговой обороны «Вяйнемяйнен», у нас его прозвали «Ваня-Маня», прошлым летом было сообщение, что «Ваню-Маню» потопили в Котке наши бомбардировщики. Но потом выяснилось, что это ошибка: за «Вяйнемяйнена» приняли другой корабль.

— Тут полно фантастики, — говорил я. — Вяйнемяйнен превращает лошадь противника в скалу…

— Ишь, ловкач! Откуда у тебя «Калевала»?

Я помедлил с ответом.

Да какого черта! Мы же друзья, так почему не поделиться с другом…

— Леня, — сказал я, — помнишь, мы возле «Штокмана» разговорились с шофером, местным

русским…

— Ну да, помню. Он дровами топил свой драндулет. Ну и что?

И я рассказал Мещерскому. Нет, конечно, ни единым словом не обмолвился о том, что Терентий беглый мятежник, отец моей жены. Об этом нельзя никому… только Пааво Нурми можно, он промолчит, он занят своим делом, он бежит, бежит…

Рассказал про костюм, который пришлось вернуть, о подарке шофера — «Калевале» и об угрозе Ройтберга.

— Он хочет отставить тебя от похода? — Мещерский уставился на меня посерьезневшим взглядом.

— Да.

— Вот же дуболом… пуританин… святоша… — Он ткнул окурок в пепельницу, помахал рукой, разгоняя дым. — Фу, накурили мы… Слушай, Вадим, не опускай хвост. Я поговорю с батей. А ты… ну не встречайся больше с этим шоферюгой.

28 декабря наша «щука» вышла из хельсинкского порта и, ведомая финским ледоколом до чистой воды, свободной от льда, отправилась в боевой поход.

За штурманским столиком, над картой Балтий-

ского моря, сидел неустрашимый штурман — то есть я.

Все береговые заботы и неприятности улетучились, как только я взял измеритель и «прошагал» по линии предварительной прокладки первые мили. Да, улетучились к чертовой бабушке… к злой старухе Лоухи из «Калевалы»… к нечистой силе, отброшенной бодрым грохотом наших дизелей…

Конечно, я знал, что Мещерский переговорил с батей — так на лодке называли командира Кожухова — о моем конфликте с замполитом. И то, что меня не отставили от похода, означало, что у Кожухова был разговор с Ройтбергом. Можно себе представить, как настаивал на своем наш бдительный замполит; но с батей не очень-то поспоришь, он с девятнадцатого года ведет счет торпедным атакам, это человек-скала… человек-легенда. Его не проймешь цитатами из «Краткого курса». Наверное, он сказал своим непререкаемым голосом что-то вроде: «Вы это бросьте, Яков Наумович. Я своих офицеров знаю. Отвяжитесь от Плещеева. Ну, сделал неудачную покупку. А вы для своей семьи все покупаете удачно?»

Может, так, а может, иначе шел у них разговор, но вот его результат: я иду в поход.

Зимняя Балтика — не лучшее место для мореплавания. Почти беспрерывно штормит. Плохая видимость, небо без звезд — всю дорогу идешь по счислению, не имея возможности астрономического определения. Давай, давай, штурман, не клюй носом, отоспишься потом, в раю…

Ну ничего, я управился. В новогоднюю ночь «щука» заняла позицию в назначенном районе напротив Либавы.

Мы встретили Новый год, скажем так, своеобразно. В двадцать три тридцать всплыли в надводное положение и приступили к зарядке батареи. Кожухов велел выдать всем по полстакана вина и без пяти двенадцать, встав у раструба переговорной трубы, обратился к экипажу:

— В носу! В корме! Товарищи подводники! Наступает Новый год, а мы снова приступаем к боевой работе. Давайте сделаем ее наилучшим образом. Почистим Балтику от фашистского судоходства. В море много целей, а главная наша задача — победа! Поздравляю вас, дорогие мои…

Тут с мостика крикнул помощник Мещерский:

— В центральном! Прошу командира на мостик. Вижу силуэты кораблей!

Прервав поздравительную речь, наш батя объявил боевую тревогу и полез наверх. Для

торпедной атаки условия были скверные: шторм раскачивал лодку, налетали снежные заряды. Но Кожухов, как вы знаете, если видел цель, то шел к ней немедленно. Даже если цель видна плохо. Шторм и акустикам мешал уточнить элементы движения цели, но все же они держали контакт с шумом винтов двух транспортных судов и определили их пеленги.

Из Либавы шел конвой. Мы знали, что немцы вывозят какие-то части из окруженной курляндской группировки, да и снабжение ее шло морем, — на эти перевозки и был нацелен наш подплав.

Полным надводным ходом спешила «щука» сблизиться с конвоем. С расстояния девять кабельтовых Кожухов выстрелил двумя торпедами в концевой транспорт, но обе прошли мимо. Конвой уходил, это для нашего командира было нестерпимо. Он приказал форсировать работу дизелей. Началась сумасшедшая погоня, оба дизеля грохотали, отсеки наполнились дымом выхлопов, лодку страшно трясло. Кожухов догнал конвой, вышел на выгодный курсовой угол и двухторпедным залпом отправил на дно крупный, тяжелогруженый транспорт. Корабли охранения, с опозданием обнаружившие лодку,

накинулись на нас, около трех часов Кожухов маневрировал, уходя от разрывов глубинных бомб на все бóльшую глубину.

Лишь под утро ушли от преследования. Всплыли, начали зарядку батареи. Батя, сняв шапку, вытер огромным платком бритую голову и как ни в чем не бывало закончил новогоднюю речь.

— Ну вот, — прохрипел он в раструб переговорной трубы, — мы потопили транспорт, крупный. Спасибо, мои дорогие, за хорошую работу. Что бы я делал без вас? С Новым, значит, годом!

Холодные дни и ночи января 45-го, я не забуду вас. Нашу «щуку» качали штормы у побережья между Либавой и Виндавой. Мы выслеживали корабли противника, затаясь на перископной глубине, но днем море обычно пустовало — движение немецких конвоев начиналось ночью. Мы потопили, кроме новогоднего транспорта, еще два судна. В одно из них, большое, не менее семи тысяч тонн, Кожухов произвел трехторпедный залп, две торпеды попали, транспорт жутко пылал, вертикально задирая корму, мы видели, как с этой кормы сыпались в воду люди. Они были солдатами Гитлера, — повинуясь ему, ворвались в нашу страну как безжалостные захватчики. Нет, они не заслуживали жалости, но все же…

впервые явилась мысль, что они, немецкие солдаты, все же люди… им объявили, что у них, расово полноценных, особая миссия, и погнали на войну в чужие пределы, а им что — была нужна эта война? Им хотелось геройски умереть, выполняя особую миссию нордической расы?.. Вдруг явилась эта мысль, но я ее прогнал за ненужностью. Захватчики получили свое — гибель в стылой балтийской воде, вот и все.

Последние две торпеды Кожухов влепил в сторожевой корабль, шедший в охранении крупного конвоя. Это было в ночь на 23 января, при сравнительно тихой погоде. На перископной глубине «щука» заняла хорошую позицию в темной части горизонта, готовясь атаковать транспорт, но на визир прицела вышел сторожевик, и Кожухов немедленно скомандовал «пли!». Сторожевой корабль быстро затонул.

Катера-охотники преследовали нас долго, долго. «Щука» лежала на грунте — дышать было все труднее — охотники избивали море глубинными бомбами — взрывы приближались, удалялись — вот же вцепились — уже нечем было дышать…

Командир прохрипел команду всплывать. Артрасчеты вслед за ним поднялись на мостик, бросились к пушкам, началась пальба, — но

предутренний туман разворачивал над водой клубящиеся полотнища… охотников заволокло туманом… полным надводным ходом мы ушли… унесли свои жизни…

26-го пришли в Хельсинки.

Тут, на «Иртыше», меня ожидало письмо от Маши.

«Дорогой Вадя! — писала она своим круглым крупным почерком. — Твое письмо пришло позавчера утром, а вечером того же дня умер дед. Накануне у него начались боли, их снимали, он все больше слабел, не хотел ничего есть, только пил чай. Вдруг попросил полстакана спирта. Ему, конечно, не дали, нельзя, он расстроился, сказал, что „у людей нет жалости, и Бог их за это накажет“. Потом сказал, чтобы маму позвали. И дед попросил у нее прощения. Мама спросила: „За что?“ Он сказал: „За все“. Это были его последние слова. Вадя, мне деда очень, очень жалко…»

Да и мне жалко Федора Матвеевича, кронштадтца в третьем поколении. Ну да, выпивал сильно (Капитолина, помню, сказала, что он загубил алкоголем печень), но ведь никому не причинил зла. А уж мастером по артиллерии он был, может, лучшим в Кронштадте. Сколько пушек, самых разных артсистем, он отремонтировал, поставил,

отстрелял! («Ну сколько? — говорил он. — Разве я считал? Много».) Умер он на шестьдесят пятом году, это, конечно, не мало, но некоторые люди живут значительно дольше. Жалко мне вас, Федор Матвеич. Прощайте…

Еще писала Маша, как ей трудно учиться на заочном отделении. «Слишком много чтения, я не успеваю все прочесть и очень боюсь зимней сессии. Набираю в фундаменталке кучу книг, тащу их в Кронштадт, читаю после работы до поздней ночи. Не высыпаюсь. Вадя, ты читал „Воспитание чувств“ Флобера? Какая чудная книга!..»

Нет, не читал я «Воспитание чувств». Поэтому и не знаю, как их надо воспитывать. И надо ли вообще. Чувства — они и есть чувства. А у кого их нет, то — как их воспитаешь? Но я не собираюсь спорить с Флобером. Он великий писатель. А я кто? Штурман подводной лодки, с вашего позволения. А чувства у меня — беспокойные. Часто думаю о Травникове. Нет, я не сказал Маше, что он жив. И беспокоюсь, беспокоюсь…

Последний боевой поход был у нас в марте–апреле. Накануне выхода произошло событие — может, небольшое, но для меня важное: от нас ушел Ройтберг. Он получил назначение в Политуправление флота — в отдел пропаганды, в

лекторскую группу, что ли. Ну и правильно, он и был прирожденным лектором. Мы — экипаж «щуки» — проводили замполита по-хорошему, выпили дозволенное количество красного вина, и были сказаны соответствующие слова. Да что ж, он делил с нами тяжкие превратности боевых походов, исправно выполнял комиссарскую работу — подбодрял, наставлял, переводил ход мыслей в правильном направлении…

Но я, не скрою, испытал облегчение от ухода Ройтберга. Он и мне пожал руку на прощанье, внимательно всмотрелся и сказал:

— Всего хорошего, штурман. Смотрите, ведите себя как положено.

Да-да, конечно. Я так и веду себя — как положено.

Значит, вышли мы в море без замполита. Ну ничего. Его обязанности, вообще-то, выполнял секретарь парторганизации «щуки» — инженер-механик Круговых.

Мы действовали в Южной Балтике. На подходах к порту Пиллау потопили трехторпедным залпом огромный транспорт, по-видимому вывозивший из Кенигсберга крупную воинскую часть. Кожухов видел в перископ, как транспорт, выбросив столб огня и черного дыма, переломился пополам

и за несколько минут затонул.

— Вот и все, — сказал Кожухов и, нажав на кнопку, отправил перископ вниз. — Боцман, ныряй!

Лодка стала погружаться, но тут же было мелководье, я крикнул:

— Десять метров под килем!

Боцман удержал лодку горизонтальными рулями, командир разворачивал ее мористее, но все же «щука» коснулась килем грунта. Тут началось преследование. Глубинные бомбы рвались так близко, что их удары слились в сплошной рев. Мне было страшно. Казалось, лодка не выдержит, и хлынет в отсеки вода…

Выдержала. Крепко была скроена наша «старушка». Недаром «щуки» пользовались безусловным уважением подводников.

Подходило к концу огромное сражение под Кенигсбергом. Шли немецкие конвои с вывозимыми войсками и боевой техникой. Мы потопили еще одно судно — двухтрубный лайнер. Другая лодка из нашей бригады, действовавшая в этом же районе, тоже потопила два транспорта.

9 апреля Кенигсберг был взят, а вскоре и Пиллау, военно-морская база противника. Война шла к победному концу, развертывалось наступление на Берлин. Для усиления обороны Берлина гер-

манское командование перебрасывало войска из окруженной курляндской группировки, из района Данцига. Конвои шли с сильным охранением, но многие попадали под удары подводных лодок, торпедных катеров и авиации Балтфлота. В Южной Балтике гремели взрывы торпед и бомб, раскаты артиллерии сотрясали море и небо.

Наша «щука» получила приказ о передислокации. Мы вошли в Померанскую бухту, заняли позицию на подходах к Кольбергу, к Свинемюнде. Тут, западнее крупной банки Штольпе, мы выслеживали конвои противника.

Банка Штольпе — вот она обозначена тонкой ломаной линией на карте. Я помню: отец рассказывал, как подводный минзаг «Ленинец», на котором он совершил поход в сорок втором, тут, у банки Штольпе, четырехторпедным залпом потопил два транспорта. Он видел в перископ, как суда буквально на куски разлетелись («Апофеоз войны!» — выкрикнул отец, и глаза его за очками грозно пылали). Конечно, он написал о походе документальную повесть, она вышла в Военмориздате, — нетолстая книжка, бумага неважная, но написана была здорово, в лучшем стиле отца. Называлась книжка — «Девятьсот миль под водой».

От отца изредка приходили короткие письма. В последнем он сообщил, что вместе с войсками Ленфронта вошел в Курессаре — город на эстонском острове Эзель. Это было минувшей осенью. Где отец теперь, в апреле, я не знал. Я бы не удивился, если б он оказался на подступах к Берлину.

Так вот: к западу от банки Штольпе ночное небо дважды озарялось багровым огнем от взрывов наших торпед, и два транспорта с солдатами Гитлера пошли ко дну.

На обратном пути «щука» была атакована немецкими торпедными катерами и чудом уцелела: Кожухов успел отвернуть от идущих торпед (одна из них прошла чуть не в трех сантиметрах от корпуса лодки) и скомандовал срочное погружение.

Израсходовав весь боезапас, мы 26 апреля возвратились в Хельсинки.

День был на редкость удачным: солнце светило ясно и предвещало хорошую жизнь после войны. Война-то шла к концу: наши штурмовали Берлин!

Мы отмылись в душевых «Иртыша». Пообедали — неизбежные макароны, не приправленные качкой и тревогами, были вкуснее, чем там, за-

паднее банки Штольпе. Только я улегся на свою койку, чтобы предаться законному послеобеденному сну, как в каюту постучался Вася Коронец. Он вел обширную переписку почти со всеми девушками Советского Союза и был не только главным получателем писем у нас на «щуке», но и письмоносцем.

— Вам письмо, товарищ старший лейтенант!

— А-а, спасибо, Вася.

Я сел на койке и раскрыл письмо от Маши.

Вадя!

Я потрясена. Телеграмма от Вали! Он жив! Из какой-то Губахи телеграфирует, что, возможно, в мае будет в Ленинграде. Вадя, я не знаю, не знаю, не знаю, что мне делать…

Глава двадцать первая
Тихая суоми

Ночь взорвалась слепящим огнем.

Долгий грохот… вопль разрываемой стали… кружение черной воды над гибнущей субмариной…

Травников, мощной взрывной волной сброшенный с мостика, оглушенный, попытался ухватиться за нож сетепрорезателя на носу лодки, но тот уходил из рук… погружался… скрылся под водой…

А вода резала холодом. Капковый бушлат держал Травникова на поверхности, но понимал Травников потрясенным сознанием, что долго не продержится. Ну полчаса… Вот и все, япона мать… Поплыл, чтоб водоворот на месте погибшей лодки не поволок его следом за ней… Но плыть-то некуда… разве что к маяку, к этому Утэ чертову… Но разве доплывешь?.. Уже окоченел… почти обледенел…

Почудилось, будто крик раздался. Слух возвращался к Травникову, и все отчетливее он слышал: кто-то кричал. Поплыл в сторону крика.

Сквозь посвист ветра, сквозь плеск черной воды, сквозь безнадежность — отчаянный голос:

— Ау-у-у! Есть кто живой?.. Э-эй, кто плывет?

— Травников! — крикнул Валентин, подплывая. — Это ты, Лукошков?

— Я, товарищ лейтенант! — откликнулся сигнальщик, чья голова в шапке то появлялась, то уходила в воду. — Командира тоже… — Лукошков захлебнулся.

— Что — тоже? — Травников подплыл, схватил его за руку. — Что командир?

— Тоже сбросило с мостика… видел его в воде… меня унесло…

Опять голова сигнальщика ушла в воду.

— Лукошков! — Травников схватил его за воротник бушлата. — Держись, Лукошков!

— Да что ж, — ответил тот, слабо шевеля руками. — Капóк держит…

Капковые бушлаты — стеганые куртки из прочной ткани, с подкладкой из волокон тропического растения, — и верно, держали их на воде. Но дышать становилось все труднее, холод вползал в тело и в душу.

— Где ты видел командира? В какой стороне? — Травников еле ворочал языком.

— Там… — Лукошков неуверенно повел рукой.

Поплыли в ту сторону. Но силы убывали. Волны качали вверх-вниз, вверх-вниз. Не было уже сил. Вверх-вниз…

— Товарищ лейтенант… разрешите поцеловать… перед смертью…

Холодные губы к холодным губам — поцеловались.

«Вот и все. Кончен бал. Кажется, я засыпаю, — медленно думал Травников, качаясь на волнах. — Замерзаю, засыпаю… вот и хорошо… перестану мерзнуть…»

Вспышка белого света ударила по глазам… по нервам…

— Подводная лодка! — сдавленный голос Лукошкова.

Травников перевернулся со спины на живот. Распластавшись, посмотрел на нечто черное, большое, приближающееся. Оттуда бил прожектор — его луч прошелся по зубцам волн, по двум головам на воде — прошелся и вернулся, задрожал, остановился — кто-то всматривался. Травников зажмурился от невозможно яркого после огромной черноты света.

А когда раскрыл глаза, то увидел черную рубку подводной лодки — она и вглядывалась в ночь нестерпимым прожектором. И медленно прибли-

жалась. Видимо, по инерции: не слышно рокота электромоторов. Теперь были видны на верхней палубе несколько темных фигур. Они протянули багры. Травников сделал попытку отплыть, но сил-то не было. Багор вцепился в его куртку и потащил, чьи-то руки вытянули на палубу лодки. Лукошкова тоже вытащили из воды.

— Вы кто? — крикнул Лукошков темным фигурам.

Тут же, получив удар кулаком в зубы, он простонал и умолк.

Их обоих спустили по крутому трапу в отсек и, мокрых, продрогших, бросили на железный настил. Слышалась чужая речь — нет, не немецкая. «Финны, — подумал Травников. — Значит, финская лодка нас потопила… попал я к финнам в плен… Япона мать…»

Ходили по отсеку подводники в черных комбинезонах и картузах.

Взревели дизеля. Куда направилась финская лодка? Что еще предстоит увидеть? С этой грустной мыслью Травников закрыл глаза.

Вдруг оборвался дизельный гул. С мостика что-то крикнули, из центрального отсека ответили. Голоса, голоса, чужая речь — что-то происходило.

Через полчаса сверху, с мостика, спустили человека без шапки, в капковом бушлате, — как показалось Травникову, безжизненного. Бросили на палубу отсека. С него стекала вода, мокрые черные волосы прилипли ко лбу. Один из финнов, нагнувшись, снял с его груди, стащил через голову бинокль, висевший на ремешке.

Травников подполз к безжизненному телу, потеребил за плечо, тихо позвал:

— Товарищ командир… Михаил Антоныч!..

Командир «эски» Сергеев приоткрыл затуманенные глаза, хрипло вздохнул, пробормотал чуть слышно:

— Травни… где мы?.. На том све?..

Мариехамн — главный город Аландских островов, куда пришла финская подводная лодка, — в памяти Травникова не остался. Вот только белые домики под красными островерхими крышами видел он, когда их, взятых в плен, везли из гавани куда-то. А может, приснились ему белые домики. Единственной реальностью был кашель. Дикий кашель разрывал Травникову грудь. И невозможность согреться. Жизнь в полусне души, в мучительных содроганиях тела. Узкая комната без окон, да и не комната, а подвал, что ли. Пожилой солдат приносил еду — хлеб и

миску водянистого супа, вечером еще и кружку напитка, отдаленно напоминающего кофе. Скорчившись на топчане под жидким одеялом после очередного приступа кашля, Травников думал: «Загибаюсь… погибаю, мама… а ты, Маша, как же ты… не забывай…»

Сколько дней и ночей прошло тут — он не знал, потерял счет. Не меньше недели, наверное. Вдруг вместе с солдатом вошла в камеру женщина, тоже пожилая, тоже в армейской одежде, в хаки. И поставила на табурет миску молока. Сделала Травникову приглашающий жест — пей, мол. Травников взял миску, отпил. Вот же чудо — теплое молоко!

— Спасибо, — пробормотал он.

Женщина смотрела сурово. Ни слова не сказав, вышла вслед за солдатом.

Теплое молоко — глоток за глотком — вливало жизнь в умирающее тело. Допив до конца, Травников, ладонью вытирая губы, сказал себе решительно: «Буду жить!»

И вот же продолжение чуда: кашель пошел на убыль.

Ранним утром его разбудили, вывели во двор (было еще темно, моросил дождь) и посадили в крытый грузовичок. А там сидела неподвижно и,

похоже, дремала темная фигура. Вдруг она зашевелилась, Травников услышал знакомый голос:

— Товарищ лейтенант? Это вы?

— Да! Привет, Лукошков.

Обрадованные, что снова оказались вместе, они, трясясь в грузовике, говорили — о том, что не знают, где командир лодки, да и жив ли, он ведь был полумертвый, когда из воды вытащили. Жаловался Лукошков, что от голода и холода все болит, особенно спина, позвоночник согнуло, без боли не разгибается, а у него и раньше, до службы, болел хребет, оттого что он с лошади упал, когда однажды колхозных лошадей в ночное гнали.

Еще не рассвело, когда приехали в гавань. Но можно было различить стоящие у пирсов суда — качались их мачты, тут и там рокотали моторы. В трюм небольшого судна, похожего на наши буксиры, втолкнули Травникова и Лукошкова. Сверху доносились голоса, топот ног. Потом за переборкой застучал, набирая обороты, двигатель. Ну и усилившаяся качка подтвердила, что вышли в море. Валентин и Лукошков растянулись на соломе, устилавшей палубу. Впервые за дни плена им было тепло: согревала переборка, за которой работала машина.

Но долго, долгие часы, не приносили еду. Да и

пить очень хотелось. «Вот же гады!» — бормотал Лукошков. Наконец приоткрылся люк, сверху солдат свистнул. Поднявшись по невысокому трапу, Валентин принял из его рук две миски с каким-то варевом, а потом чайник с горячей водой. Спросил по-немецки:

— Wohin gehen wir?[9]

Солдат, поняв вопрос, хмуро бросил:

— Турку.

И с грохотом задвинул лючину.

В тюрьме на окраине города Турку продержали несколько суток. Травникова водили на допрос. Лысоватый финн, в штатском, но с военной выправкой, оглядел его сквозь очки и, не предложив сесть, спросил на приличном русском:

— Вы есть офицер подводной лодки?

— Был, — сказал Травников.

— Так. Сколько ваших лодок сейчас в действии в море?

— Я военный человек и нахожусь под присягой. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос.

— Вы есть не под присягой, а в плену. Отвечайте.

— Не могу, — повторил Травников.

---

[9] Notes: 9
Куда мы идем? *(нем.)*

— Не можете. — Финн смотрел на него без злости, но холодно. — Так. Вам будет барак не офицеров.

Надзиратель повел Травникова в камеру. Шли длинным коридором, тут приступ кашля остановил Травникова. Он согнулся, прижав руки к содрогающейся груди.

Вдруг услышал:

— Валентин Ефимыч, что с тобой?

Вскинул взгляд на Сергеева, которого вели навстречу — тоже, наверное, на допрос. Он, Сергеев, оброс черной бородкой и заметно похудел, китель на нем висел, как на вешалке, — но был жив! Он остановился, подойдя к Травникову. Надзиратель, который вел его, что-то гаркнул по-фински и подтолкнул в спину, но все же они успели перекинуться несколькими словами. Сергеев сказал, что на него сильно давят и даже грозятся увезти в Германию.

— Держитесь, ребята! — крикнул он, уводимый надзирателем.

— И вы, Михал Антоныч, держитесь! — прокричал сквозь кашель Травников.

Ясные ночи над Кеми были полны звезд. Травников, выйдя из барака, по дороге в дощатый гальюн останавливался и задирал голову. Боль-

шая Медведица пылала во всю свою звездную мощь и знать ничего не хотела о непотребствах, творящихся на мелком, вообще-то, космическом островке по имени Земля. От ее ковша Травников вел линию к Малой Медведице и упирался взглядом в Полярную звезду — невзрачную, неяркую, но как бы исполненную чувства собственного достоинства: ну как же — маячок, указывающий на север.

«Север, север… Ухожу все дальше на север, — думал Травников, задрав к звездам голову. — Все дальше от тебя, дорогая… К северу от Турку, в тюремном лагере Пори, от голода, от пеллагры ежедневно умирали пленные. Было голодно: триста граммов серого хлеба, миска супа, кружка теплой воды. Гоняли на работу — рыли колодец, а когда вырыли, велели его засыпать, — издевательство, а не работа. Лукошков не смог подняться с нар, спина болела, — охранник поднял его кулаками и, избитого, согнувшегося, выгнал из барака, сунул в руки лопату: «Копай, са́тана пе́рккала!»

В начале зимы их, Травникова и Лукошкова, в составе группы военнопленных увезли в Кеми — город на крайнем севере Ботнического залива. Тут, в окрестности Кеми, был пересыльный лагерь — десяток бараков в поле, огороженном

колючей проволокой. А за ограждением темнел лес.

В шесть утра лагерь подняли и выгнали в темень, в мороз — очищать территорию от снега. С четырех углов вспыхнули прожектора, и пошла работа. Лопатами насыпáли снег в большие тележки с оглоблями, тянули за эти оглобли к воротам и там, за ограждением, вываливали снег.

Мороз здорово прихватывал. Хорошо хоть, что перед отъездом из Пори выдали теплые куртки — говорили, что эти куртки-хаки купили в Англии в начале той, «зимней» войны, а теперь, спустя три года, они стали «б/у», то есть «бывшими в употреблении». Ну, английские они или нет, не важно — главное, что теплые. На их спине была намалевана масляной краской крупная буква «V», то есть «vankki» — «пленный».

В восемь звуки гонга возвестили перерыв на завтрак. Выдали кусок хлеба граммов около трехсот — столько выдавали в Пори на весь день, а тут на завтрак. И кружку горячей воды с легким, если принюхаться, запахом кофе.

После завтрака к Травникову подошел, прихрамывая и сутулясь, один из пленных:

— Ты мичман Травников? — Голос у него был — будто клокотало в груди.

— Лейтенант Травников.

— А-а, лейтена-а… А меня не узнаешь?

Травников всмотрелся: лицо, обросшее темно-рыжей, неровно подстриженной бородой, было незнакомо. Вот только глаза, темные, полуприкрытые веками (отчего казалось, что взирают высокомерно), — да, похоже, что где-то видел Травников эти глаза.

— Я был в твоем взводе на Свири. В третьей бригаде морпехоты.

— Савкин! — вспыхнуло у Травникова в памяти. — Так ты живой! Считали, что ты погиб тогда… в марте…

— Бросили меня, раненого, в лесу, — клокотал голос пленного, и угрюмо смотрели глаза.

— Да нет же… Вспомни обстановку… Сахацкий дал сигнал отходить на лед… А обойти всех бойцов по укрытиям — ну не было возможности… под огнем…

— Меня пулями изрешетили. Я кричал, никто ко мне…

— Савкин, тебя не слышали, огонь же… — Травников разволновался. — Не должен думать, что бросили тебя… Отходили по сигналу, по ракете… Меня тоже ранили, уже на льду…

— Курево есть у тебя? — оборвал Савкин труд-

ный разговор.

— Откуда? Не выдают финны… два месяца без курева…

— Вот. — Савкин вытащил из кармана куртки жестяную коробку и раскрыл ее. — Закуривай.

— Ох, спасибо!

Отвыкшими пальцами Травников насыпал на клочок финской газеты табачную крошку, свернул и склеил слюной самокрутку. У Савкина и спички нашлись.

Вкус у табака был — ну не табачный, кисло-горький. Но все же вдохнуть дым в изголодавшееся горло — это, знаете, знаете…

— Сосновую кору натираем, — говорил меж тем Савкин, тоже закурив. — А еще есть у нас умельцы, вырезают из еловых веток такие, знаешь, фигурки — собачек, черта лысого, — финнам нравятся, дают за них табака немного. Добавляем его, значит, в кору…

Валили лес. Еловые стволы распиливали на двухметровые бревна (говорили, ель шла на выделку фанеры). Заснеженный лес стоял тихий, будто завороженный, ну а как иначе, недаром же называли Финляндию *тихой Суоми*.

Однажды высмотрели неподалеку от делянки оленьи следы. Олень! Это ведь гора свежего мяса!

Савкин и еще двое-трое «старых» военнопленных деловито соображали, как оленя, ходившего тут по лесу, *взять*.

Лучковых пил в лагере много. С нескольких сняли веревку, понаделали петель, разложили на оленьих тропах, меж сосен подвесили. Но день проходил за днем, а никто в те петли не влез.

— Олень не дурак, — хрипел Карпов, сорокалетний «старичок», сидевший в плену с осени сорок первого. — Чего он в петлю полезет? Подстеречь его надо и — топорами.

— Тебя что — охрана пустит ночью оленя подстерегать? — заклокотал Савкин.

— Чего, чего ночью? Олень и днем ходит. Ему жрать надо, он под снегом ищет мох или чего там… ягель…

— Жрать всем надо, — объявил Савкин.

— Глубокая мысль, — усмехнулся Травников. — Ты, Владлен, философ прямо.

— Прямо! Прямо ничего не бывает. Всегда криво.

— Ну уж всегда.

— Ты прямо жил, так? А чего же тебя вкривь занесло — в плен?

— Так же, как и тебя. Нам не повезло.

— Очень даже повезло. Твоя лодка погибла, а

ты жив. Меня изрешетили там, за Свирью, а я живой. Кривая жизнь, но жизнь.

Травников отвернулся. Владлена Савкина не переспоришь: упрям, как закавказский осел. А насчет везения — может, он и прав. Десяток пулевых ранений — истекал кровью, но финны подобрали и, вместо того чтобы пристрелить умирающего, перевязали, на волокуше привезли в барак, где и их раненые лежали… («Ну что, — клокотал Савкин, вспоминая о своем везении, — финны, они разные. Если шюцкоровец, то разорвет тебя на куски. А обычный солдат пленного не тронет. Кусок хлеба даст. Да вот и охрана тут — разные они, это ж видно…») Но понимал Травников, что главное в савкинском везении — отчаянная, яростная жажда выжить. На самом крайнем краю жизни удержаться.

День за днем, день за днем. Визжали пилы в лесу, падали, прошумев кронами, сосны и ели. Тюкали топоры, обрубая ветки. Но однажды…

— Тихо, братцы! — крикнул Лукошков. — Да тихо же!

Приумолкли пилы, люди на делянке стали прислушиваться.

— Во-во, мычит! — указал Карпов в ту сторону, откуда, и верно, доносилось вроде бы негромкое

мычание.

По глубокому снегу поперли туда. И увидели: рогами запутавшись в петле, бьется олень, пытается высвободиться, но еще больше запутывается в веревках. Увидел ломившихся к нему людей, жалобно замычал — словно помощи просил. Травников ужаснулся, когда, упав под ударами топоров, олень дернулся последний раз и из его огромных выпуклых глаз выкатились слезы.

Пленные гомонили, радовались — шутка ли, столько мяса привалило. Поволокли большую тушу в лагерь, оставляя на снегу кровавый след. Охрана — несколько солдат с автоматами «Суоми» — смотрела сквозь пальцы.

Кухня оленя приняла охотно. Повара и сами были не прочь полакомиться олениной. Но и пленным перепало. Два дня получали на обед по куску вареного мяса.

Зима шла к концу. Врывались метели, в их завываниях чудилось издевательское: «А-а-а-а, еще не насиделись, ну посидите еще-о-о-о…»

Савкин подобрал выброшенную кем-то из охраны газету и — вот же дотошный малый! — сумел не то чтобы прочесть, а догадаться, что в газете сообщалось о крупном поражении «tyska trupper», то есть немецких войск под Сталинградом.

Обычно по вечерам, после изнуряющей работы в лесу, после тощего ужина, валились на нары. День пережит, жив остался, ну и слава богу, теперь набраться бы сил, чтоб и завтрашний день пережить. А тут — столпились вокруг Савкина: где, где про Сталинград?!

— Да ты правильно прочел? Может, там наоборот, что взяли они Сталинград.

— Нет! Отбили их!

— Где Травников? Он языки знает, дай ему газету!

— Я финского не знаю. — Травников взял мятую газету. — Где про Сталинград? — Он вчитался, бормоча незнакомые слова. — Да и не финский это язык, скорее, шведский… — Почесал желтую свою бородку в раздумье.

— Ну чего обрадовались, коли ни хера не понятно, — сказал рассудительный Карпов. — Как гуси — га-а, га-а!

— Вот некоторые слова… — размышлял меж тем Травников. — Вот — похоже на немецкое «gekesselt»… то есть попасть в котел… А знаете, Савкин верно догадался: немцев под Сталинградом наши побили.

В тот вечер долго не утихали разговоры о том, что же теперь будет. «Наступление» — это

прекрасное слово, как мяч, перекатывалось по бараку. Может, теперь и Ленфронт перейдет в наступление и разобьет финскую армию, и тогда… А что тогда?..

— Дожить бы… — со вздохом сказал Лукошков, лежавший на нарах рядом с Травниковым. — Вот бы хорошо, да, Ефимыч? До конца войны дожить…

— Доживем, Ваня, — сказал Травников. — Непременно доживем.

— Не-е… Разве Ялый даст дожить?

Ялый — так называли пленные капрала Ялонена — был бешеный. В зимней войне 39–40 годов под Выборгом горячий осколок проехался по лицу Ялонена, выбил глаз, распорол щеку. С обезображенной физиономией, с черной повязкой на глазу, он остался в армии на нестроевой службе. Свою ненависть к Советам Ялонен вымещал на военнопленных тут, в Кеми. Не упускал случая, чтобы огреть по спине дубинкой, с которой не расставался. Если б не начальник лагеря, флегматичный капитан (или как там назывался по-фински его чин), то Ялый, вполне возможно, покалечил бы всех пленных. Ну, бешеный.

Особенно Лукошкову от него доставалось. У Лукошкова, бывало, спину, поясницу так ломило,

что шагу сделать не мог, но Ялый не верил, считал его симулянтом, побоями выгонял из барака.

Он, Лукошков, был по-крестьянски терпеливый. Но иногда сильно падал духом.

— Маманя писала, что Гришка, старший мой брат, пропал без вести, — жаловался он Травникову. — А теперь, значить, и я пропал…

— Не пропадешь, Ваня, — утешал Травников. — Кончится война, поедешь домой. К мамане.

— Не-е. Ялый не даст дожить… Да и когда она кончится… не видно…

В полутьме барака Травников всматривался в лицо Лукошкова, прежде улыбчивое, с чертами правильными и приятными, а ныне исхудавшее, с провалившимися в глубокую тень глазами. В прежней — до плена — жизни хвастал Лукошков, что сам Чапаев Василий Иванович приходится ему земляком — из соседнего, значит, села. А теперешние воспоминания у него приправлены горечью. «Да ну, трудодни, — говорил, бывало, — от них сытыми не были. Одной картохой с огорода брюхо набивали». Травников к этому бесхитростному парню душевно расположился. Пытался помочь: растирал ему поясницу, убеждал, что немцы, а с ними и финны, непременно будут разгромлены, потому что на нашей

стороне постоянно действующие факторы.

А в марте группу пленных перевели на новые делянки. Ничем они от прежних не отличались, все те же сосны да ели. Но вечером в бараке к Травникову на нары подсел Савкин и — горячим шепотом:

— Валя, слушай, что скажу. Эти делянки, где сегодня пилили, недалеко от шведской границы. Километров тридцать. Ты понял?

— Что хочешь сказать? — Травников взглянул на лицо Савкина, густо обросшее темно-рыжей бородой.

— На закат солнца пойдем. — Савкин еще понизил голос. — Когда начнет темнеть, за час до конца работы. Пока охрана считать-пересчитывать будет, они ж не торопятся, — мы по лесу далеко уйдем. Ну?

— Шведская граница, кажется, проходит по реке.

— Да! Торнио-йоки. Так она же замерзшая, лед еще крепкий. Валя, суши сухари!

— Если до шведов дойдем, ты уверен, что они нас финнам не выдадут?

— Ну… Швеция ведь нейтральная. Есть же правила международные. Попросим, чтоб нас интернировали.

— Интернировали… — Травников с сомнением покачал головой.

Но мысль о побеге билась в мозгу, как пойманная птица. Тут, в лагере, *не жизнь*. Истощение сил, кашель душит, медленная гибель. А там, если удастся перейти эту Торнио-йоки, то шведы, может, и впрямь… по правилам…

А Савкин наседал, клокотал: «Не тяни, решайся, ты ж боевой офицер… дни становятся длиннее, трудней будет скрыться в лесу…»

Все решил Лукошков!

Травников ему, конечно, рассказал о савкинском плане побега. И Лукошков вдруг всполошился:

— Ефимыч, я пойду с тобой!

— Тихо, тихо. — Травников огляделся, хотя возле будки сортира никого не было. Новорожденный лунный серп, вынырнув из плывущих облаков, тихо коснулся их лиц неярким светом. — Ваня, я и сам еще не решил. Тридцать километров по лесу — а какие мы ходоки? Сил разве хватит?

— Хватит, Ефимыч! На такое дело — хватит!

— Если и дойдем, то неизвестно, как шведы нас встретят.

— Ну не убьют же! Зачем? — Лукошков был очень возбужден. — Хуже, чем тут, не будет!

— Это верно… Хуже не будет…

Сгущался сумрак в лесной чащобе, но в западной стороне слабо догорал закат. Туда и шли трое. Им удалось уйти с делянки, бросив пилы, — уйти не замеченными охраной. Да и не могла охрана уследить за всеми пленными, работавшими врассыпную в лесу. Только в семь вечера, когда рожок возвещал окончание работы, охрана обходила делянки, поторапливала пленных строиться в колонну, а те, усталые, не торопились…

К тому времени, когда шло построение, трое ушли довольно далеко. Да, ходоки они были плохие — все прихрамывали, и дыхание у всех рваное, со свистом. Но когда решаешься на такое дело — известно! — организм мобилизуется и очень прибавляется сил.

Уже погасла желтая полоска заката, и стемнело дочерна, когда трое вышли к реке. Река, отсвечивая синеватым льдом, сохраняла немного света ушедшего дня. Она показалась широкой. Савкин знал, что с финской стороны пограничная Торнио-йоки не охраняется.

На заснеженном берегу нашли скалистую проплешину, не заваленную снегом, и сели — дать отдых натруженным ногам и перевести дыхание, которое рвалось хрипло и часто, как удары

молота. Были у них в карманах курток и сухари, насушенные за несколько дней до побега. Ветер, пахнувший оттепелью, прошелся над их головами.

Реку переходили осторожно: лед был не гладок, с торосами и застругами. Савкин, проехавшись по скользкой дорожке, грохнулся, отбил себе зад и, матюгнувшись, захромал еще пуще.

Шведская сторона реки мирно спала под снежным одеялом. Беглецы, давлением своих тел прокладывая дорогу, поднялись на высокий берег и остановились.

— Ну вот, — сказал Травников, учащенно дыша. — Привет, Швеция!

— Свобода! — сказал Савкин, потирая зад.

Лукошков ничего не сказал. Просто улыбался. И оглядывал местность. Он же был сигнальщиком на подлодке — он умел смотреть. И углядел в левой стороне слабый-слабый желтый огонек.

Туда и пошли — к властям нейтральной, не воюющей с Советским Союзом страны.

Поселок был небольшой, зажатый между рекой и лесом. Несколько фонарей горели на единственной улице. Домики почти все были двухэтажные, из труб на их крышах валил белесый дым.

Беглецы постучались в крайний домик посел-

ка. Открыл пожилой швед с седым обрамлением обширной лысины, в пестром свитере. Оглядел незваных гостей, в дом не впустил, молча выслушал сбивчивую речь Травникова на немецком. Сказал что-то по-шведски, покачал головой — и закрыл дверь.

Трое спустились с крыльца. Что же делать? Стучаться в дома — нет смысла. Не поймут, не впустят…

Вдруг дверь снова открылась, тот же швед вышел, в огромной шапке, в меховом пальто, и сделал знак идти за ним. Привел он их к дому, такому же, как и другие дома поселка, но с какой-то вывеской на крыльце. То ли это было управление погранохраны, то ли просто полиция — ну, не важно. Умный швед привел беглецов куда надо. Он указал на дверь рядом с вывеской, кивнул на прощанье и пошел к себе, поскрипывая сапогами по снегу.

В жарко натопленной комнате двое в темно-синих мундирах играли в карты. Они непонимающе уставились на беглецов, которых впустила в дом женщина, не молодая, но красивая, синеглазая. Она жестом попросила Травникова повернуться спиной к игрокам. И те, увидев крупную букву «V» на его куртке, все, конечно, поняли. Один

из них, то ли офицер, то ли сержант, немного говорил по-немецки.

— Was wollen sie?[10] — спросил он, прищурив светлые глаза с черными точками зрачков.

Травников, волнуясь, путаясь в немецких словах, изложил просьбу об интернировании, поскольку Швеция с Советским Союзом не воюет. «Kein Krieg zwischen uns»,[11] — повторял он настойчиво, эта объективная данность ведь была единственной надеждой на спасение.

Светлоглазый швед коротко взмахнул рукой — замолчи, мол, — и заговорил с напарником. У напарника, тощего дылды, был скрипучий неприятный голос. Травников вслушивался, но шведская речь была непонятна. Ему казалось, что дылда настроен против них, в его речи дважды мелькнуло «Кеми». Светлоглазый позвонил куда-то и довольно долго говорил и слушал. Телефон был старый, эриксоновский, висел на стене рядом с географической картой. Беглецы стояли посредине комнаты, безмерно уставшие, страшно напряженные, — в шведских разговорах решалась их участь.

---

[10] Notes: 10
Что вы хотите? *(нем.)*

[11] Notes: 11
Между нами нет войны *(нем.)*.

Наконец светлоглазый офицер обратился к Травникову:

— Also, hören sie. Den Kriegsgefangenen — keine Internierung[12].

— Warum? — вскричал Травников. — Es ist kein Krieg zwischen[13].

— Keine Internierung, — повторил офицер.

Тощий сержант отвел беглецов на второй этаж, тут была большая комната, посредине стол, у стен четыре койки, чисто заправленные, вообще все очень чисто, никакая не камера, два окна без решеток. Дылда приоткрыл дверь, показал — тут, мол, туалет. Потом предложил сесть за стол. Горстью у рта изобразил еду. И верно, синеглазая женщина внесла поднос с большой желтой кастрюлей и тарелками. Сняла крышку. От духовитого тушеного мяса с картошкой, политой острым соусом, у беглецов голова закружилась. Ели самозабвенно. Такая еда! «Вот же живут люди!» — простонал Лукошков, хлебной корочкой очищая тарелку. Тощий сержант смотрел на них с улыбкой и, когда неслыханное пиршество по-

---

[12] Notes: 12
Итак, слушайте. Военнопленным нет интернирования *(нем.)*.

[13] Notes: 13
Почему?.. Нет войны между *(нем.)*.

дошло к концу, положил на стол пачку папирос с изображением корабля викингов. О-о, еще и настоящие папиросы!

Когда женщина унесла посуду и вышел сержант, затворив дверь ключом, Травников сказал:

— Ребята, интен… иртен-рирования не будет. — Язык у него заплетался, от непривычной сытости страшно клонило в сон. — Надо бежать, ребята…

— Куда бежать? — проклокотал Савкин, снимая башмаки и валясь на койку.

— Не знаю куда… Из окна выпрыгнуть можно… невысоко…

— А дальше? — Савкин протяжно зевнул. — Куда бежать?

Бежать было некуда.

Еще было далеко до рассвета, когда в доме раздались стуки, голоса, тяжелые шаги. Дверь в комнату, в которой мертвым сном спали трое беглецов, отворилась, вспыхнул электрический свет.

Первый, кого увидел, вскочив, Травников, был капрал Ялонен. Под его высокой шапкой косая повязка черной кляксой закрывала выбитый глаз. Но уцелевший горел хищным охотничьим огнем.

— Ну, капец! — потерянно вздохнул Лукошков,

влезая в брюки. — Пропали мы…

— Заткнись, — проклокотал Савкин, сидя на койке.

Непокорным своим видом, в дырявом нижнем белье, он как бы выказывал пренебрежение к опасности. Ялый, дернув обезображенной щекой, проорал ему длинную фразу-угрозу. Но одевался Савкин вызывающе неторопливо. Ялый поигрывал пальцами по стволу автомата, висевшего на шее, бормотал ругательства, но ускорить одевание не мог. Солдат, приехавший с ним, тоже с автоматом, спокойно стоял у двери, ни на кого не глядя.

Шведский дылда-сержант и синеглазая женщина вышли на крыльцо проводить уводимых беглецов. Сержант взмахнул рукой на прощанье.

— Спасибо нейтральной Швеции! — крикнул им Травников, залезая в машину.

Машина — темно-зеленый крытый грузовик — рванула с места и затряслась на заснеженной дороге. Беглецы закурили шведские папиросы, Травников и солдату-охраннику, сидевшему у двери, предложил, но тот молча покачал головой. Реку переезжали медленно, неровный лед сотрясал машину. Потом началась, тоже нелегкая, дорога через лес. Уже рассвело, когда въехали в

лагерь Кеми.

Наказание за побег — пятнадцать палок — было назначено в тот же день. В небольшом спортзале, где шведская стенка и несколько снарядов служили для упражнений охраны, стояли два стола для пинг-понга. С них сняли сетки. Беглецам велели раздеться по пояс. Травникова и Савкина уложили ничком на столы. Начальник лагеря, пожилой капитан, сделал знак начинать. Травников содрогнулся от первого удара палкой. Бил его капрал, по прозвищу Косопузый, не замеченный в особой жестокости. Может, он и бил-то не в полную силу, но Травников скрипел зубами от боли. И удары считал. Последние пять или шесть были, как бы сказать, помягче. Затем Косопузый обтер ему спину мокрой холодной тряпкой и велел встать. Травников, пошатываясь, шагнул к длинной скамье вдоль стены и повалился на нее ничком, хрипло дыша.

Савкина бил Ялонен. Он-то не давал пощады — размахивался и лупил. Савкин сносил экзекуцию молча. Но подняться после ее окончания не смог. Ялый и один из солдат подняли его и, обтерев кровоподтеки на спине, уложили на скамью возле Травникова.

Затем на стол положили Лукошкова, и неуто-

мимый Ялый снова взял палку.

Лукошков вскрикивал после каждого удара. Вдруг — после сильного удара по пояснице страшно простонал (как показалось Травникову: «Ой, мама!») и умолк.

— Прекратите! — заорал Травников, пытаясь подняться. — Не убивайте!

Но уже и капитан дал Ялонену команду остановить экзекуцию. Лукошкова повернули на бок. Глаза его были закрыты. Губы сомкнуты в застывшей гримасе боли. Капитан нащупал его сонную артерию.

Все было кончено. Ваня Лукошков умер от болевого шока.

Летом сорок третьего чистили лес от старых деревьев где-то близ Рованиеми.

Не спалось Травникову белыми ночами, когда (всплывало в памяти) «одна заря сменить другую спешит». В деревянном сарае, превращенном в барак для пленных, лежал он среди тяжелого храпа с обеих сторон и глядел в оконце, за которым начинался новый день, томительный и безнадежный.

Нет-нет, надежда все-таки была. На днях ранним утром, когда строили колонну для отправки в лес, подъехала грузовая машина (продовольствие

привезла), из ее кабины высунулся пожилой шофер и крикнул по-русски:

— Эй! Ваши забрали Орел! И Белый Город!

Ага, значит, шло наступление! Значит, *уже и летом* наши наступают… Орел и Белгород взяли! И, по слухам, прорвали в январе немецкую осаду Ленинграда. А значит, и Кронштадта. «Маша, тебе полегче стало? — беззвучно кричал он в белую ночь, плывущую за решетчатым оконцем сарая. — Маша! — звал он мысленно. — Ты была в моей жизни?..»

А зимовали опять в Кеми.

В декабре похоронили самого старого военнопленного — Карпова, у него ночью остановилось сердце. За третьим бараком был ров, в нем хоронили умерших бедолаг. Карпов, уроженец города Мурома на Оке, лег рядом с Ванечкой Лукошковым, земляком самого Чапаева, сигнальщиком подводной лодки-«эски», кавалером ордена Красной Звезды.

Эта зима тянулась особенно долго.

Работали не только в лесу, но и в городе Кеми. Расчищали от снега обширный двор лесопильного завода, шваркали деревянными лопатами. Из здания заводской конторы вдруг высыпала стайка девушек, побежала по расчищенной до-

рожке — может, в столовую на обед? Звонкие голоса, смех, шапочки с помпонами. «Vankki», пленные, загляделись на девиц. *Так давно* не видели… Савкин, мимо которого они плыли, широко распахнул глаза, обычно полуприкрытые веками, и выронил из рук лопату. Девицы засмеялись, что-то ему крикнули… щебеча побежали дальше, скрылись за дверью противоположного корпуса. Были — и сплыли…

Вечером в бараке Савкин подсел к Травникову на нары.

— Валя, — проклокотал он, — ты в Русском музее бывал?

— Да, был.

— Помнишь там большую картину, называется «Фрина на празднике Посейдона»? Художника Семипадского.

— Может, Семирадского?

— Да, Семирадского.

— Помню. Ну и что?

— Я много раз бегал в музей — смотреть ее.

— Понимаю. Красивая женщина, стоит голая, на нее восторженно глазеет толпа. Древние греки, кажется.

— Сегодня на лесопилке, когда девки бежали… мимо меня одна — ну в-точь эта Фрина…

— То-то ты лопату уронил.

Савкин, понуро сгорбившись, помолчал; должно быть, всматривался мысленным взглядом в ту картину.

— Владик, — тихо позвал Травников, — у тебя с женщинами ничего не было, да?

— Не твое дело, — отрезал Савкин.

Встал, заковылял к своим нарам.

Весна сорок четвертого началась с крупного для лагерного люда события: в обед стали давать в дополнение к супу кусок вареной рыбы. С чего бы этот приварок? А хрен его знает! Что-то происходило, а хорошее или плохое вызревало в тумане будущего — было, как всегда, неизвестно.

В апреле большую группу пленных посадили — по сорок голов — в теплушки, и поезд повез их на юг от Кеми. О южном направлении свидетельствовала местность, от станции к станции освобождающаяся от снега.

И началось неожиданное. На какой-то станции состав загнали на тупиковую ветку, возле которой вперемешку стояли конные повозки и автомашины. Одну из теплушек выгрузили — пленные вылезли из вагона, — их построили и стали передавать невоенным финнам. Долго записывали что-то в толстых тетрадях, а потом

рассадили пленных в повозки и машины, и невоенные хозяева куда-то их повезли.

Ну и ну, прямо работорговля!

На следующей большой станции выгрузили вторую теплушку, и повторилась раздача пленных финским хозяевам — может, окрестным фермерам.

Третья остановка была на станции Паркано. Здесь среди аккуратных клумб с подснежниками тоже стояли повозки и несколько машин, и тут разгрузили третью, последнюю теплушку.

Травников вылез из вагона. Свежий ветер ударил в лицо, сорвал и покатил по сырой земле шапку. Травников побежал за ней, но кашель остановил его. Здоровенный финн, ростом метра два, из группы ожидающих хозяев, подхватил шапку и протянул Травникову. Тот сквозь кашель пробормотал «спасибо». Рослый финн не ответил. Его обветренное лицо с бледными глазами и выдвинутой нижней челюстью было словно замкнуто на всю жизнь.

И когда подошла очередь Травникова, он достался именно этому суровому дяденьке.

Заполучив таким образом бесплатного работника, по сути — раба, двухметровый финн молча расписался в тетради и усадил Травникова в дву-

колку — на облучок рядом с собой. Взял поводья, дернул, басовито выкрикнул: «Харра!» — и белый, как финская бумага, жеребец-альбинос помчал коляску по красноватой грунтовой дороге куда-то вглубь Финляндии. Лесной опушкой выехали к озеру, оно долго тянулось справа, над ним, уже свободным от льда, носилась стая крикливых чаек. Потом по обе стороны дороги простерлись поля. Ветер бил Травникову в лицо, опять он зашелся в кашле.

Его хозяин всю дорогу молчал.

Проехали поселок и на его краю подъехали к двухэтажному краснокирпичному дому. Его окружали хозяйственные пристройки. Было слышно овечье меканье.

Из дома выскочил подросток лет десяти, соломенноволосый, в малиновой фуфайке, крикнул Травникову: «Хюве пяйве!» Хозяин отдал упряжь мальчику, и тот повел жеребца в конюшню, громко цокая языком.

Травникова хозяин привел в кухню, просторную и теплую. Тут у горящей плиты хлопотала женщина крупного телосложения, в старомодном чепце, в фартуке с изображением играющих котят. А и живая кошка была в кухне, белая, в желтых пятнах, — лежала на подоконнике и

неодобрительно смотрела на вошедшего незнакомца.

Травников поздоровался с женщиной. Та кивнула, оглядела его с головы до ног и что-то сказала мужу. Они поговорили, потом женщина указала Травникову сесть за стол.

Все тут было крупное, прочное, вроде бы сколоченное из чистых досок. Хозяин тоже сел за стол. Женщина поставила перед ними большие тарелки с овсяной кашей, масло в квадратной масленке, положила круглый хлеб с дыркой посередине. За едой хозяин вдруг обратился к Травникову на ломаном русском:

— Как тебья завьют?

— Валентин. Валя.

— Валья. Почему ты… а-а… — Не найдя нужного слова, хозяин кашлянул несколько раз.

Травников сказал, что корабль, на котором он плавал, подорвался и он, сброшенный взрывом, оказался в холодной воде — с тех пор и кашляет.

— Ты морьяк? — спросил хозяин.

— Да, моряк.

— Комюнист?

— Нет.

На этом Алвар Савалайнен — так звали фермера — закончил застольный разговор, выпил

большую кружку чая с молоком и вышел из кухни. Кристина, его жена, до краев наполнила кружку, тоже большую, молоком и поставила перед Травниковым.

И началась у него совсем другая жизнь. Спал он теперь не на нарах, а на кровати с тугой сеткой, на чистой простыне. Его обветшавшую одежду и прохудившиеся сапоги выбросили. Дали новое белье и верхнее облачение — фуфайку, куртку, штаны из прочной, как парусина, ткани и высокие ботинки со шнурками на крючках. Ботинки были великоваты, но если в их носки запихнуть комки из газет, то ничего.

Впервые в жизни Травников, человек из коммуналок и общежитий, жил теперь в отдельной комнате.

Но вкалывал он — ну если не как раб, то уж точно как батрак. Вставал в шесть утра и отправлялся чистить хлев и свинарник. Задавал корм лошадям, таскал из траншеи силос коровам (их, дойных, было пятнадцать), бычкам и телятам, потом кормил свиней, обступавших, толкаясь, корыто с варевом. Еще были в хозяйстве овцы, Травников не смог сосчитать, сколько их — не меньше полусотни, наверное. Таскать для овец силос помогала ему Бригита, младшая дочь

фермера, двадцатидвухлетняя блондиночка с кофейными глазками и ямочками — от постоянных улыбок — на розовых щечках. Она, Бригита, еще и кошек кормила, их было в доме много. Травникова она учила финскому языку, да он и сам, постоянно его слыша, уже стал не только понимать, но и произносить целые фразы.

А старшая дочь фермера, двадцатисемилетняя Хильда, на Травникова смотрела холодно, чтобы не сказать — сурово. От Бригиты он узнал, что муж Хильды в сорок втором году погиб на фронте, на реке Севири. Не сразу дошло до Травникова, но, когда понял, что имеется в виду река Свирь, он оторопел. Вот же военная судьба — занесла в дом финского солдата, в которого он стрелял там, на Свири, и который палил в него… Вспыхнул в памяти лыжный рейд… бой в лесу… ладожский лед, на который он рухнул, сраженный осколком финской мины… Не был ли муж Хильды минометчиком?.. «А может, тебя свалила моя пуля? — смятенно думал Травников. — А теперь я в твоем доме… ношу твою одежду… твои ботинки… Япона мать!..»

Коров доили Хильда и Бригита, им помогал десятилетний сын Хильды Вейкко. Надои были большие, часть шла на стол для каждодневного

питания, и очень хорошая получалась у Кристины простокваша, также и сливки (по утрам Кристина давала Травникову выпить стакан сливок, и, может, поэтому перестал его мучить кашель). Но бóльшая часть надоев выставлялась в бидонах на обочину дороги, и стояли там бидоны без всякого присмотра, пока их не забирал на телегу кто-либо из соседних фермеров (или сам Алвар, если подходила его очередь) и отвозил в город на молокозавод.

Вообще, все огромное хозяйство было нацелено на продажу. Кроме молока, продавались свинина, картофель, баранина и овечья шерсть, также и урожай пшеницы, выращиваемой на обширных угодьях, — не менее пятидесяти гектаров пахотной земли имел Савалайнен.

Марксистские учебники, по которым Травников учился понимать жизнь, показывали, что Алвар был типичным капиталистом — такой собственностью владел! Но смущало Валентина то, что Алвар не пользовался наемным трудом — не эксплуатировал никого с целью извлечения, как указывали учебники, прибыли в виде прибавочной стоимости. Какой-то он был нетипичный.

Правда, приходил через день некто Олави, сорокалетний крестьянин из соседней деревни.

«Ага, — подумал Валентин не без злорадства, — все-таки есть у тебя, господин Алвар, батрак, которого ты эксплуатируешь». Но и батрак был не совсем типичный. Он имел дом с огородом и садом, но своей земли у него не было, и поэтому этот Олави арендовал у Алвара две сотки под картофель и что-то еще. За аренду безземельный Олави расплачивался своим трудом — работал трактористом да и стригалем, когда приходило время стрижки овец.

Теперь, в майские дни, когда по-северному медленно шел поворот к теплу, а значит — к полевым работам, Олави готовил к пахоте трактор, менял топливный фильтр, ворчал, что карбюратор никуда не годится. Травников слышал, как Олави настаивал, чтобы хозяин купил новый трактор, непременно дизельный, для которого и топливо еще есть в продаже, а для карбюраторного двигателя где теперь купишь бензин? Алвар сердился, утверждал, что трактор еще хорош и бензина на этот год хватит. Он отменил все поездки на автомобилях — грузовом и легковом, ездил на лошадях, жестко экономил бензин для трактора.

Обедать садились всей семьей, и Травников тоже. Еда была простая, но — сытная. Супов Кристина не варила. Но всегда был большой кусок

тушеного мяса, свинина или баранина, с картофелем или овощами. И кружка парного молока на десерт. Алкоголя — никакого. Алвар не пил и другим не давал пить за столом. Только когда Тойво приехал, он закрывал глаза на бутылку синебрюховского пива, без которой сын, привыкший на фронте к выпивке, не садился за стол.

Травникова удивляло, что дом не запирается. Даже и по воскресеньям, когда Савалайнены уезжали в город, в кирху, послушать проповедь пастора, двери в доме не запирались. Только двери сараев, где жил скот, закрывались снаружи щеколдой — чтобы какая-нибудь любознательная свинья или овца не выскочила посмотреть на окружающую жизнь.

Воскресными вечерами собирались в гостиной — большой комнате на втором этаже. Тут был удивительный музыкальный инструмент, неизвестно в каком веке сделанный, — фисгармония. Кристина, принарядившаяся, в шелковом розовом чепце, ставила на стол поднос с кофейником, молочником и чашками. Хильда, в темном, как всегда, платье с кружевным воротником, прямая и строгая, садилась за фисгармонию — руки на клавиатуре, ноги на педалях. Звук был своеобразный, не похожий на фортепианный, — как будто

со вздохами, с жалобой. Пели псалом. Алвар, глядя в книжку молитвенника, сдержанно гудел, как паровоз. Женщины пели ладно, созвучно, а у Бригиты голосок взлетал до небес. После псалмов пели песни нецерковные. Некоторые слова Травников улавливал — похоже, что были эти песни о красоте природы и о любви.

Песнопения завершались кофепитием, и казалось Валентину, что еще долго звучит фисгармония, — возможно, из какого-то регистра запоздало выходил воздух, нагнетенный мехами, ножными педалями.

Кофе был скверный, не настоящий, а эрзац. Да где теперь взять настоящий кофе? Война…

А война — после прошлогодней победы на Курском выступе — решительно переломилась в нашу сторону. Теперь Травников знал, как она идет. В гостиной, на шкафчике рядом с фисгармонией, стоял радиоприемник — солидный лакированный ящик. Он был постоянно настроен на Хельсинки. Но по воскресеньям, когда Савалайнены уезжали в город, Валентин поднимался в гостиную и настраивал приемник на Москву или Ленинград — ловил сводки Совинформбюро. Наступление продолжалось! Почти всю правобережную Украину очистили, взяли Одессу,

прорвались в Крым!

В то воскресенье утром прогремела гроза и лил дождь. Кристина предложила не ехать в город, но Алвар все же решил: поедем в крытой повозке, а лошади не промокнут. Не такой он был человек, чтобы остаться без воскресной проповеди.

Как только Савалайнены уехали, Травников поднялся в гостиную и настроил приемник на Ленинград. Передавали репортаж об открытии в Соляном парке выставки, посвященной героической обороне Ленинграда. «Мы наконец-то увидели, — не без пафоса вещала женщина-диктор, — из каких чудовищных пушек били фашисты по нашему городу. Вот оно стоит у входа на выставку — осадное четыреста шестимиллиметровое орудие. Оно умолкло навсегда. Враг отброшен от Ленинграда, девятисотдневная блокада окончательно снята. Но разве мы сможем забыть ее ужас, пережитые муки? На выставке шестьдесят тысяч экспонатов хранят память о ней. Вот, к примеру, макет блокадной булочной. Обледенелое окошко, весы, на одной их чаше четыре маленькие гирьки, на другой — сто двадцать пять граммов хлеба…»

Репортаж был хорош. Но печалью отозвался в душе Травникова. Разве не он и братья-морпехи

в тяжелых боях у Лигова остановили немцев на пороге Ленинграда? Разве не он и братья-морпехи остановили на Свири финнов, не дали им соединиться с немцами, сомкнуть за Ладогой второе блокадное кольцо? Не он, Травников, пролил кровь на ладожский лед? Не он, в составе экипажа подлодки-«эски», топил на Балтике корабли противника? Разве не он, как в песнях поют, свою жизнь положил, чтобы защитить Ленинград?.. Чтобы стала возможной эта выставка в Соляном парке?..

Теперь передавали сводку Совинформбюро: наши взяли Севастополь! Здóрово, братцы, здóрово! Немцы пытаются уйти морем, но наша штурмовая авиация топит их корабли… большими группами фашисты сдаются в плен…

Плен… плен…

«А мой-то плен когда кончится?!!»

Скрипнула приоткрытая дверь. Кошка, наверное, вошла, много их в доме. Валентин не обернулся. Продолжал слушать сводку.

— Валья, — вдруг услышал он знакомый высокий голос и вскочил, уставившись на вошедшую Бригиту.

— Почему ты дома? — спросил по-фински.

Из ответа Бригиты он понял, что у нее болит

голова и поэтому она не сможет воспринять проповедь.

— Валья, ты не рад, что я осталась дома?

Он и раньше замечал, как ласково посматривают на него ее улыбчивые глазки. Знаки ее внимания были Валентину приятны — но и тревожили. Бригита подстригла ему давно не стриженную бороду и усы. «Валья, ты похож на Алексиса Киви», — сказала она. «А кто это?» — спросил Травников. «О, ты не знаешь? — улыбалась Бригита, на ее розовых щеках возникли ямочки. — Это наш писатель. Мы в школе учили его стихи». Теперь, с наступлением теплой погоды, Травников с помощью шустрого Вейкко выгонял поутру овец на луг у лесной опушки, там уже пошла в рост трава. В полдень Бригита приходила на луг, приносила бутерброды и молоко в термосе. Кудрявое овечье стадо на зеленом лугу, молодой пастух пьет молоко, рядом улыбающаяся юная пастушка, — как называлась прежде такая умилительная картина? А-а, пастораль, вот как она называлась, — иронизировал про себя Валентин…

— Валья, ты не рад, что я дома? — спросила Бригита. На руках у нее был котенок, белый, в желтых пятнах.

— Почему не рад? — пробормотал Травников, выключив радио и переводя настройку на Хельсинки.

— Смотри, какой красивый котенок.

Бригита подошла к Валентину. Синее платье с короткими рукавами обтягивало ее стройную фигуру; белокурые волосы, обычно заколотые, были рассыпаны по плечам.

— Да… — Валентин погладил котенка. — Очень красивый…

Бригита еще придвинулась, почти вплотную.

— У тебя борода желтая, а глаза зеленые. — Она засмеялась.

Котенок ухватил беззубым ртом палец Валентина.

— Ты чего кусаешься? — сказал Валентин по-русски. — Кто тебе разрешил?

Ему не по себе было.

Бригита вдруг бросила котенка на пол. В следующий миг она закинула руки Валентину за шею и легко коснулась губами его губ.

Ох, как приятно… как давно не было женщины в его жизни… Он обнял Бригиту, прижал, ответил долгим поцелуем. Ее глаза затуманились. Она взяла его за руку:

— Пойдем ко мне.

Они направились к двери — но тут Валентин опомнился, остановился:

— Нет, Бригита, нет. Извини… Нельзя…

— Нельзя? — Она вскинула на него удивленный взгляд.

И, засмеявшись, пошла к двери.

Котенок, обнюхивавший педаль фисгармонии, бросил это пустое занятие и мелкими скачками устремился за ней.

Теперь Бригита, принося на пастбище бутерброды и молоко, не улыбалась Травникову. Не оставалась поболтать с ним.

Кончилась пастораль.

Вот такие дела. Он был теперь сытым и спал не на нарах, а на кровати в отдельной комнате, но душа у него была не на месте.

Да, его потянуло к этой милой улыбчивой девушке. Но если б естественное влечение переросло в физическую близость, то это не осталось бы незамеченным в доме, где столько зорких глаз (разве укроешься, скажем, от Вейкко?). И тогда грянет гром. Алвар не станет церемониться — позвонит в полицию. А оттуда сообщат в военное ведомство, и приедут на ферму вооруженные люди и сцапают донжуана, забывшего, что он бесправный военнопленный, и отвезут его об-

ратно в лагерь, в Кеми. Опять под палку капрала Ялонена?! *Нет!!!*

А еще жгло душу воспоминание о Маше. Ей, разумеется, сообщили из штаба бригады о гибели подлодки, уже больше полутора лет прошло. Маша, конечно, его, погибшего, не ждет. Может быть, вышла замуж за кого-то… за более удачливого, чем он…

Тойво, двадцатипятилетний сын Алвара и Кристины, приехал в двухнедельный отпуск в конце мая. Рослый, похожий на отца, с такой же выдвинутой нижней челюстью, он сразу заполнил собой дом: топал солдатскими сапогами по чистым доскам пола, излишне громко (как казалось Травникову) смеялся, отпускал грубоватые шутки. Бригиту, хлопнув по заднице, допрашивал, почему она не вышла замуж за Карла, сына бакалейщика Скугберга, — ведь он сделал ей предложение. «У твоего дружка Карла, — вскричала Бригита, — пахнет изо рта!»

На Травникова Тойво смотрел не то чтобы враждебно, но с холодным прищуром. Однажды за обедом, осушив стакан пива, Тойво искоса взглянул на Валентина, положившего себе на тарелку кусок свинины, и спросил:

— Ванья, вкусное мясо?

— Меня зовут не Ваня, а Валя, — спокойно ответил Валентин. — Да, вкусное.

— Ты плавал на корабле? Там давали кушать мясо?

— Давали.

— Ты врешь, Ванья. В Пиé тари голод. Люди кушают людей.

— Я не вру. — Травников хмуро посмотрел на Тойво, наливающего из бутылки пиво в стакан. — Голод в Ленинграде потому, что немцы и ваша армия… — Валентин запнулся, не зная, как сказать по-фински «окружили». — На корабле еда была нормальная, — сдержанно закончил он.

— Нет! — Тойво со стуком поставил бутылку. — Ты врешь! В Пиетари скоро все умрут…

— Замолчи, — строго сказал ему Алвар и добавил еще что-то, чего Травников не понял.

И Тойво замолчал с недовольным видом. Ослушаться отца он не смел.

В те дни началась пахота. Олави вывел на поле трактор с навесным четырехкорпусным плугом, и первые борозды врезались в отдохнувшую под зимними снегами землю. Они чередовались: день пахал Олави, день — Тойво. За работой у Тойво исчезала нагловатая усмешка; его взгляд, устремленный на плывущую под колеса землю, делался

серьезным. В белой майке и черных финках сидел за рулем трактора как бы другой человек. Проще говоря, Тойво становился тем, кем и был от рождения, — крестьянином, человеком земли. Только солдатский картуз на его белобрысой голове напоминал о том, что Финляндия воюет.

Пахали с очень раннего утра до девяти вечера. Дни стояли длинные, медленно перетекающие в белые ночи.

Начали сев. Алвар велел Травникову сесть на сеялку. Работа была нетрудная. Трактор волочил сеялку, и Травников, сидя на ее раме, должен был следить, чтобы сошники исправно укладывали семена в борозды. Ну и знать надо, как регулировать количество высеваемого материала. Нетрудно, да. Вот только жара и пыль, пыль…

Непыльную работу — пастьбу овец — он передал Бригите. Да вообще-то и Вейкко с ней управлялся, непоседливый пастушок.

В полдень на поле появился Алвар — принес пуллу (белую булку) и бидончик с холодным молоком из погреба. Тойво остановил трактор и, соскочив с сиденья, заговорил с отцом. Были они необычно разговорчивы, чем-то явно озабочены. Травников слез с рамы сеялки и, вытирая обрывком ветоши потный лоб, подошел к ним,

спросил:

— Что случилось?

Тойво отвернулся, молча поставил бидон на сиденье трактора. Его округлые плечи влажно блестели на солнце. Алвар, в длинной белой рубахе навыпуск и белых штанах, мрачновато взглянул на Травникова и проворчал:

— Ваши начали наступать на Виипури.

И, надвинув на брови козырек голубого картуза, пошел прочь по вспаханной мягкой земле.

Жаркий был день. Но еще жарче стало Валентину от внезапного прилива радости. Наступление на Выборг! Наконец-то взялись за Финляндию! «Эй, эй, вперед, ребята! — захотелось крикнуть из финской глубины, — мы заждались вас…»

— Эй! — крикнул Тойво. — Кушать не будешь?

— Буду.

Травников налил молока в свою кружку, откусил от пуллы.

— Что, обрадовался, Ванья? — прищурился на него Тойво. — Ну, почему молчишь? Обрадовался?

— Да, — кивнул Валентин.

— Не радуйся, сатана перккала! Мы не отдадим вам Виипури. Это всегда был наш город.

— Не всегда. — Валентин припомнил слышан-

ную в училище лекцию. — На месте Выборга первое поселение сделали новгородцы.

— Кто?

— Люди из древнего русского города Новгорода. В двенадцатом веке.

— Нет! Крепость Виипури построили свеи.

— Кто?

— Люди из Сведен.

— А-а, шведы. Ну да, крепость они построили. Но первые были там новгородцы…

— Врешь, Ванья!

Угрожающе выпятив нижнюю челюсть, Тойво шагнул к Валентину и схватил его за ворот рубахи. Валентин резким взмахом отбросил руку Тойво. Несколько секунд они стояли лицом к лицу, схлестнувшись взглядами. Потом Тойво усмехнулся и сказал что-то, чего Травников не понял.

Молча они доели пуллу, допили молоко и сели на свои места. Снова взревел трактор и поволок сеялку, снова пошли семена в борозды, снова пыль, пыль…

Вечером приняли душ, поужинали, и Тойво, как обычно, отправился в поселок — там была у него зазноба. Травников в своей комнате повалился на койку. В раскрытое окно вливался

запах пионов из сада. Сирень уже отцвела, теперь пионы были в цвету — вспышки пламени среди зеленых кустов.

Что же теперь будет? — думал Травников, закинув руки за голову. Знать бы, сколько дивизий наступают на Выборг. И что же дальше? Наступление на Хельсинки? А что немцы — смогут они помочь финнам, перебросить в Финляндию хотя бы несколько дивизий? Вряд ли… у них свои заботы… сдержать наше наступление на юге и в центре… Да и, судя по обрывкам разговоров Алвара с сыном, союзники на днях высадились во Франции — второй фронт наконец-то…

У Тойво оставалось еще три дня отпуска, но он решил, что должен срочно возвратиться в свою часть, на фронт. Проводы были спокойные, без сантиментов. Тойво всем сказал «до свиданья», надел на спину ранец и сел на облучок пролетки. Отвезти его на станцию Алвар поручил Травникову.

Жеребец-альбинос резво бежал по красноватой грунтовке. Двое сидели рядком на облучке, издали на них взглянешь — два друга сидят, огорченные предстоящей разлукой. Какое там! Всю дорогу молчали они, враги непримиримые. Но на станции, соскочив с облучка, Тойво взглянул

на Травникова с такой, что ли, полуулыбкой и сказал:

— Ванья, ты советский, и я тебя не люблю. И ты меня не любишь. Но мы вместе работали. Как два человека. Верно?

— Верно, — кивнул Валентин.

— Ты не хочешь плохого для нас. Для Суоми. Да?

— И это верно. Не хочу плохого.

— Я тоже не хочу тебе плохого. Прощай.

Он протянул Валентину руку.

— Желаю тебе, Тойво, вернуться живым и жить дальше, — сказал Валентин.

И они, непримиримые, пожали друг другу руки.

Тойво пошел к зданию станции. Обернулся, крикнул:

— А Виипури мы вам не отдадим!

Выборгом войска Ленфронта овладели 20 июня — на одиннадцатый день наступления.

В доме Савалайненов внешне ничего не изменилось. Посевная работа как шла, так и продолжалась, только теперь управлял трактором, чередуясь с Олави, сам Алвар. А Травников сидел на сеялке, следил за укладкой семян, глотал пыль. Как и прежде, чистил хлев и свинарник. По

воскресным вечерам, как обычно, Савалайнены пели в гостиной псалмы.

Но ощущал Валентин в устойчивом быте фермы некую тревогу. Скорее затаенную, чем явную. Алвар и его семья опасались, что после падения Виипури-Выборга советская армия пойдет на Хельсинки. Оккупации Финляндии опасались.

В воскресенье, когда пели псалом, Хильда вдруг прервала игру — фисгармония словно дух испустила.

— Что такое? — спросил Алвар. — Что с тобой?

Хильда на крутящемся табурете отвернулась к окну и — будто не отцу, а заоконному голубому вечеру сообщила:

— Если русские придут, я буду в них стрелять.

Алвар сердито сказал ей что-то, чего Травников не понял. Хильда провела рукой по рыжеватым кудрям, медленно повернулась и возобновила игру. Псалом был допет до конца.

А что же Травников? Понятное дело, он томился от нетерпеливого ожидания. Выборг взят — а дальше? Почему Совинформбюро (сводки Валентин ловил по воскресеньям, когда Савалайнены уезжали слушать проповедь) не сообщает о боях в Финляндии? Ну да, развернулось огромное наступление в Белоруссии, это замечательно, но

почему исчез из сводок финский фронт? Почему наши не продвигаются к Хельсинки?

Томительный июль был полон важнейших событий. Вот взят Минск, взят Вильнюс, вот вошли в Польшу, взяли Люблин. Покушение на Гитлера! Трудно понять, кто покушался, и ужасно жалко, япона мать, что не удалось этого гада укокошить. А вот взяли Брест, и вся Белоруссия теперь очищена от немцев. Здо́рово!

В начале августа Травников из разговоров болтливой Бригиты с Хильдой понял, что ушел в отставку финский президент Рюти. Что это означало? Рюти был, как знал Валентин, верным сторонником Гитлера. Президентскую должность парламент возложил на Маннергейма. А это что значило? Маннергейма в Советском Союзе не любили, ругали за измену России: был при дворе Николая II, а стал главнокомандующим враждебной армией…

Что происходило? Травников терялся в догадках.

Перемирие было подписано 19 сентября. И уже через несколько дней на ферме Савалайнена раздался телефонный звонок: 27-го числа доставить русского военнопленного Травникова на станцию к полудню, к приходу поезда.

В наземной траншее, чьи стенки были облицованы красным кирпичом, Травников и Олави занимались закладкой силоса. Тарахтела машина-трамбовщик, уплотняя измельченную зеленую массу из кукурузы и бобовых трав, источая приятный запах свежести. Вдруг в траншею просунулась голова Алвара в неизменном голубом картузе.

— Валья! — позвал он. — Послезавтра поедешь на станцию.

— Зачем? — Валентин напрягся в ожидании важной новости.

— Не знаю, куда тебя повезут. Сегодня будешь работать. И завтра утром. — Алвар прищурил бесцветные глаза, вгляделся в силосную зеленую массу. — Плотнее трамбуйте, — велел он и отодвинулся от траншеи, ушел.

— Ха-а, он не знает, куда повезут! — усмехнулся Олави, растянув глубокие складки на лице, коричневом от летнего загара. — Кончилась война, домой поедешь, Валья.

— У вас кончилась, у нас еще не кончилась.

Они подали в машину новую порцию зеленой массы с транспортера. У Валентина душа трепетала от радости. Кончается плен — снова свобода! — снова Кронштадт, бригада подплава…

«Маша, я возвращаюсь! — кричала его душа. — Машенька, милая!..»

Прощание было недолгим. Травников уже знал, что у Савалайненов (а может, и у финнов вообще) не приняты прощальные сантименты. Он просто сказал:

— Спасибо за хорошее отношение.

Алвар кивнул. И Хильда, гордая и строгая, слегка кивнула. Бригита улыбалась, ее кофейные глазки смотрели на Валентина, можно сказать, с затаенным сожалением. Кристина, с улыбкой на круглом лице, увенчанном старомодным чепцом, вручила Валентину коробку с несколькими бутербродами и двумя яблоками. И только Вейкко, резвый пастушок, подскочил и дурашливо потряс ему руку, выкрикнув: «Валья, приезжай к нам еще!» Валентин засмеялся, потрепал мальчика по белобрысой голове.

На станцию его повез Алвар — он был обязан лично сдать военнопленного, под расписку. Моросил мелкий дождь, но вскоре перестал. Жеребец-альбинос бежал, не нуждаясь в подхлестываниях. Травников, сидя рядом с Алваром, глядел на зеленые поля, на лес, тихо смотревший в синее озеро на свое отражение. Не в первый раз ехал Травников этой дорогой, но, кажет-

ся, впервые залюбовался природой. Мысленно прощался с проклятой, прекрасной страной — с тихой Суоми.

— Ты опять будешь плавать на корабле? — спросил Алвар после долгого молчания.

— Да.

— И топить наши корабли?

— Ваши — нет. У нас с вами теперь мир.

— Плохой мир. Придется платить вам большую… как это называется…

— Репарации.

— Да. Триста миллионов долларов. Это очень много.

— Ну, в рассрочку же.

— Все равно много. Правительство где возьмет? У нас возьмет — повысит налоги.

Травников промолчал. Его это не касалось. Репарации всегда платит страна, проигравшая войну. «А за то, что в плену нас голодом морили… за умерших от пеллагры… за Ваню Лукошкова, забитого зверем-капралом… За это платить не хотите?.. Нет, Алвар, этот вопрос не к тебе. Ты хорошо ко мне относился. Ну и я… Разве плохо я, бессловесный раб, чистил твой хлев и свинарник? Нет-нет, ты не виноват, в голове у тебя только ферма, хозяйство, я понимаю твое беспо-

койство о налогах. А кто виноват?

Япона мать, как сложно все переплетено…»

Ну, вот и станция. На ухоженных клумбах перед ее зданием покачивались на ветру пестрые цветы. У входа сидели за столом военные чиновники, к ним и направились Алвар и Травников. Один из чиновников полистал толстую тетрадь, нашел нужную запись и предложил Алвару расписаться. Тот взял ручку и неторопливо вывел свою подпись.

Эта процедура, занявшая минут десять, означала конец двухлетнего плена.

— Прощай, Валья. — Кивнув, Алвар пошел было к своей двуколке, но Травников окликнул, остановил его.

— Алвар… — Прощальные слова теснились у Валентина в горле, но, зная финскую простоту и хладнокровие, он сдерживал себя. — Алвар, хочу вам сказать… В общем, спасибо за хорошее…

— Ты это уже сказал. — Алвар смотрел удивленно.

— Хочу еще раз… Я не забуду. Всего вам доброго.

— Ладно. Тебе тоже.

Задумчиво глядел Валентин, как Алвар Савалайнен, двухметровый фермер, уселся на сиденье

двуколки, дернул поводья и покатил на ферму — к своим домочадцам, к своим коровам и овцам, — как раз сегодня он был намерен начать стрижку овец…

Прибывали на конных повозках, а иные и на автомашинах, военнопленные (уже бывшие!) со своими хозяевами. Толпились на перроне в ожидании поезда. Были тут люди, памятные по лагерю Кеми. Была, конечно, и охрана — солдаты с автоматами.

Вдруг Валентин услышал знакомый клокочущий голос. Пробрался сквозь толпу — и не сразу узнал Савкина. Он, Владлен хромоногий, был гладко выбрит, опрятно одет. С ним рядом стояла женщина, немолодая, но статная, с хорошей фигурой, в широкополой шляпе, в облегающем костюме терракотового цвета.

— Валя, привет! — Савкин заулыбался, хотя в его темных глазах, полуприкрытых веками, как и прежде, гнездилась грусть. — Сельма, — обратился он к женщине, — это моряк, о котором я вам рассказывал, — лейтенант Травников.

— Здрасуте, лёйтнант, — сказала женщина.

— Здравствуйте, сударыня, — вдруг всплыло в памяти Валентина старинное слово.

— Сельма — королева яблок, — объявил Сав-

кин.

— Что это значит?

Ответить Савкин не успел: на станцию, отдуваясь паром, вкатился паровоз, притащивший не теплушки, а поезд из пассажирских вагонов с сидячими местами. Вот странность: военнопленные не в теплушки набились, как им положено, а, как люди, расселись в вагонных купе.

Савкин перед посадкой расцеловался с терракотовой дамой — тоже странное дело. Он занял место у окна и махал даме рукой, пока поезд не тронулся. Травников, сидевший рядом, спросил:

— Это твоя хозяйка? Она что, фермерша?

— Да. — Савкин снял со спины рюкзак и достал из него пару крупных красновато-желтых яблок. Одно протянул Валентину. — На, ешь.

— У меня тоже есть яблоки.

— Таких, как эти, у тебя быть не может.

— Почему?

— Потому что у Сельмы Янсон самые лучшие в Финляндии. И вообще в Солнечной системе.

Хохотнув, Савкин принялся с хрустом жевать яблоко. Валентин тоже откусил. Да, верно, вкус был приятный.

Необычно оживленный, Савкин рассказывал под стук колес:

— Сельма и ее муж Карл Янсон жили в Тампере. Он был нотариус. Хорошо зарабатывал. А детей у них не было, не знаю почему. Вот он, Янсон, и полез в политику. Он был левый. Ну, социал-демократ. Ты слушаешь?

— Конечно.

— А то у тебя глаза закрыты. У финнов в политике неспокойно было, лаялись — левые на правых, правые на левых. Этот Янсон тоже — писал статьи в какую-то газету, ругал правых. А в тридцатом году его застрелили возле дома. Ну, беда, Сельма жить не хотела, утопилась в озере…

— То есть как утопилась? — Валентин воззрился на Савкина.

— В Тампере кругом озера, она и бросилась в одно. С мостков. А там сауна, из нее кто-то вышел на мостки. И увидел: женщина кинулась в воду и не выплывает. Он нырнул и вытащил Сельму.

— Ну и ну! — качнул головой Травников. — Вот так тихая Суоми!

— Не такая уж она тихая. Сельма долго болела. И уехала из Тампере на ферму своих родителей. Стала в сельской школе преподавать что-то вроде домоводства. Потом, когда родители умерли, пришлось ей заняться хозяйством. А там огромный сад, яблонь чуть не сотня. Вот она и увлеклась

садоводством. Три новых сорта яблок вывела.

— Прямо финский Мичурин.

— Ты не иронизируй! Яблоки лучше всего действуют, понял?

— Действуют на что?

— На организм! Ее яблоки закупает крупная компания, она делает джемы, соки, варенья для всей Финляндии.

— А как твоя Сельма собирает яблоки с сотни яблонь?

— Очень просто. Ее управляющий зовет сезонных рабочих, они и собирают. У Сельмы интерес к нашей стране. Она расспрашивала, как у нас жизнь устроена. Я ее учил русскому языку. И вообще…

Вообще он, Савкин, был не похож на себя прежнего — хмурого, удрученного неудачей своей жизни человека из лагеря Кеми. Ну да, освобождение из плена, возвращение домой, в Питер родной. Но, казалось Травникову, что-то еще вызывало необычное оживление Савкина — наверное, связь с этой Сельмой, «королевой яблок».

Что ж, это правильно, думал Валентин, нельзя же, чтобы у человека было сплошное несчастье… Она его за раны полюбила, а он ее — за сострадание к ним… или так: за яблок новый сорт…

На пограничную станцию поезд прибыл ранним утром. Еще только начинался рассвет. Еще не проснулся наполненный ночной мглой лес на финской стороне границы. Но день обещал быть хорошим, не пасмурным, — да и как же иначе, *такой прекрасный день,* долгожданное возвращение на родину!

Неподалеку от станции их, возвращающихся из плена, построили в две длинные шеренги на плацу. Выплывшее из-за леса неяркое солнце осветило необычный строй, как бы вгляделось в лица этих людей — худые, бородатые и бритые, оживленные, но с отпечатком пережитых мучений.

Стояли долго. Курили, переговаривались, смеялись, вспоминая смешное, ну а как же без смеха, — не хотелось вспоминать голод, побои, изнурительные работы. Выжили, вот и ладно, будем жить дальше. А если отправят на фронт, ну что ж, будем довоевывать, война-то идет к концу, к победе.

К полудню шло, когда с протяжным гудком прикатил на станцию поезд с той, советской стороны границы. Сошли с него несколько офицеров — гляньте-ка, на плечах золотые погоны! Как в царской армии, надо же… Сопровождаемые

группой солдат (тоже с погонами на плечах, но не золотыми, конечно), они, приемная комиссия, сошлись с финскими офицерами, козырнули друг другу, принялись рассматривать бумаги, что-то подписывали. Затем началась процедура передачи — пленных выкликали по списку, и каждый вызванный переходил в шеренгу, выстраиваемую напротив. Длилась процедура долго-долго.

Но все кончается, кончилась и она. К строю утомленных долгим стоянием людей обратился один из советских офицеров — невысокого роста, полнощекий человек с густыми буденновскими усами.

— Здравствуйте, товарищи! — выкрикнул он.

— Здра-жлай-варищ-командир! — вразнобой ответили люди, еще не разобравшиеся в звездах и просветах на погонах.

— Поздравляю вас с возвращением на родину!

Ответили таким громким протяжным «ура!», что в ближнем лесочке испуганно загомонили птицы.

— Па-а вагонам! — скомандовал тот офицер.

Набились в теплушки, у их приоткрытых дверей стали — двое в каждом вагоне — солдаты с автоматами.

И поехали, поехали. Прощально вскинул длин-

ную шею полосатый шлагбаум. Вот, значит, и кончилась она, финская сторона. Прощай, тихая (хотя и не очень) Суоми!

Травников торчал у двери, глядел на проплывающие мимо перелески — точно такие, как и на той стороне. Природа — она и есть природа, думал он, ей границы не нужны, это только на географических картах обозначают пунктиром границы государств, а на самом деле — на местности — никакого пунктира нет…

— Что, солдатик, елки считаешь? — спросил молодой курносый красноармеец, стоявший у двери теплушки.

— Ага, — кивнул Травников. — Только я не солдат, а моряк.

— Как же ты в плен-то попал на воде?

— Взрывом сбросило с корабля в воду. Так и попал.

— Ух ты! — сказал красноармеец и шмыгнул носом.

Глава двадцать вторая
Еще один лагерь

Опять лагерь, обнесенный колючей проволокой. Расположился он со своими бараками на окраине Выборга. Над его воротами висело кумачовое полотнище: «С возвращением на Родину!»

Но тянулись, тянулись пустые дни и ночи — и радость возвращения стала постепенно угасать. Ни на какие работы не посылали, кормили в общем неплохо, почти до́сыта. Но томила, как знобкий сгущающийся туман, неопределенность.

Шли допросы.

Травникова вызвали на пятый день. Гладко причесанный старший лейтенант с двумя медалями на чистенькой гимнастерке предложил ему сесть и некоторое время листал бумаги на столе. Затем окинул Травникова цепким взглядом и, обмакнув перо в чернильницу, приступил к допросу.

Травников отвечал подробно и точно, но почему-то ему казалось по ходу допроса, что старлею его ответы вовсе не интересны и, более того, не

нужны.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал он, — я офицер-подводник. Хотел бы поскорее вернуться в бригаду подводных лодок.

— Понимаю, Травников, — слегка кивнул старлей. — По закону военнопленные должны пройти проверку. Вернетесь в свою бригаду не раньше, чем ее пройдете.

— Тут рядом Кронштадт, там штаб бригады. Прошу вас запросить…

— Непременно запросим. — Старлей полистал бумаги. — Тут в финской картотеке значится, что вы совершили побег на территорию Швеции. Вы подтверждаете это?

— Да, подтверждаю. Мы бежали…

— С кем вы совершили побег?

— С Лукошковым и Савкиным. Нас избили палками, Лукошков, матрос с нашей подлодки, умер от побоев…

— Почему вы бежали на территорию Швеции?

— Мы работали на лесоповале, шведская граница была в тридцати километрах…

— Если бегут из плена, то обычно бегут к советской границе, а вы…

— Товарищ старший лейтенант, — разволновался, чуть не до крика, Травников, — посмотрите

на карту, от Кеми до советской границы триста километров, разве мы смогли бы…

— Мне незачем смотреть на карту, — повысил голос и проверяльщик. — Что вы делали на шведской территории, с кем встречались?

— Мы считали, что Швеция… Ну, она нейтральная, не воюет с нами… Думали, что нас шведы интернируют… Вы поймите, мы были истощенные, погибали от голода, от непосильной…

— Отвечайте на вопрос, Травников.

— Какой вопрос? Что делали на шведской?.. Ничего не делали, только в их погранохране попросили об интернировании… Нам отказали… накормили и заперли… мы заснули, а рано утром приехали за нами финны из лагерной охраны и увезли обратно в Кеми. Нас наказали, избили палками…

— С кем вы еще встретились на шведской территории?

— Ни с кем. Только с двумя пограничниками. — Травников разозлился, сдержанно заметил: — Странно разговариваете, старший лейтенант.

— Что — странно? Как смеете пререкаться?

— Вы задаете странные вопросы… Я случайно уцелел, когда погибла моя лодка… меня полумертвого вытащили из воды… Плен был моим

несчастьем… Мы бежали, чтобы спастись от голодной гибели… от унижений… А вы задаете унизительные вопросы… о каких-то встречах в Швеции…

Что-то еще говорил Травников, волнуясь, торопясь высказать свою горечь, свою беду.

Старший лейтенант, прищурясь, смотрел на него — как на зловредное насекомое. Вдруг он встал, указал пальцем на дверь, резко сказал:

— Уходите!

Травников вышел из административного корпуса и вынул из кармана пачку папирос «Ракета». Руки у него дрожали, волнение не отпускало. Явилась и билась в висках упрямая мысль: «Письмо в штаб бригады! Кронштадт недалеко от Выборга, письмо дойдет быстро, на подплаве меня знают, несомненно помнят — затребуют из лагеря… из этого сумасшедшего дурного сна…

Да, письмо!

У кого бы попросить бумагу? Черт, не догадался взять хотя бы блокнотный листок у Савалайненов… не думал, что понадобится, ведь уезжал домой… а угодил в лагерь… *опять* в лагерь…

Савкин! У него, может, найдется листок. Он ведь запасливый, дальновидный…»

По двору между бараками слонялись пленные,

то есть возвращенцы. Несколько парней гоняли мяч не мяч, связанный веревкой шар из тряпья, — в футбол играли. Травников вошел в барак, в котором обретался Савкин. Тут, как и в его бараке, в два ряда тесно стояли койки, никто на них не лежал, днем это было запрещено. На нескольких койках сидели, болтали, что-то ели, но Савкина среди них не было. За столом забивали «козла», там тоже не видно его. Куда подевался?

— Эй, длинный! — отнесся к Травникову один из игроков. — Ты кого ищешь?

— Савкина.

— Хромого, рыжего? Не ищи. На губе он.

— Как на губе? — удивился Травников. — Тут нет гауптвахты.

— Ну, может, не губа, а этот… ну, карцер. Твоего дружка вчера туда посадили.

— За что?

— А хрен его знает. — Со стуком игрок поставил камень в черную доминошную фигуру. И воскликнул: — Считайте «рыбу»!

Бумаги, если не считать газетных клочков для свертывания самокруток, не было ни у кого. Все же Травников выпросил листок у писаря из лагерной канцелярии. Правда, этот невредный малый, уважавший подводное плавание, пре-

дупредил Валентина, что почты в лагере нет и вообще переписка военнопленным — до окончания спецпроверки — запрещена.

Травников написал все же короткое заявление в штаб бригады подлодок и, сложив его треугольником, упросил писаря бросить письмо в почтовый ящик где-либо в Выборге.

Ответа он не дождался. Дней через десять их всех — длинную колонну — привели на станцию, посадили в теплушки, и эшелон отправился из Выборга — куда? — этого никто не знал.

Ленинград миновали по окружной дороге, часа полтора простояли на какой-то станции, товарной или сортировочной, черт ее знает. Дверь теплушки открыли, охрана крикнула, чтобы кто-нибудь вылез и сходил за кипятком. Савкин живо сунулся к двери, но его придержал коренастый малый по кличке Дважды Степан (он, Степан Степанов, попал в плен, когда подорвался на минном поле в Финском заливе транспорт «Иосиф Сталин», вывозивший с полуострова Ханко последнюю группу его защитников).

— Ты, хромой, сиди, не рыпайся, — с этими словами Дважды Степан соскочил на перрон.

Савкин окинул хмурым взглядом безрадостный железнодорожный пейзаж, матюгнулся и улегся

на нары. Травников растолкал его, когда Дважды Степан притащил ведро с дымящимся кипятком.

— Вставай, Владик, вставай. Попить горячее надо. Ну!

Неохотно Савкин слез с нар. Набрали в кружки кипятку, запили сухой паек, выданный перед отъездом, — рыбные консервы и черняшку. После каждого глотка Савкин обкладывал матом начальство, не давшее возможности даже взглянуть на Питер.

Он, Савкин, крупно не поладил с начальством в Выборгском лагере. Когда его вызвали на допрос, он, назвав свои Ф. И. О., попросил, чтобы дали знать отцу — полковнику штаба Ленфронта, — что он, его сын, жив и вернулся из плена. Проверяльщик (наверное, тот старлей, который потом допрашивал Травникова) ответил, что отцу, конечно, сообщат, но спецпроверку Савкин обязан пройти. В ходе допроса Савкин все более мрачнел и накалялся. А когда проверяльщик задал вопрос, что он делал и с кем встречался во время побега в Швецию, Савкин прикрыл веками тоскующие глаза и проклокотал, что выдал шведам важный секрет. «Какой секрет?» — насторожился старлей. И получил ответ: «Я им сказал, у кого хер длиннее в нашем государстве». Старлей закричал, угро-

жая трибуналом. А Савкин схватил чернильницу и трахнул ею об стол, залив протокол допроса. Проверяльщик выбежал из комнаты и вскоре вернулся с начальником лагеря, майором, и тот, шевеля длинными усами, заявил, что Савкин за грубое нарушение воинской дисциплины будет отправлен в штрафбат. Пять суток строптивец отсидел в карцере — холодном подвале — на хлебе и воде, складывая в уме, рвущемся на волю, обвинительную речь в грядущем трибунале. Однако не было трибунала. Может, лагерное начальство не пожелало трепать нервы в объяснениях со штабом Ленфронта — шут его знает, кем там служит папа этого грубияна-хулигана. Ну и плюнули на дерзкие его слова, на чернила, залившие важный документ, и отправили Савкина вместе с другими бывшими пленными подальше — в лагерь спецпроверки — честным трудом искупать вину перед государством.

Эшелон ехал долго. Раздумчиво стоял на станциях, набирал воду для ее превращения в пар; разносили по теплушкам ведра с кипятком, коим запивали сухой паек, выдаваемый для еды.

С вечера третьего дня Травников, прежде безразличный к мелканию станций, стал всматриваться в их названия. Верещагино, Краснокамск…

А вот и Молотов, бывшая Пермь… Вот и Кама — грохочет поезд по мосту над великой рекой… Когда на узловой станции Чусовой эшелон повернул на север, Валентин Травников услыхал в паровозном гудке хриплый голос своей судьбы. Вот только не понял — не насмешку ли протрубил паровоз, приближаясь к Губахе? Или, может, выкрикнул сочувствие к нему, привезенному в родной город в телячьем вагоне, под охраной, как арестант, непонятно в чем виноватый?..

В Губахе поезд стоял недолго. Валентин из теплушки глядел на серое станционное здание, на лужи от дождя на неровностях перрона, на тощую дворнягу, бежавшую по своим собачьим делам. Влажными глазами всматривался в детство, прошумевшее за этой станцией. Если обогнуть ее слева, то за третьим углом упрешься в старый купеческий дом с двумя обшарпанными колоннами, когда-то принадлежавший его деду, а после революции разгороженный на коммуналки, — в одной из них он, Валентин, и родился. А вправо от станции — выйдешь к клубу химзавода, там киношка, там он, Валя восьмилетний, смотрел первый в своей жизни фильм «Пат и Паташон в открытом море» — и удивлялся, как это за экраном появилось море, которого там нету, — и

спросил отца, сидевшего рядом: «А что такое море?» — «Это когда очень много воды», — ответил отец. Ну а дальше пойдешь — выйдешь к Косьве, она темно-зеленая, течет не быстро, в ней он, Валентин, научился плавать. Летом по Косьве плыли бревна — молевой сплав, — и они, подростки губахинские, затевали игру — ныряли под плывущие бревна, и однажды он, Валентин, нырнул, а выплыть не мог, шли над головой бревна сплошняком, и уже дышать было нечем, но страшным, отчаянным усилием он раздвинул бревна и вынырнул. Не взяла его вода…

Губаха, Губаха…

Поезд стоял тут недолго. С грохотом задвинули дверь теплушки, состав дернулся и покатил дальше на север. Километров через двадцать он прибыл на станцию Половинка, и, в соответствии с ее названием, эшелон располовинили: часть оставили здесь, а другая поехала дальше, к Кизелу, к Березникам.

Половинка — небольшой город в предгорье Среднего Урала — была составной частью Кизеловского угольного бассейна. Ее жители занимались добычей угля. Но за годы войны мужская половина Половинки заметно поредела — и вот отправили на помощь местным шахтерам груп-

пу бывших военнопленных. Угольные шахты, видимо, вполне годились для спецпроверки.

Вот, значит, так: по морю плавал Травников, в лесах валил деревья, по полям ездил на сеялке — теперь под землю спустился.

— Мы с тобой знаешь кто? — сказал он однажды вечером Савкину. — Морлоки.

— А кто это? Морские локаторы?

— Ты что, не читал «Машину времени» Уэллса? Морлоки — подземные жители из будущего, которые…

— Я «Человека-невидимку» читал у Уэллса. И кино видел. Хороший был фильм. Ну и что — морлаки?

— Морлоки, — поправил Травников. — Паукообразные, белесые… Нехорошие люди…

Он не стал углубляться в сюжет, умолчал о том, что морлоки не только жили в подземелье, вырабатывая все необходимое для жизни элоев, высшей расы, наземных жителей, но и питались ими, элоями. Да ну ее к черту — мрачную фантазию Уэллса.

Работа в лавах была, так сказать, взрывная. В угольном пласте, почти вертикальном, бурили шпуры метровой длины. В них закладывали взрывчатку, из лавы все поднимались наверх, и

заряды подрывали. Через вертикальные отверстия — сбойки — раздробленный уголь сыпался в нижний штрек. Тут-то и требовалась подсобная рабочая сила. Бывшие военнопленные лопатами разгребали сыплющийся уголь, нагружали вагонетки, и электровоз по рельсам тащил их к стволу для подъема на поверхность.

Так она, значит, и шла — спецпроверка.

Дважды вызывали на допросы. Спрашивали все то же, что и в Выборгском лагере: как попал в плен и как с ними финны обращались, не вербовали ли к себе на службу. О побеге на шведскую территорию Травникова тоже спросили, но как-то вскользь. Допросы были скорее формальными, никаких новых сведений проверяльщики не получали, да и, похоже, в них не нуждались. Бесплатная рабсила на угледобыче — это да. В этом нужда была.

На втором допросе Травников спросил:

— Мы что — заключенные?

— Конечно нет, — ответил проверяльщик, капитан очень средних лет.

— Так почему вы держите нас за колючкой? Когда кончится эта проверка? Третий месяц вкалываем в шахтах!

— Скоро кончится. — Капитан был не злой, с

мягким, будто бабьим, лицом. — Поимейте терпение, Травников.

Он-то, Валентин, терпение имел. Но не безграничное. Где-то кончалась сильная привычка к военной дисциплине и начиналось — что? Отчаяние от проклятой спецпроверки? Тяжелое размышление об изломанной жизни… о несправедливом ходе судьбы?..

Савкин-то, в отличие от Травникова, с дисциплиной был не в ладу. Он замыслил бегство из лагеря, звал и Травникова, изложил план побега: поездами, зайцами в товарных вагонах, добраться до Питера, а там — ну, ясное дело, там папа-полковник поможет отмыться от спецдерьма этого. Валентин отговаривал Савкина от безрассудного поступка:

— Из-под земли, из лавы не убежишь. Из лагеря тоже — быстро сцапают тебя, хромоногого, и тогда пощады не будет.

— Ну и вкалывай в лаве, раз боишься, — мрачно возражал Савкин. — А я все равно убегу. Под Новый год уйду, когда вохра перепьется вусмерть.

— Владлен, заткнись. Вохра от водки не помрет, а озвереет. Слушай. Я разговорился с одним бурильщиком. Он, Тюрин, мужик правильный, до войны на флоте служил. К нам относится с

сочувствием.

— Ну и что?

— Он бумагу принесет, целую тетрадку, и будет наши письма отправлять.

— Мне писать некому. Отец на фронте, а мама в сороковом умерла. Полевую почту отца не помню, да и, наверно, поменялся ее номер. За столько лет, что я в плену…

— Надо писать, Владик. Есть же в Ленинграде родственники? Всем пиши, кто знает отца.

Сам-то он, Травников, опять написал письмо в Кронштадт, в штаб бригады подплава. Верил: если оно дойдет, то командование примет меры, чтобы вытащить его, справного офицера, из этой, япона мать, сволочной спецпроверки. Очень хотелось ему еще одно письмо в Кронштадт отправить, но — сдерживал порыв. Не мог он объявиться… не мог предстать перед Машей в таком жалком положении — униженным, бесправным, вопиющим из-за колючей проволоки… Ну невозможно такое возвращение из небытия…

А матери и сестрам в Москву — письмо написал. Коротко — обо всем, что с ним случилось, начиная с октябрьской ночи сорок второго года, когда взрыв сбросил его с мостика тонущего корабля. Без подробностей — о двухлетнем плене. О стран-

ном повороте судьбы, приведшей его в родные места, где прошло детство, близ Губахи. «Тут, — писал он, — в Половинке прохожу проверку, работаю в шахте». Обратный адрес на конверте Травников указал, конечно, не лагерный, а домашний бурильщика Тюрина. В такой конверт, полагал он, военная цензура не сунет нос.

С Тюриным, Сергеем Сергеичем, ему здорово повезло. Дело в том, что начальство шахты разглядело в Травникове человека с образованием, знающего электричество, и предложило ему должность горного электрослесаря. Теперь он не лопатой махал, нагружая углем вагонетку, а обеспечивал нормальную работу электродрелей, которыми бурильщики — кадровые здешние шахтеры — бурили шпуры для закладки взрывчатки. Однажды он в верхнем штреке замешкался с подводкой и подключением кабеля к очередной электродрели, и бурильщик, ожидавший внизу спуска барана́ (так их, дрели тяжелые, называли), обложил его таким многофигурным матом, какой Травникову доводилось слышать только у старослужащих боцманов. Позже он разговорился с этим бурильщиком, Тюриным, и спросил, не служил ли тот на флоте.

— Как же не служил! — выкрикнул Тюрин,

краснолицый мужичок с растрепанными черными усами. — Как не служил, когда у меня вся жопа в ракушках!

Он оказался бывшим катерником, плавал на малых охотниках за подводными лодками (на «мошках») — правда, не боцманом, а мотористом — и отплавал срок службы как раз перед началом зимней войны с Финляндией.

— Я им говорю: «Нате ваши ленты, отдайте мои документы!» — прокричал Тюрин. Он тихо говорить не умел и каждую фразу завершал матерной концовкой (впрочем, такой способ общения главенствовал на шахте). — А они говорят: «Не дадим! Потому как война! Демобилизация задерживается, мать ее…» Ну и что? Всю финскую простояли в Кронштадте. Потому как во льдах «мошки» ходить не могут. Они ж деревянные, тра-та-та-та! Потом отпустили, я домой поехал. А как началась Отечественная, я в военкомат, так его растак. «Берите, — говорю, — меня на войну, на Балтийский, обратно, флот». А они: «Нет, уголь будешь рубать, вот тебе бронь, так ее мать!» А ты, значит, подводник? Брам-бам-бам!

Подводника Травникова Сергей Сергеич о-очень зауважал.

— Все, что хошь, для тебя сделаю, — прокричал

он сквозь гул работающих в лаве электродрелей. — Письма? Давай пиши хоть Калинину, я отправлю. Обратный адрес? Да я свой поставлю, тра-та-та. Не боись, моряк!

Письма ушли.

А зима раскручивалась суровая, в январе морозы ударили под тридцать градусов. Небо над Половинкой заволокло дымом из труб усиленно топящихся печей — угля-то хватало, чтобы не замерзнуть.

Дорога от бараков до шахты недлинная, около двух километров. Так-то ничего, выданные ватники и ватные же штаны защищали от мороза, вот только ноги у Травникова мерзли в финских ботинках, да и — главное! — трудно ему дышалось. Возобновились приступы кашля. Врач в лагерной санчасти ему сказал: «С легкими у тебя непорядок. Эмфизема. Беречься надо от пневмонии». Беречься! А как убережешься? Стакан теплого молока или сливок утром никто не поднесет.

Вот Тюрину спасибо: услышал в лаве, как Валентин от кашля захлебывается, и следующим днем принес ему шерстяной шарф — хоть и поношенный, но теплый. Теперь на улице, шагая в колонне, Травников утыкал нос в этот шарф,

пахнущий старой жизнью.

А в конце января ослабление мороза совпало с крупным событием: первая группа военнопленных, пятнадцать человек, была расконвоирована. Травников, попавший в эту группу, сразу заявил лагерному начальству просьбу отправить на фронт. Но у начальства иные были планы. Расконвоированным выдали справки о прохождении спецпроверки и предложили послужить охранниками в лагере немецких военнопленных (где-то поблизости) либо остаться на прежней работе в шахте — теперь уже не за так, а с зарплатой. В охранники (еще чего?) никто, конечно, не пошел, все как работали в шахте, так и продолжали работать. Но — распрощались с бараком, получили места в общежитии.

Пусть ограниченная, с запретом выезжать за пределы района, но все-таки воля. По вечерам ты сам себе хозяин, можешь и в кино, и в забегаловку, вот и карточки выдали — в столовой питайся, а талоны, сколько ты скушаешь, выстригут. Воля!

А потом наступил февраль.

3-го числа Владлену Савкину, работавшему в нижнем штреке у вагонеток, прокричали, чтобы срочно явился к директору шахты. Савкин бросил

лопату, пошел к стволу и с первым подъемом клети выбрался наверх. В сопровождении узкоглазого вохровца он протопал по грязноватому снегу шахтного двора к административному зданию. Секретарша велела ему вытереть ноги о махровый половик и кивком разрешила войти в директорский кабинет.

Савкин вошел и — растерянно застыл столбом от блеска орденов и золотых погон. Рыжеватый, лысоватый, плотного сложения полковник, топая огромными сапогами, подошел к сыну, схватил его за плечи:

— Ну, здравствуй, Влад.

— Агх… мм… — Владлен прокашлялся. — Привет…

Они молча глядели друг на друга. Полковник достал из обширных галифе носовой платок и осторожно протер уголок глаза сына.

— Не дергайся, — сказал начальственным басом. — Угольную пыль уберу.

Владлен вдруг прильнул к отцу. К орденам на его кителе. Несколько секунд они стояли, крепко обнявшись. Директор шахты, пожилой, дважды орденоносец, с побитым оспой лицом, названивал по телефону, с кем-то негромко говорил.

— Не чаял, не чаял. — Полковник Савкин ле-

гонько оттолкнул Владлена. — Не чаял увидеть… на этом свете… Бороду зачем отпустил?.. Не надо… Ну что? — повернулся он к директору.

— Гостиница на ремонте, — сказал тот. — Уже не первый год, никак не закончат. Могут дать вам комнату в Доме колхозника, товарищ полковник. Если не побрезгуете…

— Чего я буду брезговать? Согласен. Надеюсь, долго тут не продержат меня.

Но продержали целых одиннадцать дней. Расконвоировали младшего Савкина без задержки, а вот разрешение на выезд принималось не скоро и не здесь, в Половинке, а в более высоких сферах, где не принято торопиться. Да и если бы полковник не звонил куда-то и не разговаривал басом, то дело могло и дольше затянуться.

Перед отъездом Савкины позвали Травникова в ресторан — единственное в городке место, где можно было поесть и выпить просто за деньги, такое вот странное коммерческое заведение. Тут радиола играла «Утомленное солнце», «Отвори, отвори поскорее калитку» и другую довоенную музыку, а котлеты имели не фанерный, а настоящий мясной вкус. Да и водка была вроде бы настоящая — в бутылке, с крупной надписью на наклейке: «Водка».

У полковника непроницаемо темные глаза были, как и у сына, наполовину прикрыты веками. Он расспросил Травникова — где воевал да как в плен попал, ну и все такое. О себе коротко изложил: в Прибалтике Ленфронт, выбив противника из Эстонии, боевую задачу выполнил, по приказу Ставки передал свои войска 2-му Прибалтийскому фронту. Ну а его, полковника-инженера Савкина, затребовал в Ленинград Попков, председатель горисполкома, — восстанавливать разрушенное бомбежками и артобстрелами городское хозяйство. Вот он, значит, приехал в Питер, и тут соседка Нинель Васильевна, единственный в квартире выживший человек, бывшая актриса комедийного жанра, заковыляла по коридору, стуча палкой, и крикнула: «Борис Сергеич, вас ожидает письмо!» На конверте фамилия отправителя — Тюрин — была полковнику незнакома. Он вытащил сложенный тетрадный листок и…

— Хорошо в коридоре сундук сто лет стоит, я на него и сел с размаху. А то бы на пол… А Нинель — кожа да кости, разве она подняла бы меня?.. Письмо с того света… Вот я и бросился в Половинку… Ты почему раньше не дал мне знать? — взглянул полковник на сына. — Финны в октябре военнопленных отпустили, а ты только

в январе написал.

— А куда было писать? На деревню дедушке? — вскинулся Владлен. Он, уже подогретый водкой, сидел в новом, купленном отцом пиджаке, бритый, без бороды, с сумасшедшим блеском в глазах. — Ты ж был на фронте, я номер полевой почты забыл, и вообще… Спецпроверка! Ее кто придумал? Ты выжил в финском лагере, молодец, теперь давай в наш советский лагерь! Это что — спасибо такое? Проверяльщики! Как в плен попал? Письма? Родственникам сообщить, что ты живой? Нельзя! Вашу мать!

— Перестань, — пробасил полковник.

Но Савкин-младший продолжал клокотать:

— Покалечен в бою — не считается! Тебя, как скотину, посадят в телячий вагон и повезут к едрене фене — спецпроверка! Бери лопату, кидай уголь в вагонетки!

— Успокойся, Влад!

— Ты был в морской пехоте? Не важно! Теперь ты морлок!

— Что за морлок? — хмурился полковник.

— Вон, у Валентина спроси! — Владлен схватил бутылку, плеснул себе в стопку.

— Это из книги, — сказал Травников. — Из романа Уэллса, подземные жители… Владлен

раскричался, но вообще-то он прав, товарищ полковник. Спецпровека бывших военнопленных унизительна. Допрашивают — как преступников. Нельзя же так… Что за подозрительность? Жестокость к людям, которые в плену замучены… Разве мы виноваты…

— Послушайте, Валентин, — прервал его полковник, закурив папиросу. — Вот насчет вины. Да, вы и Владлен не виноваты. Израненных захватили в плен. Оглушенных взрывом. Понятно. Но были и другие. В сорок первом была масса случаев сдачи в плен. Со страху от германского натиска. А еще — недовольные.

— Что за недовольные?

— Люди из деревень — так сказать, ущемленные коллективизацией. Они затаили обиду на советскую власть. И когда их мобилизовали, они стали сдаваться в плен. Потому и проверка. Добровольно сдавшихся в плен власть не может по головке погладить. Как ни в чем не виноватых.

— У нас, в бригадах морпехоты, полно было парней, призванных из колхозов, но что-то я ни разу не видел, чтобы они…

— У вас не было, а на других фронтах были. В дивизиях, попавших в окружение. Понятно?

— Не совсем, товарищ полковник. Почему сде-

лали виноватыми *всех* без разбору? Разве это справедливо?

— Так. Насчет справедливости. — Старший Савкин еще больше нахмурился, закурил, чиркнув зажигалкой, новую папиросу. — Вам в училище преподавали курс истории войн?

— Преподавали! — выкрикнул младший Савкин. — Нас учили, как вешать на реях захваченных в плен!

— Что за чушь несешь! Хватит пить. — Полковник отодвинул от сына бутылку. — Доешь котлету и винегрет. — Он повел мрачноватый взгляд на Травникова. — Мы ведем справедливую войну. На нас напал очень сильный враг. Мы выстояли и переломили войну. Но потребовалось много пролить крови. Огромное напряжение всех сил, какие есть в стране. И поэтому тех, кто уклонился от борьбы…

— Понятно, товарищ полковник.

— Я Борис Сергеевич. Все войны всегда несли в общество ожесточение. Даже и справедливые войны, как эта, не могли обойтись без того, что ты называешь жестокостью. Да, в сорок первом был приказ о военнопленных. Суровый приказ. Сдачу в плен приравнивал к предательству. Но надо же понимать обстановку.

— Я обстановку понимаю, Борис Сергеевич. Но считать предателями *всех* попавших в плен… Нет, не могу.

— Валентин, — сказал полковник, помолчав, — не надо обижаться на государство.

Травников пожал плечами. Изогнув бровь, посмотрел в окно, за которым мотали на ветру голыми ветками несколько озябших деревьев.

И почудился вдруг ему посвист ветра в туго натянутых леерах и антеннах.

Расконвоированному человеку — не житье, а благодать. По окончании работы не надо строем идти в опостылевший барак. Ты сам себе хозяин — кум королю и сват министру.

Вечером Травников после работы в шахте наскоро поужинал в столовке (макароны запил стаканом чая) и отправился к себе в общагу. Дважды Степан, сосед по комнате, звал его на второй этаж, в девятнадцатую, — там его дружки по Ханко жили, играли в картишки, по-мелкому, насколько позволяла плюгавая зарплата. Конечно, и выпивали они, ханковцы. Травников бывал у них в девятнадцатой — играл в «очко», оба раза проиграл, ну и выпивал с этими шумными парнями, бывшими десантниками. Но сегодня не пошел, отказался. Он в городской библиотеке, куда на

днях записался, высмотрел книжку «Во льды на подводной лодке» Харальда Свердрупа. Конечно, Валентин знал об Отто Свердрупе — друге и спутнике Нансена, капитане «Фрама» в знаменитом дрейфе через центральный полярный бассейн. Слышал и о Харальде Свердрупе, норвежском ученом-океанографе, участнике дрейфа Амундсена на судне «Мод». Но не знал, что оный Харальд (не сын ли Отто?) в 1931 году отплыл в Арктику на подводной лодке «Наутилус».

И теперь, растянувшись на койке и покуривая «беломорину», Травников с удовольствием читал, как неистовый полярник Губерт Уилкинс, убежденный, что Северного полюса можно достичь, пройдя подо льдом на подводной лодке, сумел уговорить морское ведомство Соединенных Штатов отдать в аренду отслужившую свой срок субмарину О–12. Ее и переименовали в «Наутилус». Вообще-то, наутилус — это просто название одного из видов каракатиц, но, пишет Свердруп, «в нашем случае имя было заимствовано из романа Жюля Верна „20 000 лье под водой“, и внук Жюля Верна присутствовал при торжестве переименования судна».

Харальд Свердруп, приглашенный Уилкинсом возглавить научные работы экспедиции, писал

живо. Кому-то это показалось бы скучным, но для Травникова — лучше такого чтения просто не бывает. Он прямо-таки получал удовольствие, читая о погрузке на «Наутилус» ящиков с научными приборами и провианта. «…За два-три хлопотливых дня провиант и полярное снаряжение были погружены на борт судна и уложены в самых невероятных местах: между батареями, под койками и на полках под потолком, между прочим даже в старых минных пушках, которые мы набили пеммиканом и шоколадом…» Пеммикан! Слово какое звонкое! От него веяло ветрами Арктики и Антарктики… холодом полярных льдов… собачьими упряжками Амундсена и Пири… последними дневниковыми записями несчастного капитана Скотта… А вот интересно, что́ имел в виду Харальд Свердруп, упоминая «минные пушки», — трубы для постановки мин или, скорее, торпедные аппараты?

Поход «Наутилуса», не приспособленного для арктического плавания, был неудачным. Страшная теснота (есть приходилось, стоя на камбузе), вечно мокрая палуба, постоянная сырость. «Питьевая вода, которой мы пользовались во время своего плавания к северу, была ужасна…»

Были проблемы с «заряжанием» батарей и

«сгущением» воздуха. «Постоянно ломалось то что-нибудь одно, то что-нибудь другое, или, как говорил Шоу: „Если что-нибудь ломается, так уж не одно, а сразу три“. Несмотря на это, никто не терял бодрости духа».

Самое неприятное случилось, когда «Наутилус» вошел во льды: каким-то образом был потерян «руль глубины». Ничего себе! Прочитав, что капитан «Наутилуса» счел возможным «наполнить передние цистерны и погрузить подводную лодку под какую-нибудь льдину», Травников изумленно покусал согнутый палец. Без горизонтальных рулей погрузиться можно, но — лодку не удифферентуешь и не сможешь идти подводным ходом!

Закурил очередную папиросу. Попытался представить себе устройство «руля глубины» на «Наутилусе». Вот бы очутиться на этой подлодке, протиснуться в тесноте, по мокрому настилу, в носовой отсек, вдохнуть особый запах подводной жизни…

Но разве дадут тебе помечтать всласть?

В дверь стукнули, и вошел в комнату — да не вошел, а ворвался — Серега Тюрин, на голове вязаная шапочка с гребнем, похожим на петушиный, один ус загнут вверх, второй смотрит вниз.

— Валюн, пляши! — потребовал он, потрясая

руками. В каждой было по письму. — Давай, давай! Ну?

Пришлось Валентину подбочениться и несколько раз присесть с усмешкой.

— «Эх, яблочко! — давал „музыку“ Тюрин. — Да куда котишься?! Ко мне в рот попадешь — не воротишься!!!»

Лена, младшая сестра, писала из Москвы:

Валька, я глазам не поверила, когда пришло твое письмо. Ведь в 42-м получили официальную бумагу, что ты погиб в боевом походе. Валечка, а ты живой! Какое счастье! Валя, я дома не живу, я же в армии, мл. сержант, на казарменном положении, а сегодня поехала домой, кое-что из белья взять, а в почт. ящике лежало письмо от Тюрина, я раскрыла и давай плакать и кричать от радости. Валька! Ты живой! Я побежала на почту дать телеграмму маме. Она в 41-м уехала с Дусей и ее сыном в Бугуруслан. Туда завод, где Дуська работала, по приборам каким-то, эвакуировали, она и маму туда забрала, а Боря, Дуськин муж, в 42-м погиб в Сталинграде. 42-й был ужасным

годом, сразу про твою и Борину гибель узнали. У мамы ноги отнялись, еле ходит, и плакать уже нет сил, сидит и молча смотрит, смотрит куда-то. Это Дуся мне написала. Я побежала, телеграмму дала, что ты живой. Валечка, ты пишешь, что проверку проходишь возле Губахи, я знаешь, что надумала? Ты дядю Мишу помнишь, папиного дв. брата? Который женился много раз (3 или 4). У него дочка была, Рита, ты вряд ли помнишь, мы маленькие были, когда из Губахи в Москву переехали, а она была старше нас. Но все равно сестра (3-юродная). Вот я вспомнила, мама говорила, что Рита там, в Губахе, на коксохимзаводе работает, не знаю кем, но я подумала, может, она заберет тебя из Половинки? Валечка, я Рите написала, где ты, и адрес твоего Тюрина дала. Все-таки родная душа, ну не знаю…

А второе письмо было из Губахи.

Валентин! Лена мне написала про твой плен и проверку. Попросила помочь, т. к. мы родственники. Сразу отвечаю. Знаю,

что ты воевал в морской пехоте и на подводной лодке. Если проверка закончена и нет нареканий, то тебя должны отпустить. В случае желания работать у нас на к.-химзаводе попробую тебе помочь. Для этого ты должен прислать мне заверенную копию документа о прохождении проверки, заявление о приеме на работу и, если есть, справку об образовании, а если нет, то согласие на работу разнорабочим. Привет. Маргарита Трофимова

Ну, деловая женщина! Ни одного лишнего слова.

Да нету, нету «нареканий», товарищ Маргарита! И есть справка о прохождении спецпроверки. А вот диплома об окончании военно-морского училища (высшее образование, между прочим!) — нет. Остался диплом, как и другие документы, как и орден Красного Знамени, на береговой базе подплава в Кронштадте. Сохранились ли? Сданы в архив, если есть таковой на бригаде? Ну не выбросили же в залив, япона мать… Бригада молчит, на письма не отвечает, но это же не значит, что его документы и орден вышвырнули в набежавшую волну…

Горькая была эта мысль. Но что же поделаешь… при таком страшном ходе его, Валентина, судьбы…

И он решился: ладно, пусть будет Губаха.

Отправил документы и стал ждать. В Губахе, на коксохимзаводе, не торопились; Рита помалкивала. Ну как же, иронизировал по привычке Травников, такой трудный случай, возьмешь на работу бывшего военнопленного, а он, мерзавец, взорвет эти, как они называются, коксовые печи.

Но вот наконец решился вопрос. Рита прислала обширную анкету, а потом пришел вызов на работу на коксохимзаводе, и Травников уехал в Губаху. Его провожали Тюрин, Дважды Степан и десантники из 19-й. Они выпили в станционном буфете, спели «Прощай, любимый город», но до конца допеть им не дал дежурный в красной фуражке — всегда ведь найдется запрещающий человек.

Весна в Губахе была, как определил Валентин, наполнена ветрами всех румбов. Ветры рвали в бурые клочья дымы печей, в которых круглые сутки шел выжиг каменного угля, привезенного из Половинки и других шахт бассейна, — превращение этого угля в твердый пористый кокс, нужный для доменного производства.

В цехе, в котором охлаждались коксовый газ и другие летучие продукты для нужд химической промышленности, стал работать электриком Валентин Травников. Много было возни с вентиляционными устройствами, достигшими почтенного возраста, да и вообще со старой электропроводкой. И тем более возросло напряжение, что Валентин захлопотал о получении документов, прежде всего паспорта, утверждающего его возвращение в *нелагерную жизнь*.

Надо сказать, что очень помогла ему Рита, троюродная сестра. У нее, замзава отдела кадров завода, были служебные связи в губахинской милиции и военкомате — они, налаженные связи, и сократили время, затраченное на беготню по инстанциям. Уже в апреле Травников стал обладателем паспорта и военного билета.

Кончилась долгая неволя. Дежурная в общежитии, нестарая крикливая женщина, относившаяся к нему благосклонно, испекла по его просьбе торт, и он, свободный человек, принес это произведение искусства к Маргарите домой.

— Ой! — воскликнула она. — Где ты достал такой огромный торт?

— Союзники прислали по ленд-лизу, — сказал Валентин, приглаживая волосы в передней.

— Тоже мне остряк!

Рита жила в отдельной двухкомнатной квартире с мамой (бывшей женой дяди Миши) и дочкой, пятнадцатилетней Ксенией. Крупная, коротко стриженная брюнетка с басовитым голосом, Рита твердой рукой управляла жизнью бабьего трио. На мать, райкомовскую машинистку, правда, покрикивала редко, а вот дочку держала в строгости и непререкаемости, требовала отличных отметок в школе, и чтобы никаких «танцев-шманцев». К ним, танцевальным вечерам, изредка, по праздникам, устраиваемым в мужской школе, Ксюша имела явное пристрастие, а вот химию, главную науку в Губахе, не любила. Рита подозревала, что Ксения заполучила нездоровую наследственность от деда, то есть от ее, Риты, отца — Михаила Трофимова, гуляки и картежника, ныне дующего в большую трубу в музыкантской команде какого-то фронта. А Ксения, Ксюша, была девочкой себе на уме, это-то и тревожило ее властную маму.

Пили чай с принесенным Валентином тортом. Разговор шел, понятно, о крупнейшем событии — о начавшемся штурме Берлина. Валентин пересказывал содержание сводок Совинформбюро, три пары очкастых глаз (все три женщины носили очки) внимательно смотрели на него,

человека военного, хоть и бывшего. А Ксения, щуря голубоватые глазки за стеклами, сказала невпопад:

— У нас в классе у одной девочки отец пропал без вести, так в бумаге было написано. Ее мама вышла за другого. За техника с химзавода. Вдруг ее папу привезли, без обоих… без обеих ног…

— К чему ты это? — прервала Рита дочку. — Инвалида не оставят без помощи.

— А что жена? — поинтересовался Травников. — Она к нему вернулась?

Ксения отрицательно покачала головой.

Шли письма из Ленинграда. Владлен Савкин писал в отрывистой манере: «Приняли в ЛЭТИ. Знаешь этот институт? Электротехнический. Без экзаменов. Математику подзабыл, учу снова. Совсем другая жизнь. Приезжай в Питер. Пожить можешь у нас».

А в следующем письме: «Валя, ты паспорт получил? Давай плюнь на Губаху, вали в Питер. Отцу дают новую квартиру…»

А следом за этим письмом — телеграмма:

«Новой квартире три комнаты одна будет твоя не будь дураком приезжай тчк Владлен». Ниже было наклеено уточнение: «дураком верно».

Телеграмма повергла Травникова в смятение.

Даже голова разболелась, и в груди будто обручем сжало. Он хватил двести граммов в забегаловке — вопреки своему правилу не пить в одиночестве. И решил: судьба позвала.

Позвала не быть дураком…

Рита отговаривала:

— Думаешь, тебя в Ленинграде пропишут? На каком основании? Друг позвал, такой же бывший военнопленный? Не смеши меня!

— У него отец на крупной должности в исполкоме, — стоял на своем Валентин.

— На какой? Председатель исполкома? Зам? А-а, по инженерной части. Ну так в милиции на него не гаркнут, а дадут вежливый отказ. «За кого, — скажут, — вы хлопочете, товарищ инженер?»

— Не пропишут, так вернусь в Губаху.

— А-а, вернешься! А твое место будет занято. Пойдешь грузчиком в универмаг? Не глупи, Валентин. Твоя перспектива — здесь. Ты работящий, толковый. Продвинем тебя, станешь мастером в цехе. Окончишь курсы, получишь инженерную должность. Женим на хорошей женщине с квартирой. Ты понял? Не гоняйся за журавлем в небе, Валентин.

Да, он понимал, понимал. «Не глупи! Твое место здесь», — взывала практичная Губаха. «Не будь

дураком, приезжай!» — клокотал из подоблачной дали центростремительный Ленинград.

Женщина с прекрасным лицом раздвигала знакомым — о, каким знакомым! — движением рук густые русые волосы на белом лбу…

Прописка? Ха!

Перспектива? Ха! Ха!

Валентин решился. С почты отправил Савкину в Питер телеграмму: «Приеду в мае».

И, с сильно забившимся сердцем, дал телеграмму в Кронштадт: «Дорогая Маша я жив возможно в мае приеду Ленинград тчк Валентин».

Глава двадцать третья «Невозможно жить с раздвоенной душой»

8-го ждали с утра Главное Сообщение. Но радио молчало. То есть, конечно, оно говорило, как всегда, о военных и невоенных достижениях, сопровождая бодрое вещание музыкой, тоже бодрящей. Но — ни слова о главном. *О конце войны!* Он был очевиден: Берлин взят, сопротивление немцев сломлено. Или, может, где-то в поверженной Германии оно продолжается?

Радио молчало.

За обедом выпили по положенному стакану красного вина. А перед ужином мы с Мещерским в его каюте хватили по полстакана неположенного спирта (разбавленного, но не сильно).

— За победу! — сказал он.

— За победу! — сказал я.

Закусили тем, что бог послал (а послал он ленд-лизовскую тушенку). Поговорили о текущем моменте, о возвращении флота в довоенные базы.

— Ты не знаешь, — спросил я, — долго мы еще

простоим в Хельсинки? Когда вернемся в Кронштадт?

— Думаю, в Кронштадт вряд ли вернемся. Бригада перебазируется, это точно. Я слышал, батя вякнул о Либаве. В разговоре с флагмехом спросил, уцелел ли там судоремонтный завод.

— Либава? — Я закурил, пустил в раскрытый иллюминатор облачко дыма. — Ну да, Либава… куда же еще…

— Летом отпуск возьмешь и поедешь. К своей Маше. — Мещерский подмигнул мне.

Отпуск! Слово какое-то забытое…

После ужина мы с Мещерским отправились прогуляться по Хельсинки. Вернее, Леонид Петрович заторопился к Марте, хорошенькой продавщице из «Штокмана». Ну а я — вот именно прогуляться пошел. Вторую неделю — после Машиного письма — бушевало во мне беспокойство, не сиделось по вечерам в каюте на «Иртыше», не хотелось ни в шахматы сражаться с Юрием Долгоруким, ни козла забивать. Я отпрашивался у бати и шел в город.

Вечер был светлый, тихий, звоночки трамваев подчеркивали благостную тишину. Погруженный в беспокойные мысли, я и сам не заметил, как ноги привели к площади перед стадионом,

где стоял памятник Пааво Нурми. Он нравился мне больше всех других памятников в Хельсинки. Воплощенный в бронзе знаменитый бегун лишь правой ступней касался гранитного постамента, левая нога широко откинута, висит в воздухе — он бежит, бежит, вот-вот оторвется от пьедестала, легко взлетит…

Только тебе, Пааво Нурми, могу сказать, какое гложет меня беспокойство… Я, знаешь ли, написал своей жене: «Дорогая Маша, это поразительно и радостно, что Валя уцелел при гибели лодки. Если он приедет в Питер, то мы должны встретить его как лучшего друга…»

Валька Травников действительно был моим лучшим другом. К твоему сведению, Пааво, лодку, на которой он плавал, осенью сорок второго потопили твои соотечественники. Да-да, теперь стало известно, что именно финская подлодка торпедировала «эску» капитана третьего ранга Сергеева. Но Валя каким-то образом уцелел. Его, как он сам говорил, не берет вода. Финны, значит, вытащили его из воды, он оказался в плену… Я узнал об этом осенью сорок четвертого, когда Финляндия, выбитая из войны, вернула советских военнопленных. Узнал, что Валя вернулся, но — не сказал об этом своей жене… да-да, ты

прав, Пааво, я должен был сказать ей, но… Пойми, пойми, дорогой, я боялся… *боюсь ее потерять!..*

Негромкий рокочущий звук донесся до моего слуха. Не с небес ли он шел? Я задрал голову. В синеватом вечереющем небе медленно плыл огромный дирижабль, снизу подсвеченный уже зашедшим солнцем. Да нет, это не дирижабль, а похожее на него облако — аккуратное небесное веретено. Его сопровождали облака поменьше — в небе шел некий парад. Но рокот все-таки несся не с небес. Били барабаны, а вот и трубы вступили, а может, фаготы — не знаю.

Я пошел туда, откуда неслись звуки. И вскоре вышел на Вокзальную площадь. Высоченную башню над вокзалом обтекали облака. По бокам огромной арки фасада две пары огромных гранитных фигур с огромными фонарями-светильниками в руках высокомерно взирали на столпившихся на площади людей. Гул голосов, улыбки — что тут происходило? Мне улыбались женщины, их было много тут. Здоровенный финн в желтом пальто до пят крикнул мне:

— Гитлер капут!

Голубоглазая женщина в синем костюме, отороченном белым мехом, сказала по-русски:

— Поздравляю. Германия капитари… капи-

тури…

— Капитулировала? — вскричал я. — Это ваше радио сообщило?

— Да. В Берлине подписали.

— Спасибо! — крикнул я. — Победа!

Хотелось расцеловать ее, голубоглазую. Но тут оркестр заиграл что-то легкое, быстрое, и толпа на площади вдруг — со смехом, подпевая — стала выстраиваться гуськом, каждый держался за талию впереди стоящего, и образовался огромный круг. Я и удивиться не успел, как оказался в этом круге, держась за крутые бока голубоглазой вестницы, а за меня сзади ухватилась смеющаяся девица. И круг двинулся, приплясывая и что-то выкрикивая в такт музыке.

И я шел-приплясывал в этом круге, и плыла над нами, тоже, вероятно, кружась, подсвеченная зашедшим солнцем облачная процессия, и огромная, безмерная радость вливалась в душу.

Наше радио сообщило о капитуляции Германии ранним утром 9 мая.

Что тут было!

«Иртыш» содрогался от топота танцующих ног, от мощных выкриков: «Ура-а!», «Победа!». Взвились на мачты флаги расцвечивания.

Господи, победа!

Кончилась, кончилась огромная, казавшаяся бесконечной война! Вы можете себе представить незатемненный город… без воющих сирен воздушной тревоги… без орудийной пальбы… и плавание по спокойной воде без скрежета минрепов о корпус подлодки, от которого замирает душа… без разрывов глубинных бомб… и это какая же удача — кончилась война, и ты живой!

Неужели наступает мирное время?

А какое оно будет?

Вадя, дорогой, ты прав, мы, конечно, должны встретить его как лучшего друга. Просто чудо, что Валя выжил, когда погибла его подводная лодка. Ты пишешь, что он оказался в плену в Финляндии. Так ты знал это? И если знал, то почему не сказал мне? У меня просто голова кружится. Столько вопросов! А тут еще сессия скоро, я не успеваю прочесть массу литературы, боюсь провалить экзамены.

Какое счастье, что кончилась война!

Капитана Гришу перевели на службу в Таллин, мама хотела с ним поехать, но осталась в Кр., чтобы помочь мне управиться с сессией, мне же придется, когда

она начнется, уехать на две недели в Питер, буду жить в общежитии, а мама возьмет отпуск и будет с Валентиной.

А ты все еще в Х.? Когда вернешься в Кр.?

Вадя, у меня столько вопросов, я просто теряюсь…

Приезжай! Целую.

Маша

Легко сказать: «Приезжай». А как приедешь, если отдан приказ о перебазировании бригады подводных лодок в Либаву?

Либава! Недавно, минувшей зимой, на подходах к этому незамерзающему порту наша «щука» выслеживала и атаковала немецкие конвои. Теперь она станет базой балтийского подплава. И ей, самодовольной Либаве, абсолютно наплевать на то, что мне позарез нужно в Кронштадт.

Лодки нашего дивизиона пришли в Либаву в последние дни мая. Малым ходом проплыли под разводным мостом, вошли в канал, повернули влево — в ковш Военной гавани. Тут уже стояла плавбаза «Смольный», пришедшая из Турку. Жаль, конечно, что не «Иртыш», привычный, как дом родной, наполненный нашими голосами,

нашими сновидениями. Но, очень уж битый войной, «Иртыш» отслужил свою службу и был отведен в Кронштадт (кажется, его порежут на металлолом, но точно не знаю). «Смольный» тоже был потрепан войной, но все же сохранился получше для продолжения службы (шутники острили, что «рюматизмы еще не согнули его мачты и флагштоки»).

Да что «Смольный»! В дальнем конце гавани стояла другая плавбаза нашей бригады — «Полярная звезда». Вот уж ветеран из ветеранов — бывшая императорская яхта. Ее палубы и лакированные каюты, потемневшие от старости, помнили не только семью последнего царя, но и бурные митинги, яростных матросов Центробалта. Сама История клубилась над мачтами этого удивительного судна.

Итак, ошвартовалась наша «щука» в Военной гавани Либавы. Команда расположилась в кубриках «Смольного», офицеры — в каютах. Иллюминатор моей каюты смотрел круглым оком на другую сторону гавани, где стояли пережившие войну корпуса́ судоремонтного завода Тосмаре. И пошла жизнь непривычная, без сводок Совинформбюро, без затемнений и бомбежек. В семь утра смольнинский горнист

играл побудку. После завтрака в кают-компании, согретые чаем, мы спешили на лодку. Ровно в восемь — подъем флага, и начинался очередной день государевой службы.

С каждым днем все более нарастало мое беспокойство.

И вот 16 июня, дождливым вечером, я получил первое на новом месте письмо.

Дорогой Вадя!

Трудно, трудно писать это письмо. Но я должна быть честной перед тобой. Я встретилась в Л-де с Валей. Он разыскал меня на факультете, у меня же началась сессия. Он страшно похудел, виски седые, а в глазах — ну не знаю, весь ужас того, что он пережил. Когда я сказала, что мы с тобой женились, он как будто окаменел. Сказал, что все понимает. Поздравил. И исчез. На третий день я забеспокоилась, разыскала его по адресу. Он живет у своего друга, с которым был в плену, Валя говорит, что и ты его знаешь, — у Владлена Савкина. Живут они на пр. Кирова, квартира большая, отец Владлена крупный начальник на стройках, занят восстановлением города. Валя говорит, что писал письма в штаб вашей бригады, думал, что его позовут снова на подводные лодки, но не получил ответа. Пытается получить работу

тут на вспомогательном флоте, но с пропиской очень трудно, и нет документа об образовании. Его диплом об окончании в.-м. училища остался в штабе бригады, м. б. ты узнаешь, уцелел ли он?

Вадя, дорогой, не знаю, как мне быть. Как жить дальше. Безумно жалко Валю. Он так беспощадно побит жизнью. Нет, он не жалуется, но ведь я вижу, как трудно дается ему жизнь.

А ты теперь долго будешь в Либаве? М. б., возьмешь отпуск и приедешь? Война кончилась, значит, начнут давать отпуска? Целую. Маша.

— Леня, — сказал я Мещерскому, — мне позарез нужно в Ленинград.

— Да что случилось?

— У меня рушится семья, — сказал я, отвернувшись, чтобы он не увидел моих тоскливых глаз.

— Чертовы женатики, — проворчал Мещерский, — хлопот с вами не оберешься.

«Не знаю, как жить дальше» — эти слова из Машиного письма жгли мне душу. Я никудышный психолог, не умею заглядывать в будущее больше чем на неделю, ну, может, на две. Но тут передо мной, недальновидным, вдруг раскрылась долгая череда одиноких годов…

— Мне нужно срочно в Питер, — повторил я, как заклинание.

Наш батя болел (всю войну прекрасно держался, а когда она кончилась, слег с сердечным приступом). Мещерский его замещал, да и вообще ожидал приказа о назначении командиром лодки. Он и помог мне получить двухнедельный отпуск. Более того: с его помощью я разыскал документы Травникова. Они сохранились! Сухопарый мичман, ведающий штабным делопроизводством, извлек из глубин большого сейфа диплом Валентина и удостоверения о награждении орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда» (сам орден и медаль были куда-то сданы). Распоряжением начальника штаба я получил их под расписку для передачи владельцу документов. От всеведущего мичмана я узнал, что письма Травникова штаб получил и что по ним «развернулась целая диспуссия»: комбриг хотел Травникова, как отличного офицера, вернуть, но начальник политотдела, запросивший мнение Пубалта, получил совет — воздержаться. Дескать, негоже краснознаменной бригаде звать на службу бывшего военнопленного. И письма Валентина остались без ответа. Между прочим, узнал я, что и командир потопленной «эски» Михаил Сергеев выжил и тоже был в плену и вопрос о его возвращении на флот решается «на

высоких уровнях».

С Варшавского вокзала я поехал, пересаживаясь с трамвая на трамвай, на Васильевский остров — в университет. В деканате филфака народу много — какое-то совещание, что ли, кончилось, шумно было тут, студенты шастали — ну ладно. Я обратился к пожилой даме, бегло печатавшей на пишмашинке:

— Извините. Я ищу студентку заочного отделения Редкозубову. Вы не знаете, где можно…

— Заочники, — прервала меня дама, — закончили сессию и разъезжаются.

Она передвинула каретку и вновь застучала. С типографского портрета, висевшего над ней, смотрел на меня, прищурясь, Ленин. Будто спрашивал: «Ну и что ты теперь будешь делать, золотопогонник?» А что же делать? Поеду в Кронштадт; раз сессия закончилась, значит Маша отправилась домой, верно? А погоны, Владимир Ильич, мне выдал не Деникин, как вы, может, подумали, а продолжатель вашего дела.

Тут стоявшая рядом худенькая девица, с веснушками вокруг носа, сказала:

— Вы ищете Редкозубову? Я недавно ее видела, она пошла в фундаменталку книги сдавать.

Я поблагодарил девицу и, уточнив располо-

жение фундаментальной библиотеки, скорым шагом туда отправился. Там тоже было многолюдно; студенты, похоже, сумели выжить в блокаду, ну, главным образом студентки; рябило в глазах от разноцветья их платьев. Но и парни тут были, в гимнастерках с темными пятнами на месте споротых погон.

Я шел вдоль длинной говорливой очереди, высматривая Машу. Нету ее. Может, пойти в общежитие на Добролюбова, поискать там… как когда-то, тысячу лет назад, разыскал ее однажды зимним вечером…

Вдруг я увидел ее русую голову, повернутую к высокому парню, стоявшему за ней. Они о чем-то разговаривали. У Маши на руках было несколько книг. И парень держал книги, целую кипу. На нем был серый пиджак необычного покроя, с разрезом сзади.

Я подошел к ним:

— Привет, Маша.

В ее светло-карих глазах вспыхнула радость, а может, испуг.

— Ой, Вадя! — Она шагнула в мои объятия, мы поцеловались. У нее выпала из рук одна из книг.

Я поднял ее, это был «Обрыв» Гончарова.

— Здравствуй, Валя, — взглянул я на Травни-

кова.

— Здравствуй, Вадим. Рад тебя видеть.

Я тоже, конечно, был рад. Но, честно говоря, не очень.

Страшно исхудавший, с седыми висками и ввалившимися щеками, Валентин Травников был и похож на себя прежнего, и не похож. Не стало в его зеленых глазах, как бы подернутых туманом, былого победоносного выражения. Быстрым взглядом он окинул мои погоны, ордена на груди.

— Валя помогает мне сдать книги, — сказала Маша. — Их столько накопилось — думала, что никогда столько не прочту.

— Все сдала на пятерки? — спросил я.

— Нет, одна четверка, по исторической грамматике. Ой, очень трудный предмет, если не прослушаешь курс…

Тут подошла ее очередь. Маша сдала книги, и мы вышли из библиотеки. В небе происходило большое передвижение облаков — они сползли с солнечного диска, и сразу стало светло и просторно.

— Ну, пойду домой, — сказал Травников. — Счастливо оставаться.

— Погоди, — говорю. — Я тебе подарок привез.

Раскрыл портфель, достал его диплом и удостоверения о наградах. Травников ахнул, его замкнутое лицо прямо-таки просияло.

— Дим, как я тебе благодарен! — Он схватил мою руку и крепко сжал. — Ты даже не представляешь…

Он слов не находил, чтобы выразить всю силу своей радости.

Я рассказал о «диспуссии», которая произошла на бригаде по поводу его писем.

— Понятно, — кивнул он. — Само собой, нельзя подпускать к лодкам такого преступника, как я.

— Валя, ты должен обжаловать их отказ, — сказала Маша. — Ты боевой офицер, ты ни в чем не виноват…

— Для Пубалта я всего лишь бывший военнопленный.

— Надо жаловаться! — Маша твердо стояла на своем. — Разве нет никого выше Пубалта? Надо писать в наркомат. В Цэка, в конце-то концов!

Мы вышли на набережную. Тут, у ворот университета и на трамвайной остановке, было многолюдно — как до войны! — и пестро от женских платьев. Женщины, подумалось мне, приоделись во все самое лучшее — как бы бросили вызов пережитой блокаде. Мы с Валей

закурили, облокотившись на гранитную ограду, а Маша продолжала развивать свои мысли, несомненно верные.

По Неве шел, густо дымя черным дымом, буксирный пароходик, волоча длинную баржу, заставленную желтыми ящиками.

— Вот, — указал Травников на буксир, — вспомогательный флот. У них нехватка людей. Капитаны с образованием очень нужны. Хотят меня взять, даже с моим прегрешением. Но… — Он улыбнулся мне. — Но может, теперь, с дипломом, будет полегче… А вот и моя «семерка». Счастливо!

Он кивнул и поспешил к трамваю.

— Разрез, — говорю. — Зачем это?

— Какой разрез? — спросила Маша.

— На пиджаке у него, на спине. Ну, не важно. Какие у тебя планы на сегодня?

Планы были. Через полчаса начнется в конференц-зале встреча с писателями-блокадниками — Маша хотела их послушать, особенно Ольгу Берггольц, чей голос, звучавший по радио, так много значил для всех нас, помогая оставаться людьми в нечеловечески тяжкие дни и ночи блокады. Потом у Маши были какие-то бытовые дела перед отъездом — завтра она уедет домой,

в Кронштадт. Конечно, я поеду вместе с ней, а сегодня хотелось повидаться с отцом — с сорок второго года мы с ним не виделись.

Уговорились с Машей встретиться в шесть вечера в общежитии на Добролюбова. Из будки автомата я позвонил в родную квартиру на 4-й линии, но телефон молчал. Понятно, отец на работе, и его жена, Галина Вартанян, тоже. А их дочке, Люсе, моей сводной сестре, сколько — лет восемь или девять? Наверное, она в школе.

Вот что я сделаю: пойду к отцу, ведь его редакция фронтовой газеты, теперь газеты Ленвоенокруга, недалеко — в старом здании Генштаба. Неторопливо шел я по Республиканскому мосту, и, знаете, как ни странно, вливался мне в растревоженную ходом жизни душу неожиданный покой. «Невы державное теченье», возможно, влияло… вид Зимнего дворца… адмиралтейская игла, на которую наткнулось и повисло, как дирижабль у причальной мачты, белое, с золотыми краями облако. Уж не из Хельсинок ли оно приплыло? Странная, конечно, мысль.

Ангел, вознесенный Александровой колонной, по-прежнему осенял крестом ленинградское небо. Все в порядке, ребята, думал я, пересекая Дворцовую площадь. Выдержали блокаду, побе-

дили в долгой, страшной войне — управимся и с мирным временем. Порядок на Балтике!

А отца в редакции не оказалось. В комнате, где он работал всю войну, его стол пустовал. За соседним столом сидел пожилой майор с лицом, изрезанным морщинами, и быстро писал авторучкой. Я знал его, это был поэт-сатирик, автор стихотворных фельетонов, разивших наповал Гитлера и его окружение. Я поздоровался, он взглянул водянистыми глазами и сказал тонким голосом:

— А-а, морской волк, сын Льва. А твой папочка уехал в Москву.

— В Москву? Зачем?

— Совещание писателей по военной литературе. Вчера и уехал. А может, сегодня уедет, не знаю.

Он опустил взгляд на рукопись, снова занес над ней сатирическое перо.

«Может, сегодня уедет…» Надо еще раз позвонить. Я спросил разрешения, сатирик кивнул: «Телефонируй».

Я сел за стол отца, набрал домашний номер. Сыпались безответные гудки. Черт, что же делать? А вот что: позвоню-ка Лизе. Может, она дома? Неловко, конечно: с сорок третьего года

не писал ей, только в письмах к отцу передавал приветы. А теперь вдруг звоню: «Эй, соседка, где мой папочка?» Некрасиво себя ведешь, старший лейтенант Плещеев, обругал я себя.

А какой номер у Лизы? Начальные цифры я помнил, а последние две… не то 29, не то 92… Черт дери, Плещеев, ну нельзя же так… Это же Лиза… не чужой тебе человек…

Затрепанная телефонная книга лежала на отцовском столе. Я взял ее, раскрыл на букве «з». Бросилась в глаза фамилия Зайчик. Ха, Зайчик! Когда-то мы с Оськой для забавы звонили тебе. Жив ли ты? Вряд ли, конечно.

Ну вот — Зародова Елизавета Юрьевна. Ну да, последние цифры — 92. Я набрал номер и услышал знакомое низковатое «алло».

— Здравствуй, Лиза!

— Здравствуй, Вадим. — Она сразу меня узнала.

— Как ты поживаешь, Лиза?

— Хорошо поживаю. А ты?

— Я тоже… Лиза, милая, извини, что я так долго…

— Ничего, — не дала она мне договорить извинение. — Лев Васильич передавал твои приветы. Спасибо, что не забыл.

— Ну что ты, как можно забыть... Лиза, отец дома?

— Он вчера уехал в Москву.

— Понятно. А его жена?

— Галя на работе. А Люся только что из школы пришла. Буду ее кормить. Хочешь поговорить с ней?

— Н-не знаю. Я ведь ее никогда не видел.

— Ну так поговори, она же твоя сестра. Люся, — позвала Лиза, — возьми трубку, это Вадим, твой старший брат.

Я услышал в трубке детский голос, очень бойкий:

— Здравствуй, Вадим.

— Привет, Люся.

— Ты приехал на подводной лодке?

— Да, конечно, — усмехнулся я, — на чем же еще?

— На воздушном шаре! — Она засмеялась звонко.

— Ты, я вижу, проказница.

— По телефону видеть нельзя! — объявила моя сводная сестра. — Ты знаешь, у нас в классе одна девочка умеет шевелить ушами!

— Здóрово! А ты тоже умеешь?

— Нет. Папа говорит, надо не ушами шевелить,

а мозгами.

— Папа совершенно прав.

— Я тоже так думаю, — совсем по-взрослому сказала Люся. — Вадим, я сейчас покушаю, а ты через полчаса приходи.

— Ладно, приду.

Я положил трубку. И так живо представилась мысленному взору комната Лизы с печкой-буржуйкой в углу, а на печке кастрюля с блокадным супом, а из черной тарелки репродуктора — стук метронома: так-так-так-так…

Помотал головой, отгоняя видение.

Снова бросился в глаза Зайчик в телефонной книге. Майор-сатирик прилежно писал, не обращая внимания на мои телефонные разговоры. Эх, а вот возьму и позвоню.

Я набрал номер. Полминуты не было ответа. Потом я услышал кашель и голос… да, тот самый, довоенный, доисторический:

— Я слушаю.

— Зайчик, это ты?

— Да, я.

— Пиф-паф! — сказал я с нежностью.

— А-а, это ты, болван. Выжил, значит?

— Зайчик, как я рад, что ты живой!

— Да… ногу потерял, но живой… А как ты, кре-

тин?

— Зайчик, я сейчас заплачу… Обзови меня еще как-нибудь, покрепче. Прошу!

— Ах ты, засра-анец, — мягко сказал он. И закашлялся.

У Лизы в комнате почти ничего не изменилось. Ну, не стало, конечно, буржуйки с коленом, упертым в форточку. Кровать была накрыта новым покрывалом, черным с голубыми полосами. А в углу появилась икона — с ее темноватого фона пристально глядели Богоматерь и, у нее на руках, кудрявый младенец. Под иконой стояла на тумбочке ваза с красными цветами (возможно, геранью).

И Лиза не изменилась, разве что пополнела. Опять у нее, как до войны, была короткая стрижка. Мы поцеловались, и она, выскользнув из моих объятий, спросила, буду ли я кушать кабачковые оладьи и пить чай. Я, с утра ничего не евши, сказал:

— Конечно буду. А то еще прихватит цинга.

Лиза не откликнулась на мою неуклюжую шутку. Сидя по другую сторону стола, она смотрела будто издалека. Будто не она вытаскивала меня из цинги весной сорок второго. Словно не было у нас ничего.

Я ел оладьи, очень вкусные. Пил чай и — не тревожил Лизу воспоминаниями. Только спросил: а как Покатиловы? Она коротко ответила: Клавдия Поликарповна умерла в январе, Покатилов жив и сильно пьет, а Ника вышла замуж за официанта какого-то ресторана, живет у него в Озерках, сюда приезжает дважды в неделю — готовит еду отцу и выпивает с ним. И слышно, как они орут друг на друга.

Еще я спросил Лизу, работает ли она по-прежнему в больнице. Да, там же, операционной сестрой, сутки на работе, двое суток дома, — и тут, взглянув на часы, она объявила, что должна пойти в храм. Именно так и сказала: «в храм», а не «в церковь». Я раньше не замечал ее религиозности, а вот теперь… ну ладно.

Мы прошли по коридору в плещеевские комнаты. В бывшем кабинете Ивана Теодоровича за его старинным столом (я остолбенел от неожиданности) торчали ноги — две маленькие ступни в малиновых носочках. Тотчас они исчезли, — появилась голова с черноволосыми косичками. Люся — прехорошенькая, с бойким выражением лица — смеялась, глядя на меня синими глазами.

— Сколько раз тебе говорила: нельзя становиться на голову после еды, — сказала Лиза.

— Больше не буду! — ответила Люся, наверное, тоже не в первый раз, и подошла ко мне. — Это какой орден? — ткнула она пальчиком мне в грудь. — Красная Звезда? А это? Красного Знамени?

— Ну, я ухожу. Будь здоров, Вадим, — сказала Лиза, натягивая на голову черный берет.

Я подступил было к ней, чтобы обнять на прощанье, но она живо увернулась и вышла.

Что-то я совсем расстроился. Почему так не везет мне с женщинами? Я их люблю… да, люблю, са́тана пе́рккала… Но моя жена пишет, что не знает, «как жить дальше»… А другая женщина… бывшая подруга… накормила меня кабачковыми оладьями и ушла молиться Богу… Что же мне делать, люди добрые? С отцом бы посоветоваться, но он уехал в Москву решать проблемы военной литературы.

Между тем моя сводная сестра, бойкое существо, теребила меня. Я посмотрел ее рисунки. Часто повторялся один сюжет: домик с двускатной крышей, а над ним яркая радуга.

— У твоих радуг неправильно расположены цвета, — сказал я. — Дай карандаши, покажу, как надо.

Люся из ящика стола вынула коробочку с цвет-

ными карандашами, и я нарисовал правильную радугу.

— А по-моему зеленое надо перед желтым, — сказала Люся. — Я сколько раз видела!

— Ты ошибаешься.

— Нет, ты ошибаешься!

Я вспомнил чье-то известное высказывание, что с женщинами не спорят, и махнул рукой. Пускай зеленое будет перед желтым.

Потом Люся показала свой гербарий. Между страницами книги лежали высохшие веточки и цветочки, и моя сестра поведала, где они были сорваны и как называются. А книжка называлась «Дети с маяка».

— Ты прочитала ее?

— Конечно! А ты был на маяке?

— Нет. Но видел их много. Я же моряк.

— Расскажи, расскажи! Зачем они?

Я рассказал, для чего мореплавателям нужны маяки. Люся слушала, как мне показалось, с недоверчивым видом. Наверное, она принадлежала к той части человечества, которую на мякине не проведешь (на *маякине* тоже, пришло мне в голову).

А потом — знаете, я просто поразился, — потом Люся вытащила из того же ящика стола альбом

с марками. Мой старый альбом! Я-то думал, что он не сохранился, исчез, сгорел в буржуйке, — а вот же он, целехонький. С чувством умиления я листал альбом, узнавал свои марки. Вот Либерия… Cabo Verde — это Острова Зеленого Мыса… Треуголка Ньясы с портретом Васко да Гамы…

— Кто это? — ткнула в него пальчиком Люся.

Я стал рассказывать о плавании знаменитого португальца, и тут послышались быстрые шаги, в комнату вошла королева Марго. Таким было мгновенное первое впечатление. В какой-то книге видел я портрет Маргариты Валуа — тонкие черты лица, усмешливые губы, высокий лоб, волнистые волосы, схваченные золотым (или жемчужным?) ожерельем. Нет, у Галины Вартанян не было ожерелья в волосах, и одета она была не по-королевски, без плоеного воротника. (Да и вообще не мешало бы мне умерить свои фантазии, не совмещающиеся с реальным ходом жизни.)

Жене моего отца было лет тридцать пять или немного больше, роста она была невысокого, с хорошей фигурой, обтянутой ярко-красным жакетом и синей юбкой.

— Здравствуйте, Вадим! — Она говорила очень быстро. — Наконец-то появился!

— Здравствуйте, Галина Кареновна. — Я пожал ее тонкую руку.

— Просто Галина. Можно — Галя! Вы в отпуск приехали? Как, уже завтра уедете? В Кронштадт? Очень, очень жаль! — тараторила она, слегка шепелявя. — Лев очень расстроится. Он уехал в Москву дней на пять, там совещание военных писателей… А, вы уже знаете! Он вас обожает! Читает мне ваши письма…

— Говорите мне «ты». Я же ваш пасынок.

— Пасынок! — Галина звонко рассмеялась. — Люся, ты пообедала? Что ты ищешь в столе? Знаешь, пасынок, нам очень помогает Елизавета. Мы со Львом на работе, я ведь тоже в газете, в отделе культуры… Знаешь? Ну вот, Лиза кормит Люсю, когда та из школы приходит. И вообще… Ну, добрая душа!

— Галина Каре… да-да, просто Галя. Могу я сегодня переночевать у вас?

— Ой, ну конечно! Ты же владелец, у себя дома тут. А мы, как разбомбленные, в очереди на получение квартиры. Лев хлопочет, чтобы ускорить. Пойди помой руки, будем обедать. В этой декаде выдали по карточкам рыбу. Ты ешь рыбные котлеты?

— Спасибо, Галя. Я ем все, но я не голоден…

— Котлеты с тушеной капустой — пальчики оближешь! А, ты смотришь свой альбом с марками? Да, твоя мама сохранила…

— Вот, я нашла! — Люся вытащила из ящика стола тетрадку в выцветшей бледно-голубой обложке. — Папа говорил, что это самая дорогая вещь.

Знаете, у меня дух перехватило, когда я взял тетрадь маминой мамы, Полины Егоровны, раскрыл и увидел давно знакомые строки. Чернила сильно выцвели, но все же можно было различить:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели…

Благоухая тушеной капустой, я спускался по лестнице, и стая «легких времирей» как бы сопровождала меня.

Время (времири!) позволяло сделать еще один визит. На втором этаже я увидел, что дверь квартиры Виленских раскрыта, и стояли здесь, на площадке, и курили два армейских капитана.

Я козырнул им и спросил, что происходит и дома ли Раиса Михайловна.

— А где ж ей еще быть? — сказал один из них. — Тут она, на поминках.

Я вошел. В большой комнате за накрытым столом сидели человек десять, военные и штатские. Лысый майор в очках стоял с рюмкой в руке и произносил речь. Он запнулся, взглянув на меня. Рая, сидевшая с ним рядом, сказала таким тоном, словно ожидала моего прихода:

— Здравствуй, Вадим. — И пояснила: — Это наш сосед Плещеев. Подводник Балтийского флота.

— Так вот, — продолжил речь лысый майор. — Александра Дмитрича мы в отделе очень уважали. Можно сказать, он, не будучи военным, был образцом отличного выполнения воинского долга. Его превосходное знание языка помогало нам…

Розалия Абрамовна, седая, но с черными бровями домиком, подвинулась, усадила меня рядом, тихо сказала:

— Дима, очень рада тебя видеть. У нас беда, Саша умер позавчера. Инфаркт.

— Сколько ему было?

— Шестьдесят шесть. Сегодня вот похоронили на Волковом кладбище. — Она положила мне на

тарелку винегрет.

Теперь говорил штатский, пожилой тощий дядечка с вытянутым аскетичным лицом и умными глазами.

— …По праву считался у нас лучшим германистом. Его работы о литературе периода «Бури и натиска», несомненно, можно назвать классическими. Александр Ярцев и прекрасно переводил. Он сумел сохранить в переводах изящество стиля и орнаментализм таких поэтов, как Виланд…

— Виланд был не из «Бури и натиска», — заметил скрипучим голосом другой штатский человек, с седой бородой. — Он был поэтом немецкого рококо.

— Несомненно, — кивнул длиннолицый штатский. — Но вспомните о дружбе Виланда с Гёте. О высокой оценке, которую дал Гёте виландовскому «Оберону»…

Знаете, мне казалось, что я попал на другую планету. Положим, водка и винегрет были обычные, да и выглядели эти штатские не как инопланетяне, но разговоры, которые они вели… Из другого мира были они со своим Виландом… с «Бурей и натиском»… с немецким рококо…

— Александр Дмитрич рассказывал мне о допросах пленных немцев, — сказала Рая. — Он,

конечно, переводил. Но иногда и сам задавал вопросы. Одного офицера спросил, читал ли тот «Успех» Фейхтвангера, «Безобразную герцогиню». Офицер ответил, что никогда не слышал о таком писателе.

— Ну, естественно, — сказал длиннолицый штатский. — Фейхтвангер — еврей, его книги нацисты бросали в костер. Это же была для них «дегенеративная литература».

— Да, но вот Лессинг не был евреем. Типичный немецкий классик. И тот пленный офицер о нем знал. Но — ни одной пьесы Лессинга не смог назвать.

— Тоже неудивительно, — проскрипел седой бородач. — У Саши… у Александра Дмитриевича были завышенные ожидания.

— Что значит — завышенные? — вопросил лысый майор. — Александр Дмитрич в своих статьях напоминал немецким солдатам, что у них за плечами великая культура. Что они, пойдя за Гитлером, унизили Германию в глазах всего мира…

— Ну и что? — скрипел бородач. — Хоть один солдат, прочтя умные статьи Ярцева, повернул штык против Гитлера? Высокая культура! Да ее отодвинули в сторонку, чтоб не мешала свих-

нувшимся политиканам, и двинули танковые корпуса! Ни одну страну она не уберегла…

— Да что это вы говорите!

Что-то невмоготу мне стало слушать вспыхнувший спор. Я вышел на лестничную площадку и закурил. Тут и Рая вышла, мы поцеловались. Она сказала, наморщив лоб:

— Этот Мышаков! Ему что ни скажи, непременно должен возразить. Саша его недолюбливал.

— Все специалисты по рококо — ужасные спорщики, — сказал я.

— За минувшие годы твои шуточки не стали умнее, — прищурила Рая свои серые глаза. — Дай мне папиросу.

— Ты куришь? — удивился я и протянул ей пачку «Беломора».

— Немного. Тайком от мамы. Она меня ругает.

— И правильно делает. — Я чиркнул спичкой, поднес огонек. — Ты демобилизовалась?

— Почти. Наш отдел по разложению войск противника больше не нужен. Я жду приказа.

— Пойдешь доучиваться на филфак?

— Уже восстановилась. Да, на днях встретила твою Машу. В столовой буквально столкнулись. Она на заочном теперь отделении… ну, это ты, конечно, знаешь. Маша очень похорошела.

— Ты тоже хорошо выглядишь.

— Замечательный комплимент. Не стряхивай пепел на пол. В прихожей на подзеркальнике пепельница, принеси ее.

— Слушаюсь, товарищ младший сержант.

— Старший!

Я принес пепельницу. Мы курили, Рая говорила, что у Ярцева были обширные планы, связанные с исследованием антифашистской немецкой литературы. Он был полон творческих сил, ничто не предвещало внезапной ночной остановки сердца.

Вот такие дела. Была маленькая девочка Райка, плакса и капризуля. Прокатились грохочущей колесницей годы — и вот стоит передо мной молодая вдова… Из лестничного окошка льется неяркий свет на ее узкое бледное лицо (а ведь как переживала в детстве, что у нее розовые щечки!), на ее ладную фигуру в темно-зеленом платье с рюшами.

Девочка Райка — вдова… Господи!..

Я спросил об Оське — нет ли каких-либо вестей?

— Нет, — сказала она. — Только бумага в три строчки, что пропал без вести.

Мне пора было уходить. Я попрощался с Роза-

лией Абрамовной и сослуживцами покойного Ярцева. Рая снова вышла на лестничную площадку проводить меня.

— Держись, — сказал я. — Всего тебе хорошего.

— Тебе тоже, Дима. Счастливого плавания. Не исчезай, — добавила она тихо.

Как и договорились, в шесть встретились с Машей в университетском общежитии. Большой дом рядом, на Мытне, был разрушен бомбежкой, а этот, на Добролюбова, уцелел, стоял, как гранитная скала, только был побит осколками. Как в довоенное время, он гудел голосами студентов. Жизнь возвращалась.

Надо было где-то поужинать.

— На третьем этаже буфет открыли, — сказала Маша. — Какая-то еда там есть.

— «Какую-то» я есть не стану. Пойдем поищем хорошую еду.

— По-моему, хорошую ты уже поел. Судя по водочному духу.

— Да, я слегка выпил. Маша, не упрямься, пойдем искать приличную харчевню.

— Приличные, наверное, на Невском. Ладно, пойдем.

Мы шли по Невскому проспекту. Тут уже ничто не напоминало блокадную погибель, разруху,

вмерзшие в снега разбитые трамваи. Только кое-где было огорожено. Да остались на стенах сине-белые предостережения: «Граждане, в случае артобстрела эта сторона наиболее опасна».

Маша рассказывала о сессии: как боялась, что попадутся трудные вопросы по курсу западной литературы, она не успела прочесть Филдинга, Смоллета, Лессинга, еще кого-то — ужас, как много написано книг, — разве мыслимо все прочесть?

— Ой, одной девочке достался Флобер, — тараторила Маша. — Тамара пустилась подробно разбирать «Госпожу Бовари», преподавательница остановила ее, говорит: «Так, теперь — о „Воспитании чувств“». — «„Воспитание чувств“? — говорит Тамара. — Ну, там чувствуется…» А Володя Горшенин ей громко подсказывает: «Воспитание». — Маша смеется. — Все, конечно, ха-ха-ха… Ой, этот Володя с обожженным лицом, он, говорят, в танке горел, но — с таким юмором мальчик!

Я слушал, улыбался; голос Маши — она говорила увлеченно, помавая рукой, — действовал неотразимо. Уплывала, растворяясь в густом питерском воздухе, тревога. Чего я, черт дери, распсиховался? Маша со мной, мы идем под ручку по Невскому, встречные мужчины глазеют на мою

ненаглядную — да-да, моя жена самая красивая, и платье на ней, коричневое в голубых цветках, тоже самое лучшее…

Кафе «Норд» было закрыто. Мы дошли до «Квисисаны», она открыта, и мы, как приличные люди, знающие себе цену (цены в ресторане тоже), входим, и метрдотель, или как он там называется, усаживает нас за столик, за которым сидят, уже раскрасневшиеся от выпивки, двое военных — усатый подполковник и безусый майор.

Я заказываю двести пятьдесят водки, салат и бифштексы с каким-то гарниром. Вот так, как у приличных людей. Маша пригубила, а я выпил полную стопку, мы принялись закусывать. Теперь Маша рассказывала о выступлениях писателей в университете.

— Так интересно говорили! Такие грандиозные планы! Не просто восстановление разрушенного, а преображение города, его расширение на юг и восток. Ой, Вадя, ты представить себе не можешь, какие открываются перспективы…

— Почему это не могу? — возразил я, уже после второй стопки. — Что я, болван какой-нибудь?

Но, кроме шуток, мы говорим о том, какая прекрасная, осмысленная жизнь предстоит нам, выжившим в долгой войне.

Вдруг сосед по столу, усатый подполковник с большим «иконостасом» на кителе, влез в наш разговор.

— Извиняюсь, — сказал он, приподняв в улыбке желтые щеточки усов, — я услышал, как вы… поправочку разрешите… войну окончили на западе, но еще нужно на востоке… япошек надо разгромить!

Меня резануло это — «япошек».

— У японцев, — говорю, — сильная армия, товарищ подполковник.

— Ну и что? Не сильнее, чем была у Гитлера.

Безусый майор стал сыпать цифры — сколько в Квантунской армии, расквартированной в Маньчжурии, личного состава, танков, самолетов. По-моему, он преуменьшал японские силы. Мы заспорили. Невзначай я взглянул на Машу и поймал ее взгляд, устремленный на меня. Такой, что ли, вопрошающий… Я умолк на полуслове.

— Ты хочешь что-то мне сказать? — спросил вполголоса.

— Нет. — Маша опустила взгляд на недоеденный бифштекс.

Ни в тот вечер в «Квисисане», ни утром следующего дня, когда я, переночевав в своей старой квартире, пришел к Маше в общежитие, она не

сказала *ничего такого*.

Мы отправились на Балтийский вокзал, электричка помчала нас в Ораниенбаум. Я глядел на перелески, на пролетающие поселки с черными прочерками артобстрелов. Маша сидела рядом и рассказывала об Аполлоне Григорьеве. Я этого поэта прошлого века не знал, не читал, а она прочла и отзывалась восторженно:

— Такой мощный поэт! Воспел, может, впервые в русской литературе, трагическую любовь… безумное счастье страданья… Ой, Вадя, прочти Григорьева!

— Прочту непременно, — кивнул я, глядя в окно на прекрасный, тихий, еще не прибранный послевоенный мир.

В Петергофе (то есть Петродворце) — короткая остановка. Станция полуразрушена, но рядом с ней красуется недавно, видимо, построенный, голубой краской покрашенный пивной киоск. И десятка два мужиков возле него.

Счастье страданья? Вот еще! Освежись кружкой пива, парень, и двигай дальше наступившую хорошую жизнь.

Неторопливый пароходик переправил нас из Ораниенбаума в Кронштадт. И вот я дома, на Карла Маркса, четыре. Валентина, очень подросшая

с зимы до лета, повисла у меня на шее и бурно рассказывает, что видела у знакомой девочки на улице Амамама живого кролика и она, Валентина, тоже хочет заполучить такого же. И я говорю, что постараюсь достать кролика, а улица правильно называется — Аммермана (через три «а», а не четыре).

Капитолина Петровна тоже здесь, немного поседевшая и располневшая, но все же по-прежнему красивая.

— Здравствуй, Вадим, — говорит она своим протяжным контральто. — Хорошо, что ты приехал.

А что, собственно, хорошо? Обычное дело: муж приезжает к жене. У Маши осталось еще несколько дней отпуска. Мы сходили в кино, в «Максимку» — так до войны называли кинотеатр имени Максима Горького в Морском соборе. В войну собор был закрыт; к счастью, не пострадал от бомбежек, а теперь в нем опять крутят кино. Мы посмотрели трофейный фильм «Дорога на эшафот», это история Марии Стюарт, которой сестрица, королева Елизавета, велела отрубить голову. Замечательный фильм. Маша вышла вся в слезах, ну, действительно, нельзя же так жестоко, безжалостно убивать женщину, пусть даже соперницу. Ужасные были нравы в шестнадца-

том веке. Но и в двадцатом, кажется, не лучше.

Вот кто прекрасно жил, не ведая рефлексий, так это капитан Гриша. Недавно, впрочем, он стал майором (интендантской службы). Он приехал в Кронштадт, чтобы забрать любимую женщину — Капитолину Петровну — в Таллин, к своему новому месту службы. Они заявились к нам с выпивкой и пирожками, испеченными Капитолиной, — «отвальную» устроили, и Гриша, круглолицый, со своей улыбочкой от уха до уха, очень расхваливал Таллин. Такой красивый город, старинные башни, а какой чудный парк — Кадриорг, там дворец Екатерины Первой, побитый войной, но все же…

Все же Капитолина была очень озабочена переездом. Заботила, а может, и тревожила ее предстоящая разлука с дочерью и внучкой. Гриша, великий стратег, комментировал предстоящую войну с Японией. А Капитолина, когда Маша вышла в кухню, вдруг наклонилась к моему уху и сказала:

— Вадим, вот что. Ты забери Машу с ребенком к себе в Либаву.

— Куда забрать, в каюту на плавбазе? — отвечаю. — У меня нет там жилья. А почему вы, собственно…

Договорить не успел: вошла Маша с чайником. Так я и не получил ответа на невысказанный вопрос — почему я должен поскорее увезти мою жену в Либаву? Что за срочность такая?

Нечто в глубине сознания подсказывало, что Капитолину беспокоит возвращение Травникова. Ну, знаете ли… С этим беспокойством я уже полгода живу. Но никакой перемены в Машином поведении я не замечал. Она *моя* — вот и все.

Накануне отъезда в Таллин Гриша позвал меня в офицерский клуб поиграть в бильярд. Я играл неважно. Но поскольку делать мне в Кронштадте было нечего, то согласился. Шары с костяным стуком сталкивались на зеленом сукне, падали в лузы — у Гриши чаще, чем у меня. Я проиграл три партии и, бросив кий, сказал, что больше не хочу. В кафе мы выпили водки и занялись рыбным блюдом с каким-то странным названием. Гриша вдруг глубокомысленно посмотрел на меня и сказал:

— Вадим, не мое это дело, но… ты не чужой человек, так?

— Не чужой, — подтвердил я, сражаясь с жесткой спинкой рыбного блюда.

— Ну вот. Капа беспокоится, ну и я… В общем, еще перед отъездом в Питер Маша получила

письмо от этого… ну от бывшего…

— Ясно. — Я отодвинул неподатливое блюдо. — Продолжай.

— Она ходила сама не своя. Глаза мокрые, так? Капа говорит: «Что с тобой?» А она: «Ничего». — «Как же ничего, когда ты сама не своя? Ты что, хочешь уйти к этому, бывшему…»

Гриша умолк, налил себе в стопку водки из графинчика.

— Продолжай, — сказал я, глядя в окно.

Там сиял послевоенной голубизной летний полдень.

— Ну вот. — Гриша залпом выпил. — «Хочешь, — говорит, — к нему?» А Маша: «Ах, ничего не хочу. Вообще не знаю, — говорит, — как мне жить». Капа: «У тебя семья, и ты должна…» А она: «Да, да, должна, и отстань от меня… отстань», — говорит. А разве можно так с матерью…

День за окном сиял — но не для меня. Я брел по Июльской, у моста через канал поглядел на прикрепленную к его устою чугунную линейку Кронштадтского футштока, от нуля которого ведется отсчет уровня воды и вообще всех высот по всей территории страны. Мимо прошел патруль, его начальник удивленно посмотрел на меня — на торчащего без дела офицера, разглядывающего

пусть не секретный, но все же морской объект.

Медленно тащился по Карла Маркса вдоль канала. Старые тральщики, стоявшие тут в войну, увели куда-то, канал был пуст. (Да и вообще почти весь флот ушел из Кронштадта в прибалтийские базы.) Темная застойная вода в пустом канале… «Отстань от меня… а разве можно так…» Разве можно так со мной?..

Маша была дома, возилась на кухне, когда я вошел в коридор.

— Вадя, ты очень голодный? — крикнула она.

— Нет, не очень.

— Ну хорошо. Пообедаем через час.

Мною завладела Валентина — потребовала, чтобы я нарисовал кролика и лошадь. Я ведь привез ей из Хельсинок тетради для рисования и карандаши, она испещряла лист за листом цветными каракулями. Кролика я нарисовал, а лошадь получилась плохо, только хвост удался.

Маша принесла кастрюлю с гороховым супом, мы сели обедать, на второе были тефтели, а на третье — нет, не компот, сухофрукты по карточкам не выдавали — просто попили чай. После обеда Валентину уложили поспать. Маша, помыв посуду, вернулась в комнату, села на диван, скрипнувший старыми пружинами, попросила

меня не курить и стала рассказывать о том, что Игоревна, наша соседка, в сентябре выйдет на пенсию и согласилась присматривать за Валентиной, когда она, Маша, будет на работе.

— На пенсию не проживешь, — сказала она, сделав округлый жест, — а мы ведь сможем платить ей двести рублей, да, Вадя?

— Конечно сможем.

— Ну вот. А в будущем году Валентину возьмут в детский сад.

— Маша, — сказал я, тоже сев на диван, — вот насчет будущего года. Я хочу забрать тебя и Валентину в Либаву.

— В Либаву? — Маша вскинула взгляд, показавшийся мне испуганным. — А где там жить? У тебя ведь нет…

— Да, квартиры пока нет. Но женатым офицерам квартиры будут давать. Вопрос — когда… это дело нескорое… но можно снять на какое-то время комнату…

Я боялся услышать отказ и поэтому говорил, говорил, наделяя Либаву (и в самом деле приятный город) самыми привлекательными чертами.

Маша слушала, опустив взгляд и поводя ладонями по коленям, словно разглаживая складки на юбке.

— Вадя, — сказала она, когда я умолк, — мне ведь еще два года учиться. Как же я буду…

— Будешь приезжать на сессии из Либавы. Ну, немного дальше, чем из Кронштадта, вот и все.

— Нет, не все. Предстоит очень много чтения. Тут я съездила в Питер, набрала книг и…

— Книги, наверное, есть и в Либаве. Это же не дикий город.

— Не знаю… не знаю, Вадя, что тебе сказать.

Возникло трудное молчание. Она не знала, что сказать. И я не знал. Не мог же я спросить: *ты не уйдешь от меня?* Ну невозможно, невозможно прокричать эти слова!..

Была первая за время моего отпуска ночь без близости: Маша чувствовала себя нездоровой (по женской части). Утром следующего дня мы проводили Капитолину и капитана (то есть майора) Гришу. Стояли под мелким дождичком на стенке Усть-Рогатки у трапа большого буксирного парохода, отплывавшего в Таллин с каким-то грузом, — удобная оказия. Гриша был очень оживлен и, как обычно, многоглаголив. А Капитолина, напротив, помалкивала, стояла с озабоченным видом. Она тихо заговорила о чем-то с Машей, а та кивала — дескать, «мама, ты права, права, и без тебя знаю» (это она, конечно, не говорила, нельзя

же так с матерью). Валентина что-то лепетала, глазея на пароход.

На судне шли последние приготовления. Капитан с мостика зычно крикнул в мегафон: «Пассажиров прошу на борт!» Капитолина расцеловалась с Машей, Валентиной и со мной, в глазах у нее блестели непролившиеся слезы. Обменялись поцелуями и с Гришей. Они поднялись на борт судна, матросы убрали трап. Береговые служители сняли с чугунных палов петли швартовов. Пароход, дав прощальный гудок, отвалил от причала и малым ходом пошел к воротам гавани. Валентина махала Капитолине и Грише, стоявшим на палубе, и вдруг закричала:

— Бабушка! Бабушка-а-а!

И облилась слезами. Плакса этакая.

Мой отпуск подошел к концу. Накануне отъезда был у нас с Машей ночной разговор.

Легли мы, как обычно, в двенадцатом часу. И, как обычно, привычно, отдались друг другу. Молча лежали, отдыхали, веки налились тяжестью, я уже задремывал, как вдруг услышал всхлип. Сон мигом улетучился.

— Что с тобой? — спросил я.

Маша не ответила, опять всхлипнула.

— Почему ты плачешь?

— Не знаю… Мне страшно…

— Что… чего страшно?

Теперь она плакала, не пытаясь сдержать слез. Я поднялся, в темноте, не зажигая света, прошлепал босыми ногами к столу, налил из чайника воды в стакан.

— Выпей. Успокойся, пожалуйста.

Ночью голоса немного меняются. Голос Маши, искаженный ночью и плачем, тихо-тихо произнес:

— Спасибо, Вадя… Ты добрый, хороший…

Некоторое время лежали молча.

Но так не может продолжаться. Надо же определиться. Штурман в море стремится именно к этому — определиться. Но, так уж получилось, определиться надо и в жизни.

Ночь, безлунная, душная, роковая, затаилась за окном.

— Ты уйдешь к Травникову?

Я и своего голоса не узнал. Будто не я произнес эти слова. Будто сама ночь вытолкнула их из черного чрева.

Маша затихла. А потом — быстро, захлебываясь:

— Вадя, я не знаю — что мне делать — я с ума сойду — невозможно, невозможно — безумно его

жалко — он же отец Валентины — такая страшная судьба — такое одиночество — у меня душа разрывается, Вадя! Что мне делать? Ты же умный, хороший — скажи, *что мне делать?!*

А что я мог сказать?

Что люблю ее? Она это прекрасно знала.

Что не отпущу ее? Она знала и это, но…

Но все равно поступила бы по-своему. Да и как бы я мог ее удержать? Забрать в Либаву? Снять там комнату? Вздор. Не поедет она в Либаву. Что ей там делать?

Все же перед отъездом я спросил:

— Маша, так поискать в Либаве комнату?

— Не знаю, Вадя, — ответила сквозь слезы.

Она, я видел, была безутешна. Плакала и провожая меня. На Ленинградской пристани началась посадка на рейсовый пароход, отправляющийся в Ораниенбаум; шли озабоченные женщины с авоськами, прошли несколько офицеров, день-то был выходной, воскресенье, и они, наверное, ехали к своим семьям, живущим в Ленинграде. Прошла группа шумных, веселых матросов, — судя по их выкрикам, были они футболистами и ехали в Питер сыграть с кем-то матч.

Я заглянул в мокрые от слез глаза любимой и сказал:

— Не плачь. Давай прощаться, Маша.

Она кинулась ко мне. Мы стояли, обнявшись, я целовал, целовал любимые губы.

— Вадя… Вадя… дорогой… — шептала она.

Я вытер ей мокрые глаза носовым платком. Поцеловал Валентину. И пошел к трапу парохода.

И вот я в Либаве. В семь утра играет побудку корабельный горнист. В кают-компании плавбазы, перекидываясь утренними шутками с сослуживцами, съедаю бутерброд с маслом и сыром, запиваю крепко заваренным чаем. Без пяти восемь мы уже в строю на верхней палубе нашей «щуки». Гавань замирает, на всех кораблях выстроились экипажи. С вышки сигнального поста раскатывается по гавани радиоголос:

— На фла-аг смирно! — И — ровно в восемь: — Флаг поднять!

По кормовым флагштокам медленно, со значением, под пение горнов ползут кверху военно-морские флаги.

И начинается новый день государевой службы.

В мирное время она, служба, состоит из боевой подготовки, а та — из сдачи очередных задач. Завершают их учения. Бригадные, а затем, осенью, и общефлотские. После учений — снова по тому же кругу: подготовка и сдача задач, и так

далее — пока не достигнешь совершенства. (Это я пошутил. Совершенства никто еще никогда не достигал.)

Военный городок, примыкавший к гавани, утопал в зелени. Среди сосен, берез и кленов тут и там стояли группы двухэтажных жилых домов. В них жили офицеры военно-морской базы, полка зенитной артиллерии, еще какие-то базовые новоселы. И уже некоторые старшие офицеры нашей бригады получили тут квартиры.

Над зеленым разливом военного городка возвышалась церковь, старый собор, в котором в далеком четвертом году отслужили молебен перед отплытием эскадры адмирала Рожественского. Отсюда, из Либавы, ушла она в роковой поход к Цусиме. Теперь в соборе разместился Дом флота.

По выходным я раза три ездил на автобусе в Либаву как таковую — тихий провинциальный город, прильнувший к морю южнее военного городка. В центре стояла протестантская кирха с высоким шпилем — пикой, проткнувшей небесное полотно. Близ нее высился белокаменный Дом офицеров, готовившийся к открытию — к тому, чтобы стать для нас, бесквартирных обитателей корабельных кают, желанным убежищем,

где можно отдохнуть от нескончаемой боевой и политической подготовки, расслабиться за ресторанным столиком, потанцевать под радиолу с кем-либо из дам здешнего полусвета, посмотреть новый старый фильм (или трофейный, среди которых были и шедевры вроде «Моста Ватерлоо»).

От вокзала до рынка ходил-позванивал трамвай — маленькие, словно игрушечные, вагоны. Линия была одноколейная, с несколькими отводами-загогулинами, на которых вагон дожидался встречного, а потом трамваи разъезжались в разные стороны.

Тихие улочки, обсаженные липами и кленами, вели к парку, а за ним тянулась длинная полоса невысоких дюн, ниспадающих к пляжу, к морю.

На этих улицах стояли, как воплощение уютной жизни из старых сказок, двухэтажные деревянные дома. Я медленно шел, разглядывал их и представлял, как из вон того окошка сейчас выглянет Маша, расправит русые волосы на белом лбу и, увидев меня, воскликнет: «Вадя, ну что же ты, иди обедать!» А я поднимусь к ней по скрипучей лестнице и скажу что-нибудь шутливое. «Знаешь, — скажу я, — сегодня комбриг вызвал меня и говорит, что за отличную службу я освобождаюсь от подписки на заем». А Маша смеется

и восклицает: «Вадя, служи и дальше так, и мы разбогатеем…»

Чертово воображение!

Мы переписывались. Маша писала о своей работе, о читаемых книгах, о Валентине, которая «ужасно много болтает».

А в середине сентября пришло *совсем другое письмо*.

Дорогой Вадя!

Мне невыносимо трудно жить. Если б не Валентина, я бы, кажется, просто умерла. Я думала, думала…

Что поделаешь, приходится через боль, через мучительную внутреннюю борьбу принимать решение.

Когда я узнала, что Валя погиб, я не хотела жить. Только новорожденный ребенок меня удерживал. Потом ты вошел в мою жизнь. Это было спасением. Твоя любовь, твоя доброта ко мне и дочке. Как я тебе благодарна, Вадя! Ты очень хороший, я полюбила тебя и старалась быть хорошей женой. Верно ведь? Мы могли бы прожить в благополучии до конца, до старости.

Но жизнь гладкой не бывает. Твоя «находка» в Хельсинки моего отца потрясла меня. Конечно, я понимаю твою честность. Ты не мог утаить. Ты не утаил, и я узнала правду о себе. Вадя, это было ужасно! Узнать, что отец не герой Перекопа, а беглый кронштадтский мятежник. Что мама родила меня в концлагере и моими пеленками был сарафан питерской налетчицы. Я порченая. С этим открытием, дорогой мой Вадя, жить очень нелегко. Во мне как будто поселилась другая я. Alter ego – кажется, так называется это состояние души. Лучше бы он утаил, нашептывала прежняя я. Нет, нельзя утаивать, правда важнее всего! – это кричала я другая.

Правда важнее… Знаю, для тебя это бесспорно.

А для меня – мучение. Хотя тоже понимаю, как важна правда и как отвратительна ложь.

Кое-как я все же собрала разлетевшиеся обломки. С твоей помощью, Вадя. Ты ведь не разлюбил меня порченую, правда?

И вот – неожиданное, невероятное

событие – Валя жив!!! Чудеса бывают! Подлодка погибла, а его сбросило взрывной волной с мостика, он попал в плен к финнам. Это тоже чудо – то, что Валя выжил два года в плену. И еще полгода в лагере спецпроверки, это я вообще не понимаю. Слишком много для одного человека. Столько несчастья! Когда мы встретились в Ленинграде и Валя рассказал о своих мытарствах, я смотрела на него потрясенно. А он так спокойненько говорит. Только когда рассказывал, как их за побег избивали палками и насмерть забили матроса, тоже уцелевшего при гибели подлодки, Валя разволновался.

Вот что поразительно: он не озлобился. Конечно, сильно переживает, без вины виноватый, но злобы нет. Он очень тебе, Вадя, благодарен, что ты привез ему документы. Его взяли во вспомогательный флот, он плавает помощником капитана на пароходе по Неве и Финскому заливу. Я тоже тебе очень благодарна.

Милый, милый Вадя! Знаю, что причиняю тебе боль. Но что же делать? Невозможно жить с раздвоенной душой.

Я должна вернуться к Вале. Не только потому, что жалею его и хочу помочь ему изжить ужас прошлого и ощутить себя вновь полноценным членом общества. Не только потому, что он отец Валентины. Но и потому, что я его люблю.

Прости, прости, прости меня!

С прощальным поцелуем,

Маша

Глава двадцать четвертая
Мирное время – всюду перемены

У вас бывает, что кто-то вам неприятен, а вы то и дело с ним сталкиваетесь? Вот так у меня — с патрулями. Нет, они не тащат меня, офицера, в комендатуру. Но черт дери, докладывают коменданту гарнизона, а оттуда звонят в штаб бригады…

В тот августовский воскресный вечер мы с Карасевым засиделись в ресторане Дома офицеров. И не так уж много выпили. Но разговор был горячий. Я в то время Ахматову еще не читал, а вот Зощенко очень любил и негодовал, что его вдруг так жестоко обругали в постановлении ЦК.

— Чего Жданов к нему привязался? Что такое ужасное он написал? Ну, высмеивал мещан, прохиндеев. Слесарь Коленкоров так сильно пил, что «домой лежа возвращался». Что, так писать теперь нельзя? Безыдейно? А как надо? «Слесарь Коленкоров бодро шел домой, радуясь своим трудовым успехам»?

— Точно! — посмеивался Карасев, подливая водку. — Радоваться обязаны. Тогда будет идей-

но.

— И надо же, — кипятился я, — такое про Михал Михалыча придумать: «злобствующий пасквилянт».

Тут я, не скрою, пустил матерком. А Карасев:

— Мужику дали ПЗК, ладно. Но даму зачем обижать?

— Что это — ПЗК?

— Под зад коленкой. Эх, не знаешь ты, Вадим, какой поэт Ахматова. У нее, между прочим, и про нас с Леркой есть стих. — И Карасев, прикрыв свои черные, как глухая ночь, глаза, прогудел нараспев:

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

И мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

— Большой карась? — говорю. — Ну, это, верно, про тебя.

Вот таким он и был, Геннадий Карасев, напич-

канный стихами. Мы и познакомились-то по случайно всплывшей строке Багрицкого. Это было тут, в ресторанном зале, минувшей весной. Мы с минером нашей лодки, старлеем Китаевым, сидели, тихо выпивали — на днях лодка вернулась из похода, мы отмечали это дело в Доме офицеров. За соседним столиком возник скандал. Молодой лейтенант с багровым цветом лица расшумелся, влез в круг танцующих, схватил за руку толстенькую девицу в пестром платье, потащил, нехорошо ругаясь, к столику, она визжала, кавалер, танцевавший с ней, пытался ее вырвать из рук лейтенанта, началась драка. И тут появился он — двухметровый капитан медслужбы. Он надвинулся, как грозная неизбежность, разнял дерущихся и, обхватив ручищами лейтенанта, повел его к выходу. Тот упирался, орал, но хватка у капитана была железная. Он довел скандалиста до дверей и сдал прибежавшему на шум начальнику Дома офицеров, седовласому кавторангу, и дежурной службе. Вернувшись к своему столику, капитан медслужбы сел со вздохом и, ни к кому не обращаясь, произнес: «Он мертвым пал. Моей рукой водила дикая отвага…» Я услышал и немедленно отправил ему следующую строку: «Ты не заштопаешь иглой прореху, сделанную

шпагой». Капитан уставился на меня и, пересев за наш столик, продолжил: «Я заплатил свой долг, любовь…» — «Не возмущаясь, не ревнуя», — подхватил я, мы хором дочитали стихотворение до конца — и засмеялись. Китаев, с удивлением слушавший, воскликнул: «Вот это концерт! А „Луку Мудищева“ тоже можете?»

Так мы и познакомились с Карасевым. Он был хирургом, заведовал отделением в Либавском госпитале. А его жена, Валерия Андреевна, работала в библиотеке Дома офицеров. Жили они на Узварас — самой длинной улице Либавы — в трехэтажном доме, плотно заселенном офицерскими семьями. Мы стали встречаться с Геннадием Карасевым в Доме офицеров, он всегда был тут — всегда готовый для застолья.

Так вот, в тот августовский вечер мы засиделись в ресторане. Разговор был горячий — не столько от водки, сколько от Ахматовой и Зощенко. В одиннадцатом часу пришла из библиотеки Валерия Андреевна, белокурая хорошенькая Лера.

— А вот и моя Карасиха! — Карасев выдвинул свободный стул. — Посиди с нами.

— Нет, Гена. Я устала и иду домой. Ты пойдешь?

— Пойду, пойду, куда же мне деваться! — прогудел он. И тут же срифмовал: — С Плещеевым устал я наливаться.

Мы расплатились и вышли в лунный вечер, простроченный звоночками трамвая. Большой Карась со своей Карасихой пошли влево, я посмотрел им вслед — такая хорошая пара, идут под ручку к себе домой. Я повернул направо, к автобусной остановке. Меня ожидала койка в моей каюте на плавбазе «Смольный» — и больше ничего.

Вдруг передо мной, как черт из табакерки, возник ночной патруль. Его начальник, оказавшийся помощником коменданта, выутюженный майор береговой службы, всмотрелся в меня и попросил предъявить удостоверение личности.

— А в чем дело? — насупился я.

— Вы нетрезвы. От вас несет, как из пивной бочки.

— А вы не нюхайте.

— Ваше удостоверение, старший лейтенант! — повысил он голос.

Не люблю, когда со мной так разговаривают. Но не драться же с этим ночным рыболовом.

А следующим днем, после офицерской учебы (флаг-минер бригады ознакомил нас с ТТД — так-

тико-техническими данными новой самонаводящейся акустической торпеды), меня вызвал к себе в каюту на «Смольном» командир лодки, капитан третьего ранга Мещерский.

— Садитесь, штурман.

Обращение на «вы» предвещало неприятный разговор. Я сел боком к столу, взглянул на строгое лицо Мещерского, на аккуратный пробор в его густых волосах.

— Слушаю, товарищ командир.

— Опять жалоба поступила на вас. — Мещерский говорил холодно. — В нетрезвом виде шастаете по городу. Уже не первый раз нарываетесь на патруль. В чем дело, штурман?

— Я не шастал. Спокойно шел к автобусу, никого не задевал…

— Еще бы вы шли с пьяными песнями! — Мещерский помолчал. Профиль у него, подумал я, такой, что хоть на медаль. — Что с вами, Вадим Львович, происходит? — уже другим тоном сказал он. — Почему портите себе службу? Хотели послать вас в Питер на СКОС — вдруг пьяная выходка, комбриг отменил. Теперь опять… Батя рассвирепел, велел отправить вас на гауптвахту. С трудом уговорил его ограничиться двумя неделями при каюте.

— Спасибо, — сказал я.

Мещерскому, я видел, было трудно вести этот разговор. Да и мне, конечно… Ужасно неприятно, когда тебя распекают, как нашкодившего курсанта…

— Слушай, Вадим, — резко повернул Мещерский ко мне медальное лицо. — Давай отбросим субординацию, поговорим по-товарищески. Строго между нами. Я ухожу со «щуки». Нашу старушку, наверно, отправят на капремонт. А может, вообще спишут с флота. Меня назначат, это уже решено, командиром одной из «немок». Ты понял? Кадровики учтут мои пожелания относительно офицерского состава. Я возьму на «немку» Китаева. Взял бы и Круговых, но он идет механиком дивизиона. Хочу взять и тебя. Ты хороший штурман, мы с тобой сотни миль оставили за кормой. И каких миль! Но батя не даст согласия на твое назначение. — Мещерский побарабанил по столу. — Да и я не возьму, если ты решительно не покончишь с запоями. Ты понял?

— Как не понять… — Я потер вспотевший лоб. — Никаких запоев нет, Леонид Петрович. Просто сорвался несколько раз. От превратностей жизни…

— Знаю о твоих превратностях. На войне,

под глубинными бомбами, выстоял? Должен выстоять и теперь. Держать удары семейной жизни. Ну?

Я поднялся:

— Возьмите меня на «немку».

— Хорошо. — Мещерский тоже встал. — А пока что — две недели без увольнений.

— Есть — две недели.

Очень жаль расставаться со «щукой», заслуженной нашей старушкой. Но, конечно, «немка», то есть трофейная немецкая подлодка 21-й серии, куда лучше. Бригада получила — в счет репараций — пять таких лодок.

(Странные все же судьбы — не только у людей, но и у кораблей. Еще недавно эти субмарины топили транспорты наших союзников в Атлантике. А теперь, войдя в состав советского флота, сменили флаг, сменили экипажи, в их отсеках, в реве вентиляторов, выветрилось напрочь немецкое прошлое. Что же до союзников, то, к сожалению, тоже происходит перемена. После речи Черчилля в американском городе Фултоне резко ухудшились наши отношения с союзниками по войне.)

Всюду — перемены. Из них, похоже, и состояло мирное время. По сравнению с ними, такими государственно важными, что́ значила перемена,

произошедшая в моей личной жизни? Ничего не значила. Ну развелся, перестал быть женатым. Знаете, я не поехал в Кронштадт. Написал заявление, что согласен на развод и что по служебным обстоятельствам не смогу приехать, — пусть разводят в мое отсутствие.

Вот и все. Улетела «стая легких времирей». И остался я один. Как Робинзон Крузо, моряк из Йорка. Как палочка от съеденного эскимо.

И никого не касается, что вечерами в каюте на «Смольном» невозможно жить. Вечерняя нестерпимая тоска гнала меня в город, в Дом офицеров. Нет, я не искал утешения в водке. Она и не может дать утешения. Но, черт дери, ослабляет гнетущее напряжение в черепной коробке. Да и, надо сказать, повезло с собутыльником — Карасевым, хирургом с мощными руками и лысоватой головой, набитой стихами.

Он, между прочим, однажды вечером навестил меня — заявился на «Смольный», узнал у дежурного, в какой я каюте, и, бухнув кулаком в дверь, надвинулся с грозным видом:

— Где ты пропадаешь? Почему исчез?

— Я арестован, — говорю. — За беспробудное пьянство.

— Ну, так тебе и надо, порочный человек.

— Меня спросили, с кем я пил, я назвал тебя. Значит, ты тоже…

— Я, как жена Цезаря, вне подозрений. — С этими словами Карасев вытащил из портфеля флакон зеленого стекла. — Давай стаканы.

— Гена, ты выпей, а я воздержусь.

— Хочешь получить ПЗК?

Ничего не поделаешь, с Большим Карасем не проходят никакие возражения, даже самые благонамеренные.

Мы выпили «шило» — так называли спирт с добавлением какого-то местного лимонада. Карасев и хорошую закуску притащил — квашеную капусту, утыканную красными ягодками клюквы. Разговор у нас сразу пошел о новой поэме Твардовского «Дом у дороги», напечатанной в июньском номере журнала «Знамя».

— Никто с такой силой не описал ужас войны! — говорил Карасев непререкаемым басом. — Дороги сорок первого, забитые толпами беженцев. Ты видел? — Он выкрикнул наизусть: — «И столько вывалило вдруг / Гуртов, возов, трехтонок, / Коней, подвод, детей, старух, / Узлов, тряпья, котомок…» Все точно у Твардовского!

Мне тоже эта поэма сразу на сердце легла. В голове звенел ее рефрен:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

Тут, коротко стукнув в дверь, вошел в каюту капитан-лейтенант Измайлов. Вот уж кого я никак не ждал. Этот Измайлов недавно был назначен на нашу «немку» замполитом. Худенький, смуглый, с аккуратно подбритой черной ниткой усов, он походил на автогонщика из какого-то трофейного фильма. Измайлов службу начинал мотористом на одной из «щук», а потом, будучи комсомольским активистом, бурно пошел по политической линии, окончил курсы и вот — стал замполитом.

Очень неприятно, что Измайлов застал меня за выпивкой: ну вот, сообщит Мещерскому, что Плещеев опять выпивает… а то еще и командиру дивизиона Кожухову — нашему бывшему бате — стукнет… неприятностей не оберешься…

Но, похоже, Измайлов нисколько не удивился, увидев нас с Карасевым выпивающими. Да и, собственно, чему тут удивляться? Разве война не приучила нас к ежедневной выпивке? От привычки избавиться трудно. Втихую все офицеры, за немногим исключением, выпивали, кто

больше, кто меньше. Ну, конечно, в неслужебное время.

Мысль промелькнула быстро. Но еще быстрее произошло неожиданное: Измайлов, широко улыбаясь, шагнул к Карасеву:

— Геннадий Петрович, дорогой!

— А, это ты, Измаильчик. — Карасев неторопливо поставил стакан на стол и пожал замполиту руку. — Ты теперь на подплаве? Ну, как рубцы боевые, болят?

— Нет. Верхний только ноет иногда.

— Покажи, — сказал Карасев тоном, каким только хирурги и могут повелеть.

Наш замполит мигом снял китель и задрал к горлу тельняшку. У него на груди, под темной растительностью, розовели два рубца. Карасев потрогал их.

— Если б этот осколок взял на три сантиметра левее, то был бы ты, Измаильчик, сейчас не на подплаве, а…

— Ясно, Геннадий Петрович. Спасибо, что удержали меня на этом свете.

— Садись, и давай вздрогнем.

— Нет, спасибо. — Измайлов надел китель и взглянул на меня. — Вадим Львович, вот какое дело. Коронец, ваш подчиненный, подал рапорт

на сверхсрочную службу.

— Знаю.

— Как полагаете, можно удовлетворить? Нужен он флоту?

— Нужен, — сказал я. — Коронец — отличный штурманский электрик.

Так я узнал, что в сорок третьем молодой политрук Измайлов служил в железнодорожной бригаде морской артиллерии (она передвигалась по окраинам Ленинграда, обрушивая огневые налеты на противника, но и сама подвергаясь ответному огню) и был тяжело ранен. Хирург Карасев оперировал его, извлек осколки из умирающего тела.

Может, потому, что побывал на краю жизни, а может, по своей натуре замполит Александр Рустамович Измайлов был приличным человеком. Его отец, обрусевший азербайджанец, окончивший в Ленинграде пединститут, преподавал в школе физику. А русская мама — в той же школе физкультуру (она была одно время чемпионкой по метанию копья). Оба они погибли в эвакуации при бомбардировке причалов Кобо́ны на восточном берегу Ладоги.

Александр Измайлов хорошо говорил, любил выступать на собраниях (и была странная особен-

ность: выступления он заканчивал словами «спасибо за вынимание». Только это «вынимание», наверное, и осталось у него от азербайджанского происхождения).

Измайлов не поднял шума из того, что застал меня выпивающим. Только сказал, выходя из каюты:

— Надеюсь, Вадим Львович, на ваше чувство меры.

Мы осваивали трофейную лодку. Что и говорить, она была хорошо сделана (и, скажу по секрету, в недалеком будущем у нас появятся новые подлодки 613-го проекта, в конструкцию которых будет многое взято от «немок» 21-й серии).

Сдавали учебные задачи, много плавали. Почти все «старички» демобилизовались, экипажи лодок теперь состояли из молодого пополнения. Эти мальчишки, прежде чем попасть в учебные отряды флота, были худосочными, плохо кормленными детьми войны из разоренных деревень, из потрясенных бомбардировками городов — безотцовщина, прохудившиеся башмаки, изношенная одежка, тряпичные мячи для футбола.

Были, были проблемы с обучением первого

послевоенного поколения моряков. Но я — не об этом.

Не могу сказать, что я, железный человек, усилием воли подавил вечернюю тоску и вызванную ею склонность к алкоголю. Я вовсе не железный. Просто *занятой человек*. У штурмана дел всегда полно — не только в море, но и на берегу. Занятость и помогла мне настолько улучшить репутацию, что снова всплыл вопрос о моей отправке на СКОС — спецкурсы офицерского состава.

Эти годичные курсы непременно надо было пройти для служебного роста. Конкретно: командиру БЧ — для назначения помощником командира подлодки. Я уже пятый год плавал командиром БЧ–1–4, то есть штурманской боевой части и боевой части связи, мне давно уже пора шагнуть на следующую ступеньку — стать помощником, а впоследствии, если ничто не помешает ходу службы, и командиром субмарины.

Надо было, как посоветовал Леонид Мещерский, *держать удары семейной жизни*. Вот я и держал…

Во всяком случае, ранней осенью 1947-го я приехал в Ленинград на СКОС. Стояла ненастная погода. Упорный западный ветер препятствовал

державному течению Невы. Она волновалась, ее уровень приближался к критической отметке.

Но, к счастью, наводнения не произошло.

Мой отец излучал радость жизни. Именно излучал: отсвечивала свет люстры его выбритая голова. Победным блеском горели за очками карие глаза. Он сидел в недавно полученной двухкомнатной квартире на улице Союза Связи, за своим письменным столом. Я сидел напротив, курил и слушал его вдохновенную речь о прекрасном будущем Ленинграда. Город не только разрастется к югу и востоку, он *преобразится*. На месте разрушенных встанут новые дома. Васильевский остров получит новый фасад, обращенный к Финскому заливу. Ленинград ожидает и культурное возрождение, он станет символом великой победы Советского Союза.

— Мы готовим к изданию двухтомник о ленинградской эпопее.

— А Зощенко примет участие? — спросил я.

— Зощенко… — Отец, наморщив лоб, откинулся на спинку деревянного кресла. — Ну что — Зощенко? Ты же читал постановление ЦК… — Он закурил папиросу и, помахав спичкой, бросил ее в керамическую пепельницу. — Понимаю, Дима, твое беспокойство. Я ведь тоже… Видишь ли,

никуда не уйдешь от факта, что за время войны народ подраспустился.

— Подраспустился? Это как?

— Ну как? Побывали в Европе, увидели, какая там жизнь. Вернулись победителями. У многих, очень многих языки развязались излишне. Вот ЦК и решил навести порядок в идеологии.

— Так их, Зощенко и Ахматову, раздолбали для наведения порядка? Чтобы заткнуть рты народу-победителю?

— Боевой офицер, — раздраженно сказал отец, — а разговариваешь, как малограмотный парикмахер. Ты что же, не понимаешь, как осложнилась обстановка? Черчилль в Фултоне положил конец нашему союзничеству. Тормозят нам репарации из Германии. Объединили английскую и американскую зоны оккупации, — теперь у них «Бизония». В Греции разгромили ЭЛАС…

— Да, но из этого вовсе не следует…

— Следует! — сверкнул отец непримиримыми очами.

Тут донесся из коридора топот быстрых ножек. Дверь распахнулась, в комнату вбежала Люся.

— Мама зовет ужинать! — возгласила она, кивая головой, увенчанной красным бантом.

На курсах занятия шли ежедневно. Прорабатывали операции флота в годы войны; знакомились с образцами нового минно-торпедного оружия, с радиотехническими новшествами; выслушивали острую критику работ американских военных теоретиков о господстве на море.

Но вечера были у меня свободные. Жил я в старой квартире на 4-й линии — согревал дыханием две холодные комнаты, опустевшие в трудном — да чего там в трудном, в трагическом — ходе жизни. Мой дед Иван Теодорович (я помнил его) и бабушка Полина Егоровна, умершая до моего рождения, строго взирали с пожелтевших фотопортретов. Рядом с ними я повесил фото моей мамы — увеличенный любительский снимок. Мама на нем молодая, черная челочка ниспадает на огромные, в пол-лица глаза, и смотрят эти глаза вопрошающе, удивленно.

Сделать фото мне помогла Райка Виленская, то есть, виноват, старший сержант запаса Раиса Ярцева. Она попросила бывшего сослуживца, и тот, умелец, сумел превратить старенький снимок в отличный фотопортрет.

Рая минувшим летом окончила филфак и получила назначение — преподавать русский язык и литературу в Ломоносове (так теперь называл-

ся Ораниенбаум). Но тут слегла с инсультом ее мама, Розалия Абрамовна, и Райка захлопотала о переназначении, чтобы остаться в Питере. Ей помог друг покойного мужа, видный профессор-языковед. И теперь Райка стала учительствовать в той школе на Среднем проспекте, которую мы все трое, Оська, она и я, окончили в далеком довоенном тридцать девятом году.

Розалию Абрамовну в больнице подлечили, в ноябре Рая забрала ее домой. Люди с возрастом очень меняются, не так ли? Доктора Розалию Абрамовну не возраст изменил, а болезнь. Ее прежней самоуверенности как не бывало. Похудевшая, с неподвижной левой рукой, она медленно, опираясь на палку и волоча левую ногу, передвигалась по квартире. Рот у нее покосился, речь стала затрудненной.

Когда я навестил их в том ноябре, Рая в кухне пекла сырники, а Розалия Абрамовна в теплом халате дремала в кресле. Я поздоровался, она открыла глаза:

— Дима… доброе утро…

— Уже вечер, Розалия Абрамовна.

— Дима… я хотела… ты знаешь, наверно… что… это.. Генеральная Асма… Амсам…

— Ассамблея?

— Да… что она при… придумала… зачем… это… государство Изра…

— Израиль. — Я вкратце изложил недавнее решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделении английской подмандатной территории Палестины на два государства — еврейское и арабское. — Мы поддержали это решение, — сказал я. — В мае оно вступит в силу.

— И что же… евреи туда поедут?

Тут Рая вошла, неся блюдо с румяными сырниками.

— Куда поедут евреи? — спросила она.

— В государство Израиль, — сказал я.

— Никуда они не поедут. Вот еще! Что им там делать, в пустыне? Мамочка, вставай.

Мы помогли Розалии Абрамовне подняться и проковылять к столу.

Сырники были замечательные.

Рае, можно сказать, очень повезло. У Розалии Абрамовны вдруг объявилась младшая сестра, с которой она много лет по какой-то причине пребывала в ссоре. (Рая мне сказала: «Точно не знаю, но думаю, что в юности у них было соперничество из-за моего будущего папы».) В сорок пятом муж Софьи Абрамовны, майор-артиллерист, погиб при штурме Кенигсберга. Теперь

она, одинокая, узнав о болезни старшей сестры, появилась — и с порога: «Пора перестать быть дурами. Я принесла ореховый торт. Орехи очень полезны, Роза». Сестры поцеловались, и с того вечера Софья Абрамовна стала приезжать — с другого конца города — почти ежедневно.

Не знаю, насколько полезны орехи, но вот Рая от неожиданного примирения сестер получила серьезную пользу. Преподавание в школе занимает все дневное (а часто и вечернее) время, и вряд ли Райка, при всей ее деловитости и добросовестности, сумела бы сочетать школу с уходом за матерью. Поэтому появление маминой сестры — вы понимаете, это был подарок судьбы.

Зима шла суровая, с метелями, обильно высыпавшими снег. По вечерам меня тянуло на́ люди… в офицерский клуб… ну, привычка же… Но за окном завывала вьюга… Я стучался к Лизе, прихватив бутылку вина, но она, отказавшись от выпивки, предлагала чаепитие. За чаем затевала разговор о том, как одной ее знакомой, доведенной жизнью до отчаяния, помогла вера в Бога… и другому человеку открылось утешение от страшных несчастий… Я слушал, кивал, соглашался — да, конечно, вера в Бога… Но становилось как-то скучно… Я благодарил Лизу и

убирался к себе. Валился на диван с книжкой, дымил папиросой.

Книгами меня снабжала Рая. Она успевала прочитывать новинки, и я вслед за ней читал их — чудную повесть Борисова «Волшебник из Гель-Гью», роман Пристли «Дневной свет в субботу»…

Пристли и в репертуаре театров занимал видное место. Его знаменитый «Опасный поворот» перед войной шел в Театре комедии, отличный был спектакль, ленинградцы ломились на него. Теперь в этом же театре мы посмотрели другую пьесу Пристли — «Вы этого не забудете», а в Большом драматическом — его же «Корнелиуса».

Райка и в филармонию меня повела — мы слушали ораторию Шумана «Манфред», по романтической поэме Байрона. Этот гордый Манфред проклял человечество, охваченное жаждой наживы, и ушел в горы, одиноко живет в Альпах, созерцая звездное небо и размышляя о бренности всего земного. Ну вот. А прекрасной музыкой управлял стройный молодой дирижер Мравинский.

Но главным увлечением Раи были шахматы. Она здорово продвинулась, играла в турнирах, получила первый разряд. Мы садились играть, я

всякий раз проигрывал, только однажды сделал ничью. А Райка играла легко, иногда посмеиваясь («Этот ход в королевском гамбите опровергнут еще во времена Стейница…»). Рассказывала о Пятнадцатом чемпионате СССР, состоявшемся тут, в Ленинграде, в минувшем феврале–марте.

— Представляешь, группа шахматистов написала жалобу, — говорила она, встряхивая кудрявой головой. — Протестовали против участия Кереса в чемпионате. Назвали его фашистом. Он же в войну играл в немецких турнирах.

— Ну и что? — сказал я. — Алехин тоже играл у немцев. Но не перестал же играть лучше всех.

— Ой, что ты несешь? — Райка прожгла меня сердитым взглядом (как когда-то в детстве, ее серые глаза непостижимо быстро меняли выражение). — Алехин гениально играл в шахматы, но проиграл свою жизнь. Он коллаборационист!

— Да нет, Райка. Коллаборацисты… тьфу, не выговоришь… сотрудничали с немецкими оккупантами. Алехин не сотрудничал.

— Умер, всеми презираемый, одинокий, в какой-то глуши, в Испании.

— В Португалии. Шахматный мир не презирал его. Скорее сочувствовал. Ну, он не был борцом. Он умел только играть в шахматы. Вот и играл,

чтобы заработать на жизнь. Шахматы — это игра. Они вне политики.

— Вне политики нет ничего!

— Да? Ты так считаешь?

— Кересу мало кто сочувствовал, — кипятилась Райка. — Он и в чемпионат попал только потому, что написал покаянное письмо в правительство. Ему Молотов разрешил играть.

— Ну он и сыграл — всех обыграл, стал чемпионом СССР.

— Мастер Кламан, молодой, я с ним знакома, выиграл у Кереса и сказал: «Ну как, ребята, я фашиста укокошил?»

— Дурак твой Кламан. Он же последнее место занял.

— Он вовсе не дурак!

Знаю: с женщинами не принято спорить. Но что же поделаешь, если Райка закоренелая спорщица. Ей что ни скажи, она сразу: «Нет!» Я рассердился, перестал спускаться к ней на второй этаж.

А тут Новый год. После декабрьской реформы у нас, слушателей курсов, как говорится, финансы поют романсы, но все же мы наскребли столько новых рублей, сколько нужно для приличного, хоть и не роскошного, новогоднего стола.

Собрались у Володи Борзенкова, тоже, как и я, штурманца́, только надводного. У него, точнее, у его законной жены была комната на Малой Охте, там мы, человек шесть, и встретили сорок восьмой. Патефон трудолюбиво гнал пластинку за пластинкой. Мы, великие мореходы, пили, хохмили — ну, как водится на флотах. Володя танцевал с молодой женой, щека к щеке, такая нежная парочка — хоть пиши с них картину «Советские молодожены — лучшие в мире».

Вдруг на меня накатила такая тоска, что я расстегнул тужурку и оттянул галстук, чтобы не задохнуться. Черт-те что… Я вышел в коридор. В комнате у соседей тоже пили-веселились. Над телефоном висело тусклое зеркало, я взглянул и ужаснулся: старый пень с погасшими глазами, с неровно подстриженными усами — это я?..

Набрал Райкин номер. Она сразу ответила, словно ожидала моего звонка.

— Дима, ты где?

— На Малой Охте. С Новым годом, Раечка.

— Спасибо. Тебя тоже. Я думала, ты придешь.

В ее голосе — вероятно, по случаю праздника — не было привычного, с детства усвоенного небрежно-приятельского тона.

— Я бы пришел, — говорю, — но, понимаешь,

не достал орехового торта. Нигде их нету.

— Кроме Малой Охты, — последовал быстрый ответ. — Там их полно.

— Райка, — сказал я, еще больше оттягивая галстук. — Не сердись, пожалуйста. Я кругом не прав. А ты кругом права. И по вопросу Кереса, и по всем другим вопросам.

— Наконец-то понял. — Теперь в ее тоне возникла улыбка. — Ладно. Когда кончишь встречать Новый год, приходи.

Сорок восьмой понесся с такой скоростью, словно его кто-то, могучий, подгонял разнообразными событиями. Вот Европа приняла план Маршалла, а мы гордо отказались от американских миллиардов — чего там, сами управимся, не впадать же в зависимость от коварного Запада. Мы, советские, на голову выше ихних, придавленных гнетом капитала. И вообще — нечего преклоняться перед гнилым Западом. «Низкопоклонство» — это странное слово пошло гулять по газетам. И еще — «приоритет». Да-да, не ваш Стефенсон, а наши Черепановы изобрели паровоз. И не братья Райт первыми оторвали от земли летающий аппарат, а наш Можайский. Россия — родина всего. А не вы, западные недотепы.

Вот только в головах живучи пережитки

капитализма. Так поэтому — идеологические постановления недремлющего ЦК. В сорок шестом одернули писателей, а теперь — музыкантов. Что за неправильную оперу сочинил Мурадели? «Великая дружба» — она, конечно, есть. Но нельзя же забывать, что грузины и осетины были за советскую власть, а вот чеченцы и ингуши — против. Подраспустились композиторы, вот и Шостакович с Прокофьевым сочиняют сплошной формализм вместо напевной народной музыки. А биологи? Они же «морганисты-вейсманисты», пытались подменить передовое мичуринское учение буржуазной лженаукой генетикой. Искали какие-то несуществующие гены — это же идеализм! Вот и получили по зубам от академика Лысенко.

Но главным событием сорок восьмого для Раи и меня был начавшийся в марте матч-турнир на первенство мира. Вы, конечно, помните, что после смерти Алехина в сорок шестом году долго не было чемпиона. Полный раздрай в шахматном мире наконец-то кончился: шестеро самых сильных гроссмейстеров сразятся в матч-турнире. Трое наших — Ботвинник, Смыслов и Керес — и трое западных — Эйве, Решевский и Файн. Но американец Файн отказался, и турнир начался

без него — 2 марта в Гааге.

По вечерам я спускался к Райке, мы разбирали партии очередного тура, напечатанные в бюллетене. Ботвинник шел здорово. Райка хвалила его «капабланковский стиль», предсказывала ему победу, да и я так же считал. Мне было жаль Эйве — он проигрывал тур за туром, прямо «мальчик для битья», а ведь самый старший, экс-чемпион. Мы опасались Решевского — этот бывший шахматный вундеркинд играл сильно и шел за Ботвинником с разрывом в одно очко.

Два круга сыграли в Гааге, потом турнир переехал в Москву.

В начале мая распогодилось. Солнце пробилось сквозь плотную облачность, тучи уплыли — стало светло и по-питерски нарядно. По Неве медленно и будто неохотно плыл ладожский лед. На одной из льдин я однажды, возвращаясь с курсов ранним вечером, увидел чайку — она спокойно сидела, как на лодке, и плыла в Финский залив, а может, еще дальше.

В тот вечер я спустился к Райке, чтобы разобрать очередную партию Ботвинник—Керес. Четвертый раз выиграл Ботвинник у своего конкурента — ну и силен Михаил Моисеич! Я бы, точно, ему палец в рот не положил.

Райка открыла дверь и кивнула в сторону кухни:

— Проходи.

Я вошел и — замер. Как князь при виде русалки. За кухонным столиком с чашкой чая в руке сидела Маша.

Ее улыбка — такая, черт дери, знакомая — плыла мне навстречу… и золотое пятнышко в правом глазу…

— Здравствуй, Вадя. — Она поставила чашку и поднялась.

Показалось, что она хочет поцеловаться.

— Привет. — Я шагнул на другую сторону от столика. — У тебя новая прическа?

— Не очень новая. — Маша тронула волосы, волной ниспадавшие до плеч. Белый треугольник лба теперь был закрыт челкой. — А я к Раечке приехала за книгой. Рая по телефону так ее расхвалила — «Волшебник из Гель-Гью». Ты читал?

— Да. Это о Грине. Хорошая книга.

— Ну, вы тут посидите, чай пейте, — сказала Рая. — Я посмотрю, как там мама.

Она стремительно вышла из кухни.

Маша налила мне чай и положила на блюдце квадратик пирога.

— Это с яблочным повидлом, очень вкусно.

Ешь. — Она села напротив, всмотрелась в меня. — Ты похудел, Вадя.

— Да, похудел. Но вес у меня прежний.

— Ты, как всегда, с шуточками, — улыбнулась Маша.

— Как поживает Валентина?

— Ой, ты знаешь, она поет! Во дворце культуры Морзавода устроили детский хор, так Валентину взяли, у нее хороший слух, она поет там «Полюшко, поле…».

— Молодчина. А ты все еще на Артремзаводе?

— Нет. Я же теперь с дипломом. Преподаю в школе литературу.

Я кивнул. Откусил от пирога, но неудачно, большая капля повидла шлепнулась на брюки. Я снял ее ложечкой. Я не знал, что сказать Маше. Что-то со мной творилось неладное.

— У тебя на погонах четвертая звездочка. Ты теперь капитан?

— Капитан-лейтенант.

— Поздравляю, Вадя. А Валя стал капитаном. У него большое судно, морской спасатель. Он много плавает.

— Поздравляю, — сказал я.

Мы помолчали. Надо бы откланяться и уйти. Но я сидел и продолжал отхлебывать остыв-

ший чай.

— Налить еще? — спросила Маша. И, не дожидаясь ответа, быстро заговорила: — Вадя, я часто думаю о тебе. Вспоминаю — такой кусок жизни мы были с тобой — как ты управляешься с бытом — я чувствую себя виноватой…

— Ты ни в чем не виновата, — сказал я.

— Ничего не могу поделать — живу с чувством вины — подожди, не перебивай — но ведь и ты тоже…

— Что — я тоже?

— На новогоднем концерте во дворце культуры — там Валентина пела в хоре — к нам подошел человек с палочкой — прихрамывал — они с Валей обнялись — воевали в морской пехоте за Ладогой…

— Паша Лысенков?

— Да, Паша, Валя так и назвал — ну вот, курят, вспоминают — и тебя вспомнили — Паша говорит, что еще осенью сорок четвертого узнал, что Валя жив, и сказал тебе — что он жив и возвращен…

В углу кухни висело большое фото — полуразрушенный храм с уцелевшими колоннами, — наверное, Парфенон из Древней Греции — из давно минувшей жизни Михаила Лазаревича, Райки-

ного отца. Я тупо смотрел на эту фотографию.

— …Что Валя жив и возвращен финнами из плена, — слышал я быстрый, как бы захлебывающийся голос Маши. — В октябре сорок четвертого ты узнал — но мне не сказал — а в мае сорок пятого Валина телеграмма — как удар по голове…

Сколько там колонн?.. Три, четыре, семь…

— Вадя, почему ты молчишь? Почему не сказал мне? Как ты мог… Вадя, ты слышишь? — крикнула она.

— Почему, почему… — Я вскочил, посмотрел ей в широко раскрытые глаза. — Потому что не хотел тебя потерять! Виноват… прости…

Быстро пошел из кухни, в дверях чуть не столкнулся с вошедшей Раей, не ответил на ее оклик, выбежал из квартиры.

Глава двадцать пятая
«Дело кузнецова» – Что это?

Наша лодка возвращалась с учений в базу. Десять суток мы утюжили море. В составе завесы из нескольких лодок, размещенных на предполагаемом курсе условного противника, ходили, ходили на перископной глубине. Ох уж эти долгие, как пустое время, часы… эти сутки ожидания… эта *скрытность*, которая и есть сущность подводного плавания.

Наконец, обнаружив конвой «синих», устремлялись в атаку. Дважды вздрагивала лодка от мощных вздохов сжатого воздуха, выбрасывающего из аппаратов учебные торпеды. Дважды атаковали «синих», и командир Мещерский приказывал поднять антенну и отправлял руководителю учений радиограммы о произведенных атаках с указанием своего места и элементов движения цели.

Наконец — отбой. В надводном положении возвращаемся в Либаву. Отдохнувшие дизеля поют свою однообразную песню. В октябре Балтика не бывает спокойной, но сегодня штормовой ветер

почти убился. Зыбь раскачивает лодку, бортовая качка привычна, над морем стелется предвечерняя дымка, подсвеченная на западе закатной желтизной.

Пора бы, думаю я, взглянув на часы, открыться первому бую. Невязка не может быть большой, но все же… Штурман у нас молодой, опыта маловато, надо спуститься в центральный, взглянуть на его прокладку… Но тут я слышу протяжный хриплый звук — словно море застонало от нестерпимой тоски одиночества.

Это стонет на зыби ревун буя, извещающего о скором повороте к гавани. Волна усиливается, стон превращается в рев, а вот вижу в бинокль — справа двадцать — и сам первый буй. В туманной дымке он кажется большим, как парусник.

Часа полтора спустя лодка входит в аванпорт. Запрашиваем «добро» на швартовку, тихо, под электромоторами, проходим под мостом, по каналу — и швартуемся у родного пирса. Порядок на Балтике.

Мещерский сходит на пирс, идет на «Смольный», к оперативному дежурному бригады. А я еще больше часа провожу на лодке, я ведь помощник командира, у меня полно всяческих дел — пройти по отсекам, проверить послепоход-

ное состояние механизмов, определить кое-какие неотложные работы, назначить вахты — ну и все такое.

Наконец схожу на берег. О-ох, приятно вдохнуть свежий, напоенный недавним дождем воздух. Уже стемнело. Над корпусом береговой базы повисла лунная золотая скобка. Не торопясь, иду к соседнему пирсу, у которого стоит плавбаза «Смольный». Приветливо светят ряды его иллюминаторов: дескать, вот ты и вернулся домой, мореход.

На столе в моей каюте меня ожидало письмо. Я взглянул на адрес отправителя — и удивился: «Г. Вартанян». Обычно письма писал отец, а не Галина. Нехорошее предчувствие охватило меня.

Дорогой Вадим! Должна тебе сообщить, у нас беда: 4 октября арестовали отца. Пришли ночью, был долгий обыск, что искали — непонятно. Лев страшно нервничал, кричал, что они ошиблись адресом, тыкал им под нос удостоверения о своих наградах. Когда его уводили, я будто окаменела. Утром бросилась выяснять. Дозвонилась до одного влиятельного лица, этот человек знал Льва не только по книгам, но и лично, он согласился навести справки. И навел. Очень сдержанно сказал по телефону, что, по всей вероятности, это связано

с делом Кузнецова. И никаких подробностей. Посоветовал обратиться в Большой дом и повесил трубку. Сегодня я побывала на Литейном. Ничего о том, в чем Льва обвиняют, мне не сказали, но разрешили принести продуктовую передачу.

Вадим, я уверена, что произошла ужасная ошибка. Лев, конечно, абсолютно ни в чем не виноват. Я обратилась в секретариат ленингр. отд. Союза писателей, там тоже поразились, обещали написать бумагу, отзыв о заслугах отца. Горячо надеюсь, что следствие разберется и его выпустят.

До свидания! Мы с Люсей обнимаем тебя. Галина.

9 октября 1949 г.

За переборкой, в соседней каюте, включили на полную громкость радио. «Дождь проливным потоком стучит с утра в окно. Ты от меня так далеко…» — пела женщина.

Голос модной певицы Капитолины Лазаренко вывел меня из оцепенения. Я достал с нижней полки шкафчика припрятанную поллитровку, налил полстакана и залпом выпил. Без водки, извините, было просто невозможно освоиться с мыслью, что отец арестован.

«Разве у вас не бывает в жизни подобных ми-

нут?» — пела Лазаренко.

Нет, не бывает! Они что, совсем охренели? Кого схватили — известного писателя, партийца с огромным стажем, героя штурма Кронштадта…

О-ох, Кронштадт… Черт бы их побрал, эти пожелтевшие листы «Известий Ревкома» — яростные обвинения в комиссародержавии, в массовых расстрелах, в ограблении крестьян… страстные призывы к народовластию… Хотелось забыть тот день в Хельсинки, когда бывший матрос… бывший мятежник… бывший мой тесть, са́тана пе́рккала… когда он выложил передо мной эти листы — жгучие знаки когдатошней борьбы не на жизнь, а на́ смерть…

Но разве такое забудешь?

И вот — странная мысль влетела в возбужденный мозг: та борьба, пылающая ненавистью, — не отпылала… она продолжается, только по-другому…

«Жду я, и верю, и знаю: эти минуты придут…» — лирично пела Лазаренко.

«Связано с делом Кузнецова», — сказало влиятельное лицо Галине. Я об этом «деле» ничего не знал, в печати и по радио о нем не сообщали ни слова. Но имя Алексея Александровича Кузнецова, конечно, было мне знакомо. Отец, я

помню, отзывался о нем с большим уважением. Ну как же, Кузнецов, второй секретарь обкома и горкома, был одним из руководителей ленинградской обороны и, между прочим, членом Военного совета Балтийского флота. «Он был заряжен огромной энергией, — говорил отец, — носился по всем участкам Ленфронта, не давал угаснуть работе предприятий, да и самой жизни города. — А Ладожская ледовая дорога! Кузнецов, можно сказать, пробил ее своей бешеной энергией, страстным желанием спасти Питер от голодной гибели!»

Я знал склонность отца к преувеличениям. Увлекаясь чем-либо (или кем-то), он мог вознестись до небес. Но — что правда, то правда — заслуги Алексея Кузнецова в обороне Ленинграда были очень значительными.

Знал я, что, когда в конце войны Жданова отозвали в Москву, Кузнецова назначили — виноват, избрали — первым секретарем в Ленинграде. Но вскоре, в сорок шестом, верховная власть подняла его на всесоюзный уровень — перевела в Москву, в секретариат ЦК партии. На высокой секретарской должности, позволявшей в дни праздничных шествий стоять на мавзолее, и пребывал Алексей Кузнецов, достигший пика

своей карьеры.

И вдруг — «связано с делом Кузнецова». Что за «дело»?!

Я терялся в догадках.

Что-то, вероятно, происходило там, на верху государственной жизни. Но мне, скромному каплею Балтфлота, не положено знать об этом. Я ведь даже и не член партии.

Не могу сказать, что не хотел вступить. Хотел. В сорок пятом готовился, устав партии прочел (про демократический централизм), и была написана боевая характеристика, по которой меня приняли бы на ближайшем партсобрании, но замполит Ройтберг отменил прием, потому что я общался с финским населением. Еще хорошо, что он не дознался, с кем я общался, — с бывшим кронмятежником!

Но вот, когда по окончании СКОС я вернулся на бригаду и был назначен помощником на «немку» к Мещерскому, снова возник вопрос о приеме в партию. Замполит Измайлов прямо так и сказал:

— Вадим Львович, если вы планируете служебный рост, то вам надо вступить в партию. Вы же понимаете, что беспартийному офицеру вряд ли возможно стать командиром лодки.

Я не то чтобы планировал, но, в общем, видел

в перспективе «служебный рост». Мы, флотские офицеры, знали, что принят государственный проект строительства большого подводного флота. Появится множество новейших лодок — потребуется множество командиров. Такая же простейшая логика, как хлеб, требующий намазывания маслом. В общем, я разделял бесспорное мнение: плох тот офицер, который не хочет сделаться командиром корабля.

Я захлопотал о рекомендациях.

Но тут пришло письмо Галины.

Два дня я ходил *задумчивый*. А на третий — решил, что *нельзя скрывать*.

Было совещание офицерского состава по итогам учения. В клубе на береговой базе развесили ватманы со схемами атак всех лодок, и комбриг с указкой в руке дал им оценку. По атакам нашей «немки» у него, строгого и придирчивого, замечаний не было. Выступили несколько командиров, в том числе и Мещерский, — со своими соображениями о тактике завесы. Конечно, Измайлов тоже попросил слова, у него всегда было что сказать о воспитательной работе с молодым экипажем. Как всегда, он в конце выступления поблагодарил «за вынимание».

На выходе из клуба я подошел к нему:

— Александр Рустамович, мне нужно поговорить с вами.

— Слушаю вас.

Но я сказал, что это не минутный разговор, и он предложил прийти к нему в каюту вечером, в девять.

Над иллюминатором у Измайлова висела цветная репродукция известной картины — «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле». Наверное, вырезал из «Огонька». Что ж, пусть и они послушают…

— Я должен вам сообщить, что на днях в Ленинграде арестован мой отец.

Смуглое лицо Измайлова, как мне показалось, еще более потемнело. Он тронул пальцами синеватую губу с аккуратно подбритыми черными усиками.

— Ваш отец, насколько я знаю, писатель, — сказал он после паузы. — Я читал его книжку о походе на «Ленинце».

— Да, писатель. Автор двух десятков книг о войне, об Арктике, о крупных стройках.

— Что же случилось с писателем Львом Плещеевым?

— Не знаю. Его жена, моя мачеха, написала, что арест, возможно, связан с делом Кузнецова. Не

понимаю… Что это за дело?

Измайлов морщил лоб, глядя в темный иллюминатор, а может, на репродукцию над ним. Он явно не знал, как отреагировать на мое сообщение.

— Это, безусловно, ошибка, — сказал я. — У отца никогда не было… ну, никаких расхождений, шатаний… Он участник штурма Кронштадта в двадцать первом…

— Вадим Львович, — тихо, словно опасаясь подслушивания, сказал Измайлов, — вы правильно сделали, что сообщили об аресте отца. Знаю про его заслуги.

— Он награжден орденом Красного…

— Да-да. Вы слушайте. — Измайлов еще понизил голос: — Об этом не сообщалось в печати, но есть сведения, что Кузнецов снят с работы. Он и Вознесенский.

— А что такое? — поразился я. — В чем они…

— Точно не знаю. Но обвинения серьезные. Следствие, конечно, разберется, как они… Ну, в какой степени ваш отец связан с Кузнецовым. Будем надеяться на положительное… ну, на исход.

«Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса…»

Хорошо писал классик. Но я подъезжал не под

Ижоры, а под Ленинград. А на небеса взглянул из окна вагона. Между прочим, вагоны теперь были цельнометаллическими, а не деревянными, как до войны.

Я взглянул на утренние небеса, косо заштрихованные идущим снегом. Снег валил всю дорогу, заметая уходящий сорок девятый год. Я ехал в отпуск, только в конце декабря удалось вырваться из череды неотложных дел.

Я не выспался: сосед в купе, армейский капитан, всю ночь надсадно храпел и — для разнообразия — пукал. Он со своей женой как сел в Риге, так и завел разговор о том, что теперь *их*, то есть евреев, прижали. Ссылался он на фельетоны в центральных газетах, из коих следовало, что ловкачи с еврейскими фамилиями обманывали *ротозеев*, ведавших различными учреждениями. Мне попадались эти фельетоны и казались странными. Было похоже, что их читателей натравливают на евреев. Во всяком случае, этот капитан (начфин какой-то части в Риге, как он сообщил при знакомстве) так и понимал, что евреев наконец-то «решили взять за жопу». Маленький, щекастый начфин широкой улыбкой выражал одобрение. Уж он-то, явствовало из улыбки, ротозеем не был.

Около полудня поезд втянулся в темноватый коридор Варшавского вокзала.

Истекали последние часы сорок девятого года. Снег валил и валил, словно торопясь выполнить некий небесный план по снегопаду. Трамваи ходили плохо, пути не успевали расчищать. И я отправился к Галине Вартанян пешком. На мосту Лейтенанта Шмидта порывом ветра с меня сорвало шапку и чуть не унесло в замерзшую Неву, но я догнал ее и, отряхнув от снега, надел. Здорово запыхался. В продмаге на площади Труда было полно народу. Стоя в очереди, я слышал обрывки разговоров — о новогоднем концерте в клубе Кирова, и о том, что мандарины кончаются, зря стоим, и что где-то продавали хорошие елки, — и кто-то шутил, и слышался женский смех — жизнь шла, простая и естественная.

Мандарины действительно кончились человек за десять до меня, но яблоки были, и я купил кило, а также бутылку кагора. С этим вином я очень знаком, оно входило в подводный рацион.

Итак, с новогодними дарами заявился я на улицу Союза Связи, в квартиру отца, непостижимым образом опустевшую. Галина, одетая в лыжный костюм защитного цвета, выглядела юной — мелькнула глупая мысль, что вот, хоть

лепи с нее девушку с веслом. Мы поцеловались, прошли в большую комнату, сели на диван, над которым висел гобелен с конными рыцарями, выезжающими из ворот замка (отец называл этот редкостный гобелен «приданым» Галины).

— Нет, свиданий не дают, — говорила Галина быстро, слегка шепелявя. — До конца следствия не положено, а когда оно кончится, неизвестно. Творится что-то ужасное, Вадим. Арестованы Попков — первый секретарь обкома, Капустин — второй секретарь, председатель горисполкома Лазутин и еще много людей. Идет прямо-таки разгром ленинградской парторганизации. Исключают из партии, снимают с работы. Я тебе не писала, Вадим, в письмах нельзя. Меня тоже исключили.

— Исключили из партии?! — поразился я. — За что?

— Ой, формулировка просто абсурдная! За связи с критиками-космополитами. — Галина усмехнулась, вокруг рта у нее прорезались морщинки, да нет, не очень-то юной она выглядела. — Не подумай чего-то дурного. Я ведь в отделе культуры работаю. Естественно, брала интервью у театральных критиков, а они-то теперь и объявлены космополитами. Их прозвали «Иванами,

не помнящими родства». Хотя почти все они не Иваны, а евреи. Вот, значит, меня обвинили в связях с ними.

Ну и дела! Я, конечно, помнил, что в начале этого, ныне уходящего года появилась в «Правде» редакционная статья с обвинениями неведомых мне театроведов, которые, «шипя и злобствуя», охаивали лучшие произведения советской драматургии. «Шипя и злобствуя»! Ну и ну… чудился посаженный в клетку рассерженный кот… Было странно, что театральных критиков назвали космополитами. Космополиты — это «граждане мира», что же дурного в таком понятии, близком к интернационализму нашей идеологии? Вдруг оказалось, что это «антипатриотично», связано с «безразличным отношением к народу», с «равнодушным, оскопленным, холодным эстетством». Слова-то какие убийственные. «Оскопленное эстетство»! Ух!..

— Закрыли музей обороны Ленинграда, — продолжала Галина, — арестовали его директора. Запретили издание сборника очерков писателей о блокаде.

— Галя, вы мне писали, что в ленинградском союзе писателей обещали дать отзыв о заслугах отца…

— Ни черта не дали! Там перепуганы ужасно. Один писатель, близкий друг Льва, рассказал мне… Вадим, это большой секрет, так что прошу тебя…

— Не беспокойтесь, Галя.

— Он рассказал, что в феврале состоялся в Питере пленум обкома и горкома. На нем выступил Маленков с докладом об антипартийной группировке. Там каялись Попков и Капустин.

— В чем каялись? Что за группировка?

— Не знаю! — Галина помотала головой, словно отгоняя страшное видение. — Невозможно понять, в чем провинились. Моя подруга, тоже журналистка, говорит, что они хотели перенести столицу из Москвы в Ленинград. За это арестовывать? Это «антипартийно»? Ну, погрозили бы пальцем: бросьте эти глупые игры… Так нет же… Летом начались аресты. В Москве взяли Алексея Кузнецова. Такого заслуженного человека! Я думаю, если бы Жданов не умер в прошлом году, он бы не допустил «дела Кузнецова». А Николай Вознесенский — его за что? Председатель Госплана, о нем говорили, что талантливый экономист…

— У отца были личные контакты с Кузнецовым?

— Конечно. Кузнецов общался с писателями-

блокадниками. Отец в одном из очерков писал о нем. Книгу свою ему подарил.

Я спросил, есть ли приемные часы в Большом доме и как туда пройти.

— Хочешь добиться свидания? — Галина покачала головой. — Вряд ли дадут. Но попытайся. Увидят твои боевые ордена — может, и уважут.

Она дала мне нужную информацию, взглянула на часы.

— Ой, скоро Новый год, надо привести себя в порядок. — Она тронула свои волнистые волосы. — Мы с Люськой не собирались встречать, не то настроение. Но такой гость заявился! Пойду переоденусь. Вадим, спасибо за вино и яблоки.

Галина вышла. Я остался один в большой комнате; над головой у меня конные рыцари с длинными копьями съезжали с подъемного моста в свою средневековую жизнь, полную приключений.

Бесшумно ступая домашними туфлями, вошла Люся. За два минувших года бойкая болтливая девочка превратилась в прелестного подростка, в ее новом облике как бы таилось обещание расцвета женской красоты. Нечто библейское, подумалось мне, было в ее черных кудрях, в удлиненных синих глазах.

— Здравствуй, сестрица, — сказал я, поднявшись.

— А, это вы… Здравствуй, братец. — Люся с улыбкой подставила щеку для поцелуя.

— Что ты читаешь? — Я взглянул на книгу в ее руке. Это были «Приключения Гекльберри Финна». — Нравится тебе?

— Как может не нравиться такая книга? — сказала Люся совершенно по-взрослому. Она села, оглядела меня, задержавшись взглядом на орденах, спросила: — А вот что такое мальвазия?

— Мальвазия? Кажется, было такое вино. Откуда ты это выкопала?

— Ну, Гек рассказывает негру Джиму, как король Генрих утопил своего папашу, герцога Веллингтона, в бочке с мальвазией.

— А-а! — Я усмехнулся. — Гек путает. Слышал звон, да не знает, где он. Генрих Восьмой вовсе не был сыном Веллингтона. Они и жили-то в разных столетиях.

Тут вошла Галина. Теперь, сменив лыжный костюм на серое, с черной отделкой, шелковое платье, она снова стала королевой Марго.

— Ну, накроем на стол и будем встречать Новый год, — сказала она, улыбаясь.

Улыбка получилась невеселая.

Спустя несколько дней, после моих звонков и письменного обращения, меня принял в Большом доме на Литейном проспекте тамошний служитель — старший лейтенант с бледным замкнутым лицом. Погоны у него были почему-то с голубым просветом, — быть может, он раньше служил в летной части. Глядя на меня холодными, узко посаженными глазами, он спросил:

— Что вы хотели?

— Я же написал в заявлении — хочу узнать, почему арестован мой отец, подполковник Плещеев. Он писатель, участник штурма Кронштадта в двадцать…

— Ваш отец, — прервал мою нервную речь служитель Большого дома, — находится под следствием.

— Да, но в чем его обвиняют? У отца нет и не может быть никакой вины. Он в партии с семнадцатого года…

— Под следствием бывали члены партии и не с таким стажем. Пока идет следствие, мы не можем вам ничего сообщить.

— А когда… ну примерно хотя бы… когда закончится следствие?

— Это неизвестно.

Этот холодноглазый был абсолютно закрыт

для нормального человеческого общения. Мое волнение, как и мои ордена, не производили на него ни малейшего впечатления. «Ждите конца следствия, которое неизвестно когда закончится», — вот и весь сказ. Конечно, никакой переписки, никаких свиданий.

Я вышел на Литейный с чувством опустошенности. Медленно побрел к Невскому проспекту, оскользаясь на обледеневших местах тротуара. Прохожие, идущие навстречу, щурились от ветра с колючим снегом, все торопились в свои теплые углы. Мучительно было думать, что у них все в порядке, ни у кого отец не арестован — только у меня… Боже мой, как жалко мне было отца, ни за что ни про что посаженного в тюрьму…

Мы, конечно, знали, что до войны были «враги народа» — шпионы, вредители и еще черт знает кто. Их судили, отправляли в лагеря на перевоспитание трудом («перековкой» это называлось), а главных преступников расстреливали. Но после долгой кровавой войны, после победы над фашистской Германией — теперь-то почему возобновились аресты? Откуда взялись «враги» у народа-победителя? Что-то странно… Что-то пошло не так…

Сквозь непогоду рвались неведомо куда брон-

зовые кони на Аничковом мосту, их сдерживали юноши с высокими шапками снега. Я тащился по Невскому, ледяной ветер бил в лицо. Жизнь швыряла в лицо пригоршни колючих вопросов: что происходит?.. почему вяжут своих?.. жизнь, дай ответ!.. Не дает ответа.

Вот и «Квисисана». Маша, ты помнишь, мы с тобой обедали здесь в победном сорок пятом? Ах, какие тут были бифштексы! Какая жизнь была…

Я обедал в «Квисисане» в гордом одиночестве. Как байроновский Манфред в Альпах. Как одичавший пес, разжившийся костью…

За соседним столиком шумно веселились трое парней и три девицы-блондинки. Парни были в клетчатых пиджаках и странно узких брюках. Они танцевали со своими беспрерывно хохочущими девками под радиолу. Неприязненно я глядел, жуя бифштекс, на «золотую молодежь». Отплясываете? Ну-ну.

Однако, когда я, расплатившись, направился к выходу, эти узкоштанные танцоры расступились и почтительно мне поклонились (моим орденам, конечно). Да нет, подумал я, не такие уж они олухи. Пусть пляшут.

От выпитых трехсот граммов стало легче. Ветер теперь дул в спину, помогая одолеть дорогу

домой, на Васильевский остров.

Отперев ключом дверь, я вошел в коридор, с которого, знаете ли, и началась моя жизнь. Полутемный, заставленный старыми сундуками коридор, пропахший устоявшимся бытом, далеким детством, вольным духом прерий, по которым скачут мустанги… и я, сохранивший свой скальп, иду, бесшумно ступая мокасинами, чтоб не услыхали гуроны… или кто там — команчи…

Проходя мимо Лизиной двери, услышал голоса. Я постучал и вошел. На тахте сидели Лиза в длинном стеганом халате и Люся в школьном коричневом платьице с белым передником. Они, увидев меня, умолкли, Люся глядела заплаканными глазами.

— Ой, Дима, — сказала Лиза, — а мы к тебе стучались, а тебя не было…

— Что случилось? — спросил я.

— Маму уволили с работы, — сказала Люся.

Из ее сбивчивого рассказа явствовало, что позавчера Галину вызвал главный редактор и предложил написать заявление об увольнении. «С какой формулировкой?» — спросила она. «С какой хочешь, — был ответ. — Галя, у меня нет никаких претензий к тебе. Но ты же понимаешь, какая сложилась обстановка». — «Понимаю, —

сказала Галина. — Напишу, что ухожу из-за вашей трусости». — «Ну, — сказал редактор, — если ты такая храбрая, то напиши, что, будучи космополитом, не считаешь возможным работать в партийной печати».

— Вчера мама весь день сидела на телефоне, — сказала Люся. — Во все газеты звонила. Никто не берет. Сегодня утром поехала куда-то в область. — Она всхлипнула. — Дима, а что такое космополит? Никто, кого я спросила, не знает.

— Димка, я рада тебя видеть! — С этими словами Рая прильнула ко мне, мы поцеловались. — Ты приехал в отпуск? У тебя усы не стрижены! Ну ничего, давай еще раз!

Второй поцелуй получился более продолжительным. А ведь Райка, подумал я, единственный теперь родной у меня человек. Ну не то чтобы родной, но… в общем, можно и в третий раз…

— Хватит, хватит! — Она высвободилась из моих объятий. — Что за манеры у вас на флоте? Пришел и устраиваешь тут блеск и нищету куртизанок.

Мы, смеясь, смотрели друг на друга. Вдруг вспомнилось, как в детстве я сочинил гекзаметр, в котором назвал Райку «румяноланитой девой», а она, вспыльчивая, сердилась, грозила мне ку-

лачком. Ну, румяных ланит у нее, конечно, давно нет: блокада унесла румянец и обтянула ланиты. Исчезло былое наивное выражение лица, удивительные серые глаза смотрели строго. Я бы сказал — пытливо смотрели.

А Розалия Абрамовна была плоха. Стала лежачей, только в уборную плелась с помощью своей сестры или Раи. Она, очень похудевшая, дремала, лежа на спине. Проснувшись от наших голосов, посмотрела на меня долгим взглядом.

— Это я, Вадим, — сказал я. — Добрый вечер, Розалия Абрамовна.

— Я тебя узнала, — тихо отозвалась она. — Дима… Ты уже узнал?

— Вы о чем?

— Почему твоего папу арестовали — узнал?

— А-а… Нет. Они ничего не объясняют. Надо ждать окончания следствия.

— Ждать, — повторила Розалия Абрамовна. — А чего ждем?

— Мам, приподнимись, я тебе подушки поправлю, — наклонилась над ней Рая.

— Ты Диме рассказала об Аполло… Аполи…

— Нечего рассказывать. Давай-ка примем микстуру.

Рая налила в столовую ложку бесцветную жид-

кость из флакона и дала матери выпить.

Дремота одолела Розалию Абрамовну. Речь ее стала невнятной, на полуслове она заснула.

На кухне я откупорил бутылку водки, которую принес. Рая разогрела котлеты с гречкой, поставила на стол банку с винегретом. Мы выпили, закусили, закурили. Мне не нравилось, что Райка курит, но она сказала, что не затягивается, а «просто так».

Говорили, конечно, о текущем моменте.

— А что за Аполлон, о котором вякнула мама? — спросил я.

— Не Аполлон, — поморщилась Райка. — Аполлинария Николаевна, наша директриса. Ой, да чепуха! Зря я маме рассказала.

— А в чем дело?

— Ну, стала придираться. Что я много двоек леплю. Ничего не много. В обоих выпускных классах есть несколько оболтусов, патологически неграмотных. Корову пишут через «а». И по литературе не успевают, не любят читать. Только футбол на уме и эти танцы новомодные, с дерганьем. Ну вот. Больше двойки они никак не тянут. Аполлинария на меня напустилась. Я порчу школе картину успеваемости — так она объявила. «Третируете этих мальчиков, — гово-

рит, — а своим пятерки выставляете». — «Кому это — своим?» — «Розенталю, например». — «Как вам, говорю, не стыдно? Розенталь — одаренный парень, победил на городской олимпиаде…» — «Это вам, — говорит — Аполлинария, должно быть стыдно».

Вопреки своим словам, Рая глубоко затянулась и с силой выдохнула дым.

— Черт-те что, — сказал я, тоже попыхивая «беломориной». — Похоже, что сверху поощряют антисемитизм.

— Не может быть, чтобы сверху это шло.

— Не может быть. А вот же идет. — Я рассказал о рижском начфине, о фельетонах в «Правде», об «Иванах, не помнящих родства» с еврейскими фамилиями, скрытыми под псевдонимами, но теперь раскрываемыми.

— Не думаю, что это идет сверху, — повторила Рая. — Твоего начфина и мою Аполлинарию одернут.

— Да и я надеюсь, что наведут порядок. — И — после паузы: — Райка, вы с мамой откуда узнали об аресте моего отца? От Лизы?

— Ну да, от кого же еще! Лиза приходит часто. Мерит маме давление. Принесла дефицитное лекарство. Хватит курить, Дима. Тебе чай как —

покрепче?

Мы пили чай со сладким печеньем «Дружба». Радиотарелка приглушенно бормотала о каких-то волнениях во Французском Индокитае. Посвистывал за темным окном январский ветер. Я думал об отце — не холодно ли ему в «Крестах»?.. С его радикулитом, ломящим позвоночник…

— Да, чуть не забыла, — сказала Рая, ставя чашку на блюдце. — Недели две назад позвонила Маша. Она поразилась, когда я сообщила о твоем отце. Между прочим, она сказала, что Валя очень удручен: арестовали отца его друга, с которым он был в плену.

— Отца Владлена Савкина? — поразился и я.

В то лето много плавали. Море было неспокойное, шторм за штормом, — волны захлестывали мостик нашей «немки», когда мы всплывали для зарядки батареи.

Штормило не только в море. На суше в то лето тоже было неспокойно. Началась война в Корее, спровоцированная, как писали у нас в газетах, «южнокорейскими марионетками империалистических держав». Северные корейцы успешно наступали, вошли в Сеул, продвигались к югу полуострова.

Когда я однажды, высвободив воскресный ве-

чер, приехал в Дом офицеров (очень хотелось расслабиться), то первым, кого я увидел, войдя в ресторан, был Геннадий Карасев. Лысый, огромный, он возвышался над «своим» столиком, а напротив него сидел светлоглазый капитан береговой службы с косой прядью по лбу. Они оживленно разговаривали и смеялись.

— А, появился! — Карасев схватил меня за руку, усадил рядом с собой. — Где ты пропадаешь, усатый человек?

— В море, где ж еще!

— В морях твоя дорога. Знакомьтесь. Капитан Петрухин, бесстрашный корреспондент «Красной звезды». Капитан-лейтенант Плещеев, лучший друг капитана Немо. Зина! — окликнул Карасев официантку. — Нам еще один бокал. И еще триста водки! Паша, — отнесся он к корреспонденту, — расскажи Вадиму анекдот про Карапета.

— К Карапету пришел друг, — высоким голосом сказал Петрухин, — и видит: Карапет сидит растрепанный и жжет спички, пытается поджечь свои волосы. «Что он делает? — кричит друг жене Карапета. — С ума он сошел?» — «Нет, — отвечает жена. — Карапет космы палит».

— Космы палит? — Я засмеялся.

— Что значит — гость из Москвы! — сказал Ка-

расев, наливая в стопки водку. — В столице всегда придумают что-нибудь смешное. Ну, вздрогнем.

— Вы служите в бригаде подплава? — спросил гость. — Я завтра к вам приеду — за материалом для очерка. Что у вас интересного?

А что интересного у нас? Да ничего. Плаваем, сдаем учебные задачи, стреляем торпедами, в которых зарядовое отделение заполнено не взрывчаткой, а водой.

Страна восстанавливается после разрушительной войны, а мы охраняем ее труд. Вот и все наши дела.

Не рассказывать же московскому журналисту, что у меня, непонятно за что, арестован отец — писатель, убежденный коммунист, участник штурма мятежного Кронштадта. «Ленинградское дело» — так называется эта чертовщина. Особист нашей бригады — пожилой полковник с большой плешью и замкнутым лицом без запоминающихся черт — так и сказал, пригласив меня на беседу:

— Товарищ Плещеев, ваш отец, Лев Плещеев, арестован по «ленинградскому делу», так?

— Да, — ответил я. — Не знаю, как это «дело» называется, но я поставил командование в известность…

— Знаю. Скажите, пожалуйста, как часто вы общались с отцом?

— Очень редко. Когда я приезжал в отпуск — считаные разы.

— Говорил ли вам отец об особой… мм… особом назначении Ленинграда?

— Говорил о восстановлении города. Особое назначение? Нет, такого я не слышал.

— О заговоре с целью создать Российскую компартию в противовес Всесоюзной?

— Нет… — От слова «заговор» у меня похолодело в животе. — Никогда… отец никогда не стал бы…

— Знали вы, что руководители Ленинграда хотели взорвать город и потопить флот? — продолжал особист ровным голосом.

— Да вы что, товарищ полковник? — вскричал я. — В сорок первом, в сентябре, в критические дни — был приказ Ставки подготовить корабли… взорвать, если противник прорвется в Питер… только в этом случае… — Я здорово волновался. — Был приказ, все подлодки приняли по две глубинных бомбы и легли на грунт…

— Успокойтесь, Плещеев.

— Никто, конечно, *не хотел* потопить флот. Но критическая обстановка… Нет, не руководители

Ленинграда, а Ставка приказала…

— Успокойтесь, — повторил особист. — Я обязан задать вам эти вопросы, потому что… мм… потому что «ленинградское дело» очень непростое. Обязан проверить ваше к нему отношение, поскольку ваш отец…

— Мой отец абсолютно не виновен ни в каких преступлениях!

Особист пожевал тонкими губами, словно пробуя незнакомую пищу.

— Виновен или невиновен, — сказал он после паузы, — в этом следствие разберется. А вы, Плещеев, будьте поосторожнее в оценках. Абсолютного ничего не бывает. — Особист прокашлялся. — И не забывайте, что служите в ударном соединении.

Мне было не по себе от этого разговора. «Не забывайте, что служите в ударном соединении»… Что это — предупреждение? Дескать, «ты неполноценный, но тебе позволили служить на бригаде подлодок, так что будь осторожен». Я — неполноценный? Неудобная мысль — как тесные ботинки, не по ноге. Как слишком туго затянутый галстук.

И знаете, впервые пришло в голову: «Не уйти ли в отставку… пока тебя „не ушли“?.. Ну, не в

отставку, как это называлось в давние времена, а — в запас…»

Нет, нет… Невозможно… Да и что мне делать на гражданке? Я ведь умею только плавать под водой — больше ничего…

Земля каждый час поворачивается на пятнадцать градусов. Это немного, правда? И незаметно. Но в том году, в проклятом пятидесятом, я заметил повороты планеты. Невероятно, да? И однако, я стал это замечать — не физически, а мысленно. Мое дурацкое воображение отмечало: поворот… еще час прошел — еще поворот… заходящее солнце, уходящее время… Черт-те что!

Ладно, не принимайте всерьез причуды воображения.

Подошло к окончанию следствие по «ленинградскому делу», мне написала об этом — обиняком, конечно, — Галина. И 20 сентября я приехал в отпуск.

В Питере стояла прекрасная погода. Великий город, осиянный нежарким солнцем, гудел моторами, звенел трамваями, полнился гулом человечьих голосов. Сфинксы напротив Академии художеств, странные существа, порожденные фантазией древних людей, словно прислушивались к плеску синей Невы у подножий и

вглядывались сквозь толщу веков в другую великую реку.

Невский проспект, радуясь солнцу, сиял чистыми витринами. А вот знаменитые сине-белые надписи на его стенах («В случае артобстрела эта сторона наиболее опасна») почему-то исчезли.

— Почему их закрасили? — спросил я Галину.

— Потому что кто-то хочет, чтобы мы забыли о блокаде, — резковато ответила она. — Закрыли музей обороны, исчезли его экспонаты, ценнейшие документы. Продолжаются аресты. Роман Кетлинской «В осаде» искромсала цензура, выкинула «страшные» эпизоды. А пьесу Ольги Берггольц вообще не приняли к постановке. Происходит что-то ужасное…

У Галины перехватило дыхание. Она повела плечами, кутаясь в шерстяной платок, хотя в комнате было тепло.

— Меня не принимают на работу в городские газеты. Только в области, в Колпино, не побоялись, взяли в заводскую многотиражку — езжу туда дважды в неделю. Ну вот. Мне там рассказали, что в сорок первом рабочие Ижорского завода остановили немецкие танки. Почти безоружные, кидали в них бутылки с горючей смесью, погибали под огнем немцев. Я написала очерк о подвиге

ижорцев, предложила в свою газету — ну, из которой меня выгнали. Не взяли! Завотделом, мой приятель, сказал открытым текстом: «Галя, не сердись, но у нас установка — хватит о гибели, поменьше слёз, побольше ударного труда по восстановлению…»

У одного писателя, друга отца, было серьезное знакомство с кем-то из Смольного. Он-то по секрету и сказал Галине, что 25 сентября началось слушание по «ленинградскому делу». И уже через день сообщил, что суд закончен — все подсудимые получили сроки — *отец осужден на десять лет*.

У Галины глаза были сухие, когда она сказала мне о приговоре. Прищурясь, она смотрела в незанавешенное окно, словно пытаясь разглядеть, что́ творится в темном пространстве вечера. Руки у нее, стиснувшие платок у горла, мелко дрожали.

Земля повернулась на пятнадцать градусов.

Как выдерживает земная ось такие повороты?

Невозможно понять!

Галине передали записку отца, очень короткую: «Галя, дорогая, пришли, пожалуйста, теплое белье и носки. Отправят куда-то на Север. Придется пережить и это. Прости! Люблю. Целую тебя

и Люсю. Сообщи Вадиму. Лев».

Я пытался добиться свидания — не вышло. *Не положено.* Зря я звонил, торчал у дверей Большого дома, у окошек, за которыми сидели холодноглазые люди в фуражках с красными околышами. Не положено, вот и все.

Не знал я, что в эти, последние дни сентября неподалеку, в Доме офицеров, шел и быстро закончился суд над главными персонажами «ленинградского дела». И вот пополз ужасающий слух: Кузнецова, Попкова, Вознесенского и еще нескольких человек приговорили к расстрелу… и будто сразу же и привели в исполнение…

Рая спросила, сколько лет моему отцу.

— Он ровесник века, — сказал я.

— Ну, значит, когда он выйдет, ему будет шестьдесят. Дима, это ведь не много. Он вернется в нормальную жизнь.

Райка хотела меня утешить, добрая душа. Мы сидели у нее на кухне, тут и Лиза была, коротко стриженная, располневшая, глядевшая на меня сочувствующим взглядом.

Радио повествовало об успехах тружеников колхозных полей: собран невиданный урожай. Я слушал невнимательно, поглядывал на висящую над кухонным шкафчиком фотографию

Парфенона. В рассеянные мысли вплетались голоса женщин. Лиза говорила о новом лекарстве для улучшения кровообращения. Рая — о каких-то новых симптомах у мамы. Это слово — «симптомы» — витало над столом, над чаем с сырниками.

Как же он там будет, на Севере… со своим радикулитом… с загрудинными болями, которые недавно у него появились… Галину эти боли очень тревожили…

И еще одно слово витало над столом — непроизнесенное, но бившееся у меня в висках слово «заговор». *Не-воз-мож-но* было представить, чтобы отец участвовал в заговоре. Да вы что, товарищи судьи?! Заговорщики — это кто угодно, декабристы, народовольцы, троцкисты, в конце-то концов, — но только не отец! Он с ними воевал — с заговорщиками, с мятежниками против советской власти…

Против? — спохватился я вдруг. Разве они, кронштадтцы, *против* советской власти подняли мятеж? Да нет же… за советскую власть они восстали… Господи, как все перемешалось, закружилось в страшной карусели… в дикой половецкой пляске…

— Дима! — услышал я голос Лизы. — Ты что,

заснул?

— Он считает, сколько колонн в Парфеноне, — заметила Рая.

— А что такое? Я не сплю.

— Я тебя окликнула, а ты молчишь, — сказала Лиза. — Ты знаешь, где находится Аткарск?

— Аткарск? Нет, не знаю. Зачем он тебе?

— Не мне, а Галине. У некоторых осужденных арестовали жен. Мы с Галей вчера говорили. Ей надо уехать с Люсей. Галя не хочет уезжать, а я считаю — надо.

— Она была у тебя? Почему меня не позвали?

— Она пришла поздним вечером. Не хотели тебя беспокоить. Как ты думаешь, Дима…

— Тут нечего думать, — сказал я, — ей надо уехать. Ты спросила про Аткарск. Это город, где она была в эвакуации?

— Да. Галя там на железной дороге, ну, в депо мыла вагоны. А потом ее взяли в заводскую газету. Там была редактор, она чудно к Гале относилась.

— Понятно. — Я взглянул на своего «Павла Буре», было четверть десятого вечера. — Еще не поздно, поеду к ней.

— Допей чай, — сказала Рая.

Лиза ушла мерить давление Розалии Абра-

мовне. Я допил чай и поднялся:

— Спасибо, Райка. Сырники у тебя замечательные.

— Рада слышать. — Она подставила щеку для поцелуя. — Постарайся уговорить Галину.

— Постараюсь. — Я потянулся к ее губам.

— Хватит, хватит, — сказала Рая. — Хорошего понемножку.

Сумасшедшая шла осень.

На другом конце земли война, докатившаяся до крайнего юга Корейского полуострова, покатилась назад. Войска ООН (американцы главным образом) погнали армию Ким Ир Сена на север — почти до северной границы. И вдруг из-за этой границы хлынули китайские добровольцы, по сути — огромная регулярная армия Мао Цзэдуна. И война покатилась на юг, к прежней границе двух Корей, и замерла на 38-й параллели.

Но это, хоть и вызывало интерес, было далеко.

А здесь, в Питере, вот что происходило.

Галина наотрез отказалась уезжать. Мне не удалось ее уговорить. «Уехать, — заявила она, — значит бежать. А бежать — значит, признать себя виноватой. А я ни в чем не виновата».

Было беспокойно. Я долго не мог уснуть. Вставал, бродил по комнате, курил.

А часов в десять утра позвонила Галина и попросила прийти вечером вместе с Лизой.

Мы пришли. Лиза после суточного дежурства в больнице выглядела усталой, с темными подглазьями. Она принесла какую-то травку-заварку, придающую организму бодрость, и направилась было в кухню, чтобы ее заварить.

— Погоди, Лиза, — остановила ее Галина. — Сядем, надо поговорить. Вот что хочу вам… — Она повела плечами, словно содрогаясь от того, что намеревалась сказать. — Я по-прежнему не хочу уезжать, считаю это постыдным бегством. Но Люся сказала, что если меня арестуют, то она бросится в Неву.

Голос у Галины дрогнул. Она отвернулась, поднеся к глазам платок. Люся, сидевшая в уголке дивана, под гобеленом с рыцарями, исподлобья смотрела на мать.

Трудное было молчание.

— Галя, — сказал я, — это не бегство… ничего постыдного в том, что вы укроетесь на какое-то время…

— На десять лет, — с горькой усмешкой сказала она.

Лиза быстро заговорила. Она возьмет на себя связь со Львом Васильичем (переписка же с лаге-

рем разрешается) и его письма будет пересылать Галине в Аткарск, а ее письма — ему. И посылки будет отправлять Льву Васильичу. И квартплату вносить.

— А ты, Галя, завтра же телеграфируй своей бывшей редакторше в Аткарск, — распорядилась Лиза, она умела распоряжаться. — Где он находится, этот Аткарск?

— В Саратовской области. — Галина вздохнула с подавленным стоном. — Летом сорок второго в Аткарске было тревожно… немцы наступали на Сталинград…

Я видел, видел, как ей страшно оттого, что повторяется вынужденный отъезд — как бы вторая эвакуация — из Ленинграда. Но что же было делать? С обстоятельствами жизни не поспоришь.

Я сказал, что буду оплачивать посылки отцу.

— Пока не надо, Вадим, — сказала Галина. — Я сниму деньги в сберкассе.

— Вам они понадобятся для устройства в Аткарске.

— На первое время хватит. Я дам тебе знать, если возникнет нужда.

Женщины принялись обсуждать подробности переезда.

Проблем было много. Не так-то просто ломать

привычный ход жизни. Но, приняв решение, Галина действовала энергично. Резкие складки, возникшие по углам стиснутых губ, придали новое выражение ее миловидному лицу.

Медведко — женщина, приютившая в войну Галину с ребенком в городе Аткарске, — ответила на ее телеграмму немедленно: «Дорогая Галя работа для тебя всегда найдется жду».

— Я и не ожидала другого ответа, — сказала Галина. — Она замечательная. Я шутила, что Медведица, река, на которой стоит Аткарск, названа в ее честь.

Было много возни с гобеленом. Галина не хотела его оставлять в квартире, покидаемой надолго. У меня были опасения, что квартиру могут отобрать, да и вообще — каждую ночь могли прийти к Галине незваные гости. Каждое утро я звонил ей и, услышав ее голос, успокаивался — до следующей ночи. Так, прямо скажу, в страхе перед новыми поворотами планеты я прожил до последних дней своего отпуска.

Гобелен с немалым трудом сняли и скатали в здоровенную трубу. Ох и тяжелый он был! С помощью шофера нанятого грузовика мы вынесли его, погрузили и отвезли ко мне домой. И еще три чемодана, набитые вещами.

Следующим днем Галина и Люся уехали. Мы с Лизой проводили их. Шел дождь, холодный, осенний. Женщины раскрыли зонтики и меня укрыли, и Лиза сказала, что это хорошо, когда при отъезде дождь. А Люся сказала:

— У нас в классе одна девочка всегда плачет, когда дождь.

Я взглянул на Люсю и подумал, что это она про себя: ее глаза были застланы слезами.

Галина стояла молча под черным зонтиком. Все слова сказаны, губы плотно стиснуты — я понимал, каких душевных сил стоило ей сохранять спокойствие.

— Пассажиры, на посадку! — крикнула пожилая проводница.

Галя и Люся поднялись в вагон, Лиза перекрестила их медленным крестом.

Вечером того же дня я спустился к Рае — попрощаться. Отпуск мой кончился, завтра покачу в свою Либаву.

Не успел я позвонить, как дверь квартиры Виленских открылась, оттуда вышла дама в пальто песочного цвета и черной шляпе; ее полное лицо с высоко поднятыми бровями выражало озабоченность и было очень похоже на лицо сестры.

Я поздоровался с Софьей Абрамовной.

— А, Вадим, здравствуйте, — сказала она. — А Раечка только что пришла. Сегодня конъюнктура неважная, Роза плакала, вспоминала Михал Лазаревича, не хотела есть, я с трудом заставила ее проглотить несколько ложек бульона. И знаете, что она сказала? «Соня, — сказала она, — Бог меня наказал за то, что я не уберегла Осю». Представляете, Вадим? Роза погрузилась в прошлое и не хочет… — Тут голос у дамы дрогнул: — Не хочет жить…

Рая была занята туалетом матери, крикнула, чтобы я подождал в кухне. Я сел на «свою» табуретку, закурил. Сосчитал все колонны, сохранившиеся в Парфеноне. Хорошо жилось древним грекам — строили храмы и стадионы, демократию придумали, шастали по афинским улицам в своих… как называлась их одежда, гиматии, что ли… И представился мне среди греков Михаил Лазаревич, с острым лицом, в очках, в расшитом гиматии, под ручку с их правителем… как его… ах да, с Периклом…

Рая вошла в кухню, села напротив, попросила папиросу. Я видел, она была расстроена. Курила быстрыми мелкими затяжками и все поправляла свои густые кудрявые волосы, лезущие на глаза. На ней был темно-синий костюм, она еще не

переоделась в домашнее. Я спросил, почему она так поздно пришла с работы.

— У нас было партсобрание, — сказала она.

— Я и не знал, что ты партийная.

— Ну я же служила в политуправлении фронта. Ты ведь тоже, наверное…

— Я — нет.

— Странно. Я думала, что все офицеры-подводники… Ну ладно. — Рая потушила недокуренную папиросу в пепельнице и поднялась. — Давай ужинать. Хотя ты и беспартийный.

— Мы, беспартийные, тоже хотим кушать.

— И, главное, выпивать, — добавила Рая, видя, что я ставлю на стол бутылку.

— Райка, я завтра уезжаю. Как же без прощального глотка?

Она посмотрела на меня — будто впервые увидела.

— Уже завтра? Вечно ты торопишься плавать под водой.

— Ну да. Под водой спокойнее, чем у вас на суше.

Рая разогрела печенку с гречкой. Мы выпили и принялись за еду.

— У нас на собрании, — сказала Рая, — с докладом выступил деятель из роно. Ушастый такой, с

глазами навыкате. Надо повысить успеваемость, улучшить воспитание патриотизма, и чтоб никакого преклонения перед Западом, — ну, как обычно. А главное, объявил он, — это бдительность. Америка теперь использует против нас еврейскую агентуру. Вот, говорит, пришлось упразднить еврейский антифашистский комитет. Ты слышал об этом?

— Нет. А в чем он провинился?

— Не знаю. Докладчик сказал только, будто они хотели Еврейскую автономную область перетащить в Крым.

— Черт-те что! — удивился я. — Евреи хотят в Крым, а ленинградцы — отобрать у Москвы столицу. Налить тебе еще?

— Немножко. Хватит, хватит. Мне что-то не верится, Дима, это — про Крым.

— Мне тоже, — сказал я. — И про Крым, и про перенос столицы — похоже на вранье. Непонятно только, кому и зачем это вранье нужно.

Слышался шорох дождя за окном. Планета медленно поворачивалась вокруг оси и, что интересно, одновременно летела строго по своей орбите. В космосе был о-очень давно заведенный порядок, чего не скажешь о планете, на которой мы живем.

С каким-то иногородним звоном ворвался телефон. Рая взяла трубку.

— Добрый вечер, Маш, — сказала она и, отвечая на вопрос, заговорила о самочувствии матери.

Я налил себе еще стопку и выпил, чтобы заглушить вспыхнувшее желание схватить трубку… хотя бы голос услышать…

— Да, конечно, и перемена погоды влияет, — продолжала Рая разговор. — Ну да, что поделаешь… А как ты? Как Валя? — С минуту она слушала, а потом: — А у меня Вадим сидит, зашел попрощаться… Да… Ладно… Ну, целую. — Рая протянула мне трубку. — Маша хочет с тобой поговорить.

И вот — слышу высокий звенящий голос:

— Здравствуй, Вадя!

(О как давно меня так не называли…)

— Хотела сказать, — слышу я, — что очень тебе сочувствую.

— Спасибо.

— Надеюсь, отец выдержит. Вадя, как ты? Как здоровье?

— Нормально.

— На службе у тебя все в порядке?

— На Балтике всегда порядок.

— Да? — В ее голосе послышалась улыбка. —

Помню твое любимое выражение. Что? — В трубке возникли шорохи. — Вадя, будь здоров, обнимаю! Погоди, Валя хочет что-то сказать.

Я не сразу узнал голос моего заклятого друга — каким-то хриплым он стал.

— Дим, привет. Прими и мое сочувствие.

— Спасибо, — сказал я. — Как тебе плавается, капитан?

— Плавается хорошо. Как всем каботажникам. Дима, вот что хочу… Ты Савкина Владлена помнишь?

— Конечно. Он был с тобой в финском плену. А его отец, бывший инженер-полковник, тоже, как мой отец…

— Откуда ты знаешь?

— Ну, прошлой зимой Маша сказала Рае, а Рая — мне. Он тоже получил десятку?

— Он умер в «Крестах».

— Ох ты!.. — Я присвистнул. — Что случилось?

— Остановка сердца. Так, буквально, сказали Владлену. Суд, я думаю, оправдал бы его. Он ведь был крупный строитель, восстанавливал город, жил работой. Только работой. А до суда не дожил.

— Не понимаю… Невозможно понять… Валя, передай Владлену мое…

— Так вот, о Владлене. Он в прошлом году окончил институт, получил назначение на «Электросилу». Но проработал недолго. Осенью арестовали отца, и Влада уволили. Ты слышишь?

— Я весь внимание.

— А то какие-то трески… Ну короче. Влад протестовал. Писал заявления в Смольный, в Москву. Он инвалид, битый-перебитый, всего навидался, ничего не боится. А когда вызвали и сообщили о смерти отца, мешок с его вещами велели забрать, Влад вспыхнул. Потребовал, чтобы отдали тело отца. Отказали, у них не положено отдавать. Не знаю, что Влад там выкинул. Может, чернильницей запустил в кого-то. Он, если вспыхнет…

Травников закашлялся, а трубка будто вторила кашлю треcками, разрядами. Потом возникла пауза.

— Валя! — крикнул я. — Алло, Валя!

— Здесь я, — сдавленным голосом ответил он. — Я воду пил.

— Так что с Владленом?

— Арестовали его.

— Япона мать! — только и мог я сказать.

Вот уже и старлей Герман Китаев, наш минер, получил квартиру, вернее, комнату в военном городке. А я все еще жил в своей каюте на «Смоль-

ном». Ну да, Китаев женатый, ему полагалась казенная жилплощадь. А я-то холостой. Хотя и старше Китаева по званию и по должности. Я — помощник командира подлодки, уже третий год. И знаете, вряд ли продвинусь по службе, стать командиром лодки мне не светит.

Нет, никто на бригаде не тычет в меня пальцем — дескать, вот идет сын репрессированного писателя. Знаю, что в политотделе были разговоры обо мне: имею ли я право *служить в ударном соединении*? Кто-то считал, что не имею. (Не знаю, кто именно, — да и не пытался узнать.) Но вот что небезынтересно: книгу моего отца о походе на «Ленинце» не изъяли из клубной библиотеки, она как была, так и осталась популярной. Старослужащие офицеры помнили отца — никто и не считал его «врагом народа». Знал я (от Мещерского), что Кожухов, командир дивизиона, в политотделе отстоял мое право продолжать службу на подплаве.

Я и продолжал.

Где-то что-то горело, дымом заволокло весь двор. Но вот сквозь дым проявилась фигура Артемия Ивановича, директора нашего. Он, с вытаращенными глазами, крикнул:

— Сюшьте, что вы делаете? Ведь вонять будет!

Мы с Оськой хотели потушить горящую покрышку, откуда-то ведро с водой тут было. Но вдруг я увидел, что серая толстовка на Артемии Ивановиче превратилась в черный бушлат, а сам он стал ниже ростом, с выбритой головой, в очках, — да это же мой отец! Он пристально глядел на меня и что-то говорил, но я не слышал…

Из писем Лизы я знал, что отец где-то на севере Коми АССР, на Печоре, что работал на лесоповале, но вот уже месяц, как его взяли «в контору», он теперь учетчик, ему стало легче…

«Отец, говори громче, я не слышу!» — кричал я, но слова отца заглушали звонки, звонки…

Обалделый от сна, я проснулся. Над ухом сыпались звонки корабельной трансляции, они возвещали учебную тревогу, — мигом я вспомнил, что сегодня начинаются флотские учения. Взглянул на часы — семь утра — и, ополоснув над умывальником рожу, быстро оделся.

Сбежав по трапу со «Смольного», я помчался к пирсу, у которого стояла моя «немка», и через три минуты поднялся на ее мостик.

Глава двадцать шестая
Письма

Здравствуй, Дима!

Извини, что долго не отвечала на твое письмо. Почти все лето у меня пролетело в тревоге. У мамы произошел повторный инсульт, ее положили в больницу, делали все возможное, чтобы спасти, появилась небольшая положительная динамика. Но 3 сентября стало резко хуже. Ночью мама умерла.

Похоронили ее на Смоленском кладбище, рядом с папой. Теперь они снова вместе.

А я осталась одна.

Сегодня по радио слушала оперу «Дидона и Эней», фамилию композитора, англичанина, не расслышала. Ты знаешь эту историю, описанную Вергилием? Эней бежал из горящей Трои, приплыл в Карфаген. Царица и основательница Карфагена Дидона стала его любовницей. Но у Энея был приказ или, вернее, знак от Юпитера:

плыть в Италию, он там должен был стать предком основателей Рима. Такая странная, тревожная музыка. Нечистая сила, недовольная, что Эней застрял, беснуется над Карфагеном. Эней уплывает, а Дидона не может пережить разлуку и кончает с собой.

Дима, как ты поживаешь? От Лизы я знаю, что у отца теперь более легкая работа. Лиза говорит, что молится за него. Будем надеяться на благополучный исход.

А ты приедешь в отпуск?

Будь здоров, и счастливого плавания. 14 сентября 1951.

Рая

Раечка, дорогая!

Сегодня получил твое письмо. Очень тебе сочувствую. Розалия Абрамовна была и для меня, можно сказать, родным человеком. Она достойно прожила свою жизнь, сделала много добрых дел, а главное – родила тебя и Осю. Невозможно представить себе наш дом на 4-й линии без нее.

Рая, зачем ты пишешь, что осталась одна? А я – разве я тебе не верный друг?

То, что я много времени провожу под водой и даже оброс ракушками, нисколько не отражается на моих дружеских чувствах.

Я вычитал где-то, что Ньютон в конце жизни сравнил себя с мальчиком, играющим с ракушками на берегу океана. Вот и я, хотя уже давно не мальчик, все еще играю с ракушками на балтийских побережьях. С той разницей, что «игры» Ньютона мощно двинули вперед науку, а мои «игры» – всего лишь военно-морская служба.

Но ведь кто-то должен этим заниматься?

Я вспомнил, как мы когда-то с Оськой играли в «морской бой». Ужасно, что он пропал без вести…

А про Энея и Дидону я не знал. Ну и дела!

Что-то письмо у меня получилось сумбурное. Не сердись. Я тебя очень люблю. Дима.

23 сентября 1951 г.

Дорогой Вадим, спасибо за письмо, за его теплоту. Это такая редкость в моей нынешней жизни.

Я уже писала тебе, что с устройством на новом месте было у нас с Люсей очень нелегко. Хотя Марья Васильевна всячески помогала. Я второй месяц работаю регистратором в поликлинике. Работа не очень трудная, но довольно нервная, зарплата микроскопическая, но ничего, главное – я при деле. Ты спрашиваешь, почему я не устроилась в местную газету. Во-первых, нет вакансий. А во-вторых, я и не хочу в газету, т. к. публичная профессия мне теперь ни к чему.

С жильем Марья Вас. нам помогла: снимаю комнату с удобствами у хороших людей (семья инженера, интеллигентного, играющего на скрипке).

Люська ходит в школу за углом от дома. Учится хорошо, но отношения с девочками в классе непростые, т. к. она более развита, начитанна и вызывает зависть. У нас ведь не любят тех, кто выделяется. Записалась в библиотеку, много читает. Обожает романы Тур-

генева. Теперь взялась за Гончарова. На днях заявила мне, что хочет стать писателем. В каком-то журнале или газете вычитала, что шах Ирана женился на дочери вождя одного из племен и что в свадебное платье невесты было вшито 6 тысяч бриллиантов. Люська сказала, что, когда она выйдет замуж, у нее будет еще больше.

Вадим, благодарю за предложение помощи. Пока мы держимся, здесь жизнь все же дешевле. Дай нам бог продержаться до конца срока – живу только этой надеждой. Лиза уже дважды пересылала мне записки оттуда. *Они удивительно бодрые…*

Всего тебе хорошего. Мы с Люсей обнимаем тебя.

С наступающим Новым годом!

Галина

11 декабря 1951

Райка, милая, хорошая!

Отпуск пролетел так быстро, что я и опомниться не успел, как вновь очутился на железной спине своей пироги. Стою в

строю, поют горны, вздымаются флаги, а рассвет еще не наступил, и наши обветренные мужественные лица сечет дождь со снегом.

Здорово я сочинил, а?

Знаю, знаю, ты скажешь: ничего особенного. Ты же великая спорщица.

А я с удовольствием вспоминаю наш поход в филармонию. Во «Временах года» нам больше всего понравилась «Баркарола», это, кажется, «Июнь»? Мы были до того растроганы музыкой, что не смогли расстаться даже ночью. Единственная наша ночь. Потом наступил хмурый ленинградский день, ты ушла в школу, а я – на вокзал, отпуск кончился, и уехал я с растревоженной душой. Поскорее напиши мне об отношениях с Аполлинарией, возможно ли избежать обострения?

Райка, знаешь что? Давай поженимся. Я не шучу, это всерьез. Нет смысла коротать оставшуюся жизнь врозь, когда можно соединить два одиночества. Я буду заботиться о тебе – на суше и на море. Не торопись ответить «нет», подумай хорошенько. Но и не затягивай ответ.

Дима.

P. S. Это было бы так здорово – продлить «Баркаролу» на всю жизнь!

18 марта 1952

Димка, ты сошел с ума! Мы с тобой знакомы чуть ли не со дня рождения, ты мне все равно что брат. Как же можно такие привычные отношения перевести на другой уровень? Я просто не смогу воспринимать тебя как мужа. А ты меня – как жену.

Это невозможно!

Та ночь после «Времен года» больше не повторится. Пусть останется единственной. Как прекрасное воспоминание.

Не получается у нас «Баркарола на всю жизнь».

А из школы я ухожу. Доведу до конца учебного года, и все. Не могу больше работать с этой ужасной бабой. В одном НИИ образовался редакционно-издательский отдел (РИО), им нужно переводить немецкие тексты биологического, физиологического и т. п. содержания. Один из бывших Сашиных сотрудников рекомендовал им меня, вот, может быть,

возьмут на постоянную работу. А пока, для пробы, предложили перевести небольшой текст.

Димка, дорогой мой, не сердись, что я ответила отказом на твое предложение. Ну такой у меня скверный характер. Я очень тебя люблю. Твои приезды в отпуск – всегда как праздник. Целую тебя. Рая.

31 марта 1952 г.

Здравствуй Дима!

Я переправила отцу твою записку. Вчера пришло его письмо он записку получил очень рад шлет тебе привет. Пишет что в мае немного прихватило сердце это его выражение полежал в санчасти стало легче. Работает учетчиком и я не совсем поняла что-то пишет для их самодеятельности. Теперь летом у них стало тепло и надежда снова ожила это тоже его выражение.

Дима ко мне в конце июля приходил служебный человек спрашивал кем я прихожусь отцу я сказала знакома с ним как с писателем. Спросил где его жена я сказала не знаю. Спросил а где сын от пер-

вого брака я ответила не знаю. Больше он ничего не сказал зыркнул глазами на икону и ушел.

Всего хорошего. Храни тебя Бог.

Лиза. 7 августа 1952 г.

Дима! Я не знаю, что мне делать! Какое-то сумасшествие творится! Я работала в РИО одного института, переводила с немецкого. Вдруг меня вызвали в партком и обвинили… секретарь всегда был такой вежливый, с улыбкой, он же ученый, доктор биологии, а тут… Строго спрашивает, как я посмела перевести статью немецкого физиолога, ну ты о нем не слышал, – как я посмела перевести его вредную идеалистическую статью о генетике. Я говорю, перевожу то, что мне велит руководство. А он: «Вы были обязаны отказаться, потому что это пропаганда буржуазной лженауки, вводящей в заблуждение». Мне бы пустить слезу, покаяться – в чем? Ну, в ошибке. Но я же не умею. Вступила в спор: я не разбираюсь в этой чертовой генетике, мое дело техническое – перевожу не по своему вы-

бору, а то, что завотделом даст. А они, партком, напустились на меня: «Вы, как коммунист, не имеете права на безразличное отношение к антимарксистской вылазке». Ну короче: влепили мне строгий выговор. Я побежала жаловаться, только хуже сделала, дура. В институте шли увольнения, и вот меня, как упорствующую в недопустимом проступке, тоже уволили.

Я осталась без работы. И обстановка гнетущая. Просто не знаю, что делать. Меня же никуда не примут. Разве что уборщицей. Мне бы поплакать кому-нибудь в жилетку, но некому. И ты в отпуск не приезжаешь. Почему? Будь здоров.

Рая

19 января 1953 г.

Раечка! Посылаю тебе пропуск, по которому ты сможешь приехать в Лиепаю. У нас же режимный город. По этому пропуску разрешается въезд женам офицеров. Пришлось сказать, что ты моя жена. Попросили предъявить брачное свидетельство. Я сказал, что ты не со-

всем жена, но мы решили пожениться, как только ты приедешь. Вообще-то, невестам не разрешают въезд, но мне помог один мой друг. Словом, выдали документ.

Квартиры у меня пока нет, но один наш офицер уедет в отпуск, и мы поселимся в его комнате.

Райка, не вздумай отвечать «нет». Время очень суровое. Я не могу оставить тебя одну. Быстро собирайся и выезжай. О выезде пришли телеграмму, я тебя встречу.

До скорого свидания! Вадим. 9 февраля 1953.

Глава двадцать седьмая
Время без Сталина

Рая приехала 1 марта. Я встретил ее туманным утром. Ее лицо под меховой шапочкой показалось мне очень бледным, выражение было недоумевающее: дескать, «куда меня занесло?»

Я подхватил чемодан и сумку, мы пошли к ожидавшему такси. Рая говорила, что всю ночь в рижском поезде не спала: в купе неутомимо орал ребенок.

Приехали в военный городок. Я отворил дверь, и мы вошли в комнату Китаевых. (Герман с женой уехали в отпуск, в Москву.) Комната на первом этаже была небольшая, с одним окном и скрипучими половицами, обставленная простенькой мебелью: шкаф, кровать, стол и стулья — обычный набор, выдаваемый КЭО, то есть квартирно-эксплуатационным отделом. В углу стояла этажерка, на ней зеркало и десятка два книг — тут были «Декамерон», Зощенко, «Последний из могикан» и другие, тоже, конечно, соответствующие профессии Китаева, нашего минера. Над этажеркой висел странный портрет

товарища Сталина: вождь, с рюкзаком и ружьем за спиной, верхом на лошади, на фоне горного пейзажа. Присмотревшись, я обнаружил под портретом мелкую надпись: «Пржевальский в третьей экспедиции». Откуда-то Китаев, увлекающийся фотографией, переснял и увеличил этот снимок.

— Как они похожи! — сказала Рая, посмотрев. — Просто одно лицо.

Удивительно, впрочем, другое: как женщины умеют быстро приспосабливаться к новой обстановке. Не прошло и двух часов, как Рая, распаковав чемодан, развесила и разложила свои вещи в шкафу, а из сумки извлекла кое-какую посуду и провизию и познакомилась с соседкой по квартире Тамарой, длинноногой женой командира нашего торпедолова Мелентьева, и уже в кухне на таганке́ попыхивал китаевский чайник и шипели, поджариваясь на сковороде, сырники.

Я поставил на стол бутылку армянского коньяка и торт в круглой коробке. Мы выпили. Рая вгляделась в меня своим пытливым взглядом и сказала:

— Знаешь, почему я приехала?

— Откуда мне знать?

Давно у меня не было такого легкого настрое-

ния. Хотелось шутить. Я налил еще коньяку.

— Ты написал, что не можешь оставить меня одну…

— Да, не могу.

— И приказал приехать. Вдруг я поняла: как хорошо, когда приказывают.

— Еще бы не хорошо…

— Ты можешь слушать серьезно? В Ленинграде происходит такое — будто с ума посходили. С этими арестами, с делом врачей… Я навестила тетю Соню, она приболела, что-то по женской части. Вышла от нее, остановила такси. Едем, и таксист, с виду вполне приличный, вдруг говорит: «Эх, попался бы еврей, задавил бы его на хер». Гляжу на него и спрашиваю: «Так бы прямо и задавили? За что?» — «Заговор у них, — отвечает. — Хотят погубить Россию». — «Это, — говорю, — дрянная выдумка. Никакого заговора нет». Он на меня глядит: «Вы, может, еврейка?» — «Да, — говорю. — Самая главная заговорщица». Он останавливает машину и орет: «А ну, вылезай!..» И дальше матом. Ну, я тоже его послала, я умею… Вылезла, стою, слезы глотаю…

— Райка, — сказал я, — дорогая моя, забудь об этом хмыре. Ты приехала, вот самое главное.

— Приехала, потому что ты позвал… Димка, ты

правда не можешь оставить меня одну?

— Истинная правда!

Мы выпили, сырники поели, они, как всегда, у Раи были замечательные. Чаю напились с тортом. Потом я уложил Раю поспать после бессонной ночи. И отправился на службу.

А вечером пришли гости, званные мной: командир лодки Мещерский, замполит Измайлов с улыбчивой женой и Геннадий Карасев. Он, Большой Карась, осторожно пожал своей ручищей Райкину руку и пробасил:

— Очень рад.

— Я тоже, — заулыбалась Рая. — Вадим сказал, что я вам обязана…

— Не столько мне, сколько грыже Бурака.

— Что-то не понимаю.

— Бурак — это фамилия деятеля, который подписывает пропуска на въезд, — объяснил я. — У него выскочила грыжа, а Геннадий ее вырезал. Ну и когда Геннадий его попросил…

— Вот теперь понятно. Большое вам спасибо, Геннадий.

Рая сидела рядом со мной, нарядная, в голубом крепдешиновом платье с модными подкладными плечами. Отдохнувшая, она не казалась такой бледной, как утром. Смеялась нашим шуткам,

а уж мы, конечно, хохмили по морскому обычаю. Измайлов рассказал, как его в первый день службы послали рабочим на камбуз и лодочный кок Гребенкин ласково на него посмотрел и сказал: «Корешок, понимаешь, доктор ругается, что макароны пыльные. Садись-ка продувай». И он уселся возле плиты и стал продувать макаронины одну за другой, пока не услышал за спиной раскат смеха. Чуть не все свободные от вахт сошлись в четвертый отсек поглядеть на глупого салажонка.

Мы с Мещерским тоже вспоминали смешные случаи из курсантской жизни. А Карасева, как всегда после выпивки, повело на стихи. Он возгласил мощным своим басом:

Солдаты Фландрии, давно ли вы
Коней своих забыли, оседлавши
Взамен их скамьи в кабаках? Довольно
Кинжалами раскалывать орехи
И шпорами почесывать затылки,
Дыша вином у непотребных девок.

— Шпорами почесывали затылки? — удивилась Рая. — Как это?

— Ну, это очень просто, — сказал я. — Закидыва-

ешь ногу за затылок и чешешь сколько хочешь.

— Если так просто, — засмеялась она, — так почеши.

— У меня нет шпор, а то бы почесал.

А Измайлов, убежденный сторонник материализма, пояснил:

— Они снимали шпоры с сапог и чесали.

— Во Фландрии, дорогой Измаильчик, — возразил Карасев, — шпоры с сапог никогда не снимали.

И он простер к Измайлову десницу и опять загудел:

Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне…

Он мог читать Багрицкого сколь угодно долго. Но время шло, Земля исправно совершала поворот, за окном сгущалась вечерняя мгла.

После ухода гостей я помог Рае помыть посуду.

— Я как будто на другую планету попала, — сказала она. — Хорошие у тебя друзья.

Утром я встал рано, было еще темно. Света не зажигал и двигался тихо, чтоб не разбудить Раю. Но она чуткая, проснулась, жалобно спросила:

— Уже утро?

— Да. Ты спи. А мне надо к подъему флага.

— Сейчас встану, чаем тебя напою.

— Нет. Попью чай на «Смольном». Спи.

— А когда придешь?

— Вечером. Но ты, как военно-морская жена, должна знать, что я не каждый вечер смогу приходить домой.

— Как плохо… И как хорошо…

— Что хорошо?

— Как хорошо, что у Бурака выскочила грыжа, — сказала она и блаженно потянулась.

В тот мартовский день была оттепель. С моря дул сырой ветер, и низко плыли гонимые им стада темно-серых облаков. Природа, равнодушная к людским страстям, вершила свой извечный ритм. В лужи талой воды, подернутые рябью, смотрелась подступающая весна.

В тот мартовский день с утра поплыл над гаванью протяжный до бесконечности гудок судоремонтного завода «Тосмаре» — то был набат, извещающий о большой беде. Гудели на станции паровозы.

Огромная страна замерла, оглушенная звуками траурных маршей, извергаемыми миллионами радиорепродукторов.

В то утро было назначено собрание офицеров дивизии. (Да, недавно наша бригада подводных

лодок была преобразована в дивизию. Бывшие три дивизиона превратились в три бригады в ее составе. Ожидалось прибытие новых субмарин.) Мы сидели в темноватом зале клуба на береговой базе в ожидании начальства. Новый начальник политуправления флота должен был, как объявлено, сделать доклад.

Но начальство опаздывало. Вернее, задерживалось (начальство не опаздывает). Мы сидели, ждали. Не слышно было обычного гула голосов — ни шуток, ни смеха. Почти осязаемо сгущалась в зале атмосфера какой-то жути.

Наконец на маленькой клубной сцене появились старшие офицеры дивизии и новый начальник Пубалта — контр-адмирал, невысокого роста, с пухлым розовым лицом.

— Товарищи офицеры, — обратился он к залу, — нас постигло большое несчастье. Умер наш любимый, наш великий… — Тут контр-адмирала сотрясло рыдание, он расплакался.

Начальник политотдела дивизии живо налил воды из графина и поднес ему стакан.

Странный был день. После доклада о повышении бдительности занялись обычными делами, но настроение было неслужебное. Будто захлестнуло гигантской штормовой волной и понесло

неведомо куда…

В девятом часу вечера я пришел домой.

— Ох! — Райка кинулась мне в объятия. — Наконец-то… А я жду, жду…

— Что с тобой?

— Не знаю. Почему-то страшно… Тебя весь день нет, и эти гудки, траурная музыка весь день… Почему-то хотелось спрятаться… хоть в шкаф залезть…

— Ты ела что-нибудь? Ты же хотела съездить в город, на рынок.

— Что-то ела. Нет, на рынок не ездила… Димка, тебе не страшно, что он вдруг умер?

— Не страшно, а странно… Непонятно, как теперь пойдет жизнь…

Мелентьевы, соседи, позвали нас «выпить за упокой», как сказала Тамара. Она, сухопарая и длинноногая, с копной красновато-соломенных волос, в войну служила телефонисткой в СНиСе — службе связи на ораниенбаумском пятачке, командовала отделением девок-краснофлотцев и командирские замашки сохранила и в мирное время. Она и на мужа, капитан-лейтенанта Мелентьева, покрикивала, а тот, сам крикун изрядный, терпел и только носом шмыгал на ее крики.

Иван Мелентьев, вообще-то, был не подводник, а катерник, училище не кончал — выслужился из мичманов. «Я дымом пропахший, — говорил он о своей службе на катерах-дымзавесчиках. — Нанюхался химии на всю жизнь».

Служба была у него не гладкая. Отличился Иван со своим отрядом катеров, прикрывая дымзавесами высадки десантов в Выборгском заливе, потом в Моонзунде. Но в конце войны возникли неприятности из-за обильного употребления спирта внутрь организма, и верно сильно задымленного. Падения по службе чередовались со взлетами, пока Мелентьев в послевоенные годы не получил назначение на бригаду подплава — командиром катера-торпедолова. Вот это было как раз по нему. Маленький остроносый кораблик сопровождал лодки, выходившие на учения. Лодки стреляли по условным целям, учебные торпеды в конце дистанции всплывали красными носами кверху (сжатый воздух выбрасывал воду из БЗО — боевых зарядовых отделений). И тут начинал работать Иван Мелентьев: торпедолов подходил к всплывшей торпеде, гаком (то есть крюком) крана зацеплял рым (скобу) на носу стальной сигары и, вытащив ее из воды, укладывал на палубу. Затем торпедолов устремлялся к

другой торпеде, и так шло, пока все не будут выловлены, доставлены на «Смольный» и уложены на стеллажи в трюме — так сказать, на отдых до следующих стрельб. Торпеда, вы же понимаете, вещь очень дорогая.

У Мелентьевых были две комнаты — большая и смежная маленькая. В большой, где висели на окнах занавески с золотыми на вид петушками, мы уселись за стол. А на столе в большой вазе томилась, исходила жаром, вареная картошка, посыпанная зеленым луком, и возлежали на доске крупно нарезанные селедки, и, конечно, высились среди этого великолепия бутылки.

Иван Мелентьев, краснолицый, с оттопыренной нижней губой, сказал, подняв стакан:

— Вот, значит, усоп наш вождь. Всю жизнь был с нами, вел народ к коммунизму. Я бы кто был, если б не он? Беспризорный пацан, вот кто. Жить бы еще, да в животе тощó. А он меня вытащил из замерзелой жизни. И повел народ к победам. Вот, значит, выпьем за усопшего вождя.

Мы выпили.

Рая спросила Тамару, откуда такая крупная замечательная картошка.

— Да с базара, — ответила та. — Продукты тут хорошие. И еще лучше были, а стало их меньше,

когда богатых крестьян угнали.

— Куда угнали?

— Ну, не знаю. В Сибирь, говорят.

— Мало ли что говорят, — сказал Мелентьев, наливая в стаканы водку. — Латвия что, не наша? Наша. Значит, как у всех — коллективизация. Ну, давайте, чтоб, значит, не хуже было, чем при вожде.

Выпили мы. Из смежной комнаты донеслись вопли, оттуда выскочил мальчик лет семи, растрепанный, в белых трусах и желтой майке.

— Ма-а! — крикнул он. — Бойка деётся!

Тамара быстро прошла туда и, судя по раздавшемуся плачу, отшлепала кого-то.

Мелентьев, простуженно потянув носом, сказал:

— Борька на год младше Витьки, а драчливей. В меня пошел, вспыльчивый. А вы, значит, с Германом на одной «немке» служите? Ну, значит, будем знакомы. Давай!

Мы пили водку, и закуска была хороша. А чувство странности происходящих событий не исчезало. Что же теперь будет? Мелентьева, как видно, тоже занимал этот вопрос. Он развернул целое рассуждение: кто может заменить Сталина? Само собой, заменить такого великого вождя

невозможно, но кто-то ведь должен возглавить государство. По радиовыступлениям выходило, что кандидатов трое. Но один — Берия — грузин, очень, конечно, важный, но все ж таки надо бы русского, верно? Молотов тоже важный, но старый. И выходит, что самым главным будет у нас Маленков.

— А может, Ворошилов? — взглянул на меня Мелентьев.

— Навряд ли, — мотнул я головой.

— Кто будет, тот и будет, — рассудительно сказала Тамара. — Я вот что хотела вам сказать, Вадим Львович. Китаев скоро уедет, так вы хлопочите, чтоб его комнату получить.

— Уедет на курсы и вернется, а комната останется за ним.

— Да нет, он совсем уедет.

— Куда?

— В Москву. Они ж москвичи. У Ксении папа по иностранным служит делам. Дипломат. Мне Ксения сказала, что Герман пойдет учиться тоже на дипломата. «Папа, — говорит, — вытащит нас из этой дыры».

— Дыра знаешь где? — грозно повысил голос Мелентьев. — У Ксеньи в голове, вот где!

По-прежнему шла в Либаве тихая жизнь. От

вокзала до рынка ходил, позванивал трамвай — маленькие, словно игрушечные, вагоны. На мощенных булыжником улицах липы весной исправно выбрасывали прутики новых веток из старых, подпиленных осенью. В гавани военного городка по-прежнему в семь утра пели корабельные горны, призывая к государевой службе.

Но государственная жизнь не отличалась тишиной.

Наступившее в марте того года Время Без Сталина несло удивительные перемены. Из тюрьмы выпустили врачей: они оказались никакими не «отравителями», а жертвами клеветы и «недозволенных методов следствия», то есть пыток, избиений, и был назван виновник этого «дела» — некто Рюмин из Министерства госбезопасности.

Затем было объявлено *коллективное руководство*. Не личность, не герой, а массы, народ — вот кто творец истории. Может, так оно и есть в конечном-то счете. Но ведь массы всегда шли за кем-то — за князем, вождем, полководцем… «Народ безмолвствует…» Не пустые это слова, Пушкин не из головы их взял, а из истории.

А история при коллективном руководстве развертывалась прямо на глазах у народа-творца. Был арестован Берия, он оказался агентом за-

падных разведок. Поверить в это поразительное обвинение было трудно. Ну не мог Сталин, с его умением глубоко видеть и даже предвидеть, долгие годы держать рядом с собой шпиона. Там, наверху, наверное, идет борьба за власть. Я поделился этой догадкой с моей женой (мы зарегистрировали в то лето наш брак).

— Ну не знаю. — Рая пожала плечами.

— Если тебе не нравится «борьба», тогда — «драка».

— Ой, Димка, не мешай мне.

Она склонила кудрявую голову над своими конспектами. Ладно, я не стал мешать. Скоро начнется новый учебный год, Рая пойдет преподавать русский язык и литературу. Ей помогла устроиться на работу завуч школы — жена нашего замполита Измайлова. Вот она и сидит, готовится к урокам.

Вообще, как-то наладилась у нас жизнь в Либаве. Тамара оказалась права: Герман Китаев уехал насовсем, его отозвали в Москву на курсы, готовящие военно-дипломатических работников, — это, конечно, устроил тесть-дипломат. Ну что ж, Герман неплохо владел английским, обладал приятной наружностью, знал, в какой руке держать вилку и в какой — нож. Из него

получится хороший атташе.

А его комнату, хоть и не сразу (и не без затраты нервной энергии), я получил. Мы купили красивый рижский радиоприемник и широкую тахту (вместо казенной кровати). Из Питера Райка привезла занавески и большое, во всю стену, яркое «сюзане́», — и наше жилище преобразилось, стало, не побоюсь этого слова, уютным. По вечерам, если служба не удерживала, я, как приличный женатый человек, шел домой.

Но самым поразительным событием Времени Без Сталина был пересмотр «ленинградского дела». Так же коротко и сухо, как в январе пятьдесят третьего объявили о заговоре «врачей-убийц», теперь, в мае пятьдесят четвертого, сообщили о постановлении президиума ЦК «О деле Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других». Я просто ушам своим не верил! Дело было «сфабриковано во вражеских, контрреволюционных целях бывшим министром госбезопасности, ныне арестованным Абакумовым и его сообщниками». И далее: «Избиениями и угрозами добились вымышленных показаний арестованных о создании якобы ими заговора…»

«Дело» сфабриковано! Не было никакого заговора!

Ну так выпустите моего отца!

Новое слово вошло в нашу жизнь — *реабилитация*. Оно главенствовало в текстах писем и телеграмм, летавших в то лето между Ленинградом, Аткарском, Либавой — и Крестовкой, населенным пунктом на севере республики Коми.

Я давно заметил: с ускорением шли плохие, неприятные процессы, хорошие тянулись медленно. Но все же шли и они. Так или иначе, в июле мой отец, Лев Васильевич Плещеев, освобожденный из лагеря, приехал в Ленинград. Его встретили Галина с Люсей и Лиза. Я сумел только в середине августа вырваться в отпуск. Скорый поезд помчал меня и Раю в Питер. Жара в вагоне была зверская. Есть не хотелось, обязательная дорожная курица лежала в сумке нетронутая, питались мы бутербродами и пили много чаю.

Жарко было и в Ленинграде, хотя и не так удушающе, как в поезде. Мы приехали в такси на Васильевский остров, на 4-ю линию, и, не заходя в Райкину квартиру, поднялись в мою, на третий этаж.

В большой комнате нас встретила Галина.

— А, приехали, — сказала вполголоса. — С приездом. — (Мы поцеловались.) — Поздравляю.

Не то с женитьбой нас поздравила, не то с возвращением отца.

— И мы вас поздравляем, — сказал я. — Где он?

— В кабинете. После завтрака прилег отдохнуть и уснул. Садитесь. Напою вас чаем.

— Не надо, Галя. Мы чаем наполнены по уши. Как идет реабилитация? Что с возвращением квартиры?

Я не рассказал вам, а ведь это произошло: два года назад, в августе пятьдесят второго, у отца отобрали квартиру на улице Союза Связи. Ну да, он осужден на десять лет, его жена неизвестно где, кто-то вносит квартплату, но дело-то ясное, квартира не может быть бесхозной. Из писем Лизы Галина и я знали, что в квартире новый хозяин.

— Хлопочем, — сказала Галина. — Заявление отца, со справкой о реабилитации, будет рассмотрено в Ленсовете. Но ту квартиру Льву вряд ли вернут, в ней поселился полковник из органов. Какое-то время, Вадим, нам придется пожить в твоей квартире, если не возражаешь.

— Конечно нет. Живите сколько хотите.

— Спасибо. Все же хочу вас угостить. Рая, как вы относитесь к компоту из вишен?

— Хорошо отношусь. Но давайте подождем,

пока Лев Васильич проснется.

— Минутку! — Галина приложила палец к губам.

Подошла к двери в кабинет, прислушалась. Похудевшая и поседевшая, в желтом платье-халате, она очень изменилась за минувшие четыре без малого года. Что-то в ней, подумалось мне, появилось от постоянно настороженного зверька. Да уж, не было больше королевы Марго…

Из кабинета послышался кашель, надтреснутый голос позвал:

— Галя!

Галина вошла в кабинет. Минут через десять она, улыбаясь, вывела под руку отца.

У меня перехватило дыхание. Отец был неузнаваемо худ. Бело-голубая пижама висела на нем, как на вешалке. Он сутулился, стал меньше ростом, его карие глаза за круглыми очками утратили прежнюю пылкость, былой победоносный блеск.

Мы обнялись, мои ладони ощутили костлявые плечи отца.

— Здравствуй, — кивал он лысой головой. — Здравствуй, дорогой мой… А это Рая? Тебя не узнать… такая сип… симпатичная… Поздравляю, что поженились…

Обмениваясь поздравлениями и улыбками, мы уселись за стол. Галина быстро его накрыла, среди чашек, рюмок и тарелок расположила эклеры в вазе и другую снедь. Я вынул из сумки бутылку армянского коньяка. И возгласил:

— За твое возвращение, отец. Мы верили, знали, что ты вернешься. Что страшная ошибка будет исправлена.

— Да-а, ошибка. — Отец чокнулся своей рюмкой со всеми. — Спасибо.

Он медленно, смакуя, осушил бокал. Покачал головой, вытер губы, сказал:

— Давно не пил… коньяк такой… Ошибка, говоришь? — прищурился на меня. — Преступление! Группа негодяев предпри… попá… попытку термидора! Втерлись в доверие, матер Матýта!

— Кого ты имеешь в виду? — спросил я.

— Берию, Абакумова… Рюмина… Свили гнездо — где? В Чекá! В гла…

— Лева, успокойся. — Галина подалась к нему, вытянув шею.

— В главной защите государства! — Отец кулаком ударил по столу. — Втерлись в доверие к Сталину! Лучших оклеветали работников партии! Расстреляли Кузнецова — такого за… замечательного… матер Матута…

— Прошу тебя, успокойся! — Галина носовым платком вытерла отцу лоб, положила ему на блюдце эклер. — Ешь пирожное.

— А что такое матер мапута? — спросил я.

— Матута, — поправил отец и откусил от эклера. — У нас в лагпункте был такой зэк — Николахин, москвич. Ученый по античной истории. Мы с ним… Ну, в лагере кругом мат, все разговоры только с матом. А Николахин вместо мата говорил: «Матер Матута!» Это в древнеримской мифологии богиня женщин… Вот, значит, давайте. — Отец поднял бокал, снова наполненный. — За моих женщин. За тебя, Галя, за Люсю.

— За Лизу, — добавила Галина. — Она очень помогла нам.

— Да, и за Лизу, конечно. — Отец медленно выпил. — Ух, коньячок… Ну вот, мы с Николахиным много говорили… спорили… У него такой взгляд — как будто идеологические запреты тормозят развитие. Надо, значит, их отменить. А разве можно? Вседозволенность получится… хаос… Есть вещи, которые не подлежат пересмотру… Без опоры на них нельзя жить…

— Это верно, — сказал я. — Но рядом с ними — вещи, которые невозможно понять.

— Ты о чем? — щурил отец глаза.

— О негодяях, о которых ты говорил. Они же у власти. В руководстве страной. Как раз и опираются на нашу идеологию — а действуют как враги. Бросают в тюрьмы таких людей, как ты…

— Они и есть враги! Хотят повернуть страну обратно, к капитализму, матер Матута! — Отец опять стукнул кулаком по столу.

— Лева, прошу, успокойся!

Тут послышались из коридора быстрые каблучки, и в комнату влетела Люся. В белой кофточке без рукавов и цветастой юбке, прелестно оживленная, звонко выкрикнула:

— Пятерка!

Подлетела к Рае, ко мне, расцеловались — и вот она уже у отца на коленях и тараторит:

— Вопросы попались легкие, сны Веры Павловны, «Разгром» Фадеева, а третий вопрос, значение поэзии Маяковского, не стали слушать, говорят: «Достаточно»!

И заливается смехом. Отец нежно гладит ее, веселую, по черноволосой голове и — умиротворенно улыбается, прикрыв усталые, на все в жизни насмотревшиеся глаза.

— Поздравляю, доченька, — говорит Галина. — И объясняет нам: — Она сдала последний экзамен, набрала проходной балл. Ну надо же,

Люська — студентка филфака университета!

Август подходил к концу, жара сменилась прохладой, пролились дожди. Так-то лучше, я жару переношу плохо. В эти дни я сопровождал отца в его хождениях по учреждениям. Он был остро нацелен на скорейшее восстановление прав. В жилуправлении отца нервировала большая очередь; я опасался, как бы ему худо не стало, обратился к людям с просьбой пропустить известного писателя, они хмуро выслушали, кто-то сказал, что поэт Плещеев давно умер, а другого он не знает, — но все же очередь пропустила отца.

В жилупре, да и в горкоме, куда отец обратился с просьбой восстановить его в партии, с ним разговаривали вежливо, обещали полное удовлетворение. Секретари писательского союза, разумеется, поддерживали требования реабилитированного писателя. Но открытый мною закон: плохие процессы идут с ускорением, а хорошие тянутся медленно — действовал неукоснительно.

— Выгонять — они скоры на руку, — сердился отец, — а как восстанавливать, так чего торопиться… обождут, матер Матута… Вот напишу Хрущеву про этих волокитчиков…

Мы говорили о Хрущеве, первом секретаре

ЦК, оттеснившем Маленкова, предсовмина, с позиции главного начальника послесталинского времени. Он-то, по слухам, и был инициатором пересмотра «ленинградского дела». И не только ленинградского, но и — страшно вымолвить! — всех «дел» политзаключенных. Их стали выпускать из лагерей — с той же формулировкой, что стояла в справке о реабилитации у отца: «за отсутствием состава преступления». Потрясающе! Власть признала невинными, незаконно осужденными огромную массу людей! Сколько их было? Десятки тысяч? сотни? или, может, миллионы? Мы не знали. Удивительное наступило время — его метко прозвали *эпохой позднего реабилитанса*.

Говорили с отцом и о других, тоже серьезных, событиях. О том, что в казахстанские безлюдные степи тысячи молодых добровольцев, комсомольцев, отправлялись поднимать целину. Будет больше хлеба — отлично!

Говорили о возможном примирении с Югославией — с Иосипом Тито, с которым резко поссорился Иосиф Сталин. О падении осажденного Дьен-Бьен-Фу, после которого французским колонизаторам пришлось пойти на мирные переговоры с вьетнамскими повстанцами и об-

разовалась граница по 17-й параллели.

И о повести Эренбурга «Оттепель».

Рая день-деньской носилась по Питеру, навещала подруг, она и принесла журнал «Знамя» с этой нашумевшей повестью. Мы все ее прочитали, повесть небольшая. Мне она, в общем, понравилась. Наступает весна, солнце пригревает иззябший за зиму мир — и оттаивают человеческие души…

— Не бог весть какая метафора, — сказала за чаепитием Галина. — Солнышко пригрело, Лена целуется в холодном подъезде с Коротеевым. Ну и что? Этот поцелуй символизирует перемены в стране?

— Там не только поцелуй, — заступаюсь я за Эренбурга. — Снимают с работы Журавлева, директора завода, он болтает о пользе дела, а к людям равнодушен.

— Схематическая фигура, — морщится Галина. — Да и другие персонажи схематичны.

— Вы уж слишком, Галя. Эренбург, конечно, не Лев Толстой. Но и у него человеческие страсти. Возьмите Пухова — преуспевающий художник, пишет портрет Журавлева, расписывает фойе в клубе пищевиков, — но ведь сознает, что он халтурщик. Завидует Сабурову — настоящему художнику, но не преуспевшему, почти нищему.

— Да-да. Сабуров — единственная удача в повести.

— Ну вот видите… Сабуров пишет прекрасные пейзажи, только их не покупают, не берут. Заморозки. Но наступила весна, и к нему пришли из Союза, взяли две картины на выставку. Разве это не символ перемен, происходящих в жизни? Потеплело!

Отец не вмешивался в наш спор. Сидел за столом, пил чай, ел бутерброд с колбасой (Галину приняли на работу в газету «Вечерний Ленинград», там в буфете бывали дефицитные продукты, вот и сегодня принесла она редкостную вещь — финский сервелат). Сервелат, конечно, ему по вкусу, это ведь не лагерная баланда, но вид у отца был мрачный. Галина забеспокоилась: не болит ли сердце? (Позавчера был приступ, «скорую» вызывали.)

— Нет, — проворчал отец. — Ничего не болит. Кроме души.

Я сказал Рае, когда мы спускались в ее квартиру:

— Не нравится мне его настроение.

— Можно понять, — сказала моя умная жена. — Человека с высоким социальным статусом вдруг бросают на дно жизни, а потом, признав

это ошибкой, не торопятся ее исправить.

Утром следующего дня я сопровождал отца в поликлинику. Какие-то зубцы на ленте электрокардиограммы не понравились терапевту, пожилой даме, она предложила отцу лечь в больницу, но он отказался. По рецептам, выписанным докторшей, мы купили в аптеке кучу лекарств. Я повел отца к троллейбусной остановке — домой его отвезти, но он вдруг остановился. Указательным пальцем поправил очки, взглянул на меня, десятки морщин собрав на лбу:

— Дима, знаешь что? Поедем в Союз писателей.

— Тебе надо отдохнуть, — говорю.

— Там и отдохну.

Я знал: он любил в Союзе посидеть в ресторане, коньячку на грудь принять. Ладно. Надо идти навстречу пожеланиям реабилитантов. Вскоре мы приехали в писательский особняк на улице Воинова и уселись за столик в уютном темноватом зале ресторана. Время обеденного часа еще не приспело, лишь несколько фигур рисовались тут вразброс.

С улыбкой подошла пышнотелая официантка:

— Здрасте, Лев Васильич! Что будем пить-кушать?

Заказали коньяк, фирменный салат и кофе.

— Вчера об «Оттепели» говорили, — сказал отец после первой рюмки, подцепляя вилкой кудрявую зелень салата, — а я об Эренбурге думал. Блестяще работал в годы войны. Его статьи в «Красной звезде» буквально поднимали боевой дух на фронтах.

— На морях тоже, — сказал я.

— Да. Публицистика высшего класса. Но прозу его не люблю — телеграфный стиль, торопливый какой-то. Ты не находишь?

— Не знаю. Тебе виднее.

— Налей еще.

— Твое здоровье, папа.

— Спасибо. Хорош коньячок, по всем жилам растекается. Так вот, об «Оттепели». Он что, хотел показать, что после смерти Сталина смягчился режим? Ну так и покажи. А он Сабурова вывел. «Ах-ах, затирали художника, хорошие пейзажи рисовал, а кушать нечего!» Буря была, не до пейзажей. Теперь буря унеслась, весна наступила — на́ тебе, Сабуров, кусок пирога. Заметили талантливого художника — в этом смысл Оттепели?

— По-моему, не только в этом. Смысл — против равнодушия… против вранья и халтуры…

— Да это же только декларация! Покажи, как борются с этими безобразиями. А что Сабуров?

Тихо сидит в своей конуре, в стороне от жизни народа, малюет пейзажи.

— Ну, он не борец. Он делает то, к чему у него призвание. Его картины по-своему участвуют в жизни страны, потому что искусство…

— Жизнь — это борьба! Пусть Сабуров хотя бы крикнет Пухову: «Брось писать портрет дурного человека!» Действие нужно. Наливай!

Мы выпили.

— Борьба, да, вечная борьба, — сказал я. — Знаешь, мне кажется, причина оттепели именно в борьбе — там, наверху… в борьбе за власть. Хрущев понял, что зашли слишком далеко.

— Куда зашли? — щурил отец глаза за очками.

— В дремучий лес… — Коньяк ударил мне в голову. — Космополитов придумали… Антисемитское «дело врачей»… «Ленинградское дело»! Ты ж лучше всех знаешь! Написать, как борются с этими безобразиями, — да кто бы разрешил? А теперь, наверное, можно. Вот возьми и напиши про настоящую оттепель.

— Ты сказал «борьба за власть». Но забыл вставить одно слово — «советскую».

— Да нет, не забыл. На словах они все за советскую власть, и Берия тоже.

— Негодяи! — Отец потряс над столом кулаком

с набухшими синими венами. — Честнейших коммунистов — ложью по голове, заговор приписали с целью захвата власти!

— Тебя пытали? — спросил я в упор.

Но он не ответил. Допил коньяк из рюмки и — грозно:

— А они кто? Где были Берии и Абакумовы, когда мы, подыхая с голоду, держали Ленинград? А мерзавец следователь Сысоев — он еще и не родился, когда я штурмовал Кронштадт!

— А-а, Кронштадт ты вспомнил… А что там было, отец? Почему пришлось его штурмовать?

— Тебя что — не учили в школе? Белогвардейский мятеж там был.

— Мятеж был, но не белогвардейский.

— Да ты что, Дима? Несознательная матросня пошла на поводу у бывшего царского генерала.

— Козловский не возглавлял мятеж. Его приплели только потому, что он до революции был генералом. Так было удобнее — лучше поймут, если главарем объявить генерала. Мятеж возглавлял революционный комитет, в нем большинство — матросы. И не такие уж несознательные дураки они были.

— Что ты несешь?! Ленин ясно объяснил: анархо-эсеровский мятеж, по сути мелкобуржуазный,

ступенька для перехода к белогвардейской власти. Вот и все. Точка!

— Никаких буржуев в ревкоме не было, ни мелких, ни крупных. Пятнадцать человек: шесть матросов, пять рабочих, телефонист, лекпом и два интеллигента — штурман и школьный учитель.

— Откуда ты знаешь?! — Отец вытаращил на меня глаза.

Не знаю, черт дери, ну не знаю, правильно ли я поступил, рассказав отцу о своих хельсинкских встречах, — коньяк развязал язык, а может, сидело во мне затаенное желание высказаться, выплеснуть то, что тревожило душу…

Отец был *потрясен*.

— Ты общался с кронштадтским мятежником?.. Что?!! Он твой тесть?!!

Мне бы покаяться (а, собственно, в чем?) — вместо этого я пустился в путаные объяснения. Большевики народовластие заменили партийной диктатурой… Матросы в Кронштадте хотели переизбрать Советы… остановить ограбление крестьянства…

— Что за чушь порешь? — сердился отец. — Революция была вынуждена защищаться от контры.

— И сама творила насилие — продотряды, от-

бираловку, расстрелы…

— Это тебе напел твой тесть? А ты уши развесил, внимал мерзавцу, изменнику, удравшему в Финляндию от народного суда!

— От расстрела…

— Да уж, по головке его бы не погладили! — У отца глаза горели, как факелы. — Он стрелял по нам… по мне! Мы шли по льду… умирали, но шли, чтоб раздавить гадюку, антисоветский мятеж… Я горжусь, что был участником штурма! — выкрикнул отец и кулаком по столу трахнул.

На нас оглядывались люди, сидевшие по углам ресторана. Спешно подошла официантка:

— Лев Васильич, вы что хотели? — Она всмотрелась в отца. — Вам плохо, Лев Васи…

— Никогда не было так хорошо, — проворчал отец, прикрыв глаза. — Принеси кофе, пожалуйста.

Молча доели салат, выпили кофе. Мне было не по себе, зря я ввязался в разговор об оттепели, о Кронштадте. Мысленно обругал себя последними словами.

Отец молчал и в такси, когда мы ехали домой. Водитель, молодой и вихрастый, развлекал нас радиомузыкой. «Цветет как в детстве мой вишневый сад… — пела женщина, может Капитолина

Лазаренко, или другая певица, не знаю. — Ты помнишь, было нам шестнадцать лет. Когда не знали грусти тень…» Рассеянно текли мои мысли. Когда нам было шестнадцать, мы с Оськой играли в «морской бой»… Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет… ну, это из другой оперы…

Мы медленно поднимались на третий этаж. Между вторым и третьим отец вдруг покачнулся, я схватил его под руку. Он поднял на меня строгий взгляд. Мы стояли на ступеньках лестницы, отец, переведя дыхание, сказал:

— Вот что. Меня пытались лишить моей биографии, но у них не вышло. Не пытайся и ты, Вадим.

— Ну что ты, отец, у меня и в мыслях не было!

— Никогда, — сказал он и медленно стал одолевать лестницу.

В трудном, мрачном настроении пребывал в те дни мой отец. Лишь тогда светлел лицом и теплел взглядом, когда Люся прибегала из университета. Она увлеченно рассказывала о прослушанных лекциях, выкрикивала цитаты из курса древнерусской литературы: «И соступишася обои, и бысть сеча зла, и по удолиям кровь течаше» — или как княгиня прощалась с уходящим на битву князем Дмитрием Ивановичем: «…В слезах захли-

паяся ко сердечному, ниедина не может словеси рещи».

— Да-да, — кивал отец лысой головой. — Бысть сеча зла… Вся история из них состоит… из сеч… из женских слез тоже…

Рая уехала 30 августа: у нее 1-го начинались занятия в школе. Я же догуливал свой отпуск до 10 сентября. Сопровождал отца к стоматологу — проблем с зубами у него было хоть отбавляй.

А накануне моего отъезда он слег с сердечным приступом. Ночью меня разбудил телефон: Галина попросила подняться. «Скорая» приехала быстро. Молодой врач измерил давление (оно зашкаливало), велел медсестре вкатить отцу укол, вообще провозился часа полтора, пока ему не стало легче. На предложение врача лечь в больницу отец ответил отказом.

— Отлежусь, — сказал он. — Спасибо, доктор.

— Все же подумайте, Лев Васильич. Вы нуждаетесь в серьезном лечении. — После небольшой паузы врач добавил с улыбкой: — А читатели нуждаются в вас.

— Вы меня читали? — Отец надел очки и всмотрелся в доктора, тоже очкастого.

— Читал.

Весь следующий день отец отлеживался. Га-

лина не пошла на работу, отпросилась. Я утром съездил на вокзал, закомпостировал билет на вечерний поезд. Отец дремал, когда я поднялся к нему. Галина возилась на кухне. В кабинете шторы были задернуты от яркого солнца (сентябрь стоял необычно безоблачный), только один настойчивый луч пробился — чтобы осветить фотопортрет моей мамы.

Отец открыл глаза.

— Привет, — сказал тихо. — Наглотался пилюль, в сон клонит.

— Спи, — сказал я. — Я позже зайду.

— Нет. Садись. Ты сегодня уезжаешь?

— Да, вечером.

— Дима, — сказал отец, помолчав. — Как идет у тебя служба?

— Служба всегда идет, — отшутился я. — Даже когда мы спим.

Но отец не принял шутки.

— У тебя были неприятности в связи с моим арестом?

— Были, — не сразу ответил я. — Кое-кто считал, что я не имею права служить в ударном соединении. Но меня отстояли. Я по-прежнему на подплаве.

— По-прежнему помощник командира лодки?

— Да. Продвижения по службе не получил.

— Но теперь… ну, когда я реабилитирован… теперь ты можешь продвинуться? Стать командиром?

— Навряд ли.

— Почему?

— Ну… видишь ли… я не член партии.

— Почему ты не вступил за столько лет службы?

— Так получилось.

Я уклонился от прямого ответа. Мысленно послал привет замполиту Ройтбергу…

Солнечный луч переместился с маминого портрета на фото Ивана Теодоровича. Дед, высоколобый, с квадратной бородой, спокойно взирал на нас со стены.

Отец, кряхтя и поправляя на худых плечах бело-голубую пижаму, повернулся и сел на диване.

— Ты хочешь выйти? — спросил я.

— Нет. — Он, морща лоб, смотрел на меня сквозь очки. — Я вот что хочу, Дима. Хочу, чтобы ты похоронил меня в море.

— Папа, перестань! Ты не старый, ты проживешь еще много лет.

— Ты знаешь банку Штольпе в Южной Балтике?

— Конечно знаю, я же штурман. Но что ты хочешь…

— Мы там в сорок втором потопили два транспорта. Хочу, чтобы ты у этой банки опустил в море мою урну.

Глава двадцать восьмая
Банка Штольпе

От Сенной площади, куда приходит автобус из военного городка, до улицы Узварас — рукой подать. Мы шли не торопясь. Ранний вечер был по-весеннему светел и напоен тишиной. Только из раскрытого окна, под которым мы проходили, слышались голоса, женский и детский, — говорили по-латышски.

Рая шла, держась за мою руку. У нее этой весной разболелся тазобедренный сустав, она слегка припадала на правую ногу. «Да ничего, пройдет, — отвечала она на мое беспокойство. — В блокаду у меня болели ноги, потом перестали».

Вот и дом № 68 на Узварас. Мы поднялись на третий этаж, позвонили. Карасев открыл дверь и, пробасив: «А вот и Плещеевы к нам прикатили», обнял нас. Он был одет пестро и, я бы сказал, вызывающе: мощную фигуру облегали черно-оранжевые камзол и панталоны, на голове что-то вроде красной фески.

— Ты похож на швейцарскую охрану Ватикана, — сказал я.

— С днем рождения, Геннадий, — сказала Рая и вручила Карасеву наш подарок — купленную в комиссионке фарфоровую статуэтку мальчика, держащего над головой вазочку-конфетницу.

— Какая прелесть, — сказала белокурая Лера, жена Карасева. — Спасибо!

Быстрая, подвижная, она нашла фарфоровому мальчику место на накрытом столе и наполнила конфетницу «мишками на севере». При этом Лера не переставала рассказывать о том, как они с Геной провели отпуск в Москве — как раз во время Двадцатого съезда, и всюду, где они побывали, только и говорили о закрытом докладе Хрущева. Надо же, Сталин оказывается, совершал ошибки — кто бы мог подумать, — такой мудрый, но ошибался. А в Большом посмотрели балет «Ромео и Джульетта» — такая прелесть!

Сели за стол, человек десять или двенадцать, сослуживцы Карасева по госпиталю со своими женами, а один был холостяк, немолодой невропатолог со впалыми щеками и дергающимся глазом. Он, после того как выпили за здоровье именинника, резко заговорил о том, какой вред психике нанес культ личности Сталина, вселивший в людей страх.

— Боимся возразить начальству. Неосторожное

слово боимся сказать при незнакомом человеке — а вдруг он стукач. Косого взгляда соседа опасаемся…

— Ну, ты уж слишком, Михал Никитич, — сказал Карасев. — Не превращай нас в дрожащую тварь. Мы в тяжелейшей войне победили.

— Да, победили. Но какой ценой! Сколько крови пролили!

— Без пролития крови войн не бывает, — сказал один из гостей, черноусый, восточного типа.

— Не бывает, — согласился невропатолог, подмигнув. — Но меньше бы пролили и быстрее одолели бы Гитлера, если бы Сталин не запер миллионы людей в лагеря. И еще к ним миллионы вертухаев приставил.

— Да что ты плетешь, Никитич! — обрушился на невропатолога другой гость, с куриной косточкой в руке. — Сталин был беспощаден к врагам народа. Конечно, имели место перегибы с репрессиями, но…

Тут дамы дружно запротестовали:

— Ой, хватит!.. С этим докладом Хрущева прямо с ума все посходили!.. Сталин такой, Сталин такой… Сколько можно?.. Мы что, на партсобрание пришли?

— Нет! — рявкнул Карасев. — У всех нали-

то? Предлагаю выпить за наших прекрасных жен. И посочувствовать, что они имели неосторожность жениться… фу ты… выйти замуж за военных врачей, которые — ну не лучшая часть человечества…

— Ладно, ладно! — прервала его статная дама с высокой рыжеватой прической. — Мы знали, за кого вышли, и нечего самоунижаться. Хотите выпить за нас, так пейте.

— По-гвардейски! — скомандовал Карасев.

И мы, мужчины, встали и, задрав локти, выпили по-гвардейски за наших жен.

Хорошее было застолье, и выпивка прекрасная, а закуски, принесенные из ресторана Дома офицеров, просто замечательные. Из-под патефонной иглы рвалась бойкая песенка: «Да, Мари всегда мила, всех она с ума свела…» Роскошный женский голос медленно вел мелодию модного шлягера: «Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, в сердцах любовь к тебе храним…»

Карасев потребовал тишины и сказал, что привез из Москвы стихи двух опальных поэтов. Надел очки, вытащил из кармана «ватиканского» камзола несколько листков с машинописью и стал читать. Три стихотворения принадлежали

Леониду Мартынову, недавно вернувшемуся из ссылки, — они были, как мне показалось, философски настроенными, звали «увидеть правду наяву».

— А вот поэт не вернувшийся, погибший в лагере, — сказал Карасев.

И прочитал с последнего листка:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны…

Мы слушали, прямо-таки обмерев от безумной смелости этих строк. А они нарастали, как пушечные удары:

Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз…

— Это Осип Мандельштам, — сказал Карасев, дочитав до конца. — Ну, каково?

Мандельштам — я слышал, что есть такой поэт,

но стихов его не читал, да где же было их взять, если автор не то арестован, не то эмигрировал, а его книги изъяты?

— Ты слышала о Мандельштаме? — спросил я Раю, когда мы после вечеринки шли к Сенной площади, к автобусной остановке.

— Конечно. О нем есть упоминание в курсе современной литературы. Он был одним из главных акмеистов. Крайний буржуазный индивидуализм, равнодушие к социальной действительности…

— Ничего себе равнодушие! На самого́ Сталина замахнулся.

— Я говорю об официальном отношении к Мандельштаму. А это стихотворение… Не знаю, сколько в нем поэзии, но сатира, конечно, поразительная.

— Самоубийственная! Карась сказал, что он погиб где-то в лагере. Наверное, за этот стих его и посадили.

— Да, возможно. Димка, мне не нравится, что ты много пьешь.

— Я выпил не больше, чем пили врачи.

— Вместе взятые?

— Я же держусь на ногах. А ты держишься за меня.

— Ты должен пить меньше.

— Ладно. Буду пить как можно меньше. Посмотри, какая луна!

— Не люблю полнолуние. Плохо сплю от него. Ой, автобус подходит. Пошли быстрее!

Мы ускорили шаг, насколько позволяла Райкина нога. Слава богу, водитель увидел нас и подождал.

Приехали домой, вошли в свою комнату, и тут постучалась Тамара:

— Вам телеграмму принесли. Срочную.

Я развернул и прочел:

«Отец скончался сегодня сообщи сможешь ли приехать пятницу Галина».

В ритуальном зале больницы, в которой умер — от обширного инфаркта — мой отец, состоялась гражданская панихида. Человек тридцать обступили помост с гробом, тут были писатели, сотрудники Галины из «Вечернего Ленинграда», военные (в их числе генерал-майор) и, по-видимому, читатели отцовых книг.

Галина, вся в черном, стояла у изголовья гроба, осунувшееся лицо с плотно сжатыми губами казалось окаменевшим. Рядом с ней тихо плакала Люся. Была тут, конечно, и Лиза, ее светло-голубые глаза влажно блестели, она крестилась и

шептала что-то.

Дородный секретарь писательского союза говорил о заслугах отца, о его книгах, в которых «гул времени, пафос великих строек, запечатленная в точном слове трагедия блокады и торжество победы…». Хорошо говорил, хотя и с одышкой. И еще два писателя произнесли речи, отметив не только литературный дар Льва Васильевича, но и его журналистскую «хватку и неуемность». А генерал рассказал, как в разгар боев на Дудергофских высотах к нему на командный пункт заявился «очкарик с горящими глазами» и как вскоре во фронтовой газете появился замечательный очерк.

И об участии отца в штурме мятежного Кронштадта вспомнили: покойный прожил героическую жизнь, отразившую целую эпоху.

Но ни единого слова не сказали об аресте, о «ленинградском деле» — ужасном финале героической жизни… Ну, может, так и нужно — не портить непотребством прощание с героем.

Отец лежал, по грудь покрытый цветами, с сухим лицом строгого учителя, с гладким, без морщин, лбом, с заострившимся носом, — мне казалось, будто он вслушивается в надгробные речи, готовый возразить, если что-то скажут

неправильно.

Но все было правильно.

Панихида кончилась, вступила тихая музыка. Галина, Лиза, а за ними и я поцеловали отца в ледяной лоб, а Люся плакала в голос. Открылись створки под гробом, и отец медленно стал опускаться — уходил от нас в другой мир… откуда не возвращаются…

— А-а-а! — вскрикнула Галина, закрыв лицо руками.

Потом были поминки у нас дома, на 4-й линии. Друг отца, детский писатель с печальными глазами, говорил о том, что после долгого оледенения страна оживает, наступает новое время, — безумно жаль, что Лев ушел так рано, не успев своим талантом *способствовать рассвету…*

Другой писатель, седоусый литературовед, сказал раздумчиво:

— Новое время, да… Мне кажется, Лев испытал некоторую растерянность от Двадцатого съезда… Очень это не просто — освоиться с концом оледенения, как ты говоришь… «Жестокий век, жестокие сердца…» Рухнул гигантский идол, которому долго поклонялись…

— Лев не поклонялся! — встрепенулась Галина. — Он почитал Сталина, но никогда ему не

славословил.

— Я не говорю, что он поклонялся, — седоусый развел руками. — Но был склонен считать, что в репрессиях, в «ленинградском деле», в частности, виноват не столько Сталин, сколько его окружение…

И пошел разговор о съезде, о докладе Хрущева. Два слова, удивительных для нашего слуха, — *культ личности* — перекатывались над поминальным столом.

— А что скажет военно-морской флот? — вдруг отнесся ко мне седоусый литературовед.

— Что могу сказать? — Я прокашлялся. — Очень благодарен вам за теплые слова об отце. Балтийские подводники помнят его. Книгу отца о походе на подлодке не изъяли из библиотеки нашей дивизии, когда он был арестован. Продолжали читать. О его отношении к Сталину не могу сказать, не знаю. А вот к окружению — да, отец Берию ненавидел. Считал его организатором «ленинградского дела». И вообще… что Берия планировал термидор, возврат к капитализму…

Когда гости разошлись и мы прибрались, был у меня разговор с Галиной. В кабинете, служившем отцу спальней, она достала из ящика письменного стола лист бумаги:

— Прочти завещание.

И я прочитал:

«Моему сыну Вадиму Львовичу Плещееву завещаю похоронить урну с моим прахом в Балтийском море, близ банки Штольпе.

Моей жене Галине Кареновне Вартанян завещаю все, что осталось от моего денежного вклада на сберкнижке, а также кооперативную квартиру, которую начал строить Союз писателей и за которую я внес аванс.

Ей же, Вартанян Г. К., завещаю литературное наследство, то есть право на издание и переиздание моих книг и получение гонораров, буде таковые не поскупятся выплатить издательства…»

— Можно я закурю? — спросил я, дочитав завещание, подписанное нотариусом и скрепленное печатью.

— Кури, — разрешила Галина. (Отец, в прошлом заядлый курильщик, по возвращении из лагеря не курил и не разрешал мне дымить тут, в кабинете.) — Ну, что скажешь насчет захоронения в море?

— Отец однажды сказал мне об этом, но я… Не знаю… На моей памяти таких захоронений не было.

— Я пыталась его отговорить, но он твердо

стоял на своем. Что же делать, Вадим? Надо исполнить волю отца.

— Надо, да…

Я задумался. Непростое это дело. Ох, непростое! Наши лодки, конечно, на учениях утюжат Южную Балтику, но до банки Слупска (бывшей Штольпе) редко доходят. К тому же я вот уже полгода как не служу на лодке: я теперь флаг-штурман одной из трех бригад, входящих в дивизию подплава. Эту должность предложил мне капитан первого ранга Кожухов, наш «батя», командир бывшего дивизиона, преобразованного в бригаду. «Ты, Вадим Львович, — сказал он с усмешкой, — у нас перезревший помощник. Как огурец, который забыли на грядке. Лодку тебе кадровики не дадут. Но вот вакансия флаг-штурмана. Пойдешь флажком?» Я думал секунды три, не больше. «Пойду, Федор Иванович». — «Ну, пиши рапóрт на мое имя».

«Немки» 21-й серии, на которых мы плавали десяток лет, выработали свой ресурс и, одна за другой, были списаны с флота. Вместо них на бригаду прибывают новые лодки. Почти на всех штурмана́ молодые, вот я и занимаюсь с ними.

— Люся против, — сказала Галина. — Хочет, чтобы похоронили на кладбище. Да и я тоже…

Чтоб можно было прийти, посидеть у могилы… Но Лев хотел только в море. У него было какое-то… ну, прямо-таки мистическое отношение к своему походу на подводной лодке.

— Поход был действительно выдающийся.

— Дело не в количестве потопленных кораблей. Понимаешь, у него было очень высокое понятие о долге. Не только окружающим, но и, главное, самому себе доказать свою нужность… не то слово… необходимость делу, которому служишь… стремление наилучшим образом выполнить долг…

— Я понимаю, Галя. Это — вопрос *чести*.

— Да-да, совершенно верно — честь прежде всего. Не терпел ни малейшего ее ущемления. Когда пришли эти, ночные гости, он наорал на них так, что они схватились за пистолеты. На допросах тоже… тоже… — Галина, склонив голову, закрыла лицо руками.

— Отца пытали? — тихо спросил я.

Она кивнула. Она содрогалась, пытаясь справиться с беззвучным плачем, но слезы шли и шли.

Я принес из большой комнаты графин с водой, налил в стакан и подал Галине.

— Спасибо. — Она отпила немного. — Отец никаких извинений, конечно, не ожидал. Но — тре-

бовал немедленного восстановления попранного достоинства.

— Его же восстановили в партии, — сказал я.

— Но сколько месяцев тянули, мурыжили… А квартира? Предложили на проспекте Стачек, в Автово. Он отказался: далеко от центра. В Купчино предложили — тоже не захотел. Сердился: отобрали в центре, так в центре и отдайте… Тут писательский кооператив возник — Лев вступил. Но не дождался… строительство идет медленно…

— Галя, а почему этот писатель с седыми усами… как его фамилия?

— Трубицын. Он пушкинист.

— Да. Почему он сказал, что отец растерялся от Двадцатого съезда?

— Нет, это не растерянность. — Галина со вздохом тронула платочком заплаканные глаза. — Но недоумение, конечно, было. А у тебя что — не было? Привыкли ведь — «великий, непогрешимый, привел нас к победе». И вдруг — «нарушитель законности, виновен в репрессиях». Дима, ты же знаешь, отец считал, что Сталин излишне доверял Берии, Абакумову…

— А до них, — сказал я, — были Ежов, Ягода. Что же это он излишне всем чекистам доверял?

Галина допила воду из стакана и встала с ди-

вана.

— А ты? — сказала, понизив голос. — К вопросу о доверии… Не слишком ли ты поверил своему тестю в Хельсинки?

Я молча стоял, не зная, что ответить на внезапный вопрос.

— Извини, Дима, — сказала Галина. — Я очень устала.

Я пожелал ей спокойной ночи и направился к выходу. Тут из освещенного прямоугольника кухонной двери вышла в коридор Люся, держа поднос с вымытой посудой.

— Ой, Вадим, ты уходишь? Я хотела тебе сказать…

— Давай помогу. — Я протянул руки к подносу.

— Нет, не надо. Мама тебе показала завещание? Нельзя так, нельзя! — горячо заговорила Люся. — У папы должен быть памятник. В море ведь не поставишь! Вадим, откажись! Скажи, что морское захоронение невозможно!

В стране развертывалось строительство большого подводного флота. В нашу дивизию прибывали лодки 613-го проекта. Мне, по правде, было жаль наших отвоевавших «щук» и «эсок», уходящих в небытие — на ржавые кладбища старых кораблей либо в металлолом, на переплавку. Но

что поделаешь. Корабли, как и плавающие на них люди, имеют свою судьбу. У тех и у других неизбежна смена поколений.

Мы, конечно, знали, что уже появились лодки с атомными реакторами. Но они предназначались для океанского плавания, а не для скромной мелководной Балтики. К нам шли новенькие дизельные «шестьсот тринадцатые». Штурмана́ на них почти все были молодые, не очень-то знакомые с особенностями плавания по Балтике. Я занимался с ними, «вывозил их в море», как когда-то «вывозил» меня незабвенный Наполеон Наполеонович.

Это значит, что я много плавал; лодки сдавали учебные задачи, и я то на одной, то на другой выходил в море, контролировал работу штурманов. Больше был в то лето на воде (и под водой), чем на суше.

Между тем и на суше происходили события.

Это случилось в конце июля, я был в море, — счастье, что Тамара, соседка, услышала оборвавшийся стон и прибежала, и, многоопытная, не растерялась, увидев Раю, корчившуюся на полу, и сделала все как надо.

Я пришел с моря вечером следующего дня. Моя жена лежала на тахте лицом к стене, под

пледом.

— Райка, — позвал я, — ты спишь?

И ужаснулся, когда она повернула ко мне заплаканное лицо. Я сел на тахту, погладил Раю по густым волосам, почти закрывшим глаза.

— Что случилось?

— У меня был выкидыш, — незнакомо глухим голосом ответила она. — Дима, зачем я тебе?.. Я никуда не гожусь…

Я знал, знал, как она хочет ребенка. Как была осторожна, как готовилась к родам. Я тоже хотел — очень хотел сына…

Ладно, хватит об этом. Слишком больно.

Но жизнь шла, несмотря ни на что. Ранним утром горны серебряным звуком будили гавань, ползли кверху флаги, на подводных лодках взрыкивали заводимые дизеля — начиналось утреннее проворачивание механизмов.

Но, как уже сказано, в то лето я чаще встречал рассветы в море, чем в гавани.

Только не думайте, что я забыл о завещании отца. Нет, конечно, не забыл. Просто выходы были в районы моря, расположенные вдали от банки Слупска, бывшей Штольпе.

И только в октябре возникла возможность исполнить последнюю волю отца.

Предстояло большое флотское учение, и от Мещерского я узнал, что на последнем его этапе примет в нем участие польская Маринарка Войенна — несколько надводных кораблей. Фабула: отражение попытки условного противника высадить десант на побережье Польши. Две наши лодки атакуют десантные корабли — это произойдет близ банки Слупска.

Тут я и рассказал Мещерскому о завещании отца.

— Ну нет, — сказал он, — это невозможно. Политотдел вряд ли даст добро.

— Не обязательно же просить у него разрешения.

— Я подумаю, Вадим.

— Леонид Петрович, мне нужно заблаговременно вызвать мачеху, чтобы она привезла урну.

— Ясно, ясно. Время еще есть.

Мещерский недавно окончил академические курсы и был назначен начальником штаба нашей бригады. Ему присвоили звание капитана второго ранга (а я, между прочим, в августе стал кап-три, то есть капитаном третьего ранга). Карьера у него шла, что называется, без сучка и задоринки. Высокий, статный, с медальным, хоть и несколько отяжелевшим лицом, он был,

можно сказать, воплощением русского морского офицера. Из Питера он привез молодую жену, очень красивую актрису Театра музкомедии. Был слух, что Мещерский «отбил» ее у какого-то композитора, — ну, не наше это дело.

Вдруг свалился с тяжелой болезнью наш комбриг, капитан первого ранга Кожухов. Мы с Мещерским навестили его в госпитале.

Комбриг лежал на спине, вдавив в подушки мощный желтоватый череп. Его широкое крестьянское лицо заметно похудело, на нем как-то выпятились сухожилия. Он приподнял правую руку в знак приветствия, а левая лежала неподвижно поверх одеяла. (Как часто мы видели эти сильные руки на рукоятках перископа, подумал я.)

— Левая линия вала у меня застопорена, — сказал Кожухов, глядя на нас, прищурясь. Говорил он с видимым трудом. — Но правая работает. На малом ходу. Очень хочется курить. А доктора́ не велят.

— Вы поправитесь, Федор Иваныч, и мы еще покурим всласть, — сказал Мещерский.

— Ладно. Ну что на бригаде?

Мещерский, и. о. командира бригады, стал рассказывать обстоятельно. Но тут в палату вошла

жена Кожухова, громкоголосая Ольга Степановна, туго обтянутая белым халатом.

— А-а, здрасте! — Она принялась вынимать из сумки и ставить на тумбочку судки. — А это что вы принесли? Мед, персики? Оч-хорошо! Федя, я щас с врачом говорила, кардиограмма сегодня лучше. Сла-богу! Садись, буду кормить. Бульон оч-хороший! Молодые люди, извините!

Мы простились и вышли из госпиталя.

— Боюсь, батя уже не вернется в строй, — сказал Мещерский.

Мы вышли к каналу, на дорогу, ведущую в гавань. Над нами раскачивались ветки деревьев. Ветер дул с моря, откуда же ему еще дуть тут, в Либаве, и было похоже, что он надует штормовое предупреждение.

— Леонид Петрович, — спросил я, — как насчет моей просьбы?

— Да-да, помню, Вадим. Пойдешь на двадцать седьмой с Жемайтисом. Я поговорю с ним.

— Спасибо! — обрадовался я.

— Можешь вызывать свою мачеху. Захоронение — по окончании учения. Предупреждаю: никому о нем ни слова.

Галина приехала 9 октября — как раз в мой день рождения. Странный, можно сказать, жутко-

ватый я получил подарок — урну с прахом моего отца. Я извлек ее из сумки, это был голубовато-зеленый сосуд, напоминавший древнегреческую амфору, и приложил к груди. Хотите верьте, хотите нет, но в ту же секунду я ощутил слабый толчок… ну да, стук сердца, конечно, но… не нахожу подходящих слов… вспыхнуло в памяти: «Пепел Клааса стучит в мое сердце…»

Вечером, когда я пришел со службы, Рая и Галина хлопотали, накрывая на стол. Он, стол, выглядел как цветущий сад. Среди салатов и прочих закусок стояло лакомство — баночка красной икры, привезенная Галиной.

Вообще-то, мы не отмечали дни рождения — ну, просто выпивали по рюмке, и ладно. Но тут…

— Тридцать пять лет, — сказала Рая. — Это же юбилей. Непременно отметим.

А тут и Галина, вызванная мною, приехала. Теперь ведь это просто — купил билет и поехал. Пропуска отменены, Либава, то есть Лиепая, больше не режимный город. Новое время — новые порядки.

А это что? Рая вручает мне подарок. Ух ты! «Двенадцать» Александра Блока, издательство «Алконост», 1918 год. Потрясающе!

— Откуда ты выкопала такой раритет?

— Высмотрела в букинистическом. Посмотри, какие рисунки.

Осторожно листаю пожелтевшие листы. Рисунки Анненкова — поразительны. Как говорят, если что-то полностью соответствует чему-то? Конгениально? Да, именно так. Листаю. Бросаются в глаза читанные в школьные годы строки:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

А рисунки! Вот Катька с простреленной головой. Мрачный буржуй в котелке. Пес тощий, голодный…

…И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль…

— Димка, оторвись от Блока. Садись за стол.

— Да… Спасибо, Раечка, такой подарок!

Я поцеловал ее и занялся любимым делом — наполнил рюмки коньяком. Моя начитанная жена сказала:

— Раньше считалось, что тридцать пять лет — ровно половина жизни. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» — так начал «Божественную комедию» Данте, когда ему стукнуло тридцать пять. Но у тебя, Дима, пусть это будет не половиной, а третью жизни.

— Многовато получается, — сказал я, — ну да ладно. Жизнь, вообще-то, довольно занятная ведь. Она — разнообразная. Не только сумрачный лес. Ладно, вздрогнем, как говорит мой друг Карасев.

Выпили, конечно, и за память об отце. Галина, глотнув коньяку, рассказала, что в последнюю неделю своей жизни Лев стал что-то писать:

— Прихожу с работы и застаю его за письменным столом. «Ты пишешь новую вещь?» — спросила. «Да так, — отвечает, — сам не знаю… Какие-то мысли приходят…» И закрывает тетрадь. В другой раз, за ужином, вдруг спрашивает: «Для чего совершаются революции, как ты думаешь?»

Галина еще отпила из рюмки и умолкла, задумалась, склонив голову. В ее волнистых волосах заметно прибавилось седины.

Мы выпили за нее, и за Раю, конечно, и за Тамару (ее тоже позвали, а Мелентьев в тот вечер был на своем торпедолове).

Выпили и за отсутствующую Люсю. Она не

приехала, Галина сказала, что Люся очень занята курсовой работой, что специализируется по испанской и португальской литературам.

— И, между нами, — добавила Галя с улыбкой, — у Люси роман. В нее влюбился однокурсник, мальчик из хорошей семьи. Она говорит, что очень одаренный, будущий новый Белинский.

— Белинский — это который критик? — спросила Тамара.

— Ну да. Великий критик.

— А-а. А то ведь у нас в Рамбове был зав аптекой, тоже Белинский, — сказала Тамара. — Хороший был человек.

Спустя трое суток стал утихать шторм, и началось большое учение. Я вышел в море на «шестьсот тринадцатой» лодке с бортовым номером 27. Ею командовал капитан третьего ранга Жемайтис — по прозвищу «человек, который не смеется». Никто на бригаде не видел на сухощавом лице этого долговязого офицера с очень прямой спиной — никто ни разу не видел даже подобия улыбки. Его тонкогубый рот открывался только для произнесения служебных слов, ну и для еды, конечно. В кампанию 1944–1945 годов Жемайтис был минером на знаменитой гвардейской «щуке», потом, окончив СКОС, стал

помощником, а затем и командиром одной из «малюток» — словом, уверенно продвигался по служебной лестнице и вот недавно получил «шестьсот тринадцатую».

У него и имя, можно сказать, морское — Ма́рис.

Когда я перед выходом в море ранним утром заявился на двадцать седьмую, Жемайтис брился в своей тесной каютке. Задрав и держа за нос белобрысую голову, тщательно выбривал опасной бритвой выдающийся кадык.

— Привет, Марис, — сказал я.

— Здравствуй. — Он, проверив ладонью гладкость кадыка, взглянул на мой потертый портфель и спросил: — Принес?

— Принес, — сказал я.

Было время — накануне выхода в море я приносил в этом портфеле таблицы, транспортир, измеритель, параллельные линейки, справочники, карандаши — штурманский набор для работы. Теперь в портфеле лежала урна с прахом отца.

— Можно, у тебя в каюте положу?

— Положи. — Жемайтис показал пальцем на угол между койкой и переборкой. — Я захоронений в море не проводил. Каков порядок?

— Это очень просто, — сказал я, хотя тоже не

знал, каков порядок и записан ли он в руководящих бумагах. — Экипаж выстраивается на верхней палубе, командир произносит речь… ну, прощальное слово… и урну на линях опускают в воду. Всё.

— Я не мастер говорить такие речи, Вадим. Попросим Донскова, моего замполита.

Описывать учение не буду. Все было как обычно: долгие часы ожидания, хождение на перископной глубине, под РДП (работа дизеля под водой), всплытия для связи с авиацией, ведущей поиск «противника», ночные зарядки батареи.

Штурман на лодке, лейтенант Рыхлов, выглядел как юнец-старшеклассник с огромной шевелюрой.

— Почему вы не стрижетесь? — спросил я накануне отхода, усевшись на разножку рядом со штурманским столиком.

— Да так как-то, — ответил он почти как «брат Пушкин» Хлестакову.

Я контролировал работу Рыхлова в походе. Счислимое место, то есть полученное из показаний компаса и лага, у него бывало не вполне точным, хотя и с небольшой невязкой. Нам везло: ночи стояли ясные, звездные — и, беря секстаном высоту Арктура или Бетельгейзе, Рыхлов получал

обсервованное место довольно точно. Каждый раз, выбирая невязку, он радовался как мальчишка, играющий в занятную игру. Мне был по душе этот юнец, пренебрегающий стрижкой: он любил штурманское дело.

Обе торпедные атаки Жемайтис провел хорошо. Вторая изрядно потрепала нам нервы. Авиаразведка дважды передвигала цель — десантные корабли, — и приходилось срочно менять позицию, форсировать работу дизелей, чтобы успеть перехватить условного противника, не дать ему высадить десант.

В результате в последнюю ночь наша лодка оказалась чуть ли не на подходе к датскому острову Борнхольму. Жемайтис вел поиск настойчиво. Один только раз за долгую ночь спустился с мостика, чтобы напиться чаю. Начинался серенький рассвет, когда гидроакустики услышали слабый-слабый шум винтов. Наконец возникли на сумрачном горизонте дымы. Убедившись, что это искомый (вожделенный!) конвой «противника», Жемайтис скомандовал погружение и начал, действуя хладнокровно, торпедную атаку.

Двухторпедным залпом он «поразил» наиболее крупный из кораблей «синих». А затем, как мы узнали впоследствии, в дело вступили сто-

рожевики польской Маринарки, завершившие «разгром» десанта.

Шло к полудню, когда мы получили сигнал об окончании учения. С моей помощью Рыхлов уточнил место, и лодка легка на курс возвращения домой.

Часа через два с небольшим мы подошли к точке, обозначенной мною на карте: 55° с. ш., 16°25’ в. д. — к тому месту у западной кромки банки Слупска (бывшей Штольпе), где в августе сорок второго подводный минзаг «Ленинец», с моим отцом на борту, четырехторпедным залпом потопил два огромных транспорта противника. (Отец, которого командир позвал взглянуть в перископ, потом рассказал мне восторженно: «Стена! Стена воды до неба! Грохот страшный, летят черные обломки — и стена огня! Небо и море горят! Фантасмагория!» В книге отец описал эту атаку в лучшем своем стиле.)

В теплой куртке-канадке, в шапке, нахлобученной на брови, стою на мостике лодки. Урну, обвязанную длинными линями, прижимаю к груди. И чудится мне, что отец видит… то есть ощущает вибрацию палубы от работы моторов в ту ночь, когда «Ленинец» прорывался к немецкому конвою…

А вокруг простирается море. В военные годы журналисты любили писать в газетах: «свинцово-серые воды Балтики». Серая — да, такой она всегда и была при несолнечной погоде. А «свинцовость» — это для красоты стиля придумали. Сегодня море зеленовато-серое, неспокойное, но на гребнях волн не видно белой пены — это не шторм, а как обычно. Волнение балла на три. День клонится к вечеру, но пока еще светло, в западной стороне горизонта невидимое солнце прожгло в сплошной облачности большое желтое пятно.

— Пора, — говорю Жемайтису. — Мы в точке.

И командир приказывает застопорить дизеля.

Тишина падает оглушительно. Пройдя положенные по инерции метры, лодка останавливается. Она словно раскланивается с морем: килевая качка приподнимает и опускает ее нос.

— Всем свободным от вахт построиться на верхней палубе! — командует Жемайтис.

Один за другим поднимаются люди из душной лодочной глубины на мостик и, вдохнув дневного света и свежести моря, спускаются на верхнюю палубу в кормовой ее части — выстраиваются длинной шеренгой на железной лодочной спине. Кто в черной пилотке, кто в шапке, все в бушла-

тах, небритые, улыбающиеся, недоумевающие: что за построение посреди моря?

— Внимание, товарищи! — говорит на мостике Жемайтис и передает мегафон замполиту Донскову.

Василий Васильевич Донсков — один из старейших замполитов в дивизии, мы с ним давно знакомы. Он — из бывших лодочных боцманов, от природы красноречивый, вечно озабоченный нуждами своих подчиненных. Писал письма в райкомы партии, в глубинку: дескать, «краснофлотец имярек охраняет морские рубежи нашей Родины, а в колхозе „Светлый путь“ его мать, колхозницу такую-то, неправильно обложили завышенным налогом, — прошу разобраться по закону… Краснофлотец имярек стоит на страже мирного труда нашей Родины, а его родная сестра такая-то, разоблачившая воровство колхозного имущества, подвергается угрозам… с ее огорода украли две бочки… прошу принять меры к защите…».

Когда Жемайтис — еще в начале учения — предложил Донскову сказать прощальное слово при захоронении урны, замполит поднял седеющие брови и спросил, есть ли добро политотдела.

— Василий Васильич, — сказал я, — это же не

политическое дело, а просто человеческое. Ты же помнишь, что писатель Плещеев участвовал в походе «Ленинца»?

— Ну? — Донсков с острым прищуром посмотрел на меня. — Помню.

— И книгу его, наверно, читал?

— Читал. — Один глаз замполита совсем закрылся, а второй стал как узенькая щелка. — Твой отец был осужден по «ленинградскому делу».

— Он полностью реабилитирован. И в партии восстановлен. Но если ты не хочешь или не можешь… — Я взглянул на Жемайтиса, спокойно пьющего чай (мы сидели во втором отсеке, за столом кают-компании). — Ладно, Марис, я сам скажу несколько прощальных слов.

Я понимал Донскова. Он дослуживал долгую службу, в будущем году уйдет в запас, — конечно, он не хотел испортить финал какой-либо ошибкой. Ну да, писатель Плещеев реабилитирован, но — указания политотдела о захоронении в море нет. Черт его знает, проведешь это дело на свой риск, а потом тебя спросят басом: *кто разрешил?* Не-ет, не надо… Запретить эти похороны он, замполит, не может, но — промолчит… вот и все…

В ходе учения мы не общались — у замполита свои дела, у меня — мои. Но сегодня, по оконча-

нии учения, после обеда, он вдруг говорит мне:

— Вадим Львович, напомни названия книг твоего отца.

— Затем тебе? — говорю. — Ты же не хотел…

— Хотел, не хотел — пустые слова, — отрезал Донсков, вскинув брови. — Давай названия.

И вот теперь, приняв у командира мегафон, он зычным голосом обратился к строю:

— Товарищи подводники! В точке, где мы сейчас находимся, четырнадцать лет назад, в августе сорок второго, лодка нашей бригады, минзаг «Ленинец», атаковала немецкий конвой и потопила два крупных транспорта. Где-то тут, под нами, ржавеют их остатки. И покрылись илом кости фашистских захватчиков, посягнувших на советскую землю. В том походе принял участие известный писатель Лев Плещеев. Чей сын вот стоит рядом со мной, он флаг-штурман нашей бригады, вы его знаете. Писатель Плещеев не только пером, но и жизнью своей боролся за советскую власть. Когда в Кронштадте вспыхнул антисоветский мятеж, Плещеев был в первых рядах бойцов, пошедших на штурм. Они шли по льду под огнем, не зная страха…

От патетики меня коробит. Но я понимал, что без нее при таком необычном событии не обой-

тись. А уж Донсков был опытнейшим оратором. Он, перечисляя книги отца об Арктике, о крупных стройках, о сражении за Ленинград, воздавал ему должное — как героям этих книг. Меня познабливало от превосходной степени донсковских эпитетов. И в то же время… да, я был рад, что *такие слова звучат*… отец при жизни не был избалован похвалами в печати и на радио, так что пусть, пусть они звучат тут, над морем, над вечно бегущими волнами…

— …Вспоминал как одно из главных событий жизни, — говорил Донсков, — и поэтому завещал похоронить себя тут, в точке, в которой четырнадцать лет назад…

Отзвучали прощальные слова. Их подхватил внезапно усилившийся ветер. Выждав минуту тишины, Жемайтис велел сигнальщику приспустить флаг. И негромко скомандовал:

— Сми-ирно! Урну в воду!

Волна за волной набегали на черный корпус лодки. На длинных линях двое расторопных старшин опустили урну в плеснувшую волну и стали медленно потравливать лини, и урна, то уходя под воду, то на мгновенье всплывая, удалялась, удалялась… скрылась окончательно…

И ветер, ветер…

И слезы от ветра…

Вот и замкнулся круг твоей жизни.

Я гордился тобой. Ну как же, много ли в Ленинграде детей, чьи отцы штурмовали Кронштадт? Книгами твоими гордился, мне нравился твой высокий стиль. «Музыка революции, которую звал слушать Блок, продолжается. Она звучит в реве экскаваторов, вгрызающихся в гору Кукисвумчорр; в звоне арктических льдов, ломаемых черным форштевнем „Сибирякова“…» Да-да, ты умел выразить время, его мощные накаты, его пафос…

Я ненавидел тебя. Ты изменил маме, разрушил семью — я с юношеской беспощадностью осудил тебя. «Никогда его не прощу!» — заявил, глядя в мамины голубые глаза-озера. Потом была блокада — я знал, что ты помогал маме, приносил что-то из продуктов… знал, что ты похоронил маму…

Я восхищался тобой. Твоим мужеством. Ты добился разрешения и отправился в опаснейший поход на подводном минзаге «Ленинец». И написал об этом походе замечательную книгу «Девятьсот миль под водой».

Ты был одним из лучших военных журналистов на Ленфронте. Победным блеском горели за

очками твои карие глаза, когда ты говорил о прекрасном послевоенном будущем Ленинграда…

Я ужаснулся, когда тебя внезапно арестовали. Невозможно было понять — за что?! Кто и зачем придумал безумное «ленинградское дело»? Мне было страшно за тебя — выдержишь ли десять лет в лагере за Северным полярным кругом?

А как я обрадовался, когда пять лет спустя объявили «ленинградское дело» сфальсифицированным и тебя выпустили, реабилитировали. О, это было счастье! Я понимал твое стремление немедленно восстановить преступно попранное достоинство. Разделял твой гнев против неторопливости чиновников во властных кабинетах.

Отец, я беспокоился за тебя! Боялся участившихся сердечных приступов. Слишком близко к сердцу ты принимал все, что происходило в стране. «Перегибы! — воскликнул ты и кулаком потряс. — Перегнули с коллективизацией, пришлось Сталину удержать ретивых активистов от головокружения. Перегнули с репрессиями! Держиморды чертовы, негодяи, расстрельщики! Сталин виноват? Согласен, был жесток, как восточный правитель. Ну, хорошо, Двадцатый съезд осудил культ личности. Но не перегибайте больше, матер Матута! Идею не замарайте великую!

Ленина не трогайте!» Галина нам сказала, как ты кулаком потрясал, когда выкрикивал это предостережение. И поведала, между прочим, что ты в последние дни жизни писал что-то в тетради. «Очень неразборчиво, — говорила Галина. — Он же обычно писал на машинке, а тут — от руки… а почерк трудный… Что-то такое о власти… о природе власти…»

Ты прожил короткую жизнь, отец, всего пятьдесят шесть лет. Но сколько она вместила событий… сколько вихрей промчалось… Захлестнуло тебя балтийской волной, и ты лег на песчаное дно… наконец-то тишина и вечный покой…

Только ветер — вдруг низринулся шквальный порыв, свистнул в антенне, взметнул острые гребни над банкой Штольпе.

И слезы от ветра.

Глава двадцать девятая
«Слушать в отсеках!»

Первый весенний день в Пятигорске. Еще вчера стал к вечеру рассеиваться плотный туман, висевший над городом две недели, и открылись нашим взорам ржаво-серые, с белыми пятнами снега, склоны Машука. А утром — голубое небо, и «воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка». А горизонт затянут кисейной дымкой, за которой не столько видны, сколько угадываются седые великаны Большого Кавказского хребта.

По улицам, ведущим от подножия Машука к центру города, побежали ручейки кофейного цвета, журча и кружась на неровностях. Старые желтые одноэтажные дома распахивали ставни, отряхивали карнизы и водосточные трубы от звонкого хрусталя сосулек. И, не выдержав натиска весны, уже пристроилась на ступеньке каменной террасы на углу Лермонтовской и Чкаловской розоволицая старушка, продающая семечки — полтинник за стаканчик.

Военный санаторий, в который мы приехали, находился близ Провала. Уже второй раз я вы-

хлопатывал путевки в этот санаторий: здешние ванны помогали Рае. Артроз правого тазобедренного сустава осложнил ее — а значит, и мою — жизнь. Физиотерапевтические процедуры не очень помогали. Рая не любила жаловаться, но я-то видел, что она ходит все хуже, превозмогая боль. А вот пятигорские радоновые ванны приносили явное облегчение. Рая веселела.

— Димка, — говорила она, — давай, когда ты выйдешь в отставку, поселимся тут. Я буду лежать в ванне. А ты будешь приносить мне еду?

Насчет отставки — знаете ли, в минувшем январе я подал рапорт об увольнении в запас. Шел двадцать пятый год моей службы, считая со дня поступления в училище имени Фрунзе. Конечно, это маловато, если придерживаться поговорки о том, что военно-морская служба трудна только в первые пятьдесят лет, а потом ничего, свыкаешься. Но все же мой стаж вполне достаточен, чтобы, взяв под козырек, гаркнуть: «Честь имею!» Тем более что по закону каждый год войны считается за три, да и подводная служба прибавляет стаж. Короче, пенсию я себе заработал.

Так вот, ранней весной 1965-го мы — последний раз по бесплатной путевке — приехали в Пятигорск. Рая принимала ванны, да и я принимал,

а кроме того, мы пили здешнюю минералку (у меня, между прочим, были нелады с желудком — гастрит, говоря по-научному).

Тут, на Провале, прильнул к склону Машука зеленый павильон «Теплый нарзан» (источник № 7). Трижды в день — перед завтраком, обедом и ужином — выстраивалась к нему очередь отдыхающих в ближних санаториях. Подобно весенним ручейкам, журчали над очередью разговоры.

— Повышенная кислотность все же лучше, чем пониженная…

— Ну и правильно его сняли, кукурузника…

— С запчастями у нас плохо. А у вас как?

— Ой, вон он идет, без шапки, интересный, правда?..

— Да как? Лежат на складе на десятки тысяч, да не те, что нужны. Головок блоков цилиндров уже который год не шлют…

— Это с ним ты вчера танцевала? Ну и ничего особенного…

— Культ личности, культ личности! А себе разве не устроил культ?..

— Что-то медленно очередь идет. Повторяют там, что ли?..

— При повышенной надо залпом, а при пониженной — медленными глотками…

Из павильона вышел гражданин в черном пальто и полковничьей папахе, подмигнул сам себе, авторитетно сказал:

— Не-ет, столичная приятней.

А вот к хвосту очереди подходит, опираясь на палку и сутулясь, человек с седыми усами и черными бровями. Я окликаю его: «Михаил Антоныч!» — и предлагаю занять место перед нами. Он, сдержанно улыбаясь, здоровается и говорит:

— Слышали последние известия? На Филиппинах в лесу нашли японского солдата. Не знал, что война кончилась. Состарился, питался черт знает чем. Скрывался от людей. Одичал.

— Ну, — говорю, — и ничего удивительного. От войны всегда дичают.

— Дичают не от войны, — ворчит он. — А от одиночества.

Михаила Антоновича Сергеева я узнал не сразу. Да и как было узнать в сутулом хромоногом старикане бравого командира подлодки — высокого, знаменитого, с трубкой у рта, с орденом Ленина на кителе? Летом сорок второго, когда я только прибыл желторотым лейтенантом в Кронштадт, Сергеев привел свою «эску» из победного похода и готовился к следующему. У него на лодке служил минером Валя Травников. Осенью того же

сорок второго «эска» Сергеева погибла в районе Аландских островов. Считалось, что погиб весь ее экипаж. Вдруг в конце войны выяснилось, что *не весь*. Взрывной волной сбросило с мостика командира Сергеева, вахтенного офицера Травникова и краснофлотца-сигнальщика — их подобрала финская подлодка, которая и торпедировала «эску». Они очутились в плену.

Вы помните историю Травникова? Так вот, у Сергеева было тоже ужасно, но иначе. Немцы, прослышав о плененном командире советской субмарины, затребовали его к себе из Финляндии. Сергеева допрашивали с пристрастием и предложили присоединиться к Власову — сам Власов на него наседал. Сергеев выстоял, ни посулы хорошей жизни, ни угрозы не сломили его. По возвращении он, как все бывшие военнопленные, был подвергнут бдительной проверке. Никакой крамолы не нашли, и я помню: прошел слух о скором возвращении Сергеева в бригаду. Как вдруг дело застопорилось. Несколько лет о Сергееве не было слышно ни-че-го. Он появился, будто из небытия, только в пятьдесят третьем или четвертом году — постаревший, полностью реабилитированный, восстановленный в воинском звании и правах. У нас на подплаве, впрочем,

он пробыл недолго, его отозвали в Ленинград, он стал преподавать, если не ошибаюсь, военно-морскую тактику в училище имени Фрунзе.

Здесь, в пятигорском санатории, я узнал Сергеева не сразу. Я сидел, дожидаясь своей очереди, в предбаннике старинного здания ванн. Из галереи, где оные ванны и находились, выглянула служительница, выкликнула:

— Сергеев!

Седой человек, сидевший неподалеку, торопливо поднялся, но поскользнулся на полу, отполированном за целый век подошвами, и упал, выронив палку. Я метнулся к нему, поднял, ухватив под мышки, палку подал. Сергеев поблагодарил и направился в ванную галерею. Я хотел проводить его, под руку взял, но он сказал:

— Не надо.

И медленно пошел, тяжело опираясь на палку.

С того дня мы стали общаться. Сергеев пересел за наш столик в столовой. Немногословный, суровый, он постепенно — как бы сказать — оттаивал. Этому процессу способствовала моя общительная жена. Выяснилось вдруг, что Рая была знакома с женой Сергеева. Мир, знаете ли, тесен. Когда однажды Сергеев упомянул о том, что жена в войну работала в радиокомитете, Рая вскинулась:

— Вы сказали — Римма? Римма Чернявская? Я знала ее! В сорок третьем у них на радио шло интервью моего мужа Александра Ярцева. На тему «Нацизм и культура несовместимы». Интервьюировала именно Римма Чернявская. Она приходила в политуправление Ленфронта, я хорошо помню, — очень красивая, яркая, лицо как у женщин на картинах художников Возрождения.

— Вы совершенно правы, — сказал Сергеев. — Она была оттуда. Из эпохи Возрождения.

— Была?

— Римма умерла два года и два месяца тому назад.

— Ох, извините, Михаил Антоныч! Очень сочувствую…

За окном нашей санаторной комнаты погромыхивала гроза. Весь день лил дождь, но теперь, вечером, приутих. Гроза тоже стихала — ее раскаты уходили за хребет.

Мы сидели втроем, пиво попивали (после ванн я сходил в ближний гастроном, купил несколько бутылок и плавленые сырки).

Сергеев разговорился. Говорил он трудно — с долгими паузами, с повторением невнятной присказки, похожей на команду «Слушать в отсеках». Да и мне это нелегко — записать рассказанную

им историю. Но что же делать — попробую.

Летом сорок третьего немцы, не добившись от Сергеева согласия войти в формируемую власовскую армию, отправили его, измученного донельзя, в лагерь военнопленных, располагавшийся где-то близ Аугсбурга. Каждое утро охрана гнала работать на завод. Дважды завод бомбила авиация союзников — и такая, значит, гибель была возможна, кроме той, что от голодного прозябания. Сергеев выжил.

В сорок пятом узников этого лагеря освободили американцы. И по окончании войны передали их советским военным властям. Ну а потом — как вы знаете, началась проверка, «фильтрация». Большую группу бывших пленных, Сергеева тоже, привезли в лагерь на окраине Минска. Пошли допросы, направлялись запросы в воинские части. У Сергеева все проходило не то чтобы нормально (уж никак не назовешь нормальной саму процедуру «фильтрации»), но благополучно. Из Либавы, из бригады подплава, прислали бумагу, подтвердившую, что Михаил Сергеев — один из лучших командиров подводных лодок, награжденный орденом Ленина, что в бою был сброшен взрывной волной с мостика лодки, — словом, хорошая, нужная бумага. И уже следователь

майор Колосков, человек невредный, объявил: «Ну, подводный герой, собирай пожитки, скоро тебя отпустим». И разрешил Сергееву написать письмо в Ленинград жене и дочке: дескать, до скорого!

Вдруг дело застопорилось. («Слушать в отсеках!») Колоскова перевели куда-то. Вместо него появился капитан Серый — человек маленького роста, с узким лицом и немигающими желтоватыми глазами. Новый следователь остановил на Сергееве долгий оценивающий взгляд. «А-а, вот ты какой», — можно было прочесть в этом взгляде.

Бесконечно долго тянулась неделя, другая — в начале третьей, осенним днем, Сергеев постучался в кабинет следователя:

— Разрешите?

Серый писал что-то, придерживая левой рукой правую с авторучкой. Поднял на Сергеева недовольный взгляд:

— Что вам надо?

— Ваш предшественник сказал, что моя проверка закончена. Почему вы не отпускаете меня?

— Проверка не кончена.

— То есть как? Мне было ясно объявлено…

— Поступили новые данные. — Капитан Серый

возобновил свою медленную писанину.

«Новые данные» были ужасны: некто Трохин, арестованный и ожидающий приговора сержант-власовец, опознал в Сергееве командира батальона власовской дивизии.

— Это ложь! — выкрикнул Сергеев. — Подлая ложь!

Однако капитан Серый дал ход трохинскому доносу.

5 мая в Праге вспыхнуло восстание против немецких оккупантов — дивизия власовцев была двинута на восставших чехов, — но к Праге спешили советские танковые корпуса — власовцы стали уходить на запад, к американским войскам, — советские загородили им дорогу, взяли в плен — но некоторым удалось прорваться — вот и комбат Сергеев ушел — а когда война кончилась, американцы этих прорвавшихся, тоже, значит, и комбата Сергеева, отдали обратно советской стороне…

Так следователь Серый записал со слов взятого в плен власовца Трохина, и подпись Трохина крупными буквами стояла под страшным документом.

— Вранье! — вскричал Сергеев, прочитав. — Не был я у Власова! Не был в Праге!

Потребовал, чтобы допросили пленных, с которыми обретался в аугсбургском лагере. И двое письменно подтвердили: да, Сергеев был там с сорок третьего года до конца войны. Но вскоре один из них от своего подтверждения отказался, а свидетельство второго капитан Серый проигнорировал, заявив, что оно написано под давлением Сергеева.

На очной ставке, назначенной Серым, Сергеев впервые увидел своего обвинителя Трохина. Это был приземистый, но широкой кости малый в мятом немецком мундире без погон, наголо остриженный, с короткой верхней губой, отчего рот был открыт, обнажая неполные ряды пятнистых зубов. Его цыгановатое лицо не выражало ничего, кроме готовности немедленно сделать все, что велят.

На вопрос Серого, узнает ли он этого человека, Трохин выкрикнул:

— Ну! Он и есть! Как узнал, что русские танки идут, так и повернул свой батальон жопой к чушкам…

— Что за чушки?

— Чехи! Которые восстание сделали! Повернул батальон и повел из Праги. Сдаваться к американам!

— Ты врешь, подонок! — Сергееву ярость ударила в голову, он рванулся к Трохину.

Но был схвачен охраной — двумя солдатами, заломившими ему руки за спину.

— Подлец! — кричит он Серому, выскочившему из-за стола. — Веришь подонку, предателю! Малограмотный негодяй! «Восстание» через одно «с» пишешь…

У Серого даже лоб на узком лице перекосило, а глаза — как два желтых огня.

— А ты, шибко грамотный, — шипит он сквозь зубы, — кончишь в лесу!

И уже на следующей неделе вызвали Сергеева на трибунал и зачитали короткий приговор: как изменнику Родины, пошедшему на службу к Власову, — пятнадцать лет в колонии общего режима. Еще хорошо, что не двадцать пять.

(«Слушать в отсеках» — прозвучала присказка, не вполне внятная.)

Ну а дальше…

Коротко, неохотно рассказал Сергеев о лагере. Капитан Серый верно ему предсказал: лесоповал, баланда — горячая вода с разваренными косточками мелкой рыбы… Если бригада не вытянула дневную норму, то дорабатывай ночью, а мороз в лесу под тридцать… Жестокий режим, не челове-

ками, а самим дьяволом придуманный.

— Кавторанга Буйновского помните? — спросил Сергеев.

— Из «Одного дня Ивана Денисовича»? Конечно!

Еще бы не помнить! Эта повесть, напечатанная в журнале «Новый мир» два с половиной года назад, прямо-таки потрясла страну.

— Ну вот, — сказал Сергеев, — этот кавторанг будто с меня списан.

Гроза над Пятигорском и вовсе утихла. Слабо доносилась музыка из главного санаторного корпуса, там был в разгаре вечер танцев.

— На одной пересылке, — продолжал Сергеев после долгой паузы, — в толпе вновь прибывших зэков вдруг увидел знакомую морду. Раскрытый рот, зубы пятнистые, оскаленные. Трохин! Ну… короче… он меня тоже узнал… Хнычет, чуть не со слезой: «Давай убей меня, дяденька офицер…» Было б у меня оружие, точно пристрелил бы подонка, но… «Я перед тобой виноватый, — лопочет он, — гребаный капитан Серый мне приказал написать, мать его… что ты у Власова служил. Обещал мне срок скостить наполовину. Я, глядь, поверил, подписал, что он сунул. А ни… не скостил, его мать!..» Простите, Раиса, что я

нецензурно…

— Ну что вы, Михаил Антоныч! — У Раи глаза были влажные. — Тут без мата никак… понимаю…

— Да, вот такая встреча. — Сергеев допил из стакана пиво, провел ладонью по седым усам. — Ну а тем временем…

Тем временем его жена Римма развернула бурную деятельность. У нее, видной радиожурналистки, были серьезные знакомства в высоких сферах — не только в Смольном, но и в Москве. Множество писем, заявлений, ходатайств осталось без ответа. Но иные все же доходили и производили какие-то подвижки. Римму приняли в двух не заоблачных, но довольно высоких кабинетах на Старой площади и в одном — на Лубянке. Она была неутомима. Сумела добиться почти невозможного — доступа к строго засекреченному списку офицеров РОА, власовской армии. Сергеев в списке, конечно, не значился. Но дело шло медленно, медленно. Безжалостная система была изначально нацелена на осуждение людей, отнюдь не на оправдание. Все же Римме удалось вытащить Сергеева из Сибири, из Унжлага. Крепок от рождения был Михаил Сергеев, но тут *доходил*. Лесоповал, голод, гибель…

Теперь это позади: его перевели в «шарашку» близ Архангельска. *Это было спасение.*

О «шарашке» Сергеев сказал только:

— Занимались минно-торпедным оружием. Кое-какие приборы разрабатывали. Режим, конечно, помягче. Так и дотянул до главного события.

— Что имеете в виду? Смерть Сталина? — спросил я.

— Да. («Слушать в отсеках!..») Летом пятьдесят четвертого реабилитировали. Я в Питер приехал, один ботинок с разбитой подошвой был веревочкой обвязан. Дочка нарисовала меня в этом ботинке. Который каши просит. Смеху было…

— Дочь у вас художница?

— Архитектор. — (Пауза.) — Вообще-то, не дочь, а — удочеренная. У меня на лодке был радист Малякшин, его все звали Сенечкой. Массу стихов знал наизусть. Астрономией увлекался. Прелестный, знаете ли, мальчик. Да. Вот он первой блокадной зимой привел на «Иртыш» свою семилетнюю сестру. Умиравшую от голода. Девочка ожила. Можно сказать, сделалась на «Иртыше» любимицей экипажа. Вот мы с Риммой удочерили Инну. Да. А Сенечка погиб. («Слушать в отсеках…»)

— Ох! — вздохнула Рая. — Сколько погибло хороших людей. Мой брат тоже… Мог бы стать прекрасным музыкантом, скрипачом… И Римму вашу очень жалко…

— Римма, когда стала болеть, сказала: «Блокада меня не отпускает». Да… Я думаю, не только блокада. Слишком много сил положила на мое спасение. Затраты энергии… душевные затраты ведь не восполняются. Да. — Сергеев взглянул на свои часы. — Засиделся я у вас.

— Михаил Антоныч, — спросил я, — вы общаетесь с Травниковым?

— Перезваниваемся. Иногда он меня навещает. Когда приводит в Питер свой пароход. Мы спорим. Валентин одобрил смещение Никиты. Дескать, нагородил много безобразий. В шестьдесят втором, с этими ракетами на Кубе, чуть не начал третью мировую. Провел слишком большое сокращение армии. Ну и разделение обкомов на промышленные и аграрные…

— А вы это одобряете?

— Нет. Но я считаю, что все это второстепенное по сравнению с главным: Хрущев выпустил из лагерей сотни тысяч людей. Невиноватых, оболганных. И снял обвинения с еще сотен тысяч расстрелянных, погибших в лагерях. Да.

Сергеев попрощался. Уже в дверях оглянулся, сказал:

— А Травников болеет. Лежал в госпитале, у него с легкими неладно.

Глава тридцатая
Прощание с Травниковым

Знаю, знаю: запрещено. Не сажают как будто, но — неприятностей на службе, на работе не оберешься, если на тебя стукнут, что слушаешь Би-би-си.

Но я-то теперь не служу. Я пенсионер. Министерство обороны платит мне целых 175 рублей. Это пенсия хорошая (хотя и маленькая). И вот я по вечерам включаю «Спидолу», купленную в Либаве перед увольнением в запас, и настраиваюсь на Лондон. Тончайшими поворотами верньера отстраиваюсь от глушилки. Слушаю спокойный голос Гольдберга. Он, Анатолий Максимович, не орет, не брызжет из микрофона слюной — не пропагандирует, а просто излагает злободневную информацию.

В мире, как всегда, неспокойно. Холодная война в разгаре. Слава богу, в шестьдесят втором удалось погасить опаснейший Карибский кризис. Но вскоре, после убийства президента Кеннеди, обострилось противостояние во Вьетнаме. Наши помогают Хо Ши Мину оружием, а Джонсон, воз-

главивший США, после инцидента в Тонкинском заливе отправил во Вьетнам американскую армию — началась в джунглях долгая война между коммунистическим севером и некоммунистическим югом. А в шестьдесят шестом в Китае разразилась «культурная революция»: толпы молодых фанатиков с томиками сочинений председателя Мао в руках бесновались, кричали, что «размозжат собачьи головы ревизионистов», открыли «огонь по штабам». А ревизионисты — это кто? Это мы, советские, во главе с Хрущевым, посмевшим отменить культ Сталина. Как бы не передрались — с миллиардным Китаем лучше не связываться. А в шестьдесят седьмом — «шестидневная» война на Ближнем Востоке. Три многолюдных арабских государства вознамерились уничтожить, в море скинуть маленький Израиль. И потерпели поражение. Израильтяне дали жесткий отпор, в первый же день войны их авиация нанесла удар по египетским аэродромам, разбомбила около трехсот «мигов», поставленных Советским Союзом. Наше руководство во главе с товарищем Брежневым разозлилось, разорвало отношения с Израилем.

Ну, в общем, сами знаете. Холодная, но война.

И вот мартовским вечером шестьдесят вось-

мого я, сорокашестилетний пенсионер, сижу в ленинградской квартире и слушаю запретную радиостанцию Би-би-си. Спокойный голос, прерываемый треском и затуханиями, повествует о знаменитом американском боксере Мохаммеде Али — как он отказался служить в армии и за это его, бедняжку, посадили в тюрьму и лишили звания чемпиона мира. Десятый раз уже талдычат об Али (до войны его звали Кассиус Клей) — можно подумать, что это главное событие нового времени.

Но вот я настораживаюсь:

— По непроверенным сведениям, — продолжает вещать Би-би-си, — в авиационной катастрофе погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин…

О-о-ох ты!

Я вскакиваю, зову Раю, которая в смежной комнате болтает по телефону. Она входит, прихрамывая:

— Что случилось?

Мы оба удручены страшной вестью. Куда он летел, почему не уберегли? В этом проклятом окровавленном двадцатом веке Гагарин был не только всенародным, не только мировым, но и моим любимцем. Наряду с нашим покойным ба-

тей Федором Кожуховым. А с кем еще можно его сравнить? Разве что с Туром Хейердалом, — он тоже мой любимый человек.

Теперь Анатолий Максимович ведет речь о событиях в Чехословакии — о недавнем съезде чешских писателей, потребовавшем отменить цензуру. И — страшно вымолвить — правительство Дубчека ее отменило! Это что же — печатай и говори все, что хочешь? То есть все, что не запрещено законом? Ну, чехи!

— Какие молодцы! — говорю, закуривая. — Райка, ты можешь себе это представить? Нет цензуры! Социализм с человеческим лицом. А? Вот бы и у нас так!

— У нас, — говорит моя умная жена, отводя со лба седеющую, но по-прежнему густую вьющуюся прядь, — так не будет. Скорее Луна упадет на Землю, чем у нас отменят цензуру. Дай мне сигарету.

Тут, словно в подтверждение ее слов, глушилка усилила завывания, забила Би-би-си.

Выключаю «Спидолу». Мы сидим в креслах у журнального столика и курим. Вот такая жизнь. На дворе шумное, странное, противоречивое время — *шестидесятые годы*. «Хрущевская оттепель», омраченная расстрелом в Новочеркасске

и травлей Пастернака. Но тут — и вынос Сталина из Мавзолея. И «поздний реабилитанс». И появление солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича», и «За далью даль» Твардовского, и поразительных песен Галича и Окуджавы.

Похоже, что на наших глазах происходит смена эпох.

А я, с вашего позволения, пенсионер. Имею полное право покуривать, развалясь в кресле, и ничего не делать. Но я, черт дери, так не могу. В отличие от «щуки», на которой долго плавал, я еще не выработал свой ресурс. Я занялся писаниной. Пишу статьи о том, как мы, морпехи, наспех обученные сухопутному бою, дрались под Кингисеппом и под Котлами, и остановили немцев на пороге Питера, у Красного Села, и сдерживали финнов за Ладогой, на Свири. Вспоминаю погибших ребят — они-то и были истинными героями.

Пишу, конечно, и о том, как мы, подводники, прорывались сквозь минные заграждения Финского залива в открытое море, искали и топили корабли противника. Мои статьи печатают в ленинградской «Вечёрке» и в газете Балтийского флота, но всегда в сокращенном виде, — прежде всего вычеркивают места о погибших лодках. Мы не чехи с их удивительной весной, у нас не

отменена цензура, она же нацелена на победы, о потерях печатать не велит.

Увлеченный своей писаниной, я несколько раз побывал в Центральном архиве Военно-морского флота, в Гатчине, наткнулся на интереснейшие документы. Но ссылаться на них, конечно, не могу: цензура не пропустит, скажем, ультиматум восставшему Кронштадту, подписанный Троцким. Или любую информацию о репрессиях, обрушившихся на флот в тридцатые годы.

Жаль, что нет у нас своего Дубчека.

— Дима, — говорит Рая, — сейчас звонила Маша. Валя опять слег с пневмонией. Очень тревожно. Он хочет с тобой повидаться.

— Он в Кронштадте?

— Да, в Морском госпитале. Маша спрашивает, можешь ли приехать в воскресенье? Я сказала: да.

— Правильно сказала. Я поеду.

Как раньше из Питера ездили в Кронштадт? Электричкой до Ораниенбаума (то есть Ломоносова), там топай к пристани, где уже выстроилась очередь, — и на рейсовом пароме прибудешь в Кронштадт. А теперь у Тучкова моста садишься на рейсовое судно — и с ветерком прямо в любимый город.

Лед на заливе только начинал таять, но по пробитому в нем фарватеру движение шло беспрерывно. Я сидел в салоне ходко идущего катера, смотрел в широкое окно, как из тумана проступает громада Морского собора — византийский купол с обрубком креста и золотистым орнаментом понизу, серо-желтый фасад с высокими прорезями окон… а вот и трубы Морского завода возникли… слитная масса серых, краснокирпичных домов.

О как давно мы не виделись! Здравствуй, здравствуй, Кронштадт!

Схожу на причал Ленинградской пристани — будто кидаюсь очертя голову в свою молодость…

Вот, вернувшись из сумасшедшего боевого похода, приближаемся к стенке Купеческой гавани, а там трубит и лязгает бригадный оркестр, и мы сходим, пошатываясь, на земную твердь, и тут — рукопожатия комбрига, и улыбки, и поросята по числу потопленных кораблей… и баня, баня — осуществленная мечта…

Иду не торопясь. Меня обгоняют прибывшие на том же катере пассажиры: несколько флотских офицеров, чином пониже моего (я ведь капитан второго ранга в отставке), и группа шумных, веселых матросов, — возглавляющий их молодой

мичман гаркнул, чтобы построились.

И женщины, конечно. Деловитые обитательницы Кронштадта. Никаких прежних ватников, на всех приличные пальто, на ногах новомодные дамские сапоги. Слышу обрывки разговоров:

— «Как это нету? — говорю. — Только что висел блузон цвета маренго». А он: «Не было маренго». — «Был, — говорю, — вы его под прилавок убрали». А он: «Проходите, женщина, не мешайте работать». Такой грубиян!

Идут, говорят все разом, женщины это умеют и прекрасно понимают друг друга.

Ох!.. Такой знакомый профиль, бело-розовая щека, прямой, будто по линейке, нос, светло-карий глаз…

«Ну-ну, успокойся, — говорю себе, — чертово воображение. Ничего похожего… походка другая, и ростом ниже, и, как говорят на флоте, задние черты лица пошире…

Все позади, господин кавторанг… что было, то уплыло…»

В Морском госпитале — все, как прежде. Такие здания строились на века, *навсегда*. Конечно, оно отремонтировано, покрашено — ничто не напоминает о войне. В гардеробе я сдал шинель (вообще-то, я теперь хожу в штатском, но в Крон-

штадт приехал в полной морской форме, только без кортика) и, накинув белый халат, пошел к Травникову.

Он лежал в четырехместной палате, но был тут лишь один сосед — седой человек спал, похрапывая, под казенным серым одеялом.

— Привет, Валя.

— Привет, — тихо, хрипло отозвался Травников. — Рад, что ты приехал. Возьми стул. Вон, у окна.

— Тебе привет от Раи. И вот, сырники она напекла.

Я выложил из портфеля на тумбочку пакет с сырниками и банку с яблочным компотом поставил.

— Спасибо, — сказал Валя. — Я почти не ем.

— Надо кушать. — Я глядел на его обтянутые скулы, на запавшие щеки. — Разве можно не кушать?

Только зеленые глаза с выражением неудовлетворенного любопытства остались от прежнего Вальки Травникова.

— Не хочется… А ты лысеешь, Димка… Я хотел тебе сказать…

Его сотряс кашель. Он кашлял долго, мучительно. Из бутылки, стоявшей на тумбочке, я налил

ему воды в стакан. Наконец кашель отпустил Валю. Красный, бурно дыша, он лежал, закрыв глаза. Я подумал: не позвать ли врача? Но вот он отдышался, глаза раскрылись.

— Валь, что ты хотел сказать?

— Я вспомнил, — хриплым полушепотом проговорил он, — там, в плену… в Финляндии… в лесу убивали оленя… голодные же были… топорами били… а у него… у оленя слезы текли… глаза большие и… ну, тоскливые…

Мы помолчали. Картинка представилась мне жутковатая. Но не для того же, чтобы рассказать про несчастного оленя, просил Валя меня приехать?

— Дим, — сказал он, — я вот что хотел…

Опять он помолчал. Странно, он будто не находил нужных слов.

Я заговорил о положении в Чехословакии: эти ребята, Дубчек, Смрковский, Млынарж и другие, уже примелькались их фамилии, они затеяли доброе дело — социализм с человеческим лицом. Это разве плохо, если больше свободы?

— Наверно, неплохо, — вяло согласился Травников, — но если они перебегут на Запад…

— Да с чего они взяли, ну, наши начальники, — с чего взяли, что чехи непременно хотят на

Запад? Все эти крики про ревизионизм…

— Дима, оставим чехов в покое.

— Это было бы лучше всего.

— Вот что я хотел сказать. — Голос у Вали вдруг окреп. — Я рад, что ты был в моей жизни.

Удивленно я смотрел на него. «Был»! Почему «был»?

— Валька, чего это ты? Я тоже рад, что ты *есть* в моей…

— Нет. Не лукавь. Не было у тебя радости от моей… от моего присутствия в твоей жизни. Слушай! Дай договорить до конца. В курсантские годы я отбил у тебя девушку. Ты любил ее, а я увел…

— Она в тебя влюбилась, и этим все сказано, — вставил я, отведя взгляд.

— Нет, не все! Не перебивай, дай высказаться… Я не должен был. Понимал, что так нельзя… что это предательство… Но *это* оказалось сильнее — ну, страсть… В книгах перелистывал страницы, где про любовь, — а-а, пустое… придумано сочинителями… подумаешь, Ванька Маньку полюбил… А вот самого прихватило — и понесло неудержимо… Не сумел устоять…

Я молчал. Из коридора донесся выкрик женщины: «Грелку ему в ноги положи!» Жизнь шла обыкновенная, не придуманная сочинителями.

Кому-то нужен блузон цвета маренго… другому — просто ноги согреть… А мне было грустно, грустно… такое, черт дери, стеснение в груди…

— А ты мне отплатил, — продолжал Травников. — Когда на ладожском льду осколок мины порвал мне легкое, ты потащил меня на волокуше. Дотащил до санчасти. Спас меня. Отплатил за мое…

— Ладно, Валя. Хватит.

— Нет. Ты слушай. Другого случая не будет поговорить. Осенью сорок второго моя лодка погибла. И я вместе с ней… ну, считался погибшим. Маша пошла за тебя. Ты ее вытащил из отчаяния… Все правильно, Дима!.. Но я-то не погиб. Вода не берет меня. Только ударила по легким ледяным холодом. Как я выжил — не знаю. Выжил в плену. В родном лагере выжил! А это, знаешь, труднее всего… Дай-ка еще воды глотнуть. — Валя сделал несколько глотков, в горле у него будто клокотало. — Ну вот. Я, значит, вернулся и… Знаешь, самое страшное — когда свои не доверяют. Подплав от меня отказался.

— Не подплав, — уточнил я, — а политуправление флота.

— В общем, я оказался не нужен. Даже вспомогательный флот не мог меня принять — непро-

писанного чувака без документа об образовании. Отчаянное положение. Ты снова меня спас — нашел и привез мой диплом. Я вернулся на флот, пускай вспомогательный. К делу своей жизни…

— Вот и хорошо, — сказал я, — и давай закончим этот…

— Нет! — Травников опять закашлялся. — Ох-х, — выдохнул он. — Дим, за твою помощь я отплатил — снова увел Машу…

— Хватит, Валя! Чего ты жилы рвешь… себе и мне… Заткнись!

— Да-да, скоро заткнусь… навсегда… Дима, я кругом виноват перед тобой… хочу повиниться… Прости.

Мы в упор смотрели друг на друга.

— Тогда и я повинюсь, — как бы со стороны услышал я свой голос. — В октябре сорок четвертого от Пашки Лысенкова я узнал, что ты жив, возвращен из плена. Но Маше не сказал. Только через полгода она узнала — из твоей телеграммы… Нет, ты не думай, что я… нет-нет, я был рад, что ты спасся… Но *промолчал*… Не мог я… невозможно это было — сказать ей… Знал, что подло поступаю, но…

Я умолк, опустив голову.

Наши души, наши жизни, переплетенные туго,

как волокна в манильском канате, вопили от нестерпимой боли. Никому, кроме нас двоих, этот вопль не слышен. В больничной палате, скудно освещенной пасмурным днем, столпились, тесно стоят, касаясь друг друга железными плечами, прожитые десятилетия. Они невидимы, тени не отбрасывают (кто там, в немецком романе, продал черту свою тень?) — но они здесь, никуда не делись, это и есть наша жизнь…

— Не можешь простить, — прохрипел Травников. — Понимаю…

— Прощаю, прощаю! — выкрикнул я.

— Дай мне руку.

Его рука была горячей. Дыханье клокотало. Опять я подумал, что надо позвать врача.

Но тут вошла пожилая медсестра со стеклянной бутылочкой.

— Валентин Ефимыч, засучите рукав.

Придвинула стояк капельницы, приладила флакон и, нагнувшись, нацелилась иглой на руку Травникова.

Я простился с Валей и вышел из палаты. По коридору быстро шла женщина в белом халате, с полосатой сумкой. Наплывали знакомые — о какие знакомые! — светло-карие глаза. Я остановился.

— Здравствуй, Маша.

— Вадя! Как хорошо, что ты приехал. Валя очень хотел повидаться…

— Мы повидались. Поговорили. Ему поставили капельницу.

— Да… Положение очень серьезное. Отек легких…

— Он поправится. Он же сильный. Поплавает еще.

— Поплавает? — Знакомые губы слегка раздвинулись в улыбке. — Вряд ли. Но надеюсь… Надеюсь, что поправится.

Травников сумел дотянуть до августа. Хоронили его в тот день, когда наши танки въехали в Прагу.

День был не холодный, но ветреный. Над кладбищем за Кронштадтскими воротами кружили желтые облетевшие листья. Оркестр трубил траурную печаль, тихонько ухал барабан.

Вокруг гроба народу собралось много. Наверное, весь ОВСГ — Отдел вспомогательных судов и гаваней — провожал капитана Травникова в последнее, так сказать, плавание. Стояли люди большей частью бывалые, плававшие под бомбами, с жесткими обветренными лицами. Но были тут и моряки послевоенного набора, среди них и

вовсе мальчишеские лица виднелись. А это кто? Инвалид с большой седоватой бородой, кривобокий, стоял, опираясь на палку, на меня сквозь очки посматривал. Странный какой-то.

Гроб, поставленный на горку вырытой земли, утопал в цветах, больше всего тут лежало гвоздик, красных и белых. Маша стояла у изголовья, одетая во все черное. Ветер шевелил ее легкие волосы. Лицо было напряженное — она, наверное, изо всех сил удерживалась, чтобы не сорваться в плач. Рядом, держа ее под руку, высилась молодая женщина волейбольного роста, в длинном плаще-болонье. Гладкие белокурые волосы стянуты, схвачены над затылком блестящей застежкой и ниже распущены по спине. Вот ты какая стала, Валентина. Только по зеленым — травниковским — глазам можно узнать ту девочку, для которой я когда-то делал бумажного голубя… которой привез из Хельсинки роскошную куклу, умеющую раскрывать и закрывать глаза…

Господи, сколько лет прошло… и *каких* лет!..

Оркестр умолк, начались надгробные речи. Я не разбираюсь в знаках различия на гражданском морфлоте, но, судя по обильным нашивкам, первый оратор был из крупных начальников. Меднолицый, очень упитанный, он начал

речь так:

— Товарищи! Мы потеряли капитана Валентина Травникова — передовика безаварийного плавания…

Я смотрел на моего заклятого друга. Вот и закрылись, Валька, твои неотразимые глаза. Твое лицо с ввалившимися щеками и выпятившимися скулами — спокойно. Напрыгался, навоевался, выдержал ужас плена и «фильтрации». Одержал победу в нашем многолетнем соперничестве: самая красивая женщина — твоя. Вот она стоит над твоим гробом, с глазами, полными слез.

Тебя не взяла вода, не взял огонь. Даже дуболомы, не допустившие твоего возвращения на подплав, не сломили твою волю. Помню, в училище говорили: «Ну, Травников далеко пойдет». И пошел бы — сплошной отличник, спортивный, удачливый, — точно, далеко бы продвинулся на флоте, в адмиралы вышел бы, если б не катастрофа на втором году войны. Досталось тебе, Валя, до красной черты. Но ты выстоял. Пускай не в подводном плавании, пусть в каботажном, на вспомогательном флоте, ты стал хорошим капитаном. Вон как тепло говорят о тебе сослуживцы.

— …Как в своей квартире, так и в море ориентировался, — басил загорелый геркулес средних

лет в полной морфлотской форме, при галстуке. — Ну, прирожденный он был моряк, Валентин Ефимыч. Мне, как его помощнику, очень даже хорошо было служить и плавать.

— …Строгий был, да. Но по справедливости. Не кричал никогда, на сознательность нажимал…

— …В шестьдесят втором, осенью, штормило — ужасное дело. Мы в Таллине стояли, вдруг дали команду идти по-срочному на Осмуссар. Там, к северу от него, крушение потерпел сухогруз. Помощь запросил. Мы пошли. А шторм! Ну, семь баллов, ужасное дело. Так он, Валентин Ефимыч, в эту чертову болтанку сумел подойти и спасенье людей организовал…

А бородатый инвалид кривым боком подступил к гробу и заговорил резким голосом:

— Знаю Травникова с сорок первого года. Мы, курсанты училища Фрунзе, держали оборону Питера. У Красного Села держали, потом на Свири…

Япона мать! — вспомнил я травниковскую присказку. Это же Савкин! Владлен Савкин, с ним Валя был в плену… Бороду отрастил, как старик… узнать невозможно…

— …Взводом командовал, — продолжал выкрикивать Владлен Савкин в настороженную тишину, — и не только, значит, храбрость, морпе-

хоте ее не занимать, но и командирские качества у Валентина имелись. Мы с ним в сорок третьем у финнов в плену встретились. Так он и в плену…

— Вы кто такой? — прервал Савкина меднолицый начальник плавсредств.

Но Савкин вроде и не услышал окрика, продолжал еще громче:

— …И потом в нашем, советском, плену достойно держался. Я еще сказать хочу: мы не должны радоваться, что сегодня наши войска вошли в Чехословакию. Нас чехи не звали…

— Вы что тут демагогию разводите? — крикнул меднолицый начальник. — Как это не звали? Утром ясно по радио сказано: обратились с просьбой о защите социализма…

— Обратилась группка политиков, которые обанкротились. Они не представляют чехословацкий…

— Это Дубчек обанкротился и его покровители на Западе! Если б не наша помощь, то в Прагу вошли бы…

— Вадя! — обернула ко мне Маша лицо со страдальчески вздернутыми бровями. — Да что же это…

В следующий миг я, прокашлявшись, выкрикнул:

— Перестаньте! Вы не на митинге! Над гробом — нельзя тарахтеть о политике.

— Это верно, товарищ кавторанг, — прищурился на меня меднолицый начальник. — Но оставить без ответа безответственные… хм… ошибочные политические выпады тоже нельзя. Это же демагогия — пришел какой-то, неизвестно откуда…

— Известно, — перебил я его. — Это Владлен Савкин, он был с нами, с Травниковым и со мной, в бригаде морпехоты. Дрался храбро, не хуже других бойцов, сильно израненный попал в плен. Тут тепло говорили о нашем боевом друге Валентине Травникове. Могу добавить: он и офицером-подводником был образцовым. В сорок втором лодка, на которой он командовал боевой частью два-три, совершила героический поход, потопила пять кораблей противника. Травников был награжден орденом Красного Знамени…

И снова вступила тягучая медь оркестра. Двое кладбищенских служителей подняли длинную крышку, но замерли, не опустив ее. Маша, склонившись над гробом, целовала Травникова, плакала навзрыд. Оркестр сочувственно, негромко изливал печаль.

Валентина и седая женщина, в которой я узнал

их соседку Ирину, потянули Машу за руки. Застучали молотки, прибивая крышку гроба. Маша, содрогаясь от стука, уткнула лицо в плечо дочери.

Гроб опустили на канатах. С невыносимо сиротливым видом он стоял внизу, в глубокой могиле. Я бросил горсть земли на его крышку. Гробовщики быстрыми взмахами лопат засыпали могилу. На небольшой холмик положили венки.

Вот и все. На сорок восьмом году оборвалась твоя недолгая жизнь, Валя Травников, безаварийный капитан. Недоплавал, недолюбил, недочитал; «земную жизнь пройдя до половины», ты лег в желто-серую землю Кронштадта.

Прощай!

Поминки были в кафе на Коммунистической, угол Июльской. Герань в горшках на окнах оживляла скромное убранство зала. На столах была водка, закуски во главе с фиолетовым винегретом, и подали горячее — котлеты с гречкой. Говорили тосты.

Я сидел рядом с Владленом Савкиным.

— Тебя трудно узнать, Влад. Зачем отрастил такую бороду?

— Для красоты, — ответил он, отправив в щель между усами и бородой кусок котлеты. — Уж

лучше борода, чем плешь, — кивнул он на мои глубокие залысины.

— Допустим. Как тебе живется?

— Хорошо живется. Помнишь, был такой Бела Кун, мерзавец и убийца? Вот я живу на улице его имени.

— Валя мне говорил, что ты жил на проспекте Кирова.

— Ну, жил. А когда отца угробили и меня посадили, ту квартиру отобрали. — Владлен дожевал котлету, отчетливо стуча зубными протезами, и вперил в меня немигающий взгляд. — Ты как относишься к сегодняшнему вторжению?

— Отрицательно отношусь.

— Мы с Ксенией Ивановной готовим письмо с критикой доктрины Брежнева.

— Что за доктрина?

— Об ограниченном суверенитете. Захотели демократический социализм? Хер вам! У нас социалистическая демократия: делайте что велят. А если ослушаетесь, то, извините, ваш суверенитет танки раздавят.

— А кто это — Ксения Ивановна?

— Морозова. Ты что, не знаешь?

Ну, Морозова в Ленинграде, конечно, известна. Журналистка, литературный критик. Два года

назад, когда осудили Синявского и Даниэля за то, что в Европе издали их книги, которые у нас не изданы и никто не читал, — она, Морозова, распространила протестующее письмо. Нельзя, дескать, сажать в тюрьму писателей, даже если они критикуют какие-то действия власти. Ох и обрушились на Морозову газеты, не только у нас в Питере, но и в Москве. Ее обвинили в идеологической незрелости. В забвении основополагающих принципов марксизма-ленинизма, ну и все такое. Исключили Морозову из Союза журналистов, еще откуда-то.

— Железная женщина, — говорил Савкин. — Не терпит вранья. Не любит этих — писак, конформистов… Да ведь и ты в газеты пишешь. Может, и ты конформист?

— Нет. Даже не очень знаю, что это такое. Пишу о том, как морская пехота дралась под Питером. И на Свири, за Ладогой. И конечно, о подводниках…

— А-а, Свирь! Ты напиши о нашем рейде по финским тылам. И как меня полумертвого в лесу забыли.

— Тебя не забыли. Но была такая обстановка…

— Такая обстановка, что кто не сдох в финском плену, их запихали в родной советский

лагерь — давай рубай уголек. Вот напиши про эту сталинскую заботу.

— Написать, конечно, можно…

— И нужно! — выкрикнул Владлен. И состроил пренеприятную гримасу. — Но нельзя!

Что тут скажешь? Мы не чехословаки, цензуру не отменили. Ни одна газета, если не хочет, чтобы ее с треском закрыли, не напечатает статью о том, как у нас мучили солдат, выживших в немецком (да и в финском) плену.

«Сталинская забота»! Конечно, после Двадцатого съезда отношение к Сталину изменилось. Он объявлен нарушителем ленинских норм, социалистической законности. Н-да, законность, какая она ни была, сильно при товарище Сталине пострадала — от произвола власти. Однако считается, что ошибки сталинского руководства преодолены, и поэтому… А что поэтому? А вот — заткнули рты писателям, прикрикнули: хватит оплевывать прошлое… вперед, в светлое будущее! Хрущев, конечно, наделал ошибок, но ведь его сняли по-хорошему, то есть не судили, и его намерение через двадцать лет попить чайку при коммунизме не отменено…

— Да, нельзя, — отвечаю я Савкину несколько раздраженно. — Я не лезу на рожон. И тебе не

советую.

— Спасибо за совет! Сенька бери мяч.

— Что?

— Это по-английски «большое спасибо».

— А-а…

— А-а, — передразнил Владлен. — Надо вежливо ответить: «Денег меньше нет».

— Это «don't mention it»? — Я засмеялся.

— Наконец-то понял. Ну, давай еще. — Он плеснул водку в наши рюмки. — Как-никак мы с тобой однополчане. Вместе Россию защищали от фашизма. Ну, будь!

Маша сидела между дочкой и травниковским помощником, загорелым геркулесом. Тосты шли один за другим — обещали хранить светлую память о капитане Валентине Ефимовиче, а ей, Маше, наговорили много теплых слов — и она выпила, порозовела, отогрелась после кладбищенской оторопи. Когда я подошел к ней проститься, она подняла на меня взгляд — и я увидел: золотое пятнышко было на своем месте в правом глазу.

— Ты уезжаешь, Вадя? Спасибо за память… за все… Валя часто о тебе вспоминал.

— Я тоже — думал о его поразительной судьбе.

— И знаешь, кого он еще вспоминал? Жору

Горгадзе. Ты помнишь его?

— Конечно.

— Жора погиб у Вали на глазах в таллинском парке… как он называется…

— Кадриорг. До свиданья, Маша. Держись. От Раи тебе — огромное сочувствие.

— Знаю, Раечка звонила вчера. Сказала, что болеет. У нее артроз?

— Да.

— У мамы тоже болят суставы, ходит с трудом. Знаешь, Вадя, ей помогает… как же это называется… В Таллине есть клиника, где лечат… а, вспомнила, процедура называется «дарсонваль».

Маша поднялась, мы поцеловались на прощанье, я направился к выходу.

— Вадим Львович!

Я оглянулся. Ко мне подошла Валентина. Ну и вымахала она — на полголовы выше меня. Длинноногая, как Травников, но лицом больше похожа на маму: красивая, ясноглазая.

— Какой я тебе Львович? Просто Вадим.

— Да? А может, дядя Вадя?

У нее и улыбка в точности как у Маши.

— Можно и так. Как тебе живется? Я слышал, ты поёшь?

— Ой, вообще-то, преподаю в школе химию. Но

немножко и пою.

— Рая сказала, что ты солистка в вокальной группе, как же она называется — кажется, «Буренушка».

— «Аленушка»! — со смехом поправила Валентина. — Это вокально-инструментальный ансамбль, нас часто приглашают на радио, даже на телевидение. Вы не слышали?

— Нет. А ты помнишь, я когда-то привез тебе из Финляндии куклу, которая…

— Ой, конечно! Вы не поверите, она сохранилась, только глаза перестала раскрывать. Уснула. Дядя Вадя, — понизила голос Валентина, — просьба к вам. Понимаете, мы, ну наш ВИА, получили приглашение в Финляндию. В октябре, наверное, поедем. Так я подумала… Там ведь, в Хельсинки, живет мой дед. Мамин отец, да? Как его имя?

— Кузнецов Терентий Максимович.

— Если я навещу его? Ничего ведь дурного в том, что родственника навестишь?

— Конечно, ничего дурного. Не знаю, правда, жив ли он.

— Вот я и подумала, надо навестить деда. Вы адрес знаете?

Она еще тише это сказала. И вид у нее был такой неуверенный, даже виноватый. Черт дери,

подумал я с внезапным раздражением, чего мы боимся? Откуда эта вечная виноватость?

— Улицу помню, — сказал я. — Лённротинкату. У них был знаменитый писатель Лённрот, он записал финский эпос «Калевалу». Вот улица его имени. А номер дома… — Я задумался. И так живо вдруг представилось, как мы с Терентием вылезаем из его зеленого грузовичка… и дом ясно увидел… — Номер четыре. А этаж третий.

— Ой, дядя Вадя! — заулыбалась Валентина. — Большущее спасибо!

Глава тридцать первая
Nil Admirari[14]

Осень девяностого года мне запомнилась не объединением двух Германий. Не «парадом суверенитетов» союзных республик в нашей перестраивающейся стране. Даже не присуждением Горбачеву Нобелевской премии мира. Нет! Нехваткой курева запомнилась та осень. Вам, может, наплевать, но нам, курякам, это нестерпимо. В августе прокатились своего рода «табачные бунты». В «Вечерке» я прочел, что из двадцати четырех табачных фабрик закрыты шестнадцать. Черт-те что творилось в стране. Нехватка продовольствия — дело, в общем, привычное, она всю дорогу с нами. Но когда вслед за водкой, мясом и сахаром исчезают из продажи сигареты, то это, ребята, никуда не годится!

Так вот: «ребята» зашевелились. Объявлена *выдача талонов* на сигареты. Талоны! Разумеется, это карточки. Но правительство не хочет пугать население этим словом: ведь карточки

---

[14] Notes: 14
Ничему не нужно удивляться *(лат.)*.

хорошо нам знакомы, они долго, долго означали полуголодное (а в Питере и просто голодное) существование, вечные очереди, постоянную замену продуктов (мяса на жилы, сахара на липкие конфеты-подушечки и т. п.). Талоны — это звучит лучше. Не устрашает. Мы, население, получали талоны на сахар, на мясо, на водку. От очередей талоны, конечно, не избавили, очереди — как же без них?

Ну вот и на сигареты выдают талоны. Я пошел получать их в ЖЭК вместе с Раей: у нее в три часа было назначено партсобрание. Она ведь партийная. Шесть лет назад, когда ей стало невмочь преподавать в школе из-за боли в ногах, Рая уволилась, вышла на пенсию и встала на учет в парторганизацию при домоуправлении. Там были, извините за выражение, одни *старпе́ры*, любители длинно поговорить о том, что напечатано в газетах. Рая очень уставала от сидения на собраниях.

Меня тревожило, что ходить ей становилось все труднее. Помогали пятигорские ванны, но в ходе перестройки куда-то подевались путевки в Пятигорск. В семидесятые годы мы дважды ездили в Либаву: Карасев, милый мой, шумный Карась, вызывал Раю на курс уколов гидрокорти-

зона. Он верил в целебную силу этого стероида и сам делал инъекции в тазобедренные суставы. После первого курса Рае заметно полегчало. Снова, как в молодые свои годы, она зачастила в шахматный клуб, подтвердила в турнире первый разряд, ввязалась в долгий турнир по переписке. Но спустя несколько месяцев боли в суставах возобновились. Второй курс уколов помог уже не так обнадеживающе. Потом Карасев заболел, что-то неладное было с почками, — он демобилизовался, уехал с женой в родной Харьков. Наша переписка не то чтобы угасла, но ограничилась поздравительными открытками по праздникам и к дням рождения. Однако было и большое письмо, в котором Геннадий настоятельно рекомендовал обратиться в Москву, в институт ортопедии (ЦИТО), где разработана методика замены больного сустава искусственным. Конечно, мы навели справки. В ЦИТО действительно делают такие операции, но есть случаи отторжения: организм как бы не принимает искусственный сустав. Рискованно! Тем более что у Раи поражены деформирующим артрозом оба сустава. Мы решили не торопиться с операцией. Райка хоть и прихрамывает, но все же ходит… какое-то время еще есть… подождем повышения результативно-

сти операций…

Итак, я проводил Раю на Большой проспект, в ЖЭК. Она шла, одной рукой держась за меня, а другой — постукивая палочкой. Аккуратно обходила лужи от утреннего дождя и — видел я боковым зрением — улыбалась. Эта вроде бы беспричинная улыбка появлялась у нее, когда ничего не болело и я был рядом. Милая моя женушка, тебе, в сущности, так мало надо. Тут и бледное солнце, заблудившееся в вечной облачности, выкатилось минут на десять.

У входа в полуподвал, где помещался ЖЭК, стояла очередь — почти сплошь мужики, курящий народ.

— Ку-уда без очереди? — заворчали было.

Но Рая объяснила: ей не за талонами, а — в другую сторону коридора, в комнату для собраний. И спустилась… чуть не написал «в преисподнюю». Ну а я занял очередь и стал медленно, шажок за шажком, продвигаться.

Над очередью гудели голоса, раздавались смешочки, — ну как обычно в очередях.

— А жаль, что кончилась «Рабыня Изаура», — сказал мужичок-боровичок в меховой кепке. — Такая картина! От волнения усраться можно.

Впереди засмеялись.

— Каждый волнуется по-своему, — сказал кто-то.

Толстый, в черной коже человек одернул «смехунов»:

— Ну чего, чего ржете? У нас тоже интересное кино. В Подмосковье — слыхали? — священника топором зарубили.

— Ух ты! А за что?

— Он, я слыхал, сильный был проповедник. Александр Мень его звали.

— Мень — что за фамилия?

— Он из евреев. Которые, значит, крестились.

— Ну да. Они всюду пролезут.

— Вы бы постыдились такое говорить.

— Нечего мне стыдиться. Раньше лезли в органы, попов громили, а теперь время переменилось — в проповедники полезли.

— Времена переменились, точно, а вы как были антисемитом, так и остались.

— Ну ты! В морду захотел?

— Тихо, тихо! — раздались голоса. — Успокойтесь, товарищи!

— Были товарищи, — вклинился вдруг и женский голос, — а теперь все сплошь — господа. Хи-хи-хи…

Среди, значит, «сплошных господ» протор-

чал я целый час в очереди за талоном, а потом еще около часа в другой очереди — в магазине, где эти талоны отоваривали. И наконец достиг цели — стал счастливым обладателем блока американских сигарет «Кэмел», целых десяти пачек с изображением верблюда. Такая удача! В очередях, где всегда есть сведущие люди, говорили, что правительство закупило в США сигарет на триста миллионов долларов. Оно, правительство, никогда не постоит перед расходами, если народу что-то нужно, — известное дело.

Поспешил домой — горячего чаю принять в жаждущее горло. А потом намеревался я снова пойти в домоуправление — вытащить Райку с партсобрания, — там ведь как начнут обсуждать, осуждать, так долго не могут закончить. И вот отпираю дверь, вхожу в прихожую — и слышу голос моей жены:

— Нет, Глеб Михайлович, не советую конем на эф-пять. Он сыграет ферзем на же-шесть, усилит давление на ваш королевский фланг…

Войдя в гостиную (так мы называем большую комнату), вижу Райку, сидящую у журнального столика с телефонной трубкой у уха. Коротко взглянув на меня, она продолжает разговор с Глебом Михайловичем, этим страстным шахма-

тистом.

Да, такая странность: человек необычайный, он не может обойтись без Райкиных шахматных советов.

Несколько лет назад Рая обыграла Глеба Михайловича Боголюбова в турнире по переписке. В последней присланной открытке он признал свое поражение и выразил восхищение ее игрой. Старомодная учтивость письма позабавила нас. В ответной открытке Рая поблагодарила его и пригласила в гости: Боголюбов жил неподалеку, на 6-й линии. И он пришел! В свои семьдесят он вовсе не походил на старика: поджарый, с прямой спиной, с приятной улыбкой. На его обширной лысине располагалось родимое пятно, не такое большое, как у Горбачева (похожее на Корейский полуостров), но и не копеечного диаметра.

Биография у него просто фантастическая.

Он приходил два-три раза в месяц играть в шахматы. Рая перестала участвовать в турнирах по переписке, у нее хватало дел: домашнее хозяйство, уроки немецкого языка (приходили три школьницы, Рая готовила их к поступлению в иняз), да и чтение занимало много времени — столько издавалось теперь книг, прежде напрочь запрещенных, — происходило прямо-таки цве-

тение литературы. Ну вот. А Глеб Михайлович продолжал играть в турнирах по переписке — шахматы были для него, как он определил, «пиршеством ума».

— Глеб придет около восьми, — сказала Рая, положив трубку. — Ну что, получил?

— Да. Почему сегодня собрание рано кончилось?

— Оно не кончилось. — Рая вскинула руки и пригладила свои густые седеющие вихры. — Просто я ушла.

— То есть как? — не понял я. — Что это значит?

— Это значит, что я написала заявление о выходе из партии.

— Ты вышла из партии? — Я сел напротив, воззрившись на нее. — Прямо на партсобрании?

— Прямо на партсобрании мне стало невмоготу слушать нашего секретаря Блинова. Опять он завел разговор, что мы должны поддержать Нину Андрееву… осудить антисталинские публикации…

Уже более двух лет прошло со дня появления в «Советской России» статьи некоей Нины Андреевой, преподавателя химии Технологического института, — огромной статьи «Не могу поступиться принципами», — а споры вокруг нее не

утихают. Говорили, что статью одобрил Лигачев: дескать, вот как нужно писать. Но в «Правде» появилась статья Яковлева, критикующая принципы, которыми не могла «поступиться» Андреева. Лигачев тут не упоминался, однако было ясно, что его и возглавляемых им аппаратчиков толкнули локтем в бок: угомонитесь, мол, не мешайте перестройке. Но ведь у нас теперь гласность. Они не угомонились. Пошли статьи о том, что перестройке препятствует либеральная интеллигенция — смущает умы, чернит нашу историю, вешает сплошной *негатив* на Сталина…

— Блинов как заведет о Сталине, — говорила Рая, помавая рукой, — так глаза закатывает от страстной любви. Ну репрессии, ну был жесток к врагам, но ведь социализм построил… одержал победу в Великой Отечественной… Я не выдержала, крикнула, что победу одержал народ. Как они накинулись на меня! Димка, ты не представляешь… Я и такая, и сякая… Я кричу: «Лжете вы!» А Храпова, старая стерва, хрипит, что я антипартийный элемент, который надо гнать из партии. Блинов стучит карандашом по графину: «Тихо, товарищи!» И на меня уставил свои бельма: «Вы, Раиса Михална, прислушайтесь к голосу массы». Димка, я разозлилась ужасно… «Голос массы»!..

Рая содрогнулась, уткнула голову в ладони.

— Райка, ну что ты! Не плачь.

Она подняла на меня глаза — в них не было слез, а была усталость, печаль… что-то такое…

— Там на столе, — сказала она, — листовки какие-то лежали. Я схватила одну, на ее обороте написала заявление, две с половиной строчки. «Заявляю о своем выходе из партии. Не считаю возможным состоять в партии, руководимой Полозковым. А также Блиновым». Расписалась, положила сверху партбилет и говорю: «Вот, выполнила ваше указание — прислушалась к голосу массы». И ушла.

Да, другие времена настали. Прежде выход из партии был практически невозможен. То есть, конечно, провинившихся исключали, выгоняли из стройных рядов. Но вот так — добровольно заявить о выходе? «Да как ты посмел? Да кто ты такой? Забыл, как тебя определил классик: „Единица! Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? — Разве жена! И то если не на базаре, а близко“. То ли дело партия. Это „…единый ураган… рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак“».

Н-да, громящий кулак…

А теперь — *перестройка*! Единица заговорила.

У нее оказался голос, отличный от общего хора. Этакий петушиный выкрик на ранней заре. Когда телевидение показало съезд народных депутатов, мы с удивлением слушали речи, прежде совершенно невозможные. «Как будто ожил Конвент эпохи французской революции», — сказал я. «Ну уж Конвент!» — возразила Рая.

А многотысячные митинги — там какие речи раздавались! Мы ходили на Дворцовую площадь, слушали, видели вокруг живо реагирующих — одобряющих или негодующих — *свободных* людей. Мы радовались: неужели дожили до демократии? Неужто разжался громящий кулак?..

— Да, конечно, время больших надежд, — сказал Глеб Михайлович. — Но, как всегда при большой стирке, всплывает пена.

Он отпил из рюмки. Коньяк он пил мелкими глотками, как чай. Как всегда в не летнее время, на нем был свитер, сотканный из крупных черных и желтых ромбов. (Глеб Михайлович шутил: «Я долго был засунут в норильский барак, а теперь сунулся в шахматную доску».) Райка-то сегодня от непременной партии отказалась, сославшись на головную боль. А я сгонял с Глебом блиц, проиграл, и сели мы пить чай и обсуждать текущий момент. К чаю был у нас коньяк из сол-

нечного Азербайджана и принесенный Глебом торт со странным названием «Птичье молоко».

С событий в Азербайджане мы и начали разговор — об армянском погроме в январе в Баку и вводе туда войск, о проблеме Нагорного Карабаха и о требующей независимости Прибалтике…

— Вы сказали «всплывает пена», Глеб Михайлыч. Имеете в виду общество «Память»? — спросил я.

— Да, всех этих оголтелых. Их сборища в Румянцевском сквере. Это же штурмовики, они уже готовы громить.

Глеб Михайлович отхлебнул из рюмки. Поглядел на нас с легкой своей улыбочкой. Столько обрушилось на него бед: восемнадцать лет в лагерях, каторга, голод, полярная ночь, — а он выжил. Прямая спина, негромкий голос и улыбка. Удивительный человек!

— Но главная опасность — в самой системе власти, — продолжал Глеб Михайлович. — Горбачев пытается ее подправить, смягчить; гласность, плюрализм — это хорошо, но — мало. Ему очень хочется, чтобы страна выглядела благополучной. Вбухали миллиарды в промышленность, в сельское хозяйство. Ускорение! Но система — неэффективна. Непроизводительна, малоподвижна.

— Она очень даже подвижна в производстве оружия, — говорю, подливая коньяк в рюмки.

— Совершенно верно. Пушки вместо масла. Но, слава богу, кончилась холодная война. А масла больше не стало. На полках в магазинах по-прежнему вместо продуктов — брежневская продовольственная программа, ее на хлеб не намажешь. Ошибка Горбачева в том, что он не может себе представить *иную систему*. Только привычная, но улучшенная — то есть все та же, плановая. А нужен решительный поворот к рыночной системе.

— Ну вот предложил же Явлинский программу перехода к рынку.

— Да, программа «Пятьсот дней». Но Горбачев колеблется. У него хватило решительности принять антиалкогольную программу — загубили виноградники, но меньше пить не стали. А ввести «Пятьсот дней» — не решается. Рынок — это непривычно. Как это можно — без контроля государства?

— А можно? — спросил я.

— Не только можно — нужно! Экономика на краю пропасти, необходимо скорейшее введение частного предпринимательства. Только это спасет Россию.

— Однажды уже была такая попытка — в двадцать первом ввели нэп.

— Совершенно верно, — кивнул Глеб Михайлович. — Ленин не Горбачев, у него-то хватало решимости. Большевики никоим образом не были готовы управлять Россией, но поторопились захватить власть. Разогнали Учредительное собрание. Огромная страна умылась кровью. Нэп был спасением. Единственное положительное действие Ленина: отменили продразверстку, дали крестьянину перевести дух. Разрешили частную собственность, и вскоре, как из-под земли, а точнее именно из нее, матушки, появилось в голодающей стране продовольствие. По сути дела отступление в старую экономическую — но только не политическую! — систему.

— Кронштадтский мятеж, — сказал я, закурив сигарету, — определил переход к нэпу.

— Постановления Десятого съезда о нэпе готовились до мятежа, но мятеж ускорил их принятие. Вадим, пускайте, пожалуйста, дым не в мою сторону.

— Да-да, извините. — Я погасил сигарету в пепельнице.

— Спасибо. Курил всю жизнь, но в последние годы как-то разладилось… Так вот о Кронштадте.

Этот мятеж в школьном курсе истории занимает одну строчку: антисоветский, белогвардейский. Ложь. Он не был ни тем ни другим.

— Знаю, Глеб Михайлыч. Его начали матросы двух линкоров, потребовали переизбрать Советы, чтоб не одни только там большевики. Руководил восстанием Революционный комитет — пятнадцать матросов, рабочих и…

— Откуда вы знаете?

Вкратце, без подробностей, я рассказал о том, как познакомился в Хельсинки с Терентием Кузнецовым.

— Вот как! — качнул лысой головой Глеб Михайлович. — Нарвались на беглого мятежника. А у нас в Норильске был в зоне некто Фурман. Тоже великий сиделец, — усмехнулся он. — Ростом невысок, но заметный, со взором горящим. Фурман в Вильно окончил медицинский факультет, но не медицина его влекла, а революция. Вступил в РСДРП, — и понеслось. Рабочие кружки, прокламации. Он был писучий, сочинительствовал легко. И конечно, загремел в ссылку. В марте семнадцатого освободился, вернулся в Петроград. Ну а потом… Для чего совершаются революции? Чтобы улучшить жизнь — это и обещали большевики. Но скоро стало ясно, что она, жизнь,

резко ухудшилась. Голод, чрезвычайки, репрессии — жесточайшая диктатура. Когда начались кронштадтские события, власть, объявившая себя пролетарской, должна была выяснить истинные причины недовольства матросов и рабочих, прийти к соглашению с ними. Но власть ответила ультиматумом о немедленной сдаче и огнем тяжелых орудий. Беспощадной расправой. Власть, опирающаяся на голое насилие, — это бонапартизм. Так и писал социал-демократ Фурман в своих манифестах.

— Он был в Кронштадте? — спросил я.

— Да, неделю до первого штурма. Рассказывал, что там жили трудно, впроголодь. Но было заметно воодушевление. Люди радовались избавлению от большевиков.

— Его арестовали?

— Конечно. Пять или шесть лет провел в ссылке, в Архангельской губернии. Увлекся историей поморов. Написал большой труд об их плаваниях, об освоении Арктики. И даже сумел издать — после освобождения, в Архангельске. Из политики он ушел, женился, работал врачом — жил тихой жизнью в Ленинграде. Но в тридцать седьмом Фурмана опять арестовали — как бывшего меньшевика. В Мордовии, в лагере, только потому и

выжил, что был врачом. В сорок шестом вышел на волю, но в сорок девятом его, уже пожилого человека, снова упекли. Это был ужасный год, сажали без разбора всех бывших «врагов народа». Фурман оказался в Норильске, там мы и сошлись… Что вы сказали, Вадим?

— Да что тут скажешь, Глеб Михайлыч? Только руками разведешь. — Я поднял свою рюмку. — За великих сидельцев, за вас и за Фурмана.

— Спасибо. Фурман в пятьдесят пятом скоропостижно умер в тот день, когда получил бумагу о реабилитации. Так и остался, с погасшими глазами, в норильской вечной мерзлоте.

Рая протянула мне свою рюмку:

— Налей, я тоже хочу выпить. Глеб Михайлович, но вы же, сидельцы, хотя ненавидели несправедливую власть, честно работали, выплавляли нужные для обороны металлы. Вы не мстили, оставались порядочными людьми. Вот за это хочу выпить.

— Спасибо, Раиса.

Мы выпили, вкусили сладкую мякоть «Птичьего молока».

— А все-таки странно, Глеб Михайлыч, — говорю, — Балтфлот был в авангарде революции. В октябрьском перевороте участвовало одиннадцать

боевых кораблей. Десять тысяч моряков дрались на фронтах Гражданской войны за советскую власть. Самые верные, самые непреклонные. Как же это вышло, что в двадцать первом балтийские военморы взбунтовались?

— Вадим… — Глеб, наморщив обширный лоб, посмотрел на меня. — Вы наверняка сами знаете ответ на этот вопрос. Удивительно, конечно, что малограмотные матросы поняли, что революция пошла куда-то не туда. Они ведь были почти все из крестьян. А крестьянство составляло громадное большинство населения России. Разумная власть позаботилась бы о том, чтобы привлечь их на свою сторону. Сделать не врагом, а другом революционного города. Вместо этого большевики применили насилие. Иначе они просто не умели. В деревни въехали продотряды. Ну, известно. «Выгребайте из канавы спрятанное жито!» Какой поэт написал? Ага, Багрицкий. Ну так вот, крестьянство на грабеж и насилие ответило восстаниями. Самое крупное заполыхало одновременно с кронштадтским мятежом на Тамбовщине.

— Да, — говорю, — антоновщина. И подавлять ее отправили Тухачевского сразу после того, как он разгромил кронштадтцев. Вы сказали:

малограмотные матросы поняли, что революция пошла неверно. Значит ли это, что революция в России вообще была исторической ошибкой?

— Это сложный вопрос. Россия была чревата революцией, весь девятнадцатый век шла к ней. Самодержавие, несвобода, затянувшееся рабство — политические причины. А главная, по-моему, экономическая: отрешение огромной массы населения *от земли*.

— Отрешение?

— Ну отчуждение. Исторический процесс вообще очень привязан к землевладению. Собственность на землю — движитель истории с тех незапамятных времен, когда гомо сапиенсы научились выращивать пшеницу и прочие злаки. В России долго существовало крепостное право, наконец крестьян освободили, но без земли. Русские историки понимали, что половинчатость долгожданной реформы таит грозную опасность. Понимал и премьер Столыпин, что отсутствие собственности на землю у крестьян создает, по его выражению, «все наше неустройство». Полагал, что уничтожение в них врожденного чувства собственности ведет к бедности, а бедность — это плохо, это рабство и смута. Смыслом аграрной реформы Столыпина и было создание

многочисленного класса мелких собственников, которые по определению — противники разрушительных теорий. Это могло бы уберечь Россию от революции. Столыпин жестоко расправлялся с революционерами, имел репутацию вешателя. Отнюдь не гуманист. Но его реформа… думаю, она была первой развилкой в двадцатом столетии. К сожалению, обычно в российской истории наиболее вероятен худший вариант. Столыпина убили. Реформа угасла. Грянула мировая война, затем революция.

— Первая развилка, — говорю. — А вторая?

— Вторая определилась при кронштадтском мятеже. Я-то не читал резолюцию корабельных команд, знаю о ней со слов Фурмана. А вы сказали, что беглый матрос выложил вам газеты ревкома.

— Да, я прочел эту резолюцию. Они требовали свободных перевыборов Советов с участием всех левых партий. Свободы слова и собраний. Никаких привилегий ни для одной партии…

— Там был пункт о крестьянстве.

— Конечно. Дать крестьянам полное право действия на своей земле, *как им желательно*.

— Как им желательно, — повторил Глеб. — Очень важное требование. В сущности, программа мирного выхода из состояния общей разрухи.

Было бы разумно повести разоренную войной страну по этому пути. Законодательно закрепить право на частную собственность. Но право вообще не очень-то свойственно России. Россия с ним не рифмуется. А у большевиков правового сознания и вовсе не наблюдалось. У них — революционное правосознание, это красиво звучит, а на деле означает тотальный произвол власти… Ну и поэтому спасительный нэп был осмеян, обруган и просуществовал всего восемь лет. В двадцать девятом году объявили коллективизацию, началось раскулачивание. Кончилась эта, вторая, развилка. Снова возобладал худший вариант. — Глеб Михайлович протяжно вздыхает, отпивает из чашки чай. — Nil admirari, — говорит он тихо, как бы про себя.

— Что это значит? — спрашиваю. — Я не силен в латыни.

— «Ничему не нужно удивляться». Но все же уму непостижимо, как Сталин и его подручные решились в крестьянской стране перевернуть кверху дном деревню. Как же нужно не понимать и презирать свой народ, чтобы пойти на массовое уничтожение целого класса — разорить, отнять имущество, сослать на дальний Север и обречь на гибель наиболее работоспособную,

продуктивную часть крестьянства, а остальных загнать в колхозное прозябание. Зачем? В угоду голой схеме, придуманной утопистами. Какой-то дьявольский умысел.

— Этот умысел, — говорю, — называется социалистическим преобразованием.

— Да какой социализм! Барщина! Натуральная барщина! Бесправный беспаспортный колхозник — персонаж социализма? Чушь! Одно только отличие от густопсового феодализма — то, что его нельзя продать…

Никогда еще мы не видели Глеба таким рассерженным.

— Глеб Михайлович, — говорит Рая, щуря свои серые глаза, — насчет раскулачивания — да, вы правы, нельзя так жестоко. Но коллективизация — разве она не была исторически обусловленной для России, не имевшей фермерского устройства сельской жизни? Вместо мелких единоличных хозяйств — большие распаханные земли, трактора и комбайны… А электричество в избах? Дома культуры, школы… Ликвидация неграмотности в деревне, прежде сплошь неграмотной…

— Так, — кивнул Глеб. — Ликвидация неграмотности — бесспорное достижение власти. А насчет

больших распаханных земель, то что же они уже полвека не могут прокормить страну? Хрущев к ним добавил миллионы гектаров целины, а все равно покупаем зерно у «загнивающего» Запада. Вы спросили, была ли Октябрьская революция исторической ошибкой России. Ну, вот мой ответ: поскольку она тесно связана с «великим переломом» костей крестьянства, то — да, была трагической ошибкой.

Из радиоприемника, жившего своей жизнью, прозвучало сдержанно и печально:

О, дай мне забвенье, родная,
Согрей у себя на груди
И, детские сны навевая,
Дай прежнее счастье найти!..

Мы пили чай с «Птичьим молоком».

— Вижу, что сильно вас удивил, — сказал Глеб, поставив чашку на блюдце. — Ладно, прекращаю крамольные речи.

— У нас теперь гласность, — сказал я, — так что… ничего удивительного. Но, признаться, трудновато на старости лет освоиться с мыслью, что спасение только в рынке. Что России нужен капитализм. Мы же выросли… ну, воспитаны определенным образом…

— Совершенно верно. Я ведь тоже был коммунаром. Да еще каким правоверным. Я бы набил морду любому, кто заявил бы, что капитализм лучше, чем социализм. Но меня заставили протрезветь — бросили благонамеренного щенка за колючую проволоку… сунули в руки кирку… «Долби мерзлый грунт… Мировая революция? Она без тебя обойдется, давай работай, а будешь трындеть, качать права — тебе добавят, ты понял, падла?» Но я, знаете, не виню вертухая. Он тоже выращен определенным образом. Ему с младых ногтей… или когтей… затолкали в неразвитый мозг простую мысль: кругом враги! Твой долг — их ненавидеть!.. Что-то я разошелся, разговорился…

— Глеб Михайлыч, вот эта ваша мысль о развилке. Ну а если бы пошли по другому пути, не по ленинско-сталинскому, а, скажем так, по кронштадтскому — что тогда? Какой бы стала Россия?

— Я не пророк. Но думаю, что Россия могла бы стать демократической страной.

— Что это значит? Конкретно.

— Конкретно — многопартийность, выборность власти всех уровней, от муниципальной до государственной. Сменяемость власти. Власть — это система управления, основанная на законе, а

не группа тщательно охраняемых лиц.

— И вы считаете, что у нас это возможно? Что люди из разных партий, выбранные по закону, не передерутся? Что не появятся демагоги, уверенные, что только они знают, как сделать страну счастливой? Что не усядется нам на шею новый правитель, жаждущий полной власти? Готовый тащить и не пущать?

— Вы правы, Вадим, — сказал Глеб, помолчав немного. — Демагогия, социалистический цезаризм… Да, все это возможно. Перевернутый большевиками наоборотный мир, — можно ли его перевернуть в естественное состояние? Трудно, трудно… Очень уж все проржавело, «прикипело»…

— А может, не надо переворачивать? Вот же чехи попытались *исправить*… Социализм с человеческим лицом — разве это плохо?

— По идее — неплохо. Но возможно ли? Социализм в ленинско-сталинском обличье потерпел историческую катастрофу. Я не уверен, что социализм вообще способен по-человечески выглядеть. Что в этот проект общественного и государственного устройства все еще можно верить.

— Горбачев, — говорю, — объявил, что Россия твердо остается верна социалистическому вы-

бору.

— Горбачев в трудном положении, на него давят Лигачев и партаппарат. Шестая статья Конституции давит; правильно на митингах требуют ее отменить. Но перемены неизбежны. Вы же видите, что происходит в Восточной Европе: крушение социалистических режимов. Уплыла ГДР в Западную Германию. «Бархатные» революции в Венгрии и Чехословакии. В Польше демонстрации с плакатами «Социализм — это голод». Румыны расстреляли Чаушеску. А у нас Прибалтика трепыхается, митингует…

— И вы уверены, что все они жаждут капитализма?

— Независимости жаждут. А капитализм… Ах, как мы его боимся! Такое бранное слово, хуже любого матюка. Капиталист — непременно толстопузый угнетатель рабочих, разжиревший от присвоения прибавочной стоимости. А в сущности — что такое капитал? Работающие деньги! Их вкладывают в производство нужных, имеющих спрос товаров и получают доход, прибыль. Капитал и социализму нужен — без него нет производства. Все дело в том, кому он принадлежит — свободному предпринимателю или государству.

— Если государству, то, значит, у нас государственный капитализм?

— У нас *сталинизм*. То есть диктатура партбюрократии при политической пассивности населения в условиях террора и демагогии. По сути, азиатская деспотия.

— Глеб Михайлыч, но ведь происходят существенные перемены. В бюллетенях теперь не один кандидат, — на выборах появился выбор. Отменена цензура — ведь это очень важно. Напечатаны «Мы» Замятина, «Чевенгур» и «Котлован» Платонова. Шутка ли, такой прорыв! Выведены войска из Афганистана. Разрешены кооперативы…

— Да, конечно, перемены серьезные. Некоторая демократизация режима очевидна. И это обнадеживает, что процесс, как говорит Горбачев, пошел. Что Россия окончательно избавится от сталинизма и совершит переход к рыночной экономике.

— То есть к капитализму, — вздохнул я.

Глава тридцать вторая
Боголюбов

Глеб Боголюбов был вундеркиндом. Родился он в 1915 году в Петрограде в семье гимназического преподавателя латыни. Отца Глеб помнил смутно: ему было три года, когда умер отец. Память — странная вещь, запоминается подчас не лицо человека, а какая-нибудь пустяшная подробность. Глебу запомнился запах. Будто он сидит на чьих-то жестких коленях, чьи-то руки держат его — и остро пахнет табаком. Еще запомнились топот ног и грубые голоса, разбудившие однажды ночью. В тусклом ночном свете он увидел несколько матросов с винтовками за плечами — и, испуганный, закричал, заплакал, а Надя, старшая сестра, тоже испуганная, гладила его по голове, приговаривая: «Тише… не ори…» Нет, никого матросы не увели — отец лежал больной… очень больной… утром он умер…

От мамы Глеб впоследствии узнал: отец умер от страшной болезни — «испанки».

Очень хотелось есть. Они, Глеб и Надя, день-деньской сидели голодные, ожидая прихода

мамы. А она, Елена Францевна, работала на двух службах, чтобы паек получать, не дать детям помереть с голоду, — в отделе народного просвещения кого-то учила грамоте, а в каком-то комиссариате служила стенографисткой. Новая власть, самой собой, в грамотных людях нуждалась.

Ждали маминого прихода. За стеной ссорились, ругались соседи. Глеб, забравшись на подоконник, глядел в окно на пустой скучный двор, на глухую краснокирпичную стену. На ней, над одноэтажной пристройкой, можно было прочесть надпись, сделанную белыми неровными буквами: «Эх вы ди». Что означало это незаконченное восклицание? (Впоследствии Глеб, вспоминая надпись на брандмауэре, придумывал варианты: «Зх вы, дилетанты… дикари… диплодоки…» Склонялся к тому, что человек хотел написать: «Эх вы, дураки», но букву «у» не довел до конца, что-то его испугало, сдунуло с пристройки.)

Читать Глеб научился в четыре года. Читал много, от детских книг рано устремился на серебряных коньках в распахнувшиеся миры Жюля Верна, Майн Рида, Александра Дюма — благо от папы-латиниста осталась, уцелела немалая библиотека. Кстати: и в отцовы профессиональные

книги утыкал нос любознательный подросток — в учебник латинского языка, в сочинение Гая Юлия Цезаря «Commentarii de bello Gallico», в поэму Публия Вергилия Марона «Aeneis» (то есть в знаменитую «Энеиду»). Занятный был юнец — ощущал в себе необъятные силы, удивительную память, мог прочесть наизусть поэмы особо любимого Лермонтова. Да и сам в школьные годы сочинял стихи, затеял было роман о Гражданской войне, но забросил — увлекся научным марксизмом, написал целый трактат о проблемах диалектики.

Трактат всем, кому он его читал, нравился. «Здорово сочинил! — хвалили одноклассники. — Демьян Бедный — и тот не написал бы лучше». Вдруг трактат затребовал учитель обществоведения Грибков, человек заслуженный, участник штурма Кронштадта. Кто-то из одноклассников Глеба сообщил ему о трактате, и Грибков пожелал ознакомиться. И вышло из этого ознакомления первое столкновение Глеба с эпохой.

— Не за свое дело берешься, Боголюбов, — объявил ему Грибков, морщась и ероша рыжеватую шевелюру. — Ты все напутал. Отрицание отрицания — труднейший вопрос диалектики! А ты понаписал примеры, в которых не разбираешься.

Нэп как отрицание военного коммунизма — ну, допустим, но разве можно такое вынужденное необходимое явление — военный коммунизм — описывать как беду и несчастье России. А нэп — как спасение. Это же, Боголюбов, гнилой либерализм!

Ссылки Глеба на Энгельса (дескать, развитие есть непрерывный процесс отрицания, движение от низшего к высшему) почему-то раздражали Грибкова.

— Не лезь в философию, не твоего ума дело! — требовал он. — Материя первична, сознание вторично — вот и все, что ты должен знать. Понятно?

Глебу было понятно. В глубине сознания, правда, трепыхалась мыслишка, что не так-то просто… не совсем так… Однако, на круглые пятерки окончив школу, Глеб поступил на физический факультет университета и, стало быть, начал именно материю изучать — ее устройство. Да ведь был он не простым студентом — субъектом для сдачи вереницы экзаменов. В футбол играл — это ладно, кто в юности не гонял мяч? В шахматных турнирах участвовал — тоже понятное увлечение. А вот что побуждало Глеба Боголюбова проникать мыслью в тайную суть

явлений? Бог весть. Уж так был устроен его беспокойный мозг.

Дипломная работа Глеба по одному из сложных вопросов теоретической физики была замечена и послужила основанием для приглашения выпускника на работу в престижный Физико-технический институт.

Жизнь складывалась удачно. Мир материален, это точно. Но как же интересны опыты по изменению свойств материи — ну вот хотя бы свойств кристаллов под воздействием электричества. А по вечерам — Лукреций Кар! Этот древний римлянин прожил недолгую и несчастливую жизнь, обезумел, покончил с собой — но какую великую поэму создал: «De rerum natura» («О природе вещей»). Вслед за Демокритом объявил, что все состоит из атомов; утверждал: ничто не возникает из ничего, ничто не обращается в ничто. А Вселенная беспредельна! Глеб увлекся Лукрецием, писал трактат о нем — да как бы не диссертацию.

Но не только Лукрецием были заняты вечера. Аля вдруг вошла — нет, ворвалась в жизнь Глеба на вечеринке, устроенной Надей, старшей сестрой. Надя, окончившая мединститут, работала в детской поликлинике, сдружилась там

с коллегой, тоже молодым педиатром, Алисой Изволовой. С первого взгляда эта Алиса, Аля, хорошенькая брюнетка, понравилась Глебу. Оживленная, бойкая, как киноактриса Франческа Гааль из фильма «Маленькая мама», она так весело смеялась его шуткам. Молодые стали встречаться. Ездили в Детское Село, целовались в аллеях Павловска. Их вздымали кверху и бросали вниз «американские горки» в саду Госнардома. Знаменитый оперный тенор Печковский пел им арию Вертера: «О, не буди меня, дыхание весны…» Ну что вы, маэстро! Он, Глеб, не соня, чтобы проспать свое счастье. Кончается весна, прекрасный месяц май предвещает счастливое лето: 5 июня, в день рождения Али, они поженятся и 10-го уедут в свадебное путешествие — в город Таганрог, там, у теплого моря, живут родители Али, там молодожены проведут свой отпуск.

И вот он наступил, счастливейший день 5 июня. В нанятом такси ехали в загс. Невеста в голубой кофточке и синей плиссированной юбке улыбалась обворожительно. Глеб, сидя рядом, плел рифмованную чепуху:

Чтоб вступить в законный брак-с,
Едем мы в районный загс…

Надя, сидевшая рядом с шофером, повернула курносый нос к жениху:

— Ведешь себя как мальчишка!

У дверей загса их ожидали десятка полтора друзей, сослуживцев. Цветов было столько, что заведующая попросила вынести их из небольшой комнаты заведения: «А то дышать будет нечем». Затем она высоким слогом поздравила Алю и Глеба и предложила расписаться на официальной бумаге.

И было свадебное пиршество в квартире Боголюбовых на 6-й линии, угол Среднего проспекта. Елена Францевна, хоть и тряслись у нее руки от чертова паркинсонизма, наготовила разной вкуснятины. Ей, конечно, и Надя помогла, и соседи по коммуналке. Шумно, весело справили свадьбу.

В одной из двух боголюбовских комнат, среди полок с книгами покойного папы-латиниста, начали молодожены семейную жизнь. Целых пять дней и ночей были они неразлучны и счастливы.

10 июня, согласно взятым билетам, они собирались уехать в Таганрог. Но в ночь на 10-е за Глебом пришли.

— Это ошибка! — Стоя в трусах, с взлохмаченной песочно-желтой копной волос, кричал он,

выпучив глаза на затянутых ремнями ночных «гостей». — Ошибка, ошибка! Я ни в чем не виноват!

— Одевайтесь, гражданин, — отвечали те. — Следствие разберется.

Ничего невозможно было понять. Это происходит с ним, Глебом Боголюбовым? Это *его* везут куда-то в зарешеченном вагоне — куда везут? «Аля! Милая, ты, кутаясь в простыню, смотрела глазами, полными ужаса, как меня уводили — от тебя, от нашего счастья — почему, почему, почему?!»

Но ведь ничто не возникает из ничего. Должно же быть какое-то объяснение творящейся бессмыслице. Не за то ведь его арестовали, что неправильно истолковал в трактате отрицание отрицания… Не за «гнилой либерализм»…

Привезли в Москву — прямо на Лубянку. И следователь, человек малоопределенной, не злодейской наружности, наносит ошеломительный удар — обвинение в заговоре против советской власти, в терроризме, в создании контрреволюционной организации. Три самых тяжелых пункта 58-й статьи — ни больше ни меньше…

— Что это? — кричит потрясенный Глеб. — Вы с ума сошли!!!

Неторопливо раскручивается следствие, и вот Глеб узнает, откуда взялось чудовищное обвинение.

Колька Никандров, школьный друг, по кличке Ник-Ник, виноват!

В Кольку чуть ли не все девчонки в классе были влюблены: яркий, спортивный, математическая голова. Глеб, по правде, даже завидовал Ник-Нику, умевшему крутить «солнце» на турнике. Ну да, дружили крепко. По окончании школы Ник-Ник уехал в Москву: его отец, видный геолог, получил крупное назначение в нефтяном наркомате. Николай пошел по стопам отца — окончил Горный институт, и открылись перед молодым геологом дали неоглядные, спящие под дикими травами кладовые минеральных залежей.

Но наступило 1 мая. На праздничную демонстрацию Николай и его юная жена Ольга отправились в разных колоннах: он со своими сослуживцами, а Оля, студентка консерватории, со своими однокурсниками. При вступлении на Красную площадь колонны из разных районов столицы смыкаются, их разделяют только цепочки красноармейцев. Вдруг Николай увидел, что в соседней колонне, шедшей впритык к Мавзолею, идет Ольга, красотка Олечка, — идет в обнимку

с каким-то дылдой. Николай осерчал, заорал жене, но Ольга не услышала: гремели оркестры. И тогда он, недолго думая, рванулся в соседнюю колонну — к Мавзолею! — чтобы проучить жену. И был схвачен красноармейцами.

Вздорная выходка необузданного ревнивца имела тяжелейшие последствия. На Лубянке стали шить «дело о попытке террористического акта», даром что у Николая, конечно, не было ни револьвера, ни бомбы. Ничего у него не было, но если кинулся к Мавзолею, значит террорист. (На Мавзолее стоял сам товарищ Сталин.) Из списка близких друзей Ник-Ника выдернули Глеба Боголюбова и еще одного, незнакомого ему москвича. Трое — это уже организация! А за раскрытие «организации» следователи НКВД получали денежное поощрение. Вот и старались поистине с дьявольским усердием. Шел печально знаменитый тридцать седьмой год…

Следствие длилось десять месяцев. Дикая теснота камер в Бутырках, в Лефортове. Два десятка допросов, избиения, очная ставка с неузнаваемо заторможенным Ник-Ником. По натуре своей физически крепкий, Глеб защищался изо всех сил. Он же был горячим сторонником власти, верил в нее — но власть орала ему в лицо: «Враг народа!»

Власть, видимо, стремилась устроить большой открытый процесс. Но не вышло: фигуранты, что ли, были мелковаты. Однако несуществующая вина все равно требовала наказания — всем троим дали по десять лет.

Начались этапы, и оказался Глеб на Соловках. Шла весна 1938-го. После суда над «правотроцкистским блоком» Бухарина, Рыкова и других по всем лагерям ГУЛАГа прокатилась ужасная волна бессудных расстрелов. Приехала и в Соловецкий лагерь некая комиссия — выдернула из-за толстых монастырских стен около сотни зэков, главным образом «политических», и без всякого нового суда расстреляла.

Глебу несказанно повезло: избежал внезапной казни. Однако он «доходил». Истощение едва не валило с ног. Неимоверных усилий стоило удерживать в руках лопату, бить ломом каменистый грунт, чтобы вывернуть из него валун. Держался, можно сказать, силой духа. «Ничто не обращается в ничто», — некогда заявил умный Лукреций Кар. Так вот, он, Глеб Боголюбов, не хотел обратиться в ничто — промелькнуть немощной тенью, бесследно исчезнуть. Нет! Всей мощью разума заставить работать клетки тела… каждый атом…

Летом тридцать девятого большую партию

соловецких узников отправили на пароходе в Арктику — к устью Енисея. В тесноте трюма, лежа на мятой соломе, Глеб впервые услышал: Норильск! Он, конечно, знал, что есть такой город в заполярной тундре, что там открыто богатое рудное месторождение. Норильск — ну что ж, может, там кормежка будет лучше, чем на погибельных Соловках.

Норильск — как отрицание Соловков, которые — отрицание самой жизни. Отрицание отрицания. Всюду она, диалектика…

Соловецкий этап выгрузили в Дудинке и по железной дороге отправили в Норильск. Мрачнее этого города — единственной в ту пору улицы в долине среди угрюмых желто-серых гор, скопища бараков, обнесенных колючей проволокой, — мрачнее мог быть только Дантов ад. Так представилось Глебу, когда он в колонне зэков шагал в зону.

В этом безжизненном краю разворачивалось гигантское строительство — уже дымил малый металлургический завод, готовилась площадка для Большого у подножья горы Барьерной. Сюда гнали многотысячные этапы «врагов народа» и «социально близких» уголовников. Тут на «общих» земляных работах вкалывала и «бригада

инженеров», в составе которой и Глеб Боголюбов долбил киркой мерзлоту, обливаясь потом на холодном ветру.

Осень шла страшная. Черные тучи надолго накрыли площадку Металлургстроя, проливали ледяные дожди. Тысячи зэков копали котлованы. На тачках по дощатым трапам вывозили вынутый грунт. Ноги разъезжались в мокрой глине. Казалось, не будет конца этой невыносимой жизни. И надвигалась зима, полярная ночь опускала занавес над трагическим театром великой стройки.

«Quos ego!» — «Я вас!» — бормотал Глеб, обращаясь, подобно Нептуну у Вергилия, к разбушевавшимся ветрам.

Быстро строился тут, на краю непригодной для жизни земли, горно-металлургический комбинат и вокруг него — фантастический город. Не только в землекопах нуждался возводимый комбинат: требовались инженеры, способные наладить и вести производственный процесс. Что ж, в «бригаде инженеров» таковые были. Их стали снимать с «общих» работ и направлять в заводские цеха. И «вредители» и «шпиёны» наладили производство: исправно плавили руду, выдавая ценнейшие цветные металлы стране, от которой

были безвинно, жестоко отторгнуты.

Долгие годы Глеб Боголюбов заведовал одной из лабораторий на Большом металлургическом заводе, вел, говоря по-современному, мониторинг процесса — теплоконтроль, газовый анализ, наблюдал за воздухопроводами в плавильном цехе. Плавилась в печах руда, в конвертерах выжигалось железо, и тонкой струей лился *никель*.

Уже шла война, резко возросла потребность в никеле, столь необходимом для выделки танковой брони.

Как и многие другие норильские узники, Глеб подал заявление — просьбу отправить на фронт. Всем было отказано.

Как могло произойти немыслимое — немцы осадили Ленинград? Душу переполняла тревога: как там мама и сестра? Об Але он, Глеб, знал только, что сразу после его ареста она уехала и «как в воду канула», — так написала в письме сестра. Глеб понимал, что Аля спасалась от ареста. Наверное, она в своем Таганроге, а ведь Таганрог захвачен немцами…

От тревожных мыслей голова кружилась. Но — литье никеля требовало постоянного контроля. Что бы ни происходило там, на фронтах, за тыщи верст от Норильска, здесь будет плавиться руда и

литься никель.

Жизнь устроена странно, не всегда понятна ее диалектика, но нельзя же допустить, чтобы война стала отрицанием жизни.

Летом 1946-го, на год раньше окончания срока, Глеб вышел на свободу. Так это называлось. Разумеется, он хотел, жаждал вернуться в Ленинград. Однако энкавэдистское начальство оповестило, что в ряде «режимных» городов ему, хоть и освободившемуся, жить запрещено — в том числе и в Ленинграде. В паспорте у него хитрые знаки, по которым не пропишут. Что же было делать? Глеб остался в Норильске: тут у него работа, идет какая-никакая зарплата, а вот еще одно благодеяние — комнату дали в коммуналке. Шутка ли, *своя* комната вместо смрадного барака.

А в 1949-м прокатилась волна повторных арестов: освободившимся «политическим» снова шили «дело» и отправляли в лагеря или ссылку. В Норильске с «бывшими» и вообще не церемонились — отобрали паспорта и выдали свидетельства о ссылке. Уж и то хорошо, что не лишили работы, не выгнали из квартиры. Ты свободен условно: если удалишься от Норильска более чем на двенадцать километров, то тебе без всякого суда влепят двадцать лет каторги. Вот

такая, как говорили бывшие зэки, «ссылка без отрыва от производства».

Никто, однако, не мог запретить Глебу углубляться мыслью в тайную суть явлений. Так был устроен его мозг. В норильской городской библиотеке Глеб, неутомимый книгочей, с особым интересом прочитывал журнальные и иные публикации относительно внутриядерной энергии. Уже американцы сбросили первые атомные бомбы, превратившие Хиросиму и Нагасаки в море огня. Это чудовищное оружие обозначило наступление новой эпохи: как и предсказали крупнейшие ученые века, бомбардировка нейтронами тяжелых ядер урана высвобождает гигантскую энергию. Но ведь если замедлить атомную реакцию, то эту мощь можно превратить из взрывной в производственную, промышленную. Вот и замедлитель нашли — тяжелую воду.

Очень заинтересовала физика Глеба Боголюбова тяжелая вода, содержащая в себе не простой атом водорода, а в два раза более тяжелый — дейтерий. Бесправный ссыльный, казалось навсегда погребенный в снега Крайнего Севера, он именно в этих снегах подметил необычное явление. Весной на озерах близ Норильска снег, нагреваемый солнцем, не таял, а испарялся. Наверное,

молекулы воды, содержащие легкий водород, испаряются быстрее, чем тяжеловодородные. Значит, в остающемся снеге концентрируется тяжелая вода. В заполярных озерах — повышенное содержание дейтерия. Такой вывод сделал Глеб. Значит, электролиз, высвобождающий тяжелую воду из воды обыкновенной, здесь потребует меньшей затраты электроэнергии, чем в южных широтах.

О своем открытии Глеб рассказал главному инженеру заводов, тот велел ему написать докладную записку. И вот результат: в Норильск приехали инженеры-атомщики из «хозяйства» Курчатова. Не без любопытства смотрели они на ссыльного «врага народа», который хорошим языком изложил свою идею.

Анализы озерной воды подтвердили повышенное содержание дейтерия. В Норильске начали строить завод по производству тяжелой воды. Но, не достроив, заморозили — где-то в верхах сочли чрезмерным количество электроэнергии, необходимой для электролиза. Да и другой замедлитель был найден — графит.

А годы шли. Дымили и дымили трубы норильских заводов, застя переливающиеся в некоей космической игре сполохи северного сияния.

Казалось, этим дымом навсегда заволокло годы, оставшиеся для дальнейшей жизни.

Но жизнь, как давно замечено, изобилует неожиданностями. Однажды в декабре 1951-го Глеб пришел в библиотеку поменять книги. День был очень холодный, под минус сорок. Ну, полярная ночь, продутая яростным ветром, — известное дело.

— У вас нос отморожен, — посмотрела на него Наталья Шестакова, библиотекарша. — Потрите. Ужасный мороз сегодня.

— Разве это мороз? — Глеб принялся растирать нос. — Вот в пятнадцатом веке в Европе жутко похолодало. Папа римский Иннокентий даже издал указ — это называлось буллой — о наказаниях за порчу погоды. И представьте, стали обвинять и сжигать на кострах тысячи людей.

— Все-то вы знаете, — улыбнулась Наталья.

Глебу нравилась ее улыбка с ямочками на круглых щеках. Нравилась эта молодая «вольняшка», появившаяся в библиотеке минувшим летом. Глеб знал, что она приехала в Норильск с мужем, офицером внутренних войск, но прожила с ним, горьким пьяницей, недолго. Своей привлекательной внешностью Наталья Шестакова, можно сказать, излучала голубоглазую мольбу о сочув-

ствии, но по характеру была истой сибирячкой. Решительно ушла, хлопнув дверью, от непросыхающего муженька, добилась развода. Устроилась на работу в библиотеку (соответствующий техникум в Иркутске окончила), поселилась в гостинице. Собиралась уехать в свой Иркутск, но застряла в Норильске. А потому и застряла, что «задышала неровно» к Глебу Боголюбову.

Должна была она, двадцатичетырехлетняя комсомолка, чураться ссыльных — а ее тянуло к интеллигентным людям.

— Милая Наташа, — сказал Глеб в тот декабрьский день, растерев замерзший нос, — хочу признаться, что люблю вас. Но понимаю свое положение. И если вы скажете «нет», я приму это как должное…

Наталья поднялась из-за стола, заваленного книгами. Ее обтягивал темно-синий свитер со стилизованными коричневыми оленями.

— Я скажу вам «да», — ответила она.

Начальство отговаривало от безрассудной связи, но упрямая сибирячка не отступилась. Ее из комсомола исключили, из гостиницы выпроводили — не сдалась, не отреклась.

В узком кругу друзей — ссыльных инженеров, поэтов, мыслителей — сыграли свадьбу.

— Слушайте, люди! — воскликнул Глеб. — Вот в этой комнате поселилось голубоглазое счастье.

— Горько! — грянул ответ.

С «материка» доходили сюда, в царство холода и цветных металлов, странные слухи. Раскручивалось какое-то «ленинградское дело» — опять, как до войны, сажали в тюрьмы и даже расстреливали, непонятно за что. А Глеб Боголюбов жил счастливой жизнью со своей Наташей. Разве сей факт не есть отрицание долгой полосы жизни несчастливой, пропащей? Всюду, всюду она — *диалектика*. Странное единство противоположностей.

А вот и поворотное событие произошло в государственной жизни — умер Сталин. И вскоре началась эпоха, прозванная «поздним реабилитансом». Пересмотр «дела» Глеба, спустя восемнадцать лет лагерей и ссылки, выявил «отсутствие состава преступления» (жаль, что не дожил до такого финала бедолага Ник-Ник, взбалмошный ревнивец, скончавшийся где-то у лагерной помойки).

Глеб наконец-то свободен. Списался с Надей, сестрой, пережившей блокаду (а мама, Елена Францевна, весной сорок второго умерла от дистрофии), и летом 1955-го уехал из Норильска.

Со своей Наташей и полуторагодовалым сыном приплыли на пароходе по Енисею в Красноярск, а оттуда прилетели они в Ленинград.

Поселились в старой боголюбовской квартире на 6-й линии — одну из двух комнат Надя, так и не вышедшая замуж, отдала молодоженам. Из окна Глеб увидел старый двор, потемневший до черноты брандмауэр и еле различимую на нем надпись «Эх вы ди».

— Эх вы, диссиденты, — пробормотал он, улыбаясь.

— Что ты сказал, Глеб? — не поняла Наталья.

Это слово тогда было еще малоизвестно. Глеб, человек начитанный, знал, что в Польше называли диссидентами не-католиков. Впоследствии оно, это слово, приобрело у нас весьма расширительный смысл.

Я знал, что Глеб Михайлович пытался вернуться в физтех, в котором работал до ареста, и не с пустыми руками туда заявился, а с рекомендацией видного физика-теоретика, помнившего об открытии тяжелой воды в Заполярье. Но — не вышло. Бывший ссыльный получил отказ — «за отсутствием в данный момент вакансий».

Глеб, рассказывая нам об этом, улыбался своей улыбочкой, в которой чудилось нечто неизбыв-

но детское — как бы удивление странностям жизни.

— Они были очень вежливы, — сказал он. — Даже поблагодарили за то, что я пришел к ним в физтех после всего пережитого. Но я бы предпочел, чтобы просто честно сказали: «Non possumus». То есть «не можем». Вы, наверное, знаете, что так ответил папа Климент Седьмой на требование Генриха Восьмого признать его развод с первой женой.

— Что же этот Генрих сразу к папе? — ворчу я. — Мог бы вначале в загс сходить.

— Вы знаете все, да, Глеб Михайлович? — спрашивает Рая.

— Нет, — отвечает он. — Я совершенно не знаю текстильную промышленность. И плохо ориентируюсь в орнитологии.

Однажды Глеб спросил меня, сколько маршалов было у Наполеона. Я назвал пятерых, общеизвестных. Он добавил еще троих, в том числе Бернадота, который, будучи усыновленным престарелым шведским королем, сам сделался королем Швеции и Норвегии Карлом XIV, а когда он, состарившись, умер, на его теле обнаружили татуировку «Mort aux tyrans» (то есть «Смерть тиранам») — след революционного увлечения

ранней молодости.

Я был поражен, когда Глеб как-то раз сказал, на каких улицах в Париже жили мушкетеры: Атос — на улице Феру, Портос — на улице Старой Голубятни, д'Артаньян — на улице Могильщиков. Некоторое облегчение я испытал от того, что он забыл улицу Арамиса.

Так вот, в храм науки Глеба не впустили. И пошел он в школу преподавать физику. Написал небольшую повесть о Лукреции Каре, озаглавив ее названием второй главы любимой поэмы — «Истинное счастье в мудрости». Живой язык повести понравился в ленинградском издательстве, и ее приняли, предложив автору изменить название («Счастье не в мудрости, — сказал ему главный редактор, — а в строительстве коммунизма»). Книга вышла под названием «Все состоит из атомов». Затем последовали еще книги — о Жолио-Кюри, Эйнштейне, Нильсе Боре. Редкостное умение ясно и занимательно излагать сложнейшие физические явления сделало Глеба Боголюбова писателем научно-популярного жанра. «Я широко известен в узких кругах», — посмеивался он. Но «круги» были не такие уж узкие. Его книгами зачитывались подростки — для них, собственно, Глеб и писал.

— Надо, — говорил он, — всячески содействовать просвещению. Неглупый итальянец Макиавелли верно подметил, что результатом господства тирании является развращенное общество. Что может противостоять стихии развращения? Именно просвещение. Культура. Ее надо, как непременную прививку, вносить в организм, начиная с детства.

— А неглупый немец Адорно, — сказал я, — утверждал, что в подкорке у людей доминируют войны и ненависть.

— Подкорка! — воскликнул Глеб. — В ней дремлет вся многотысячелетняя история гомо сапиенса — от первобытного кроманьонца до Аллы Пугачевой. В подкорку лучше не заглядывать. Заглянешь — увидишь насилие. Оно в природе человека. Мы не можем перестать быть приматами, отправляющимися на охоту, чтобы добыть пропитание. Адорно прав. Но история подсказывает и другое. В природе человека разумного — по соседству с ненавистью — живет и противоположное движение. Жалость, сочувствие, доброта. Отвращение к насилию. Адорно не прав.

— Прав Ганди, — сказал я.

— Задолго до Ганди, тоже в Индии, в средневековой, был правитель, некто Ашока. Он завоевал

всю Индию, на севере уперся в Гималаи, на юге — в джунгли. Навоевался досыта, похвалялся, сколько он убил в том или ином сражении. И вдруг Ашоку будто подменили. Он объявил: «Все, ребята, с насилием покончено. Навсегда!»

— А задолго до вашего Ашоки был Иисус Христос.

— Разумеется. Христианская проповедь любви необычайно важна для очеловечивания человека. И все же за две тысячи лет она не смогла искоренить из душ человечества ненависть, покончить с насилием. Наш двадцатый век — чемпион по этой части.

— Да уж, — сказал я. — Век у нас выдающийся.

Глава тридцать третья «Лебединое озеро» в девяносто первом году

Черт-те что: живем какой-то ненормальной жизнью. Ну, положим, пустые полки в магазинах — дело привычное, идешь на рынок и покупаешь продукты, но — цены! У меня пенсия считалась приличной, а теперь вижу, она все более отстает от растущих цен рынка. Что происходит в государстве Российском?

По утрам спешим к радиоприемнику. Радовались перестройке, отмене цензуры, концу холодной войны. Россия преображается! Ее лицо как бы разгладилось, угрюмый взгляд смягчился, разжались сомкнутые уста. Перестал давить на плечи каменный груз обязательной идеологии.

Но — похоже, что обрадовались мы преждевременно.

Ну да, объявлена гласность, возвращение к общечеловеческим ценностям — спасибо Михал Сергеичу, какой молодец, повел страну по демократическому пути. И вдруг — поворот государственного руля вправо. (Или влево?) Ясно, что

партаппарат перешел в наступление — добился от Горбачева отказа от рыночной программы Явлинского, роспуска президентского совета, то есть увольнения либералов Яковлева, Петракова. А мининдел Шеварднадзе в декабре сам подал в отставку — по причине «наступления диктатуры». Чьей диктатуры — не объяснил.

И покатились с началом девяносто первого одно за другим грозные события. В Вильнюсе десантники («черные береты») штурмовали телецентр, есть жертвы. Через неделю в Риге ОМОН штурмовал здание МВД Латвии, и тоже жертвы. В Москве — коммунистическая демонстрация, требуют отставки мэра Гавриила Попова, несут лозунги «КГБ, прими меры против контрреволюции!». И КГБ, естественно, принимает. И — демократические демонстрации в Москве и у нас в Питере: «Руки прочь от Литвы!», «Фашизм не пройдет!».

А в феврале — телевизионное выступление Ельцина. Ох и выдал Горбачеву! Мол, обманул нас летом девяностого, провалив программу «500 дней», обманывает народ и теперь, — он должен уйти в отставку.

Противостояние двух лидеров — ни к чему хорошему это, черт дери, не приведет.

— Не хватало нам еще гражданской войны, — сказала Рая, когда телевизор умолк. — Избави Бог!

Она перекрестилась. Такая недавно возникла у нее привычка. Мне было странно видеть это: мы же атеисты, нас воспитали в полном безбожии, верно? «Ты что, стала верующей?» — спросил я. «Ой, не знаю. — Рая вздохнула, пожав плечами. — Признаться, — добавила неуверенно, — мне надоел мой атеизм». Я знал, откуда у нее это настроение — от Лизы! Лиза давно на пенсии — погрузнела, постарела. К ней ходят соседи, нуждающиеся в медпомощи, она безотказно (и бесплатно) делает им уколы. Приходят пожилые женщины, уставшие от трудной жизни, ведут богомольные разговоры. Вот и Райка зачастила к Лизе на третий этаж. Ну что ж, наверное, это потребно душе — отвлечься от того, что слышим по радио и видим в ящике.

А в чертовом ящике — опять многотысячный митинг. Стоят с плакатами, как с хоругвями: «Да порядку, нет хаосу!», «Не допустим развала!», «Ельцин, слезь с России!». А речи какие… Краснолицый от мороза хмырь орет, что обстановка — как перед приходом Гитлера к власти. Требует остановить «разгул» демократической

прессы. А на следующий день — митинг, тоже многотысячный, в защиту Ельцина. Хлесткие плакаты. Вон мелькнул «Ельцин лучше съездюков!».

Ожесточение нарастает. Опасно, опасно… Куда несешься, птица-тройка?..

12 июня ходили на выборы президента РСФСР. Мы проголосовали за Ельцина. Он и победил в первом туре, намного опередив Рыжкова. Но вот что удивительно: шесть миллионов голосов подано за Жириновского — довольно много, оказывается, сторонников у него.

— Что происходит, черт дери? — говорю. — Не протрезвев, что ли, идут голосовать?

— Происходит, что всегда происходило, — говорит моя умная жена. — Как велено, так и голосуют.

— Да кто же велит за Жириновского голосовать?

— Невежество велит. Непонимание и нежелание свободы. Мой руки, будем обедать. Вчера в гастрономе давали рыбу, которая называется «пристипома». Я купила, зажарила. Попробуем, что это такое.

— Пристипома? — переспросил я. — Ну да, такая рыба должна была появиться. Все шло к этому.

Опять старый сон. Давно не снился, а этой ночью — снова мы с Оськой в школьном дворе пытаемся поджечь автомобильную шину, а она не загорается, и тут появляется Артемий Иванович, директор, в своей вечной серой толстовке, и говорит: «Сюшьте, что вы делаете? Вонять же будет!» А я испуганно и глупо леплю в ответ: «Ну мы же не виноваты…» Артемий Иванович сердится: «Как это не виноваты? Невиноватых нету! Все в чем-то виноваты!» А Оська, тоже испуганный, дергает меня за рукав…

Рая дергает за рукав пижамы:

— Дим, проснись! Что с тобой?

Я ошалело смотрю на ее лицо, слабо белеющее в предрассветной тьме.

— Что-то плохое приснилось, да? Ты как будто плакал.

— Дурацкий сон, — бормочу я. — Сто раз уже снилось, как мы с Оськой поджигаем покрышку… и все не можем поджечь.

— Твой возвратный сон, — тихо говорит Рая. И — после паузы: — Оська напоминает о себе… оттуда…

Утром я, как обычно, включаю радио. Почему-то вместо бодрого голоса дикторши — молчание. Только чуть слышный звук, будто где-то далеко,

на морском берегу, накатываются волны. В чем дело, ребята? Почему молчите? Проспали, что ли, утренний выпуск новостей?

Включаю телевизор. Хорошо знакомый диктор, очень серьезный, деревянным голосом читает по бумаге текст. Вслушиваюсь — и падаю в кресло у журнального столика…

Ввиду болезни Горбачева президентские функции принял на себя вице-президент Янаев… Вводится чрезвычайное положение с целью обеспечить… Запрещаются все партии, кроме КПСС… Закрываются газеты, кроме «Правды», «Советской России»… С целью обеспечить порядок в Москву вводятся войска…

— Райка! — ору я.

Она, готовившая завтрак, ковыляет из кухни. В ее глазах испуг.

— Государственный переворот! — ору я.

— О господи! — Рая всплескивает руками, словно ища поддержки в небесах.

Мы смотрим, как на экране ящика появляются танки. Танки катят по улицам Москвы… корчится под их гусеницами недолгая свобода…

Неужели все повернется вспять? И снова — единственно верная идеология, цензура, всевластие обкомов? Конец гласности…

Беда, ребята, беда!

Сумасшедший день. Наскоро завтракаем, пшенная каша, сваренная вместо отсутствующей овсянки, уже не лезет в горло. Радио заговорило, снова слушаем заявление ГКЧП — самозваного Государственного комитета чрезвычайного положения. Дочитали до конца. После короткой паузы пошла музыка. «Лебединое озеро»! Ну да, а что же еще играть, когда государственный переворот?

Как-то не верится — ну не хочется верить, что перестройщик и вправду вдруг заболел… Или, может, его арестовали на даче в Крыму?.. Ничего не понять, япона мать…

— Давай пойдем на Дворцовую площадь, — предлагаю Рае. — Наверное, там митингуют.

Но тут звонит телефон.

— Вадим, — слышу взволнованный быстрый голос Галины. — Ты в курсе событий? Да? Просто ужасно! Слушай, Люська с Андреем хотят ехать в Москву, я возражаю, ведь там может начаться драка, но они не слушают, твердят, что долг честных людей… Перестань! — вскричала вдруг Галина. — Не рви телефон из рук…

Обрывается разговор, сыпятся в трубке отбойные гудки.

Что там происходит — дерутся, что ли? Спеш-

но поднимаюсь к ним на третий этаж. Ну не то чтобы спешно. В минувшие годы мигом взлетал, а ныне… как-никак седьмой десяток стучит мне в уши…

Звоню. Дверь отворяет Андрей, Люськин второй муж, вылитый князь Андрей, сиречь киноактер Тихонов, в бледной джинсовой «варенке».

— Здрасте, Вадим Львович. Как поживаете?

Он подчеркнуто вежлив со мной.

Все на свете меняется — только не коридор моего детства. Те же старые сундуки у стен, та же бочкообразная кадка, в которой когда-то рос покатиловский фикус (Покатиловы давно вымерли, Ника уехала куда-то на юг, продав свои комнаты кавказской семье), и, конечно, тот же, ни с чем не сравнимый запах отслуживших вещей, выстиранного белья, сваренной еды — терпкий воздух устойчивого быта.

Вхожу в большую — бывшую нашу, плещеевскую, — комнату. Люся, в брючном костюме салатного цвета, мельком взглянув на меня, кричит в телефонную трубку:

— Ну и черт с ней! Какой засранкой была, такой и осталась. Но ты-то едешь? Значит, бери нам с Андрюшкой билеты на дневной. Что? Нет, до Кирилла не могу дозвониться, занято и занято.

Ну, все!

Она тычет пальцем в рычаг и набирает другой номер.

— Слышишь, Вадим? — взывает ко мне Галина, сидящая в уголке дивана. — Военный переворот, танки на улицах, а эти хотят их остановить. С ума сошли!

— Галина Кареновна, — как бы с легким упреком говорит Андрей. — Чем больше выйдет на улицы протестующих людей…

— Ну и когда у нас протесты останавливали власть? Шарахнут по толпе из пушек!

— Нет-нет, сейчас другое время, власть не осмелится…

— Вадим! — Галина метнула в меня взгляд, увеличенный очками. — Ты военный человек, вразуми этих безумцев!

— Мама, успокойся! — Люся закончила телефонный разговор и стала перед матерью, разведя руки в стороны. — Вот мы такие. Не можем отсиживаться на кухнях, как вы сидели. Когда решается судьба страны!

— Да, сидели на кухнях, потому и уцелели! — кричит Галина, сжав кулачками у горла воротник голубого, в белых ромашках халата. — Ты пойми, пойми: игра в демократию закончена, Горбаче-

ва убирают, власть снова захватывают кагэбэ, эмвэдэ, люди в погонах… негодяи, бросившие в тюрьму твоего отца…

Она заплакала, кривя губы. На висящем над ней гобелене рыцари с копьями выезжали из замка. Я смотрел на постаревшее лицо Галины, на седые волосы, собранные в пучок над затылком. Где ты, изящная королева Марго?

Люся, подсев к матери, что-то ей быстро говорила — успокаивала. Андрей, очень стройный, спортивный, стоял у окна, глядел на улицу — может, сочинял свои верлибры. Он ведь поэт, и довольно известный. На сколько лет он младше Люськи?

— Галя, — говорю я, — совершенно с вами согласен. Безоружные люди не остановят танки. И уж во всяком случае, не женское это дело — уличные столкновения. Мой тебе совет, Люся, сиди дома и…

— И смотри по телевизору, как гибнет Россия? — кричит Люся, вскинув красивую голову.

— Россия не погибнет…

— Ты-то не сидел дома, когда на нас напал Гитлер! И твоя будущая жена тоже надела военную форму. Ну а теперь настал наш черед выйти на улицу!

— Да ведь теперь на улице совсем другое…

— То же самое! — орет Люся, округлив свои синие бездонные очи.

Слава богу, путч не удался!

Тысячи людей, главным образом молодых, не испугались танков, живым кольцом окружили Белый дом, баррикады возвели. И зловещая троица начальников вооруженных сил страны не решилась на штурм. Узурпаторы отступили! Крючков и Язов арестованы, а Пуго застрелился.

Гражданская война трое суток скалила в Москве кровожадные зубы — и, рыкнув напоследок, улетучилась, унося жизни трех смелых парней, загородивших дорогу танкам.

В своем кабинете арестован Янаев, не сумевший удержать верховную власть своими трясущимися от страха руками. Премьер Павлов срочно лег в больницу. Кто там еще — Бакланов, Стародубцев, Тизяков какой-то, — станцевали «Лебединое озеро»? Ну, вы же знаете, что́ мешает танцевать плохим танцорам.

Руцкой и Силаев полетели в Крым и привезли оттуда, из Фороса, в Москву Горбачева и его семью. Вот сейчас ТВ показывает выступление Михаила Сергеевича в Верховном Совете РСФСР. Уже ничего не вякает о социалистическом вы-

боре России. Благодарит Ельцина и демократов. А Ельцин сидит победителем. И — внимание, внимание! — подписывает указ о *приостановлении деятельности КПСС*.

Ну и дела!

Это сколько же — семьдесят четыре года безраздельного господства в огромной стране — партия наш рулевой — слава КПСС! — и вот бесславный конец. Здание ЦК на Старой площади опечатано.

Даже не верится…

Это же революция, товарищи!

Люся и Андрей вернулись из Москвы счастливые — иначе и не назовешь их настроение.

Люся возбужденно рассказывала, как они все эти грозные трое суток провели в оцеплении Белого дома:

— Да, боялись штурма! Особенно по ночам. Жгли костры, чаи гоняли — и пели! Все, какие знали, песни спели. Ох как орали! И стихи читали. Андрюша читал — так здорово! Ему хлопали, кричали: «Давай еще! Про любовь!» Верно, Андрюша?

— Верно, — отвечал, посмеиваясь, Андрей. — А пока я стихи читал, ты флиртовала.

— Ничего подобного!

— Возле тебя крутились этот ботаник-очкарик

и Федор-бородатый, бывший моряк. Я видел.

— Ну и что? — заливалась смехом Люся. — Ну, крутились, они же нормальные мужики. Ночью на двадцать первое тревога была — слышали, как моторы заводили, стра-ашно было! А Танька вдруг спрашивает: «А верно, что почти все португальские писатели — Феррейры?» А сама зубами клацает от страха. Я говорю: «Да, несколько Феррейр есть, фамилия распространенная». — «А ты, — говорит, — их всех переводила?» — «Нет. Только одного», — говорю.

— Что за Танька? — спрашивает Галина.

— Аспирантка филфака, по французской литературе. Умная девка. Мы сдружились, два дня жили у нее, когда путч кончился. Ну вот. А Федор орет: «Кому отлить надо, идите в четвертый подъезд, там гальюн работает!»

Люся хохочет. С удовольствием смотрю на свою сестру. Ей уже больше пятидесяти, но выглядит не старше тридцати пяти. Настоящая красотка — с умело накрученной башней черных волос, с необычайной глубиной синих глаз, с нежными губами, с прекрасной фигурой. Она у нас писатель, переводчица с испанского и, главным образом, португальского. Вдоль и поперек изъездила Португалию после тамошней «революции

гвоздик». В Коимбре, в старинном университете, обворожила своим обликом и веселым нравом молодого профессора. Их бурный роман был прерван профессорской женой. Кем-то извещенная, она прикатила из Лиссабона, куда ездила на похороны брата-офицера, убитого в Мозамбике. Люсю она обозвала шлюхой и пригрозила, что сообщит о ее поведении в «ваш кагэбэ», а мужа отхлестала по щекам и вернула к подробному исследованию творчества Камоэнса, чем, собственно, тот и занимался.

Люся и в Питере кружила головы мужчинам. С первым мужем, однокурсником, рассталась через три года. Очень был симпатичный парень, умница, начинающий литературный критик. Люську увел у него известный ленинградский архитектор. Она теннисом увлекалась, а он, тоже теннисист, как увидел Люсю, выбежавшую с ракеткой на корт, так и воспламенился, по определению моей начитанной жены, как кавалер де Грие к Манон Леско. «Кавалер», однако, был женат. Брутальный, рукастый, с грубоватым юмором, он, я думаю, был как раз тем мужиком, который нужен Люське с ее взбалмошным характером. Но бросить семью — больную жену, тоже архитектора, и детей, двух девочек-близнецов, —

он не хотел. И Люську не отпускал. Лет шесть или больше, я не считал, продолжалась у них связь. У архитектора была дача в Зеленогорске (бывших Териоках), он на своей машине возил Люсю туда, да и на курорты они ездили — в Палангу, в Пицунду.

Галина сердилась: «Что за жизнь у тебя? Туда-сюда, как теннисный мячик! Ты что же, не намерена создать семью и зажить нормальной...» — «Намерена, намерена! — Люся, оторвавшись от машинки, кидалась обнимать Галину. — Непременно создам, мамочка, не волнуйся!» И отправлялась, быстроногая, играть в теннис.

Крупная ссора с архитектором произошла в шестьдесят восьмом, когда тот одобрил вторжение в Чехословакию. «Ты сталинист! — вопила Люся. — Протри глаза, агрессор!» — «Диссидентка!» — орал архитектор. Хлопнув дверью, Люся ушла, укатила на электричке из зеленогорской благодати навсегда.

Были потом у нее еще любовники. От одного, скрытного психа, Галина увезла Люсю в своей машине в тот ноябрьский вечер, когда этот психованный в припадке болезненной ревности пытался засунуть Люськину голову в духовку

газовой плиты.

Какое-то время после этого пассажа Люся не подпускала к себе мужчин — объявила их «дурным племенем». То было время большой работы, выходили книги португальских прозаиков в Люсиных переводах, ее приняли в Союз писателей.

Началась перестройка. Ну как же без Люси? Бегала на митинги, сотрудничала в одной из новомодных демократических газет. Познакомилась с молодым поэтом, чьи стихи газета печатала. А он, Андрей Самолетов, влюбился в Люсю с такой страстью, что она, отринувшая от себя мужчин, смягчилась, пошла навстречу его натиску — сдалась. Андрей хотел непременно пожениться, а Люся возражала (я думаю, она была лет на пятнадцать старше), но он настаивал, и вот — кто бы мог подумать! — своевольная Люська уступила. В свободный от митингов час они посетили загс и сделались мужем и женой.

Глава тридцать четвертая
Разошлись наши дороги

«Москвич» Галина купила в последний год брежневской эпохи. Она давно, еще при жизни отца, намеревалась обзавестись автомобилем, чтобы избавиться от туго набитого ленинградского транспорта, и экзамен сдала, права получила. Но отец возражал против покупки машины. «Не надо, не надо, — ворчал он, — вляпаешься в аварию, хлопот не оберешься. Будем ездить на таксях».

Водила Галина свой красный, как государственный советский (и турецкий тоже) флаг, «москвич» аккуратно, осмотрительно. Ездила много. Не только по питерским улицам проносился яркий огонек ее машины, но и по областным дорогам. Дело в том, что после отмены цензуры у Галины Вартанян-Плещеевой, заметной в Питере журналистки, как бы открылось второе дыхание. Она занялась журналистским расследованием события, мрачной тенью накрывшего ее душу, — *ленинградского дела*. Документы этого — по сути фантастического — дела были прочно закрыты в

партийных архивах. Но еще были живы многие из двух тысяч ленинградцев, так или иначе пострадавших в 1949–50-х годах — отсидевших срок или снятых с работы, исключенных из партии. Галина созванивалась с этими людьми, чаще всего они, постаревшие и не очень здоровые, отказывались от встречи, от мучительных воспоминаний. Но некоторые соглашались, Галина ездила к ним с диктофоном, выслушивала трудные, иногда со слезами, рассказы людей, так и не сумевших понять, почему их вдруг обвинили в «заговоре»… кому и зачем понадобилось вычеркнуть из памяти героическую эпопею обороны Ленинграда…

Но были (хоть и очень немногие) люди, понимавшие или пытавшиеся понять, отчего, из какого мрака, оно возникло — ужасное «ленинградское дело».

В Ульяновке, в полусотне километров от Питера, в дачном домике среди яблонь и кустов смородины, жил-доживал свой век некто Анисимов, девяностодвухлетний инвалид, почти слепой и согнутый пополам, под прямым углом. Он передвигался с двумя «ходунками» под мышками, громоподобно кашлял, но голова у него работала исправно и память, в отличие от тела, не была покалечена. Таким его описала Галина в

газете, в одной из своих статей.

Этот Анисимов в годы войны работал в обкоме партии, был близок к Алексею Кузнецову. О себе он не рассказывал, но из некоторых его обмолвок Галина сделала вывод, что Анисимов, инженер по образованию, ведал строительством катеров для Балтфлота и, наверное, другой оборонной работой.

Она давала мне послушать записи бесед с Анисимовым. Я слышал надтреснутый, как бы захлебывающийся голос, часто прерываемый кашлем.

— В феврале сорок девятого началось, драть… Маленков приехал… срочно пленум горкома и обкома… он, драть, доклад об антипартийной деят-ности… чушь собачья… Лен-град, мол, хотим выпятить… свою парторг-цию противо-ставить всесоюзной… драть… не выполняем главную задачу… восстановле тяжелой промыш-ности… а возражать нельзя… Попков и Капустин, второй секретарь… каялись, драть… Летом начались аресты… меня в одну ночь с Попковым… больше года допросы, пытки… драть, драть…

Кашель, от которого содрогался диктофон, прервал его речь. Раздался женский, очень начальственный голос:

— Григорий Иваныч, принять лекарство.

Галина пояснила мне, что за старым обкомовцем присматривает племянница покойной супруги, женщина тоже в серьезном возрасте.

Запись продолжилась:

— Смертную казнь в сорок седьмом отменили… Так в январе пятидесятого, драть, снова ввели… для изменников Родины… без права помилования… Да-а, он не мог… Сталин без расстрелов… ну не мог без них… Процесс в пятидесятом, драть, шел три дня… первого октября поздно вечером оголо… огласили приговор… Шестерых к расстрелу… Кузнецова, Вознесенского, Попкова, Капустина… еще Лазутина, предгорисполкома… и предсовмина Рэсэфэсээр Родионова… Огласили и сразу, через час, расстреляли… Похоронили тайно на Левашовской пустоши, драть, драть…

И — после нового приступа кашля:

— А за что?! — выкрикнул Анисимов. — Такие люди… Кузнецов Алексей Александрыч… Петр Сергеич Попков… На них держался Ленинград в блокаду!.. За что им пулю в затылок?! А-а, ты хочешь знать… так я скажу… Тайная политика, драть! Внизу народ, простые люди… со своей жизнью и смертью на войне… за Родину, за Сталина… А наверху номенклатура, драть… Грызня

за власть! Нескончаемая, тайная!.. Жданова в сорок четвертом из Питера в Москву… в гору пошел, в сорок шестом он чуть не второй человек… Поняла, нет? Берию оттеснил!.. Маленкова из секретариата Цэка выставил… А Кузнецова из Питера — в секретариат!.. Берии это нравилось?.. А-а, поняла, драть! Вот, значит, интрига!.. Знали, Хозяин и раньше Ленинград не любил, вот и теперь… Ну кто — Берия с Маленковым, драть!.. Намотали на ус Хозяину, что чистка нужна в Питере… слишком там нос задрали… А Хозяин уже и сам… ну не терпел, если кто высоко забирался, драть… Маленкова снова приблизил, а Жданова отодвинул… Говорили, драть, что его обвинили в том, что Тито вылез… из дружной семьи, драть… А в сорок восьмом, летом, Жданов вдруг умер…

И в следующей, после долгого кашля, записи:

— Хозяин дал отмашку, как стаю злых собак спустил, драть… Поводы смехотворные… Всероссий оптовую ярмарку как посмели?.. Преувеличе значенья обороны Лен-града… Абакумов по приказу Хозяина — фабриковать матерьялы об антипартий деят-ности… Заговор придумали, драть! Превраще лен-градской парторг-ции в опору борьбы с Цэка партии, драть!.. Что ты спросила?.. Прекрасно понимал, драть!.. Но эта ложь

ему была нужна… А-а, почему! Чтоб в страхе держать страну! Разболтались, драть, после войны. Победители!..

И после нового приступа кашля:

— Устал я… Отдохнуть хочу… Обожди! Это что же в Москве творится… вчера из танков по Верховсовету палили… А?.. Ну да, реформы не всем нра… Но стрелять в парламент… А-а, не хотят рыночную эконо… Но стрелять-то, драть, зачем? Россия от расстрелов кровью истекла…

Отец свои книги всегда писал на машинке. А в этой общей тетради, которую завел за полгода до смерти, — писал от руки. Почерк — страшно неразборчивый. Масса сокращенных слов. Галина попросила меня разобраться, я надел очки и засел за отцовскую тетрадь. С первых же фраз стало ясно: отец записывал свои мысли о власти — о природе власти, что ли, ну, в общем, о том, что тревожило душу после пережитого.

Медленно, медленно шла расшифровка этих стремительных записей. Какие-то строки так и не удалось прочесть, зря я дымил над ними сигаретами.

Но были и фразы, поддавшиеся прочтению.

«Цель большевистской власти — сама власть, — писал отец. — Удержать власть — главная задача.

Любой ценой. Никаких оппозиций, никаких возражений не принимается. (нрзбр.) к чертовой бабушке и еще дальше…»

«…никаких сомнений. С отцом, помню, я спорил. Он жестко власть критиковал, когда коллективизацию… (нрзбр.) возражал ему, что у нас диктатура пролетариата. А кто пролетарий у власти? Один Калинин. Не сапожник же Каганович. Не Ворошилов же, ученик слесаря, кинувшийся служить Сталину. А сам великий вождь… (нрзбр.) но по сути недоучившийся священник… (нрзбр.) одного за другим на пути к абсолютной власти. Говорят, Хрущев хотел Бухарина реабилитировать, но политбюро против… (нрзбр.) невольно возникает: неужели нельзя обойтись без *лжи*? Власть вынуждена врать? Есть вещи, которые нельзя объяснить народу, не солгавши? Борьбу за власть объявить классовой борьбой и таким образом придать законный вид сфальсифицированным судам?..»

«…продолжаю считать мятеж антисоветским, ненужным. Какого дьявола затеяли смуту… (нрзбр.) страна еще от Гражд. войны не отдышалась, а эта (нрзбр.) матросня требует перевыборы, чтобы не одни коммунисты в советах. Делать больше не хера, давай выборы! Гордился, что

участвовал в ледовом походе на Кронштадт. Но Вадим наткнулся в Хельсинки на беглого мятежника, наслушался его россказней и признал… (нрзбр.) Дескать, большевики всех подавили, забрали всю власть, и у нас стала не советская, а партийная диктатура… (нрзбр.) никакой демократии, ну и крестьянский вопрос. Вадим, конечно, у… (нрзбр.) надо признать, что в ходе Гражд. войны цена человеческой жизни резко (нрзбр., но наверное „снизилась“). Репрессии как были, так и остались существенной особенностью власти. И надо также признать, что крестьян чересчур… (нрзбр.) индустриализация требовала, а где же еще взять средства… Однако не могу принять вычитанную в газете формулировку, что раскулачивание оказалось на деле „раскрестьяниванием“, которое до сих пор… *(нрзбр.)*…»

«От противоречивых мыслей раскалывается голова. Так что же, я отдал жизнь неправому делу?! Нет! Не хочу, не могу таким страшным образом подытожить свое существование! Я служил великой идее. И нет моей вины в тех ее, идеи, искажениях, которые произошли в России.

Или все-таки есть и какая-то моя вина?..»

Очень хотелось понять, что́ означает неоконченная фраза «Вадим, конечно, у…». Но дальше

шли две строки абсолютно неразборчивые — зря ломал я над ними голову. Скорее всего, «у», думал я, начало слова «удивительно». «Вадим удивительно доверчив», перебирал я варианты, или «наивен», а может, просто «удивительно глуп».

— Нет-нет, — сказала Галина, — Лев не считал тебя глупцом. Наивным — да, возможно. Он, я помню, однажды сказал, что флотские офицеры слишком погружены в свои морские дела.

— Ну, — говорю, — не в сухопутные же.

— А Кронштадт, — продолжала Галина, — был для него как вечная головная боль.

Я молчал. Головная боль — это *моя беда*. Контузия напоминает о себе. Никакие цитрамоны не помогают. В поликлинике докторша выписала новое сосудорасширяющее средство, забыл название, — ну, может, легче станет.

Мы сидели у нас в гостиной. Только что выключили телевизор — закончилась очередная серия бесконечного сериала «Просто Мария». Я-то не смотрю, ну та́к, одним глазом, уж очень сентиментальное кино. «Ты не знаешь, что сделала Лаура!» — «Что она сделала?» — «Она отдалась незаконному сыну Марии Лопес!» — «Не может быть!» — «Да, отдалась!» — «Негодница!» Нам бы ихние латиноамериканские заботы… Но Рая

возражает, упрямо вздернув брови:

— Ты неисправимый скептик! Тебе подавай фильмы про войну. А люди устали! Хочется смотреть не взрывы и убийства, а обычную жизнь. Да, сентиментальную — чтобы не ужасала, а вызывала добрые чувства.

— Да-да, — говорю. — Ты совершенно права.

Отмахнулся, в общем. С женщинами, ведь знаете, не спорят. И уж во всяком случае, с такой спорщицей, как моя жена.

Впрочем, в последнее время Рая приутихла, что ли. Уже не вспыхивает, как прежде, если с чем-то не согласна, не спешит возразить с возмущенным выражением в глазах.

Вот, к примеру, в минувшем сентябре были мы в санатории в Сочи (ветеранам войны стали давать бесплатные путевки). Хорошо там было, тихо и солнечно. Ну и само собой, процедуры, полезные для здоровья. Жить бы да радоваться. Но и в этом благословенном уголке доставали нас новости взбаламученной жизни. «Вести» показали выступление Хасбулатова — с дикой злостью он говорил о Ельцине, оскорбил его: «Наверное, был, знаете, в очередном...» — и понятный жест рукой у горла. А следующим днем Костиков заявил журналистам: «Слова, интонация и жесты

Хасбулатова свидетельствуют о его полной деградации как политика…» Мы, население санатория, собирались у телевизора смотреть «Вести» и поразному толковали события, но все, я думаю, понимали, что нарастающее противостояние Ельцина и его команды с ужасающе агрессивным Верховным Советом может привести к чему-то скверному, недопустимому: сдадут нервы, и пойдет стенка на стенку…

И так оно и вышло. 21 сентября, вечером, «Вести» объявили, что президент Ельцин распустил Верховный Совет. Что тут было! Санаторий трясло от яростных споров, чуть крышу не сорвало. «Давно пора кончать с этим гадюшником!» — «Не имеет права! Верхсовет избран народом!» — «А Ельцин — кем? Марсианами, что ли?» — «С сионистами связался! Рыночная экономика — сионистская удавка!» — «Что за чушь порете? Реформа Россию от голода спасла!» До поздней ночи не расходились по своим комнатам, пялились на ящик, в первом часу ночи «Вести» сообщили, что Верховный Совет отстранил Ельцина, назначил президентом вице-президента Руцкого, и тот немедленно принял присягу.

Черт-те что!

Утром мы, невыспавшиеся, расстроенные, при-

шли в столовую, сели за свой столик. Наши соседи уже были тут, ели омлет. А соседи — кто? Бывший мой сослуживец Измайлов! Такая неожиданная встреча.

Это, знаете, как было? Мы приехали в санаторий около полудня, быстро оформились, переоделись и пошли на пляж. Нестерпимо хотелось бултыхнуться в теплое море — и вот оно! Входи, осторожно ступая по гальке, и плыви неторопливым брассом, перевернись на спину и блаженствуй, покачиваясь на легкой зыби под солнышком — под лучшей из звезд нашей Галактики. Я и Раю выкупал — она плавать не умела, я ее тянул за руки, пятясь по мелкой воде вдоль пляжа, она болтала ногами и смеялась. Потом мы легли на лежаки, отдыхали — давно не было так хорошо. Рядом, под тентом, четверо мужиков играли в карты, с шуточками и смехом. Рая вдруг сказала негромко:

— Дим, посмотри на того, кто слева. Узнаёшь его?

Я присмотрелся к пожилому толстому игроку в соломенной шляпе. Смуглое лицо, седые усики. Что-то знакомое в нем было, но… Я повел взгляд вниз — на волосатой груди толстяка увидел два розоватых пятна… два шрама… Словно от щелч-

ка выключателя возникла в памяти картинка: в моей каюте на «Смольном» хирург Карасев разглядывает следы проделанной им операции — извлечения осколков из груди Измайлова, замполита нашей «щуки». Ха, Измайлов! Полвека, наверное, не виделись.

Я встал, подошел к игрокам в тот момент, когда Измайлов начал раздавать карты для новой игры.

— Здравия желаю, Александр Рустамович.

Он вскинул на меня недоуменный взгляд:

— Здрасте… — Вгляделся, прищурясь. — Плещеев, что ли? — спросил неуверенно.

— Он самый.

Измайлов, бросив карты на топчан, поднялся. Мы, смеясь, обнялись, поцеловались — усы к усам.

— Мой сослуживец по подплаву Плещеев, — сказал Измайлов игрокам. — Вы, ребята, поиграйте без меня, так? А мы с Вадимом… Львовичем, да?.. пособеседуем. У нас есть что вспомнить.

Подошли к Рае. Она села, улыбаясь, и Измайлов снял шляпу и пожал ей руку. Рая спросила о Зинаиде Ивановне — когда-то в Либаве она, жена Измайлова, была завучем школы, где Рая работала.

— Зина четыре года назад умерла, — сказал Измайлов.

Мы выразили сочувствие. (Уже не в первый раз я подумал, что в нашем возрасте надо поосторожнее с расспросами о людях, которых давно не видел.)

Пустились в воспоминания. Хорошо нам было в Либаве! Ну, не сплошь хорошо, не рай земной, но о плохом, что тоже бывало, зачем вспоминать? Лучше всего — о смешном, верно?

— Тебя однажды комбриг на офицерском совещании отчитал за то, что в городе выпил и попался коменданту. «Плещеев, — сказал комбриг, — дал маху». А ты проворчал довольно громко: «Почему всегда дают Маху? Почему не Авенариусу?»

— Да-да, — говорю, смеясь. — Ты еще сделал мне замечание за неуместные шутки. А ты любил выступать на совещаниях и в конце всегда говорил: «Спасибо за вынимание».

— Никогда я так не говорил, — засмеялся Измайлов. И вдруг посерьезнел, потрогал свои аккуратно подстриженные усики и сказал: — Ушли из Либавы, такую базу потеряли. Из Прибалтики ушли. История не простит Ельцину развал Советского Союза.

— Мне тоже не нравится, что он распался. Но не надо все валить на Ельцина.

— Ну да, еще Кравчук и Шушкевич. Собрались втроем в Пуще, в гуще, надрались водки и подписали гибель великой страны.

— Никаким трем богатырям, даже и надравшимся, не под силу погубить страну…

— А кто же, если не они? — крикнул Измайлов, сдвинув седые брови над черными глазами.

— Многолетняя диктатура партбюрократии. Неэффективная командная система управления экономикой…

— Ясно, ясно! — прервал Измайлов мою сугубо аналитическую речь. — Ты в демократы записался, эх ты!

— Никуда я не записывался, ни в какой партии не состою. Только в партии здравого смысла.

— Здравый смысл! Он где — в раздаче жуликам заводов и другого государственного имущества? В ценах, которые растут каждый день…

— В продуктах, которые появились на пустых полках магазинов! — Я тоже голос повысил, ну разозлился. — В том, что не надо торчать в очередях! Исхитряться, чтобы раздобыть кусок говядины!

— Этот кусок, да, доставался трудно, а теперь по

цене недоступен миллионам!

— Не было, ну не существует другого способа избежать голода — только отпустить цены! — упорствовал я. — Только свобода предпринимательства. Ты пойми, идет переход к новой системе, к формации новой…

— К разбойничьей формации!

— К рыночной! Переходный период всегда труден. Но рынок сбалансирует спрос и предложение…

— Дима, Александр Рустамович, успокойтесь, — попросила Рая. Она сидела в бело-синем купальнике, уперев руки за спиной в доски лежака. — Каждый имеет право на свое понимание, но не обязательно кричать на весь пляж.

— «Александр Македонский был герой, — ворчу я, — но зачем стулья ломать?»

— Вы правы, Раиса… Михайловна, да? — Измайлов тронул пальцами поля шляпы. — Не будем спорить. Такой хороший воздух сотрясать. Вы по-прежнему в Питере живете?

— Да. — Я закурил.

— А мы с Людмилой Геннадьевной — в Калининграде. Она у меня местная. Ее отец в пароходстве был большой начальник, а Людмила — врач, рентгенолог. Мы и познакомились,

когда я диспансеризацию проходил. Она на мои легкие посмотрела и говорит: «Вам надо немедленно бросить курить».

— Вот бы она и Вадиму велела, — сказала Рая. — Я уже сколько лет прошу бросить, но он не слушает, дымит и дымит.

— Саша! — крикнули из-под тента. — Ты играть будешь?

— Да, иду! В столовую на обед придете, — сказал Измайлов, — на правой стороне стол номер девятнадцать, как раз два места есть, вот и садитесь. С нами рядом.

Кивнул и неторопливо, пузом вперед, отправился под тент. Трусы на нем были черно-красные, просторные.

Я знал, что Измайлов служил дольше меня, достиг звания капитана первого ранга и крупной должности в политуправлении Балтийского флота — Пубалте. Чем он занимался, выйдя в отставку, — я не знал. Наверное, читает лекции где-нибудь. О чем? О преступной сущности капитализма? О господи, как все сорвалось с якорей…

А жена Измайлова оказалась дамой статуарного сложения, с миловидным лицом и улыбкой с золотым зубом. Высоко вздернутые брови придавали ей удивленный вид, когда она рассказывала

о нищете, которая угрожает врачам и медсестрам в поликлинике по причине отставания зарплаты от дикого роста цен.

— У нас один врач, пожилой пульмонолог, — говорила Людмила Геннадьевна в быстрой манере, — не может купить себе новые туфли, денег только на еду, так и то не хватает, и он объявил, что придет на работу в лаптях.

— Пульманолог в лаптях! — усмехнулся Измайлов. — Вот картинка! Символ реформы… перехода от социализма обратно — к капитализму… — Он подмигнул мне. — Напиши об этом, Вадим Львович. Ты же пишешь. Я видел твои статьи в газете Балтфлота.

Ну вот, утром мы, невыспавшиеся, пришли в столовую. Измайловы уже сидели за столом, ели непременный омлет, запивая чаем. Александр Рустамович, веселый, благоухающий одеколоном после бритья, широко улыбнулся:

— Привет, Вадим. Ну что, кончился твой Ельцин. Лично тебе сочувствую, а Россию — можно поздравить.

— Не нуждаюсь в сочувствии, — говорю отрывисто. — И не думаю, что Россию надо поздравить с Руцким и Хасбулатовым.

— Всё, всё! Поганой метлой прогнали Ельцина

с Гайдаром и Барбу… Бурбулисом!

— Еще неизвестно… — Я старался сохранять спокойствие.

— Что неизвестно?

— Кто кого поганой метлой. Ельцин — законный президент. Армия может его поддержать…

— Он разрушитель великой страны! Его будут судить!

— Как врага народа?

— Это ты брось, Вадим, — строго сказал Измайлов. — Те времена прошли. Будет конституционный суд.

— Судилище по-сталинистски?

— Не насмешничай!

Не знаю, чем закончился бы этот завтрак, мы оба были раскалены, вот-вот сорвались бы с языка оскорбительные слова, — и тут вмешалась Рая.

— Прошу вас, перестаньте, — быстро заговорила она, щуря глаза то на меня, то на Измайлова. — Да что же это… вечные споры… Почему не можем спокойно признать право на многообразие мнений — это ведь в духе христианства… Еще апостол Павел сказал: «Надлежит быть и разномыслию между вами…»

— Ой, правда! — воскликнула жена Измайлова. — Надоели эти споры.

— Апостол Павел! — Измайлов хмыкнул. — Вряд ли мой сын, стармех корабельный, вспоминает апостола, сидя три месяца на берегу без зарплаты.

А я проворчал:

— Вряд ли Павел имел в виду *политическое* разномыслие.

Ну да ладно. Остаток завтрака прошел спокойно. Молча пили чай с коржиком, имевшим форму бумеранга.

Но Райка-то, Райка! Я с некоторым удивлением посматривал на жену, вдумчиво допивавшую чай из большой чашки. Поседевшая, не желающая подкрашивать густую копну волос, милая, ты стала как будто новая — не вспыхиваешь, когда с чем-то не согласна… взываешь к апостолу Павлу…

Ну а дальше — вы помните, как быстро развивались события. Зря Руцкой звал армию и грозил репрессиями. Напрасно Макашов со своим вооруженным сбродом штурмовал Останкино. Кровь пролилась — но, слава богу, не Большая Кровь.

Но танки, расстрелявшие парламент…

Я просто окаменел, глядя на экран — на проломы, на ужасные черные пятна, расползавшиеся по белым стенам Белого дома. Слышал, как вокруг

спорили: бьют танки боевыми снарядами или болванками?

Телевидение (не наше! наше, как видно, онемело, американская Си-эн-эн!) вело эту передачу. Вот показали, как вывели из Белого дома арестованных — Руцкого в камуфляже, бледного растерянного Хасбулатова и других, — однако не вынесли ни убитых, ни раненых. Болванками, конечно, стреляли танки.

В санатории не утихали споры: одни одобряли решительные действия Ельцина, другие — резко возражали.

— Хороши твои демократы, — хмуро сказал Измайлов. — Два года назад Язов с Крючковым не решились на танковую атаку Белого дома. А Ельцин со своим Грачевым — не постеснялись открыть огонь. Ну так кто же у нас демократы, а кто злодеи?

Я от недокуренной сигареты прикурил новую.

— Понимаю твое настроение, Александр Рустамович, — сказал после глубокой затяжки. — Мне тоже не нравятся эти танки. Ну а что же было делать Ельцину? Безропотно отдать власть реакции? И снова — холодная война, цензура, пустые полки магазинов, «партия — наш рулевой»? Прощай, свобода…

— Да-да, — Измайлов сдвинул седые брови, — здравствуй, свобода разграбления страны… Иди, иди на пляж, Вадим, купайся… радуйся… разошлись наши дороги…

Горько было услышать о разошедшихся дорогах. Я не пошел на пляж. Шлялся по территории санатория, по дорожкам среди акаций, конских каштанов, чего-то там еще… Курил бесконечно, до того докурился, что голова заболела и заныло в левой стороне груди. Уже третий год вдруг начинает ныть мое ретивóе, ишемическая болезнь сердца — так это называется по-научному…

Надо, конечно, бросить курить, я пробовал бросить, Райка упросила, — но не вышло, вскоре опять задымил. Слаб человек… слаб и о-очень несовершенен…

Два дня мы с Измайловым не разговаривали — только «здравствуй», «привет», «пока». Он играл в карты под тентом, его жена с осторожностью загорала — а на третий день у них кончилась путевка. Утром, после завтрака, мы с ними простились: «Всего хорошего». — «Вам тоже».

Мы отправились, как обычно, на пляж. День был не жаркий, небо наполнено перистыми облаками, но вода еще сохраняла накопленное за лето тепло. Мы выкупались, улеглись на лежаки

с книгами. Я раскрыл взятый в библиотеке номер «Нового мира». Но что-то не читалось. Нехорошо было на душе. Как будто позвали на помощь, а я сделал вид, что не услышал…

Да какого черта, на самом-то деле?!

Я натянул брюки, надел тенниску.

— Ты куда? — спросила Рая, сняв очки.

— Пойду попрощаюсь по-человечески.

Подходя к подъезду главного санаторного корпуса, я увидел: Измайловы, одетые уже по-осеннему, стоят, с чемоданами у ног, ожидают такси. Их провожали два мужика в шортах и майках — партнеры по игре в карты.

Я замедлил шаг. Измайлов, увидев, оборвал разговор с игроками и подошел ко мне, глядя вопросительно.

— Что, Вадим? Забыл что-нибудь?

— Да. — Я сосредоточенно смотрел на его аккуратные седые усики. — Забыл сказать, что мы не должны вести себя как два обидчивых идиота… Что есть вещи поважнее, чем расхождения во взглядах… разошедшиеся дороги… Разве мы не ветераны Балтийского флота? Не мы дрались у ворот Ленинграда? Ели горький блокадный хлеб?

Из клумбы, возле которой мы стояли, источали сладкий запах декоративные алые и желтые

цветы.

— Ты прав, Вадим, — сказал после паузы Измайлов. — Наше фронтовое морское братство… я тоже… тоже считаю, оно важнее… выше сегодняшних политических страстей… Будь здоров, дорогой!

Мы обнялись крепко, усы к усам.

Тут подъехало такси. Измайловы погрузились и отбыли в аэропорт. А я вернулся на пляж.

Раи на пляже не было. На ее лежаке я увидел свой пластиковый пакет с полотенцем и «Новым миром». Куда же она подевалась?

Ах да, вспомнил я, сегодня у Раи вызов к врачу, на одиннадцать тридцать. Все ясно. Я скинул тенниску и брюки и улегся, раскрыв журнал. На душе теперь было спокойно.

За обедом я спросил, хрустя капустным листом, поданным на закуску:

— Ну что тебе сказала Афродита Семеновна?

Нашим врачом тут была очень полная дама очень среднего возраста Агриппина Семеновна — я прозвал ее Афродитой.

Рая посмотрела на меня, словно раздумывая, надо ли ответить.

— Она нашла у меня мастопатию.

— А что это?

— Ну… непорядок с молочной железой. У женщин такое бывает.

— Что же надо делать?

— Вернемся домой — надо будет сделать маммографию.

Я таких слов никогда раньше не слышал.

Глава тридцать пятая
Гибель Галины

Я помогал Галине подготовить к изданию книгу — сборник статей и интервью о «ленинградском деле». Работала Галина увлеченно, упоенно. Она торопилась. «Сейчас свобода, нет цензуры, — заявила она, — такая неожиданная возможность писать правду. Но кто знает, надолго ли она? У нас много людей, которым свобода не нужна и непонятна. Возьмут и добьются ее отмены».

Я разделял опасения Галины. Ходило же, из уст в уста передавалось кем-то сочиненное ироническое четверостишие:

Мы все живем в эпоху гласности.
Товарищ, верь: пройдет она,
И комитет госбезопасности
Запишет наши имена.

История России переживает бурное время перемен, но кто может знать, как пойдет она в ближайшем будущем — в наплывающем двадцать первом веке? Я помнил высказывание

Глеба Боголюбова: на развилках в русской истории наиболее вероятен худший вариант.

Так или иначе, пока есть возможность говорить и писать правду, надо ею воспользоваться.

Я привел в порядок незаконченную рукопись отца, насколько она поддалась расшифровке, и написал предисловие к ней. Это было очень нелегко. Чем больше проходило времени после смерти отца, тем чаще думал о нем — о его незаурядном писательском взлете, о его стойкости и убежденности — можно сказать, религиозной вере в великую идею всепланетного коммунизма. Какова же была глубина отчаяния, непонимания, когда его, безбожно оболгав, загнали в концлагерь… (Я так и написал в предисловии: «безбожно». А разве не так?) Отец криком кричал: «Что вы делаете? Вы с ума сошли!» Но никто не слышал, кроме вертухаев, гнавших молчаливую угрюмую колонну на лесоповал. Да и эти вымуштрованные юнцы с автоматами не слышали — потому что крик отца бился у него в висках. И продолжал биться после освобождения. Отец требовал немедленного восстановления во всех правах, но дело шло возмутительно неторопливо… и была нестерпимой мысль, что он, со своими былыми заслугами, теперь не очень-то и нужен, не вос-

требован… Хотелось высказаться, докричаться до сограждан: «Не отворачивайтесь, поймите нас, мы хотели построить счастливое общество. Почему же не получилось, кто виноват — и вообще, существует ли оно, это обещанное, но затмившееся счастье, ради которого столько жертв… столько пролитой крови?..»

И вот он, главный вопрос: обрела ли вечное успокоение мятущаяся душа моего отца, Льва Васильевича Плещеева, после того как холодные воды Балтийского моря сомкнулись над урной с его прахом?

В тот мартовский день с неустойчивой погодой я занимался Бахтиным. Он командовал «Пантерой» — подлодкой, в 1919 году торпедировавшей английский эсминец. О Бахтине я впервые услышал от Федора Ивановича Кожухова, нашего «бати», который подводную службу начинал сигнальщиком именно на «Пантере». Еще тогда, услышав это, я подумал: о торпедной атаке «Пантеры» довольно широко известно, а командир, осуществивший ее, почему-то забыт. Несправедливо…

И вот теперь взбрело в голову: в августе текущего года исполнится семьдесят пять лет историческому выстрелу — надо бы написать

статью об этом военно-морском событии. Я ведь занимаюсь историей флота, вхож в Центральный архив ВМФ, копаюсь в документах.

И знаете, раскопал, как говорится, скупые сведения. Александр Бахтин в 1914 году окончил в Петербурге Морской корпус, а затем и подводный класс, и начал службу вахтенным офицером на подводных лодках типа «Барс». Построенные по проекту генерал-майора корпуса корабельных инженеров Ивана Бубнова, эти «Барсы», при всех конструктивных недостатках и плохих условиях обитаемости («Район плавания мал, жизнь неудобна», — писал Бахтин), были тем не менее первыми боеспособными русскими субмаринами. Они действовали в годы Первой мировой войны. Мне не удалось найти документы о боевых походах «Каймана» и «Волка» — лодок, на которых плавал Бахтин, но об успешности их действий свидетельствовали боевые награды старшего лейтенанта Бахтина — орден Станислава 3-й степени, ордена Святой Анны 4-й и 3-й степени (с надписью «За храбрость»).

Но вот — революция. Наверное, выбор дался Бахтину нелегко, однако в 1918-м он заявляет, что готов служить новой власти. Старые звания отменены, теперь он просто военмор. И получает

назначение командиром подводной лодки «Пантера», одной из серии «Барсов».

Флот, в ледовом походе, в феврале–марте, приведенный из Гельсингфорса и Ревеля в Кронштадт, являл собой печальную картину. В том числе и все двенадцать «Барсов». Половина экипажей ушла воевать на сухопутье. Корпуса лодок «ослаблены ржавлением». Не хватает всего — топлива, запчастей, смазочных материалов. Сильно изношены аккумуляторные батареи, нужна замена, а где ее взять? Чтобы одна субмарина вышла в море, надо перетащить на нее исправные элементы батарей с других лодок.

Вот такой и принял Бахтин «Пантеру» — с неполным экипажем, с кучей проблем, почти два года не погружавшуюся. Он командир энергичный — делает все возможное, чтобы удержать боеготовность лодки на приемлемом уровне.

Ранним утром 31 августа 1919 года военмор Бахтин вывел «Пантеру» из Кронштадта на патрулирование. Погода хорошая, все спокойно, оба дизеля стучат и стучат, вырабатывая узлов десять — скорость небольшую, конечно, но чего же требовать от «швейных машинок», как прозвали моряки эти слабосильные дизели, поставленные на «Барсах» вопреки бубновскому проекту.

(Проект проходил с трудом.) Бахтин скомандовал погружение, повел «Пантеру» на перископной глубине. Электромоторы работали исправно — уже и это хорошо.

Вышли из Копорского залива. Подняв перископ, Бахтин увидел темную полоску островка Сескар и на его фоне какой-то дымивший корабль. Пошел на сближение и вскоре разглядел: на рейде Сескара становились на якоря два четырехтрубных корабля, в них Бахтин опознал английские эскадренные миноносцы. Он, разумеется, знал, что в Финский залив введена группа кораблей британского флота для поддержки наступления Юденича. Знал, что наступление недавно отбито, а с какой задачей выдвинулись эти эсминцы на ближние подступы к Кронштадту, конечно, знать не мог. Но решение Бахтин принял сразу: атаковать! Начал маневрирование, чтобы выйти в атаку с солнечной стороны. И вышел — двухторпедным залпом отправил на дно Финского залива новый, в 1917 году построенный эсминец «Виттория». То был гром среди ясного неба. Второй эсминец, снявшись с якоря, начал преследование «Пантеры». Бахтин сумел уклониться. Семьдесят пять миль лодка прошла под водой, не имея регенерации, и лишь на тридцатом часу

всплыла и провентилировалась — измученный экипаж вдохнул свежий воздух. Это был рекорд тогдашнего подводного плавания.

Военмор Бахтин, открывший боевой счет Красного подводного флота, был награжден орденом Красного Знамени. Экипаж «Пантеры» тоже отмечен: каждый получил продовольственный подарок. По тому голодному времени полкруга тонкой колбасы и кусок «головы» рафинада — вещи не менее ценные, чем боевой орден.

Я разыскал в архивных папках краткие сведения о дальнейшей службе Бахтина. Он командовал дивизионами подлодок на Балтике, на Черном море, преподавал в Морской академии, каковую сам окончил в двадцать шестом.

Но в двадцать седьмом году…

Тут по окнам комнаты, в которой я сидел над пухлым томом архивных листов, будто гигантским бичом ударили. Снежный заряд сорвался с хмурых небес — да какой сильный! Стекла задрожали, зазвенели под натиском метели. Потемнело.

Я зажег настольную лампу и продолжил чтение.

Постановлением ОГПУ от 28 февраля 1927 года *изъято* двадцать два человека «за участие в

контрреволюционной монархической организации на МСБМ» («Морские силы Балтийского моря»). Приговорены на десять лет лагерей семь командиров из бывших офицеров, на пять лет — восемь командиров… Стоп! Взгляд, скользивший по колонкам незнакомых фамилий, упирается в знакомую: Бахтин А. Н.

Да вы что, чекисты-гэпэушники, охренели?! На десятом году советской власти лепите «контру», мифический «монархизм» командиру знаменитой «Пантеры»… Отобрали у него орден Красного Знамени…

Продолжаю копаться в документах, в выцветшей корявой машинописи. И нахожу — ага, в 1929-м Бахтин досрочно освобожден… в 1931-м он умер в Ленинграде, похоронен на Смоленском кладбище.

Метель бесновалась и через час, когда я, сдав том с документами, вышел из Центрального архива ВМФ и направился на станцию Гатчина. Идти было трудно, трудно. Не только оттого, что снег бил в лицо. Как вселилось в меня странное беспокойное чувство, когда началась метель, так и не отпускало. Будто произошло что-то нехорошее…

Знаете, вдруг захотелось перекреститься, чтоб

отвести от Раи беду… только бы не с ней случилось что-то… силы небесные, только бы не с ней!

Меня обогнали несколько девушек, их, быстроногих, будто метель несла, подгоняла. Они и на станции, в ожидании электрички, оказались по соседству со мной, говорили все разом и смеялись — им ведь, девицам, всегда весело. Долетали обрывки их разговоров: «Остроносые, цвет кремовый, потрясный… у чувака улыбка как у кретина, а ты с ним обжималась… Дударь ремонт машин открыл, сечет мильон в день… да не обжималась я, просто он полез…» И беспрерывно «ха-ха-ха»…

Электричка хоть и с опозданием, но пришла и повезла нас в Ленинград — то есть в Санкт-Петербург — сквозь неутихающую метель. От вокзала до дома ехал долго: троллейбусы ожидали, пока снегоуборочные машины расчищали дорогу. Я изнемогал от беспокойства.

Наконец доехал. Отряхнул пальто и шапку от снега, вошел в квартиру — и услышал тонкий и будто жалобный звук пианино. Уф, ну все в порядке. Я скинул ботинки, сунул захолодавшие ноги в домашники.

Рая, оборвав игру, вошла в переднюю.

— Я заждалась тебя. Почему так поздно?

— Ты же видишь, какой снегопад. Троллейбусы

еле тащатся.

Мы сели обедать. В кухонное окно настойчиво стучалась метель. Я спросил Раю: что разучивала сегодня?

— «Маргаритки», — сказала она.

— А что это?

— Этюд Рахманинова. Прелестная вещь. Задумчивая и нежная. Но мне не дается, — добавила она.

Последнее время Раю, когда-то в детстве учившуюся игре на фортепиано, снова потянуло к музыке. То есть к музыке ее всегда тянуло, а теперь — к музицированию. Пианино, чудом уцелевшее в блокаду, было изрядно расстроено, но где теперь найдешь настройщика, да и, наверное, очень дорого это (а у нас, как и у всей России, гиперинфляция сожрала имевшиеся сбережения).

— Ну ничего, — говорю. — Сегодня не далась, завтра дастся.

— Нет, — качнула Рая головой. — Я бездарна. Всю одаренность в нашей семье Оська забрал.

И тут зазвонил телефон. Я потянулся, снял трубку.

— Вадим Львович, — услышал быстрый напористый голос, — это Андрей. Сейчас позвонили из больницы, номер не расслышал, туда привезли

Галину Кареновну, она разбилась в дэтэпэ…

— Она жива?! — крикнул я.

— Нет, погибла… при столкновении… опознали по номеру машины… звонят, адрес дали… приехать в морг для опознания…

Каждое слово — как удар по черепу…

— Да-да, поеду с тобой. Ты Люсе сообщил?

Люся на днях улетела в Лиссабон: переводческие дела.

— Пытаюсь дозвониться до главпочтамта, дать телеграмму по телефону. Вы будьте готовы, зайду за вами.

Я положил трубку.

— Галя погибла? — Рая сжимала щеки ладонями. — Что случилось?

— Автокатастрофа.

— Боже мой…

— Мы с Андреем поедем в морг. Для опознания.

— Я тоже поеду.

— Нет. Ты не сможешь пройти по сугробам.

Вскоре Андрей пришел — в дубленке, в синей вязаной шапочке с многократно повторенным по обводу словом «ski», — и мы отправились к станции метро «Василеостровская». Мело, как мне показалось, еще сильнее, чем днем.

В вагоне метро было, как всегда, многолюдно. Мы стояли, держась за верхнюю трубу поручня. Андрей, склонясь к моему уху, говорил:

— Уже в третий раз она поехала к Анисимову в Ульяновку. Он ее замучил поправками. То одно не так, то другое…

Это я знал. Галина мне рассказывала, как трудно ей согласовать с Анисимовым текст интервью. Старик оказался ужасно настырным — уточнял, менял, смягчал собственные формулировки.

— А вчера, — продолжал Андрей, — ей позвонил кто-то и говорит: «Мы советуем вам прекратить возню с материалами по „ленинградскому делу“». — «Кто это — „мы“?» — спрашивает Галина Кареновна. Не отвечает, дает отбой.

— Это была угроза? — насторожился я.

— Прямой угрозы не было. «Совет прекратить»… Кому-то не хочется публикаций.

— Андрей, ты думаешь, что есть какая-то связь между этим звонком и сегодняшней…

— Думаю, что нет, но… Не знаю.

На станции «Электросила» мы вышли из метро. Метель набросилась на нас, свистя и завывая. Фонари, облепленные снегом, скудно освещали этот сумасшедший вечер. Довольно долго брели мы по окрестным переулкам в поисках больницы. Вовсе

некстати влетела в голову стихотворная строка: «И нам не страшны вьюги были седой зимы…» Это же — из Плещеева, моего однофамильца, а может, пращура…

Наконец вышли к больнице. В холодном помещении морга пожилой служитель подвел нас к каталке, на которой лежало тело, накрытое простыней. И — отогнул край простыни с головы.

Лицо Галины было искажено широкой черной полосой запекшейся крови, косо идущей по лбу к левому виску. Рот был приоткрыт. Застывший крик боли, подумал я.

Нам дали подписать бумагу об опознании. Я не сразу смог прочесть официальный текст — из-за слез, подступивших к глазам.

Как же так, Галя, вы же водили машину столь осмотрительно.

Вы ехали из области, из Ульяновки, когда обрушилась метель. Не знаю, залепила ли она снегом лобовое стекло, управлялись ли дворники с его очисткой. Вы доехали до Питера, вы же умели ездить осмотрительно. А на Московском проспекте, на перекрестке, слева, с Благодатной улицы, выкатился грузовик и ударил в ваш «москвич».

Об этом мы узнали от гаишников. А те — от старой женщины по фамилии Винник. Из окна

углового дома она углядела, как это произошло. Никто не видел, перекресток был пуст — все занесло густым снегом, — одна только старуха Винник, которая всегда смотрела из своей одинокой комнаты в окно, увидела и сообразила позвонить 02. Ну а потом — немало прошло времени, пока на место ДТП приехали гаишники и вызвали «скорую помощь», — Галина была уже мертва. А водитель грузовика, тяжело раненный, отправлен в больницу, говорить не способен; неясно, то ли его занесло на повороте, то ли снег плотно залепил красный глаз светофора, и он как гнал грузовик, набитый картошкой в мешках, так и врезался…

На гражданской панихиде в Союзе журналистов много хороших слов было сказано о Галине Вартанян-Плещеевой.

— Чистый голос. Честное перо. Ни одного фальшивого звука…

Так говорила Ксения Морозова, журналистка, диссидентка, в разгар перестройки вернувшаяся из ссылки, из Якутии. Очень худая, по-мужски стриженная, в затемненных очках, она стояла по другую сторону гроба, опираясь на палку.

— Ты рано ушла, дорогая, — продолжала Морозова низким голосом. — Не в свою очередь. Не

по тебе звонил колокол. Не завершила начатую крупную работу…

Цветами был полон гроб Галины. Ужасная рана на ее голове, на лбу, — промыта, накрыта седой прядью. Маленькая старая женщина лежала, приоткрыв рот в предсмертном крике. Вдруг вспомнилась моя мама, она глянула глазами-озерами издалека — мама, тихо растаявшая, не оставившая следа.

И такой безмерной тоской стеснило мне грудь…

Заныло сердце. Я вынул из кармана упаковку с валидолом, выдавил и сунул под язык таблетку. Поймал встревоженный взгляд Раи, стоявшей рядом. «Ничего, ничего, милая. Пройдет. Все ведь проходит». Рая быстро перекрестилась.

А Люся, в черном брючном костюме, стояла, держась обеими руками за край гроба и уставясь немигающим взглядом на лицо матери. Она как прилетела вчера из Лиссабона, так ни слова не вымолвила. С каменным лицом выслушала наш с Андреем рассказ. И теперь стояла будто окаменевшая. Рядом с ней крестилась и что-то шептала Лиза — молилась.

На Смоленском кладбище, на памятниках и крестах, лежал снег, еще не растаявший после

метели.

Прозвучали и тут надгробные речи. Последним оратором был я.

— Ударам судьбы, — говорил я, — Галина противопоставила незаурядную стойкость… абсолютную порядочность… была превосходной женой и матерью… Прощайте, дорогая…

Я наклонился — поклонился ей — дотронулся губами до ее ледяного лба, прикрытого седой прядью.

И тут Люся, вскрикнув, упала на гроб. Она покрывала поцелуями лицо Галины, и плакала, и кричала: «Прости, прости!.. Не уберегла тебя… Прости, прости, прости!..»

В разбитой машине сумка Галины уцелела. В ней было и интервью Анисимова. Трижды моталась Галина к нему в Ульяновку с текстом интервью, и наконец старый обкомовец подписал его.

Подпись, стоившая ей жизни…

По договору с издательством Галине надлежало сдать рукопись книги 1 июня. Но далеко не все было у нее готово. И пришлось мне засесть за работу — редактировать статьи, заказывать комментарии к ним, связываться с историками, политологами. Гнул спину над «Эрикой», перепе-

чатывая готовые материалы.

Я углублялся в подробности «ленинградского дела», но не могу сказать, что смысл его все более прояснялся. Скорее — запутывался. Не только меня, но и Галину обступали вопросы, не находившие ответа. Она написала статью под названием «Невозможно понять» — к сожалению, не успела ее закончить. Зачем Сталину понадобился суд с ужасающе фальшивыми обвинениями? Расстрел руководителей ленинградской обороны? В чем юридический смысл «антипартийной деятельности», требующей «высшей меры»?

— Вы ищете смысл, Вадим? — сказала Морозова. — Ну так далеко ходить не надо. Сталин готовил новую волну террора. Новый тридцать седьмой год. Для начала — малоизвестное «мингрельское дело». Потом — нашумевшее «ленинградское». Все шло по нарастающей. Громкое «дело врачей»…

— Да зачем ему понадобился новый террор? Ксения Ивановна, вспомните, какой был подъем в стране, радость какая…

— Еще бы не помнить! Народ-победитель. А что у него на уме? Всемирная отзывчивость? Хорошая жизнь? Разговорились до того, что надо распустить колхозы. Это для власти *опасно*. В чем

главная задача власти в России? Да и в любом тоталитарном государстве? В *устрашении*. Ты, победитель, захотел увернуться от несвободы? От обязательной идеологии? Не выйдет! Заткнуть рот писателям! Напугать формалистов-композиторов! Прогнать генетиков! Кто там еще посмел вякнуть критическое слово? Молчать! Выходи строиться! — Морозова закурила папиросу и закончила свой монолог совсем уж на басовой ноте: — Свободный человек — ну, свободолюбивый — был Сталину ненавистен. Потому и держал население в страхе.

Глава тридцать шестая
Расстрельная волна на Балтике

К началу июня я не успел сдать рукопись. В издательстве вняли моей просьбе — отодвинули срок сдачи до 1 августа. «Но — ни на один день позже, — сказал редактор Никифоров. — Иначе книга перекочует в план девяносто шестого». Понятное дело, я торопился. Тем более что получил путевки в санаторий — как раз с 1 августа. Лето шло дождливое, погромыхивали грозы. Где-то я простыл, свалился с температурой — слабоват стал на старости лет: дунь на меня, я и хватаюсь за стенку — такая, значит, *застенчивость*.

Рая очень мне помогла: садилась за «Эрику», когда я выдыхался. Мы оба чувствовали себя неважно, глотали таблетки, Райка пила свое питье от мастопатии.

В общем — успели. Я сдал рукопись, и мы уехали в Калининград, а оттуда на электричке — в Светлогорск. Это курортный городок на морском берегу. В санатории тут очень неплохо. Мы устроились в светлой комнате с беленым потолком и вышли к морю. С края крутого обрыва море было

видно широко.

Вы, наверное, заметили: я не сентиментален. Не склонен к восторженному изъявлению чувств. Ну что есть море? Вода и вода, даже если ее очень много. Когда синяя вода оторочена у берега белой пеной, это красиво. Но, во-первых, Балтика далеко не всегда синяя, чаще она, как писали в годы войны журналисты, бывала свинцового цвета. А во-вторых, она не просто море, а — разворот моей судьбы.

С детства мечтал о плаваниях, читал морские романы, определенно хотел стать моряком. С Оськой бегали в яхт-клуб, на шлюпке-шестерке пахали веслами Неву, несколько раз под парусами, наполненными ветром, выходили на яхте «звездного» класса в залив. Ну и разговоры, конечно, о плаваниях, которые непременно будут. В Северном Ледовитом океане, раздвигая льды, мы упрямо искали Землю Санникова. Наше судно вздымали к небесам десятибалльные штормы в Индийском океане — там, на Маврикии, на Реюньоне, мы искали клад, зарытый Сюркуфом, корсаром по прозвищу Гроза Морей…

Но жизнь действительная крайне редко, а точнее никогда, не совпадает с шелестом книжных страниц. Мы подросли как раз к войне. Оська

погиб в ополчении в сорок первом, мы даже не знаем, где его могила. Ну а я стал штурманом на подводной лодке. Моя «щука» уцелела, форсируя противолодочные барьеры в Финском заливе. Ее прочный корпус выдержал удары глубинных бомб после каждой торпедной атаки. Не врывалось в рваные пробоины злое море. Не сгнил я в отсеке, доверху заполненном холодной придонной водой.

Какая там Земля Санникова! Какой Маврикий…

И вот я, случайно выживший на войне, стою на высоком берегу и смотрю на раскинувшееся море. На мою Балтику, исхоженную от Ботнического залива до датских проливов. Она сегодня спокойная, ну, слегка колышется, балла на два. Темно-синяя у берега, она мористее светлеет, тускнеет, прикрывается желтоватой дымкой, а горизонт размыт, почти сливается с небом и, можно сказать, цвета не имеет.

Злое море? Да нет. Просто много соленой воды.

Почему же глаз от него отвести не могу? Стою и стою. Смотрю и смотрю. Где-то поблизости, милях в двадцати отсюда, мы в январе сорок пятого атаковали конвой, вышедший из Пиллау, потопили крупный транспорт. А если по этой же широте,

под пятьдесят пятым градусом, прошагать измерителем миль двести на запад, то попадем на банку Штольпе (по-польски Слупска) — там лежит на каменистом дне урна с прахом моего отца.

Стою на высоком берегу и смотрю затосковавшим взглядом на море, слившееся вдали с бледно-голубым небесным полотном — с отшумевшими боями — с отлетевшими годами — с жизнью, подплывающей к концу…

Рая берет меня за руку.

— Дим, — говорит тихо. — Очнись. Пойдем обедать, два часа уже.

Не знаю, как в Кордильерах, а тут, в Светлогорске, можно с горы спуститься на пляж в лифте. Две вместительные кабины ползают вверх-вниз по стене обрыва в обеих сторонах пляжа. Конечно, можно и пешком по извилистой дорожке, но нам, пожилым людям, это не под силу.

Лечебных процедур у нас не много. К одиннадцати мы уже освобождаемся и вот в лифте, плотно набитом, спускаемся на пляж — широкую песчаную полосу. Расстилаем подстилки, раздеваемся до пляжного минимума и подставляем свои белые городские спины нежаркому солнцу. Оно, как обычно в Прибалтике, то и дело прикрывает-

ся массой плывущих облаков. Райка читает свою любимую Цветаеву, она почти всю ее знает наизусть. А я высмотрел в санаторной библиотеке роман «Поющие в терновнике», его все знакомые люди давно прочитали, а я — нет, у меня же другое чтение; так вот, читаю эту толстую книгу. История австралийской семьи мне, вообще-то, не очень интересна. Но роман хорошо, живо написан — и характеры, и природа, и в жизнь захолустной квинслендской фермы врываются ветры истории, гул двадцатого века, — действие перебрасывается в воюющую Европу, на острова Тихого океана… Ну и так далее.

Я читаю. Слышу удары ладоней о мяч — неподалеку играют в волейбол. Слышу крики и смех детей, они носятся по пляжу. Ходят молодые женщины в бикини, я поглядываю на них с интересом. Сидит на складном стульчике краснолицый мужчина в фетровой шляпе, в полном городском костюме, — дежурный член тайной лиги дураков, подмеченной Ильфом и Петровым в тридцатые годы. Проходя мимо него к воде, я подмигиваю и спрашиваю: «Как дела?» Дежурный член смотрит сурово, не отвечает.

Вода — не скажешь, что теплая. Градусов восемнадцать. (А больше на Балтике вообще не

бывает.) Райка не купается: некомфортно. А я, оказавшись у моря, не могу не купаться. Бреду по щиколотку, по колено в воде — тут не сразу доберешься до глубокого места. Ну вот наконец дно уходит из-под ног. С полчаса я плаваю саженками, перехожу на стариковский брасс, также и на спине. На солнце опять налезло стадо бело-кудрявых барашков, западный ветер гонит и гонит их откуда-то — из Исландии, наверное. С чувством выполненного долга выхожу из воды, растираюсь мохнатым полотенцем.

— Как вода сегодня? — Рая поднимает голову от томика Цветаевой.

— Мокрая и теплая, — отвечаю как обычно, — хотя и не очень.

— Смени плавки на своем остеохондрозе, — напоминает Рая.

В кабине меняю мокрые плавки на сухие и, вернувшись к своей подстилке, углубляюсь в австралийский «буш». Бесконечно далекая от нас жизнь, абсолютно непохожая, но читать — интересно. У автора романа — мадам Колин Маккалоу — отличное чувство истории. Наверное, это и привлекает меня.

Я ведь в меру своих сил тоже служу ей — музе истории Клио. Копаюсь в архиве Военно-морско-

го флота, в книгах воспоминаний Белли и других авторов. Да, конечно, война на Балтике — главный предмет моих изысканий, моих статей. Их, напечатанных в газетах и журналах, уже десятка три. Мне звонят, когда надвигаются даты, связанные с флотом, заказывают статьи.

Исполнена героических событий история Балтийского флота. Но — из песни не выкинешь слова — очень эта история непроста. Чем больше в нее углубляюсь, тем труднее дышится. Не раз возникало желание: всё, всё, сыт по горло, больше не вмещается в мозг… бросаю к чертовой матери это чтение, эти ужасные штудии…

Но снова зажигаю настольную лампу над желтыми архивными листами. Снова вглядываюсь в сухие, отжатые временем строки, за которыми — то смутно, то с беспощадной ясностью — возникают живые фигуры людей, населявших планету под названием Балтийский флот.

Воображение рисует множество мужских лиц. Больше всего тут лиц простых, не выражающих ничего сверх обычных человеческих желаний — досыта поесть, по возможности выпить, поспать самому или, если повезет, с женщиной. А вот лица высоколобые, породистые, с ухоженной бородкой, это морские офицеры, элита старой

России, — кто высокомерно взирает на мельтешню жизни, а кто всматривается умными глазами с явным намерением понять *смысл* обрушившихся на Россию событий. И представляются мысленному взгляду лица главных героев этих событий. Тут никаких рефлексий: все ясно!.. вперед, к мировой революции!.. кто был ничем, тот станет всем!.. кончилась ваша власть, драконы!.. Яростные матросы Центробалта захватывают власть на флоте. И Балтику накрывает *расстрельная волна*.

Она началась еще до октября — сразу после февральских событий. В Кронштадте восставшие матросы убили начальника гарнизона адмирала Вирена и больше трех десятков офицеров. В Гельсингфорсе у выхода из военного порта подлым выстрелом в спину убит командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин, на кораблях расстреляны десятки офицеров эскадры. То был, так сказать, стихийный период истребления российских офицеров. После октябрьского переворота это «дело» берет в беспощадные руки большевистское правительство.

В феврале–марте 1918 года начальник МСБМ (Морских сил Балтийского моря) капитан первого ранга Алексей Щастный и офицеры, лояльные

новой власти, приводят из Гельсингфорса и Ревеля в Кронштадт и Петроград корабли Балтфлота. Это — известный Ледовый поход. Он необычайно труден: в экипажах некомплект, на заливе лед. Однако все трудности преодолены, флот спасен. Но власть — в лице недавно учрежденной ВЧК — смотрит на офицеров флота с подозрительным прищуром. 28 мая Щастный арестован, спешно вывезен в Москву, обвинен «в контрреволюционной агитации… невыполнении приказов советской власти и злонамеренном дискредитировании ее в глазах матросов с целью ее свержения». Троцкий требует сурового приговора. Щастный на суде трибунала при ВЦИК гневно протестует против лживого обвинения. Трибунал приговаривает комфлота к расстрелу, на следующий день, 22 июня, приговор приведен в исполнение.

Это первая на Балтийском флоте казнь, официально «оформленная» советской властью.

За ней последовало огромное множество расстрелов — не только «оформленных», но и бессудных. Не подсчитано, неизвестно, сколько офицеров погибло в конце лета — начале осени 1918 года после объявления «красного террора» — мести большевиков за убийство

председателя Петроградской ЧК Урицкого и покушение на Ленина 28 августа. Число казненных — не менее нескольких тысяч. В своих «Воспоминаниях» контр-адмирал Владимир Белли пишет, как большую группу бывших офицеров флота «погрузили на баржу, вывели на Большой Кронштадтский рейд, там открыли дно баржи…». В книге «Красный террор в России» Сергея Мельгунова написано: «…в одном Кронштадте за одну ночь было расстреляно четыреста человек. Во дворе были вырыты три больших ямы, четыреста человек поставлены перед ними и расстреляны один за другим».

Поражает вереница репрессированных командующих Балтфлотом. Вот контр-адмирал Сергей Зарубаев, назначенный после ареста Щастного. В боевой молодости он — артиллерийский офицер на крейсере «Варяг» в знаменитом бою при Чемульпо 27 января 1904 года. В 1918-м — в Ледовом походе возглавлял первый отряд кораблей. Зарубаев — начальник МСБМ с мая 1918 года по январь 1919-го, затем смещен, получает назначение начальником учебных отрядов, в августе 1921-го арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян.

А вот капитан второго ранга Владимир Ку-

кель — с января по 3 марта 1921 года временно исполняющий обязанности командующего Морскими силами Балтийского моря. Работал потом на некрупных должностях, ведал морпогранохраной на Дальнем Востоке. В 1937 году арестован, обвинен в «шпионаже» и в 1938-м расстрелян.

Флагман флота второго ранга Иван Кожанов, родом из кубанских казаков, командовал МСБМ недолго: с 3 марта по 4 мая 1921 года. При нем армия Тухачевского разгромила кронштадтских мятежников. Молодого флотского начальника (Кожанову всего 24 года) перебрасывают на юг. Он возглавляет Морские силы Черного и Азовского морей. Командует Морскими силами Дальнего Востока. В 1927–1929 годах он военно-морской атташе в Японии. В 1937 году Кожанов арестован, в 1938-м расстрелян.

Флагман флота первого ранга Михаил Викторов — дважды командует Морскими силами Балтики: с мая 1921 года по май 1924-го и с апреля 1926-го по март 1931-го. Человек огромной энергии, именно такой и нужен в это трудное время восстановления флота. Викторов командует и Морскими силами на Черном море, и на Дальнем Востоке. С августа 1937-го он начальник Военно-Морских сил РККА. Но в 1938-м — арест, лживое

обвинение, расстрел.

Адмирал Лев Галлер — в 1905 году окончил Морской корпус и почти полвека безупречно служил российскому флоту в дореволюционное и советское время. На Балтике командовал эсминцами, крейсером, линкором «Андрей Первозванный», минной дивизией, бригадой линкоров, был начальником штаба Балтфлота, с 1932-го по 1937-й командовал флотом. В 1938–1940 годах — начальник Главного морского штаба. В Великую Отечественную — зам наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению. В 1948-м адмирал Галлер по сфабрикованному подлому обвинению арестован, лишен звания — и умирает в тюремной больнице.

Флагман первого ранга Александр Сивков — с 1913 года, когда получил звание мичмана, уверенно поднимался по лестнице военно-морской службы. У него длинный список кораблей Балтфлота, на которых он служил механиком, помощником командира, командиром (в частности — линкора «Октябрьская революция»). С 1935 года Сивков был начальником штаба Балтфлота, а в 1937-м — командующим флотом. Этим проклятым годом и обрывается карьера исправного офицера Сивкова. В 1938 году он расстрелян.

Она прямо-таки *расстрельная* — должность командующего флотом.

С особым интересом копался я в архивных материалах, связанных с кронштадтским мятежом. Для меня он — не полузабытый эпизод в истории страны, не три строчки в учебнике («несознательные матросы… на поводу у белогвардейского генерала…»). Гордился отцом — участником штурма Кронштадта. Но случайная встреча в Хельсинки с бывшим мятежником сильнейшим образом осложнила мне жизнь. Как часто влетала в голову простая мысль: уж лучше бы не было этой встречи! Все бы шло путем. Не обрушилась бы на Машу горькая правда, что отец ее — не погибший герой Перекопа, а сбежавший в Финляндию кронмятежник… правда, которую она не могла принять и которая, черт дери, вызвала отчуждение в наших отношениях… Или — ну вот совсем просто: промолчал бы о встрече с Терентием — и все, никаких слез, никакой головной боли… что было, то сплыло… А может, и не было ничего ужасного? Ну, пошухарили матросики, схлопотали по жопе… наплевать и забыть…

Но разве мог я утаить правду? Правда вопила с пожелтевших листов «Известий ВРК» — Временного ревкома… из подшивок архивных

документов, из выцветших строк протоколов, деловито сообщающих о погибших при штурме, о расстрелянных, отправленных в тюрьму, о высланных из Кронштадта.

Цифры потерь штурмующих частей наверняка преуменьшены. Наштаресп (начальник штаба республики) Лебедев дал сводку о гибели при штурме: комсостав — 130, рядовой состав — 3013. Вряд ли в эти числа вошли красноармейцы, погибшие на льду, многие раненые, не доставленные на землю. Нет данных о количестве погибших защитников Кронштадта.

Расправа над гарнизоном крепости была ужасающе жестокой. В протоколах допросов почти нет сведений о тех, кто захвачен с оружием в руках: пленных расстреливали на месте. Через ревтрибунал и чрезвычайные тройки прошли все матросы и красноармейцы, все гражданские служащие воинских частей. Особенно кровавыми были судилища на линкорах: не менее трехсот военморов «Петропавловска» и «Севастополя» допрошены, приговорены к высшей мере и немедленно расстреляны.

К лету 1921 года, по документам, в Кронштадте приговорены к расстрелу 2103 человека и к различным срокам заключения в концлагерь 6459.

Но и это не все. Весной 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта. Кто это были? Члены семей «кронмятежников», их знакомые, да и просто люди, на которых писаны доносы (например: «…Видел как етот гад читал листовку ревал. камитета»). Всего, по документам, выслали (неизвестно куда) 2514 человек.

Кронштадт, можно сказать, обезлюдел.

Чекисты старательно исполняли распоряжение Ленина: «Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Под практику жестоких репрессий подведена «теоретическая» база: чтобы «публика» и «думать не смела о сопротивлении». Для Десятого съезда РКП(б) кронштадтский мятеж был, как ни парадоксально это звучит, *событием кстати*. Вот, смотрите, принимаем решение об отмене продразверстки, разрешаем частную торговлю, да, это временное отступление, но у него есть предел: никакого сопротивления не потерпим! Кронштадт доказывает: внутрипартийные споры, всякая фракционность, малейшие послабления — *недопустимы*! Вот и принимает съезд резолюцию «О единстве партии» — важнейшую директиву на десятки лет, вплоть до сияющих да-

лей коммунизма: не сметь спорить с партийной линией. С властью!

Эта резолюция Десятого съезда — в основе разворота дальнейших репрессий.

И вот что еще о Кронштадте: волна Большого террора 1937–1938 годов накрыла *почти всех командиров штурма*. Расстрелян главный «подавляльщик» мятежа Михаил Тухачевский (сразу после взятия Кронштадта направленный подавлять крестьянское восстание на Тамбовщине), будущий маршал и первый зам наркома обороны. Расстрелян Александр Седякин — командующий южной группой войск и первый комендант крепости после разгрома мятежа. Расстрелян Евгений Казанский — командующий северной группой войск. Расстрелян Петр Дыбенко — начальник сводной дивизии южной группы, бывший председатель Центробалта. Расстрелян Григорий Хаханьян — командир одной из бригад 79-й дивизии. Расстрелян Андрей Бубнов, особоуполномоченный при политотделе южной группы, с 1929 года по 1937-й нарком просвещения…

А их-то за что? Своих! Насквозь партийных, не знающих никаких колебаний, ко всему готовых? (Как там у Блока: «…И идут без имени святого / Все

двенадцать — вдаль. / Ко всему готовы, / Ничего не жаль…»)

За что?!

Странная высвечивается во тьме непонимания мысль: чем *больше* у человека заслуг, тем *больше* должна быть и благодарность. А особый вид *большевистской* благодарности — пуля в затылок.

Глава тридцать седьмая Досрочный отъезд из Светлогорска

15-го числа плавный ход августа переломился затяжным дождем. Пляж опустел, только чайки носились над ним, над мелководьем, крича сварливыми голосами.

Я позвонил Измайлову, пригласил приехать к нам в санаторий.

— Так ты в Светлогорске, — сказал он, громко дыша. — Да, надо повидаться. Но, понимаешь, Вадим, я не совсем… ну, не в форме. Ты с женой? Так приезжайте к нам. В любой день… А-а, у вас процедуры… Ну, в субботу… Знаешь, что? — Он подышал в трубку. — Я попрошу сына, он приедет за вами и привезет. Значит, в субботу, к трем часам.

Сын Измайлова, тоже, как и отец, Александр, приехал к нам на хорошей машине — «тойоте». Он нисколько не походил на отца — был светлоглаз, светловолос, с крупным улыбчивым ртом, — весь в маму, покойную жену Измайлова Зину.

Всю дорогу до Калининграда Александр-младший выжимал большую скорость и рассказывал, посмеиваясь, о своих трудных отношениях с окружающей действительностью:

— Я же рыболов. Плавал стармехом на большом морозильном траулере. Это ж, знаете, плавучий рыбзавод. Не только ловим, но и разделываем рыбу. А ее, рыбу, брали на Большой Ньюфаундлендской банке, это знаете где? Ну точно. Боялись, что она, ньюфаунд-рыба, кончится, ее же много брали. А вместо нее, хе, кончилась советская власть. Кто ожидал? Я не ожидал. Я простая русская девушка. Правда, вся задница в ракушках. Пардон! Сорри!

— Ничего, — сказал я. — У меня она тоже в ракушках, никак не соскребу.

— Ну точно. Вот, значит, как произошла перемена власти, так рыболовный флот застрял у стенки. На одном энтузиазме в океан, хе, не пойдешь. Кушать надо? Семью кормить надо? А как, если зарплаты нету? Ждали, ждали, потом пошли устраиваться кто куда. Меня дружки в бизнес позвали — делать теплицы для огородов — ограды, сетки там. Мощная отрасль народного хозяйства. Но я не пошел. Там большие знания нужны, а я…

— А вы простая русская девушка, — кивнул я.

— Точно! — Александр-младший хохотнул. — Ходил я, значит, ходил продавать рабочую силу. Наконец нашел свою мечту. Тут большая торговая фирма, сеть магазинов, взяла меня приглядывать за холодильным хозяйством. Вот я теперь, хе, холодильников начальник и фреона командир.

— А как отец отнесся к вашему… ну, к береговой жизни?

— Отец? — Александр помолчал, наморщив лоб. — Ну что отец… Он всегда недоволен… Фу, опять припустил, черт кособокий, — ругнул он дождь, ударивший в лобовое стекло, и включил дворники. — Отцу не нравится, конечно. Мои дела — еще так-сяк, а вот Игорем зело недоволен. Сыном моим.

— А в чем дело?

— Хе! Игорь окончил биологический факультет, но идти в школу учителем отказался. Объявил, что не будет влачить нищенскую жизнь. Связался с ловкими парнями… ну, там двое школьных дружков и бывший десантник из морпехоты… дядька их морской… Короче, учредили общество по торговле автомобилями. Мотаются в Польшу, Германию, пригоняют подержанные машины. Спрос на них тут большой. Зарабатывают мальчишки. Игорь себе на квартиру почти накопил…

А вот начинается рыбный порт. Царство, хе, селедочных хвостов.

Мы уже въехали в Калининград. Сквозь живую сетку дождя смотрю на черные корпуса судов у причалов — они кажутся уснувшими, не видно на них людей.

— Это сээртэ, то есть средний траулер, — тычет пальцем в окошко Александр, — а за ним малый, я на малышах начинал свое плавание… А вон, правее, видите? Это большой морозильный, я на нем пять лет в море хаживал. Здоровенная посудина, а?

Он смеется, счастливый от встречи со своей «посудиной».

Едем по набережной Пре́геля, то есть, как эта река теперь называется, — Прего́ли. Вот и Кафедральный собор вырисовывается, и пристроенная к нему колоннада — там могила Канта. Я же помню Кенигсберг сильно разрушенным. В сорок шестом году наша «щука» пережидала разыгравшийся шторм в Пиллау, и я съездил на попутной машине в Кенигсберг, только что переименованный в Калининград. Огромный город лежал разбитый, громоздились горы развалин — страшный апофеоз войны. Меня поразил уцелевший среди руин памятник Шиллеру — мелькнула

мысль, что силы разрушения бессильны перед поэзией. Ну, это вопрос спорный…

И вот спустя много лет снова еду по бывшему Кенигсбергу, и что-то тревожит меня. Проносятся мысли о странной судьбе этого города, некогда вставшего на зыбкой границе между немецким и русским мирами. Какая-то заложена в его основание фантасмагория. Не случайно, наверное, родился в нем удивительный фантаст и романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман (где-то я вычитал, что третье имя у него было Вильгельм, но он заменил его на Амадей, потому что обожал Моцарта). Ну и, конечно, Иммануил Кант, великий философ, с его знаменитым восхищением двумя вещами — звездным небом над нами и моральным законом в нас…

За прозрачной завесой косого дождя разворачивался странный город. Две башни недостроенного Дома Советов на месте разрушенного королевского замка (он уцелел при штурме, но был снесен решением калининградского обкома, проигнорировавшего многочисленные возражения). Белые типовые коробки домов по соседству с темными уцелевшими немецкими. Старый форт, красно-кирпичный призрак далеких времен. Бар «Сэр Фрэнсис Дрейк» — а это что за причуда?

Измайловы жили в новом доме на улице Девятого Апреля (это был день окончания битвы за Кенигсберг, чрезвычайно кровопролитной).

В прихожей отчетливо пахло жареным мясом. Мы обнялись с Измайловым. Его седые усы по-прежнему выглядели щеголевато, но лицо показалось постаревшим, с обвисшими щеками. На нем был темно-синий тренировочный костюм с белыми полосами от плеч до ступней.

— А это Джим, — указал Измайлов на крупного, хорошо подстриженного пуделя с кисточкой на конце хвоста. — Он член нашей семьи.

Джим неторопливо обнюхал нас.

— Дай, Джим, на счастье лапу мне, — сказал я.

Пудель лапу не дал и отошел, сохраняя достоинство.

А вот и Людмила Геннадьевна. На ее миловидном лице широкая улыбка с золотым зубом. Темно-серое платье с голубой вышивкой красиво облегает статную фигуру. Я вручаю ей букетик гвоздик.

— Какие вы молодцы, — говорит она, — что выбрались к нам в Калининград.

В гостиной у них очень уютно. Тюлевые занавески на окнах обрамлены золотистыми шторами. Стенка тоже сияет золотым лаком.

Посредине на полке сидит длинноносый задумчивый Буратино. Множество фотоснимков. На самом крупном — группа офицеров и матросов, среди них улыбающиеся женщины, на фоне платформы с пушкой немалого калибра.

— А-а, заметил? — улыбается Измайлов. — Ну да, вот я стою, а рядом Зина. Это к нам в сорок третьем на бригаду желдорартиллерии приехали ленинградские шефы. Так мы с Зиной познакомились. Ну, прошу к столу.

Вот странность какая: все у Измайловых как бы золотилось. Не только мебель. Золотистой была нежная корочка пирога с капустой. Отливало золотом рыбное блюдо, украшенное зеленью. Соте из баклажанов тоже. (Мне вспомнилось вычитанное где-то, кажется у Флобера: «Перу — страна, где все из золота». Вот у Измайловых было как в Перу.) И как вкусно все!

— Вы прекрасная хозяйка, Люда, — сказала Рая.

— Спасибо. — Людмила пристально посмотрела на мою жену. — У всех налито? Предлагаю — за здоровье наших гостей.

Дамы выпили по бокалу алиготе, а мы с Александром-младшим — джин с тоником. Старший Александр чуть пригубил из своей рюмки.

Тут пришла худощавая женщина средних лет в темно-синем брючном костюме, с откинутой на спину волной желто-золотых волос.

— Ой, здрасте! — Оглядела нас сквозь очки. — Извините, что опоздала! Водила экскурсию!

— Моя жена Настя, — представил ее младший Александр. — Работает в Музее мирового океана.

— А вы были у нас в музее? — вопросила Настя, принимаясь за пирог. — Ой, ну как же! Приходите, это близко, возле спорткомплекса «Юность». Столько интересного! На Преголе «Витязь» стоит, это трофейный немецкий корабль «Марс», он вывозил из Кенигсберга раненых. Теперь он — научно-исследовательское судно «Витязь». А рядом — наш музей. Людмила Геннадьевна, пирог очень удачный получился!

— Ты знаешь, с капустой пришлось… — начала было Людмила, но остановить Настю ей не удалось.

— Один экскурсант сегодня, — понеслась та во взятом разбеге, — замучил меня вопросами. У нас во дворе музея пушки, мины, якоря и — рубка подводной лодки. Так этот усач спрашивает: «Девушка, а почему у вас рубка только шестьсот тринадцатой лодки?» — «А что вас, — говорю, — не устраивает?» А он: «Лодки шестьсот тринадцатого

проекта не воевали, их после войны стали делать. Воевали „щуки“, „эски“, „малютки“ — почему нету ни одной рубки этих лодок?» — «Знаете, — говорю, — ко времени создания нашего музея лодок, о которых вы вспомнили, уже не существовало». А он насупился и говорит: «Вы плохо искали. „Щука“, на которой я служил, долго после войны стояла на корабельном кладбище. Ржавела, конечное дело, и вида не имела. Но можно ведь было почистить, покрасить…»

— Этот усач, — сказал я, — был, наверное, из команды нашей «щуки». Может, мой штурманский электрик Коронец. Он как раз отличался дотошностью.

— Да нет, Вадим, — сказал Измайлов. — Нашу «щуку», я узнавал, порезали на металлолом.

Я предложил выпить за память о ней — о лодке, битой глубинными бомбами, израненной артогнем, наполненной трудным дыханием полузадохнувшейся команды.

Измайлов, хрипло дыша, поднял рюмку:

— За нашу «щуку» и ее экипаж.

— Саша! — Людмила сделала предостерегающий жест.

Но Измайлов медленно осушил рюмку до дна. У него, видимо, неладно с легкими. У всех людей,

доживших до преклонных лет, что-нибудь неладно. И уж тем более — у подводников.

Пошел разговор о бывших сослуживцах. Конечно, вспомнили Федора Ивановича Кожухова, нашего «батю», почти сорок лет миновало со дня смерти, но мы помним его — живую историю советского подплава. Я не раз писал о нем статьи.

Вспомнили Леонида Петровича Мещерского, контр-адмирала, много лет командовавшего подводниками на Севере и на Тихом океане, а потом занимавшего крупную должность в главкомате ВМФ в Москве. Измайлов знал, что Мещерский перенес тяжелую операцию и теперь живет безвылазно на подмосковной даче.

Вспомнили и других офицеров, в частности Анатолия Китаева, нашего минера, сделавшего дипломатическую карьеру. Всеведущий Измайлов знал, как он, Китаев, будучи сотрудником советского посольства в Индии, отличился во время визита в эту страну Хрущева и Булганина: помог, подсадил Никиту Сергеевича, когда тот взбирался на слона.

— Ай да Китаев! — засмеялся я. — Какой молодец! Хинди-руси бхай, бхай!

— Вот именно, — усмехнулся Измайлов. — Хотя не исключаю, что эта подсадка придумана.

— Si non è vero, è ben trovato, — вспомнилось мне где-то вычитанное итальянское изречение.

— Что это значит? — спросил Измайлов.

— «Если это и неправда, то придумано хорошо».

Плавно перешли от закусок к собственно обеду. Котлеты с картофелем фри были выше любых похвал. Джин тоже способствовал благодушию. Я прямо-таки расслабился. Не стал возражать Измайлову, когда тот пустился излагать пункты, по которым на грядущих президентских выборах нужно голосовать только за Зюганова.

— …Положит конец хаосу в экономике… вернет нормальное плановое управление…

— Попроси его, — вставил я, благодушествуя, — чтоб не забыл выдать талоны на водку.

— Прекрати ерничать, — сердился Измайлов. — Мы не против частной собственности в сфере потребления. Но тяжелая промышленность должна остаться…

Чай с легким, нежирным тортом достойно завершил обед. Людмила увела мою жену в другую комнату — сказала, что хочет о чем-то поговорить. Ну ладно. Мы с младшим Александром вышли на балкон покурить. Дождь почти перестал. Из комнаты донесся знакомый голос: «Вы

слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят…»

— Отец магнитофон включил, — сказал Александр. — Обожает Окуджаву. А знаете, Вадим Львович, Игорь вычитал в каком-то журнале, что недавно у человека нашли ген речи.

— Ген речи? — переспросил я. — Что-то я не слышал.

— Да, ген, которого нет ни у одного животного. И значит, человек произошел, хе, не от обезьяны…

— Ваш Игорь, наверное, любитель фантастики.

— Фантастику он, конечно, любит, но это была статья в научном журнале. Игорь ведь по образованию биолог. Интересно получается: не мы от обезьяны, а обезьяна — деградировавший человек. Которому не понадобился разум.

— От кого же мы произошли?

— Хе! В том-то и дело, что остается один вариант — библейский. Человек получился сразу. С геном речи. По образу Божьему.

— Н-да. Такое время наступило — в моду вошли предсказатели, алхимики, кудесники…

— Кудесники — это кто?

— Волшебники. Любимцы богов. — Я посмотрел на часы. — Ну что ж, нам пора отчалить. Можно

заказать такси на Светлогорск?

— Зачем вам такси?

— Саша, ну вы же не сможете…

— Настя вас отвезет. Она лучше, чем я, машину водит.

Мы простились с Измайловыми, поблагодарили за прекрасный обед и сели в машину. Пудель, которого Александр Рустамович вывел погулять, гавкнул, когда машина тронулась.

— Это Джим попрощался с вами, — сказала Настя.

Она, верно, вела машину отлично. Пустилась рассказывать, как ее Саша тяжело пережил прекращение плавания.

— Он же моряк по призванию. Ну не может без моря. Стал выпивать. То есть они, конечно, и в плаваниях выпивали. Но пить — это не выпивать. Саша пил. Ну, пошли скандалы с отцом. Я пыталась смягчить. Александр Рустамыч человек с трудным характером. Ну и Саша мой…

Я слушал сочувственно.

— Знаете, Настя, — сказал я, — на днях в очереди на ингаляцию я слышал разговор местных жителей как раз об этом. Говорили, что возобновились выходы в море рыболовных судов.

— Да, выходы были. Но больших экспедиций,

как прежде, нет.

— Может, возобновятся.

— Не знаю. Саша уже не пойдет, — сказала Настя после паузы. — Годы уже не те.

Рая всю дорогу молчала.

— О чем вы говорили с Людмилой? — спросил я, когда уже подъезжали к Светлогорску.

— Она предложила сделать анализы. У себя в поликлинике.

— Какие анализы?

— Нужные анализы, — сказала Рая, глядя в окошко.

Почему-то с первого дня пребывания в здешнем санатории вселилось в меня ощущение тревоги. Так и раньше бывало — вдруг возникало предчувствие неясной неприятности… беды какой-то… Но — проходило. А тут, в странном городе Кенигсберге…

Итак, Людмила Геннадьевна, жена Измайлова, всмотрелась в Раю и нашла, что за год, прошедший после сочинской встречи, она похудела. Может, что-то еще заметила — скажем, в выражении глаз, — опытные врачи умеют видеть внешний облик человека («habitus» по-латыни) не так, как обычные люди.

Когда видишь человека каждый день, не

замечаешь, как он меняется: время работает неспешно, постепенно. Вообще-то, я замечал, что Райка немного похудела, но относил это за счет артроза тазобедренных суставов. Да и диеты она придерживалась (считала себя склонной к полноте).

Два дня я возил Раю в Калининград, в поликлинику Людмилы, на анализы. Отклонения от нормы выявились, но можно было счесть их возрастными. Рентгеноскопия не показала грозных признаков. Онколог, пожилая женщина со строгим сухим лицом, в больших очках, долго обследовала Раю. «У нее железные пальцы, — говорила Рая. — Она меня измяла».

Она нащупала у Раи под мышкой левой руки узелок. Позвала Людмилу. Кого-то еще. Потом и меня, томившегося в коридоре.

— Конечно, возможна ошибка… анализы могут быть истолкованы по-разному… но этот узелок… необходимо срочное обследование, нельзя медлить…

Я слушал строгую женщину с ощущением, похожим на давнюю нарастающую тревогу при форсировании минного заграждения.

— Да-да… спасибо… завтра же уедем… — Как бы со стороны я услышал свой голос. — Большое

спасибо…

Проливным дождем оплакал август наш досрочный отъезд из Светлогорска.

Глава тридцать восьмая
Отчаяние

Ровный. Мариан Никитич Ровный — так зовут нашего доктора. У него и ученая степень есть, он в Питере один из лучших онкологов — так нам сказала Лиза.

В нем все было крупным — рост, лицо с мощной нижней челюстью, растрепанная шевелюра, напоминавшая ту, что на портретах Бетховена. Громогласный, повелительный, он заполнял собой отделение, которым заведовал. Попасть к нему в отделение было удачей. Да и вряд ли Рая попала бы, если б лет десять назад не готовила дочь Ровного к поступлению в иняз. Такое вот совпадение.

— Мы сделаем все возможное, — сказал мне Ровный после приема Раи, когда я постучался в его кабинет. — Дня через два начнем химию, потом, если понадобится, облучение. У нас это на хорошем уровне, европейском. Вас попрошу об одном: поддержите ее. Чтобы не пала духом. Очень важен психологический фактор.

— Да, конечно, — ответил я. — Конечно поддер-

жу. А можно спросить, доктор? Я прочел о новом эффективном препарате — катрексе. Как вы к нему относитесь?

— Отрицательно. Это иммуностимулятор, он может спровоцировать рост раковых клеток. Вы, кажется, морской офицер? — вдруг спросил он. — Просвещенный человек? Ну так бросьте читать хреновину, которой переполнены теперь газеты.

— Поиск панацеи, — сказал он в другой раз, — любимое занятие человечества. Вот нашли мумие. Ах, чудо природы! Ах, укрепляющее воздействие на организм! А что это такое — мумие? Какашка горных козлов, только и всего. Мне ее хоть сахаром обсыпь, я в рот не возьму. Помните, кто это сказал?

Я помнил.

Первый курс химиотерапии Рая выдержала хорошо. Она у меня храбрая. Прекрасно понимала страшный поворот своей (нашей!) жизни. Но — никаких слез, ни единого жалобного слова.

По окончании первого курса инъекций Ровный дал Рае двухнедельную передышку. Я привез ее из больницы домой.

И вот моя лепокудрая (вспомнилось из «Илиады») женушка сидит в своем кресле в гостиной и слушает по радио «Симфонические этюды» Шума-

на, — их божественно играет Элисо Вирсаладзе. А я готовлю обед. Собственно, его приготовила Лиза. Куриный бульон, куриные котлеты и пюре. Она, Лиза, как только Рая легла в больницу, взяла на себя заботу о моем пропитании. Я покупаю продукты по ее списку, и она готовит. Лиза Скорая Помощь — так я ее называю. У Раи в больнице питание, как она говорит, пристойное. Я приношу ей фрукты, соки, паюсную икру принес (Люся где-то достала) — химиотерапия требует хорошего питания.

Райка слушает Шумана и с улыбкой поглядывает, как я накрываю на стол.

— Вот, выпей. — Я даю ей чашку с коричневой жидкостью.

— Что это?

— Чага. Мариан Никитич рекомендовал.

«Чага, марьин корень, бодан — это можно, — сказал Ровный. — Не повредит. Может дать психологический эффект».

Чага — в сущности, твердый кусок дерева, я с трудом натер его теркой, а Лиза сделала настойку.

— Уф, — вздыхает Райка, сделав глоток. — Как вкусно! Сок, выжатый из старой табуретки.

— Пей, пей. Чага полезна. Это любимый напи-

ток адмирала Чичагова.

Со смехом усаживаемся за обеденный стол. Все как прежде, как в те времена, когда мы еще были молоды и кружила над нами стая легких времирей… Помните?.. из хлебниковского стихотворенья… были молоды и счастливы… Счастливы? А было ли счастье? Было! Счастье — это когда дорогой тебе человек улыбается и ничего у него не болит…

После обеда укладываю дорогого человека отдохнуть.

— Сейчас, сейчас. — Рая у полки нашей фонотеки копается в кассетах. — Что-нибудь хорошее послушать… Вот! — Она вставляет выбранную кассету в щель магнитофона. — Полно мне леденеть от страха, лучше кликну Чакону Баха.

— Это откуда? — спрашиваю.

— Это Ахматова. — Райка ложится на тахту, я укрываю ее пледом.

Мощно, звучно вступает скрипка, сопровождаемая вздохами оркестра.

— Оська разучивал Чакону, — говорит Рая. — Но не успел сыграть. Война началась…

Вечером к нам спустилась с третьего этажа Лиза — погрузневшая, в темно-сером длинном платье со складчатым подолом, в теплых домаш-

них туфлях: у нее ноги мерзли.

Поставила на кухонный стол зеленую кастрюльку, знакомую мне с давнего военного времени.

— Что это? — спросила Рая.

— Сырники вам испекла.

— Ой, милая Лиза, спасибо!

Сырники — это же такая радость для Раи. А вторая радость — ликер «Амаретто», который ей очень нравится. Я ездил за ним на Невский, в Елисеевский магазин, — купил и вот ставлю на стол. Мы пьем «Амаретто», заедаем сырниками (очень вкусными) и ведем разговор не о чем-то там пустяковом, а о *ценности человеческой личности*.

— Такого понятия в дохристианские времена не было, — говорит Лиза. — Впервые оно появилось в Евангелии. Как осознание духовной потребности человека.

— Потребности в чем? — спрашиваю я.

— В истине.

— Насколько я помню, на вопрос Пилата: «Что есть истина?» — Христос не ответил.

— Не ответил, потому что Он, Христос, и есть истина. В Евангелии от Иоанна сказано: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

— Свобода… Да, это важно. Важнее всего… Но

в истории человечества гораздо больше несвободы…

— Христос имел в виду свободу от греха. А не своеволие. Понятие свободы тесно связано с истиной.

— Ладно, — говорю, подливая ликер в рюмки. — Я согласен. Поиск истины, движение к ней требует свободы. Но, дорогая моя Лиза, ты же не станешь отрицать, что человечество постоянно нарушает это… баланс между истиной и свободой. И церковь тоже: она убеждает верующих, что вся истина у них и поэтому они вправе применять насилие к тем, кто…

Лиза вскинула коротко стриженную седую голову:

— Церковь убеждает верующих возлюбить ближнего, как самого себя. Бог создал человека свободным, то есть готовым и к добру, и ко злу. Но человек несовершенен, и поэтому…

— …Поэтому, — перебил я ее, — зло перевешивает. А церковь потворствует… Разреши договорить! Разве не церковь организовала Крестовые походы? Не инквизиция сожгла на кострах тысячи еретиков? А сколько погибло людей в религиозных войнах шестнадцатого и семнадцатого веков? Сколько жизней унес рас-

кол в России…

— Хватит, Вадим! Да, в прошлом церковь часто поощряла насилие. Да, была нетерпима к иноверцам и отступникам. Прикрываясь именем Божьим, нарушала главную заповедь… Она же, церковь, в лице своих исповедников, это понимала. Апостол Павел говорил, что из-за нас, христиан, имя Божие порочится. Путь истинной веры труден. Трудна, ох как трудна задача — достичь соответствия веры с жизнью.

— Вот и хочу тебя спросить: как же Бог, олицетворяющий добро, допускает столько зла, творящегося на земле?

— Это главный вопрос. Вопрос вопросов. Я не богослов и не могу дать ответ. Да, по существу, никто и не может. Это проблема теодицеи.

— Что это?

— Ну… Бог сотворил мир с определенными свойствами, законами… да, законами… и не вмешивается в их действие… Разумеется, Он видит все, что творит созданный Им человек. Но — не вмешивается. Не счел нужным открыть тайну теодицеи.

— Не очень ясно. — Я подлил ликер в Райкину и свою рюмки (а Лиза не пила — сидела, уставившись в темное окно прищуренным

взглядом). — Значит ли теодицея, — спросил я, помолчав, — что Бог, создав мир и человека в нем, посчитал свою задачу выполненной?

— Кто может это знать? — Лиза посмотрела на меня как бы издалека. — Бог испытывает человека. Его веру. Ты прочти, Вадим, Книгу Иова. Может, тебе станет яснее…

И еще курс инъекций. И еще.

Жизнь, привязанная к больнице.

Я навещал Раю почти каждый день. Привозил фрукты, тертую морковь, чернослив. И книги. Выводил Раю погулять по прибольничному садику, если не мела метель и дорожки были расчищены. Зима ведь уже наступила, многоснежная и колючая. Я рассказывал о последних известиях. На юге вспыхнула странная война, наши танки въехали в Грозный, чеченцы их расстреляли, они оказались хорошо вооруженными и умелыми вояками, там шли напряженные бои. Ненужная, крайне неприятная война. Райку она ужасала.

— Ну зачем это — ненависть, убийства друг друга? Неужели невозможно было Ельцину договориться с Дудаевым?

— Чечня требует независимости, — сказал я.

— Ну и надо отпустить их. Раз они не хотят жить в России.

— Да и я так думаю. Но власть опасается цепной реакции. Отпустишь из федерации Чечню — потребуют независимости другие национальные республики.

— Какие?

— Татария, Башкирия, северокавказские… Чего доброго, и Якутия… И вместо России будет Московия, как при Иване Калите.

— Глупости какие! — восклицает, негодуя, моя жена. — История не движется в обратном направлении.

Передышки между курсами инъекций были, можно сказать, заполнены музыкой.

В вязаном жакете с меховой выпушкой, в старых брюках, когда-то купленных в Либаве, Рая сидела за пианино и играла фортепианные вещи Моцарта, Рахманинова, Баха и других любимых классиков. Или тихо наигрывала что-то, не глядя в ноты, — импровизировала.

— Ты бы записала свое сочинение, — сказал я.

— Зачем? — удивилась она. — Кому это нужно?

— Мне.

— Я рада, что тебе нравится, Димка. Но записывать… Нет. Это любительство. Настоящую вещь — как Сороковую — мне никогда не сделать. За отсутствием присутствия таланта.

Сороковая симфония Моцарта была нашей любимейшей вещью. Даже я, от музыки далекий человек, с удовольствием воспринял ее прекрасное благозвучие. Почему-то представилось мне, что эта симфония — объяснение в любви. Ведь хорошая музыка — не случайный набор звуков.

— А мне кажется, что в основе Сороковой — надежда, — сказала Рая задумчиво. — Юношеская легкость и бесстрашие… вдруг звуки надвигающейся грозы… неясная угроза… и надежда… надежда, что не падет… не будет утрачена… мм… что жизнь не утратит гармонии…

— Ты права, Райка, — поддержал я ее толкование. — Надежда. Конечно надежда.

Никаких слез. Ни единого слова жалобы.

Только однажды…

В белоколонном зале филармонии мы слушали превосходный концерт Чайковского. «Времена года» накатывали то волнами радости, то нежнейшей лирикой, то печалью чего-то несбывшегося, то утренней улыбкой и играми детей. Я узнал «Баркаролу», — вспыхнуло в памяти давнее… о, какое давнее, но не забытое переживание — после такого же концерта, после «Баркаролы», мы, Рая и я, не смогли расстаться и провели ночь вместе — то была первая наша близость.

— Ты помнишь? — тихо спросил я, взглянув на Раю.

Она не ответила. По ее щекам катились слезы.

Но жизнь шла, от нее никуда не деться, — и происходили различные события. Как всегда, неожиданные.

Редактор Никифоров объявил мне, что книга о «ленинградском деле» вылетела из плана издательства.

— Почему? — вопросил я, крайне удивленный. — Есть договор, по которому вы обязаны…

— Да, договор есть. — Никифоров, невысокий ростом и всегда нахмуренный, глубоко затянулся папиросой и выпустил на меня облако дыма. — Но он подписан не вами, а Галиной Кареновной. А документа о том, что она доверяет вам издательские дела, нету. Или есть?

— Нет, — сказал я, морщась от горького дыма. (Между прочим, я все же бросил курить, когда Рая заболела, — пересилил прочную привычку.) — Но вы же знаете, что я проделал работу, которую она не успела довести…

— Конечно знаю. Но бухгалтерия не смогла бы выплатить вам гонорар без документа…

— Да черт с ним, гонораром. Владимир Иваныч, что случилось? Почему вы зарубили книгу, кото-

рую одобрили? Даже анонсировали.

Никифоров нахмурился пуще обычного. Выпустил новое облако дыма, сказал, понизив голос:

— Я не рубил. — И — помолчав: — У нас сменилось руководство. Новый директор ознакомился с вашей рукописью и… в общем, отказался от ее издания.

— По какой причине?

— Заявил, что она недостаточно мотивирована.

— То есть как? — Я рассердился. — Воспоминания людей пострадавших, оболганных, без вины виноватых — не мотивированы? Что за чушь?

— Вадим Львович, вы спросили о причине. Ну вот она: новый директор — убежденный коммунист. Предстоят президентские выборы. И он посчитал, что книга о «ленинградском деле» может повредить Зюганову. Ну, его избранию. Вы поняли?

— Понял…

— Вот, возьмите. — Никифоров двинул по столу ко мне толстую папку с рукописью. — Попытайтесь в других издательствах.

— Всего хорошего. — Я взял папку и поднялся.

— Желаю удачи. — Никифоров тоже встал. — А я ухожу из этого издательства, — добавил он и

принялся тыкать окурком в стеклянную пепельницу.

Люсю — вот кого напустить бы на нового директора. Я кто? Пасынок Галины Вартанян-Плещеевой. А Люся — дочь. Прямая правопреемница. И она умеет разговаривать с издателями. У нее — серьезные знакомства в комитетах, ведающих вопросами культуры.

Но Люська опять, в который уже раз, взбрыкнула.

Седовласый красавец, журналист-международник с именем, с португальским языком, уволок ее — вы, может, уже догадались? — прямиком в Рио-де-Жанейро. Ну да, он работал в Бразилии собкором крупной газеты. Был очень красноречив, часто появлялся на экранах телевизора.

— Ты с ума сошла, — сказал я Люсе, когда она объявила, что уходит от Андрея к этому мачо. — Он ведь женат, наверно, в десятый раз. У него семья в Москве.

— Ну и что? — вздернула она тонкие брови над синими очами. — Он разведется. И мы с Андреем разведемся, уже договорились.

— Люсь, да нельзя же так… — Я не находил нужных слов. — Увлечение — да, понятно. Но это же временно… пройдет, и все… Одумайся! Не ломай

вашу с Андреем…

— Это не просто увлечение! Я его люблю! А он — меня!

Вот и весь сказ. «Люблю — а все остальное не важно…» Что поделаешь? Моя сестра *живет страстями*.

Договорилась с Андреем? Я знал, что это не совсем так. Андрей бунтовал.

«Блудливая дура! — орал он. — Чем этот красноба́й лучше меня?» Грозился запереть Люсю в квартире и не выпускать, пока «блажь не выветрится из твоей башки». И вдруг — не то чтобы смирился, но, видимо, осознал неизбежность разрыва. Он собрал свои вещи в сумку на колесиках, а в другую, без колес, книги и рукописи и сказал: «Ну, все. Были у нас хорошие годы — спасибо за них. Я ухожу от тебя. Прощай». Люся кинулась целовать его — Андрей уклонился. Погрузил сумки в свои «жигули» и уехал. Куда? Люся, рассказавшая об этом Лизе (а она — нам), не знала. Но предполагала, что в Ломоносов, где обитала престарелая мать Андрея, бывшая директриса школы.

Вскоре Люся улетела в Рио-де-Жанейро.

Вот так. Каждый вершит свою судьбу, как ему суждено. А может, не так, а вопреки… Точно не

знаю.

Курсы инъекций, а затем еще и облучение — помогли.

— Этот узелок мы забили, — сказал Ровный. — Ладно, ладно, — остановил он мой поток благодарности. — Забирайте свою кудрявую. Через месяц привезите на обследование.

Впервые я обратился в Литфонд. Как сын члена Союза писателей, я имел право испрашивать в Литфонде путевки в Дома творчества, но никогда этим правом не пользовался. А тут старый друг отца, детский писатель и член правления Литфонда (мы иногда перезванивались), посоветовал подать заявление на путевки в Дом творчества Комарово: «Пиши, Вадим, да поскорее, желающих много. Я поддержу».

Так мы в июне оказались в Комарово — дачном городке на берегу Финского залива (бывшем поселке Келломяги). Нам было хорошо в «убежище Монрепо», как прозвала Рая здешний Дом творчества. По утрам в открытое окно нашей комнаты влетал зовущий к жизни звук горна из ближнего оздоровительного или, может, спортивного лагеря. В столовой нашими соседями по столику была молодая (сравнительно) пара киношников — Серебровские. Он — лохматый очкарик с дерзкой

улыбкой, сценарист-документалист, убежденный в том, что России нужна просвещенная монархия. Она — крупная полная женщина, тоже в очках, с красивым лицом и властными манерами — была кинокритиком, мне попадались в периодике ее статьи, всегда сердитые, требующие от фильмов социального смысла. «Наснимали слишком много реликсы, — говорила она. — Дайте содержание, потрясайте сердца».

Серебровский в детстве пережил блокаду. Он расспрашивал меня о действиях балтийских подлодок, его интересовали подробности торпедных атак, ну и, конечно, судьбы подводников.

— Вадим Львович, — взывал он, быстро управившись с гуляшом и чертя вилкой в воздухе неведомые знаки, — вы не должны ограничиваться писанием статей к разным датам. Давайте напишем сценарий о подводниках.

— Ну что вы, Борис, — говорил я. — Какой я сценарист…

— Не отпирайтесь! Предлагаю вам соавторство как разработчику идеи и сюжета. Как акуле пера! — кричал он, дерзко улыбаясь.

Серебровские возили нас на своей «тойоте» на Комаровское кладбище. На пороге могилы Ахматовой было выбито на камне: «Простите

нам». Анна Андреевна покоилась под большим мраморным крестом. Рая обнаружила могилы нескольких университетских профессоров, лекции которых слушала в давние годы. Нашли мы и могилу Ивана Ефремова, писателя-фантаста, чьими книгами я зачитывался («Туманность Андромеды» и «Час Быка» стояли у меня на книжной полке).

Не простое оно было, Комаровское кладбище.

Серебровские привезли портативный телевизор и десятка два кассет с фильмами; несколько мы у них посмотрели, в том числе «Жертвоприношение» Андрея Тарковского. Фильм трудный, философский. Мне он показался самым гениальным из занудливых фильмов. Сплошные разговоры и монологи героя — Александра — о тщете, о поиске истины и все такое, до последней трети фильма, когда наконец что-то происходит. Видимо, начинается война. Александру надо переспать с Марией, прислугой, «ведьмой», чтобы обезумевший мир вновь вернулся на свое место. Чтобы спасти человечество, не так ли? И вот, добившись мира, этот Александр (уже не просто человек, а символ, что ли) поджигает свой прекрасный дом. Бушует пожар, Александра увозят в санитарной карете. И последние кадры: его

маленький сын тащит ведро с водой к сухому дереву, посаженному в начале фильма. И, значит, моралите: если постоянно поливать высохшее древо человеческого существования, то, может быть, оно вновь зазеленеет.

Мы спускались с высокого берега к воде. Тут была скамеечка, мы садились и смотрели на остров Котлин — он был прямо перед нами, немного левее, омываемый светло-голубой, посверкивающей на солнце водой. На дальнем его краю просматривалась затянутая легкой дымкой серая масса домов Кронштадта — и высились над ней трубы Морзавода и, конечно, Морской собор. Я смотрел на его купол, увенчанный вместо привычного обрубка новеньким крестом. Медленно плыло над крестом бесконечно длинное облако.

И плывут перед мысленным взглядом разрозненные картинки воспоминаний.

Наша «щука» малым ходом приближается к стенке Купеческой гавани, нас встречают… трубят трубы, и лязгают медные тарелки бригадного оркестра… ах, здравствуй, Кронштадт, вот мы и вернулись… все торпеды влепили в борта немецких транспортов… нет, не бывает, чтобы все… одна прошла мимо… нас бомбили страшно, долго, настойчиво… но мы уцелели… прошли сквозь

минные заграждения… повезло… давай, давай, труби, Кронштадт… слава тебе… а нам — баню бы поскорее… это ж такое счастье — баня…

Идем по Карла Маркса, вдоль канала… с Леней Мещерским, еще далеко не адмиралом… в Дом флота идем, и вдруг артобстрел… сигаем, чтобы укрыться, в щель на углу Советской улицы… так твою растак! в щели полно холодной воды… окунулись по самые, ну, эти…

— Я все думаю об этом фильме, — говорит Рая, глядя на остров Котлин. — Ты заметил, что через него все время проходит «Поклонение волхвов» Леонардо?

— Да, заметил. Ну и что?

— Это же не случайно. Это мотив. И служанку не случайно зовут Марией.

— Что ты хочешь сказать, Райка?

— Цивилизация греховна. Спастись можно возвращением к библейски простой жизни. Но не только.

— Что еще?

— Жертва нужна. Недаром же фильм так и назван: «Жертвоприношение».

— Какая жертва? Сжечь свой дом, как сжег Александр?

Рая молчит. Не отвечает. Задумчиво глядит на

Кронштадт, затянутый дымкой.

Плывет над Кронштадтом рваное, тревожное, нескончаемое облако моих воспоминаний.

Лето прошло спокойно. А в сентябре — опять тревога…

Ровный посмотрел Раю и сказал:

— Не нравится мне узелок над ключицей. Надо кольнуть.

— Мариан Никитич, — воззрился я на него. — Этот лимфатический узелок ведь был с самого начала. И вы в нем ничего…

— Да, был. Но сейчас я его прощупываю по-другому.

— Так что же это?

— Метастаз.

О господи! Как удар прямо под дых…

— Привезите ее в понедельник, возьмем пункцию. — Ровный, как всегда, деловит. Звонит по внутреннему телефону: — Аркадий, карточка Плещеевой у тебя? Принеси.

Лечащий врач, молодой симпатичный Аркадий Сергеевич, приносит карточку. Ровный смотрит, сколько сделано сеансов облучения.

— Надо добавить лучей, — говорит он. И — кинув взгляд на меня: — Эк вы побледнели, сударь. Извольте держаться как следует. Раисе о разви-

тии болезни — ни слова.

— Да-да, конечно…

В понедельник взяли пункцию («кольнули»).

— Так, — сказал мне Ровный. — Поговорим с радиологами и завтра начнем облучение. Может быть, амбулаторно.

— А результат пункции? — спрашиваю.

— То, что я сказал.

И начал я ежедневно возить Раю в радиологическое отделение. Оно помещалось в подвале института. Рая входила в аппаратную, а я ожидал, слонялся по прихожей, ужасно хотелось курить, но я же бросил…

После первого сеанса Рая вышла спокойная, сообщила с улыбкой:

— Облучение на гамма-аппарате, он называется «Агат». Нет, совсем не больно. Слегка щекотно.

— «Агат» тебе поможет, — говорю. — Сядь, отдохни.

С полчаса Райка отдыхала, потом мы выходили, брали такси (почти всегда подъезжали они к институту) и ехали домой.

Рая держалась отлично. Ни единого слова жалобы.

А я…

Я так надеялся, ТАК НАДЕЯЛСЯ, что передышка

после химии будет долгая…

Предел гамма-облучений — тридцать. После двадцать пятого хотели прекратить: кожа у Раи на ключице красная, обожженная. Но Рая попросила продолжить.

— Я выдержу, — сказала. — Давайте доведем курс до конца.

И выдержала все тридцать сеансов.

— Ты у меня молодчина, — говорю.

Но душа у меня не на месте…

Ровный осмотрел мою женушку и, когда она вышла из кабинета, сказал мне:

— Этот метастаз забит. На этом месте больше не будет роста клеток.

— А на другом?

— Кто знает? После отдыха обследуем и решим, что делать дальше. Может, заменим гормональный препарат.

Шла зима. Зима тревоги нашей.

Каждое утро я втирал в Райкину обожженную кожу облепиховое масло.

Каждое утро, проснувшись, я, на старости лет отринувший привычный атеизм (он мне надоел!), шептал молитву.

— Господи! — молил я. — Не дай распростра-

ниться болезни… Спаси, спаси мою любимую… Она безгрешна… Она верна Тебе… Спаси, спаси ее…

Опять химия. Опять анализы.

3 марта (проклятый день!) Ровный показал мне рентгеновский снимок с темным пятнышком в легких.

О боже!

— Не думал, — пробормотал я, — что пойдет так быстро…

— Да и я не думал, — сказал он. — Клетки есть разные. Одни поддаются лечению быстро, другие не очень. Будем лечить. После праздника привезите Раису.

И он упомянул о применении адриабластина. Рая не раз слышала от соседок по палатам об этом препарате — о нем говорили как о последнем средстве…

Но наступает великий праздник — Женский день. Моя жена, радостно оживленная (о пятне на снимке я ей не сказал), затеяла наполеон. Она печет коржи, а я взбиваю в большой миске крем. Я сбегал… то есть, вернее, приплелся к метро — и не ошибся: там, у входа, продавали мимозу.

— Димка! — воскликнула Рая, принимая три

желтых веточки. — Спасибо! Какая прелесть, аромат какой!

— Эти цветочки предвещают весну, — говорю и добавляю латинскую фразу, слышанную от Боголюбова: — Non multa, sed multum[15].

Как раз он, Глеб Михайлович, и позвонил в полдень, поздравил Раю с праздником. Он долго болел, перенес инсульт, но сумел выправиться, только ногу тянул при ходьбе. Ходил с палочкой медленно-медленно. «А куда торопиться?» — улыбался он своей удивительной — детской? нездешней? — улыбкой.

Рая пригласила его в гости. И в восьмом часу вечера Глеб Михайлович заявился к нам с женой. Она, Наталья Дмитриевна, вообще-то, из дому почти не выходила (свой набор болезней был у нее), но Глеба она вытащила из инсульта и одного из дому не выпускала. Сухощавая, изжелта-седая, она говорила простуженным голосом, как бы через нос. Лицо у нее было приятное, сохранившее, при серьезном возрасте, черты прежней красоты.

Они принесли коробку шоколадных конфет и подарок Рае — вязаную голубую кофточку-без-

---

[15] Notes: 15
Не многое, но много *(лат.)*.

рукавку, — Наталья Дмитриевна была искусной вязальщицей. Рая тут же кофточку примерила и уже не снимала: кофточка была ей впору.

— Голубое вам очень к лицу, — сказал Глеб, галантный человек вне возраста.

На нем, как и прежде в не летнее время, был «шахматный» свитер из желтых и черных ромбов. Его выбритая голова скромно отражала свет люстры.

Мы пили армянский коньяк с наполеоном — ведь на дворе был прекрасный праздник, Женский день. Рая выпила, порозовела, похорошела, голубая безрукавочка, и верно, ей очень шла. Давно не видел я ее такой оживленной. Вдруг она продекламировала:

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

Ну, понятно, Цветаева любимая. Ах, Райка, милая моя, что́ ты сделала на самом-то деле?..

Говорили, конечно, о чеченской войне.

— Она началась не в девяносто четвертом, — сказал Глеб, — а в сорок четвертом, когда Сталин выгнал всю Чечню из Чечни. Чеченцы это забыть

не могут.

— Советский народ, — говорил он далее, — искупил огромной кровью его диктатуру. Его чудовищное властолюбие и жестокость. Его презрение к человеческой жизни, замаскированное лживой пропагандой о «сталинской заботе»… Агитпроп работал чрезвычайно эффективно. Крупнейшим его достижением было искривление мозгов у большой массы населения. Оно и сейчас проявляется в имперских амбициях, в тоске по Сталину, в неприязни к рыночной экономике…

— Рыночная экономика, — говорю я, — вещь замечательная, но у нее черты, действительно вызывающие неприязнь. Крышевание, рэкет, рейдерские захваты…

— Совершенно верно, — кивает Глеб. — Это черты первоначального накопления. Современные благоустроенные развитые страны давно прошли эту стадию. А Россия, как всегда, отстает. Надеюсь, и у нас наступит время, когда власть будет не скалить зубы на бизнес, а надежно его защищать.

— Был такой весьма неглупый англичанин Адам Смит, — продолжал Глеб. — Я хочу о нем написать книжку. Вот он еще в восемнадцатом

веке определил: чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей степени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении. Неплохо сформулировано, а?

— По-моему, — сказала Наталья Дмитриевна простуженным голосом, — налоги легкими не бывают. А вот у нас в доме странное происшествие. Живет на первом этаже Шоц. Такая фамилия, а может, псевдоним. Он бывший каскадер. Теперь уже старый. Рассказывает, у него нет неперелома нных костей. А все волосы сгорели, когда он прыгал сквозь горящий обруч. Вот у него живет кот Гудини. Названный по имени знаменитого американского фокусника. Желтоглазый и плутоватый. Прошлым летом Шоц со своим котом жил на даче в Сестрорецке. Вдруг Гудини исчез. Шоц думал, его загрызли тамошние собаки. Ну, погоревал, вернулся домой. И однажды утром он вышел из дому. Смотрит — у подъезда сидит Гудини. Обтрепанный, грязный. «Ну, — закричал Шоц, — какого хрена сидишь, в домофон не звонишь?» Схватил Гудини и понес к себе. Отмывать, кормить.

— Из Сестрорецка кот пришел в Питер? — удивился я. — И нашел свой дом? Невероятно.

— А жизнь и есть невероятный процесс, — сказал Глеб.

Рая спросила:

— Разве это возможно — прыгать сквозь горящий обруч?

— Ну, — говорю, — если хорошенько разбежаться, то возможно. Хотя, — добавил я, — можно и обжечься.

После ухода гостей мы прибрались, посмотрели телевизор — ничего интересного не было, — и мы легли спать. С той поры, как Рая заболела и началось лечение, мы спали отдельно. А тут она пришла ко мне:

— Димка, я по тебе соскучилась.

— И я по тебе, — говорю, обнимая ее.

Весна и лето девяносто шестого — труднее не было времени в моей жизни. В *нашей* жизни.

Ужасно не повезло нам на старости лет.

Когда я приехал в больницу после первой инъекции адриабластина, Рая лежала в постели с чепцом на голове.

— Зачем это? — ткнул я пальцем в чепец, белый, в неярких голубых цветочках.

Рая слабо улыбнулась. Ее соседка по палате, дама средних лет с повадкой командирши, сказала басом:

— Под чепчиком кубики льда. От адриа — выпадают волосы. Лед предохраняет. — Соседка, сидя на своей кровати, достала из тумбочки яблоко и, откусив, закончила: — Но все равно выпадают.

— У меня волосы крепкие, — сказала Рая. — Не выпадут.

Но в голосе ее, как мне показалось, не было уверенности. Вообще голос у Раи — от химии, конечно, — изменился. Как бы потускнел, утратил былую звонкость.

Курс адриабластина она выдержала. После короткого отдыха — еще один препарат, сильнодействующий, три часа под капельницей. Раю рвало…

Мне трудно, трудно писать об этом. Конечно, я понимал, что Ровный делает все возможное, чтобы поставить барьер распространению.

И на какое-то время это удавалось.

16 июня Рая после очередного курса химии отдыхала, — накануне я привез ее, измученную, домой. Утром я сварил кашу-овсянку, мы поели, кофе попили, и я собрался идти голосовать: то был день президентских выборов. Рая вдруг заявила, что тоже пойдет.

— Не надо, — говорю. — Лежи, отдыхай. Музыку слушай.

— Нет. — Она принялась перед зеркалом приводить в порядок прическу (ее густая шевелюра все же поредела). — Нельзя, — говорит, — позволить Зюганову опередить Ельцина.

— Райка, твой голос не обеспечит Ельцину победу.

— Типичное обывательское рассуждение. — Рая метнула на меня взгляд, исполненный негодования.

— Да, я обыватель, — говорю. — Для меня хорошее самочувствие жены важнее политики.

— Очень рада! Но какое будет у тебя самочувствие, когда в квартиру войдут незваные гости и спросят: а чем вы занимались до девяносто первого года?

— Я отвечу: мы с женой кушали горячие сырники и пили «Амаретто».

— Ах, как остроумно! Не-ет, дорогой Димочка, выбрать президента — это вам не сырники испечь! — Рая кинула щетку для волос на подзеркальник. — Помоги мне колготки натянуть. Пожалуйста!

До школы, в которой мы сто лет назад учились, минут двадцать ходьбы. Это при нормальном передвижении ног. Мы шли минут сорок. Пришли, значит, в свою школу — ныне избирательный

участок. Получили бюллетени с длинным списком кандидатов (в нем были, кроме известных политиков, экзотические фамилии: глазной доктор Святослав Федоров, чемпион-штангист Юрий Власов, производитель таблеток от всех болезней Брынцалов) и проголосовали за Ельцина.

Вы, наверное, помните: в первом туре Ельцин, набрав 35% голосов, лишь ненамного опередил Зюганова (32%). Это было опасно. Обстановка в стране неустойчивая: вскоре после августа девяносто первого, с его бурным оптимизмом и нетерпеливым ожиданием, что теперь-то все пойдет по-хорошему, настало время, которое я назвал «хасбулатовщиной». Депутаты Верховного Совета и съездов яростно воспротивились реформам, демократическим переменам, — это привело к событиям октября 1993 года. Но Ельцин победил. И вот теперь, на президентских выборах, силы реакции вознамерились сместить ненавистного Ельцина с помощью избирателей. В первом туре Зюганов всего лишь *на три процента* отставал от него. Если во втором туре главный коммунист обгонит Ельцина, то…

— Не дай бог! — Рая перекрестилась. — Если он станет президентом, то все покатится назад.

Такие дела. Такое трудное, тревожное время.

Второй тур был 3 июля. Медленно, медленно одолевали мы расстояние до школы: Рае было трудно идти.

— Почему дыхание стало такое плохое? — сказала она.

— Погода очень жаркая, — сказал я.

Я знал, неделю назад рентген показал, что пятно в легком подросло. «Стойкая форма, — сказал Ровный. — Придется поменять схему».

— Да… Жара… — согласилась Рая, учащенно дыша.

Опять мы проголосовали за Ельцина.

Благостную тишину на участке вдруг прорвал неприятно скрипучим голосом гражданин малого роста, с большой плешью, с рыжими усами и бородкой клинышком. Потрясая бюллетенем над урной, он возгласил:

— Голосую за Геннадия Зюганова! За Советский Союз! За товарища Сталина!

К нему поспешила директор школы, она же председатель участковой комиссии:

— Товарищ, прекратите! Агитация в день выборов запрещена!

— А я не агитирую, — скрипел рыжий человек. — Я ап-повещаю оп выполнении гражданского голга… долга…

Увидев, что к нему неторопливо направился милиционер, дежуривший у дверей, рыжий человек сунул бюллетень в урну и зашагал к выходу.

— Ишь, вырядился под Ленина, — со смешком сказал молодой избиратель в белой кепке.

— Да, — подтвердил другой избиратель, постарше. — Даже галстук нацепил как у Ленина на портретах, в крапинку.

— Ну и ничего смешного, — строго сказал третий избиратель, старый и седоусый. — Такая любовь к вождю — очень даже положительный факт.

— Не столько положительный, — сказал я, — сколько клинический.

— Это вы на что намекаете? — седоусый грозно повысил голос.

— Тихо, товарищи, тихо, — сказала председатель комиссии. — Не мешайте людям голосовать.

Мы вышли из школы на уличную жару. Я остановил машину, водитель был явно недоволен, что ехать всего ничего, но, взглянув на Раю с палочкой, промолчал. Мы сели, поехали.

— До чего довели людей, — тихо сказала Рая. — Готовы прямо разорвать друг друга.

В конце июля — новый удар: ультразвук пока-

зал метастаз в печени. Может, ошибка? Повторный анализ подтвердил.

— Стойкая форма, — опять сказал Ровный. — Перейдем на фторафур. А для легких дадим ориметен. Это швейцарский препарат…

Он что-то еще говорил. Я плохо слышал, в ушах стучало: «стойкая форма»…

Мою душу переполняло отчаяние.

Иконы у нас не было.

Не молиться же на висевшую в кухне фотографию Парфенона. Хотя в нем древние греки видели свое божество.

Икона была у Лизы.

Я стоял перед ней, крестился негнущимися пальцами, бормотал:

— Господи, спаси мою любимую… Спаси, молю Тебя… спаси ее, безгрешную… спаси, спаси…

Лиза стояла рядом, крестилась, молилась…

…Вернулись с прогулки — и она свалилась. С трудом дошла. Сегодня лежит. Дремлет, просыпается. Тошнота. Почти не ест. Только морковно-яблочный сок и немного детского питания.

В больницу — отказалась решительно:

— Помирать — так дома.

Криком кричу:

— Не разрешаю тебе помирать!

— Не разрешаешь? — Рая смотрела на меня со слабой улыбкой. — Я послушная жена, но…

Она закашлялась. Я налил в чашку яблочный сок, дал ей выпить и, присев на тахту, погладил Раю по голове. Душа у меня содрогалась от печали и жалости.

— Дим, — Рая задержала мою руку на своей щеке, — ты любишь меня?

— Да. Очень.

Она вздохнула, отпустила руку:

— Ты всю жизнь любил Машу.

— Любил, да… Но знаешь, не суждено…

— Что не суждено?

— Хочу сказать, предназначенность… или предназначение… оно существует… Не только в древнегреческих мифах и драмах, где роковые женщины и все такое… Как тебе на роду написано, так и будет… Но и в реальной жизни! Извини, что путано говорю… В общем, так: вот мужчина — ему предназначена данная женщина. Судьбой или Богом предназначена. И он должен ее найти… понять, что именно она суждена… Ты понимаешь?

— Пытаюсь. — Рая задумчиво глядела на меня. — Продолжай.

— Ну вот. Маша была суждена Травникову. А моя суженая — ты. Только я понял это с опозданием чуть не в полжизни. Я же не воспринимал тебя как… ну, как женщину. Мы были с самого раннего детства как брат и сестра. Ты была толстой капризной девочкой из детства…

— У нас в классе, — сердито прервала Рая, — были девчонки гораздо толще меня.

— Да, конечно. Хочу сказать: ты хоть и с опозданием, но сильно вошла в мою жизнь. Знаешь, когда это произошло? Той осенью я приехал в отпуск, ты помнишь, мы слушали в филармонии «Времена года»?

Рая молчала.

— Ты помнишь, — продолжал я. — Нас в тот вечер сразила «Баркарола» — оторвала от земли, понесла в небеса… Мы не смогли расстаться, провели ночь вместе… первую нашу ночь… Вот тогда я и понял, что ты… да, моя суженая… По-моему, и ты поняла, что та ночь — не просто темное время суток.

Рая молчала, прикрыв глаза. Лицо у нее было бледное, заметно похудевшее.

— Но когда я написал тебе, предложил пожениться… ты ответила отказом. Тебе тоже казалось невозможным перевести наши отношения в

супружеские. Помнишь? «„Баркаролы“ больше не будет» — так ты написала в ответ на мой зов. Но ты ошиблась. Сработала предназначенность. Я тебя люблю. Райка, — позвал я после паузы, — ты слышишь? Ты спишь?

Она качнула головой. И — негромко, не раскрывая глаз:

Вы думаете, любовь —
Беседовать через столик?..

Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски…
Расставание – не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!

Ее голос налился силой. Ее серые глаза теперь, широко раскрывшись, встретились с моим пристальным взглядом.

Не по-божески! Что́ мы – овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание – по-каковски?
Даже смысла такого нет…

Мы же сросшиеся…

Да, именно так: *мы сросшиеся!* Райка, любимая,

не уходи; как же мне жить без тебя?..

Безумное лето.

Ровный приезжал, привез дорогой итальянский препарат форлутал.

— Она горит, — сказал он, когда я вышел проводить его на лестничную площадку. — Вадим Львович, подумайте и о себе. Вам необходимо проделать курс инъекций бэ-один и бэ-шесть. Вы слышите? — Он всмотрелся в меня.

Я услышал, что Рая закашлялась, и, простившись с Ровным, поспешил в спальню. Дал Рае выпить сок. Спросил, когда кашель ее отпустил:

— Почитать тебе?

Она кивнула. Я раскрыл том Пушкина на заложенной странице и продолжил чтение «Пиковой дамы» — это была у Раи любимейшая вещь. (Образцовой классической прозой она считала «Пиковую даму», «Отцов и детей» и «Обрыв». Да были у нее, заядлой читательницы, множество и других пристрастий.)

Я читал, стараясь, чтобы голос звучал внятно:

«Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля

отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма…»

— Какой Пушкин молодец! — оторвался я от чтения. — Опыты Гальвани с электричеством, его тогда называли гальваническим током, были в России малоизвестны. А он знал… Райка, — позвал я, вдруг испугавшись ее неподвижности, — ты спишь?

— Нет. — Она приоткрыла глаза. — Пушкин молодец… да… Ты тоже… ты был хорошим мужем… А я плохая жена… не родила тебе сына…

— Ты прекрасная жена. Лучше не бывает.

— Спасибо… за доброту ко мне…

Я продолжил чтение. Дочитав до конца, спросил Раю, знает ли она, где находится Обуховская больница, в которую поместили Германна, сошедшего с ума.

— На Фонтанке, — сказала она. — Напротив Большого драмтеатра.

— Райка, тебе надо поесть. Я разогрею геркулес…

— Не хочу есть.

— Но так же нельзя…

— Не могу… Налей немного сока. — Она сделала несколько трудных глотков и сказала: — Дим, я не успела… В твоей куртке порвалась подкладка… под мышкой… левой… Попроси Лизу зашить…

…С трудом глотает огромные капсулы форлутала.

Дважды в день приезжают процедурные сестры из поликлиники. Колют промедол, что-то еще. Болей мы не допускаем.

Продержалась моя любимая весь август и пол-сентября.

Началась интоксикация.

Полузабытье…

Люся прилетела. Я телеграфировал ей, что все очень плохо, и вот она прилетела. Привезла какое-то бразильское питье — «хорошее средство», — да нет, уже ничего не помогает.

Райка без сознания. Все силы уходят на трудное дыхание. Бредит…

Сегодня вечером:

— Дим, помоги мне одеться…

И спустя несколько секунд:

— Ну, давай садиться…

— Куда? — спрашиваю.

— В самолет…

Это были ее последние слова.

21 сентября, в десять вечера, не стало моей Раи.

Отстучало сердце. Плотно закрылись серые глаза.

Люся и Лиза плакали.

После их ухода, оставшись один, стоя на коленях у тахты с недвижимой, ушедшей, улетевшей моей любимой, я не заплакал, нет, — завыл по-собачьи… по-волчьи…

Глава тридцать девятая
Пишу мемуары

Как я выжил в ту осень — не знаю.

Часто ездил на Смоленское кладбище — Раю похоронили там, рядом с могилой ее мамы. Я клал цветы, чаще всего хризантемы, долго стоял, а потом, когда врыли в землю скамеечку, то и сидел, мысленно рассказывал Рае о текущих событиях жизни. Бормотал ее любимые стихи: «О, кому повем печаль мою, беду мою…», «Расставание — по-каковски? Даже смысла такого нет…».

Ну а потом зима накрыла кладбище белым саваном. Я стал ездить реже… Слег с обострением ишемической болезни в госпиталь… Да и головные боли — наследие контузии — участились.

Наверное, я бы не выдержал одиночества — свалился бы с разорвавшимся сердцем у себя на кухне… или на улице… в аптеке… в сбербанке у окошка, где выдают пенсии… Да, скопытился бы от тоски… накрылся деревянным бушлатом — если бы не *моя писанина*.

В одном из питерских журналов прошла моя большая статья о репрессиях на флоте. Она вызва-

ла несколько разнообразных откликов в газетах, один из них обвинил меня в нарочитом «сгущении превратно истолкованных событий», более того — в отсутствии патриотического чувства. Автором этой «контр-статьи» был некто Агафонов, молодой, но заметный питерский политик, вернее, как их теперь называют, политтехнолог. Непременный участник телевизионных ток-шоу, он отличался резкостью высказываний, нападками на демократов, произвольным толкованием исторических событий. Крупноголовый, со злобным взглядом, с черной шевелюрой, соединенной через бакенбарды с черными усиками, он, как мне казалось, был готов выпрыгнуть с телеэкрана, чтобы ткнуть кулаком в морду любому, кто не согласен с ним. Чуть не матом крыл «антинародное ельцинское правление», демократов, «распродающих Россию» и «искажающих ее историю». А цифры в агафоновских речах были несуразные, взятые с потолка, вернее, из грязных луж квазиисторических сочинений: мол, потери Советского Союза в Великой Отечественной сильно преувеличены, погибло не 27 миллионов, а в два раза меньше; а в 1993 году, наоборот, потери «патриотических сил» (при попытке штурма Останкино) преуменьшены, погибло три тыся-

чи… И от этого вранья не развалился ящик… не вспыхнули желтым огнем бакенбарды…

Так вот, Агафонов набросился на меня в газете, в которой состоял обозревателем. Дескать, революция защищалась от врагов… враги навязали нам Гражданскую войну… плели бесконечные заговоры… в Кронштадте эсеры и меньшевики спровоцировали мятеж, а за ними стоял рвущийся к власти царский генерал, связанный с международным империализмом… и должно быть стыдно советскому офицеру, ветерану Великой Отечественной, оправдывать мятежников и обвинять ленинское руководство в жестоком подавлении…

Очень жаль, что безвозвратно исчезли из практики жизни дуэли. Я бы вызвал негодяя. На десять шагов. Не промахнулся бы, влепил бы пулю в бесстыжий лоб.

О-ох, кронштадтский мятеж, как же глубоко ты вклинился в мою жизнь…

Отец, ты гордился участием в штурме Кронштадта. А я, читая твою книгу, видел, как ты в белом маскхалате геройски шагаешь по льду, залитому талой водой, под мечущимися прожекторными лучами, под грохот разрывов тяжелых снарядов… Я был горд тобой…

Но происходит нечто странное. Финляндия выбита из войны, группа наших подлодок перебазируется в Хельсинки — по ту сторону противолодочных барьеров; это правильный маневр, открывающий выход из минированного залива на простор Балтики. И в этом Хельсинки черт меня понес на Эспланаду, в универмаг «Штокман» — а там у входа стоял зеленый грузовичок с вязанкой дров на крыше — а владельцем грузовичка оказался бывший кронмятежник — не кто иной, черт подери, как Терентий Кузнецов, мой тесть… да, несомненный тесть, запечатленный на прекрасно мне знакомой фотографии…

Ну, вы, наверное, помните мой рассказ об этой встрече. Ее последствия сильно ударили по ходу моей жизни. Маша отказалась признать в Терентии своего отца. В наших отношениях возник разлад. Она сочла меня виноватым… я не должен был знакомиться с беглым мятежником… дурацкое мое правдоискательство бросило тень на коммунистическую чистоту ее происхождения…

Так что же, лучше жить с привычной неправдой, чем с неудобной правдой? Ну да, с неправдой — уютнее… не жмет под мышками… тебя не гнобят, ты *свой*…

Но позвольте, время-то на дворе другое. Со-

ветская власть, казавшаяся столь незыблемой, вечной, пала, обрушилась вместе с объявленным ею «развитым социализмом». Демократизация! Агафонову она не по нраву. «Что, — пишет он, — уберегла она Россию от кризиса, принесла процветание? Убогость и растление вы принесли, господа „демократизаторы“. Вы, похоже, живете на Луне…» Злоба водит агафоновским пером.

Да, время очень сложное, противоречивое. Переходный период от одной социально-экономической формации к другой — дело необычайной трудности. Впервые в истории — от рухнувшего «развитого социализма» к капитализму, то есть к рыночной экономике. И спросить не у кого — ни у Маркса, ни даже у Адама Смита нет на этот счет указаний. Разве что у Роберта Оуэна спросить, он-то некогда сделал попытку создать в Америке, в штате Индиана, самоуправляющуюся общину на основе коллективного труда — островок социализма в капиталистическом море — и потерпел крах.

Что поделаешь, человеческая натура, увы, неизменна. Общественная собственность не способствует прилежанию. Там, где все общее, то есть ничье, нет стимула к высокопроизводительному труду. Коммунизм оказался утопией,

обернулся жесточайшей диктатурой, и никакие пропагандистские румяна не помогут его реставрации. Путь назад закрыт самим ходом истории. А переходный период в учебниках не прописан. Ельцинская команда, по сути, первопроходцы.

Да, понаделали ошибок с «шоковой терапией», с малопонятными «залоговыми аукционами». Но ведь удалось самое важное — на прилавках появилось продовольствие, избежали голода. Уже выросло поколение, не знающее дефицита и очередей за продуктами.

Да, в августе 1991-го и в октябре 1993-го противостояние возросло до критического уровня, в Москве пролилась кровь — но малая. Удалось избежать гражданской войны.

И — свобода! Десятилетиями безмолвствовавший народ заговорил. Делаются все более внятные попытки осмыслить, что́ произошло в России в двадцатом веке. Тут не обойтись без документов, проливающих свет на события исторического значения. Архивы понемногу рассекречивают и открывают ряд документов, прежде недоступных для историков, исследователей. Вот фонд «Демократия» начал публикацию тематических документальных сборников — недавно вышел том «Кронштадт 1921». Мне удалось его купить,

он буквально набит стенограммами, газетными статьями, резолюциями, приказами, угрозами, патетикой митингов, отчетами о репрессиях — страшными в своей обыденности подробностями событий, известных как Кронштадтский мятеж. Я ссылался на них в своей статье. Но Агафонову документы не нужны. Ему вполне достаточно примитивного схематизма «Краткого курса», он затвердил мифы сталинской эпохи и привычно талдычит: «Малосознательные матросы пошли на поводу у царского генерала…»

Кто придумал одиночество? Явный мизантроп с тяжелыми челюстями и недобрым взглядом.

В одиночестве нет ничего хорошего, оно обдает душу человека холодом равнодушия, лишает его способности радоваться жизни. А жизнь без радости — даже и не жизнь.

Но есть спасение от этого холода: надо найти себе дело, которое тебя увлечет, доставит если не радость, то, по крайней мере, чувство удовлетворения: ты не зря коптишь небо.

Я спасаюсь писаниной. Статьи по военно-морскому ведомству — это само собой. Знаете, я затеял книгу мемуаров. Звучит излишне торжественно? Ну и ладно. Все же нашему поколению, подросшему к войне, здорово досталось. Некото-

рые журналисты называют его *великим*. Не знаю, насколько верен такой эпитет, точнее назвать его *поколением, выбитым войной*. Вот и надо, чтобы оно выразило себя. Надо оставить для музы истории Клио свидетельства нашей борьбы: как дралась морская пехота у Кингисеппа, под Копорьем и у Красного Села на питерском пороге… и как сдержали финнов на реке Свири, не дав соединиться с немцами и сомкнуть за Ладогой второе блокадное кольцо, погибельное для Ленинграда… и как подводные лодки, прорвав заграждения в Финском заливе, атаковали немецкие конвои… как мы задыхались, затаясь на грунте и считая разрывы глубинных бомб… в общем, описать наши смертельные игры «смычками страданий на скрипках времен» (по выражению классика, относящемуся, впрочем, к другому времени и к другой войне).

Итак, я пишу мемуары — прошу не отвлекать меня, господа, от этого занятия. Оно держит меня на поверхности жизни.

День-деньской сижу за машинкой. Глеб Михайлович уговаривает купить компьютер, очень расхваливает это электронное чудо уходящего века. Но я же прогрессист только в политике, а в быту — заскорузлый консерватор. Не могу

изменить моей «Эрике», стучу и стучу, вот только дело продвигается очень медленно, — хорошо, если страницу в день удается сочинить.

2000 год наступил. Какая удивительная дата. Как странно, что кончается *двадцатый век,* в котором мы прожили свою жизнь. Даже не знаю, можно ли его сравнить с каким-либо из предшествующих веков. Например, с семнадцатым: Тридцатилетняя война, ожесточенная кровопролитная схватка католических стран с протестантскими. Нет, двадцатый все же похлеще — в двух мировых войнах и в нашей Гражданской, в шествии тоталитарных государств он пролил крови неизмеримо больше, чем пролито в прежних столетиях.

И продолжает проливать — в малых, локальных войнах, в нарастающем бедствии века — в террористических актах.

— Ну и ничего удивительного, — говорит Константин Глебович. — Идет сброс излишков населения планеты.

— Странная мысль, — говорю я. — Кто же управляет этим сбросом? Определяет его размеры?

— Никто не управляет. Стихийный процесс. Единственная единица измерения, какую можно принять, — количество голодных ртов.

— Это что-то из Мальтуса.

— Ну что вы! Мальтусу и не снились такие масштабы.

Мы сидим в квартире Боголюбовых. Глеб Михайлович пригласил меня встретить Новый год, и я приплелся к ним на 6-ю линию — это недалеко. А у них был редкий гость — сын Константин. Со слов Глеба я знал, что их Костя — этнограф, специалист по угро-финским народностям, что он много лет работал в Финляндии, а теперь, вернувшись, профессорствует в Петрозаводске, в университете. Вот он приехал навестить родителей. Мне он понравился — Портос с мушкетерскими усиками (не хватало только перевязи, шитой золотом, — вспомнилось мне). С улыбкой пожимая мне руку, он сказал:

— Рад познакомиться, господин кавторанг. Много наслышан о вас.

Мы сидели за овальным столом в комнате, в которой три стены заставлены книгами. Мы проводили старый год, последний из бурных девяностых, запивая память о нем отличной шведской водкой «Абсолют», привезенной Константином. Салаты, приготовленные искусными руками Натальи Дмитриевны, были превосходны. Сама она, седая и тонкая, в длинном синем

платье, с перевязанным горлом, пила и ела мало и все посматривала на сына с улыбкой и обожанием.

А Константин, развивая демографическую мысль, предупреждал человечество о грядущей опасности — о наплыве в Европу мигрантов с мусульманского Востока, о росте терроризма, а также о росте энтропии. Глеб Михайлович выразил надежду, что Европа — и вообще цивилизованный мир — сумеют отразить нарастающие угрозы. Я поддержал его.

Тут время подошло к полуночи — Глеб включил телевизор как раз в момент появления на экране Ельцина. Он поздравил страну с наступающим Новым годом — спасибо, господин президент, у нас уже налито шампанское в бокалы, — и вдруг мы услышали:

— Я принял решение уйти в отставку…

И далее: он передает полномочия президента Путину — до конца марта, на который переносятся президентские выборы. Спичрайтеры Ельцина постарались: его речь была прочувствованной. В новое тысячелетие Россия должна войти с новыми молодыми руководителями, продолжая курс реформ и демократии. Путин отвечает новому времени, и он, Ельцин, не хочет ему мешать.

И далее: Ельцин попросил прощения за то, что не удалось многое сделать, как задумано, что не удалось «разом» перескочить «из серого тоталитарного прошлого в светлое будущее». Признался, что это решение далось ему очень трудно…

— Это поступок мужественного человека, — говорю, когда Ельцин умолк и на экране, в звуке марша, заполоскал российский триколор. — Откуда у бывшего прораба, не шибко грамотного, сделавшего карьеру советского партработника, такой политический талант? Сумел понять провал коммунистического проекта и необходимость глубокой реформы. Сумел добровольно, впервые в большевистской практике, отказаться от верховной власти.

— Да, — покивал Глеб Михайлович лысой головой. — Поступок, достойный уважения. Как бы к нему ни относились россияне, Ельцин врубил свое имя в историю. Он, может, войдет в тройку крупнейших политиков второй половины века. Но вот о чем я думаю: правильный ли он сделал выбор, передав власть Путину?

— Путин работал в команде Собчака, — сказал я. — Значит, он сторонник рыночных реформ.

— Он человек из службы безопасности. А это значит… впрочем, ладно, — прервал Глеб соб-

ственное рассуждение. — Выпьем за наступивший год. Побольше здоровья, дорогие мои.

Я стоял в кухне, почесывая затылок в раздумье: зажарить на обед котлету (полуфабрикатную) или ограничиться сваренной позавчера гречневой кашей?

Тут зазвонил телефон.

— Дима, — услышал я высокий голос Лизы, — ты что делаешь? Работаешь?

— Да. Работаю головой. А что?

— Приходи встретить старый Новый год. Прямо сейчас.

— Ты что, Лиза? Новый год в полночь, а сейчас полтретьего дня.

— Ну мы встретим раньше — разве нельзя? Тут у меня одна особа хочет с тобой повидаться.

— Ладно, приду через полчаса.

Кто бы это мог быть? — думал я, водя жужжащей электробритвой по трехдневной щетине. Люська в Москве, да и будь она здесь, то припожаловала бы ко мне без всяких церемоний. Кто ж еще? Может, Маша?

Сменил тренировочный костюм на синюю водолазку и блейзер с брюками, не нуждающимися в глажке. И, прихватив початую бутылку коньяку, поднялся на третий этаж. (Ох и трудно

же стало одолевать лестницы!)

В комнате Лизы шли приготовления к застолью. Сама хозяйка наливала в графин что-то розовое из тонконосого чайника — она же была мастерицей по изготовлению настоек, наливок. Строго следила сквозь крупные очки за соблюдением нужных пропорций.

А сбоку за столом сидела и нарезала на доске огурцы — Маша. Она поднялась с улыбкой, мы поцеловались.

Маша, конечно, была на похоронах Раи. Но мы не пообщались; я, подавленный своим горем, только обронил «спасибо» за выраженное ею соболезнование. Разумеется, я знал, что Маша уже лет десять, если не больше, как вышла замуж за инженера, начальника одного из цехов кронштадтского Морского завода. Знал, что Валентина, дочь Маши, часто ездила в Финляндию, стала там популярной певицей и наконец совсем переехала туда, выйдя замуж за тамошнего художника. Маша осудила поступок дочери, они поссорились. Ну да, — подумал я, когда Рая рассказала мне это, — у Маши давняя неприязнь ко всему, что связано с Финляндией…

— Ты прекрасно выглядишь, — говорю я Маше.

И это чистая правда. Даже удивительно. Ведь

мы одногодки, в наступившем году — мне в октябре, ей в ноябре — исполнится семьдесят девять, это же, черт дери, старость. Я и «выглядываю» из минувших лет стариком. А Маша почти не изменилась. Ну, растолстела только — расширилась боками. А лицо по-прежнему красиво — никаких морщин. Лишь щеки отяжелели, а шея уже не кажется высеченной из белого мрамора. Крашенные в кофейный цвет волосы коротко стрижены. Глаза вроде бы посветлели, в правом исчезло золотое пятнышко — словно растворилось.

— Спасибо, — улыбается Маша. — И ты хорошо держишься, с прямой спиной. А мой Олег Васильич что-то разболелся. Вот я к Елизавете приехала за советом — к кому из питерских хирургов обратиться…

— К Быстрову, — сказала Лиза, разбалтывая в графине полученную смесь. — Только к Быстрову. У него клиника недешевая, но — я думаю, это то, что нужно.

Тут в коридоре взвыла какая-то машина, с присвистом.

— Что это? — спросила Маша.

— В Люсиных комнатах ремонт идет, — сказала Лиза. — Третий день циклюют полы. Покоя нет. Маша, вот помидоры еще нарежь. И лук.

— Люся ведь в Рио-де-Жанейро.

— Нет, — качнул я головой. — Контракт у ее друга кончился, они вернулись в Москву прошлым летом.

— Так она живет в Москве? Чего же ремонт тут затеяла?

— А-а, ты не знаешь. Н-ну, если коротко… У Люськиного друга неприятности. Жена с характером тигрицы. «Или возвращайся в семью, или убирайся к чертям». Не дает развода, не разрешает разменять квартиру. Они сняли двушку в спальном районе, в Ново-Переделкине. Надо покупать — а дорого. Они не бедные люди, но жили на широкую ногу…

— Секундочку, — сказала Лиза. — Маша, ты ешь тушеную капусту?

— Я все ем. Но ты не затевай пиршество, Лиза. Вот салат сделаем, и все.

— Пиршество, — проворчала Лиза, тяжело продвигаясь к двери, шаркая теплыми домашниками. — Пиршества на другой планете, не на нашей.

— Ну вот, — продолжил я. — Люся приехала в Питер и продала свою квартиру. Риелтор быстро нашла ей покупателя — дяденьку из Ростова. Он фотограф, владелец фотографии. С толстым

пузом и с молодой женой. Вот он и затеял ремонт. А Люся получила денежки и укатила в Москву.

— Они там купили квартиру?

— Наверное. Точно не знаю, Люська пока не звонила. Давай я лук нарежу, а то ты слезами обливаешься… Маша, ты помнишь, у Галины висел старинный гобелен.

— Помню. Огромный гобелен с рыцарями.

— Да. Фотограф просил Люсю продать его. На фоне рыцарей хотел снимать клиентов, наверное. Люся не отдала. Отправка гобелена — свертывание, упаковка, погрузка — стоила так дорого, что… Люся предпоследними словами ругалась: чуть ли не половину суммы, полученной за квартиру, сожрал гобелен.

Умолкнувшая машина снова взвыла там — в бывшей квартире Ивана Теодоровича Регеля, кораблестроителя… в нашем плещеевском гнезде, в котором я появился на свет… где так хорошо мы жили когда-то… где стены помнят, как в блокадном мороке угасала мама… и как, больной и униженный, вернулся из лагерного узилища отец… Сама история прокатилась железными колесами сквозь эти стены; а теперь тут появился фотограф из Ростова, и слышно, как он орет поверх грохота циклевочной машины: «Куда ты

сунула кальсоны? Да нет, не желтые — голубые!» А «г» у него — как это называется — фрикативное…

— Что ты сказала? — спохватился я, не расслышав Машиного замечания.

— Я говорю: Вадя, слишком крупно нарезаешь лук.

— Ну ты же крупная женщина, вот и режу соответственно.

— Все еще не можешь без своих шуточек?

Но вот приготовления закончены — стол накрыт, салат, политый сметаной, и разогретая тушеная капуста с мясом располагают к хорошей сытой жизни, и я провозглашаю первый тост:

— Пусть Новый год будет милосердным к России, в том числе и к нам.

Лизина настойка приятно пахнет, но недостаточно крепка, женщины пьют с удовольствием, а я, старый алкоголик, перехожу на коньяк.

Мы пьем за Лизу — за ее доброту и бескорыстие, ее постоянную готовность сделать страждущим нужные инъекции, внимательно выслушать людей, битых жизнью, помочь им советом, утешить, вселить надежду. За Лизу Скорую Помощь.

Пьем за Машу — за ее недавнюю увенчанность титулом заслуженного учителя. Много лет она

преподавала язык и литературу, была завучем, потом и директором школы. Я даже вспомнил: в шестидесятые годы в одном журнале напечатали Машину статью об Аполлоне Григорьеве.

— В семьдесят первом! — со смехом поправила Маша. — Ой, неужели ты помнишь? Ну и память у тебя, Вадя!

— Я все помню. Выпьем за тебя и твоего Олега. И за Валентину, — добавил я. — Надеюсь, ей хорошо живется в Хельсинки.

— Она живет не в Хельсинки, а в Тапиоле, — сказала Маша.

— Это, кажется, город-спутник?

— Да. Это город-сад, архитектурное чудо. Лучшие архитекторы Финляндии проектировали Тапиолу.

— Ты говоришь так, будто была в Тапиоле.

— Да, была прошлым летом.

— Значит, ты помирилась с Валентиной? — спросила Лиза. — Это хорошо, по-христиански.

— Причем тут христианство? Я по-прежнему считаю, что человек должен жить в своей стране.

— Конечно, — говорю, подливая дамам настойку в бокалы. — Товарищ Сталин запретил браки с иностранцами.

— Ну и нечего иронизировать! — хлестнула меня Маша сердитым взглядом. — И вообще, если б не ты, так ничего бы и не было. Никакой Тапиолы.

— То есть как? — поразился я. — Что ты несешь? Причем тут я?

— Разве не ты дал Валентине адрес Кузнецова в Хельсинки?

— Адрес Терентия? Да… — припомнил я. — Она попросила, я дал адрес… Как всегда, я во всем виноват… Но когда это было! На Валиных похоронах, в шестьдесят восьмом…

— Тогда и началось! Валентина с группой уехала в Хельсинки на гастроли. В свободный вечер пошла по адресу — дедушку навестить. А дедушка Терентий умер. Но оставил большое семейство. Они Валентину заобожали. Петя, дедушкин внук, влюбился в нее как не знаю кто. Как Петрарка в Лауру.

— Петя, Петрарка — его так и зовут?

— Его финское имя — Пентти, через два «т». Валентина называет его Петей. «Петенька, — говорит она, — лютеранин, но поклоняется природе». Он дизайнер по ландшафтам — уважаемая у финнов профессия. Он стал ее приглашать каждый год в Финляндию. Организовывал ее

концерты, поездки. В общем, они сошлись.

— Так Петя двоюродный брат Валентины?

— Я была против. Но она же упряма, как ее папа.

— Это не упрямство, — сказала Лиза. — Это любовь.

Маша вздохнула. Знакомым движением рук расправила на лбу кофейные пряди.

— Приятная у тебя настойка, — промолвила она. — На чем ты настаиваешь?

— Боярышник, мята, кое-что еще. Как хорошо, что вы помирились. Столько лет пролетело.

— Да… Прошлой весной, — сказала Маша, — как раз на Пасху, раздался звонок. Олег взял трубку. Это Валентина позвонила, говорит: «Мы с Петей в Ленинграде. Можно к вам приехать?» Олег ответил: «Можно». Ну, они и приехали по дамбе к нам в Кронштадт.

— Ты же теперь не на Карла Маркса живешь?

— Мы давно переехали в новый дом на Зосимова. Ну вот. Трое суток они у нас прожили. Пентти, Петенька, на два года моложе Валентины. Высокий, улыбчивый, с волосами до плеч. По-русски говорит с акцентом, конечно, но падежи ставит правильно. Пригласили нас приехать. Погостить. Ну, мы выправили загранпаспорта и летом по-

ехали. У них в Тапиоле чудная квартирка, две спальни, большая гостиная, вокруг лесная красота.

— Валентина все еще поет? Выступает?

— Нет. Пятьдесят седьмой год уже ей пошел. С голосом некоторые проблемы. Но ничего. Они живут хорошо.

— Слава богу. — Лиза перекрестилась, взглянув на икону в углу.

— А как тебе живется, Вадя? — спросила Маша. — Кто помогает тебе управляться с бытом?

— Лиза и помогает. Ну и ко мне приходит социальная работница, приносит продукты, уборку делает.

— Олег читал твои статьи. Говорит, ты хорошо пишешь, но не всегда правильно.

— Всегда правильно писал Анатолий Софронов.

— Вот еще! Ты скажешь. Олег говорит, надо бы написать историю кронштадтского Морского завода, бывшего Пароходного. Я говорю: «Вот возьми и напиши». — «Нет, — говорит он. — Я умею писать только объяснительные записки о перерасходе электроэнергии». Он, так же как и ты, любитель шуточек.

— Как и все моряки.

— Вадя, история Морзавода действительно интересная. Вот бы вы с Олегом взялись и написали. У него масса материалов о военном времени.

— Спасибо, Машенька. Не сомневаюсь, что надо написать историю Морзавода. Но я не смогу. Я занят большой писаниной, она идет трудно и медленно — даже не знаю, успею ли закончить…

Август стоит жаркий. А меня словно ледяным ветром прохватило.

Радио и ТВ сообщили, что на флотских учениях в Баренцевом море потерпела аварию атомная подводная лодка «Курск», легла на грунт. Это произошло 12-го, и вот уже пятые сутки не могут спасти ее экипаж. Там сто восемнадцать человек. Западные страны предложили помощь, наши отказались: мол, сами умеем, все спасательные средства на Северном флоте есть. Вот только шторм, подводные течения и плохая видимость под водой мешают спасательным аппаратам состыковаться с аварийным люком подлодки.

А время шло, сто восемнадцать душ томились, ожидая спасения… или сколько их осталось в живых после взрыва… и с каждой уходящей минутой все меньше шансов… А президент Путин отдыхает в Сочи. Нет, не вылетел срочно в Североморск, не кинулся на помощь — выслушивает

по телефону доклады главкома ВМФ адмирала Куроедова… подводные течения мешают состыковаться… Лишь вечером 16-го — на исходе четвертых суток — он велел Куроедову принять помощь Запада. К месту катастрофы пошли норвежцы со своими спасательными средствами.

Что произошло на «Курске», что за взрыв? Может, в аккумуляторных ямах скопился водород? Куроедов выдвинул версию о возможности столкновения лодки с плавающей миной, оставшейся с войны. Ну это маловероятно… вообще невероятно… А министр обороны Сергеев в программе «Время» дал интервью: дескать, когда спасатели обнаружили «Курск» на грунте, рядом с ним был «еще какой-то объект». Какой? Не сказал. «И куда же подевался этот объект?» — спросили журналисты. «Ушел», — ответил маршал. Мне было стыдно за него, старого человека, столь беспардонно врущего. «Вторым объектом» могла быть только некая подводная лодка, столкнувшаяся с «Курском», но ведь если было столкновение, то эта мифическая лодка тоже должна была получить тяжелые повреждения и вряд ли смогла незаметно скрыться.

И еще министр заявил, что иностранную помощь приняли сразу, как только она была

предложена. Опять ложь! Помощь-то предложили сразу, но приняли ее только 17-го, после того как Путин вечером 16-го велел Куроедову ее принять. Роковые четыре дня были потеряны… Люди, уцелевшие после взрыва, задыхались в отсеках. Затоплены были еще не все отсеки. Оба реактора, конечно, заглушили. На лодке — мрак и холод… и убывающий кислород, и накапливающаяся углекислота… и стук… люди стучали молотками, клещами в стенки прочного корпуса… звали на помощь… надеялись, что услышат, спасут…

Ужасно! Я так ясно представил себе эту страшную картину… будто оказался там, среди них…

Утром 20 августа норвежские водолазы-глубоководники открыли верхний, а затем и нижний люки 9-го отсека. Вышла тоненькая струйка воздуха — отсек словно вздохнул — он был затоплен полностью.

Стало ясно: живых на лодке нет.

Наши четыре дня уверяли страну, что плохая видимость и подводное течение в два узла (и даже в четыре) не позволяют спасательному аппарату состыковаться с аварийным люком. Норвежцы же заявили, что видимость хорошая, восемь метров, а течение не превышает половины узла.

А почему на Северном флоте не оказалось водо-

лазов-глубоководников? Да были они! Но, знаете ли, этой организации перестали платить, и водолазы разъехались.

Ужасно…

Беспомощность адмиралов. Вранье, успокоительные заявления, что кислорода на лодке хватит до 25-го. Боятся говорить правду. Должность потерять боятся. И, как в советское время, очень боятся принять помощь западных стран — чтобы не раскрыть «потенциальному противнику» военную тайну (давно ему известную)… стремятся скрыть масштаб бедствия… А люди — что́ люди? Железо жалко, а людей еще народят…

С комком у горла смотрю на экране ТВ на несчастных родственников погибшего экипажа, съехавшихся в Видяево — городок подводников Северного флота. Боже, какой жалкий поселок. Убогие дома, текущие крыши, плохо с отоплением, нет горячей воды. Типично советское отношение к людям — к подводникам, несущим суровую и опасную службу.

Не только советское. Великий русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн написал в свое время: «Известно, что нет ни одного государства в Европе столь расточительного в рассуждении подданных, кроме России, более

всех нуждающейся в оных».

Горькая запись. «Расточительность в рассуждении подданных», как проклятие, проходит сквозь всю историю России.

Велись переговоры с Норвегией — о подъеме тел погибших и самой субмарины. Но подъем разрушенной лодки — дело очень трудное, требующее длительной подготовки. С телами погибших подводников тоже не просто, но все же…

В октябре над местом гибели «Курска» встало на якорь норвежское судно-платформа «Регалия». Начались спуски водолазов — не только норвежских, но и наших. Они прорезали «технологическое окно» в легком и прочном корпусах 8-го отсека подлодки. И водолазы вошли в этот затопленный отсек. Они подняли четыре тела подводников. Первым опознали капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, командира 7-го (турбинного) отсека. В его кармане нашли две записки. В одной Колесников пишет, что после взрыва люди из 7-го и 8-го отсеков перешли в 9-й, надеясь воспользоваться аварийно-спасательным люком, — всего двадцать три человека. То есть двадцать три подводника в 9-м отсеке были какое-то время живы. Вторая записка была сильно размыта, неразборчива, но отчетливо

читалась последняя дата — *15 августа*. То есть двадцать три человека в концевом отсеке лодки были живы по крайней мере *трое суток*! И если бы помощь пришла *сразу*, то их бы спасли…

Из 8-го и 9-го отсеков водолазам удалось поднять двенадцать тел.

Прорубили «технологическое окно» в 3-м отсеке, командном (здесь пульты управления, радиорубка), вошли — но продвинуться было невозможно: сплошные завалы, видимость меньше метра. В ноябре водолазные работы на «Курске» прекращены. «Регалия» снялась с якоря, отплыла к себе в Норвегию.

А 27 октября по НТВ показали короткий норвежский документальный фильм о работе водолазов. И была там минутная сцена встречи родственников погибших подводников с полпредом Северо-Западного округа Клебановым и главкомом ВМФ Куроедовым. Мать лейтенанта Тылиса, Надежда Тылис, проклинает начальство за медлительность и вранье, за попытку скрыть. «Сволочи!» — кричит она и бьется в истерике.

Смотрю с влажными глазами…

Журналист беседует с женой командира «Курска» капитана первого ранга Лячина. Молодая вдова ведет себя достойно, не плачет — сколько

силы воли, стойкости характера за этой внешней сдержанностью…

Журналист беседует с командиром атомной подлодки «Воронеж» — однотипной с «Курском».

— Да, — говорит командир, отвечая на вопрос дотошного журналиста, — знаю, что получаю гораздо меньше, чем американский командир подводной лодки, и живу в худших условиях, но я сознательно выбрал эту жизнь. А дома меня согревает семейное тепло.

Вот достойный ответ. Готов, как и, уверен, большинство моих сослуживцев, под ним подписаться.

Да, это наш выбор.

Вот и все.

Глава сороковая
А годы летят

Вдруг позади наших траншей, из дыма и пыли, возникла «эмка» защитного цвета. Из нее вылезли несколько военных и, обходя дымящиеся воронки, направились к нашим окопам. Из грузовика, сопровождавшего «эмку», выпрыгнули человек десять солдат с автоматами и тоже двинулись к нам. Кто это, что за незваные гости? Наша бригада сильно потрепана, подкрепления нам во как нужны… но это же не подкрепление, черт дери…

По траншеям раздались свистки: внимание! И раскатилась команда — странная команда, по которой мы, битая, но уцелевшая на данный момент морская пехота, повылезали из траншей. Мы стояли неровной цепью, оборотясь лицом в сторону тыла, и глазели на этих, приехавших. Впереди шел командир маленького роста, с седыми усами… в фуражке, надвинутой на глаза… Странно знакомое у него лицо… постаревшее, но… да это же Ворошилов! Ну да, точно… Зачем приехал на передовую? Он же командующий, ему

нельзя под пули…

Ворошилов споткнулся, адъютант схватил его за локоть, что-то сказал… Ворошилов отмахнулся, оглядел нас и выкрикнул:

— А-а, моряки! Ну как вы тут? Достается вам?

— Достается, товарищ маршал! — раздалось в ответ. — Да мы выстоим… Подкреплений бы только…

— Надо выстоять, моряки! — Ворошилов закашлялся, провел ладонью по усам. — Ленинград в опасности! Отбросим врага! — Снова он, выпучив глаза, оглядел нас и крикнул: — Пошли!

Расстегнув кобуру и вынув пистолет, Ворошилов ступил на ничейную землю. Автоматчики — охрана — ускорили шаг, обступая его. Ну да, укрыть его надо, вон как горят маршальские звезды на его красных петлицах, уж немцы разглядят, что за птица движется к их позициям… такая цель!..

Ну а мы? Что, морская пехота не пойдет за Ворошиловым? «Ура-а-а!» — заорали мы и побежали по сухой траве, по ничьей земле, опережая маршала. Бежали, выставив винтовки, к черным избам какой-то деревни, и вот оттуда раздались выстрелы, сперва одиночные, а вскоре — все плотнее. Немцы, может, обедали, не сразу увиде-

ли нашу атаку…

— Вперед, вперед! Япона мать! — услышал я выкрик Травникова.

Он бежал слева от меня — и вдруг упал возле березы, обрубленной огнем. Свист пуль. Пригнувшись, я подбежал к Вальке, лежавшему навзничь:

— Валька! Ты жив?

Он вдруг раскрыл глаза — и как засмеется…

Я, ужаснувшись, отпрянул от него и…

И проснулся.

Сел на тахте, тронул ладонью потный лоб. Ну и сон, черт дери! Сунул ноги в тапки, поковылял на кухню, выпил чашку воды.

И вот сижу в пижаме, расслабившись, ожидаю, пока отпустит тахикардия, подстегнутая сном…

Это, конечно, было в моей жизни: у Красного Села наша бригада морпехоты из последних сил сдерживала атаки противника, и вдруг приехал Ворошилов и повел нас в бессмысленную контратаку. Охрана сумела его остановить и увести, она же обязана уберечь командующего. А мы, неся потери, добежали до немецких позиций, выбили немцев из сгоревшей деревни. (Они, вообще-то, побаивались «черных дьяволов» — так называли нас, морпехов.) Но следующим днем пришлось

нам, уцелевшим, под жестким натиском противника отступить, вернуться на свои позиции.

Уже тогда, помню, мелькнула мысль, что Ворошилов не вполне… как бы сказать… ну, если по-современному, то не вполне адекватен. Впоследствии, размышляя об огромной трагедии 1941 года, я понял: главнокомандующий Северо-Западным направлением Ворошилов был растерян, обескуражен. Сознавая, что проиграл сражение за Ленинград, он и решился на нелепый для полководца поступок — кинулся на передовую и лично повел бойцов в контратаку. Ворошилов не был трусом. Но был ли полководцем? Нет, он, может, и обладал командирским качеством в далеком восемнадцатом году, при обороне Царицына, но для современной войны это качество было явно непригодно. Легендарный маршал плохо понимал оперативную карту, принимал ошибочные решения. Боясь докладывать Сталину о необходимости оставить столицу Эстонии, очень затянул с приказом об эвакуации флота и защитников Таллина; к тому же закрыл движение по южному фарватеру Финского залива — и колонна кораблей пошла по центральному фарватеру, сильно засоренному минами. Некоторые приказы Ворошилова о переброске войск

имели тяжелые последствия: оставляли неприкрытые промежутки между флангами, и в эти «просветы» устремлялись танки фон Лееба.

Вдруг высветилась в памяти еще одна фигура — генерал-лейтенант Пядышев. Он командовал войсками на Лужской оборонительной линии. Какое-то время мы, курсантская бригада морпехоты, вместе с армейскими частями, удерживали Кингисепп на реке Луге. Тогда-то впервые услышали о Пядышеве. О нем говорили уважительно: толковый командир. Бои шли жестокие, с огромными потерями, — а Лужская линия, от Кингисеппа почти до озера Ильмень, оборонялась до 8 августа. То есть *на целый месяц* задержали немецкое наступление. И командиром, притормозившим здесь гитлеровский «блицкриг», был именно генерал Пядышев.

И вот этого превосходного командира, каких было в сорок первом немного, в конце июля внезапно арестовали — и расстреляли.

Что это? Чей-то подлый донос, лживое обвинение? Вездесущие органы НКВД действовали втихую, не давали никаких публичных объяснений. Был человек — не стало человека, вот и все. До сих пор обстоятельства ареста генерала Пядышева неизвестны. (Было лишь после

Двадцатого съезда короткое извещение, что он реабилитирован.)

Так вот: мог ли Ворошилов, хорошо знавший Пядышева, защитить, уберечь его? Трудно дать определенный ответ. Но сдается мне, что мог: член политбюро, знаменитый, легендарный маршал, — ну вызвал бы в свой штаб главного энкавэдэшника фронта, гаркнул бы: «Ты что себе позволяешь? Немедленно выпусти генерала Пядышева!»

Нет, не вызвал, не гаркнул. Не до Пядышева ему было. Подавленный, удрученный надвигающейся катастрофой, Ворошилов не фон Лееба боялся, а *хозяйского* гнева. Не искал ли он смерти, поведя в безнадежную атаку бригаду морпехоты, наполовину опустошенную в тяжелых боях? Не знаю. Похоже, что это был акт отчаяния. Стареющий маршал опасался смещения: знал, что иных снятых с должности военачальников расстреливали. Он пытался скрыть от Сталина потерю станции Мга, падение Шлиссельбурга — но разве утаишь такие поражения? 11 сентября Сталин сместил Ворошилова, отозвал в Москву. В Ленинград прилетел назначенный вместо него генерал Жуков. То были критические дни…

Уже более трех лет я пишу свои мемуары. Нас-

коро позавтракав (варю овсяную кашу и запиваю ее черным кофе, подбеленным сливками), я усаживаюсь за свою «Эрику». Страницу за страницей — я перелистываю свою жизнь, начиная с далекого — о какого далекого и прекрасного — детства. Меня обступают родные люди. За ужином моя голубоглазая, по-девичьи тоненькая мама рассказывает, как пригласила в библиотеку писателя Зощенко и как хохотали, слушая его рассказы, юные читатели. А Иван Теодорович, мой дед, размышляет над эскизами первых советских кораблей — сторожевиков, которые войдут в историю Балтфлота под названием «дивизион хреновой (нет, немного иначе) погоды». А мой отец, окутавшись табачным дымом, пишет очерк о том, как в белом маскхалате шагал по льду под грохот тяжелых кронштадтских орудий, — и вдохновением горят его глаза за стеклами очков… и резво бежит, строка за строкой, неутомимое перо…

Куски рукописи я читал Константину Глебовичу. Он слушал, пощипывая мушкетерские усики, мелкими глотками (подобно своему отцу) отпивая из рюмки коньяк.

— Глаза горят вдохновением, — говорил Константин. — Да, это верно. Ваш отец постарше, мой

моложе — были, конечно, поумнее платоновского Копёнкина, жаждавшего отомстить буржуям за гибель прекрасной девушки Розы Люксембург. Но, в сущности, и они были вдохновлены идеей мировой революции. На народ огромной страны взвалили непосильный груз идеологии. Надо бы, Вадим Львович, усилить этот мотив.

— Не знаю, — отвечал я, — сумею ли усилить. Я не философ. Просто описываю свою жизнь такой, какова она есть... Идея мировой революции — сильная идея. Для поколения моего отца — ну, можно сказать, она была смыслом жизни. Но уже в моем поколении эта идея выдохлась.

— Она не выдохлась. Ее заменили идеей построения коммунизма — не в мировом масштабе, а в отдельно взятой — нашей стране.

— Да, так нас учили. Это было привычно, как чистка зубов по утрам.

Мы говорили об особом пути России. Я полагал, что марксизм, завезенный из Западной Европы, был искусственно привит к русской общественной жизни девятнадцатого века.

— Конечно, его привезли из Европы, — ответствовал Константин, — но привит он не так уж искусственно. Почва-то для марксизма оказалась

подготовленной.

— То есть?

— Почти весь девятнадцатый век нарастал радикализм российской разночинной интеллигенции — призыв Чернышевского «к топору», нечаевщина, бомбы народовольцев, револьверы эсеров, — и разве таким уж чужеродным выглядел в этом ряду большевизм с его Чрезвычайкой и массовыми расстрелами?

Особый путь России… Национал-патриоты толкуют о самобытности, вздыхают о старинной сельской общине, изрыгают хулу на инородцев, которые «во всем виноваты», на Горбачева с его перестройкой, на Ельцина с его реформами, на демократов, «распродающих Россию». В очищенном от лютой ненависти, от демагогической фразеологии виде их особый путь предстает как опасная смесь былых имперских амбиций и уравнительно-распределительного социализма. И конечно, никакого Запада, потому что оттуда — одна гниль.

Все это мы уже проходили, проходили — и с низкопоклонством боролись, и чайку при коммунизме попить собирались. Неужто не обрыдло?

Как ни мучительна эта мысль, но особым

путем России оказался именно марксизм-ленинизм-сталинизм, приведший великую страну к невиданной катастрофе в конце двадцатого века.

Константин Боголюбов переехал из Петрозаводска в Петербург осенью 2002 года: его пригласили читать курс этнографии в университете.

Та осень была ужасной. 23 октября, в одиннадцатом часу вечера, по ТВ и радио прошло экстренное сообщение: группа чеченских террористов в Москве захватила Дом культуры подшипникового завода во время спектакля — мюзикла «Норд-ост».

Оцепенело я смотрел и слушал до трех часов ночи, шли скупые подробности. Захвачено семьсот заложников — зрителей и артистов. Бандитов — тридцать или сорок, среди них и женщины в чадрах, с поясами шахидов. Группу возглавляет Мовсар Бараев. Требуют прекратить войну, вывести войска из Чечни. За каждого «пострадавшего» бойца будут убивать десять заложников. В переговоры не вступают…

Этот кошмар продолжался двое с половиной суток. Под утро 26 октября спецназ взял Дом культуры штурмом. Заложники освобождены, тридцать четыре террориста убиты, в том числе Бараев.

Ну, слава богу. Можно вздохнуть с облегчением.

Но вдруг… вы помните, конечно: вдруг пошли сообщения о том, что заложники, отправленные в больницы, умирают от *отравления газом*.

Что за газ? На ТВ и в газетах появились успокоительные заявления: это усыпляющий газ, к БОВ — боевым отравляющим веществам — не относится, для здоровья безвреден. Но почему в больницах умирают от него? Ну, это люди измученные, истощенные, обезвоженные… Значит, не так уж безвреден этот газ… фентанил, что ли… синтетический наркотик… Похоже, что опять, опять нам лгут… Объявили, что умерли сто семнадцать заложников… Можно ли считать операцию по освобождению успешной, если погиб каждый шестой?

«Нордост» 2002 года, наверное, останется символом нашего безумного времени. Как «Лебединое озеро» 1991 года.

«Мало кто предвидел в девятнадцатом веке, что после него наступит Двадцатый», — изрек польский сатирик Станислав Ежи Лец. Можно переадресовать это замечательное наблюдение: «Мало кто предвидел в двадцатом, что наступит *такой* двадцать первый».

Да, ужасное у тебя начало, новый век. Безумный теракт, разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке в сентябре первого года. Безумный теракт в Москве, захват полного зала на спектакле «Норд-ост» в октябре второго. Продолжается вторая чеченская война — с 1999 по 2002 год там погибло, по официальным сообщениям, четыре тысячи триста наших солдат и офицеров (а по сведениям комитета солдатских матерей — более шести тысяч).

А что творится с погодой. Участились землетрясения, наводнения. В Европе потоп: вышли из берегов Эльба, Влтава, другие реки. В Испании, на Балеарских островах — в августе! — выпал снег.

После ливневых дождей потоп и в Новороссийске, погибло пятьдесят восемь, пропали без вести триста, разрушены сотни домов, смыло в море десятки машин. Но вот утихла непогода — и уцелевшие отплясывают в дискотеке. Истинно — пир во время чумы…

Может, прав Константин Глебович: идет сброс излишков населения планеты Земля — единственного пока обиталища homo sapiens'ов?

8 марта я позвонил Боголюбовым, хотел поздравить Наталью Дмитриевну с Женским днем. Трубку взял Константин:

— Я передам маме, спасибо. Она не может подойти. У нас беда, Вадим Львович. Вчера умер отец.

— О господи!.. — У меня перехватило дыхание.

На похоронах в Доме литераторов народу собралось немало: пишущая братия (научно-популярного жанра главным образом), читатели замечательных книжек Глеба, бывшие школьники, которым он преподавал физику. И сидели у стены несколько старых людей с каким-то нездешним выражением глаз в густой сети морщин — бывшие норильские зэки, с которыми Глеб Михайлович поддерживал отношения. Среди них сидела Наталья Дмитриевна, тепло одетая, с горлом, обвязанным темным платком.

Глеб лежал в гробу в черном костюме с черным галстуком (впервые я видел на нем выходной костюм) и, казалось, снисходительно слушал похвальные речи о себе. Я тоже говорил…

Боже, какими словами выразить скорбь о том, что ушел человек с *такой* биографией, с *такой* мощью интеллекта. Глеб рассказывал о своей жизни: «Год за годом — над головой постоянно клубились безнадежные черные тучи, но изредка, как промельк надежды, являлось северное сияние». Он говорил: «Я в Риме был бы Брут, в

Афинах Перикле, а здесь я реабилитанец». Так он себя называл и даже в какой-то анкете однажды написал: «реабилитанец».

Константин рассказал:

— Тот день был у меня трудный — читал лекции, три пары. Домой пришел в шестом часу. Сели в кухне обедать. Мама говорит отцу: «Что-то ты сегодня плохо ешь». А он: «Да вот, по радио сказали, что к Солнечной системе летит огромная черная дыра. Со скоростью четыреста километров в час. Как бы не схлопнула нашего желтого карлика вместе с нами». Я говорю: «Не бойся. Я в интернете видел эту информацию: расстояние астрономическое — шесть миллионов световых лет. Если она и схлопнет нас, то о-о-очень не скоро». — «А я, — говорит отец, — и не боюсь. Просто кушать не хочется, так должна же быть хоть какая-то причина».

— После обеда, — продолжал Константин, закурив, — я хотел посмотреть футбол. Играли «Зенит» с «Локомотивом», интересный матч. Но отец позвал сыграть в шахматы. Ладно, сели, пошла игра, отец вывел слонов в фианкетто, атаку готовит, я защищаюсь. Вдруг он, глаза закрыв, потирает ладонью лоб и — сорванным голосом: «Что-то мне как-то… принеси воды, пожалуй-

ста…» Я кинулся на кухню, принес чашку… а отец захрипел… головой поник… я зову, пульс хочу нащупать… нет, все кончено…

Завидная кончина. Недоигранная партия в шахматы…

И две незаконченные работы.

Одна — об Адаме Смите. Нет, не жизнеописание: биография основоположника классической политэкономии внешне скучна. Ну, увлеченно работал, читал лекции в Эдинбурге, в университете Глазго. Ярких событий, взывающих к перу беллетриста, кажется, не было. Событием был главный труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Разбором этого великого сочинения и занялся Глеб Михайлович. Я не экономист, никогда прежде Смита не читал, в отличие от Евгения Онегина, который

…читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

Так вот, Глеб Михайлович подверг именно глубокому анализу такие, скажем, основополагающие идеи Адама Смита, что «деньги — это мертвый капитал, ничего не производящий» и что основной источник общественного богатства — труд… главным образом земледельческий, но также и промышленный, набиравший силу при Смите… но все же и в наши сугубо промышленные времена главенствует вопрос о земле… кто ею владеет и что производит… и тут Глеб, убежденный «сельскохозяйственник», выписывает массу исторических примеров… и все это чертовски интересно читать… Невероятно жаль, что он не закончил, что его легкое перо остановилось на фразе «ясным взглядом увидел мощный стимул развития в конкуренции…».

Вторая незаконченная работа Глеба Михайловича была озаглавлена «Размышление о пользе просвещения». Мы с ним часто говорили об этом и сходились на том, что главная беда России — массовый невоспитанный человек… и поэтому Россия нуждается в новом веке просвещения… иначе смягчения нравов не достичь… да-да, *постепенное смягчение нравов,* прекращение ожесточенного поиска врагов, воспитание с «младых ногтей», с детского сада — доброжела-

тельности, элементарной вежливости… Утопия? Ну почему же… Разработать государственный проект, начать с подготовки корпуса преподавателей. Неужели не найдется в огромной стране нескольких десятков тысяч молодых людей, готовых посвятить свою жизнь великому делу всенародного просвещения? Вот же возникло — не по указанию власти, а снизу, из обыденной жизни, — благородное движение волонтеров.

Константин сказал:

— Отношусь к этому проекту скептически. Но если пожелаете, Вадим Львович, продолжить его разработку, начатую отцом, то готов вам помочь.

Ранний звонок — в восемь утра. Я встревожился: так рано звонят, только если какая-то неприятность. Незнакомый женский голос:

— Вадим Львович? Здрасте. Я звоню от Савкина.

— От Савкина? Владлена?

— Да. Я у него сиделка. Оксана меня зовут.

— Что случилось, Оксана?

— Владлен просит приехать. Если можете.

— Сегодня не смогу. Записан на прием к врачу.

— Тогда завтра. — Что-то было командирское в глуховатом голосе этой Оксаны. — К трем часам. Адрес помните?

Я помнил. В прошлом году однажды я навестил Савкина. Он жил на улице Белы Куна в однокомнатной квартире, одна из стен которой была сплошь завешана фотографиями. Тут были снимки лесных полян и вообще «не тронутой человеком природы», как выразил свое увлечение Владлен. И множество снимков пуделя, прожившего свою жизнь у него. В центре висело большое фото — молодая пара — улыбающаяся, склонная к полноте блондинка и строгого вида большеротый юнец с изрядной шевелюрой, в застегнутой до горла толстовке. То были родители Владлена. Прошлой осенью, когда я навестил его, Владлен был на ногах. Ходил трудно, медленно, но все же передвигался. Мы крупно выпили — осушили привезенную мной бутылку «Смирнова» и, между прочим, подняли тост за Федора Конюхова, переплывшего на веслах Атлантику, — какой молодец, я восхищаюсь им. Ну и, конечно, о текущем моменте мы поговорили-поспорили. Савкин кричал, что инспектора ООН не найдут в Ираке оружия массового уничтожения, Саддам все спрятал, и надо его, Саддама, поскорее разгромить. И вообще, все приличные государства, включая и Россию, должны заключить коалицию, чтобы сокрушить исламский радикализм и «очистить

земной шарик от террористов», подобно тому как избавились в свое время от чумы и оспы.

Он, Савкин, всегда был максималистом.

Итак, с бутылкой «Праздничной» в портфеле поехал я дождливым июльским днем на улицу с неприятным названием Белы Куна. Заранее я наказал себе не вступать в споры с Савкиным, не реагировать на его крики и насмешки.

Но Владлен был удивительно тихим. Он лежал на кровати в бледно-голубой рубашке, выпустив поверх легкого покрывала лопатообразную седую бороду.

— Здравствуй, лысый человек, — сказал он, протянув мне руку и улыбаясь, насколько позволяли покалеченные войной челюсти.

Его рука была холодной. Как бутылка, извлеченная мною из портфеля. Я поставил ее на тумбочку рядом с горкой книг. Сверху лежала, я заметил, «Последний из могикан» Купера. И еще стоял на тумбочке пестренький знаменитый кубик Рубика.

Оксана — упитанная брюнетка со сплошной бровью над черными прищуренными глазами — оказалась молдаванкой, приехавшей на заработки. На ушах у нее висели крупные медные кольца. Черты лица были правильные, краси-

вые даже, но — в резковатости их выражения ощущалась затаенная горечь. «Не ждите от меня улыбок», — словно предупреждала Оксана.

Она подкатила к кровати столик на колесиках, на нем были исландская сельдь, баночка минтая, салат оливье, что-то еще, дымилась в миске свежесваренная картошка, и стояли бутылки с кока-колой и лимонадом.

— Ну, ешьте, — сказала она и помогла Владлену сесть, спустить ноги в теплых носках. — А ты смотри, Владлен Борисович, много не пей. Ему нельзя много, — взглянула она на меня. — А я схожу в магазин.

Я откупорил «Праздничную», налил в стопки, мы выпили по первой. Владлен подцепил вилкой кусок минтая, понес ко рту, прикрывая другой рукой верх бороды.

— Хорош минтай, — заявил он, медленно прожевывая любимую закуску. — Она из Бельцов, Оксана. Ее отец был там большим начальником. Точно не знаю, она не говорит, но думаю, что по эмвэдэшной части. Они хорошо жили, ясное дело. А как Молдавия вышла в независимые, тут начался шурум-бурум. Отца Оксаны с треском сняли, стали тягать на допросы. Налей-ка еще. Ну вот, — продолжал Савкин, выпив, — новая

власть готовила суд. Какие-то люди угрожали ему, машину сожгли. Он не выдержал. В ванной вскрыл себе вену.

Указательным пальцем Владлен чиркнул по запястью.

— Печальная история, — сказал я.

— А Оксана преподавала в школе обществоведение. Этот предмет кому теперь нужен? Может, только Северной Корее, — хмыкнул Владлен. — Осталась Оксана без работы. Она не говорит, молчит, но… ну, я думаю, у нее семья распалась. В общем, с пожилой матерью и больной младшей сестрой переехала Оксана из Бельцов в деревню, к деду по отцу. Помыкалась туда-сюда… Короче, махнула в Питер на заработки. В фонде помощи ветеранам войны дали ей мой адрес. Еще она ходит к женщине, тоже ветерану, убирает… Да, уборка, то, се… — Савкин как-то странно усмехнулся, почесал под бородой. — Кто ветеранам жить помогает, тот, конечно, достоин… удостоен… Я сам видел, ей большую корзину цветов принесли…

— Корзину цветов? Влад, ты о чем?

Удивленно я смотрел на него. А он, что-то бормоча, хрипло дышал над тарелкой с недоеденным салатом. Вдруг схватил с тумбочки кубик Рубика

и вопросил:

— Ты умеешь? Чтоб на каждой стороне гладко… Ну, смотри!

И стал быстрыми движениями пальцев перебирать, поворачивать малые кубики, из которых состоит большой куб. Очень скоро он достиг нужного результата: все шесть граней куба заняли правильное положение.

— Ну ты молодец, — сказал я. — У меня это не получается.

Савкин поставил Рубика на тумбочку и тихо сказал:

— Налей. Мы ж бывшие морпехи, так? Вот за это.

Мы выпили. Еще бы не выпить за главное, можно сказать, дело нашей жизни.

— Ты ешь, ешь, — сказал я. — Картошку вот, пока не остыла.

— Не хочу. — Владлен удовлетворился очередным куском минтая. — Вадим, я вот почему тебя позвал. Что делается в стране? Убили Юшенкова. Убили Щекочихина…

— Щекочихина не убили.

— Отравили втихаря — значит, убили. Убийц и заказчиков, конечно, не найдут. Мы что же — превратились в гангстерское государство?

— Хотел бы и я, — говорю, — получить ответ на этот вопрос. Сам знаешь, в обществе у нас сильное расслоение. От сталинского времени немало людей осталось с вывихнутыми мозгами.

— Фашисты! — выкрикнул Савкин. — Это они ведут отстрел политиков с демократическим взглядом. Взрывают дома и спящих людей. Какие-то шахеды появились…

— Шахиды, — уточнил я.

— Пояса со взрывчаткой на них — во́ придумали! Вчера по радио: две чеченки взорвали себя у входа на тушинский аэродром, где шел рок-фестиваль. Люди пришли музыку послушать, а их…

Владлен захлебнулся от собственной обличительной речи, закашлялся. Я налил ему в чашку лимонад, он отпил, поставил чашку на столик и вдруг повалился на кровать, закрыв глаза.

— Влад! — Я схватил его за руку, потеребил. — Ты чего, Влад? Тебе плохо?

— Нет-нет… Не пугайся… — И — помолчав: — Германский фашизм разгромили, а у себя дома не заметили, как он вырос… пророс…

— Ну почему не заметили? — возразил я. — Очень даже заметно. У нас на глазах происходит превращение чиновничье-олигархического государства в полицейское. Власть стала поощрять

националистические настроения. Но существует оппозиция, которая…

Я стал развивать эту тему — о нелегкой жизни оппозиции в нынешней России. Владлен слушал, закрыв глаза. Казалось, что он засыпает… или уже уснул… Вдруг он повернулся на бок, лицом ко мне, и сказал, ухмыляясь:

— А ты знаешь? Делавары плавают так же хорошо, как ползают в кустах.

— Делавары? — переспросил я. — При чем тут делавары?

Хлопнула в прихожей дверь. В комнату вошла Оксана:

— Ну как вы тут?

— А где Великий Змей? — обратился к ней Савкин, приподнявшись на локте. — Уплыл по течению! — выкрикнул он и захохотал. — Понятно, нет? Прыгнул в реку и поплыл!

— Понятно, понятно. — Оксана достала из тумбочки темный флакон, а из него — белую таблетку. — На-ка, прими, Великий Змей. — Дала Владлену запить из чашки. — Вот так. Успокойся.

Ее движения были быстры и точны.

Успокоительная таблетка подействовала: Владлен заснул, хрипло дыша раскрытым ртом.

Оксана позвала меня на кухню. Тут между холодильником и шкафчиком была втиснута узенькая тахта, накрытая чем-то пестрым, по-молдавски ярким. Мы сели за столик, Оксана налила мне водку в стопку, а себе кока-колу.

— Вадим Львович, — щуря глаза под сплошной черной бровью, сказала она. — Извините, что я… Можно с вами откровенно?

— Да, конечно. Слушаю вас.

— Я почти год у Владлена и вижу, как он ухудшился… то есть здоровье ухудшилось…

— Он совсем не ходит?

— С ходунками до туалета только. Но беспокоит другое. С весны началось, он в разговоре вдруг… будто в голове переключается что-то, и он…

— Заговаривается. Я заметил.

— Вадим Львович, я боюсь. Вызвала врача из его поликлиники, пришла молодая, говорит: «возрастные изменения», выписала успокоительное лекарство. Но мне страшно… Сейчас про индейцев, начитался, Великий Змей у него в голове… А что еще надумает? Если совсем крыша поедет?

— Я не врач, Оксана…

— Знаю. Но вы единственный человек… Он же такой одинокий! У него никого не осталось, в июне умер его друг, инженер, с которым он пе-

резванивался… Я не могу его оставить, уйти, мне жалко его! Никого нету, один только вы, Вадим Львович…

Оксана, сцепив руки на груди, с мольбой глядела на меня.

А что я мог сделать? Как помочь? Медицина бессильна против маразма… или, не дай бог, болезни Альцгеймера…

— Вот что, — сказал я, помолчав. — Надо показать Владлена хорошему психиатру. Я попробую… постараюсь выяснить… Оксана, у Владлена документы в порядке? Удостоверение инвалида войны, медкарта, страховой полис?

— Да, все есть.

— Надо бы проделать анализ крови, ЭКГ. Обратитесь в его поликлинику. А я поищу психиатра и… в общем, все, что в моих силах…

Как всегда, помогла Лиза Скорая Помощь. В больнице, в которой она почти всю жизнь проработала, раз в неделю консультировал в неврологическом отделении пожилой доктор, профессор психиатрии. К нему запись была чуть не на полгода, но для инвалида войны удалось сократить до одного месяца ожидание приема.

Понервничал я, конечно, ведя переговоры с больничным персоналом. Да и сам чуть не угодил

в больницу — свалился с сердечным приступом. Лиза и поликлинический кардиолог, можно сказать, гнали меня в больницу, но я отказался. Как раз в эти дни прикатила из Москвы Люся — и взяла на себя уход за мной. Запретила мне шастать по квартире, вставать на звонки медсестры, приходившей делать уколы, и соцработницы, приносившей продукты.

— Лежи! — командовала она. — Твое дело — лежать и видеть сны…

— «И зеленеть среди весны», — подсказал я.

В Питер Люся приехала, чтобы подписать договор с издательством, которое согласилось переиздать книгу португальских новелл в ее переводе. Она за два дня управилась с делами, но не торопилась уехать домой, в Москву.

— Извини, что я задержал тебя, — сказал я на четвертый день. — Вообще-то, я чувствую себя лучше, так что ты можешь…

— Помолчи, гипертоник, — перебила Люся мое извинение. — Я останусь, пока ты не оклемаешься. Или, может, мое присутствие тебе не нравится?

— Очень даже нравится. И ты это знаешь. Но… вряд ли твое отсутствие нравится твоему Феликсу.

— Мой Феликс ушел от меня. Вернее, его увезли.

Люся сказала это очень спокойно. Как если бы речь шла о том, что Феликс вышел погулять с собакой.

— Как это? — воззрился я на нее. — Что значит увезли?

Мы сидели в кухне, пили чай после ужина, приготовленного Люсей, — соте из баклажанов. Она, надо сказать, хорошо готовила. Вообще, моя сестра могла бы стать хорошей женой — умная, умелая, успешная — и красивая, да, все еще красивая в свои шестьдесят шесть, синеокая, с отличной фигурой. Могла бы стать образцовой мужней женой, не будь она столь любвеобильна.

Люся допила чай и, подперев кулачком подбородок, взглянула на меня.

— Как увезли? Очень просто, — сказала она так же спокойно. — У Феликса возникли проблемы с простатой. Решался вопрос об операции, но… Не стану вдаваться в подробности. Однажды вечером мы смотрели какой-то дурацкий боевик, Феликс лежал на диване. Вдруг звонки в дверь. Настойчивые, знаешь ли. Я иду открывать и подумала: так звонит судьба. Вошла его жена, прожгла меня глазищами через огромные очки

и, не поздоровавшись: «Где он?» Ее сопровождали двое мужиков, их сыновья, они хоть поздоровались. Я молча села в углу. Феликс возражал, но не сильно. Каким-то плаксивым голосом. За полчаса его собрали. Покидали в сумки его вещи, бумаги, документы — и увезли. С собакой, конечно. Он без нее не может. Он меня поцеловал перед уходом и сказал, что скоро вернется. Вот и все.

— Уф-ф, — вздохнул я. — Ну, дела! Прооперировали его?

— Да.

— Но он не вернулся?

Люся оставила глупый вопрос без ответа. Поднялась в своем великолепном японском халате (морской берег был на нем, небольшие сосны, крупные птицы) и пошла в гостиную. Она теперь немного враскачку ходила: артроз изменил походку.

Принесла тонометр, велела измерить давление.

— Сколько? Сто шестьдесят? Ну, это ничего.

— Да, лучше, чем двести, — подтвердил я.

— Чаю еще налить тебе? Нет? Ну ладно. Давай посмотрим, что там по телику.

— Люсь, — сказал я, все еще держа в голове ее ошеломительный рассказ об увозе Феликса. —

Как же ты теперь? Как жить будешь?

— А так и буду. Без облака в штанах! — Она вскинула взгляд, исполненный решимости, а может, негодования. — Хватит с меня мужчин. Подлое самовлюбленное племя! Где вы, рыцари с вашим благородством… поклонением прекрасной даме? Ау! Нету рыцарей. Остались в Средних веках. Кто вместо вас? Эти, нынешние с победительной походкой? Нежности — на полчаса. Страсти — на месяц. И все! Свеча догорает, сгущается полумрак… — Люся сделала рукой отмашку, отбрасывая от себя нечто негодное. — Нет-нет, ты не думай, что все так беспросветно, — после паузы объявила она. — Знаешь, кто из моих любовников был незабываемым? Камило! Молодой профессор в Коимбре… в Португалии. Невозможно забыть его восторженные глаза… трепет его рук… его речь — как романсеро… Камило, может, был последним рыцарем… Счастливые одиннадцать дней в моей жизни…

— Люська, — сказал я мягко, — ты сумасшедшая. Но все равно, я тебя люблю.

Она, улыбаясь, тихо пропела:

Но нельзя рябине к дубу перебраться,

Знать, ей, сиротине, век одной качать-

ся…

А годы летят с каким-то жутковатым ускорением. Будто в своем движении по гигантской орбите Солнечная система вместе с нашей грешной Землей влетела в некую область, где *время течет ускоренно*.

Странная, конечно, мысль. Но в современной астрофизике странностей полным полно. Разве не странно, что материи во Вселенной ничтожно мало: не более 4%, а остальное пространство занято «темной материей» и «темной энергией»? А Вселенная, оказывается, не одна — вселенных много, тысячи, и они могут быть связаны между собой некими *кротовыми норами*. Как это понять, господа физики?

Но я ни в какие кротовые норы не полезу — даже если в них наливают пятизвездный армянский и дают на закуску халву.

Вот что я вам хочу сказать, мой терпеливый читатель: сегодня, в темный (как «темная материя»?) декабрьский день я закончил свои мемуары. Шесть лет и четыре месяца писал я их. Несколько раз надолго прерывал писанину — то болезни одолевали, то работа просто не шла; я будто лбом упирался в трудное обстоятельство, не находил нужных слов, ругал себя: старый

хрен, какого черта взвалил на себя непосильное дело… лежал бы на диване, читал «Похождения Рокамболя» или «Дочь тысячи джеддаков» — вот приличное занятие для пенсионера… и не надо ломать голову над неподатливой фразой… и голова, между прочим, меньше бы болела… Н-да, головные боли — в букете моих болезней они занимают первое место…

Но спустя какое-то пустое время прожитая жизнь вновь вторгалась в беспокойную память. «Ты! Старый хрен! — словно бился в черепной коробке ее хриплый голос. — Какого черта валяешься на диване и лупаешь глазами на дурацкие сериалы со стрельбой и мордобоем? Кто, если не ты, опишет дерзкие атаки „щуки“ Федора Ивановича Кожухова? Случайную (но предопределенную!) встречу в Хельсинки с кронмятежником Терентием Кузнецовым — твоим тестем, сатана перккала? Взлет и падение твоего отца, сломленного ужасным „ленинградским делом“? Кто, если не ты, опишет захоронение урны с прахом отца в море, у банки Штольпе?

Кто напишет о твоей Раисе, о ее храбрости и нежности, о вашей любви — если не ты?»

В этот короткий темный декабрьский день поздним вечером я записал: «Ты ушла слишком

рано. Колокол звонил не по тебе. Знаешь, Райка, нам следовало уйти вместе. Жаль, что я этого не понял тогда. Снова и снова шлю тебе, моя дорогая, в заоблачные выси, где обретается твоя душа, свое признание в любви».

Я написал это — и понял, что мемуары закончены.

Не хотелось думать о том, что предстоит еще много работы: вычитать рукопись, отредактировать, сократить по возможности, набрать ее на компьютере (Люся дала мне номера телефонов своей знакомой девицы, Ларисы Борисовны, которая наберет за умеренную плату). И совсем не хочется в этот знаменательный час думать о дальнейшем движении дел: какому издательству предложить, как долго будут читать и как отнесутся… да и *вообще*: удастся ли издать?..

Не хочется портить себе настроение подобной рефлексией. Вот толстая стопка листов на столе. Да-да, мемуары написаны! Я сделал это! Слышите, друзья?

Вот возьму и обзвоню вас сейчас…

Нет-нет. Первый час ночи, поздно.

Лиза, конечно, обрадовалась бы. Но она рано ложится. Спокойной ночи, дорогая. Знаю, ты рано ложишься и рано встаешь. Одолевая боль в

пояснице, отбиваешь поклоны Богородице — заступнице, покровительнице…

Люсе позвонить в Москву? Она поздно ложится. Засыпает трудно, с таблеткой. Нет, сестричка, не стану будоражить тебя ночным звонком. Утром позвоню, часов в десять, когда ты пьешь свой кофе, заваренный крепко, по-португальски.

А ты, дорогой мой бородач Владлен, уже не отвечаешь на телефонные звонки. Прописанные профессором лекарства, сильные антидепрессанты, держали тебя какое-то время, но — болезнь прогрессирует. Когда я, дней двадцать тому назад, навестил тебя, ты меня не узнал. Молча уставился, почесал под бородой, вякнул что-то неразборчивое. Уплыл Великий Змей по течению… Хорошо, что с тобой Оксана. И знаешь, ты правильно поступил, когда, будучи еще с неповрежденным рассудком, завещал ей свою квартиру на улице Белы Куна.

Не позвонить ли Саше Измайлову в Калининград? Мы с ним перезваниваемся, обсуждаем текущие события, спорим, иногда пускаемся в воспоминания о былом, о войне. Саша знает, что я пишу мемуары, он не раз поторапливал меня: «Почему так медленно пишешь?» Ему, конечно, хочется их прочесть. Сашенька, спасибо «за вы-

нимание»!

Ладно, спите, друзья. Завтра оповещу вас…

Телефонный звонок! Беру трубку, слышу надтреснутый голос Люси:

— Дима, ты не спишь? Привет. Как называлось судно викингов? Шесть букв.

— Ты с ума съехала, Люська, — говорю. — Полпервого ночи, а ты кроссворд разгадываешь.

— Шесть букв, вторая и последняя — «р». Не слово, а рычание.

— Дракар, — говорю. — Первая буква? «Д». Ну, Дмитрий. Да, дракар. Чего ты не спишь? Как самочувствие?

— Плохо! — кричит Люся и заливается смехом. — У викингов дракар, а у меня артроз! А как ты, Вадим?

— Примерно так же. Тоже на «р». Как у всех реликтов. — Это я вспомнил, как Глеб Михайлович однажды назвал меня «военно-морским реликтом». — Ты получила перевод?

— Получила. Собственно, это я и хотела тебе сказать. А викинги — между прочим. Спасибо, Дима.

Переводы с португальского перестали ее кормить, нет заказов, и живет Люся на пенсию — хорошую, но очень уж маленькую. Время от

времени я посылаю ей денежные переводы.

— Пожалуйста, — говорю. — А знаешь, сегодня я закончил писать мемуары.

— Димка, поздравляю! — закричала Люся. — Какой ты молодец! Звони Ларисе, она наберет и пришлет мне файл. Я прочитаю и выправлю твой стиль.

— У меня хороший стиль, — самолюбиво замечаю.

— Я сделаю его еще лучше! — заливается смехом моя сестра. — Дима, спокойной ночи!

— Спокойной ночи, хохотушка.

Однако чувствую приближение головной боли. Знаю, конечно, что надо сделать. Вынимаю из серванта бутылку трехзвездного армянского, наливаю в фужер и медленно пью, ценя каждую каплю.

И это значит, что приспело время поставить окончательную точку.

2010–2017